

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

история России
в воспоминаниях,
дневниках,
письмах

Книга Михаила Хейфеца счастливого человека



Михаил Хейфец

КНИГА СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Москва
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ
2013

УДК 323.281(470+571)

ББК 63.3(2)633-361

X35

Хейфец, М. Р.

X35 Книга счастливого человека / Хейфец М. Р. —
М. : Новый хронограф, 2013. — 632 с. : ил. — ISBN
978-5-94881-191-8.

Агентство СІР РГБ

Автор этой книги — счастливый человек. Это его самоощущение родилось от полноты и подлинности жизни. И неважно чем он занимался, важно как он к этому относился. Что же касается жизни вообще — в Советском Союзе и в Израиле — то она была разной, а во многом и сейчас остается таковой. Этому и посвящена его книга.

Предназначается всем, кто ощущает себя счастливым человеком



ISBN 978-5-94881-191-8

© Хейфец М.Р., 2013

© Издательство «Новый хронограф», 2013

Часть первая
В Советском Союзе

...пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.

Иосиф Бродский

Глава первая

1937–1972

Эта книга родилась из абсолютно неожиданного авторского замысла. Профессор Валентина Полухина предложила написать книгу о прозе Иосифа Бродского к семидесятилетию поэта («Все ведь пишут о его поэзии. А вот вы напишите о прозе»). И меня увлекла такая идея — а для начала я решил хотя бы эту прозу перечитать...

Отношение Бродского к собственным эссе удивило.

В юности приятели дали начинающему стихослагателю прозвище ВР — великий русский поэт. Видна усмешка над самоуверенностью начинающего литератора, правда? Он, кажется, на самом деле был отмечен немалым апломбом относительно всего, что набрасывал на листочках бумаги. Но... апломб относился только к написанному в рифму — к стихам. Когда же в зрелом возрасте, уже в Америке, Иосиф стал писать прозу (преимущественно эссеистику), то делал это почти всегда на... английском языке! И объяснял «закидон» так: все равно текст будут переводить, а мне требуется экономить рабочее время. Эссеистика виделась как бы упражнением для мозга, гимнастикой по овладению иностранным языком: «Должен же я проверить, насколько владею английским»... Несомненно, такое отношение умаляло серьезное значение всего, что создавалось не в стихах. Увы — перед нами нормальный комплекс эмигранта...

Иосиф — величайший из российских поэтов, творивших во второй половине XX века. Но оценить масштаб его стихов способен исключительно русский читатель. Высокая поэзия — любая, любого автора, на любом язы-

ке! — принципиально не переводима на иностранный язык. И всемирная слава Бродского объясняется, увы, не популярностью его стихов, но — прозой, эссеистикой поэта. Шведские академики, например, не могли узнать, какой Иосиф поэт. Хотя они не читают по-русски, им оказались доступными его эссе на английском, и они ощутили масштаб личности автора и догадались, какая же поэзия может выливаться из компьютера, управляемого подобным человеком.

Эссеистику Бродского я поделил бы на три части: о советской жизни, о поэтике, о мире и времени. Громадное впечатление, которое она произвела на западных читателей, можно объяснить тем, что Иосиф открыл миру, как возникла свобода в толще всемирного рабства. Этот «росток свободы» давал народам надежду на спасение от варварства.

...Я вырос в той же стране, в том же городе — в Ленинграде. Жил примерно в те же годы (родился на 6 лет раньше Иосифа), учился по тем же школьным программам, бродил по таким же улицам и набережным, рылся примерно в тех же книгах, пробивался в филармонию, театры, музеи. Читая его эссе-воспоминания, вдруг захотел сотворить то, что вы прочтете ниже, — текст, *параллельный* тексту поэта... Нет, не мемуары! Я умышленно предполагаю (впрочем, как и Иосиф) исключить из написанного самые важные признаки воспоминаний, то есть личные сюжеты, отношения с женщинами, родней, друзьями, преподавателями, соседями, врагами... Мне мечталось запечатлеть, если выражаться высокопарно, суть времени ну и, возможно, некие подробности быта, выпавшие из памяти соседа-современника.

Кажется, такие картинки могут послужить уроком для многих — как именно в тумане идеологий XX века родилась и победила свобода частных людей.

(Гитлер ведь тоже воспринимал нас, советских людей, как рабов Сталина: сегодня покоряются хозяину, а завтра прищпорят их резцом СС и гехаймефельдполицай и преобразят в рабов нового господина. Из-за такого заблуждения он и проиграл войну! Западные держа-

вы — англо-американцы, как называли их в тогдашнем Союзе — хотя понимали, что за «железным занавесом» проживают не совсем рабы, но и они видели в нас загадочные восточные племена с непонятной психологией и тоже путались в оценках и совершали огромные просчеты, причем десятилетиями подряд...)

Эссеистика Бродского открывала миру, *как* в беспросветно замороженном обществе рождалась неудержимая воля к свободе, как она преодолела препоны, немислимые для нормальных людей.

Итак, перед вами размышления, но не о прозе Бродского, а о советской жизни, в которой мы с Бродским когда-то росли...

* * *

В отличие от Иосифа, я помню довоенное время, хотя был детсадовцем (в 1941 году как раз пошел в первый класс).

Первое, что отложилось в памяти, — идейность общества. Советскую власть люди, окружавшие меня, признавали современной, справедливой, в общем — своей, как ни парадоксально это звучит сегодня. Но что было, то было. Помню отчетливо.

Оговорюсь сразу: принципиально советские люди никак не отличались от европейцев. Цивилизационные вкусы, рожденные французской революцией, не выдержали исторических испытаний XX века — мировой войны, всемирной депрессии. Свобода, равенство, братство? Да, это звучит великолепно. Но способен ли обыватель Европы совладать со свободой — под шквалами непрерывно валившейся на его голову новой информации? Книжки, газеты, радио, кино (надвигалось и телевидение) сшибали с толку каждую неделю, если не каждый день... «Новые европейцы», подобно россиянам, мечтали уже не о свободе, а напротив — о «бегстве от свободы» (Э. Фромм), об освобождении от обязательного выбора в океане недостаточной информации. Конкретно — мечтали о ВОЖДЕ, о гениальном лидере, кто вме-

сто них сможет принимать свободные решения. Немцы, австрийцы, итальянцы, поляки, румыны — и французы тоже (как полюбили Петена, не правда ли?). Равенство? Но ведь каждый европеец знал, что от природы люди не равны — есть мужчины и женщины, старые и молодые, есть белые, черные, желтые... Может, и по духовным возможностям — тоже разные? Казалось соблазнительным «своих» посчитать высшими, хоть немного, но лучшими, а прочих — опять-таки хоть немного, но ниже... Это сулило легкие, ни к чему не обязывающие преимущества в бытии! А братство? Уж оно-то выглядело совсем дешевым лицемерием, гнусным фоном для охватившей все и вся ненависти всех ко всем...

Люди тогда искали новые идеалы, новые ценности, которые они прилаживают к европейским традициям идеологии и культуры. В каждой стране искали новизну на особый манер: Гитлер и Ленин, Муссолини и Пилсудский, Франко и Тито... Сталин действовал в русле того же цивилизационного поиска. Вождь искал путь для всего человечества, включая Запад. Российские народы гордились своим мудрым и уникальным вождем, во всяком случае гордилась еврейская масса, которую именно я, малыш, ощущал лучше прочего населения.

Типичный образец советского рядового гражданина — моя мама. Оставшаяся в 3 года круглой сиротой, девочка из местечка Бешенковичи (под Витебском), которую воспитывали тетя и сестра, в 20 лет уехала в Ленинград, поступила в химико-фармацевтическое училище, работала лаборанткой в научной лаборатории, получила на Невском проспекте маленькую комнатку. (Я помню, как Невский звали тогда проспектом 25 Октября — не переименовали, а именно звали — самые обычные люди, Садовую тоже звали улицей Третьего июля, и демонстранты шли по праздникам мимо нашего дома не на какую-то там Дворцовую, а на площадь Урицкого. Так я и помнил все четыре года эвакуации.) Моя мама смотрелась абсолютно советским человеком. Когда через 40 лет меня арестовали, она страстно внушала следователю:

— Вы ошибаетесь, Валерий Павлович. Мишенька никак не может быть против советской власти! Никак! Ведь она дала мне все. Она дала мне образование.

(Помню, как зашипел, услышав это, Володя Осипов, лидер «русских патриотов» в нашей зоне:

— Далось им это образование! Моя мама говорила следователю то же самое, слово в слово.)

Повторяю, мама абсолютно верила в советскую власть, в каждое слово дорогого и любимого товарища Сталина. Это не значило, как можно думать сегодня, что она являлась подлой или наивной дурочкой. Отнюдь! Например, заговорив о ком-то, кто был арестован в 1937–38 гг., мама кратко поясняла: «Взят в ежовщину», — что подразумевалось однозначно: человек ни в чем не виноват. Никакие логические доказательства (тем более улики) не могли ничего изменить. Нет, арест «в ежовщину» означал гарантированную невиновность арестованного.

(Похожее явление поражало меня не раз. Как-то я удивился, беседуя со старшим коллегой, историком Ефимом Тепером: почему лично я доверял многому, про что врала нам Софья Власьевна (советская власть), а они, ровесники Фимы, люди, старше меня всего-то на десяток лет, оказывается, многое и тогда уже понимали? Фима объяснял:

— Мы пережили 37-й год. Каждый, кто пережил то время, привык никому не доверять и ничему не удивляться.)

Но при этом — оговорю! — многие люди верили, например, признаниям подсудимых на больших процессах. Уже позже (после войны), когда я читал не то в 5-м, не то в 6-м классе «Тайную войну против Советского Союза» — американскую книжку Сайерса и Кана, мама так объяснила мне пресловутые признания в зале суда:

— Пойми, там же работали лучшие следователи Союза! Они не допустили бы, чтоб звучали глупости в открытом суде, если б сами не считали это правдой...

(Это был ее ответ на мои вопросы: зачем Тухачевский и другие маршалы Союза вербовались в германские

шпионы и обещали отдать Германии Украину; чем вообще конкретно могла им содействовать Германия в обмен за целую Украину?)

Мама пояснила:

— Это — из подлости! Ничего немцы не могли им дать взамен!

Поскольку на скамьях подсудимых сидели в основном старые большевики, герои Гражданской войны, это доказывало, как именно для самих себя массы оценивали тогдашних политиков, их мораль, их верность... Правда, бродил в народе другой распространенный вариант: подсудимых... загипнотизировали. Увы, если б такое оказалось возможным, не осталось бы в мире нераскрытых преступлений. Это я и тогда уже понимал...

Запомнились какие-то странные события и даты из довоенных времен: например, первые выборы в Верховный Совет в 1937 году (почему они воспринимались так серьезно — не знаю и не понимаю, но четко помню); смерть Крупской (почему ей придали столь серьезное значение? Не знаю и тогда не знал, но чувствовал). Запомнил, как старший двоюродный брат Миша выкалывал глаза Риббентропу на газетной фотографии или как он же, показывая странное светло-коричневое пятно на карте Европы, прочитал: «Область государственных интересов Германии» и добавил непонятное слово Польша.

(Много лет спустя, работая с генерал-лейтенантом Н. Попелем, я вспомнил этот факт. Генерал спокойно поправил меня: «Область государственных интересов Германии и СССР». Видимо, так эту светло-коричневую территорию обозначали на его секретных военных картах.)

Помню, как радовались люди, когда был заключен мир с Германией. Боялись войны, сильнее всего боялись! И одновременно вполне нормально воспринимался захват Кремлем чужих стран и земель: он считался удобной и признанной нормой мировой политики. Моя мама (человек частный, не состояла ни в партии, ни в комсомоле, да ее, наверно, и не приняли бы. Вопреки

распространенному заблуждению вступление в партию считалось честью, которую требовалось заслужить чем-то особенным) как-то вышла из трамвая на остановку раньше намеченной, зашла в магазин, купила — подчеркиваю: на скромную зарплату лаборантки — какие-то вкусности (печенье, конфеты), и мы отправились на Финляндский вокзал угощать красноармейцев, отправляемых на Финский фронт... Никто не принуждал, не агитировал — сама делала, по зову сердца...

Муж маминой старшей сестры дядя Самуил считался королем «теневого» бизнеса в городе — руководил киосками по продаже газированной воды (с сиропом). Видимо, это занятие считалось в семье фамильным. Много позже мне рассказали, что дед, мамин отец, владел в Бешенковичах двумя торговыми точками по продаже сельтерской воды... Дядя Самуил казался прирожденным организатором и знал, конечно, что власти могут посадить его в любую минуту. К большевикам он относился соответственно... Но с другой стороны, его сын выучился на инженера, его старшая дочь стала актрисой, младшая — врачом. Семья жила относительно богато: владела двухкомнатной отдельной квартирой (неслыханная роскошь в довоенные времена). Помню, как я играл в дядиной квартире какими-то шпагами (откуда они у торговца?), пользовался диапроектором, каким-то игрушечным кукольным домиком. (Только через много лет стал догадываться, что, видимо, эти диковины продавались наспех, по дешевке, дворянами, высылаемыми из Ленинграда в «кировском потоке».) Большевикам дядя не верил ни в чем, но и оппозиционности не высказывал (при мне, во всяком случае).

Это относится к евреям. А как воспринимали власть русские люди?

...Я играл с русскими детьми во дворе, общался с ними в детсадовских группах в городе и на летних дачах. Сохранилось четкое ощущение, что русское восприятие принципиально не отличается от еврейского. Советскую власть считали своей, справедливой и правильной, но с

одной поправкой: она работала в неприятной для народа манере, а именно — слишком много в аппарате власти вертелось образованных евреев. Вот это считалось неправильным, а в остальном — полный порядок.

(Среди евреев же господствовал предрассудок: мол, до войны антисемитизма в России не было. Возможно, такое ощущение возникало у взрослых евреев, защищенных полицейской системой власти, но среди нас, еврейских детей, все виделось совсем иначе. Ко мне окружающие относились всегда прилично, однако во дворе меня били, на шведской стенке умышленно наступали на пальцы, не скрывая того, что «Мишка — оголец хороший, но жид, и это положено ему как жиду». Хуже всего во дворе считалось зваться ябедой, но «жид» — вторая по степени «хужести» кличка. И конечно, в дворовых детях прорывалось то, что они слышали дома от родителей, при закрытых дверях.)

Товарищ Сталин готовил Союз к неизбежной, как виделось, войне. Каждый день (это не преувеличение для яркости образа) радио передавало песню «Если завтра война, если завтра в поход». С присущим лидеру политическим чутьем вождь в 1936 году, если не раньше, приступил к идеологической перестройке власти: ушел от бывшего интернационализма к русскому национализму. Я не могу не согласиться: для подготовки страны к войне подобное действие, наверно, виделось своевременным и правильным решением.

(Следует пояснить, почему евреев насчитывалось относительно много в предвоенном аппарате советской власти. Еврейская община в XIX веке получила огромные цивилизационные преимущества перед всеми остальными народами-аборигенами — не только перед русскими, но почти перед всеми в мире. Наступал переход к новой эпохе, к городской жизни — после многовекового сельского уклада. А евреи всегда жили по преимуществу в городках, пусть в небольших, торгово-ремесленной жизнью. Они привыкли считаться не с властью земли, которой безропотно покорялось подавляющее большин-

ство окружающих, даже не с властью денег. Деньги легко у них отбирались, да и обесценивались они. Преимущества жизни давались в те тысячелетия не за деньги, а согласно традициям феодального права. В еврейской массе главенствующими ценностями считались *знания*, погружение мужчины в книги, в науку (пусть богословскую — это частность, которую нетрудно переориентировать на опытные и точные знания). И в период мучавшего все человечество перехода из деревень в города евреи имели колоссальное психологическое преимущество перед другими *народами*! После революции в России им куда легче, чем русским людям, далось переселение из местечек в большие города или переход к занятиям, принципиально новым. Большевикам тогда требовалась прежде всего «оборонка»! Евреи привыкали к новому быту, к новым порядкам много легче, чем крестьяне.)

...Забыл упомянуть, что я научился читать в 5 лет. До войны было много книжек о затонувших сокровищах. (В первой прочитанной самостоятельно книге Золотницкого рассказывалось о приключениях водолазов, потом шли чьи-то сочинения об американской батисфере... Возникало чувство, что авторы инстинктивно мечтали о внезапно вынырнувших — из-под воды! — богатствах, о *мгновенной перемене* в жизни. Люди верили в лучшее будущее — но «лишь бы не было войны». Но и сама война гляделась естественным состоянием общества, как бы положенным народам свыше...

И она пришла, война.

* * *

Наш детсад внезапно вывезли с дачи в Сиверской. Первую ночь мы сидели на узлах в школе на улице Восстания. Помнится, мама забрала меня, и в тот же день нас посадили в товарный состав (мамин институт эвакуировали на Урал). Дядя Самуил ехать с эшелоном отказался. «Все это большевистские враки. Я помню немцев по той войне, очень интеллигентный, культурный народ...» Остался в городе. К счастью, он выжил в блокаду.

Везли на Урал девять суток. Привезли в Ирбит, город знаменитых ярмарок в Свердловской области. Запомнилось, как плакала мама, услышав в первый наш уральский день разговоры местных жителей: «Вот придет Гитлер, он им покажет...». Что сказать? Урал — регион ссылок, да?

Вскоре переехали из Ирбита в село Знаменка, где мама стала работать в аптеке. Нормальная деревенская жизнь — огород, свиньи, куры... Я ходил в лес по ягоды (за шиповником, это «витамины!»), научился ловить рыбу. Через два года мама переехала обратно в Ирбит. Ей предложили работу в аптеке эвакогоспиталя. Я каждый день «болел» за успехи Красной армии, следил по карте за продвижением фронтов. В Ирбите, помню, поймали меня пацаны на улице, когда шел из дома в госпиталь к маме, скрутили руки веревкой за спиной и повели куда-то, радостно сообщая встречным-поперечным прохожим: «Ведем жида вешать»...

На Урале прочитал массу книг. В местной библиотеке были старинные романы, часто без начала и конца (представляете, встречался Поль де Кок!), сочинения погибших в «чистке» литераторов. В Ленинграде это все изымалось, а на Урале книжки остались на руках у бывших покупателей. Открыл я в себе и особое свойство — физически не мог не дочитать книгу. Должен обязательно узнать, чем дело кончилось. Помню, набрел на подшивку старинного «Мира приключений» (сойкинского?), где из номера в номер печатались «Грабители морей» Жаколио, а финала в журнале не нашел. Может, издание закрыли, пока роман печатался? Почти полвека помнил про недочитанный сюжет. Очутившись после распада СССР на бывшей советской территории, нашел томик (отдельное издание!) на книжном развале в Риге, купил — и дочитал до конца. Через полвека, но узнал-таки конец романа!

Забавный эпизод военной поры. Мальчишка-ровесник в Ирбите, заинтересовавшись нашей нацией, заметил: «Что вы за народ такой, если у вас нет собственного государства?» Запомнилось, как видите, на всю

жизнь — уж очень русским по духу гляделось замечание. Теперь оно, государство, есть... И мы — нация в русских глазах?

День Победы запомнился серым, дождливым, без демонстраций. Это вам не Москва, а Ирбит. В сентябре 1945 года мы вернулись (опять же товарняком) в Ленинград.

* * *

Дядя Самуил, в квартире которого мы с мамой оставались «для начала» (довоенную комнату у нас, конечно, отобрали, и оставленное имущество тоже пропало), жил теперь на Невском возле кинотеатра «Хроника дня» (нынче там что-то вроде казино). В первый же вечер я, скрывшись от родных, ушел на проспект и пошел-пошел-пошел — смотреть город. Ориентиром служил шпиль Адмиралтейства. Он был черным — для маскировки от бомбежек. И кони Клодта не стояли на Аничковом мосту. Где-то они были пока закопаны....

...Иосиф, вспоминая архитектуру Питера, утверждал, что именно она формировала наши особые, непохожие на прочих характеры. Мне судить сложно, я в этом городе рос, но Ленинград действительно не походил на привычные русские обиталища — это виделось сразу. В России возле домов всегда размещались обширные дворы, один дом на улице отстоял от другого на приличном расстоянии. На Невском же здания примыкали друг к другу стенами, образуя непрерывные перемиčky по обеим сторонам проспекта. Это создавало странное, нерусское ощущение городского пространства. Мнилась тесная, берегущая землю Европа — в противоположность раскинувшейся во всех направлениях России. В Питере все стояло каменное, все многоэтажное. (Даже в Москве, где я впервые побывал через 6 лет, торчало много деревянных, покосившихся домишек, и — обширные дворы вылезали между ними.)

Дошел до угла Герцена (нынче Большой Морской), свернул влево (Адмиралтейство казалось совсем близким), пошел до Исаакиевской площади, полюбовался со-

бором (он стоял закрытым — и годы спустя был закрыт!), покрутился вокруг памятника Николаю I, исследуя изображения на боковых барельефах... В родном городе зародилось восхищение историка, вечный интерес к древнему, желание узнавать прошедшее буквально каждого дома, каждого изображения, каждого памятника. Это, правда, особое — питерское — чувство!

...Вот экскурс в сторону, но на ту же тему. Мы с мамой переселились от дяди на ту же улицу Герцена, в здание напротив роскошного, с мраморным фасадом дома с таинственной надписью золочеными буквами «Faberge». (Что она означала, никто из знакомых даже не представлял. А скоро таинственные буквы сбили с фасада.) Мама купила там комнату. Откуда она взяла деньги на покупку жилья? Меняла ленинградские платья и кофточки у колхозниц в деревнях на муку (во время войны в селах вообще не выдавали, уж тем паче не продавали промышленных товаров), потом эту муку продала на рынке и на добытые деньги купила комнату в Питере у дочери репрессированных родителей, переехавшей к мужу). Это ремарка к вопросу о том, как евреи приспосабливались к городской жизни...

Я начал ходить в мужскую среднюю школу на Невском (№ 210), ту самую, где нынче красуется надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Тогда надпись тоже имелась — но была подлинной, оставшейся с блокады. Одно из первых занятий я нагло прогулял: ушел якобы в класс, а двинулся через арку Главного штаба и, полюбовавшись на Зимний (помню свое разочарование: дворец казался темным, запущенным, облупленным; я вообще не мог поверить, что это здание есть тот самый легендарный Зимний!), отправился далее, к цели путешествия — к атлантам Эрмитажа. В учебнике написано было, что тут — вход в музей! И не один я ждал открытия, нас собралось несколько наивных любителей истории (или искусства?), никак не могли дотерпеть, когда ж двери откроют... Потом какой-то прохожий объяснил, что вход в Эрмитаж нынче вообще

через другие двери. И я — вошел внутрь. Прямо в Египетский отдел! И ходил, ходил, ходил, впитывая каждый экспонат. Господи, как я преклонялся перед собранием великих реликвий! И много лет подряд не проходило месяца, чтоб я не посетил залы Зимнего и Эрмитажа. С ревностью читал, помню, что Эрмитаж — третий по богатству музеев в Европе (после Лувра и Британского)! Это запомнилось, потому что — типично советское восприятие мира: все должно было расставляться по ранжиру — кто главный, первый, а кто второй, кто третий.... Первая трактористка — Паша Ангелина, первая свекловод — Мария Демченко, первый полярник — Иван Папанин... Вообще первые во всем — конечно, мы, Союз, у нас самая длинная в Европе река, самая высокая в Европе вершина... А музей, увы, оказался только третий. Позор! Щемило сердце...

Школа, в которой я учился 6 лет, сыграла огромную роль в моей судьбе, из нее не хотелось сбежать — как сделал в свое время Иосиф. Школой руководила Татьяна Ефимовна Конникова, педагог системы Макаренко. Она обладала исключительным природным даром — талантом сплавлять любые личности в коллектив. Я научился у Татьяны Ефимовны искусству работать в коллективе, испытывая от такого действия истинное наслаждение... По характеру я — типичный индивидуалист-одиночка, а Татьяна Ефимовна открыла мне радости коллективного бытия, когда разрешено не искать ценности в жизни, а опереться на нормы, уже кем-то определенные, кем-то подаренные или завещанные... Огромное наслаждение для многих людей — когда можешь и умеешь таким богатством пользоваться. Я до сих пор благодарен Татьяне Ефимовне — ведь историку так важно понимать и чувствовать тонус и преимущества коллективного бытия в мировой жизни. Хотя существую теперь я, конечно, совсем не внутри подобной жизни...

Литературу преподавала Вера Герасимовна Ананьева, умевшая формулировать общественное значение классики в России. Благодаря ей я, получив аттестат зре-

лости (и серебряную медаль), выбрал не исторический, а литературный факультет... Так что Вера Герасимовна тоже помогла мне определиться в будущем.

Послевоенное время кажется мне из сегодняшнего дня каким-то особенным — сыгравшим, возможно, центральную роль в формировании натур современников. Во всяком случае — очень многих.

Иосиф придал, на мой взгляд, непомерно большое значение прокату трофейных фильмов, которые крутили тогда на экранах. Я тоже их смотрел, не составил исключения (это и невозможно было), но, думается, поэт переоценил кинострапню в нашей жизни. То есть фильмы помогали — наверно! — освободиться от шарма пропаганды (запомнился мне, например, невероятно популярный Джонни Вайсмюллер — Тарзан. Действительно, он считался сумасшедшей звездой, как и его возлюбленная Джейн или их обезьянка Чита). К слову, историческая деталь: голливудско-германские фильмы подвергались цензуре весьма резко. Помню музыкальный фильм, завершившийся убийством певицы ревнивым мужем, а я случайно посмотрел его с тремя вариантами финалов: муж только идет убивать и неизвестно, чем все кончится; вот муж уже пришел и выясняет отношения с женой, она признается, что давно любит другого; наконец, третий вариант — произошло убийство... А возможно, был и четвертый финал, когда убитая оживала. Откуда я знаю?

Нас воспитали все же не эти иноземные фильмы, а книги — прежде всего русские. И переводные, конечно, тоже. Но об этом ниже.

Послевоенное время в целом ощущалось мною как отвратительное. (Я всегда говорил, что студенческие годы — худший период моей жизни.) Гадко-глухое ощущение эпохи, если выразиться прямо. Товарищ Сталин после войны, видимо, уверовал, что всегда и во всем прав, раз уж победил партайгеноссе Гитлера. И кажется, опасался, что вернувшийся из Европы народец, за период войны отвыкший от дисциплины, сделался излишне самостоятельным. Нужный для социализма по-

рядок виделся ослабленным! По сути Сталин оказался, как всегда, прав. Мужик отлично чувствовал, как и куда поворачивает руководство. Обнаглела публика за войну, конечно, на разный лад, и вождь начал подкручивать гайки и болты, пока вся конструкция не развалилась! Для подкрутки, это он точно знал, обязательно требуется враг «внутренний»... Внешний вообще не исчезал никогда. Хорошо помню, как даже во время войны раздувалась неприязнь к союзникам. Мол, мы-то воюем, а так называемые союзники тянут время, чтоб мы побольше потерь понесли... А немцы, тоже сволочи, практически без боя Западу свою страну передают, лишь бы победа не досталась нам, Союзу. А после войны какие разговоры в народе шли... Что бы ни делали американцы с британцами, все обозначалось в СМИ как жуткая мерзость, даже на Нюрнбергском процессе западные судьи только и делали, что выгораживали высокопоставленных нацистов. (Этот процесс мало походил на процессы 1937 года, когда подсудимые проклинали самих себя и обвиняли себя же на пару с прокурорами.) А оправдание некоторых подсудимых в приговоре выглядело прямо издевательством над юстицией! над нашей юстицией... Я, кстати, думаю, что товарищ Сталин по-своему был искренен, а не только вел нужную, с его точки зрения, политическую игру... Словом, окружили враги, гадят нам на западе, на востоке, на юге... С этим как раз просто, проще некуда! Но товарищ Сталин знал, что враг действует не только снаружи, но и внутри. Без врага внутреннего не возникнет подлинного накала, нужных страстей в обществе. Кого же выбрать внутренним врагом?

Вождь остановил внимание на евреях.

Я категорически не согласен с распространенным мнением, что товарищ Сталин чуть ли не с юности был антисемитом. Евреев, допуская, не любил всегда — почему бы нет? Семинарист все-таки... Не он первый, не он последний. А евреи, гады прыткие, даже если они в прислуге, вроде Михаила Кольцова, то излишне говорливы, с претензиями на ум и знания и — главное! — пом-

нят слишком многое. Память хорошая на то, что стоило бы забыть! Так что похожее чувство у вождя теоретически, вполне возможно, имелось. Но эти мелочи не могли играть существенной роли в мировой политике. Ее определяли куда большие задачи, чем личные чувства Гуталина. Велась игра с русским национализмом, который по довоенной традиции казался Сталину выгодным и удобным, а евреи очень хорошо ложились в лузу в форме противолежащей мишени. Тем паче что еврейские кадры занимали несоразмерно большой сектор в самой выгодной сфере государственной машины — в ВПК.

Раньше их сложно было удалить с оборонных заводов или из секретных бюро, так как шла война, опытные кадры обеспечивали выполнение заказов, вооружение действующей армии. Но в межвоенное время — можно и переиграть кое-что или кое-кого, прежде всего сменить кадровую политику в оборонной и прочей промышленности...

Выросло русское поколение молодых руководителей, после того как вырубili дворянско-поповские русские головы в революцию. Новое поколение требовало (настоятельно!), чтобы выгодные места в государственных компаниях занимали только они. Такая перемена виделась т. Сталину политически правильной (а возможно, была ею... Допускаю вполне). В конце концов, это ж Россия, и русские могут иметь в ней некие привилегии... Евреев стали постепенно превращать в «подозрительный народ» — народ-спекулянт, народ-космополит, народ-вредитель. Кампания за кампанией — каждый год придумывалось нечто новое. Сознательная компрометация еврейства в СМИ не считалась секретом. В русских семьях говорили о предмете вслух (кстати, при мне и при моих русских школьных друзьях). Ощущение чуждости возникало у евреев при любом общественном шаге начальства. Атмосфера, в которой незадолго до того времени пребывали дворяне со священниками, сейчас давила на евреев... В принципе, конечно, привычная ситуация — всегда с кем-нибудь похожее проводилось, враг-то необходим

постоянно... Ну на этот раз врагом оказались евреи, ничего особенного. Тем паче что их дискриминация росла на укоренившейся психологической традиции (с одной существенной разницей — евреи теперь жили не где-то в черте оседлости, а в самом центре общества. Особенно много «этой нации» скопилось в столицах.).

Важной для общества чертой сталинского руководства мне видится хладнокровный практицизм вождя. Как опытный и деловой человек, он опасался сразу менять старые кадры на новых людей. В его памяти сохранялся довоенный провал, когда, уничтожив кадры в армии и оборонке, он пару лет в войну не мог полноценно заменить убитых и посему избрал после войны новую и удивительную тактику: ЦК смешал евреев с «первых», т. е. с директорских, постов, но... часто оставлял их на «вторых» ролях. Перемешал — в заместители начальников. Начальник считался как бы кадром, обеспечивавшим правильность партийной политики, а еврей отвечал за конкретное выполнение плана предприятия. В народе сложилась шутка: «Кто есть заместитель начальника? Тот же начальник, но он еще работает». Мой друг, писатель и художник Лев Ларский, вспоминал, как, выдвигая его на профсоюзную должность, партийные начальники подбадривали упиравшегося интеллигента: «Да не бойсь! Хороший начальник тот, кто имеет хорошего заместителя!».

Закручивание гаек в послевоенные годы шло не по одной «еврейской линии», так понять меня — абсолютно неверно... Довольно постоянно, едва ли не каждый год издавалось очередное постановление ЦК — то о вредных писателях и поэтах (о Зошенко, Ахматовой), то о театре (разгром ленинградского театра Комедии, руководимого Николаем Акимовым), то про кино (опять же с разгромом ленинградцев Трауберга, Козинцева, Хейфица), то погром в философии (книга Александрова «История западноевропейской философии»), то про музыку (помню врезавшуюся в память фразу из речи секретаря ЦК по идеологии товарища Жданова: «Ну, много ли их вообще,

композиторов-формалистов? Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Кабалевский, Шебалин, Мясковский... Кто еще? (голос с места: Шапорин). Вот ведь и все, товарищи...»). Что вспоминать биологию или кибернетику! Упорно сплетничали про теоретическую физику, якобы статьи уже подготовили антиэйнштейновского толка, но — кампанию отменили. Говорят, бомбу без гадов не могли изобрести...

А сколько возникало дополнительных сюжетов, параллельно с официальными постановлениями цеховского уровня — по космополитам например, по языкознанию, по экономике... А «ленинградское дело»? Ого! Оно до сих пор не оценено достойно, а расстреляли — ни много ни мало — преемников Сталина... Помню, как поразила меня фраза вождя в знаменитой послевоенной речи-тосте «За русский народ»: «В первые месяцы войны мы терпели большие неудачи... Любой другой народ прогнал бы такое правительство, как наше. Но русский народ все стерпел!» Кто смел бы так сказать, кроме нашего вождя? Но игры с русским национализмом (как и с любым национализмом) выглядят рискованными — даже для такого специалиста в нацвопросе, как товарищ Сталин. Проводить подобную политику в многонациональной империи, да еще в XX веке, когда номенклатуру вербуют из десятков народов, — более чем сложно. Уже к 1948 году, т. е. через три года после конца войны, сформировалась — неизбежно, по-моему, — ленинградская оппозиция, т. е. часть партийной номенклатуры, которая не могла сообразить, почему, если русский народ считается первым среди равных и с этим тезисом вроде все согласны, в центре имперской власти сидит так мало русских людей и так много нацменов? Сам товарищ Сталин не выглядел слишком русским человеком (с его-то жутким акцентом! Хуже по-русски говорил, кажется, только Каганович), а Маленков, а Берия, Хрущев, Микоян — нет, гнездовье центрального аппарата не страдало русским этническим происхождением, отнюдь. Поэтому «ленинградские вожди» не восприняли русскую идею в

духе исключительно антисемитском, как предполагал вождь, но поняли ее буквально — как правление русских людей в русской стране во имя русского народа! В империи же такой поворот темы казался очень опасным, тем паче вождю, рожденному все-таки в кавказском городе Гори, а потому — вдруг! — руководителей «русской партии» расстреляли, а Ленинград еще долго считался подозрительным местом. Впрочем, таким он виделся еще со времен товарища Зиновьева, «кровавого Гришки»...

Станным вспоминается мне то время — ненатуральным каким-то, придуманным. В разгар карточной системы, например, остались в памяти витрины городских магазинов, украшенные... куропатками — с белыми перьями, неошипанными. Или помню огромную электрическую рекламу на Невском проспекте в 1947 году: «Покупайте майонез — вкусно, питательно, жирно»... Что за таинственный майонез — мы в жизни не слышали, не то что не видели такой таинственный продукт. Никто и нигде не упоминал, что в деревнях не то что майонеза нет, а натуральный голод, что люди, как говорят нынче, массами умирали от недоедания... Мы просто не знали про такое. Я впервые услышал о голоде в послевоенных деревнях через десятки лет, когда мой соллагерник, бывший капитан Советской армии Кузюкин, вспоминал: «Зона — она ведь как деревня в моем детстве: все время хочется есть. Каждую минуту! Голод сосущий, голод постоянный...».

Сегодня представить себе трудно, насколько мы были отрезаны от неофициальной информации. Иностранных радиостанций, вещающих на русском языке, не было (кажется, первая, о которой я услышал, начала свои передачи в дни похорон Сталина), а про телевидение даже слухов не ходило, из-за границы не поступало никаких книжек тамиздата (наверно, и не издавали их вовсе), а единственные относительно доступные русскоязычные журналы «Америка» и «Британский союзник» были осторожны и сдержаны в подаче информации о Союзе... «Британский союзник» был-таки запрещен... Например,

про советскую блокаду Западного Берлина нам что-то сообщали, но ни одного слова — о мощнейшей авиации, прорвавшей блокаду и заставившей Сталина отступить. Ну что вы, разве товарищ Сталин спасует перед противником? Никогда. Или читали непрерывные проклятия в адрес доктрины Трумэна, «антирабочего закона Тафта-Хартли» каждый день и во всех газетах. Это был некая печатная мантра, но никто из читавших не представлял, в чем суть ужасной доктрины или жуткого закона. Или — почему не было сообщений с фронтов Греции или Северного Ирана? Объясняю: в случае каких-нибудь неудач информация на данную тему исчезала из газет и радио без каких-либо объяснений...

Зато внезапно газеты заполнились статьями против английского шпиона Тито, совсем недавно он назывался любимым другом и вернейшим из союзников. Но никто, повторяю, даже в партийных кругах (!) не знал, в чем *конкретно* оказался виноват ужасный фашист Тито. А про свою страну мы не знали вообще ничего. Не знали, например, обыденного факта, что в СССР существует внешняя разведка. (Разве у нас, таких благородных и чистых, таких советских, могут быть...фу-фу-фу... свои шпионы?) Впервые это учреждение признали существующим только при Хрущеве, когда демонстрировали на экранах иностранный фильм «Кто вы, доктор Зорге?». Мы не знали, какие заводы у нас считаются оборонными (их называли таинственно «почтовый ящик», так и говорили: «Я работаю в ящике»). Абсолютно неизвестно было публике, кто делал советскую атомную бомбу или ракеты (имя Королева стало известно только после его смерти — и то, подавалось как невероятное событие!), кто проектировал канал Волга—Дон или лесополосы. Секретным было все-все-все на свете. Шпионы, казалось, сидели за каждым забором, пытаясь выяснить наши тайны, например тайну замечательного бетона, а мы хранили тайну благодаря славным и бдительным органам...

Время не рождало в нас антисоветизм, поймите меня правильно, просто было как-то душно и противно, вот

это помню отчетливо. Возникало парадоксальное ощущение, что партия превратилась в организацию, где исчезли сколько-нибудь толковые кадры, ибо любая кампания превращалась в посмешище, по поводу которой ну нельзя было, ну просто невозможно было не ухмыльнуться... (Все-таки довоенный террор, да и военные потери не могли пройти для кадров бесследно!) Например, кампания по борьбе с космополитизмом, возможно, имела реальный смысл в России. Это я говорю вполне серьезно! Она внушала русским людям уверенность в своих силах, в талантах, в их способности решать стоящие перед обществом проблемы самим, без заимствований и подражания Западу. Русский народ действительно от природы очень талантлив — вдобавок не ценит свои таланты вовсе! Имело смысл внушать ему, что он может сам работать, сам развиваться. С этим я могу согласиться... Кстати, эту идею подсказал Сталину академик Капица. Имелся, имелся в ней здравый смысл. Но во что она превратилась стараниями партийного аппарата? Французскую булочку переименовали в «городскую», популярное питерское кафе «Норд» стали звать «Севером»... Экое, прости, Господи, русское новшество! Началась борьба за приоритеты — вовсе идиотская, потому что ее инициаторы сами себе придумывали иностранный приоритет и сами его опровергали... Например, паровую машину придумал Ползунов, а вовсе не Уатт, хотя никто и никогда, даже на наших школьных уроках физики не утверждал, что Уатт придумал *первым* паровую машину. В школьных пособиях красовались паровые машины Папена и Тревитика, более давние, чем у Ползунова и у Уатта. Последний придумал первую *паровую машину Уатта*, которая создала промышленный переворот в Европе. А с этим кто ж мог спорить? Яблочков или Эдисон придумал первую лампочку накаливания? Но Эдисон, конечно, ее не придумал, что есть правда, опыты с ней проводились до него и до Яблочкова. Эдисон придумал *сеть* для освещения домов и улиц. Кампанией достигался эффект, прямо противоположный задуманному,

возникала компрометация русской науки и техники, которая начинала казаться только фикцией. Тем паче что сталинский аппарат в практике собственной работы не умел ставить реальные технические и хозяйственные задачи своим директорам и при постановке целей-проблем рабски следовал за секретами, добытыми ему извне разведкой! Отсюда в СССР естественно проистекало вечное преимущество всяких иностранных новшеств перед советскими.

(Характерный пример. Сталин поставил важнейшую задачу перед наукой и промышленностью — создать атомную бомбу, когда узнал, что ее делают в США и Великобритании. Отечественные философы еще не успели добраться до физиков, поэтому в стране оставались великолепные кадры, которых «мыслители» не успели истребить... Они создали бомбу в кратчайшие сроки. Но... им не позволили запустить в жизнь собственные разработки! Для начала приказали скопировать украденный в Штатах «толстяк» — было выполнено. И лишь через 2 года позволили опробовать свой вариант. Выяснилось, что советская бомба вдвое легче американской и вдвое мощнее. Но мог ли что понимать в постановке задачи не только малограмотный в физике вождь, но даже его помощник, очень талантливый организатор Берия?)

Мы оставались советскими людьми по идеологии — что бы ни утверждал позже Бродский. Его отец, мать и вся родня — все оставались советскими людьми... Силу идеологии до поры до времени составляла прежде всего ее «научность» — преклонение перед знанием, унаследованное идеологами от Маркса, а в России — от Ленина. Авторитет науки давал идеям силу в глазах масс. Логичность и предсказуемость всего совершавшегося, согласно теории, казалось, обеспечивали грядущее торжество разума и человека.

Вот конкретный пример торжества логики в наших головах! Когда объявили в газетах о «деле врачей», «убийц в белых халатах», я безусловно поверил в их виновность. Почему? Потому что они были евреями. Я знал точно,

что в стране господствует антисемитизм. Мне казалось *логичным*, что евреи-врачи пожелали удалить кремлевское антисемитское руководство способом, который находился в их распоряжении, т. е. медицинским, умертвить пациентов! Вот так я, дурачок, рассуждал, хотя раздражало единственное обстоятельство: почему врачей не останавливало, что, если они провалятся, МГБ обрушит на головы их земляков в Союзе беды и горести. Но поскольку мое рассуждение выглядело *логичным*, я верил в эту чушь. (Вспомнилась цитата, кажется, из воспоминаний вдовы Бухарина, как ехала она в вагоне и в поезде заспорили о процессе Тухачевского—Якира. Кто-то из воевавших с Якиром говорил, что такого никак не может быть, он лично Якира знает. Ему возразили: «Ну ты представь, кто ж может в стране быть заинтересован, чтобы убить лучших полководцев? Да никто». И возражавший замолчал, побитый. Логика рассуждения выглядела непобедимой.)

Я писал, что студенческие годы видятся мне сегодня самыми пустыми в жизни. Поступал я в институт без экзаменов, с медалью, мне не могли формально отказать, так как 210-я школа считалась базовой этого же института (а что в университет мне нельзя соваться, так Татьяна Ефимовна все же объяснила). Правда, приемная комиссия советовала перейти на... физмат: видимо, чтобы не портил 5-й графой русскую культуру. Много лет спустя Татьяна Ефимовна призналась, что ходила к директору института Кирееву (по совместительству она работала в этом же институте доцентом) и убеждала его:

— Мальчик не должен это узнать! Мы не так его воспитали! Если вы его не примете, я выступлю на партсобрании...

Как я понимаю, директору спускали процентную норму на евреев, которую, в принципе, старались не заполнять, поэтому места для евреев находились всегда. Зачем же директору скандал, если его законно можно избежать? И меня приняли. Но, Боже мой, какие лекции читали в великом вузе... О! Самое худшее, что я слышал в жизни, — курс по русской литературе XIX века. Пустая

и глупая до идиотизма скучища. Каких учителей могли выпускать, если, например, о существовании подтекста в художественном произведении я узнал после окончания вуза, уже работая в школе? А ведь я учился только на пятерки и непрерывно сбегал на последних курсах в университет на лекции профессоров Реизова и Бялого и кое-что новое в литературе все-таки сумел познать...

Моя учеба проходила в самое жуткое время, когда печатали работы Сталина по языкознанию и экономике. Я собственными ушами прослушал, например, вступительную лекцию по курсу ПВХО «Значение работ по языкознанию товарища Сталина для противохимической обороны».

Когда умер товарищ Сталин (я учился на 3-м курсе), все вокруг пребывали в растерянности: куда ж страна теперь повернет? Как будем жить-поживать без него? Забавно, что первым признаком нового времени стала цитата в «Правде» из речи президента Эйзенхауэра: «Что бы ни говорили, но со смертью Сталина кончилась эра!». Знаком служила, собственно, не сама фраза (тоже мне открытие!), а то, что ее опубликовали. У нас, в Союзе, *такое* опубликовали! Как некий знак согласия, как сигнал обществу, что началось новое. И оно повалило быстро, стремительно... Сначала оправдали «врачей-убийц». Впервые в истории СССР признали, что органы... могли ошибиться, что они, оказывается, не всегда бывают правы! Ого, какой это оказался перелом — прежде всего в психологии общества! Потом — снижение цен. Сталин ежегодно снижал цены, сигнализируя обществу, что хозяйственное состояние страны улучшается да улучшается. Но в 1953 году снижение оказалось неслыханно крупным. Это сильно подбодрило население: власть-то интересовалась нашим благополучием...

А главные события произошли летом. Студенты нашего курса работали воспитателями и вожатыми в пионерлагере недалеко от поселка Тарховка. Мы услышали по радио о восстании рабочих в ГДР (правда, быстро подавленном), потом объявили, что члены правительства

страны прослушали оперу Шапорина «Декабристы» (с чего вдруг такое сообщение, что за опера?) и почти сразу грянуло потрясение: сообщили, что арестован второй человек в стране — глава госбезопасности, а фактически всего аппарата власти Лаврентий Павлович Берия.

Для того времени характерно, что никто не знал подробностей биографии «вождя» — только его должность! Берия в глазах населения значился исключительно шефом НКВД—МГБ, т. е. ведомства, которому, как выяснилось, не вполне доверяло подавляющее большинство граждан СССР. «Контору» боялись, почитали, поклонялись — но про себя многие ненавидели. Поэтому люди оказались потрясены сообщением — до смятения, но во все сразу поверили. А кто не поверил, помалкивал... Берия обвинили по всем канонам сталинского времени. Он оказался, конечно, английским шпионом — каким же еще? «Англичанка гадит» — так со времен Александра III повелось. Развратником был (не иначе!), организатором репрессий сталинского времени (во всяком случае после Ежова) и, конечно, заговорщиком, пытавшимся с помощью войск МВД захватить власть в стране. Чисто сталинское решение темы, позволявшее любой негатив в жизни списать на разоблаченного врага народа и спокойно двигаться дальше в любом желательном для начальства направлении.

В такое трудно поверить, знаю, но никто, ну буквально никто (кроме посвященных в государственные тайны) не догадывался, например, что во время войны товарищ Берия руководил вовсе не ГБ, а оборонной промышленностью (СМЕРШ и прочие карательные органы работали под прямым управлением Сталина) или что после войны Сталин оставил контроль над органами в своих руках, а Берия поручил «Большой проект» — атомный, а потом ракетный щит Союза ССР. Мы не знали всего этого. Тем паче не знали планов Берия по реорганизации сталинской системы, сталинской политики противостояния Западу, нейтрализации Германии (по австрийскому образцу) и многого другого. В глазах населения Берия казался сим-

волом сталинского террора, а его крушение — крушением государственного бандитизма. Насчет необузданного разврата — нам казалось это вполне правдоподобным (а на что еще человеку нужна неограниченная власть? Она должна быть лично приятной!) и потому сомнений тоже не вызывало...

Короче, новое правление началось точно как сталинское: падали старые вожди, видевшиеся символом террора. (Троцкого до сих пор в России представляют как бы зарядом ленинской диктатуры, чуть ли не крайним радикалом, хотя именно он первым предложил ввести НЭП и беспощадно высмеивал сталинскую коллективизацию как «бездарную глупость»!) В вожди незаметно выдвигался самый серый, самый неказистый член в верхушке. Таким виделся Сталин после смерти Ленина, а сейчас — секретарь ЦК Никита Хрущев...

И действительно, к сентябрю 1953 года на первый план в политике вышел наш дорогой Никита Сергеевич.

...Секретарь ЦК сделал на пленуме доклад о сельском хозяйстве и как бы открыл нам глаза на то, о чем тайно все догадывались, но даже самим себе не смели признаться. Политика Сталина и война подорвали фундамент российской державы — ее сельское хозяйство. Гигантская, самая большая в мире страна жила теперь, не имея опоры, фундамента...

Впервые Никита огласил цифры, которые раньше знали, видимо, только в ЦК. Средний урожай в 50-х годах оказался ниже, чем до войны, а до войны он считался значительно ниже, чем до коллективизации...

Видимо, Сталин в сельском хозяйстве пал жертвой того же стратегического просчета, что и при подготовке армии к войне. Он автоматически предположил, что новейшие машины и минеральные удобрения скомпенсируют потерю кадров и сельское хозяйство в колхозах выправится само собой, как только трактора и апатиты появятся в изобилии на полях. Но как в армии даже самые лучшие танки и самолеты не могли заменить

опытные и обученные командные кадры, так и на колхозных полях ни машины, ни компосты не способны возместить дурное управление землей безграмотными (не вообще, а именно в этом деле) председателями и директорами.

Что далее на земле делать — никто в руководстве не представлял! Пожилые члены политбюро бросили сельское хозяйство фонтанировавшему энергией Хрущеву: у него силы имеются, вот пусть и возится...

Дальнейший ход политики легко просчитывался каждым, кому был из истории знаком процесс захвата власти Сталиным. В обычное время в Союзе господствовала власть, подобная абсолютной монархии. Ленин имел прерогативы, сопоставимые по власти с автократом из Зимнего дворца. Сталин захватил абсолютно самодержавную власть. Мы привыкли, что Россией правит именно царь, только называемый теперь по-иному — скажем, Хозяин. Но! В период междуцарствия в новом типе государства проводились выборы в верховные органы власти — и выборы в цари тоже! Преимущественно их проводили органы аппарата партии. А такие выборы организовывал и контролировал секретариат ЦК (как метко сформулировал товарищ Сталин, «неважно, как голосуют, важно, кто подсчитывает голоса»). Через аппарат ЦК Сталин мог заваливать на выборах куда более авторитетных, чем он, ленинских соратников-лидеров. Получив в руки аппарат ЦК, ту же игру повел Хрушев. Мне, во всяком случае, было ясно, что скоро он приступит к сбросу сталинских ветеранов, как в свое время Сталин спихнул ленинское окружение, недооценившее интригана-генсека.

Но как бы то ни было — начался период «оттепели», названный по заглавию повести Ильи Эренбурга. (Забавно, что Никита Сергеевич обиделся на это название. Он претендовал, оказывается, на... «весну»!) Имя Сталина как-то незаметно исчезло из печати. Время от времени появлялись статьи или очерки, которые дерзали поставить под сомнение основы сталинского режима. Повто-

ряю: мы находились во власти марксистских идей, это так, но применение их выглядело принципиально по-иному, чем прежде, как тогда говорили, «по-ленински»...

Обычно в России со времен XIX века зачины перемен закладывали через толстые журналы. Именно в них публиковалась идеологическая новизна, прорывалась новая линия, именно редакции толстых журналов де-факто становились штабами негласных политических партий, хотя так их, конечно, никто не смел называть... После смерти Сталина первым штабом стала редакция «Нового мира», возглавляемая поэтом Александром Твардовским.

Видимо, Твардовский, чувствуя крепавший ветер перемен, решил печатать в конце 1953 — начале 1954 года серию статей, всколыхнувших общество. Их писали прозаики Владимир Померанцев, Федор Абрамов, Михаил Лифшиц. Потряс едва ли не всю послесталинскую интеллигенцию именно Владимир Померанцев, автор статьи «Об искренности в литературе».

Что же сочинил этот сокрушитель основ, которого месяцами поливали в центральных газетах ведущие писатели и уж тем паче кадровые работники? Он призвал коллег не заглушать проблематику. Неискренность — это ведь необязательно ложь, гораздо чаще это уход от реальных проблем в лирику, например; можно элегантно убежать литератору в фантастику... Например, не живописать колхозное «богачество», но умолчать о серьезных недостатках в колхозном планировании, в оплате труда крестьян.

— Не писать, пока не накалился, — призывал Померанцев. — Знать, за что борешься... Не думать о прокурах... Не выписывать выводы, но не допускать ни одной строчки бездыханной. Быть самостоятельным. И тогда моя правда сольется с правдой общей.

Наверно, цитаты из него покажутся современникам странными. Что, собственно, такого уж революционного высказал Померанцев? Что могло настолько потрясти публику, что ЦК сместил главного редактора журнала и

назначил, как им виделось, более верного человека, Константина Симонова?..

На практике же мнение ЦК видится мне абсолютно правильным.

Померанцев посягнул на основу советской жизни и уж тем паче литературы — на ее партийность.

«Партийность» — этот ныне позабытый термин означал вот что: если твое мнение по какому-то вопросу разошлось с мнением руководящих инстанций, ты, литератор или вообще любой человек в СССР, обязан не просто поменять поведение, свои действия, но обязан сменить собственные убеждения. Именно так, хотя сейчас это звучит — понимаю — невероятно... Так что с «искренностью писателя» принцип коммунистической партийности никак не совмещался...

(Цитата из нынешнего интервью новосибирского инженера Феликса Кочубиевского: «Ташили ли меня в партию? Было такое. Довод: “Вы — работник с такой ответственностью — и не в партии?” Я стал изучать устав. И обнаружил два пункта, совершенно меня не устраивавших. Во-первых, член партии не имел права на высказывание собственного мнения после принятия какого-то решения. Даже если ты был с таким решением не согласен. Во-вторых, исключалась возможность любого, даже отдаленного инакомыслия. Так, должна быть безусловно исключена “возможность попыток фракционной деятельности”. Даже не самой деятельности, даже не попыток ее, а *возможность* попыток... Что партия недемократическая, я знал и раньше, но что устав настолько недемократичен — меня удивило. Я-то думал, что это вроде советской Конституции, ее положения никто не исполняет, но сама-то Конституция отменная. А здесь и сам устав тюремный! Я пошел к другу — члену партии и спросил: а если партия постановит, например, что все лысые неблагонадежны (я уже был лыс), как ты поступишь в отношении меня? Он ответил: “Можешь рассчитывать на мой голос!” — “А на твой волос?” Он не ответил, и вопрос с партией был для меня исчерпан»).

Может быть, именно здесь нужно объяснить, почему вышло так, что мы, воспитанные в тотально пронизанном идеологией обществе, выросли свободными людьми?

Я размышлял над этим парадоксом с давних времен. И вывод получал всегда один: советская власть совершила колоссальную ошибку, опираясь с лета 1934 года на русскую культуру и российскую историю.

Возможно, иного выхода у нее не оставалось, учитывая грядущее столкновение с Гитлером и необходимость более прочной, фундаментально духовной базы для войны, чем былой пролетарский интернационализм. Однако русская культура и история постоянно и незримо разрушали фундамент СССР, воспитывая в молодежи ее несоветскую основу.

Например, Пушкин неизбежно взращивал в нас чувство личной чести («Береги честь смолоду»), Лермонтов внушал презрение к приспособленчеству («Страна рабов, страна господ»), Гоголь учил уважать каждого человека — даже самого малого... Русская классика противоречила азам, внушаемым нам советской моралью, пусть даже вьевшейся в душу. Я, например, знал твердо, что если встречу врага советской власти, то обязан на него донести, это считалось как бы долгом любого честного человека... Но никогда этого сделать на практике не мог — и не смог бы точно. Человек, воспитанный на русской классике, не мог примирить свою совесть пусть даже с самым правильным, на его же взгляд, доносом.

Огромное влияние на нас, детей, оказывали советские книги из так называемой маршаковской школы Детгиза. Авторы и редакторы ее почти всех уничтожили. С точки зрения советской власти они свою судьбу вполне заслужили. Правда, обвинили их в шпионаже — в пользу... Японии, ну разумеется (в Ленинграде и Мурманске!). Но меня как личность эти детские книги полностью сформировали. Конечно, их изымали, где

могли, но мне здорово повезло: я уехал на Урал, а там, в провинции, контроль над библиотеками, особенно в селах или небольших городках, был менее жестким, чем в Питере. (Контролеров, что ли, не хватало?) И я читал — хотя не понимал, конечно, почему нигде в других местах не мог ни достать, ни перечитать, ни узнать хоть что-либо об авторах и о самих книжках. Например, огромное влияние на меня оказала книга Константинова «Карта рассказывает» — о великих географических открытиях. Она определила мои интересы на десятилетия вперед, но только через полвека в Израиле я узнал, что Константинов — метеоролог, расстрелянный где-то на Кольском полуострове. В ирбитской библиотеке мне выдали книжку по истории инертных газов, пробудившую интерес к проблемам физики и к физикам. Через десятилетия я узнал, что ее написал М. Бронштейн, великий в потенциале физик, друг и коллега Ландау, расстрелянный в 1938 году. Подобных книжек оказывалось множество. (На Урале, например, впервые в жизни я узнал про реле, про роботов, про глissеры, про вертолеты — еще даже слова *вертолет* в языке не существовало, еще говорили *аэроплан*, а не *самолет*!) Я впитывал все, не запоминая фамилий авторов. По возвращении в Ленинград пробовал выписывать что-то в Публичной библиотеке и неизменно натывался на ответ: «В каталоге не числится»... Например, попался какой-то детский альманах с дивным переводом отрывка из «Витязя в тигровой шкуре». Я влюбился в поэму и не мог понять, почему в толстых журналах печатают не эти дивные стихи, а какой-то тяжеловесный, просто не выговариваемый по-русски перевод. Лишь десятилетия спустя услышал совершенно секретную фамилию того первого переводчика — Заболоцкий!

Наверно, так и стал догадываться, как люди достигают не Вечности, нет, конечно, но Бессмертия — через книги, которые сочиняли и оказывали влияние на неведомых людей, чаще всего молодых, жили потом в этих людях в странной, постоянно обновляющейся форме.

Но вернемся в историю 40–50-х годов — не во всюсоюзную, а в мою собственную.

В середине 50-х я закончил, наконец, педагогический институт. Почти все оценки в дипломе красовались «отличными», но, разумеется, об аспирантуре невозможно было даже говорить — не до такой степени новое время виделось новым в сравнении со сталинским. Да, вроде бы оно новое, но принципиально не иное. Не сталинское, но все-таки вполне советское...

Здесь снова подходящий момент — объяснить мое видение «еврейской проблемы» в тогдашнем СССР.

В первые годы советской власти, наверно, имелась подлинная юдофобия, взращенная в России православной церковью. Она действовала на многих приверженцев «белой идеи». И позже Церковь тоже искренно верила в собственный миф, что ее, мол, преследуют большевики, прежде всего как иноверцы, как евреи — люди чужой и враждебной религии. С такой точки зрения травля священников и веры казалась логичной и неизбежной... Но с конкретной исторической позиции церковный миф видится мне полной чушью. Да, большевики гнали Бога и любую конкурирующую систему идей, верно, но — делали это совершенно независимо от былых религиозных традиций гонителей. Всякий конкурент большевизма подлежал искоренению, включая христианство, но иудаизм тоже — такова уж суть тоталитарной власти.

(Именно у евреев чужая вера по традиции считается совершенно неинтересным объектом для внимания, это и до сих пор именно так.)

Не юдофобия, нет, но возникла групповая конкуренция в партии, в частности между русскими и евреями. Для организационной структуры в ВКП(б) вражда групп и группочек считалась обязательной нормой. Почему ж ей не быть и национальной вдобавок?

(В 20-е годы врагами считались преимущественно русские люди как представители более могущественного и сильного народа, а вот со второй половины 30-х — евреям.)

Но к 50-м годам, к эпохе Хрущева, схватка внутрипартийных национальных групп казалась законченной. Русские овладели всеми высотами и поставили перед евреями в системе партийных кадров неодолимые барьеры. Вроде можно успокоить партийные нервы... Но — не сложилось.

Почти до конца советской власти юдофобская кадровая политика велась активно, последовательно, решительно. Почему? Партийцы сами этого не понимали. Толковали, что у евреев свое государство, значит, их можно подозревать в двойной лояльности; бродило и другое объяснение, что евреи симпатизируют Штатам, поскольку они там в силе, и прочая трепливая чепуха... Во всяком случае, секрет антиеврейской политики скрывался вовсе не в национальной юдофобии, хотя я не отрицаю, что, наверно, имелись в партии искренние антисемиты, но ни в одном начальнике я не ощущал подлинного жидоедства... А среди знакомых лидеров русских националистов, так называемой русской партии, ясно различал даже симпатию лично к себе и к другим евреям.

Вот как эта проблема виделась моим сознанием.

Из евреев по решению партии негласно создавалось особое сословие для исполнения чрезвычайных нужд советского режима.

Ограниченные в нормальных социальных возможностях евреи страстно стремились преодолеть невидимые границы, что теоретически считалось вполне возможным, дозволенным (ведь поставленные преграды не имели явных признаков). Как только возникала проблема, которую начальству предстояло решать самым срочным образом (например, создать бомбу, или новую химию, или еще что-то подобное), устным указанием евреям открывали к ее решению кадровый проход (попросту их туда брали вопреки прежним указаниям)... Они устремлялись в новую дыру с азартом, ибо проход виделся выбросом энергии нации из своеобразной кишки, из новой «черты оседлости». Обдумайте парадокс: евреев не пускали ни на какие секретно-привилегированные

должности — они же занимали ключевые позиции в сферах, где таились самые важные государственные секреты. Но за такую привилегию им приходилось платить, выкладываясь по полной программе в ракетной технике, в космосе, в ядерной сфере... Кроме того, они виделись аппарату незаменимыми «винтиками» в исполнении функций, которые начальству самому казались желательными, но оно их выполнять не умело или не могло. Тогда начальник нанимал безработного еврея, который для него вкалывал за казенную зарплату, а плоды работы доставались, естественно, начальнику. Очень удобная система, согласитесь. Понятно, почему власть ее неизменно поддерживала... При любом вожде, при любом государе это выгодно, а потому всегда существовало!

Так возникла основа для современных споров юдофилов с антисемитами. Юдофилы жаловались на дискриминацию еврейства, а антисемиты указывали на евреев, игравших ключевую роль в важных точках исполнительной власти. Я сделал парадоксальный вывод: евреи на деле, т. е. реально, оказывались привилегированным сословием в СССР! Власть постоянно испытывала мой народ на прочность, заставляла евреев оттачивать способности, трудовые навыки, непрерывно ориентироваться на новое в науке и в технике управления... Русским людям пришлось много хуже, хотя ни русские, ни сами евреи этого не осознавали — по близорукой примитивности обывателей в составе обоих народов. С одной стороны, русским обычно подкладывали мягкую государственную подстилку — всякие там стипендии, премии, продвижения, но это как раз и расслабляло народ и его кадры, в отличие от закаленных евреев! Меня, помню, следователь все допрашивал, не объясняется ли возникновение во мне антисоветских убеждений дискриминацией меня лично как еврея. И я совершенно искренно отвечал:

— Валерий Павлович, советская власть — благодетельница еврейского народа! Она заставляет нас выкладываться как можем, она напрягает еврейские силы до

предела. Русским людям приходится хуже. Вас она разлагает...

Я и до сих пор так думаю. Советская дискриминация создавала для еврея особую, психологически благоприятную обстановку: если еврей, скажем, проваливался на приемном экзамене в институт или его не брали на какую-то работу, то он, как правило, никогда не винил в этом себя. Нет, он, конечно, конфетка, он талантлив и умен — просто как еврей — сокровище, а сволочи-антисемиты его загробили... Это внушало еврею необходимую уверенность в себе, заглушало сомнения, порождало надежды на будущее — мол, в каком-то другом возможном варианте общества все у нас получится. Русскому человеку, несомненно, много проще оказывалось добиться поставленных лично им целей, это правда, но зато он такую цель много меньше ценил и работал над ней без излишнего напряжения, а если его заваливали (без этого никогда не обходится), у русака не оставалось веры в себя, никакого утешения: он бездарь, ни на что не годен... Именно советская власть, дрессируя евреев, обеспечила им в будущем относительно легкую приспособляемость к передовым обществам мира — в Штатах, Германии, Израиле.

...Короче, закончил я институт и надеялся получить хорошее распределение. Хорошее — значит отправиться туда, где разрешат работать по специальности, а не загребут в армию. (Наш педвуз был на 95 % женским, и военная кафедра не присваивала выпускникам офицерских званий, поэтому мальчикам требовалось после диплома служить в действующей армии 3 года, чего мне абсолютно не хотелось.)

И тут подвернулась редкая, вдобавок патристически удачная возможность.

Никита Сергеевич Хрущев объявил призыв молодежи на освоение целины! Это и оказался его план оздоровления сельского хозяйства. Все равно, наверно, думал генсек, колхозную деревню в Центральной России не поднять, она подорвана намертво, но в стране с такими

немерянными ресурсами, как Союз, всегда имеется выход — можно устремиться к лежащим втуне резервам. В Казахстане и на Алтае расположены миллионы гектаров непаханой земли, надо ее засеять, освоить — вот и готово решение. Огромное количество дополнительного зерна заменит то, которое теряют колхозники России и Украины. Я случайно пошел (вместе с лучшими друзьями на курсе Алексеем Адмиральским и Мариной Воложаниной) на собрание в Союз писателей, где журналист Кирилл Косцинский, только что вернувшийся из командировки на целину, буквально воспевал героизм советской молодежи, подвиги ее на алтайской целине. Очень он был захвачен романтикой преобразования природы.

(Не могу не отметить, что довольно скоро Кирилл превратился в советского политзаключенного и отбыл приличный срок на зоне. Но это я так, к слову...)

И там, на собрании, в моем мозгу зародилась идея! Все равно пошлют в какую-нибудь дикую глушь. Так почему б самому не попроситься именно туда — на целину? Так сказать, в русле хрущевского потока... Я поделился идеей с друзьями — и мы втроем решили проситься на Алтай.

Все получилось. Дорога оказалась дальней, с несколькими пересадками. В Барнауле, столице Алтая, нас с Мариной отправили в Усть-Пристанский район пароходом по Оби. В Усть-Пристани пришлось дополнительно хлопотать, чтоб меня направили в одну школу с Мариной. Это была средняя школа в Красноярске, в 35 км от райцентра (добрались мы туда на грузовике, перевозившем целинное зерно), в 150 км от железной дороги. Истинная окраина! На горизонте стеной возвышались Алтайские горы... Лешку отправили в соседний район. Сразу же возникла проблема отсутствия жилья. Когда в заселенные местными жителями поселки приезжали тысячи добровольцев, мест для них остро не хватало. Поначалу мы с Мариной обосновались в одной комнате — единственной свободной, обнаруженной нами на селе. Где-то через полгода я сумел снять полати у другой хозяйки — там и

прожил остальные месяцы... Вдобавок школа оказалась растущей, в ней лишь первый год образовали восьмые классы, поэтому часов не хватало. Марину взяли по специальности — литератором, ну а мне досталось то, что оставалось свободным, — история, конституция, английский язык, география. На второй год географию заменили физикой в старших классах.

Работал я с азартом и удовольствием, ощущал себя великим культуртрегером, тем, кто несет факел знаний в место, где без него ничего похожего не загорелось бы. Этаким светоч цивилизации! (Чего вы хотите, наивный романтик, мне шел 22-й год.) Уроки давались легко... С первого дня я чувствовал себя в классе на законном месте; видимо, по природе я школьный учитель. Работал с удовольствием, дети ко мне относились с доверием и преданностью. Хорошее время — школьные годы!

Мой учительский стаж невелик, но все же относительно приличный: я отработал в разных школах 9 лет. Я постоянно придумывал новые методики, чтобы преподносить по-своему учебный материал, а позднее, уже в Ленинграде, сделал сообщение на Всероссийских педагогических чтениях о методике преподавания «Горе от ума» в вечерней школе и получил приз — почетную грамоту Педагогических чтений, а мой доклад выпустили отдельной брошюрой в Академии педагогических наук.

Конечно, я стал общественным активистом — как иначе! Я ж комсомолец-целинник... Парторг предложил вступить в партию коммунистов. На мое счастье, он не понимал меня совершенно и решил дополнительно соблазнить — как нормальный человек нормального человека:

— А когда вступите, Михаил Романович, мы поставим вопрос о получении вами квартиры.

(По просьбе учеников — мол, нам трудно произносить ваше отчество Рувимович, я стал в деревне Романовичем. Однако позже, переехав в Ленинград, вернул себе настоящее отчество, решив, что уж питерские-то ребята вполне могут к нему приспособиться. Моя школьная кличка у учеников в Питере была Рувим.)

Как-то мгновенно я осознал, что меня покупают квартирой, — и оборвал разговор, более никогда к нему не возвращаясь. Никогда в жизни я не вступал ни в какую партию (в Израиле, к слову, тоже).

Два года, проведенные на целине, видятся едва ли не самыми важными в новейшей истории Советского Союза. Это 1956—57 годы. Прежде всего это эпоха секретного доклада Хрущева на XX съезде КПСС!

В Израиле я читал, что доклад считали великим государственным секретом, его текст ни один агент разведки не мог добыть, а ЦРУ назначило, кажется, миллион долларов за него... В Красноярске директор школы Евфалия Антониновна Шипулина вручила мне брошюрку с этим текстом и поручила читать вслух на собрании. Присутствовали все учителя школы, включая беспартийных. И пару часов я читал его в полный голос. Произвел он сильнейшее впечатление, может быть, потому, что составлен был абсолютно из привычных сталинских блоков (только против Сталина, но это деталь). Даже попытки что-то в истории объяснить не делалось, почему, мол, такие жуткие преступления совершались, зачем Сталину требовалось уничтожать кадры своей партии... Злодей был — и все! Какие нужны вопросы? Ужасный характер, непомерное властолюбие — и хватит! Культ, видите ли, личности. Говорю: чисто сталинский подход. Нам все казалось привычным, Сталин к подобным текстам приучил нас с детства. Помню, пришел я после собрания к Марине и говорю:

— Значит так: враг народа номер один?

А хозяин услышал и высказался:

— За что ж я-то сидел?!

А сидел он ни много ни мало — 10 лет.

— Как японский шпион. Я их только об одном просил: скажите мне, где она, эта Япония находится, чтоб я хоть знал...

С другой стороны, именно оттого, что никаких объяснений происшедшему в тексте не были, доклад развязал мозги в стране. Почти каждый пытался на свой лад и вкус

что-то себе объяснять, как-то понять прошедшее, прикладывать личные объяснения к фактам, которые Никитой не затрагивались вовсе... И каждого волновали, конечно, факты, связанные с его историей, — крестьян с крестьянской темой (хотя о них Хрущев ни слова не сказал), генетиков с научными проблемами, евреев с их странным существованием, военных с их прошлым. Да и прямое воздействие фактов доклада тоже оказало на мозги людей великое влияние. Партийная номенклатура, например, едва ли не впервые осознала, что именно партия явилась самой крупной жертвой террора: в процентном отношении к численности репрессированных партийный аппарат оказался чемпионом по жертвам. Снова подвергаться подобному риску аппарат КПСС уж точно не хотел...

Неужели Хрущ действительно просчитал возможные комбинации развития событий? Неужели оказался настолько политически проницательным? Но не мог же он не понимать, что первый вопрос, который возникнет во всех мозгах, — «А где вы были, господа хорошие?». И вопрос люди обратят прежде всего к ветеранам сталинского руководства Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Маленкову... К тем, кто пока что считался в массах и в самой партии деятелями, более авторитетными, чем Хрущев, провинциальный секретаришко... Доклад против Сталина сыграл уникальную роль в удалении от власти ветеранов, конкурентов нового генсека, в замене их его собственными придворными в политбюро... Он, конечно, предвидел эту политическую выгоду — реальную и незаменимую, но, с другой стороны, не мог не понимать: а старички-то, которые сидят пока на ключевых постах во власти, могут первыми сообразить, куда он дело разворачивает, и постараются избавиться от соперника. И вполне в их силах успеть этакое сделать! Как он, интересно, планировал дальнейшую игру по захвату власти?

Почти сразу его конкуренты в политбюро приняли меры по торможению реформ. Но никакие постановления ЦК, никакие устные указания не могли удержать мысль населения, разбуженную от пленительного, удоб-

ного сна, когда все решения вместо народа принимал вождь... «У Сталина, говорите, характер обнаружился вздорно-жестоким? А где гарантия, что с новым вождем такое не повторится? Э нет, господа товарищи, так дело не пойдет», — вот что бродило во многих-многих умах!

И начались штормы в национальных компартиях, да и в странах народной демократии.

После войны Сталин вел дикую чистку, требуя повторять советский опыт буквально. Он физически уничтожал сопротивлявшихся в Восточной Европе. (Среди ветеранов-коммунистов, насмотревшихся в Москве на сталинские порядки, многие скептически относились к советской модели, особенно к коллективизации в сельском хозяйстве.) И потому когда в восточноевропейских столицах выяснили, что товарищ Сталин не во всем и не всегда оказывался прав... О, значит, можно что-то переделать? А у населения вообще возникала коренная иллюзия, что, может, можно избавиться от самого московского начальства.

В Советском Союзе к концу жизни Сталина почти все члены политбюро думали, что вождь проталкивает ошибочную политику; только этим можно объяснять дружное реформирование линии Сталина сразу же после его смерти. А что говорить о коммунистах Восточной Европы, тем паче что там и народы относились к новой власти как к оккупационной модели, навязанной новыми захватчиками?!

Легче всех пережила период Польша (ее так и звали: «самый веселый барак в социалистическом лагере»). Варшавское руководство, включая главу партии и государства Болеслава Берута, всегда опасалось буквального повторения советского опыта. Оно ловко маневрировало, чтобы спасти все, что можно, из национальных традиций, в частности, не выносили смертные приговоры для политических оппонентов (смертные приговоры существовали, их приводили в исполнение исключительно властью советников от советского МГБ). Поэтому в Варшаве могли физически уцелеть сторонники «коммуниз-

ма с человеческим лицом», а главное, остался жив, хотя и в тюремной камере, Владислав Гомулка, генеральный секретарь компартии во время германской оккупации. Так что у поляков имелась сильная внутрипартийная оппозиция во главе с лидером, хотя и коммунистом, но авторитетным в широких массах. Это давало Польше шанс на мирный переход власти к противникам сталинизма...

В Москве поляков элементарно побаивались, учитывая восьмилетний опыт сопротивления Украины, и догадывались, что в Польше сопротивление будет немалым и не менее вооруженным... Так что, елико возможно, хотели бы договориться с Варшавой миром — при условии, чтоб не потерять лица. Поляки дали Кремлю такую возможность...

Опаснее для Никиты была ситуация в Венгрии.

Здесь Кремль подвел интуитивный антиеврейский предрассудок в руководстве. Венгрия — последняя по времени союзница Гитлера. Спецслужбы рейха свергли в 1944 году национального лидера Хорти, передав власть сопартийцу Салаши. Потому Венгрия сражалась с Советами до последнего солдата, подверглась жесточайшим грабегам и насилию. Советские агенты не смогли обнаружить местных сторонников Сталина, поэтому Кремлю пришлось, вопреки собственным симпатиям, доверить жестокое антинациональное правление приезжим холоум, евреям-политэмигрантам. И московское владычество виделось многим венграм таким еврейским господством в Будапеште. Когда политическая ситуация в стране накалилась, в Москве решили использовать для разрядки старый политический трюк — пожертвовать «евреями» и все мерзости и гадости режима списать на «старых большевиков», назначив во власть какого-нибудь чистокровного мадьяра, и успокоить этим возбужденное население. В эрзац-вожди Берия, как я предполагаю, выдвинул своего человека, т. е. старого агента ГБ Имре Надя. Новый лидер возглавил правительство и, видимо, с одобрения шефа, который, как мы теперь знаем, был либеральнее и проницательнее, чем оппоненты в Крем-

ле, начал решительные реформы. Но вскоре арест Берия дал перевес Молотову и Хрущеву, и тогда Надя заменили обратно — на еврея-эмигранта Эрне Герэ (выбора-то у них не имелось! Правда, сплетничали, что Герэ считался очень способным от природы деятелем). Естественно, после XX съезда страсти в венгерском народе разыгрались с устрашающей силой — тем паче что на Дунае имелся прекрасный объект для разжигания бунта. Там правил, вопервых, еврей, а против него стоял готовый возглавить народ мадьяр Надь... И Надя снова сделали премьером.

Я не собираюсь излагать здесь историю венгерского восстания — не моя тема. Просто хочу объяснить, почему ввод советских войск в Будапешт не вызвал в СССР, в Ленинграде в частности, серьезных общественных протестов. А это моя тема...

Венгерское восстание возникло стихийно, его участники не знали реальной расстановки сил в мире. Да и Москва, надо отдать должное, тоже не жаждала военного решения.

(Недавно я читал обсуждение в ЦК, где даже маршал Жуков, предельно воинственный деятель, высказался так, что «только и умеем, что стрелять» и требовал политических договоренностей с венграми.)

Имре Надь вполне мог бы сохранить страну от оккупации, получив из Кремля полномочия самостоятельно развивать страну, — это было по силам новому будапештскому правительству. Но воинственные повстанцы развязали дикие зверства, террор, убивали советских «агентов влияния» прямо под окнами советского посольства, демонстрировали ненависть к Москве и тотальное недоверие к либерал-коммунистам из окружения Надя. В Москве не поверили, что коммунисты, пусть даже либеральные, смогут удержать реальную власть в руках, и потому предпочли террор и оккупацию. Ошибки венгерских повстанцев (не имею представления, насколько об их ошибках позволено говорить в Венгрии сегодня, думаю — не слишком) привели к тому, что в СССР общество восприняло интервенцию Советской армии относитель-

но спокойно. Ну неприятно, конечно, но что ж делать, такова жизнь, не нам ее менять... Я лично осознал, что именно произошло, лишь через год, как раз после казни Имре Надя и его соратников. Это действо сумело выявить мне размах подлости и зверств оккупантов...

Но говорить о том, что захват Венгрии всерьез повлиял на настроения в Союзе, по-моему, нельзя. На кого-то наверняка повлиял — но это оказалось неширокое движение.

Как ни странно, куда сильнее всколыхнула общество публикация в «Новом мире» романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Сегодняшнему читателю, наверно, непонятно, что уж такого радикального было в романе, почему полемика охватила миллионы людей, включая первого секретаря ЦК... Сюжет книги прост: внедрению какого-то изобретения мешают рутинеры-бюрократы... Дудинцев, конечно, ставил в центр внимания общества важнейший для Союза вопрос: насколько реальны преимущества, рекламируемые социализмом, насколько они на деле обеспечивают Союзу превосходство над капитализмом? Ибо главное преимущество социализма, которым нам тыкали в нос десятилетиями, сводилось к тому, что социализм не допускает растрат сил и средств на конкуренцию, на схватки деловых людей друг с другом. Социализм проводит предельную концентрацию и мобилизацию сил для решения всех главных задач, волнующих народ. Он изображался как целенаправленная, сосредоточенная система для решения национальных проблем.

А в романе читатель имел реальную картинку — как управленцы принимают решения. Система выглядела далекой от элементарно разумного действия. Конфликты руководителей с новаторами, оказывается, тормозили любую инициативу. Конечно, кончался сюжет хорошо, победой изобретателя, иначе не напечатали бы текст вообще, но герою удалось прошибить чиновные препоны лишь потому, что его нашел — сам нашел! — некий деятель из ВПК, обеспечивший изобретению место в

реальном производстве. То есть показывалось, что централизация всего и вся в одних государственных руках, возможно, подходит обществу, находящемуся в состоянии войны (поскольку у такого общества существует одна-единственная и зримая каждым цель — победа на фронте), но эта же суперцентрализация весьма несовершенна, когда приходится принимать решения в мирной жизни, когда цели, коих следует добиться, неясны и не видны четко пока никому...

Дуднцев поставил под сомнение главное преимущество социализма перед капитализмом! И начальство, надо признать, отлично поняло писателя — даже Хрушев, при всем его бурном реформизме. Главной бедой этого деятеля и одновременно главным источником его несомненной политической силы и воли мне видится искренняя приверженность марксистской теории. Теория, с одной стороны, давала четкий ответ на любой вопрос в природе, в истории, с другой — она же выглядела простой, доступной пониманию и усвоению любым полужнайкой — что семинаристом Сталиным, что подпаском Хрущевым. Поэтому Никита казался невероятно уверенным в мощи своей аргументации в беседах как с президентом Кеннеди, так и со скульптором Эрнстом Неизвестным (вдобавок и был от природы человеком смекалистым и ловким, что тоже помогало одерживать верх), а одновременно влипал в ужасные ситуации, когда любимая теория подводила его. А подводила она постоянно...

Прочитав роман, ближайший сподвижник Никиты по политбюро Микоян сказал: «Почитай-ка, Никита, автор пишет, будто тебя наслушался». Но лидер мгновенно уловил, что Дуднцев подрывает идейную опору его власти, и обрушил на автора все партийные орудия! А они оказались немалыми.

Я читал роман во время поездки в Барнаул и сильно вдохновлялся: конец календарного года, зимние каникулы, меня выбрали делегатом на краевые педагогические чтения. А на конференции доложили, что, мол, в стране студенты волнуются, особенно в Свердловске. Не поня-

ли молодые люди доклад Никиты Сергеевича, пришлось их сурово наказать...

Тут и вылез я, дурачок, на трибуну! Как же так, за что наказывают свердловских студентов? Не поняли доклада Хрущева? Так его и многие взрослые люди не поняли, мозги набекрень поехали. За что ж молодежь наказывать? Если кого-то наказывать, то преподавателей, что не сумели студентам объяснить...

Должен сказать: мне тогда в голову не приходило по наивности, воспитанной любимой школой, что я говорю что-то опасное для себя и вообще — «дую не в струю». И о том, чего конкретно добивались студенты из Свердловска, я представления не имел, да нам и не сказали в Барнауле ничего... Выступил и выступил, сказал, что думал, ну и поехал к себе обратно, через Алейск в Красноярку. Помню, билетов до Алейска не было, купил бесплаткартный, залез на багажную полку, привязал себя к отопительной трубе ремнем и проспал, усталый, всю дорогу.

Вернулся в школу, веду, как обычно, урок. Вдруг является комиссия во главе с зав. идеологическим отделом райкома партии с инспекторской проверкой. Сидят на уроках с утра до вечера — даже физику посетили. Мне, дурачку, даже понравилось: интересно людям сидеть на моих уроках!

И — устроили мне партийную проработку. Выручила, как я сейчас понимаю, моя бесконечная наивность. Мне в голову не приходило, что дискуссия с партийной властью есть дело опасное в Советском Союзе. Они мне аргумент, я им два, они мне два, я им четыре. И эта самоуверенность их смутила. С чего это она у меня? Кто скрывается за моей спиной? А может, я что-то знаю тайное о партии, чего до них, провинциалов, пока не дошло? Мало ли, ленинградец все-таки...

Как видится сегодня, особенно на начальство действовала моя бескомпромиссная защита романа Дудинцева. Я доказывал, что централизация управления — вещь вредная, а едва дяди уехали из Красноярки, как ЦК

по предложению Никиты опубликовал решение — передать управление от центральных министерств Советам народных депутатов. (Это характерно для стиля Никиты. Обругал Дудинцева публично, но идейку решил попробовать на практике: а вдруг получится что-то путное?)

В чем заключался истинный смысл работы комиссии, я догадался лишь через месяцы, когда в весенние каникулы отправился в райцентр, в Усть-Пристань. Грузовик застрял в дороге, продвигался я дальше пешком, провалился в какую-то яму, с трудом вылез, прихожу в райцентр весь в грязи с ног до головы и на улице встречаю второго секретаря райкома партии. И вдруг... Он не просто меня узнал (Откуда? С чего?). Он первым со мной поздоровался. Я абсолютно обалдел и позднее поделился полным недоумением с учителем местной школы.

— Чему ты удивляешься? — объяснил Виталий Степанов. — Ты ж у нас числишься главой местной оппозиции...

Признаюсь, польстило, что я впервые в жизни влип в политическую историю. И когда весной подал заявление об увольнении с работы (по личным причинам — любовь), меня легко отпустили, хотя отработал я только два года на целине, а закон обязывал отработать три... Без каких-либо возражений отпустили.

И вернулся я в Ленинград.

* * *

Не без трудностей прописался в родном городе, не без трудностей устроился на работу. В старших классах учились дети военных лет рождения, естественно, что часов уроков оказалось меньше обычного. А безработным мне нельзя: кто б меня кормил? К счастью, нашелся мой бывший соученик по школе и коллега, учитель истории Боря Коган и предложил поработать в туберкулезном санатории, расположенном в хвойном лесу, в 3 км от станции Токсово. Туда учителя не стремились даже в годы безработицы, а я с удовольствием стал ездить и преподавать литературу в старших классах.

Заодно я решил поучиться дальше. Поступать в аспирантуру не мог. Меня предупредили, что на кафедре уже решено, кого из поступающих они возьмут, так что экзамены служили лишь видимостью конкурса. Но я сообразил «прикрепиться» к кафедре и начал сдавать кандидатский минимум экстерном.

Обычно аспирант получает приличную стипендию в течение 3 лет и половину этого срока тратит на сдачу кандидатских экзаменов. Я же не получал никаких дотаций, что означало: предстоит экономить время и деньги. Поэтому сдал кандидатский минимум не за полтора года, а втрое быстрее! И уже весной 58-го мог подумать о следующем этапе — о защите диссертации.

Я посещал все читаемые для аспирантов лекции (прежде всего по истории философии) и заседания кафедры. На кафедре обнаружил ценного и важного в моей жизни друга — старшего из аспирантов Владимира Альфонсова. Молодой человек с Урала (из Перми), он тогда писал диссертацию о Блоке. Володя был среди нас лучшим знатоком творчества Блока и вообще Серебряного века русской поэзии. Он мне открыл совершенно неизвестную главу в русской поэзии. (Как нас учили — я писал уже выше. Наши профессора даже про Некрасова с Тургеневым ничего толкового не знали. Что уж говорить про Блока или Белого.) Запомнилось, например, как Володя объяснял мне, что, по Блоку, все творцы, когда встречаются с пропастью, думают по-разному — одним прежде всего приходит в голову мысль о бездне, другим — о мосте. Блок, несомненно, думал о бездне, Володя Альфонсов — тоже о бездне, но я-то — наивный — всегда думаю о мосте. И именно поэтому чрезвычайно полезным и важным оказалось для меня открыть, как думают и чувствуют люди принципиально иные, чем я. Этим знанием навсегда обязан Альфонсову.

Другим и, может быть, самым важным человеком в моей судьбе стал тогда же, в аспирантские годы, офицер милиции Владилен Травинский.

Владька появился в Герценовском в последние годы моей учебы в институте. На нашем курсе учились несколько его земляков.

Владилен Травинский родился в Биробиджанском районе и после школы решил ехать в Ленинград — поступать на истфак университета. Ничто меньшее ему, видите ли, не подходило... Конкурс оказался сумасшедшим, и юноша не прошел. Теперь парня должны были забрать в армию, но туда он совершенно не стремился. И Травинский нашел, как у него получалось всегда, оригинальный способ избавиться от службы — поступил в милицейское училище. Когда я с ним встретился в аспирантские годы, Владька уже был офицером МВД. Служба в милиции, конечно, открыла ему глаза на реальную ситуацию в стране, так что оказалась весьма полезной для жизни. Но офицер все же мечтал от нее избавиться и заняться творческим трудом.

Сейчас, глядя из будущего, я вижу главной чертой Владькиной натуры удивительную способность поддерживать людей и новые инициативы. Поразительно умел чувствовать в любом человеке скрытый талант, дар от природы — и помочь ему найти единомышленников, способных этот талант реализовать. Редчайший дар — во всяком случае, в Советском Союзе! Вокруг него всегда крутились непризнанные таланты, которые потом, десятилетия спустя, считались гордостью поколения. А ведь это он их первым угадал!

Наше близкое знакомство произошло следующим образом. Я почти каждый день ходил к друзьям в аспирантское общежитие Герценовского института. Однажды засиделись тесной компанией, весело проводили, как говорится, досуг. Вдруг является Травинский — в мундире, между прочим! — с необычным предложением:

— Ребята, сейчас модная тема в популярной литературе — освобождение колониального мира. А книг, серьезных книг по теме — совсем нет. Ни книг, ни авторов. Давайте объединимся и напишем вместе книжку про освобождение Африки. Каждый возьмет себе три-четыре

страны, напишет про них, а я сделаю предисловие — набросаю историю работорговли, с чего все начиналось. Мы предложим издать рукопись. Уверен — возьмут, издательствам не из чего выбирать!

Воодушевленные, мы согласились. Вскоре Владька вручил каждому список «его стран» с перечислением литературы, которую следует прочитать. Мне, помнится, достались Кения, Алжир и Марокко. Я добросовестно походил в Публичку, все прочитал, узнал кучу подробностей про Абдул-Керима и прочих противоевропейских борцов из арабского мира, но... писать, конечно, не думал. Еще чего: мне предстояло осмыслить будущую диссертацию. Я тогда всерьез перечитывал критические сочинения Анатолия Луначарского, которые, к слову, никто с тех пор так и не изучил с научной точки зрения, а вот я подумывал выбрать их как тему, так что, возможно, мог стать неким первооткрывателем...

Я оказался лучшим из возможных соавторов Травинского. Остальные аспиранты, по-моему, даже книг из его списков не раскрыли.

Прихожу как-то к Владьке домой (женой его была Таня Калецкая, студентка с нашего факультета), и он делится продолжением той же истории:

— Я сел писать свою «работорговлю» и, представляешь, вместо одной главы написал целую книгу! Танька ее отпечатала (Калецкая подрабатывала машинисткой. — *М.Х.*), я оттащил текст в Академию наук, профессору Ольдерогге...

Ольдерогге мы знали только как консультанта ЦК КПСС по африканским проблемам.

— Он посмеялся, но — взял читать. А вчера я пришел к нему снова, и он встретил меня криком: «Вы написали прекрасную книгу!».

— Ну?

— Обещал рекомендовать меня директору издательства.

Долго рассказывать продолжение истории. Длилась она годами, пока никому не известный автор пробил ру-

копись в Учпедгизе. Она вышла отдельным изданием, а потом в детском варианте ее напечатали в «Детгизе», удостоилась книга и хвалебного отзыва в «Правде». На Владьку обратили внимание, и главный редактор ленинградского журнала «Звезда» (тогда единственного в городе!) Холопов взял Травинского ответственным секретарем в свою редакцию.

...А я, сдав кандидатский минимум, стал думать: не попробовать ли мне поступить в очную аспирантуру? Получить, наконец, стипендию и спокойно поработать над диссером? А что? Я ведь минимум сдал... В качестве будущей кафедры выбрал советскую литературу в Ленинградском университете. С одной стороны, там удобнее виделось время для сдачи вступительной сессии, чем в Герценовском, а главное — заведующим кафедрой работал профессор Федор Абрамов, мой давний любимец в литературе и критике еще со времен «померанцевской кампании».

Сдал в ЛГУ документы, хотя особых иллюзий не питал. На два аспирантских места — очное и заочное — числилось семь кандидатов. Я, естественно, не рассчитывал на очное, полагая, что туда возьмут кого-то своего, универсанта, но все-таки надеялся хотя бы на заочное, на совместную в будущем работу с Абрамовым, но он на вступительных экзаменах не присутствовал, был в отпуске.

И вдруг произошло невероятное. Я получил четверку и две пятерки... Конечно, если бы кто-то еще сдал хоть на все тройки, приняли бы того. Отговорки на сей счет всем известны: «нам нужен член партии, мы хотим подготовить уже работающего преподавателя вуза» или что-то в этом роде. Но все шесть моих конкурентов получили... двойки! И к концу экзаменов я остался единственным кандидатом на два места.

Стал ждать, даже с некоторым любопытством, как они вывернутся. Напрасно сомневался — вывернулись.

Приехал из отпуска Федор Абрамов, вызвал меня к себе. Мол, познакомился с моим рефератом, сочинение

не произвело на него впечатления. «А мы принимаем только блистательные таланты». Я же, оказывается, неблистательный талант, поэтому не достоин учиться на кафедре Ленинградского университета...

Самое смешное, что я ему поверил. Можете представить наивного мужичка? Настолько в моих глазах всякое иное объяснение выглядело бы невероятным, что я — согласился. Реферат, к слову, был об «Облаке в штанах» Маяковского. Сегодня жалею только об одном — что написал его от руки (не умел печатать на машинке), сдал на кафедру, а там, видимо, он бесследно пропал... Насколько помню, в нем имелись нетрадиционные наблюдения над стилем и чувствами Маяковского. Ничего похожего я до сих пор, т. е. спустя полвека, не встречал в научной литературе... Жаль, что работа пропала.

Продолжаю работать в школе, обдумываю будущую диссертацию. И вдруг — опять вдруг! — произошло некое событие.

Всеволод Кочетов, главный редактор «Октября» и главный противник моего любимого «Нового мира», выпустил новый роман «Братья Ершовы». В институтском клубе объявили открытую дискуссию. Как некогда в Барнауле, я не придавал делу никакого значения, вылез на трибуну и разнес роман на кусочки — под аплодисменты студентов. На следующий день меня вызвали к проректору по науке, профессору Кушкову.

— Вы хотите защищать диссертацию?

— Конечно.

— В таком случае я могу посоветовать вам одно: вы должны удалиться из нашего института.

— Не понял!

— Чего ж не понимать? Мы не хотим принимать на себя ответственность за вас, за ваше поведение. Если вы придете к нам со стороны, мы вас как бы не знаем. Защита пройдет благополучно. Если же вы останетесь при кафедре, мы вынуждены будем прервать вашу работу над диссертацией. Теперь понятно?

— Но мне понадобится научный руководитель.

— С этим проблем не будет. Я позвоню на кафедру. Договорились?

— Договорились.

...Когда я вышел от Кушкова, то чувствовал себя, не скрою, несколько растерянным. Не то чтоб я ему не верил... Ну, хорошо, предположим, я защищусь. Где же я найду работу по специальности? Только в провинции — в Ленинграде ее мне не дадут. Но мне не хотелось уезжать из города — даже на приличную зарплату. Вот, кстати, еще одно из еврейских преимуществ — не получая казенных льгот, ты не должен за них расплачиваться подневольным трудом. Но если так — зачем вообще нужна диссертация? Я видел томики, стоявшие в научной библиотеке института. Никому не нужны, никто их не спрашивает... Потратить годы жизни на работу, которая никому не нужна? Да неужели я не заслуживаю лучшего?

И опять память подсказала историю Владьки Травинского. А что если просто написать книжку, благо я теперь ни с кем на кафедре не связан и никому ничем не обязан?

Но о чем ее писать? О ком?

Примерно в то время у меня в жизни возникло новое увлечение. В руки попала книжка без обложки и без титула, так что я даже не знал ни ее заглавие, ни имя автора. Биография народовольца Желябова, главного цареубийцы 1881 года, — видимо, из серии «Жизнь замечательных людей». В середине текста я обнаружил фамилию автора — Воронский. Она, конечно, была мне знакома, как человеку, сдавшему кандидатский экзамен. Так звали большевика, которому после Гражданской войны Ленин поручил возродить литературу — в ее советской форме, разумеется. Воронский создал журнал «Красная новь» и открыл плеяду талантливейших писателей. Самыми яркими из его питомцев считались Всеволод Иванов и Исаак Бабель. Потом я узнал, как мудро и тонко он их воспитывал, чтобы сохранить в литераторах традиции великой русской классики... Но и тогда, просто как ав-

тор, он захватил мое воображение. Мне хотелось писать так же, как он. Я возмечтал, если говорить в целом, создать историю русской революции!

...Видимо, идея носилась в воздухе: Александра Солженицына до войны захватила подобная мысль. Исаич собирался начать свою эпопею с августа 1914 года. Образцом, покорившим его воображение и талант, стал Лев Николаевич Толстой с его «Войной и миром» и серией задуманных исторических романов. Солженицын хотел создать нечто подобное в «Красном колесе». Думаю, замысел стал стилистической ошибкой великого писателя Земли Советской, ибо роман как жанр не подходит для описания грандиозных исторических событий, у него иные цели, иная направленность. В конце концов, разве мы читаем «Войну и мир», чтоб разобраться в истории? Нас интересуют Пьер, Андрей, Наташа... Мне видится, что цель жизни Александр Исаевич (знаю, что он — Исаакиевич, читал биографию в ЖЗЛ) успешнее исполнил бы, если б использовал тот великий жанр, что сам и придумал для «Архипелага ГУЛАГ». Но это отступление от темы, хотя по-своему неизбежное... Так вот, в моей голове бродила та же великая идея, что в его голове двумя десятилетиями раньше. Хотя для старта я выбрал не август 1914 года, а апрель 1866-го — дату первого выстрела в Александра II у ограды Летнего сада (я с детства помнил мемориальную мраморную доску на решетке, потом ее куда-то убрали.) «Покушение Каракозова», точнее — «Выстрел “Ада”» («Ад» — так называли заговорщики свое тайное общество) — название первой задуманной документальной повести... И я, как вы понимаете, видел в воображении не художественную, а документальную прозу.

Декабристов, «Землю и волю» 60-х, прочие тайные организации прошлых десятилетий я задумал ввести в некое лирико-историческое отступление, включенное в текст «Каракозова». Далее задумал написать книги-продолжения — «Нечаева», «Землю и волю» 70-х, «Народную волю», «80-е годы» (с Александром Ульяновым),

кадетов и эсеров, социал-демократов, «Ленина», «Сталина» и, наконец, финальную книгу серии — «Хрушева». Он виделся последним революционером России, кто искренно верил в идею, переворачивающую мир. Что его соратники и преемники (может быть, исключая Микояна) не являлись революционерами, а просто служили сановниками на должностях, я понимал уже тогда — в самой первой своей задумке.

Тут как раз вошел в мою судьбу Владька Травинский.

Мы встретились не дома, а в редакции «Звезды», на Моховой. И Владька предложил:

— Мишка, я плохо сейчас живу. Вроде пробился, и если напишу книгу, у меня сразу возьмут ее в издательстве, вообще все как бы в порядке... Но — нет идей. Никаких. Не о чем писать. Ни одного сюжета. Давай сделаем так, если ты не против. У тебя ведь в голове сидит куча отличных сюжетов, я знаю. Напиши какой-то один, как сможешь, хоть левой ногой, лишь бы сюжет подробно выписал. А уж я пройду по нему, сделаю из черновика книгу. Этому я научился, это я умею. Выпустим за двумя подписями, гонорар — пополам. Возьмешься?

Еще бы! Если не думать о стиле, об образах героев, а просто навалить события и факты на бумаге, Боже ж мой — что лучше для меня! Это все в голове варится. А вслед за мной мастер сядет за текст и сделает то самое, что нужно... Отлично!

Конечно, согласился.

Сидел, пыхтел, писал. Написал несколько сотен страниц. Тут снова повезло. Во-первых, меня призвали на военные сборы. По военно-учетной специальности я числился артиллеристом, а тут перевели в телеграфисты и предписали в течение полугода являться на курсы и заниматься новой военной специальностью. Неожиданно я обнаружил, что телеграфный аппарат и пишущая машинка имеют практически одинаковую клавиатуру. Так — за счет Советской армии — меня научили работать на машинке. Второе «везение» — наш город

оказался в плену жуткого гриппа, и районное начальство велело закрыть школы, пока эпидемия не стихнет. Так у меня оказалось аж десять свободных дней. Я зашел под Новый год в прокатную контору, взял на три недели пишущую машинку и напечатал повесть. Само собой, в процессе печати я самым решительным образом переработал сочиненную рукопись и отнес ее, наконец, Владьке на переделку.

Прошла неделя — он молчит. Ни звука. Мне обидно набиваться с разговорами... Неужели так плохо сделано, что нечего сказать? Наконец, преодолел себя, позвонил.

— Ну, что?

— Зайди. Надо поговорить.

Прихожу.

— Вот что, Мишка. Ты, видимо, меня не совсем понял. Я вовсе не собирался на твою горбу в рай въезжать. Я на самом деле думал, что ты напишешь черновик, над которым мне придется работать. Но это готовая рукопись. То есть, конечно, она нуждается в редакции, но ее вполне ты можешь сделать сам, без меня...

Таня Калецкая, которая присутствовала при разговоре, добавила:

— Он с таким удовольствием готовился к работе. Раскрыл и даже прицмокнул: «Ну, за Мишку, наконец, возьми». А потом... Сам видишь.

Так я и остался со своей большой рукописью один на один. Началась моя писательская жизнь и писательская карьера. Пока еще — параллельно с учительской работой...

* * *

Что делать с сырой рукописью? Конечно, редактировал ее я сам, но мне помогали опытные литераторы, иногда полужнакомые, великодушно пометившие многочисленные словесные огрехи (я ведь сознательно писал кое-как, рассчитывая на Травинского). Но потом, когда, как виделось, довел текст до ума, куда ж теперь ее деть, кому предложить?

Уже немного пообщавшись с редакторами журналов, я знал, как неохотно они занимаются любым «самотеком», каким исключением в их работе становятся публикации неизвестных авторов. Тем паче публикации рукописей на историческую тему... Это считалось непопулярным, несовременным жанром, соответственно не слишком нужной для редакции работой... Уж, во всяком случае, в Ленинграде никто мной точно заниматься бы не стал!

И я решил отправиться в Москву. Целью наметил редакцию необыкновенно известного в те годы и относительно смелого журнала «Наука и жизнь». В конце концов, история — по их части... А тираж у них, помнится, был под два миллиона!

В Москве остановился у однокурсника, писателя Бориса Камова (он занимался изучением творчества Аркадия Гайдара). Как-то к нему с визитом пришел «высокий столичный покровитель», критик и литератор Георгий Мунблит.

За столом возник естественный разговор:

— Зачем вы приехали в Москву?

Объясняю.

— А в какой именно журнал понесете?

Я сказал. Неожиданно Мунблит высмеял меня.

— Я отдаю все написанное в «Новый мир». Знаю-знаю, что вы ответите: они никогда меня не напечатают. Это так! Это правда. Но они отдают мою работу на внутреннюю рецензию своим критикам. И я получу на руки документ, после которого точно знаю свое место в сегодняшней литературе — чего я конкретно стою. Поверьте, такая рецензия — дорогое дело в жизни...

Я задумался всерьез. В сущности — ну что теряю? Ничего! И повез повесть в «Новый мир». Где-то поздно вечером поехал, когда почти никого в редакции не было. И вернулся домой, ожидая в Питере ответа.

Ответ пришел примерно через полгода. Толстый-претолстый конверт... Увы! Когда рукопись отвергают, то отсылают ее обратно автору (тогда так было заведено!), поэтому посылки с отрицательным ответом всегда толстые.

Но в конверт была вложена рецензия. И тоже необыкновенно (для жанра рецензии) толстая — страниц на двенадцать, помнится.

Она меня вдохновила, как немногое в жизни.

Это оказался настоящий хвалебный гимн. Ни одного замечания — только похвалы в мой адрес и собственные рассуждения автора рецензии об исторических событиях моего сюжета, совпадающие в оценках с моими. Господи, да кто же он, необыкновенный рецензент, любитель прозы Хейфеца?

Текст завершался словами: «Повесть Хейфеца несомненно заслуживает публикации». К машинописи было присобачено предложение от руки: «всюду, кроме “Нового мира”». И подпись: «Юрий Домбровский».

...Это была фамилия моего самого любимого (после А.И. Солженицына) современного писателя, автора замечательной повести «Хранитель древностей», опубликованной незадолго до того в «Новом мире». Вслед за подписью — домашний адрес. Я, честно сказать, даже не поверил глазам — и написал ответный вопрос: «Это вы — автор “Хранителя древностей”?». Он ответил: «Вещь моя». И я поехал к нему в Москву, заявился на квартиру — где-то возле Колхозной площади, помнится...

Мы сблизились сразу. Дружба сильно повлияла на мою судьбу, на мою личность.

Тут оговорю сразу: я, естественно, вполне понимал историю возникновения рецензии на «Выстрел “Ада”». Домбровскому передали в редакции толстую рукопись, чтобы «подкормить» любимца гонораром за внутреннюю рецензию. Когда же он принес отзыв в редакцию, там просто растерялись:

— Юрий Осипович, да вы что? После такой рецензии мы должны его печатать! Но у нас нет ни места, ни желания... Переделайте!

И он дописал от руки предложение, которое выручало журнал, но никак не меняло общей оценки...

Когда вспоминаю сегодня Юрия Осиповича, то по аналогии возникает в памяти монолог Бродского о его

дружбе с Анной Ахматовой. Она ведь не учила его писать стихи (как такое вообще можно делать?), больше того, сомневалась, что ее собственные стихи ему нравятся, но... Но ощущение, что ты оказался близок к такой личности, как Ахматова, для Бродского (или как Домбровский для меня), когда можно наблюдать, как подобный человек мыслит, что ценит, что знает и помнит, создавало некую цепь российского культурного наследия. Нас, темных мальчиков, как бы роднили с культурой прошлых веков, превращали в преемников поколений, которых мы не знали и знать не могли, погружали в атмосферу, которая некогда сгустилась в России. Потом ее уничтожили террором и травлей, но вот она возникала снова — вокруг уцелевших чудом стариков, и мы начали чувствовать, что живем... Правильно живем! Так, как только и стоит жить в России.

С Домбровским оказалось непросто общаться, во всяком случае мне. То, что он мне рассказывал, могло быть фактом или плодом его удивительного творческого воображения, в котором он существовал реально, сам не отделяя действительность от выдумок... Он постоянно рассказывал удивительные истории. Вот одна из них, чтоб читателю стало понятно, как все это слушалось и что я имею в виду, рассказывая про моего учителя.

Однажды по какому-то поводу я неуважительно отозвался об Александре Фадееве, бывшем секретаре Союза писателей.

Домбровский мгновенно возразил:

— При мне, пожалуйста, его не ругайте. Все знаю, что вы можете сказать, но я — я ему благодарен. До конца жизни благодарен...

Это произошло после войны. Я кончил срок, написал роман, сдал в издательство и в журнал, получил два аванса — и начал ждать решения. Пил, конечно. А решения все нет и нет. Мне друзья говорят: сходи к Фадееву, узнай, что с тобой и как. Я сначала упирался, а потом пошел.

Ну, раза два меня не приняли, а на третий я дождался приема. Вхожу.

— Домбровский?

— Домбровский.

Звонит секретарю.

— Скажите всем, что сегодня больше приема не будет.

Секретарь вышел. Фадеев встал, подошел к дверям, закрыл на ключ.

— Говорят, ты много пьешь, Домбровский?

— Есть такое дело, Александр Александрович.

Наклонился, достал из-под стола бутылку. Налил полный стакан.

— Пей!

Ну, я урезал.

— Вот что, Домбровский. Роман твой лежит в ЦК у Владыкина. Ничего хорошего для себя не жди. Ко мне уже присылали за информацией — кто, мол, ты такой. Пока я отговорился, что не знаю. Но до бесконечности так продолжаться не может. Так что иди и готовься. Все понял?

— Но, — говорю, — Александр Александрович, если по совести...

— Э нет! — прерывает. — В этом кабинете я по совести ни с кем и никогда не говорю. Так что иди и готовься.

Понимаете, что это такое — быть предупрежденным, успеть подготовиться к аресту. Поэтому — при мне никогда Фадеева не ругайте...

Такие вот возникали у него рассказы — каждый раз новые при новых встречах. Он знакомил меня с друзьями — Юрием Давыдовым (тот тоже писал о народовольцах), с Юрием Казаковым... Казаков, помню, выглядел ужасно грустным: его обвинили где-то, кажется, за декадентство (точно не помню). На него это сильно действовало. И я, наивный человек, напустился на писателя, рассказами которого восхищался.

— Как вы можете жаловаться? Вам Бог дал такую возможность, удивительную, уникальную, — писать такие рассказы, как «Отщепенец». (Где-то я потом прочитал, что у этого рассказа другое авторское название —

«Трали-вали», а «Отщепенцем» его назвали в редакции... Но я помнил официальный заголовок.) Вы же умеете делать то, что никто на свете не умеет, — так видеть и так писать! И вам всего мало. Вам надо, чтоб за это платили и еще — чтоб за это хвалили... Просто стыдно — слышать подобное от такого человека, как вы!

Он не обиделся... Честное слово. По-моему, удивился немного наивности, но — не обиделся.

История с рецензией Домбровского имела в будущем невероятно удачное продолжение.

... Мой друг Юрий Гурвич задумал написать серию очерков, и тему для них выбрал исключительно интересную. Его увлекла история советских изобретателей, но не тех, о которых любили писать другие. Юру увлекли сюжеты о людях особых, которые получили за свои идеи награждения и блага — премии (иногда Сталинские), профессорские звания, квартиры, дачи, должности... Словом, все, что может желать нормальный человек, кроме одного-единственного — внедрения его идеи в жизнь, в промышленность. Юра нашел несколько блистательных талантов, известных всему миру, за чьи изобретения и идеи Советский Союз, обладатель патентов, имел немалую денежку в валюте, но... Но когда что-то требовалось из этих идей внедрить в советскую промышленность, приходилось платить за границе и ввозить изделия оттуда... Словом, интереснейшая тема! Я и сам много лет спустя, когда никуда не мог пробиться, пробовал заняться чем-то подобным. Мои очерки не опубликовали. (Но то тема иная, если для нее найду место.) А тогда, в середине 60-х, у Юры, начавшего тему, прошел один из его очерков в «Литературной газете». Он попросил меня, когда буду в Москве, что-то из дополнительных материалов занести в редакцию.

Я оказался в «Литературке», разговорился с Юриным редактором, молодой интересной женщиной. Пококетничали немного, молодые ж были... А через месяц или два уже сам Юра поехал к ней в Москву и узнал, что всем отделом науки они из «Литературки» уходят в редакцию журнала «Знание—сила».

— Довольны переходом? — спросил он даму.

— В принципе — да. Но у меня проблема. Я сама сейчас пишу большую вещь и хотела бы найти нечто хорошее и толстое для журнала, чтоб можно было запустить материал сразу на три-четыре номера, и спокойно работать над своим дома.

— Я, кажется, смогу вам помочь, — сказал Юрка. — Вы помните Мишу, который приезжал к вам от меня? У него есть большая повесть, которая понравилась Юрию Осиповичу Домбровскому. Если хотите, если вам нужно...

— Конечно, хочу. Пусть немедленно высылает. Но — с рецензией от Домбровского.

И я отправил «Каракозова» в «Знание—сила» и (наивняк!) приложил оригинал письма Юрия Осиповича. Не догадался, что надо снять заверенную копию...

С подачи Домбровского повесть, естественно, быстро пошла в номер. Журнал был, как и «Костер», «тонким», поэтому ее сильно, раза в два сократили, печатали несколько месяцев. Но успех оказался сильным. Я понял это по реакции сотрудников редакции (меня встречали в Москве как любимого гостя, всей редакцией, моя редактор изложила мне любимое присловье в новом коллективе: «Достать бы что типа Хейфеца»). И я начал посылать в журнал новые статьи по истории народовольцев.

Но по-настоящему оценил свой успех через много лет в Израиле, когда в руки случайно попал «Политический дневник» Роя Медведева. Отдельной заметкой там было помечено появление повестей по истории «Народной воли» в журнале «Знание—сила», которые, по оценке Медведева, явились центральным событием общественной жизни Москвы середины 60-х и привлекли к редакции (опять же по Медведеву) внимание Центрального комитета партии.

Я, конечно, ни о чем таком не догадывался. Но что повесть была популярна в интеллигентских кругах — такой слухок доходил...

Потихоньку-полегоньку пробивался я на страницы толстых журналов.

Начинал с рецензий. Критикой в ленинградской «Звезде» заведовал тогда мой лучший друг послестуденческих лет Адольф Урбан — необыкновенно способный человек. Люди, знающие его по позднейшим публикациям, представить не в силах, насколько он поражал одаренностью от природы — когда на него не давили, не перекупали, когда он мог быть самим собой. Меня он научил важнейшему правилу писания научных работ: не надо заранее обращать внимание на чужие отзывы, на так называемую критическую литературу; надо просто читать оцениваемый текст и излагать собственный взгляд — что ты сам видишь и понимаешь. Только это по-настоящему и интересует любого читателя, а остальные маневры есть лишь уловки бездарей, скрывающие собственную неполноценность.

После аспирантуры Адольфа взяли в «Звезду», и он попробовал меня печатать. Получалось это у него с большим трудом и большими временными разрывами.

Однажды предложил:

— Мишка, возьми псевдоним, и я смогу тебя печатать хоть в каждом номере.

Я никак не реагировал.

— Да ты не думай, — поправился он, — у нас нет антисемитов в редакции. Холопов вообще армянин Холопян. Просто когда номер выходит из печати, ему звонят из обкома. Если в содержании номера встречается еврейская фамилия, начинаются разговоры: что, мол, ты у себя в журнале синагогу развел... Ему самому все равно. Но обком — хозяин. А в бухгалтерию обком не заглядывает. Если у тебя русский псевдоним, я, правда, смогу тебя беспрепятственно печатать хоть каждый месяц.

Я отрицательно помотал головой.

— Видишь ли, Адька, если б ты обещал мне, что под псевдонимом я смогу печатать то, что мне хочется, думаю, что вопрос бы не стоял. Не настолько мне моя фамилия

дорога! Но я ж должен буду писать то, что надо этим гадам, то, за что они согласны платить. По сути ты предлагаешь мне не свободу печататься, а деньги. Так деньги ж можно зарабатывать другими способами — не такими мерзкими, чтоб гадам продаваться.

Короче, отказался. Но однажды Адька все-таки предложил заказ:

— Напиши статью о серии военных мемуаров. Нужно что-то такое к 5-му номеру, к юбилею Победы. Надеюсь, проскочит!

Я сел писать большую статью. И влюбился в мемуарное сочинение «В тяжкую пору» генерал-лейтенанта танковых войск Н. Попеля. (Тогда я не догадывался, какое важное значение для сочинения имеет не только фамилия автора, но и набранный ниже мелким шрифтом подзаголовок: «Литературная записка такого-то». Попеля, например, «обрабатывал» Н. Кардин.) Ладно. Сдаю статью, Урбан принял, включил в номер, а потом... Потом к нему пришел замглавного, «комиссар» журнала, подполковник ГБ в запасе Петр Владимирович Жур и выкинул статью из готового номера.

Тут Адольф проявил характер и волю. Позвонил главному редактору:

— Георгий Александрович, я не могу понять, кто мной руководит в редакции и кому я обязан подчиняться. Я подготовил номер, вы его утвердили. Вдруг приходит Петр Владимирович и все меняет. Как мне дальше работать и кого слушаться?

— Главный редактор — это я, и вы должны выполнять мои решения. Восстановите все как было!

Не знаю, как между собой объяснились «командир» журнала с «комиссаром», но моя статья вошла. Через некоторое время прихожу в редакцию, а по коридору навстречу передвигается генерал-лейтенант, вся грудь в орденах! Сразу догадался, что это и есть мой Попель. Остановил, представился, напомнил ему про статью. А он... пригласил меня к себе в гостиницу «Европейская».

Его оставил прежний «литзаписчик», и генерал искал нового помощника для следующей книги мемуаров... Человеком он оказался решительным, рискованно-волевым и сразу подумал: а не пригожусь ли ему в таком качестве именно я? Тем более что я из этой редакции... Пригласил в Москву, попробовали поработать вместе, «Звезда» заключила с нами договор. Выплатила аванс, и я смог прервать на год работу в школе. Сел писать генеральские мемуары.

Работа с Попелем — отдельная и большая глава в моей жизни, мне не хочется сейчас о ней писать слишком долго. Я изучил характер типичного руководителя сталинской эпохи, его карьеру и взгляды, умение приспособиться к жизни, его мораль и понятия о чести. Научился писать военные мемуары и многое понял и узнал про войну. Генерал часто вызывал к себе бывших сослуживцев, беседовал с ними, а я внимательно слушал и думал... Месяцами работал над текстом с опытным редактором «Звезды» Смоляном. Словом, это оказалась хорошая школа жизни! Но — как-то не с руки сейчас о ней писать.

Работая с генералом в Доме отдыха в Крынках (Украина), я получил письмо от Владьки Травинского: «Возвращайся скорее — нас ждет кино».

Шел 1961 год. Впервые полетел в космос человек. Как и многие, я был захвачен этим прорывом в будущее. Становилось ясно, что предстоит виток истории, космический. Как историк, живший в стране, которая обожала всякие юбилеи, я вспомнил про некий необычно обозначившийся юбилей.

В тот день, когда Москва чествовала Гагарина, исполнилось 80 лет со дня казни на Семеновском плацу Санкт-Петербурга человека, впервые в России (или даже в мире) задумавшего и предложившего подобный полет, — Николая Кибальчича, сына украинца-священника, главного «динамитчика» революционных террористов «Народной воли», сконструировавшего бомбы, которыми был убит император. Так вот, оказалось, что Кибальчич не

только делал бомбы, но параллельно обдумывал научные принципы того, что делал в подпольной мастерской. Ему в голову пришла необыкновенная идея: взрывы, которые он разрабатывал, могут стать основой для приведения в движение транспорта, в частности для полетов.

Он предложил Правительствующему сенату проект первой в мире космической ракеты. Документ остался лежать в архиве у его адвоката, Владимира Герарда. Я попытался разыскать бывшее местожительство Герарда, отыскивал его потомков, говорил с соседями, дожившими до наших времен... Нет, ничего не осталось — как положено в России! Но вот история...

Ее-то я и рассказал Травинскому. Когда в Союзе писателей проходила встреча с редакторами киностудии «Леннаучфильм», Виктор Кирнарский (впоследствии — известный режиссер) спросил у собравшихся литераторов: «Есть ли какие-то идеи для сценариев? Мы нуждаемся». Владька пересказал ему «Кибальчича». Последовал ответ: «Это то, что нам нужно!»

Когда я вернулся в Ленинград и сдал в редакцию «генеральщину», киностудия заключила с нами договор. Мы вдвоем сели работать — уже для кино.

Сказать, что мы имели о сценарной работе нулевое представление, — значит преувеличить наши возможности. Хорошо помню, как Кирнарский сказал, что фильм должен длиться двадцать минут, и мы были разочарованы: «Всего-то... Что можно успеть за 20 минут?». Мы не догадывались, как это много — 20 минут экранного времени.

Самого главного мы вообще не понимали: что в кино важнее всего прочего, что именно показывают на экране. Да, у нас есть дивный сюжет, есть характеры, мы способны придумать недурные диалоги, но... что показывать зрителю в документальной ленте? Фильмографии при Кибальчиче не было, фотографии — и те считались редкостью, причем производились исключительно на специальных студиях! Не осталось никаких изображений, достойных большого экрана.

В поиске выхода я пробовал найти хоть какие-нибудь газетные вырезки и цитаты. Пошел в Публичку и в старой газете набрел на строчку репортера: «В зале суда всех восхищает мастерство и бойкость карандаша английского художника». Значит, в суде присутствовал художник-зарисовщик? Но почему о нем в исторических сочинениях не сказано ни слова? И где искать его работы? Я знал по названию один-единственный английский иллюстрированный журнал — «The illustrated London news» (именно его любил читать сэр Филеас Фогг, персонаж романа Жюль Верна «80 дней вокруг света»). Что делать, пришлось рискнуть. Пошел в Публичку, выписал... И надо же — повезло. Едва раскрыл комплект журнала за апрель 1881 года, как нашел множество рисунков неизвестного английского мастера. Чего только ни обнаружилось! Часовые, стоящие на льду под мостами; саперы, окапывающие противоминным рвом Зимний дворец; естественно, зарисовки похорон монарха и сцены суда — портреты подсудимых, судей, изображения публики и стола с вещественными доказательствами... Словом, в наших руках оказалось изобразительное богатство — пусть маленькое, но все же историческое открытие.

Сценарий в итоге с мучениями сдали, хотя он никому не понадобился. Режиссер Виталий Мельников влюбился в нашу идею и добился от начальства того, чего мы, начинающие сценаристы, сделать, конечно, не могли. Он снял того же размера, но *художественный* фильм — с актером (кажется, с Сусниным). Фильм получил первую категорию, всякие престижные причиндалы, огромное количество хвалебных рецензий во всех СМИ. Мельникова пригласили работать на «Ленфильм», где он до сих пор снимает прекрасные фильмы» (я видел и «Начальника Чукотки», и «Женитьбу»).

А я стал думать: куда ж мне приспособить картинки англичанина? В толстые журналы? Но из них только питерская «Нева» считалась иллюстрированной. Я отнес туда статью с иллюстрацией, ее напечатали, но остальные-то рисунки куда девать?

В голову пришла замечательная идея: ведь есть детские журналы! Они-то — все иллюстрированные... И я отправился на Таврическую улицу в пионерский «Костер».

* * *

Прихожу в редакцию. В приемной сидит очень красивая девушка — секретарь Света Супруненко.

Объясняю свое появление. Она задумалась.

— Видите ли... Сейчас как раз нет того редактора, что вам нужен... Вы ведь пришли без предупреждения, — заметив мое расстроенное лицо, добавила: — но я попробую помочь.

Уходит куда-то и приходит с молодым симпатичным парнем.

— Вот Леша. Может быть, он будет вам полезен.

Редактор представляется: «Лев Лосев. Что у вас?»

Слушает меня, задумывается.

— Понимаете, это интересно, но совсем не мой отдел. Я ведаю спортом. Но... попробую помочь.

Уже никуда не уходит, а просто выглядывает в коридор и громко зовет:

— Феликс, выйди! Оно того стоит.

И выходит интеллигентный бородач — редактор отдела публицистики Феликс Нафтульев.

Так началась моя дружба с Феликсом и сотрудничество с «Костром».

...Когда позднее я расспрашивал Лешу Лосева, тогда еще не прославленного поэта (я не догадывался, насколько мой новый знакомец талантлив), что происходило, когда я впервые пришел в «Костер», почему сначала его вытягивала Света, потом он сам вызывал Феликса, загадка решилась по-русски элементарно:

— Миш, мы выпивали! Это был какой-то ужас: как только, бывало, сядем принять, тут же является в редакцию Хейфец. Будто чувствовал!

Мои материалы напечатали в «Костре». Потом Феликс Нафтульев предложил:

— Миш, нам нужен исторический детектив. Понимаешь, наш читатель учится в 5—6, ну, в самом начале 7-го класса. Это пионеры. И еще — мы журнал тонкий. Максимум, который можем тебе выделить, 10 страниц машинописи. Сможешь сделать?

— Феликс, никак не получится. Сюжет у меня есть, но в 10 страниц не влезет...

Поспорили и договорились, что я напишу сколько выйдет, а уж он сократит до объема, который нужен журналу. И я — не буду возражать. Лады?

Про себя-то я злорадствовал. «Контрразведка подполья» — чистый революционный детектив. Писал я предельно экономно, вычеркивал буквально любое слово, без которого мог обойтись. И все равно — очерк вылился в 35 страниц. Отдал Феликсу и насмешливо подумал: «Ну, попытайся, пожалуйста, сократить, а я посмотрю, поучусь...».

Через неделю звоню в редакцию. Ответ ожидаемый: «Заходи, переговорить надо».

При личной встрече ошеломил:

— Миш, прочитали все, мнение у всех единое: ты невероятно сжал текст, его надо расширять... Не напишешь для нас на этот же сюжет художественную повесть?

— Но, Феликс, писать повесть без договора я не могу. Слишком большой труд и слишком большой риск...

— Если возьмешься писать, я пробью договор.

Так я подписал с «Костром» первый личный договор на повесть.

Сюжет был продуман заранее. Собственно, его подарил приятель студенческих лет Сергей Семанов, способный историк и литератор, с которым мы с удовольствием пересекались, благо жили по соседству. Однажды встретились в коридоре Публички и он спросил, чем я сейчас занят, а я восторженно поделился впечатлением от «Желябова» Воронского. Но Сережа только скривил губы и высказался так:

— Я не стал бы о нем писать. Уж если б занялся народолюбцами, выбрал бы какого-нибудь второстепенного персонажа. К примеру, Клеточникова.

И меня будто стукнуло: конечно, Клеточников! Вот он, сюжет для будущей повести.

* * *

Николай Клеточников, главный персонаж моей второй повести, — фигура, поистине созданная для детектива, будто придуманная для сюжета...

Ему было больше 30 лет, поэтому среди народовольцев он считался стариком (средний возраст в партии был студенческим — как правило, 20 с небольшим). Служил где-то в провинции чиновником, заболел туберкулезом, врачи посчитали его смертником. И тогда он поехал в столицу, разыскал через знакомых подпольщиков Александра Михайлова, главного организатора террористической партии, и попросил «поручить какое-нибудь дело, чтоб не умереть совсем безо всякой пользы». Михайлову как раз нужен был человек, неспособный вызывать у полиции подозрений. В студенческой квартире, расположенной в «доме Мурузи» (где почти век спустя вырос Иосиф Бродский), полиция арестовала студентов, связанных с организацией. Михайлов подозревал квартирную хозяйку в связях с агентурой и хотел проверить свои подозрения. Клеточников, давно вышедший из студенческого возраста, не должен был вызывать у «проверяемой» сомнений...

Он выполнил задание: подружился с хозяйкой, а когда объявил ей, что служебного места в Питере не нашел и уезжает домой, та пожалела его и... познакомила с близким родственником — шефом секретного отделения тайной полиции, III Отделения императорской канцелярии. Боссу парень понравился, он взял его на службу секретарем. На работе Клеточников, обладавший прекрасным почерком, быстро продвинулся. Шеф начал поручать ему обычную в таких вариантах работу — писать вместо себя доклады III Отделения на имя министра (или даже на Высочайшее имя). Естественно, составитель такого доклада пользовался секретными документами Тайной полиции, включая списки секретной агентуры...

Продолжать сюжет не имеет смысла. Надеюсь, ясно, что в моих руках оказался материал, годный для увлекательной повести.

Проблема состояла в том, что повесть предназначалась для пионеров, т. е. никаких психологических или даже сюжетных сложностей заказчик заранее не допускал. Ох, как жалко было свертывать сюжет, но — ничего не попишешь: я знал сразу, каков заказчик, когда подписывал договор, и должен был держать себя в рамках.

Повесть получилась по объему раза в три больше, чем мог выдержать тонкий «Костер». Ее стали печатать с продолжением (в 6 номерах), но 70 % текста так и осталось у меня в папке. Они дожидались отдельного издания.

И как ни удивительно, дождались.

* * *

Но прежде чем продолжать рассказ о литературной карьере, немного задержусь на состоянии общественной жизни в Союзе в эпоху позднего Хрущева.

1958 год — великий год в моей жизни. Именно тогда я перестал быть советским человеком, перестал считать себя марксистом-ленинцем, хотя бы и неоленинского пошиба.

Идеи справедливости, уважения к труду, идея власти, подконтрольной народу и зависимой от него, — все эти красоты обладали огромной привлекательностью. Уже многое понимая про Сталина, про реальную советскую власть, про «дорогого Никиту Сергеевича», я все еще оставался неоленинцем (или младомарксистом), т. е. наивняком, верившим в светлые идеалы, которые оказались искаженными нехорошими властолюбцами из Кремля. Много было веривших в «светлого» Ленина, извращенного «черными» Сталиным и Молотовым.

Владилен Травинский однажды мудро заметил:

— Все мы марксисты, Мишка. Даже когда спорим с властью, мы спорим, опираясь на термины Маркса, на его логику и его аксиомы.

Он виделся мне правым — абсолютно!

Что же произошло в 1958 году, промывшее мои мозги начисто? Дело Бориса Пастернака.

Когда много лет спустя, уже будучи под следствием, мне задавали вопросы, когда и почему я стал врагом советской власти, я не изображал дурачка, не притворялся невинным мальчиком. Я прямо отвечал:

— С 1958 года. С дела Бориса Пастернака.

Надеюсь, напоминать об этом деле читателю не стоит. Пастернак написал роман «Доктор Живаго», действие которого протекало в Гражданскую войну, представил рукопись в симоновский «Новый мир», получил отказ от главного редактора и... передал рукопись итальянскому левому издателю, коммунисту Фельтринелли. Тот издал роман в Италии. Его немедленно перевели на мировые языки и удостоили Нобелевской премии по литературе. Советская власть болезненно восприняла награду, прямо как личное оскорбление. Писали, например, что премия — это буржуазная взятка, которую дают анти-советчикам, а в доказательство приводили лауреатство злобного врага советской власти Уинстона Черчилля — ясно за что ему дали! — и не менее гнусного гада Андре Жида (тут даже расшифровывать, кто это такой, не требовалось, сама фамилия говорила, что он за страшный тип). Ну и понятно, почему ее дали Пастернаку... Секретарь комсомола Семичастный в подходящей к случаю речи сообщил нам, что Пастернак хуже свиньи, потому что свинья не гадит, где ест, а Пастернак нагадил... Писателю угрожали высылкой из страны — и он сдался, отказался от премии, а вскоре умер, но травля продолжалась.

Особо отмечу: всех нас воспитали прежде всего на русской литературе. Мы знали, какова историческая участь вельмож, посягнувших на великих поэтов. Граф Бенкендорф никак не был худшим из жандармов, а генерал Дубельт — наверно, самым умным среди них, но эти имена припечатаны вечным позором. Помнят их потому, что их портреты висят в музеях Пушкина... Я, например, вполне мог бы сомневаться в правоте венгерских повстанцев, потому что понимал: речь идет о политике,

в которой возможна иная информация, мне недоступная, и объективно судить о таких событиях я не имею возможности. Просто нет знаний! Но стихи Пастернака я читал своими глазами и понимал, что передо мной — гений русской поэзии, украшающий эпоху, своего рода Пушкин нашего столетия. Кто же посмел назвать титана литературы свиньей — тут я не сомневался ни секунды, как не сомневался в том, с чьего голоса поет Семичастный. Стил Никиты Сергеевича узнавался сразу. (Позднее я услышал интервью Семичастного, где он признался в этом.) Как уважать *эту* власть ?! Она предстала предо мной в облике хамского быдла, быдла с соответствующими аргументами, мотивами и логикой. Скоты и есть скоты — и нечего придумывать...

Так я превратился из неоленинца в антисоветчика.

* * *

Никита Сергеевич продолжал метаться между «идеалами революции», в которые, как мне виделось, он искренно верил и стремился руководствоваться ими в политической практике, и цинизмом реальной партийной жизни. Например, мне верится, что он искренно полагался на тезис Маркса, что капитализм намертво связан с кризисами. Значит, надо ждать неизбежного краха Запада... Но кризис, увы, не наступал — аж с 1929 года ждем-с... Но все равно, обязательно случится — и тогда мы «их» реально обгоним, а не только по сочиненным в ЦСУ цифрам. Водородное и ракетное оружие гарантировало безопасность государства.

(Лидер опять же искренно верил в агрессивность Штатов, а десант в кубинском заливе Свиней убедил его окончательно, что вера отнюдь не лишена оснований! Но ядерная бомба все-таки давала Союзу прочную гарантию безопасности.)

Следовательно, дозволено передохнуть с темпами наращивания оружия и можно подумать, как населению тоже что-то из казны выдать.

В стране возводили военные заводы, а вокруг строили заводские поселки для тех, кто эти заводы обслужи-

вал. (Много лет спустя Чубайс с ужасом отметил: в Союзе насчитывается три сотни городов, построенных вокруг одного-единственного оборонного предприятия!) И возникла в мозгу вождя фантастическая — по советским временам — инициатива. Если сократить армию (в самом деле, кому нужны огромные сухопутные войска, когда в случае войны их почти автоматически уничтожат водородными бомбами, запускаемыми с ракет), то можно послать молодых мужиков на реальное производство; вот и возникнет рост ВВП, о чем он искренно мечтал: ведь такой рост диктовался теорией Маркса! К тому же можно устроить кооперативное строительство жилья для трудящихся. Люди получают кредиты, построят квартиры сами, за свои деньги! То есть не будут выпрашивать в исполкомах «разрешения на жилплощадь» по неизвестно откуда взявшимся решениям и критериям, а вложат свои трудовые во что-то реальное, купят квартиры... О, каким светлым виделось будущее нашей жизни. Об освобождении эков из лагерей, о котором сегодня, вспоминая Никиту, говорят, как о малопригодной для XX века рабочей силе, размышлял даже Лаврентий Берия и кое-что успел за считанные месяцы своей власти для них сделать... Но вот отдельная квартира для каждой городской семьи оказалась реальностью хрущевской революции! Причем помимо простого, понятного каждому счастья жить своей семьей она давала новое социальное преимущество народу, о котором не думал никто. Исчезали коммунальные соседи! Исчезали орды добровольных доносчиков в органы, писавшие про любые подозрительные разговоры на кухнях, про подозрительных посетителей в квартирах (дабы получить шанс — ордер на комнату, отобранную у арестованных). Люди могли отгородиться от коллектива хотя бы дома. Эту подлинную революцию в обществе совершил именно Никита Сергеевич, за что ему вечное от меня спасибо.

(Мама сказала:

— Когда у нас что-то дают, надо брать сразу, не раздумывая. Завтра уже не дадут!

Таков был ее урок жизни. Но откуда добыть деньги на первый взнос — 46 % стоимости квартиры? Это же 4000 рублей — при моей-то учительской зарплате в 100 рублей в месяц нетто, на которую требовалось в этот месяц еще кормиться и одеваться... Здесь мама оказала мне величайшую услугу в жизни. В стране, где банковского кредита для частных лиц не существовало, она уговорила родственников дать мне нужную сумму в долг. Но отдавать-то должен был я сам, у мамы сбережений не имелось. Я понадеялся на гонорары... и записался на маленькую двухкомнатную (фактически однокомнатную) квартирку, самую дешевую из всех, что имелись, — на первом этаже... Помню, как поехал на окраину города возле железной дороги, отыскал будущее жилье — бетонную коробку с дырами для окон и дверей — и орал там во весь голос от счастья, немыслимого для советского человека. У меня будут — вот они — свои четыре стены. Вот она, живая мечта вокруг меня...)

Никита продолжал метаться. Войны он, конечно, не хотел, побаивался, но и мира боялся. В стране постепенно возникла не виданная в СССР ситуация — люди стали думать *сами*. Не все, но многие. Стали рассуждать. Не боялись дерзаний. И совершенно непонятно, чего ждать. И от кого именно — тоже непонятно.

Никита, помнивший, как начались венгерские волнения, решил, что на всякий случай стоит усмирить людей искусства, с которых в Венгрии все началось, — страшно грубо и по-хамски — как привык делать со всеми, включая партработников. Иначе не умел, не был приучен! Но его не слишком-то боялись. Кто-то, может, и боялся, а остальные предпочитали наплевать на его власть и жить сами по себе... Гонения на этих независимых «самостоятельных» вылились в закон о тунеядцах. Под него, например, подвели Иосифа Бродского... Кто бы что ни говорил, но подвели по сути правильно: именно против таких Бродских закон и был задуман. Он же истинный тунеядец, ибо хочет жить так, как ему кажется нужным... Конечно, несоветский человек. Его пред-

варительно вызвали в райком партии, где он объяснил, что хочет жить «без партии»... Так прямо и сказал секретарю райкома, хулиган! Решение об его аресте принял тоже секретарь, но уже обкома — знаменитый Василий Сергеевич Толстиков. Когда писатель Израиль Меттер обратился к знакомому милиционеру, пытаясь объяснить юридическую нелепость происходящего, тот пояснил: «Василий Сергеевич уже принял решение...». Какая ошибка или произвол? Закон применили именно к тому, против кого он был задуман.

Другое направление, внезапно вдохновившее вождя, — живопись и скульптура. Никита вдруг явился на выставку современного искусства со знаменитым воплем — «пидарасы!» Как раз тогда у меня произошло новое и необыкновенно важное знакомство с Михаилом Шемякиным...

...Идея провести выставку молодых художников в «Звезде» пришла в голову конечно же Владьке Травинскому с его поразительным чутьем на удивительных людей и умением удерживать их около себя. Скудной, официально показушной и верноподданной до брюха «Звезде» — выставки молодых питерских художников, кого не пускали в Союз советских художников. Мы начали вместе выискивать таких художников...

Не помню, как и через кого Владька вышел на Мишу Шемякина. Но помню, как он сообщил мне впервые: «Нашел. Это настоящий!» — и храню первое впечатление, когда увидел Мишины картины... Здесь нужно сказать несколько слов о себе. Я лишен тонкости восприятия, особого внимания к деталям талантов. Чтобы почувствовать дарование человека, мне необходимо, чтоб он оказался очень большим, слишком бросающимся в глаза талантом, чтоб пробить мою природную толстокожесть. Например, после первых увиденных у того же Травинского бумажек с рукописными строками неизвестного поэта я восчувствовал в авторе великого поэта, истинного выразителя нашего поколения — Иосифа Бродского. А ведь первоклассных поэтов тогда в Питере было немало,

многих я знал лично... Но только в Бродском ощутил истинный масштаб. Абсолютно то же впечатление возникло от картин Шемякина: художник, который представит нас и наше время всему человечеству. Ради явления таких мастеров мы живем на свете. Сразу — как только взглянул на них, даже вопроса не стояло, устраивать ли ему выставку... Если уж не он, то кто достоин?

Проблема, повторяю, заключалась в том, что родная партия как раз тогда, не знаю почему, обозлилась на авангардную живопись. Все, написанное не по канонам Александра Герасимова или Исаака Бродского, считалось подкопом под основы, даже если подрыв оказывался всего лишь пейзажем или натюрмортом. Время такое наступило — довольно тяжелое, кстати. Правда, сила шемякинско-го таланта оказалась столь мощной, что проломила даже сверхбдительного «комиссара» «Звезды» Петра Владимировича Жура. Замглавного буквально влюбился в шемякинский портрет герцога Альбы и после выставки в виде своеобразного гонорара за разрешение на нее взял картину в свой кабинет, повесив супротив редакторского стола, чтоб постоянно ее наблюдать. Тем не менее возникала опасность, причем с двух сторон! Опасались мы консерваторов-доносчиков, что не преминут сообщить о «диверсии» в обком партии. Тогда нашу выставку уж точно прикроют, а Травинского лишат должности. Но едва ли не больше побаивались «левых радикалов», которые легко и бездумно заводились в любом подходящем или неподходящем месте и обрушивались на традиционную русскую живопись (прежде всего на любимцев партии — передвижников). Эти могли дать отличный повод обкому для запрета выставки и для наказания организаторов и самого художника.

Говоря по правде, в редакции побаивались представлять Мишу публике. Он явно виделся фигурой, противоположной тем, кто продавал свое искусство партии. Наверно, поэтому Владька поручил открыть выставку Шемякина мне, недостойному. Я ж был, как вы, видимо, поняли, большим и наивным дурачком, потому ничего и никогда не боялся.

Я придумал, как построить, чтобы художника представить публике и одновременно не вызвать опасного скандала.

...Народу пришла уйма: все-таки первая выставка неофициального искусства за много лет. Я сказал собравшимся примерно вот что:

— Шемякина надо воспринимать как лучший образец русского искусства. В чем заключается главная традиция, которая оставлена великими предшественниками XIX века? В их художественной смелости. Передвижники восставали против оков академии, внесли новые формы, новые объекты, новое видение мира. Шемякин продолжает традиции Крамского уже в наше время.

Примерно так говорил... Представить Шемякина новым Крамским — ловкий ход. Главное, что никто не мог придаться! Я хвалил передвижников, а для радикалов утверждал законное право российского художника восставать против академических трафаретов. С одной стороны, хвалил классику, с другой — приравнял Мишу к ее высочайшим представителям. Словом, выполнил Владыкин заказ, а Мише никак не навредил...

Помню вечер, когда мы отметили открытие выставки у Миши дома. Его мама устроила «звездинцам» стол. Мы смотрели его картины, те, что оставались в запаснике. Особенно запомнилось «Распятие» — привычное русское поле, на нем три креста с силуэтами. Все, что изображено, произошло не где-то, а здесь — в России...

Еще запомнилось, как Миша, видимо, растроганный искренним восхищением его работами, сказал: «Возможно, эти дни запомнятся как новый этап в моей живописи. Хочу попробовать себя в фиолетовом цвете». Я впервые открыл для себя эту особенность видения мира художником — потому так и запомнилось.

Первая выставка сделала имя Шемякина известным в Питере, это правда, но... не улучшила его материального положения. Конечно, кое-что покупали, но тогдашние любители живописи пользовались отчаянным положением художника, чтобы платить гроши за удивительные

работы! Помню, как было стыдно за них, аж зубами скрипел от злости, когда платили 30 рублей за превосходную картину. И не стыдно было предлагать мастеру такую цену!.. Миша бедствовал жутко. В то время (начало 1963 года) я уже женился и работал в 503-й школе.

Однажды художник, смущаясь, сказал:

— Миша, а ты не хочешь заказать мне портрет твоей жены? Это будет стоить 80 рублей.

Почувствовав мое смущение, добавил:

— Я вообще-то похоже рисую.

Видимо, чтобы успокоить меня: он же не Пикассо, уродовавший на холстах своих натурщиц. Но мое смущение, естественно, происходило не из опасения за «похожесть», у меня просто не было такой суммы! Как был бы я счастлив, если бы мог заказать ему портрет! Я понимал, каким сокровищем могу обладать, но... 80 рэ — месячная зарплата «чистыми» школьного учителя на полную ставку. А на что жить целый месяц? Рассказал жене. Она сказала:

— Мишка, я смогу выкроить тридцать рэ, дай ему. Мы полсотней обойдемся.

В следующую встречу я предложил: «Миш, могу одолжить тридцать рублей. Больше нету». Он ответил:

— А ты понимаешь, что я никогда не смогу их отдать?

Конечно, я понимал, и слова «в долг» считались эвфемизмом пожертвования художнику, но я чувствовал себя счастливым, что хоть чем-то могу ему помочь. До сих пор с юмором рассказываю: «Шемякин мне тридцатник должен»!

Более того, я раздобыл ему халтурку. Рассказал директору своей школы о невероятно талантливом художнике, который нуждается в подработке. Директор заказал Мише раскраску каких-то досок в школьном вестибюле. Тогда я снова поразился Мишиному дарованию: доски выглядели после покраски истинным произведением искусства, сразу бросались в глаза зрителю. Увы, большую картину в центре школьного зала директор предпочел

заказать «профессионалу»... Не доверился Мише. А ведь сейчас картина считалась бы украшением школы, да, пожалуй, и всего города Санкт-Петербурга.

Я старался внимательно следить за всем, что происходило в жизни Миши, и он, отдаю должное, не забывал меня тоже — например, всегда присылал свои гравюры по Достоевскому, с автографами. Я хранил их в ящике письменного стола. Упоминаю факт лишь для того, чтоб подчеркнуть талант Шемякина, совершенно независимый от известности, от, как нынче выражаются, пиара... Когда после Мишиного отъезда в Париж меня забрали в следственный изолятор КГБ (за предисловие к самиздатскому собранию сочинений Бродского), жена сдавала мой кабинет приезжим студенткам из института культуры. Вряд ли они слышали фамилию Шемякина, но когда я вернулся в кабинет через 6 лет, все оставалось на прежних местах, кроме... гравюр Шемякина и каталога его парижской выставки, который я сумел раздобыть после его отъезда! Все это бесследно исчезло из моего письменного стола. Квартирантки чутьем поняли, что истинно ценное среди моих бумаг. Талантливыми по-своему оказались воровки.

Вообще о талантливости людей, связанных с гонениями, а потом с изгнанием Шемякина из Питера, я часто думал. Почему? Ну ведь казалось бы — чем он мог так их достать? Если бы Миша считался политическим диссидентом или, на худой конец, политизированным художником — но нет, этого не было вовсе! Может, я ошибаюсь, но советская власть как феномен начисто Мишу не интересовала. Он хотел жить и писать, а она пусть живет сама по себе. Казалось бы, ну за что его им травить? Он не конкурент ее прислужникам в официальных сферах. (Единственная официальная работа, порученная ему, о которой я знаю, — иллюстрации к книге испанских эпиграмм в серии «Библиотека поэта». И сомневаюсь, чтоб даже этот заказ ему достался, если б нашлись именитые «желатели».) «Официальные» же мастера не конкуренты ему в собраниях частных коллекционеров: вряд ли

кто из любителей живописи желал приобретать картины Орешникова или даже Ал. Герасимова. Но его преследовали с поразительной, настырной манией. Иногда говорят — от безделья. Именно так охарактеризовал мотивы ЛенУКГБ Бродский, тоже принципиально аполитичный. Но в этот вариант я не верил. Мне казалось, что за гонениями на Бродского и Шемякина скрывалось не ЛенУКГБ, которому оба не могли казаться интересными, а именно партийное начальство города (ГБ просто исполняла заказ начальства). На самом деле, как мне видится, Шемякин посягнул на главную привилегию начальства — его кадровую монополию. Это обкому и горкому доверено отбирать кадры мастеров и определять, кто из них выше, а кто ниже, кто истинный художник, кто любитель. А тут некто Шемякин не обращает внимания на посулы и гонения, на дипломы и премии, а сидит себе дома и пишет что хочет и при этом пользуется авторитетом в обществе: любители устраивают выставки его работ то в одном, то в другом зале, покупают картины, гордятся ими... Это должно было раздражать начальников от культуры. Безумно раздражать! Самим существованием он как бы бросал властям вызов. Значит, искусство может обходиться без них, настоящее-то искусство? И надо признать, что по-своему они оказались правы. Но раз затруднительно его посадить, то надо избавиться от художника по-иному, но начисто, так им тогда мечталось...

Парадоксальность существования Шемякина в СССР особенно проявилась для меня в некоем личном эпизоде. Мой соавтор геолог Ю. Гурвич приобрел (дешево!) две или три картины Шемякина. В искусстве Юра ничего не понимал, просто поддался призыву помочь художнику. Сами картины ему были абсолютно безразличны! Когда они с женой подали документы на выезд в Америку, выяснилось, что кое-что из имущества надо отнести на экспертизу, в частности картины. Когда Юра притащил Мишины изделия, если не ошибаюсь, в Русский музей, то эксперт уверенно сказала:

— Вы с ума сошли! Это же ранний Шемякин. Национальное достояние!

— Какое национальное достояние?! — воскликнул обалдевший владелец. — Я купил их по 35 рублей за штуку...

Но эксперт проявила неумолимость. Значит, картины Шемякина на родине считались неприличными, отдавали формализмом, авангардизмом и еще каким-то «измом». Но когда выяснилось, что их могут увезти за границу, то начальники отлично поняли: это национальное достояние...

* * *

Последние годы правления Хрущева оставили странное впечатление. Вроде человек все сделал до конца, что мог и умел, но почему-то еще жив, еще действует, хотя все уже ждут, когда наступит неизбежное «после»...

Никого, помнится, не удивило, что его сняли с поста. В этом имелась некая внезапность — но информационная, а не историческая. Важнейшим символом изменения истории России виделся мне вот какой: при Никите исчезла монархическая психология, свойственная народу России веками. Если бы у Ленина имелся сын (или сын Сталина занялся политикой), то население нормально встретило бы переход трона по наследству (как, к примеру, в Северной Корее или Азербайджане). Но Хрущев сломал психологический канон в мозгах нации: не только никому не пришло в голову, что его пост может занять его сын или внук, но сама мысль, что Никита Сергеевич лично досидит на троне до смерти (совершенно естественная для сталинской эпохи), казалась многим дикой. И когда подобные идеи зародились потом, при Брежневе, они тоже воспринимались с насмешкой над «этими старперами», как некая средневековая дикость. Российский строй при Хрущеве превратился по сути в республиканский, что, конечно, явилось огромным достижением исторического правления этого лидера — независимо от личных намерений вождя.

Что же послужило *непосредственной* причиной его свержения?

Во-первых, постоянные метания, непонятные аппарату. Партийцы готовы были обслуживать вождя, «как заложили при Сталине», хоть будь он за сталинизм, хоть против. Они точно были уверены, что высказанные слова и мысли не значат и не могут значить ничего, кроме преданности лично Никите Сергеевичу. Но все-таки — они хотели бы знать, в каком направлении требуется льстить и двигать страну. Хотя бы направление... А он и этого не знал — его самого качало и шарахало от одного курса к другому, противоположному.

Шатанье лишило вождя верных сторонников. Каждый размышлял: а может, стоит попробовать что-то новенькое?

Кроме того, у меня имеется особое мнение насчет того, почему партийный аппарат решился на несвойственное ему действие — заговор. Оно связано с экономическими процессами, т. е. с массовым осуждением «цеховиков» и вообще деловых людей с преимущественно еврейской кровью.

Судебные процессы начались с жуткого юридического скандала. В Москве арестовали группу Рокотова и Файбишенко, спекулянтов иностранной валютой. Напомню, что курс доллара (и любой иностранной валюты) еще со сталинских времен устанавливался невероятно заниженным по сравнению с реальной стоимостью рубля. (Вождь народов полагал, что высота курса иностранной валюты как-то связана с престижем его державы, и потому перечислял за доллар чуть больше 50 копеек. В золотом эквиваленте, разумеется.) При Хрущеве, особенно в последние годы его правления, на иностранную валюту возник острый спрос в столицах империи: и за доллар стали платить (с рук, конечно) уже не полтинник, а несколько рублей. Поскольку перепродажа валюты считалась всего лишь обманом частных граждан, а не казны (спекулянты, имевшие доллары или марки, не вели внешнеторговых операций), суды карали валютчиков

сравнительно мягко (3 года тюрьмы считалось «детским сроком»). За ущерб казне вlepили бы жуткие наказания, вплоть до расстрела, но за ущерб частным лицам полагались относительно гуманные сроки...

Арестованный Рокотов считался в Москве «королем бизнеса». Его многочисленные агенты предлагали иностранцам за доллар 2–3 рубля, передавали купленные ими доллары Рокотову, а он уже обменивал валюту у крупных покупателей за более солидные суммы. Позднее стало известно, что почти неприкрытость деятельности Рокотова объяснялась еще и тем, что «король» работал по совместительству агентом-осведомителем у начальника МУРа...

Никита внезапно приказал прикрыть нелегальные валютные операции, они его почему-то страшно взволновали, хотя, честно сказать, не по масштабам первого секретаря ЦК виделось преступление такого рода. Он приказал дать делу ход: увеличить в несколько раз сроки за валютные спекуляции (приняли новый закон), осудить арестованных валютчиков по новому закону, который не действовал в момент совершения преступления, что, конечно, считалось нарушением основ права, даже советского, применить специально к Рокотову и его подельникам исключительную меру наказания, не записанную в новом законе. Были потрясены даже работники ГБ, занимавшиеся следствием. Эти люди имели юридическое образование, и наплевательское отношение Хрущева к закону их шокировало. Юристы ощущали себя убийцами...

По стране покатылся вал экономических процессов. Вдруг выяснилась странная картина: социалистическая экономика реально работала лишь в сферах тяжелой индустрии, обороны, космоса, транспорта, связи, т. е. в производстве сравнительно однообразных и немассовых товаров. Производить изделия легкой и пищевой промышленности государству оказалось не по силам. Я писал, какой выход из этой ситуации нашли в сталинские времена: приглашали в райкомы евреев, обычно демоби-

лизованных из армии, и негласно предлагали устраивать артели, производящие дефицитные товары. Теперь выяснилось, что в эпоху Хрущева неформальные мастерские и фабрики производят товары по всей стране, причем — что важно! — как раз те, которые пользуются реальным спросом у покупателя. Это означало, что частное производство вытесняет государственные фабрики из сферы товарооборота.

Делалось это примерно по такой схеме. Евреи налаживали какое-то производство — формально общественное, «артельное», на деле полностью принадлежавшее учредителям. Цеху требовались, естественно, сырье и станки. Хозяева совали взятки нужным чиновникам и получали из казны то и другое. Платили за все по государственным расценкам, разумеется. Далее они же производили нужный на рынке товар и продавали его через магазины, тоже по государственным расценкам. И вот тут вступали в силу преимущества частного бизнеса и личной инициативы над госбюрократией.

Для ясности — один пример. Артель производит трикотажные товары. Хозяева нанимают самых лучших, каких только можно, закройщиков, платят им в два-три раза больше, чем на госпредприятиях. Те находят такие варианты раскроя, которые дают возможность производить из того же количества трикотажа значительно больше готовых изделий, чем заложено в государственных нормах. Хозяева платят рабочим, которые шили изделия, больше обычных расценок за то, что те изготавливали все по модному фасону и высшего качества. (Это требовалось не из-за доброго нрава, отнюдь, а потому, что «левый» товар требовалось реализовывать как можно скорее, пока не нагрянула внезапная ревизия.) Артикулы в накладных выписывались неверные — например, за предметы меньших размеров брали цену по артикулу более крупных вещей, т. е. дороже. Такой «левый» товар поставлялся в магазины, директора которых состояли в паявых долях с производителями. Всю плановую, как бы положенную продукцию артель сдавала государству в срок, получа-

ла за ее производство переходящее Красное знамя. Это важное условие для легальности оборота! «Левый» же товар продавался, естественно, без отражения его в документах и не облагался так называемым налогом с оборота, т. е. госприбылью, взимаемой казной с фантастическим монопольным процентом. Эти не учтенные казной прибыли делили между собой участники бизнеса. Естественно, значительная доля шла на взятки чиновникам и проверяльщикам, участвовавшим в снабжении производства или в проверках.

Такая схема действовала десятилетиями. Внешне она казалась выгодной буквально всем, даже казне, потому что получала без особых усилий относительно недорогие и модные товары в свои магазины; да и покупатели бывали довольны, потому что выбирали на полках именно то, что хотелось приобрести. (Впоследствии артельщикам инкриминировался в судах обман покупателя. Но это, мягко скажем, неточный смысл термина «обман»: ведь покупателя реально вовсе не интересовал ни номер артикула, ни назначенная государством цена, он получал именно то, что ему лично нравилось в магазине и за ту цену, которая его устраивала...) Чиновники и милиционеры тоже получали свою долю. Но вдруг — это так казалось окружающим, что вдруг — Никита взбеленился, начал массовые расстрелы на просторах Союза. Причем расстрелы виделись именно личной инициативой вождя — как только первого секретаря ЦК сняли с должности, Брежнев тут же процессы, а уж тем паче расстрелы прикрывал.

Я понимаю, что Никита, как его ни оценивай, обладал подлинным политическим чутьем на возможные опасности, и первым, а тогда просто единственным уловил смертельную угрозу, в конце концов развалившую Союз ССР. Со своей, т. е. советской точки зрения, он выглядит сегодня абсолютно правым.

...Советские чиновники жили в мире, как бы противоречившем началам неизбежной человеческой греховности, с которой пытались бороться иудаизм и христи-

анство. Чиновники получали за свою службу огромные привилегии, к которым рядовое население не допускалось. Им выделяли продукты и лучшие товары вне обычных очередей и по многократно сниженным ценам, им полагались квартиры и дачи вне списков, машины с личными шоферами... Товарищ Сталин, большой прагматик, понимал, что преданность аппарата следует покупать — не только повышенной зарплатой, но прежде всего множеством льгот. Он пытался купить элиту, чем мог. Но «положенное» выдавалось чиновнику именно казной и именно за службу. Теряя должность, чиновник одновременно терял все полученное. Его квартира и дача доставались не детям, а преемнику; его машина исчезала после ухода с поста. (Иметь собственную машину, хотя это было вполне доступно по деньгам и возможности, почиталось в номенклатурном цехе как бы неэтичным: «Ты что ж, не веришь в прочность своего положения?».) И так далее. То есть люди как бы имели все, но одновременно не имели ничего своего — во всяком случае, ничего постоянно своего. Ничего для семьи, ничего для детей... При Сталине, когда тюремная камера нередко завершала партийно-государственную карьеру, вопрос: что оставишь детям? — видимо, не особенно волновал людей по сравнению с тревожным беспокойством за собственную жизнь и свободу. Но когда террор отступил, т. е. при Никите, проблема возродилась с прежней остротой.

Евреи-дельцы предложили номенклатуре «несоветское» решение проблемы: то, что человек получал от них за «услуги» артелям, оставалось в его собственности и переходило по наследству семье и детям. Это виделось естественным способом приобретать богатство, и чиновники не сумели устоять перед соблазном, особенно когда он охватил чуть ли не всех окружающих...

Но в основе советской власти лежала именно властная вертикаль. Все, что получал человек от власти, он имел только по милости начальства. Появление параллельного еврейско-артельного начальства, которое платило и своего рода параллельную зарплату, угрожало принципу,

на котором основывалась вся система зависимостей и иерархии при Ленине—Сталине. Никита чувствовал это и боролся с людьми, посягнувшими на основу советской власти. И повторяю, он видится мне абсолютно правым. Артели стали смертельной угрозой, и они Советы докончили — в конце-то концов...

Во время процессов над валютчиками я задумался вот над чем: по сути Рокотов и его компания служили посредниками между иностранцами и нашими людьми, которые нуждались в иностранной валюте, т. е. могли выезжать за границу и приобретать там товары... Основную прибыль от операций, видимо, получали те, кто скупал валюту. Но имена деятелей, которые, видимо, имели советские рубли в неограниченном количестве, никогда не называли. Кому, собственно, продавал Рокотов добытые его людьми доллары, осталось тайной следствия.

Но самая секретность помогала любому, кто хотел думать. Речь могла идти только о высокопоставленной номенклатуре, которая, с одной стороны, имела в изобилии рубли, с другой — возможность легко выезжать за границу (например, в отпуск, в командировку) и без проблем провозить через таможенную купленные товары. Таким образом, в руках у Никиты оказались компрометирующие сведения на многих работников партийно-государственного аппарата. Он не проявлял заинтересованности в их скорых разоблачениях, напротив — криминальную информацию имел в своем сейфе и постоянно держал «объекты» под прицелом следственных органов, ничего прямо им не выражая, но обеспечивая компроматом верность своей obsługi.

Чего, видимо, не учел — так это массовости явления и того, что аппарат, отказавшийся в свое время от борьбы со Сталиным, может не захотеть дублировать судьбу сталинского аппарата. Взбунтуется!

Он и взбунтовался.

(Во всяком случае, бизнесмены из Молдавии, приехавшие в Израиль, нежно вспоминали бывшего первого секретаря молдавского ЦК Леонида Брежнева: он весь-

ма и весьма снисходительно к ним относился... Думаю, и прочие заговорщики, кроме Суслова, точно так же.)

Когда Никита, уверовав в собственное всемогущество после получения материалов МВД, объявил, что собирается перетряхнуть свой аппарат, сподвижники решились — и лидера упредили. Решающую роль в победе сыграл, конечно, союз партаппарата с КГБ, чего лидер партии не предвидел. Глава ГБ Шелепин, видимо, посчитал себя главой государства после смещения временного босса Брежнева. И ошибся, как и Никита. Всех вариантов никогда не рассчитаешь!

* * *

Из заслуг Никиты перед советской властью отмечу, что он первым оценил огромную роль сибирской нефти для существования страны и не жалел средств и усилий для освоения дальних месторождений. Основы советской политики, и не только экономической, были заложены именно при нем.

Никита со товарищи понимали то, что Сталин, видимо, понимать отказывался: Советский Союз не в силах выиграть мировое господство военным путем. Союз для такой победы просто физически слаб. Но и отказаться от ленинско-сталинской идеи мирового господства Никита Сергеевич не мог. Повторяю, он искренно верил в догматы идеологии с ее всемирными претензиями на власть и влияние. И вот возникла в политбюро неожиданная внешнеполитическая идея — поставить под контроль Кремля бывшие колонии Запада, новые страны мира, и через их сырьевые ресурсы с помощью нефтяной трубы, например, взять, говоря образно, Европу за горло. Помоему, впервые эта идея мелькнула, когда секретарь ЦК Мухитдинов вернулся из Индонезии окрыленным...

Главную ставку делали на насеровский Египет. Никита размахивал ресурсами страны, как только он один мог и смел. Дал Насеру кредит на постройку Асуанской плотины, вооружил египетскую армию советским оружием, принял тысячи египтян в советские академии и

училища и завершил игру по-хрущевски широким жестом, присвоив Насеру звание Героя Советского Союза.

Я не знаю внутреннего распорядка в египетском правительстве, но, сдается, демонстративная награда смутила не только советских людей (все-таки до того нам много порассказывали на закрытых лекциях про то, как Насер уничтожил компартию Египта), смутила насеровскую свиту. Во всяком случае, президент Египта сделал элегантную попытку отделаться от советской награды, объявив Никите, что никак не может ее принять, ибо опасается, что обидится его первый заместитель фельдмаршал Амер. «Какие проблемы?» — удивился Никита и тут же вручил звезду Амеру. Пришлось орден Ленина и звезду героя принимать им на пару.

Меня поражала тогда особенность советского народа — почему награждение воспринималось населением так болезненно? Не миллиардные кредиты, не средства, отнятые у своего народа, которые невозможным казалось вернуть; не огромное количество оружия, которым устраивали еще один очаг военных конфликтов в мире, — нет, не это, а именно награждение антикоммуниста «Золотой Звездой» раздражило народ до предела. Что-то я, видимо, не разумел в психологии народа, среди которого рос всю жизнь!

Хорошо помню свое общее отношение к внешней политике Никиты. Было абсолютно ясно, что единственным инструментом внешней политики вождя являлся блеф (про внутреннюю, как ни странно, я не думал). Я даже назвал СССР определением, заимствованным из «Гулливера» Свифта, — «государство Блефуску». Объявлялась какая-то грозная внешняя задача, прикрывалась возможной военной операцией. Решающим для любого противника СССР оказывалось всего лишь понимание факта, что никто ничего не готовит, что все это чистый блеф, попытка запугать словами — не более того. Например, Никита угрожал захватить Берлин и называл разные сроки, но американцы не обращали на него внимания, и... ничего не происходило. Помню совершенно

отчетливо, что во время кубинского кризиса, когда весь мир дрожал, не начнется ли война, и восхищался решимостью Кеннеди, несогласного уступать Москве в снятии блокады, мы, компания питерцев, ни одной секунды не верили, что Никита решится на нечто серьезное, тем паче на войну, и понимали, что все — болтовня, которая ничем не закончится. Что и произошло. Блефуску, он и есть Блефуску.

За серьезными приготовлениями Союза к действиям всегда просматривался только энергичный крик и стук ботинком по столу в ООН. Замечательно выразился старик Черчилль: «Что поднимают крик и шум — это в политической практике дело как раз самое обычное. Я и сам в молодости дрался в коридорах парламента. Но вот что человек в синем костюме стучал по столу желтым ботинком — это действительно ужасно!».

* * *

Теперь можно, пожалуй, вернуться к моей литературной жизни в те славные годы.

Совершенно неожиданно — как постоянно случалось в моей судьбе — появилась моя первая (и единственная изданная в СССР) книга. Ей предшествовала парадоксально-странная встреча.

В Союзе писателей объявили, что предстоит выступление приехавшего из столицы знаменитого приключенца Романа Кима. Я решил посетить эту встречу: а вдруг удастся заинтересовать москвича «Клеточниковым» и взял рукопись.

Ким оказался человеком с безумно интересной биографией. Кореец по национальности, он заинтересовал советскую внешнюю разведку еще в 20-е годы. «Я видел в коридоре, — рассказывал он, — как вели на допрос Сиднея Рейли». Очень Ким обижался на начальство, которое сценарий телефильма «Операция “Трест”» (или — «Синдикат») доверило писать не ему: «Я же всех персонажей лично знал...». Насколько я понял, его изъяли из обращения, когда громили всю разведку, т. е. в 1938 году, но

почему-то пощадили, не расстреляли. (Причиной стала редкостная специализация. Вряд ли многие в ИНО ОГПУ знали корейский язык! Она спасла ему жизнь и профессию, хотя, по-моему, он еще сидел, когда снова был привлечен к операциям на Востоке.) После ухода из органов, как многие разведчики, переключился на художественную литературу, а не на книги мемуарного плана (его воспоминания, видимо, считались пока что секретными). Избрал он чистые детективы, благо имел возможность читать зарубежные книжки про сыщиков и подражать, не встречая в Союзе серьезной конкуренции.

Закончил свое выступление Ким так:

— Скажите, пожалуйста, почему в Ленинграде нет приключенцев?

Я подошел к трибуне, когда он кончил доклад, и сказал:

— В Ленинграде есть приключенцы. Только здешние издатели начисто не хотят их печатать. Вот я, к примеру, приключенец, и у меня есть повесть... Не хотите познакомиться?

— Давайте. Позвоните мне через день.

И дал номер телефона в «Астории».

Ужасно хотелось позвонить побыстрее, но я ждал условленного дня. Наконец, я пошел к уличному телефону-автомату. Своего аппарата у меня, разумеется, не имелось — домашний телефон считался невиданной роскошью. Из моих знакомых телефон имелся только у Бориса Стругацкого, но и тот — через блокиратор с соседом. Им дали одну линию связи на две квартиры: когда один абонент звонил, другой должен был дожидаться окончания разговора.

— Говорит Михаил Хейфец. Вы меня помните?

— Где вы были все дни?! Немедленно приезжайте в «Асторию»...

(Должен признаться: ни до, ни после я не мог посещать питерские гостиницы «Интуриста». Туда меня не пропустил бы ни один портье.)

Являюсь и первое, что слышу в дверях:

— Если бы Госиздатом руководил Лев Борисович Каменев, вы недолго ждали бы выхода своей книжки...

Немного представьте себе то время! Имена Зиновьева и Каменева (тем более Льва Троцкого) не звучали уже так устрашающе, как раньше, но все-таки... Ну, примерно, как имя Люцифера или Асмодея в устах правоверного христианина. И вдруг — услышать *такое* от совсем незнакомого человека! Я-то придерживался чрезвычайно высокого мнения об издательской деятельности Каменева, особенно в легендарной «Academia». Я просто остолбенел.

Конечно, это был трюк старого разведчика. Мы сидели, болтали, он нахваливал мою рукопись, а потом сказал:

— Я возьму ее в Москву. Покажу своему редактору Александру Яковлевичу Строеву из «Молодой гвардии» и буду рекомендовать к изданию. Думаю, он меня послушает...

О большем, разумеется, я и мечтать не смел.

Примерно через полгода решил о себе напомнить. Подумал, что такого срока издательству хватит, чтоб разобраться, нужна им моя рукопись или нет. Звонить не стал, но воспользовался каким-то предлогом и поехал в Москву лично. Зашел в издательство и отыскал Строева в одном из тесных кабинетов.

Строев оказался невысоким седым пожилым евреем. Уже потом я узнал, что в 30-е годы Александр Яковлевич служил главным редактором в «Пионерской правде». Видимо, с тех пор он состоял в номенклатуре ЦК ВЛКСМ, и ЦК вынужден был держать еврея в штате «Молодой гвардии» — издательстве принципиально русофильском, патриотическом. (В те годы зарождалось общественное течение, оформившееся позже в Русскую партию, именно в «Молодой гвардии»).

— Да, я помню вашу рукопись. Роман Николаевич очень ее нахваливал... А вы пойдете на панихиду?

— Не понял...

— Роман Николаевич умер. Вчера. Панихида сегодня в Союзе писателей.

Так и не удалось мне поговорить с Кимом и поблагодарить его. Мы постояли у гроба, а потом Строев сказал: — Вернитесь в издательство. Ради Романа Николаевича я постараюсь пробить для вас договор.

Через два часа он принес договор...

* * *

Конечно, работа над первой книжкой затянулась на годы. Все-таки для «Костра» я писал ее в расчете на пионеров, а читатели «Молодой гвардии» — гораздо более взрослая молодежь. Надо отдать должное Строеву: он заставлял меня скрупулезно работать над текстом. Настоящий и требовательный редактор! Как и полагалось старому комсомольцу, он оказался человеком скрытным и осторожным, долгое время не доверял мне, не откровенничал. Например, прошупывал, не запрещены ли родной партией упомянутые мною народовольцы, прямо ничего не говорил, но — намекал... Когда я намеки раскусил и прямо ответил, что — нет, не запрещены, он как-то сразу отошел... Иногда забавлял меня старинными историями, например как запретили ему печатать в «Пионерской правде» «Судьбу барабанщика» Гайдара.

(Еще бы, у маленького персонажа арестовали отца! Это в 37-м году... Хотя прямо не говорилось, за что конкретно отца взяли, но сочувствие автора явно на стороне пострадавшей семьи... Я никогда не воспринимал повесть Гайдара в этом плане и еще раз поразился, как зорко читали литературу «проверяльщики». «А почему спасся Гайдар?» — «Да так же, как я. У всех членов политбюро имелись дети, они читали “Пионерскую правду”. А детям повесть понравилась. Ну вот и поступило распоряжение — не трогать...».)

Иногда он рассказывал старинные анекдоты. Еврею отказали на райкоме в приеме в партию. «Почему, Моше?» — «Воны спрашивают, чи верно, шо я играв на скрипке на свадьбе Петлюры? Ну, признався, играв... Вот и...» — «Дурак ты, Моше! Что, не мог соврать?» — «Не мог. Воны уси там были...»

Короче, нашли мы взаимопонимание с редактором, полюбил он меня, но много для еврейского автора сделать — в рамках «Молодой гвардии», естественно, — не мог, странно еще, что «Клеточникова» довел до печати. Единственное объяснение — не нашлось конкурентов среди «лиц коренной национальности». Считалось немодным и полузапретным писать исторические приключения. Собственно, кроме Пикуля, некого сегодня и вспомнить.

В 1968 году книжка вышла в свет отдельным изданием в Москве. Тираж (65 тыс. экз.) был распродан в считанные часы: я сам проверил, когда пытался купить в магазинах авторские экземпляры... Я, конечно, понимал, что книжка моя — не бог весть что, сочинял ее для пионеров — со всеми вытекающими отсюда ограничениями, которые преодолеть не мог. Тем не менее внешний успех виделся оглушительным. Книга удостоилась положительных рецензий в прессе. Казалось бы, проложена дорожка к читателю, пора двигаться дальше.

Увы, этого «дальше» не случилось...

* * *

Я хватался за любую денежную работу. Летом 1966 года родилась дочка, тяжелобольная (из роддома она вынесла сепсис, золотистый стафилококк). Жене пришлось сидеть с ней дома или таскаться по больницам. Кормить выросшую семью на школьную зарплату я никак не мог — для этого пришлось бы взять как минимум полторы ставки уроков литературы в старших классах. Мне бы их, пожалуй, дали... Тогда на сочинительство не останется ни сил, ни времени. И я рискнул: с сентября 66-го года оставил школу и стал профессиональным литератором, бюрократически выражаясь — бомжом, поскольку официального места работы не имел и ни в какой профессиональной организации не состоял.

В первые годы занимался любым делом: писал мемуары за генералов, полковников или за летчиц-героинь, внутренние рецензии на прозу, больше года работал гу-

вернером у мальчика-двоечника. (Из него вырос отличный кинорежиссер. Я горжусь, что первым угадал в этом юноше творческую личность.) Почти год я работал в отделе публицистики «Костра», заменяя Феликса Нафтуклева, взявшего длительный отпуск, чтоб писать книжку от имени Юрия Сенкевича о путешествии на «Ра» с Хейердалом. (Это место, после моего ареста, занял вернувшийся из Таллина Сергей Довлатов.) Я даже пытался работать в новых для себя жанрах, сочиняя художественные сценарии, театральные пьесы.

Остановлюсь подробнее на этом эпизоде.

Начался он с того, что, переехав с женой в кооперативную квартиру, я занял на окраине города новых соседей. В моем микрорайоне жили упомянутый выше Сергей Семанов, мой однокурсник Александр Пинскер (оба сыграли в моей судьбе немалую роль, потому их выделяю), геолог Юрий Гурвич, женатый на падчерице Юрия Павловича Германа Марине Коварской. Он стал одним из самых близких моих друзей. Юра пробовал, параллельно с геологией, заниматься художественной прозой (видимо, как я тогда думал, отстаивал себя как личность перед знаменитым тестем). Увы, проза выходила не слишком удачной. Когда он принес Юрию Павловичу новый рассказ, раздраженный Герман заорал:

— Крендель (так он звал Юлия Крелина, своего любимого писателя и хирурга) прислал последнюю московскую сенсацию. Вот как надо писать! — и швырнул на стол номера журнала «Знание—сила».

Марина заглянула — и ахнула:

— Это же Мишка!

— Вы его знаете? Приведите ко мне...

Здесь нужно оговорить особую черту моего характера — я ужасно боялся знакомиться с известными людьми. Возможностей как раз появлялась масса, но я — их сторонился. Видимо, это чувство шло от болезненного самолюбия. Вдруг знаменитый человек, глядя на меня, подумает: что этому Хейфецу от меня требуется? чего ищет, какую цель преследует? И поскольку мне никогда

и ни от кого ничего не было нужно, я старался держаться по возможности в стороне. Но, конечно, если уж Герман сам зовет — дело иное... Меня привели в его квартиру на Марсово поле, я мгновенно сблизился с его семьей.

Герман, или Ю.П., как звали писателя дома, произвел на меня удивительное впечатление. Представьте безумно талантливого от природы человека — талантливого во всем, ну удивительную личность! Наблюдая за ним, я думал про себя, сколько такой человек мог бы сделать, написать, если б работал свободно! Таким, видимо, сформировалось целое поколение, работавшее в Союзе после революции, которое — вопреки свершавшемуся — невероятно обновляло Россию. Мейерхольд и Эйзенштейн, Шостакович и Дунаевский, Сарьян и Пластов, Ландау и Капица. Сколько гениальных организаторов, удивительных людей — несчетное число, чьи имена лишь Ты, Господи, веши... Все, за что они брались, получалось, только дай им задание и полномочия, исполняли по первому классу в любом жанре, в любом деле! И все — забыто начисто. Их уничтожали в кампаниях террора, а кто выжил, погибли в войну — первыми, конечно. Целое поколение исчезло — даже из памяти, будто не жило на свете... Герман лично для меня служил памятником, чудом уцелевшим из тех личностей, которых нынче никто не знает и знать не желает...

Обаянием таланта веяло от него. Можно только пожалеть, многие не испытали ценнейшую радость — ощущение удивительного таланта рядом с собой.

Когда мы познакомились, Герман практически умирал от лимфогранулематоза (ракового заболевания, которое не умели лечить). Поэтому общались мы относительно недолго. Ему я благодарен за рассказы о жизни и об истории, за ценнейшую информацию, которой до сих пор не мог поверить и не могу ничего проверить.

Вот что произошло, когда его подвергли жесточайшему разному за повесть «Подполковник медицинской службы». Обвинение состояло в том, что главный герой, военврач, носил фамилию Левин. За это автора погрузи-

ли в навоз по уши... Набор повести не просто рассыпали, но с автора *взыскали* деньги, которые издательство потратило за рассыпанный им же набор. В доме нечего было есть... И тогда к писателю пришла редактор издательства Довлатова (я не понял толком, мама или тетка Сергея), собрала исписанные бог знает чем листочки, оформила эти бумаги как сданную ей рукопись романа о главном туркменском канале и... выплатила автору мнимой рукописи 60 % гонорара за *сданный* текст... Сергей в рассказах о родных не упоминает о таком жизненном эпизоде, видимо, не знал, а старшие помалкивали о таких подвигах, но Герман мне про это рассказывал сам. И я считаю нужным восстановить этот эпизод его литературной жизни, по-своему характеризующий сталинскую эпоху, в неожиданном и никем не описанном повороте...

Благодарен я Герману за книжки, которые он давал мне читать из своей библиотеки. В частности, за «Историю русской смуты» А. Деникина — эмигрантское, естественно, издание... Важное сочинение для понимания истории XX века. Герман рекомендовал меня художественному руководителю творческого объединения «Ленфильм» режиссеру Иосифу Хейфицу (как я шутил — «даже не однофамильцу»), включившему меня в свой худсовет. Денег не платили, хотя работа оказалась вполне реальной и сложной, но зато я получил уникальную возможность проникнуть в киномир и изучить его на практике.

Работа автора над сценарием поразила меня примерно так же, как некогда оформление сценария типа «Шея» поразило Ильфа с Петровым. Первое — необходимость уже в заявке изложить сюжет будущего фильма. Всякий человек, имеющий отношение к творчеству, знает, что сюжет рождается в процессе написания текста, ты не можешь знать, как поведут себя герои. Персонажи диктуют тебе линию своих жизней — своими характерами, отношениями, если только не сочиняешь явную и беспардонную халтуру. Феномен описан в каждом школьном учебнике, следовательно, требование студии к автору из-

ложить сюжет уже в заявке означало либо что сценарий на самом деле уже написан и все дальнейшее просто игра с целью максимально удобного получения гонорара, либо — что случалось чаще — сознательный обман студии, опять-таки некую понятную, но вслух не выражаемую участниками игру: я тебе опишу якобы сюжет, а ты притворишься, что принимаешь мою муру за подлинное сочинение...

Далее полагаются три этапа приемки сценария, соответственно три варианта подачи на студию. Участники худсовета обсуждают, на каждый делают некие замечания (из которых к следующему обсуждению никто не помнит ни звука, потому что и не нужно ничего помнить). Все делается ради получения очередной порции гонорара, на который автор существует все это время. Наконец, последний, третий вариант принят студией, текст передается в некие инстанции сначала в самой студии, потом его везут в Москву. Там некто принимает или отвергает все написанное, не имея представления ни о замысле автора или режиссера, ни об их видении фильма. Фантастика! Даже в литературе похожего произвола наблюдалось поменьше... Впрочем, муки окупались значительным гонораром, который в итоге оказывался много крупнее литературного; он и вынуждал, вернее понуждал, мириться с удивлявшим даже меня, человека многоопытного, безобразием.

Основная работа на студии сводилась к обсуждению сценариев, а потом — снятых по ним фильмов. Естественно, что я воспользовался возникшей возможностью самому стать сценаристом: в частности предложил объединению экранизировать «Секретаря тайной полиции» («Клеточникова»).

Сам я ни в драматургии, ни в сценарной технике ничего не понимал. Искусство художественного сценария имело мало общего с документалистикой, в которой я уже испытал себя. Поэтому обратился за помощью к тому же Юре Гурвичу, попробовавшему себя в художественной литературе, вскоре к нам естественным образом при-

соединился будущий режиссер, выбранный студией для картины, Леонид Менакер.

И начали мы сочинять сценарий. Втроем.

Для меня это оказалось даже более тяжким периодом, чем работа с генерал-лейтенантом... Видимо, по натуре я не создан для работы в коллективе: у меня всегда собственное видение создаваемого, от которого с трудом отказываюсь. Проблема художественного сценария осложнялась тем, что мои соавторы — абсолютно правильно с точки зрения сюжета — требовали создать нравственный конфликт в душе героя. Задуманный авторами персонаж должен был сомневаться в пользе и моральной оправданности террора. Все так, я понимал эту идею вполне, и она мне даже была симпатична, но, увы, я-то по натуре историк, которому чрезвычайно важно, чтоб изложенное соответствовало не нормам, пусть самым лучшим и моральным, а тому, что происходило в истории. Но у террористов XIX века я не находил ни малейшего сомнения в их праве на убийство, не читал ни про какие размышления на эту тему. Подвергаясь преследованиям жандармов, вплоть до убийства товарищей (на виселицах), они имели полное право на ответные удары по сановникам и жандармам. (Как выразился после убийства рейхскомиссара Гейдриха учитель, герой одного чешского рассказа, «с точки зрения высшего принципа нравственности убийство тирана не есть преступление». Вот так они и думали!) И — ни малейших сомнений в своей правоте у исторического Клеточникова, конечно, я не встречал...

Долго и не к месту рассказывать всю историю. В конце концов, сценарий приняли на студии, он ушел в Москву и там без всяких объяснений был зарублен. Какие-то небольшие деньги мы все же получили. Юра с Леонидом сделали из сценария пьесу под тем же названием — и с той же таинственной судьбой. На нее заключали договор (кажется, даже не один), ее принимали театры, выплачивали какие-то денежки — и зарубали без объяснения причин. Только через несколько лет я стал догадываться о причине таинственной гибели сочинений, подписанных моим именем.

Вторая половина 60-х годов обозначена в истории острым конфликтом в советской идеологии. С одной стороны, становилась ясной полная бесперспективность марксистской теории: она не оправдывалась практикой мировой экономики и истории в XX веке. Все шло вовсе не так, как предписывал Маркс, но, главное, основы теории держались не на логике, как виделось при поверхностном изучении, а на придуманных аксиомах — конечно благородных по замыслу, но всего лишь задумках, мечтаниях, идеалах. А на такой романтической основе построить громадные империи, охватившие треть человечества... И никакие империи «à la Маркс» уже явно не выдерживали конкуренции с «золотым миллиардом», т. е. с новейшим, рожденным в XX веке типом капитализма.

Разные марксистские организации пробовали спасти классическую теорию и практику — каждая довольно странным способом. Например, в Польше, Чехословакии, Венгрии, в странах Западной Европы развивался еврокоммунизм, или коммунизм «с человеческим лицом». В Китае и Северной Корее пробовали восстановить сталинский вариант диктатуры пролетариата. Советская модель должна была видеться центральной в марксизме, но где проходил самый центр? Внутри Союза европейскую модель продолжал отстаивать «Новый мир» Твардовского и некоторые примыкавшие к нему органы прессы, а китайский вариант Мао с его народной диктатурой проповедовали в «Октябре» у Всеволода Кочетова... ЦК партии некоторое время колебался: после смещения Хрущева время от времени там вспыхивала буча за передел власти, какая фракция побеждает — часто оставалось неясным. Наконец, к 1967 году ЦК выбрал линию на умеренную ресталинизацию. Реальным отражением стали непрерывные празднования юбилеев. То 50-летие Октябрьской революции, то 100-летие со дня рождения Ленина, то 50-летие Союза ССР... Мы жили в каком-то непрерывном каскаде дат и праздников. Это виделось по-своему удобным: журналы и газеты занимались исто-

рией, тем более революционной, у меня появлялись заказы на статьи, даже на крупные вещи. Об одной такой истории стоит рассказать особо.

Звоню однажды Травинскому в «Звезду».

— Мишка, срочно приезжай, дело есть.

Являюсь на Моховую. Оказывается, в редакцию пришел некто учитель вечерней школы, принес письмо. За несколько дней до того он, вопреки программе, рассказывал ученикам о своем любимом писателе Иване Бунине. В тот вечер один из учеников у своего подъезда увидел исписанный листок бумаги. Юноше бросилась в глаза фамилия на нем — Бунин. Он подобрал листок, оказавшийся старым письмом, и принес в школу.

— Не об этом ли Бунине вы нам говорили?

Учитель прочитал и понял, что письмо написано Иваном Буниным некоему Зиновию Исаевичу по поводу разбивки собрания его сочинений по томам. Куда с этим идти? Он почему-то решил: в «Звезду».

— Так вот, Мишка, надо продолжить поиск: откуда письмо взялось, нет ли там еще писем Бунина, что за архив такой в частном доме... В редакции все заняты, не кому обратиться, только к тебе...

И я начал поиск. Пошел в дом, развесил объявления. Оказалось, какая-то воинская часть делала ремонт. Бумаг валялось много, все стащили в котельную. А этот листочек, видать, случайно вывалился из солдатской охапки...

(Дом, кстати, принадлежал знаменитому собирателю старинных рукописей. Половину его коллекции обнаружил еще раньше Ираклий Андроников, кажется, в Астрахани, куда вывез ее владелец. А вторую половину он спрятал где-то в доме, пока ее не отрыли и не сожгли солдатики-стройбатовцы.)

Оставался ход — что-то выяснить про само письмо. Кто такой неведомый Зиновий Исаевич? Я отправился по естественному адресу — в Пушкинский дом (Институт русской литературы Академии наук) к доктору филологических наук Муратовой. Она легко ответила на мои вопросы.

— Зиновий Исаевич Гржебин — это известный издатель, шеф горьковского издательства «Парус». Письмо явно из его архива. Где архив? Это никому не известно. Пропал. Я сама искала, и мне всюду отвечали, что архив «Паруса» нигде не найден...

Ну, вроде выполнил я задание Травинского. Но... в тот же день пошел в Публичку и рассказал историю приятелю — любителю Достоевского, активно интересующемуся наследием писателя, Сергею Белову (нынче он доктор наук, профессор, чуть ли не член-корреспондент Академии).

Сережка наморщил лоб.

— А почему, собственно, никто не знает про архив «Паруса»? По-моему, я встречал его опись в Ленинградском областном архиве... Своими глазами видел.

Не может быть! Но я все-таки отправился в областной архив...

— Есть у вас архив издательства «Парус»? — спрашиваю заведующую читальным залом Людмилу Стрельцову.

— Да. Имеется такой...

— Но вот профессор Муратова...

— Видите ли, до недавнего времени архив был засекречен и мы отвечали, что его у нас нет. А теперь рассекретили... Вы первый человек, который его спросил...

— Извините, пожалуйста, а почему его засекретили?

— Там есть письма Бунина, а Бунин — белоэмигрант...

Ну, тогда, конечно, понятно.

И я выписал письма этого архива. Все! Хочу все знать!

Там действительно обнаружилась обширная переписка Гржебина с Буниным, в одном письме нашлась прямая ссылка на мое письмо, найденное в подворотне. Прекрасный обнаружился материал! А еще письмо Горького Ромену Роллану. (Я узнал, что Роллан писал какие-то книги для горьковской — тогда еще, видимо, павленковской? — серии «Жизнь замечательных людей», т. е. для

русского издательства. Совершенно неизвестный факт.)
Еще какие-то письма...

Я обратил внимание, что помимо переписки в описи значились бухгалтерские книги издательства «Парус». Собственно, они меня не интересовали, я же не занимался историей издательства, но захотелось глянуть, что ж там такое записано. Выписал из архива бухгалтерию...

Раскрываю книги и натываюсь на сводный отчет по изданию тома Н. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».

Ну, ладно, Ленин так Ленин... И вдруг что-то будто толкнуло: пошел к стеллажу, на котором, как во всех официальных учреждениях того времени, красовалось ПСС Ленина.

Раскрываю — и обалдеваю: все данные, сообщаемые в примечаниях к «Империализму», не совпадают с датами и пунктами, обозначенными в моей, вернее в «парусовской», бухгалтерии. Не то время издания, не то издательство — словом, все в ПСС Ленина по-другому обозначено.

Оно и понятно: время издания — лето 1917 года. Ленина официально обвинили в сотрудничестве с германскими спецслужбами. Книгу могли легко и вполне законно изъять из издательства. Следует естественный для опытного подпольщика ход: данные на обложке поставить ложные, вводящие полицию в заблуждение, а настоящие, подлинные сведения — вот они, в бухгалтерской ведомости, которая лежит передо мной. Маленькое, конечно, но историческое открытие...

Естественно, делаю фотокопии, еду в Институт Маркса–Ленина, получаю санкцию печатать в «Вопросах литературы». Появляется на свет моя документальная повесть.

У забавной истории имелось анекдотическое продолжение.

Когда я работал над повестью, позвонила заведомо критики в «Звезде», бывшая преподавательница нашего института Нина Губко.

— Миша, у меня к вам небольшая просьба. Вы ведь не бунинoved, правда? А у меня есть подруга, как раз специалист по Бунину. Можно, она посмотрит найденные вами письма и напишет к ним свой комментарий? Вам ведь это не помешает?

— Пожалуйста, Нина Георгиевна. Мне не мешает...

— Вот телефон — позвоните ей от меня, пожалуйста.

Звоню, сообщаю неизвестной бунинovedке, что могу передать ей нужные тексты.

— Спасибо. Как конкретно я могу их получить?

— Приходите ко мне домой.

Долгая пауза. Я, честно, не врубился в сомнительность ситуации. Наконец...

— А можно, я не одна к вам приду?

— С кем? — не понял я.

— С мужем.

— О, пожалуйста. (Я жил в одной комнате с мамой и отцом. Мне в голову не пришло, что неприлично приглашать незнакомую женщину в неизвестный ей дом...)

В условленное время — звонок. Открываю. Входит женщина и с ней муж... Федор Александрович Абрамов. Тот самый завкафедрой, который не пустил меня в аспирантуру ввиду моей бездарности.

Как же я возликовал! Как распускал хвост следующие полчаса! — изо всех сил... Федор Александрович глухо молчал. Можно было думать, что он не узнал меня. (В конце концов, у нас же случайное и одиночное знакомство. Мне оно виделось важным, но ему...) Но когда мы вышли на лестничную площадку, он вдруг тихо буркнул:

— Вы очень талантливый человек.

Признал меня, значит.

А потом мы с ним немного подружились — уже в рамках Союза писателей. Мне на самом деле нравилось все, что Федор писал. Прекрасный был прозаик, да и критик тоже! Пик торжества настал, когда его повесть «Вокруг да около» осудили в ЦК партии. Можете представить, как

шарахались от него в Союзе писателей так называемые писатели. Я же встретил его случайно в редакции «Звезды», подошел и нагло высказался:

— Федор Александрович, какую прекрасную повесть вы написали! Ничего лучшего у вас до сих пор не читал... Вы большой молодец!

Как говорится, отомстил ему по Достоевскому. Он схватил меня за руку и потащил на улицу. Мы говорили, наверно, часа два. Он все заводил меня в какие-то глухие проулки, где нас никто не мог подслушать. (Помню, зашли в тогдашний Стоматологический институт на Невском, во второй, задний двор, и долго там болтали.) Он все жаловался, какого травят, как суют ему в пример Мина и Минчковского (были два таких литератора в Питере — потому и запомнилось). А почему Мин и Минчковский ставятся в пример такому писателю, как Федор Абрамов? Мне запомнилась брошенная мимоходом фраза:

— Что ж вы тогда не сказали, что знакомы с Ниной Георгиевной?

Я потом подумал: к чему это? Что бы такая информация изменила? И понял: он-таки имел право взять меня на кафедру, это право было дано ему как заведующему, но при условии, что еврей окажется «блистательным талантом». Принять меня или не принять — решал все же он сам, лично. И если бы я хоть намекнул, что поступаю через знакомых, он мог бы справиться обо мне, и меня бы приняли. Увы, никогда не умел я пользоваться знакомствами.

* * *

Я продолжал писать какие-то статьи, используя революционные юбилеи. Писал что-то для журнала «Знание—сила» и очень дорожил этой «щелью» в СМИ. Увы, скоро она закрылась.

Иногда я использовал псевдоним. У меня существовало такое правило: если я не владел по каким-то объективным причинам историческим материалом полностью, но он виделся мне интересным и важным для читателя,

то я подписывался псевдонимом, как бы фиксируя этим, что в основе статьи или очерка лежит неполная информация. Например, псевдонимом я подписал большой очерк о большевистском заговоре на Балтийском флоте в 1912 году, почти никому не известном. Между тем большевистские ячейки на Балтике выглядели едва ли не более могущественными, чем на Черноморском флоте, о которых писали много... В 1912 году балтийский комитет подготовил военное восстание и спланировал нападение флота на столицу империи. Заговор раскрыли, ибо организаторы подполья не посмели начать столь масштабную акцию без ведома Ленина и передали ему информацию по самому, как им казалось, надежному каналу — через депутата Государственной думы от большевиков Шурканова. А тот оказался провокатором охраны. История осталась не замеченной специалистами, потому что главные организаторы заговора (Шотман, Кондратьев и другие) заняли крупные должности после революции и были уничтожены в 1937 году — естественно, об их подпольной работе не упоминалось... В редакцию пришло письмо от детей Кондратьева, благодаривших, что хоть кто-то вспомнил про их отца. (К сожалению, они чего-то еще боялись — не приписали к письму домашний адрес. Связаться с ними я не смог, а хотелось, не скрою. Но поскольку я ничего не знал о большевистских «подвигах» и «карьере» моих персонажей после Октября, то предпочел подписать очерк псевдонимом.)

Другой материал тоже касался большевиков. Один из моих литературных друзей, фантаст Илья Варшавский, попросил написать очерк о покойном тесте Александре (возможно, Абраме) Краснощекове. Фантастическая оказалась фигура! Социал-демократ (вряд ли, думаю, большевик, потому что считался любимым учеником Соломона Урицкого, а тот до 1917 года состоял не в ленинцах, а в меньшевиках и «межрайонцах»). Краснощеков эмигрировал в Америку, создал рабочий университет — кажется, в Чикаго — и работал в нем ректором. После революции отплыл в Россию из Ванкувера через Тихий океан — и

высадился, естественно, во Владивостоке. А тут — своевременно! — восстание «белых» охватило всю Сибирь и отрезало его от большевистской России. Он возглавил коммунистическое подполье на востоке империи, попал в «белый» плен, в «эшелон смерти», откуда почти не выбиралось живыми, но ему как-то удалось уцелеть.

Наступила историческая вершина его жизни: Япония оккупировала российский Дальний Восток под предлогом защиты его от коммунизма, но пробывший в Штатах много лет Краснощеков знал о недоверии к японской экспансии американских политических кругов и совершил великолепный политический пируэт. Лишенный связи с Кремлем, он сам провозгласил независимую от Москвы Дальневосточную республику с демократическим строем, организовал победу на парламентских выборах ВКП(б), которую сам же и возглавил на месте. (Победить, как я понял, оказалось не слишком трудно: коммунисты виделись символом единства России, и русское население в подавляющем большинстве голосовало за них на всех окраинах империи — исходя из национальных мотивов.) После этого новый президент Дальнего Востока обратился к мировым державам с просьбой освободить территорию его независимой страны от японских оккупационных войск. США поддержали президента. Японцы вынуждены были эвакуировать армию из Владивостока и окрестностей. Конечно, немедленно восстали «белые» группы, захватившие во Владивостоке власть, но уж с ними-то Красной армии оказалось под силу справиться. Все-таки «белые» не японцы...

Таким образом, Краснощеков, благодаря хитроумной политике, вернул России Дальний Восток — Приморский и Хабаровский края. Правда, его самого из президентов быстро-быстро попросили (он, как я понял, противился ликвидации Дальневосточной республики, считая ее неплохой формой управления двумя краями), но Ленин принял его лично и послал в Народный комиссариат финансов — заместителем к Сокольникову, с которым они вместе провели денежную реформу 20-х го-

дов — по возвращению от «лимонов» к золотому стандарту. Потом Краснощеков создал какой-то банк (кажется, Промышленный), «Добролет» — предшественник нынешнего «Аэрофлота» — и еще какие-то конторы... Что вы хотите — американец!

Наступил момент, который его дочка Луэлла Варшавская излагала мне весьма невнятно: ее папа получил срок за растрату казенных денег. Она пыталась меня уверить, что «папа был не виноват»... Но я-то сомневался! Он влюбился в Лилю Брик, именно он увел ее от Маяковского (поэма «Про это»), а чтоб любить Лилю Брик, мужчинам обычно требовались немалые доходы... Это все — мои личные предположения, так как нет никаких документов по тому периоду. Лиле он был очень небезразличен: когда любимого увели в тюрьму, она удочерила его ребенка, ту самую Луэllu, воспитала девочку в своей семье. Там, у Бриков, ее и встретил Илья Варшавский.

Потом Краснощеков вышел из тюрьмы и продолжил стремительную карьеру: увлекся сельским хозяйством, возглавил трест новых лубяных культур (кенафа и кендыря; не зная, в чем ценность этих растений, мы, школьники, изучали их на уроках ботаники). Дослужился до члена коллегии Наркомзема... Потом начался разгром Наркомата: взяли одного наркома с аппаратом, потом второго наркома с аппаратом, с третьим наркомом взяли Краснощекова. Там он и пропал без следа...

Я подробно излагаю очерк «юбилейной эпохи», чтобы читатель понял: в то время были интересные сюжеты и достойные личности... Хотя далеко не всегда я имел возможность находить нужные источники, поэтому подписывался псевдонимами, как бы давая сигнал историкам или публицистам, кто пойдет мне вослед, — «здесь таится многое, в чем интересно и поучительно покопаться». Но конечно, меня по-прежнему интересовали народники и народовольцы, я обнаруживал малоизвестные и увлекательные сюжеты, писал о них... Увы, скоро журнал «Знание—сила» оказался для меня потерян.

Помню, случилось это в 1968 году, потому что умы всех занимали тогда события в Чехословакии — попытка коммунистического руководства республики построить социализм «с человеческим лицом». (Об этой истории я напишу позже.) Тогда я приехал по каким-то делам в Москву и встретился с замглавного Гришей Зеленко и с заведующим отделом Карлом Левитиным. Мы сидели в какой-то кафешке, журналисты выглядели подавленными и растерянными. Только что их главная, Нина Сергеевна Филиппова, возвратилась с заседания секретариата ЦК, посвященного журналу «Знание—сила».

— У них Китай на плечах, — не выдержав, кипел Зеленко, — у них с Чехословакией решается вопрос, а они заняты обложкой журнала «Знание—сила»...

— Гриш, ты неправ, — возразил я. — Чтобы решать вопросы с Китаем или с Прагой, нужно получить информацию, нужно разобраться в ней, иметь нужные связи и инструменты... Нужно уметь делать какое-то дело! А с журналом «Знание—сила» нужно только владеть азами идеологии, знать что-то не обязательно...

— Они пристали к Нине Сергеевне, — вступил в разговор Карл, — сказали:

— Нина Сергеевна, рассудите сами! Сначала в вашем журнале появляется статья Эйдельмана о Серно-Соловьевиче, как возникали в умах людей сомнения в правильности курса власти. Потом повесть Хейфеца, как возникли подпольные организации молодежи. Потом рассказ про то, как подпольная организация завела контрразведку, используя своих людей в органах безопасности государства. Потом статья, как подпольщики создали военную организацию среди офицеров... Вы не находите, что это все напоминает инструктаж читателей по борьбе с властью?

— Ну, так это смотрится с вашей колокольни, — возразила Нина Сергеевна. — Но я же не заказывала этих статей. И когда мне принес статью Эйдельман, не могла предположить, что вскоре принесет повесть Хейфец...

— Нина Сергеевна, конечно! Конечно! Если бы мы думали, что вы сделали такую подборку умышленно, мы

вели бы с вами совсем другой разговор в другой конторе. Но мы просто вас предупреждаем, какое впечатление может возникать от серии исторических статей в вашем журнале...

Естественно, я не удивлялся, что после подобного разговора в ЦК мои статьи стали проходить с большим-большим трудом. Некоторые изымались редакцией даже после подписания верстки. Конечно, я понимал общую ситуацию, там ко мне по-прежнему хорошо относились, но журнал «Знание—сила» оказался тоже потерянной конторой.

Потерял я и киностудию. Какое-то время работал у них научным консультантом на фильме Г. Аронова и А. Германа «Седьмой спутник» (по рассказу Б. Лавренева). Я попал в фильм по рекомендации покойного Юрия Павловича: он сказал сыну Леше, получившему право впервые сделать самостоятельный фильм: «Возьми на фильм Мишу. Он не даст ничего напутать в истории»... Увы, я умел работать в исторических архивах и библиотеках (в частности, как раз в то время, получив справку от «Ленфильма», проник в спецхран Публички и почитал мемуары генерала Бермонта-Авалова об убийстве Николая II и его семьи), но плохо представлял работу студии и не придавал значения контролю за каждым работником киногруппы. Когда я увидел фильм на экране, он был, по моей оценке, совсем недурен (Леша Герман сейчас знаменитый режиссер), но... нарукавные нашивки Северной Белой армии были приделаны на мундирах офицеров вверх ногами. Я виноват, не проследил за художником! Подвел Лешу, хотя эту деталь вряд ли кто-то заметил, кроме меня и еще, может, кто остался в живых из ветеранов белых войск на севере...

Вскоре произошло событие, на которое вряд ли кто-то обратил внимание. Принимали новый фильм режиссера Леонида Квинихидзе про Мусу Джалиля, выдающегося татарского поэта. Фильм получился отличным — выразительным, мощным, мудрым. Все так его и поняли, кроме... татар из казанского обкома партии. Они говорили на об-

суждении сплошные пошлости и глупости. По строгому лицу Иосифа Хейфица я догадался, что для худрука мнение обкома партии, пусть и казанского, значит многое, если не все. За это партия ценила режиссера вопреки его несомненному таланту. Я не выдержал — выступил и врезал обкомовцам так, как они, наверно, в жизни не получали от нечиновных людей. И тогда Иосиф Хейфиц поступил в свойственной старому советскому мастеру манере — не стал ни беседовать со мной (Юрий Герман уже умер), ни переубеждать, а просто забил мой пропуск в киностудию. Оставаясь формально членом худсовета, я элементарно не мог пройти на заседания... Так исчез и этот ход в СМИ.

Их становилось все меньше, ходов, казалось бы, вопреки логике. Вышла книга, принят сценарий, в самодеятельном театре поставили пьесу — а публиковаться все труднее. Почему так?

* * *

Вспомнив 60-е годы, пытаюсь сейчас для себя определить самое важное.

Процесс Бродского пришелся на последний год правления Никиты. Причем важным показалось не само по себе осуждение поэта — оно воспринималось как нормальное советское явление, как обыденное, ежедневное рабство, не более того. Сам Иосиф тоже воспринимал арест и происходящее с ним, не драматизируя события, а скорее удивлялся, что устраивают комедию, судят, а не просто сослали «по постановлению»...

(Из «Диалогов с Соломоном Волковым»: «Видите ли, мне с самого начала процесса было ясно, что они хозяева. И поэтому они вправе нас давить. Вы становитесь инородным телом, и в этот момент на вас автоматически начинают действовать все соответственные физические законы — изоляции, сжатия, вытеснения... И тогда я тоже думал об этом так же. Я отказываюсь все это драматизировать!»)

Что именно сумело сделать процесс фактом не личной жизни Иосифа и его знакомых, а событием российской

истории — это радикально изменившаяся общественная атмосфера. Иосиф внутри тюрьмы не мог ее чувствовать... Прежде всего мы, приятели Бродского, считали нужным прийти на суд, чтобы доказать публично нашу близость к поэту, братство с человеком, осужденным партией. Это колоссально новое явление для Союза! Чуть ли не впервые с 20-х годов. Все пришли — кроме меня. Я трусил. Только недавно женился и поселился на съемной квартире в жуткой дыре на окраине Невского района, плюс трусость, видимо, лень присовокупилась, далеко оттуда ехать, да и побоялся — знал же, какую публику там начальство соберет. (Иосиф вспоминал, что мундиров видел столько же, сколько в кино — на Нюрнбергском процессе.) Себя я тоже знал и догадывался: не выдержу, ввяжусь в склоку, если не в драку... Словом, что отговариваться?.. Этой трусостью я в какой-то мере объяснил себе то, что со мной приключилось примерно через десять лет, когда сам попал в тюрьму ГБ. Возжаждал, видимо, реванша за ту трусость... Все-таки я и тогда понимал, что мое истинное место в публике, в зале суда. Иосиф мог заметить мое отсутствие и что-то грустное подумать. (Потрясающая наивность, правда?) Совершенно новое чувство возникало в советском обществе — необходимость протеста (пока еще без малейшей веры), что он принесет хоть какой-то результат, хоть на что-то повлияет.... Нет, в это никто из разумных людей не верил. А вот — надо прийти, надо выразить!

Конечно, громадное воздействие на ум и душу оказало поведение свидетелей защиты Эткинды, Адмони. Уважаемые профессора, люди, принадлежащие к научной элите, которым было что терять в деньгах, в карьере, посмели открыто возражать решению «Василия Сергеевича» (все догадывались, что не судья же Савельева выносила решение)... И конечно, поражал контраст свидетелей защиты с выступлениями свидетелей обвинения («Я Бродского не читал, но хочу сказать: таким людям не место в нашем городе») и с репликами так называемой судьи... Можно было бы сделать стенограмму заседания

предметом общественного обсуждения, тогда она выказала бы невероятную силу по обличению системы. На кухнях многие болтали, что Никита дурак, но увидеть работу советской системы вживе, ощутить космическую малограмотность и невежество — это в моем личном прозрении многое определило.

Следующим толчком, грандиозным, истинным землетрясением, явился процесс Синявского и Даниэля. Это был 66-й...

Опять-таки подчеркну: вызывало смятение не то, что судили писателей за романы и рассказы. Возможно, так оно виделось на Западе. В Союзе же всем было ясно, что они — хотя бы только по закону, по советскому! — совершенно жуткие преступники, и что теперь с ними сделают — даже представить трудно. (Думаю, им самим тоже! А ведь никто из нас не подозревал, что Синявский — в прошлом внештатный осведомитель органов. Именно установленные гебистами для него западные контакты он использовал, чтобы печатать себя и Даниэля на Западе. То есть для них он являлся не просто предателем Родины — подумаешь, таких много — но, что гораздо страшнее, предателем системы органов.) Скажем, при Сталине его бы точно расстреляли. Нет, советских людей поражали иные вещи. Во-первых, что провели процесс. Безмолвный расстрел был бы политически логичнее и выгоднее для власти, а тут — суд, да еще открытый... Подсудимые не признавали себя виновными. Это сделалось истинным открытием в советском образе жизни... Начиная с «шахтинского дела» (1928 год) на советских политических процессах все признавали себя виновными и умоляли суд и весь советский народ о смягчении меры наказания, даже не о полном прощении. (Кто не признавал себя виновным на следствии, а таких наверняка было много, никогда не появлялись на скамьях перед публикой. Их расстреливали тайно, по приговорам «троек».) Во-вторых, людей поражала сама логика оправдательных показаний подсудимых. Они заявили, что имеют право писать, пользуясь своими мозгами, исходя из лич-

ного видения темы. Совершенно невероятное открытие! Писатель, мол, пишет сам... Кроме того, поразила беспомощность «правосудия». В самом деле, было бы логично судить авторов за реалистические произведения, написанные в духе обличения советской жизни и власти... Тоже не факт, но все же логика и смысл появлялись тогда в обвинениях. Но Даниэль, например, писал фантастику. Иногда юмористическую. Помню, например, какую-то ужасно смешную историю, как человек выстроил тайный бизнес, зачиная (за плату) чужим женам детей. Кому надо, той зачинал мальчика, кому надо — девочку... Оказывается, он сделал научное открытие: если в самый момент совокупления мужик подумает о Марксе, то рождался мальчик, а если о товарище Кларе Цеткин, то девочка... (Мой издатель Женя Захаров убеждал меня, что в известном ему варианте повести девочки рождались при мысли о писателе Федоре Гладкове.

— Почему Гладков? — спросил он у автора, и тот со своим очаровательным смехом ответил:

— А ты его видел? Настоящая баба!) Согласен, автор пошутил над «святынками марксизма», но за это пять лет Мордовии?.. Поражала, конечно, глупость властей.

Как ни парадоксально, приговор обозначил для общества огромную степень завоеванной *свободы*! Если ты печатаешься за границей, тебя не расстреляют! Всего-навсего дадут лагерь! Да и срок не такой большой — не пожизненное, а сколько следует по закону. И судят по закону, который тебе известен. Если покрутиться, защитник может для тебя чего-то сделать... Боже мой, какой прогресс!

Мы догадались, что хотя власти хотят возвращения сталинизма — удобного и практичного метода руководства страной, можно не оглядываться на общественное мнение или какие-то там интересы народа. Одновременно мы учили, чем такое руководство кончается, если лидер возьмется за их собственные задницы, а потом снимет их собственные головы... А умирать в подвалах никому из членов политбюро не хотелось! И они решили в каче-

стве нового режима изготовить так называемое правовое общество; хотя и противно возиться с законами, судьями, прокурорами и адвокатами, но зато — безопаснее, ибо по закону никого из них просто так на Лубянку не затащишь. Но ведь и нас, значит, тоже не так легко, как раньше, туда втискивать — теперь-то? А простой тюрьмы мы не слишком боялись... Подумаешь, тюрьма! Как определил тот же Бродский, «нехватка пространства, компенсируемая избытком времени». Я не слишком-то боялся тюрьмы, когда задумывался о ней как о возможном будущем.

* * *

«Литературные» процессы 60-х отразились на моей собственной жизни в широко опубликованной форме.

Я уж не помню, как возникла идея пьесы и, главное, почему появилась мысль предложить ее именно на телевидение, через кого именно. А мысль оказалась связанной с делом Чернышевского. Почему вдруг я залез в старинное дело 1860-х годов? Потому что судили писателя — и только за его произведения, как в наше время! Как бы, однако, замысел ни начался, но попала мне в Публичке в руки книжка 30-х годов, изданная на родине писателя, в Саратове, сборник документов по делу Чернышевского, извлеченных из архива III Отделения императорской канцелярии. Никто из шефов жандармерии не задумывался о том, что придется им отвечать за содеянное перед историей. Никто из начальства не догадался такие бумаги из архива вынуть и уничтожить. (Товарищ Сталин и его наследники уже отлично такую ситуацию понимали, но ведь и от них многое сохранилось.) Короче, я прочитал в книжке документы — и обалдел.

Наверное, замысел родился в тот момент, когда еще на школьных уроках я стал подозревать, что Чернышевский был невиновен в преступлении, в котором его обвинило начальство (в сочинении листовки «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»). Я думал в 9-м классе, что сто лет назад его ложно обвинили, чтобы

удалить из мятежной столицы, а в наше время, напротив, столь же ложно обвиняют в сочинении этой листовки, но чтоб за нее прославить... Мол, какой замечательный он революционист! Говоря откровенно, неизвестно, кто эту листовку сочинил, может, и на самом деле он — куда только писателя художественное воображение ни способно завести! Но — никаких доказательств нелегальной деятельности вообще и уж тем паче в написании листовки — у следствия не имелось, это точно. Одна мифология, сложившаяся вокруг имени, — как положено в России. Ведь Достоевский *на коленях* умолял Чернышевского, чтобы тот приказал студентам не поджигать Невский проспект... «Я, как мог, успокоил бедного больного», — вспоминал об этом эпизоде сам Чернышевский... Но на сей раз к нему прицепился с фантазиями не автор «Идиота», а бюрократы тайной полиции... Следствие фальсифицировали по классическому образцу, причем этапы и даже мелкие шажки фальсификации сохранялись в бумагах и документах (поскольку чиновники, повторяю, не догадывались, что хранить такое опасно). Например, шеф жандармов прочитал текст прилагаемой листовки, решил, что написана она недостаточно криминально для вынесения хорошего приговора, и наложил резолюцию: советую изменить текст криминала в таком-то направлении... Словом, кто совершил само преступление (изготовление листовки) осталось неизвестным, но что следствие и суд явились чистой воды фабрикацией дела — факт, доказательно представленный в вышедшей через сто лет книжке.

И я надумал сделать из этого материала пьесу.

Помню, как шагал однажды в школу через железнодорожную насыпь, поднимался по скользкому склону в снежную бурю, падал, ничего не замечая — все обдумывал, как сочинение станет вкладом в борьбу за Галанскова и Гинзбурга. Так что, конечно, я был на самом деле антисоветчиком, органы это не придумали.

Мне, естественно, выделили на телевидении соавтора — режиссера Ивана Даниловича Росомахина. В некото-

ром роде он оказался для меня идеальным сотрудником. С одной стороны, ничего не знал в истории, абсолютно не интересовался современной политикой и писать, по-моему, принципиально не мог. А с другой стороны, был именно тот человек, который мог подсказать мне главное — то, чего всегда не хватало в работе над драматургией, — драматический стержень пьесы. Он предложил устроить на сцене суд присяжных, сидящих над столом с документами и с появляющимися на экране этими документами, причем каждый артист мгновенно преображался из одной роли в другую (в другом документе). Больше мне ничего и не требовалось от соавтора. Благодаря его совету я написал все и передал Росомахину текст. Надо отдать режиссеру должное: он подобрал великолепных артистов (главные роли исполнял Владислав Стржельчик). Научным консультантом я позвал своего друга Вадима Вилинбахова. Солидной внешностью, званием доцента ЛГУ и арийским именем-отчеством он успокоил до чрезвычайности встревоженное начальство... К слову, до последнего момента я не верил, что текст проскочит. Мне казалось абсолютно ясным, о чем говорит пьеса... Хотя, с другой стороны, начальство сюжет знало по школе, вроде все так и было, как автор пишет. Ленин вроде то же говорил... Огромную роль в том, что просмотр избежал цензурных нападков, сыграл замечательный Росомахин. Он с искренностью повторял на каждом шагу:

— Мы поставим настоящий партийный спектакль!

Не поверить ему казалось невозможным. И телевизионное начальство, неглупое и в принципе зоркое, прямо-таки терялось: а может, все ему только кажется... А может, на самом деле на экране исторический факт, который автор объективно излагает, Ленин так именно это и видел?

...Премьера прошла хорошо, труппа решила отметить ее банкетом у Сергея Юрского (его жена З. Шарко исполняла в пьесе главные роли). Росомахин столь искренно восхищался нашей «партийностью», что мне самому захотелось понять: ну а кто-нибудь еще догадался, о чем я писал? Актеры-то знали, что они играли? Собрались

мы за столом, и Стрельчик поднимает первый тост: «За честное дело, которое мы сегодня сделали!» — и артисты молча сдвинули бокалы. Я успел лишь заметить недоумевающий взгляд режиссера...

А в школе я случайно услышал, как пьесу обсуждают в учительской. Как обычно бывает, никто не помнил фамилию сценариста в титрах. Воспользовавшись этим, я слушал их, не вступая в разговор. Самое сильное впечатление произвел, оказывается, тот факт, что Чернышевский, отбывавший в Якутии огромный срок, отказался от предложения из Петербурга. «В самом деле, за что я должен просить помилования? Что у меня голова устроена иначе, чем у шефа жандармов? Так за это нельзя просить прощения. Нет, я решительно не могу». Ситуация, когда невозможно обратиться с прошением о помиловании, потому что не воспринимаешь власть как уважаемую сторону, с которой следует говорить всерьез, так как она для тебя просто банда мошенников, — эта идея произвела на учительниц сильное впечатление...

Потом пьесу показывали по центральному телевидению, и не было газеты, которая не отрецензировала бы ее... Статья в «Культуре и жизни» называлась «Золотые минуты телевидения». Думаю, многие почувствовали текст верно, как и артисты, что его произносили.

* * *

Наступил год 1967-й, для евреев Союза — уж точно переломный.

Израилю евреи в СССР сочувствовали все до единого — думаю, включая Лазаря Кагановича! — с первого дня. За это Иосиф Виссарионович, потеряв голову, и разозлился на них — и по-своему был прав и справедлив. Уж на что правоверной большевичкой виделась всем, включая мужа, жена Молотова Полина Жемчужина, но и она сказала израильскому послу Голде Меир: «У вас будет хорошо — и у нас повсюду будет хорошо». Это не придумали в ГБ, это на самом деле было сказано. (Она наивно полагала, что ей, Молотовой, *так* думать разрешено,

она ж не простой советский человек!) С августа 1948 года любые сообщения из Палестины элементарно исчезли со страниц газет и сводок радио. Фамилию Бен-Гурион мы слышали лишь раз, когда напечатали сообщение: возникло государство, названное Израиль, и Бен-Гурион назначен главой его правительства. Никто в Союзе, кроме особоуполномоченных специалистов, не имел права знать ни о партиях, ни о политиках, ни тем паче о хозяйстве Израйля или его армии.

При Хрущеве вроде бы наступила нормализация — восстановили с Израилем дипломатические отношения... Враждебная интонация сохранилась неизменной — потому что Израиль непреложно считался союзником Штатов (хотя, как я узнал много позже, так, увы, считали в Москве, но отнюдь не в Вашингтоне) и потому что Союз, как упоминалось выше, делал главную ставку на египетскую революцию. А это означало постоянное провозглашение «смерть Израйлю!». Ну, оно и отражалось, конечно, в прессе, хотя в закамуфлированном виде.

Тем не менее предпочитали не прямые обличения, а глухое и неприязненное замалчивание. В Союзе по-прежнему не знали об Израиле ни-че-го. Абсолютно. По-моему, Бен-Гурион и его команда не представляли себе подлинной ситуации и намеревались маневрировать между блоками, налаживать отношения со всеми... Московское руководство считало, напротив, что у малых стран не может существовать своей политики, все страны мира есть только марионетки той или иной великой державы. Революционное движение (неважно, в Латинской Америке или в Восточной Европе) есть желание местных властей сменить хозяина на противоположного босса. И Союз твердо оставался на позициях принципов Ялты или Потсдама, когда великие державы делили мир и только их приватные договоренности, вернее, соотношение сил больших боссов, решали, какая страна у кого в каком кармане сидит... Это, конечно, не отменяло здоровую конкуренцию и посягательства на карман соседа... Израйлю Кремль отвел место в амери-

канском «кармане» — по разным причинам, в частности по интуитивно-крестьянской неприязни к деловым евреям... и вообще — из ясной уверенности, что быть с Америкой выгоднее и евреи не могут этого не понимать. Они же умный народ?..

Война 1956 года несильно ожесточила Кремль против Израиля: агрессию против Египта называли англо-франко-израильской. Ясное дело, что главными злодеями виделись исключительно Англия с Францией, а Израиль рассматривали удобной «отверткой» в щупальцах великих держав, не более... Тем паче что в политическом итоге победил Советский Союз. Это успокаивало кремлевских сидельцев. Мне думается, что в советском Генштабе даже успешные операции израильской армии в Синае искренно рассматривали как итог случайной игры сил: мол, главные ресурсы Египет сосредоточил на канале, чтоб отбить десант великих держав, ну а Израиль напал на пограничные заставы Египта всей своей армией. Что ж тут ему не победить и что там нужно изучать? То есть никто в Союзе всерьез израильскую армию не рассматривал.

(Обычное империалистическое заблуждение. Точно так же, как в Москве, израильские вооруженные силы оценивались в имперских штабах Лондона и Парижа. Моше Даян однажды спросили, какой период времени он предполагает удерживать Синайский полуостров. Подразумевалось: хватит ли у них, у Европы, времени хотя бы успеть высадить свой десант на канале, пока израильцы не станут возиться с египтянами в Синае. Даян с присущей ему непомерной наглостью ответил: «Ну, я не знаю точно... Думаю, лет двести смогу продержаться».)

В 1967 году война виделась совсем по-иному, чем в 56-м. На этот раз ввязались в схватку с Израилем не просто какие-то арабы, о которых московские офицеры отзывались с абсолютным империалистическим высокомерием. Воевало советское оружие, лучшее в мире; использовалась советская военная тактика, самая пере-

довая в мире, опробованная на вермахте, ей обучали в Москве подчиненных фельдмаршала Амера; наконец, армию Объединенной Арабской Республики сформировали по советскому образцу. Поэтому мгновенный разгром Египта шокировал советское руководство. Оно, думается, впервые стало догадываться, что Советская армия на деле, т. е. в реальной военной схватке, сильно уступает западному противнику. Советские генералы полагали, что противник в Европе и Америке избалован сытой и богатой жизнью, неспособен выдержать грязь и подлость современной войны. Столкнувшись с русской армией, которая солдат не жалеет, средств на победу потратит сколько требуется, а уж страной пожертвует — тем паче (пусть бомбят, разрушают! «Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!»), Запад неизбежно сдрейфит. В две недели мы дойдем до Ла-Манша. Они, и правда, в это верили, и кажется, на Западе многие тоже верили... И вдруг произошло столкновение армии, вооруженной и обученной по-советски, с армией, вооруженной и обученной по-западному. Схватка завершилась мгновенным разгромом советской стороны! Как так? Как же мы готовим свою армию?

Событие означало для Кремля кризис армии, вооружения, да и политики тоже. (Войну начали с подачи Советского Союза, с провокации, толкнувшей Египет на авантюру. Политики в Кремле не верили в возможность войны, более того, не желали ее в натуре. А она, вопреки расчетам, началась и вдребезги проиграна.) Разрушилась главная опора советского мировоззрения — вера в непобедимость Советской армии...

(Поначалу разгром Египта и Сирии пытались объяснить по старинному рецепту: мол, американская авиация с авианосцев уничтожила египетские ВВС, а израильтяне только изображали, что взлетают... Ей-богу, отчетливо эту брехню помню! Не говоря о трудностях подобной пропаганды, сама картинка не снимала главного ужаса с политиков и населения СССР: ну не Израиль, но все равно — Америка с легкостью сшибает красноезвездные

самолеты. Нет, никак не виделся такой вариант выходом из ситуации. И его довольно быстро сняли со страниц СМИ.)

Я не буду рассказывать, какие силы советского ВПК бросили на заделывание бреши, как совершались невероятные политические глупости — с обеих сторон, кстати. Общеисторическая информация не имеет к моей судьбе отношения. Но что невозможно не заметить — коренное изменение в настроениях советских евреев... А вот это — связано с моей темой точно.

Во-первых, евреи безумно возгордились победой израильского оружия над советской техникой. Свыше всякой разумной меры возгордились. Даже самые-самые просоветские... Меня поражало, насколько глубоко, оказывается, сидят сентименты, заложенные в детстве, унаследованные от родителей, от двора, от родных, от культуры — даже у самых искренно ассимилированных субъектов. Помню, как мой знакомый чиновник из номенклатуры, узнав, что историка Григория Светова на самом деле зовут Цви, с каким-то восторгом принялся объяснять мне, что Цви — он и есть в переводе Григорий... Ну что ему этот Григорий?! А вот — запомнил и посчитал за радость объяснить... Между прочим, похожее чувство присуще не одним евреям. Я его — в острой форме — наблюдаю сейчас у русских людей, казалось бы, полностью вжившихся в чужбину, в эмиграцию. Исконно русские начала живут в их душах с постоянной и жуткой до удивления ревностью.

...Победа Израиля породила огромный интерес советских евреев к реальной жизни в этой стране. Советскому человеку изначально ясно, что армия и общество кровно связаны, поэтому в плохом обществе — слабая армия, а в хорошем — сильная. Следовательно... Это как бы российская азбука жизни. Если Израиль побил армию, вооруженную советским оружием, наверно, в нем и жить оказалось лучше, чем в Союзе. Так ведь?

Советские евреи приникли к радиоприемникам. «Голос Израиля», кстати, оказался на удивление пошлой

радиостудией. Возможно, потому, что руководил ею бывший польский коммунист-журналист, связанный с ЦК Польской компартии и оказавший Израилю услуги (в частности, добыл в польском ЦК текст доклада Хрущева на XX съезде, что обеспечило Моссаду авторитет и сотрудничество с ЦРУ). Увы, журналистом от этого наш деятель не стал: как был по сути мастером советской пропаганды, так им и остался... «Голос Израиля» напоминал мне советский «Маяк» — тотальное восхваление всего местного, абсолютное равнодушие к сложным (тем паче к мировым) проблемам... Что говорить, нормальная *наша* радиостанция, только восхвалявшая уже не Союз, а совсем другой объект! Я просто не мог ее слушать... Хотя и по «Голосу Израиля» проникала информация, которую жаждали знать советские люди. Например, рассказывая про какой-то малый провинциальный городок, между делом обмолвились, что снабжение там такое же, как в столицах, никакой разницы нет. Для израильтян это выглядело, конечно, совершенно ерундовой информацией, но в Союзе вызвало шок, ибо отличие столичных магазинов от периферийных казалось нам азбучной истиной. Но такой информации проходило очень мало: вешали «Голос Америки», Би-би-си, «Свобода» (ее, правда, тогда слушали).

Как бы ни было, советские евреи усвоили главную новость, а именно — жить в Израиле лучше, чем в Союзе. Они не стали антисоветчиками — советские инженеры, научные сотрудники, педагоги, врачи — словом, советские мещане в полном смысле этого слова. Гордились, скажем, знакомством с работниками райкома, трепетали перед КГБ, пытались отдать детей в английскую школу, достать импортную мебель, подписаться на «Библиотеку всемирной литературы»... Посещали лекции общества «Знание», заочные университеты марксизма — и очень-очень-очень старались выкладываться на советской службе. Но с другой стороны, именно как мещане они массой мечтали уехать туда, где живут получше, где товары достают без очереди, где вещи просто покупают

в магазинах за деньги, а зарплату выдают в иностранной валюте. Я говорю не об активистах, еврейских националистах и прочей передовой публике. Эти как раз являлись вполне антисоветчиками (тут я согласен с органами, хотя евреи не признавались в этом открыто — из юридически-дипломатических соображений). Но таких насчитывалось относительно мало... Советская власть их не боялась и, как известно, даже подумывала, не полезно ли с ними расстаться навсегда, чтоб воздух здесь не портили... Нет, Шестидневная война обратила на Израиль надежды миллионного советско-еврейского мещанства, того самого большинства, которое в упор не видели ни власть, ни сионисты (эти как раз еврейскую массу отчаянно идеализировали)... Перемена настроений подготовила исчезновение еврейства в России, до которого мы пока не дожили, но можем дожить.

* * *

1968 год — это начало гибели советской системы. Я позволю себе оторваться от последовательного изложения событий и уйти в прошлое, которое сыграло центральную роль в моей судьбе — личной и литературной. Как я научился не просто оценивать, но *получать* новую информацию о жизни, об истории, об идеологии? Как стал тем человеком, который завершил свою советскую судьбу в тюремных камерах и ссылке?

Началось все в последние студенческие годы. В середине 50-х, в самом начале хрущевского времени, распространялся в обществе первый самиздат — пока еще поэтический. Первым поэтом запомнился мне Борис Слуцкий. Из уст в уста передавались его стихи о Сталине:

*Однажды я шел Арбатом.
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
Рядом дрожала охрана...*

.....

*Все мы жили под Богом.
С Богом почти что рядом.*

Или:

*А мой хозяин не любил меня.
Не знал меня, не слышал и не видел.
Но все-таки боялся, как огня.
И, как огня, трусливо ненавидел...*

Особенностью Слуцкого была его современность, его *жизненность*. Тогда я не подозревал, что Бродский ездил в Москву — за благословением к Слуцкому. Совершенно невероятный факт для тех, кто лично знал Иосифа! Но сегодня, когда читаю об этом, могу думать вот что... Слуцкий виделся едва ли не единственным поэтом, который имел прямое отношение к нашей сегодняшней жизни, не фантазируя, а описывая ее.

Собственно, литература социалистического реализма, господствовавшая при Сталине и едва ли не вся читаемая вождем лично, знаменитым книгочеем и библиофилом, одобряемая или порицаемая на самых верхах власти, видится мне в целом недурной. Она ощущалась вполне читабельной и нормально развлекательной — как, скажем, демонстрируемые до сих пор, полвека спустя, пырьевские «Кубанские казаки». Помню, с каким удовольствием я сам читал «Кавалера золотой звезды» Бабаевского. Провести за новинкой время казалось приятным, занимательным. Только к реальной жизни чтиво не имело никакого отношения — совершенно сознательно, исходя именно из ее «метода». Соцреализм создавал жанр той или иной оперетты в литературе, если понимаете, о чем я толкую. Несомненно, искусство, в своем роде даже недурное, но с определенной жанровой задачей, которую не могло поменять... Не то что не смело, а даже и не хотело. Жанр есть жанр.

И на таком фоне поэзия Слуцкого стала разговором о смысле жизни. За Слуцким пришли самодеятельные поэты (я-то знал в основном ленинградцев). Прежде всего «самоделами» становились геологи — люди вполне прилично зарабатывающие, причем честным, неидеологизированным трудом. Они могли позволить себе пи-

сать стихи, что хотелось читать другим, что чувствовали сами, не задумываясь о вещах, посторонних литературе, — о публикациях, гонорах, иной государственной муре. Помню, как в 55-м мы бродили по улице Некрасова (как она называется сегодня?) — Леша Адмиральский, его будущая жена Наташа Магази́нер и я — и читали друг другу стихи Владимира Британишского. Его имя стало тогда бешено популярным. (Кстати, с него началась поэзия Иосифа Бродского. В какой-то экспедиции он увидел первую книжку Владимира и подумал: «А ведь я могу сочинить получше».) Через два года, году примерно в 57-м, я уже держал в руках маленькую книжечку начинающих поэтов Питера. Среди них выделялись стихи неизвестных мне Александра Кушнера и Татьяны Галушко.... Оба, кстати, входили в литературное объединение Герценовского института, которое я создавал по заданию кафедры и был в нем старостой, пока меня не сместили — по чьему-то доносу.

Постепенно «устные» стихи ушли из поэтического потока... Может быть, из-за Евтушенко — его часто печатали, правда, грубо поливала партийная пресса. Но время оказалось для «хамла» не слишком удобным: молодежь перестала бояться, писала ответы на официальные разносы в редакции, защищая «своего» поэта. Я сам написал письмо еще в Красноярске «за Евтуха» в «Комсомольскую правду» и подписался: «комсомолец-целинник», так что нас и клеймить-то было не так просто. Пробивались в печать другие имена — Белла Ахмадулина, Рождественский. Адольф Урбан принес в Питер весточку: «Выходит сборник нового поэта Андрея Вознесенского. Доставайте, это будет нечто!». И мы зачитывались непохожими ни на что стихами Андрея. Короче, вал самиздатской поэзии прорвал преграды и зазвучал в полный голос уже в печати, вытеснив ее из авангарда самиздата. С другой стороны, неслучайно же первый нелегальный журнал в Союзе оказался именно *поэтическим* альманахом («Феникс» Алика Гинзбурга), неслучайно первые подпольные группы 60-х годов возникли на поэтических митингах возле памятника Маяковскому в Москве.

Через Травинского в конце 50-х я узнал о стихах Бродского... Однажды Владька принес несколько листочков с написанными шариковой ручкой стихами неизвестного поэта. Четко помню: прочитал и сразу почувствовал великого автора, того, кто представит наше поколение будущему миру. Все это виделось и чувствовалось необычно:

*Прощай, позабудь и не обессудь.
А письма сожги, как мост.*

Так тогда никто не писал: «...сожги, как мост». Это ж не про любовь, это — про войну... Сочетание войны с любовью у современника ошеломяло. Каждое стихотворение било по нашим головам. Скажем, запетые нынче «Пилигримы»... Мысль — «удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам» — сносила наши мозги: поэзия, которая по-прежнему остается судьей всего совершающегося в человечестве. Это был старый, но одновременно неслыханный выворот из эпохи, когда поэтами обычно называли писак, которых никто не то что не читал, но и не мог бы читать — вроде Александра Прокофьева или Михаила Дудина. Поймите, тогдашние поэты — скажем, питерские Георгий Некрасов или Бронислав Кежун — кому могли показаться нужными? И вдруг — «поэты одобряют мир», они есть некто, кто приспособлен не для юбилеев во славу «родной партии», они — судьи истории и человечества! Вот эти чувства и переворачивали жизнь. Их воскрешал в наших душах ранний Бродский, который позже себе тогдашнему выставил «ноль» за творчество — и был совершенно несправедлив к себе самому...

Странно прозвучит сегодня, но я и тогда вполне сознавал, кто творит рядом с нами. На выпускном вечере в Токсовской вечерней школе я, напившись на радостях, кричал рабочим-железнодорожникам: «Запомните! Вы все живете в эпоху Иосифа Бродского! Запомнили имя? Иосиф Бродский — знак нашей эпохи»... А Иосифа знали-то в лучшем случае полтора десятка любителей стихов.

Потом неизбежно пришло время неформальной прозы. Новая проза связана в моей памяти тоже с именем Тра-

винского. От него я впервые услышал о фантастическом романе Сэнди Конрада (Александра Кондратова) о битах:

«Никто не знал, откуда они пришли. Может быть, с Марса. Они пришли и сказали: “Мы поведем вас к счастью”. Никто не хотел».

...Впрочем, проза вскоре прорвалась на страницы прессы. И тот же Травинский привел меня в Союз писателей и познакомил с Борисом Стругацким. В свет у братьев вышла всего одна книга «Страна багровых туч». Советский роман, конфликт в котором доведен до абсурдного предела: персонажи совершают смертельно опасное путешествие на Венеру, чтобы найти там... урановое месторождение. (Вспомнилось, что Бродский тоже служил рабочим в геологической партии и якобы обнаружил урановую руду... И хвастался этим. Очень характерное для эпохи хвастовство!)

Так случилось, что я остался в Ленинграде один. Исчез Травинский. Вдруг человек невероятно устал: перестал верить в жизнь, в свои возможности, разошелся с женой, уехал к знакомой московской писательнице, сделался «звездой» в редакции «Литературной газеты», причем настолько «звездой», что получил в коллективе прозвище Траво (главного звали Чаком, первого замглавного, Сырокомского — Сыром). Он женился в Москве на чудесной женщине, приезжал с ней ко мне в гости, жил у меня. Но уже ощущал себя в Москве как бы в нужном месте — газета, тем более популярная и влиятельная, как «Литературка», поднимала темы интересные, люди появлялись как бы сами собой... Все — как раз по его характеру и дару. Но для него настало жуткое, тупое время: в непорядочной стряпне, изображавшей советский «Гайд-парк», Владька нужен был как вольнолюбиво-либеральная маска. В итоге он сорвался в приступ и умер сорока с небольшим лет ... Я узнал об этой смерти уже в зоне. А в Израиле ко мне пришел его приятель по «Литературке» и рассказал, что последними осмысленными словами Владьки были: «Мишка, мы им еще покажем!»

Когда Травинского в моей реальной ленинградской жизни не стало, я впутался в странную и по-своему смешную историю. Кажется, в «Ленинградской правде» появилась статья знаменитого публициста Владимира Львова. Он обличал авторов гипотез о появлении на Земле космических пришельцев, помогших сформироваться первым цивилизациям (египетской, древнеамериканской). Сам я в «пришельцев», в НЛО и прочие мистические тайны не верил, хотя охотно признаю, что могу ошибаться, и моя приземленность, тяготение к прозе фактов есть личное свойство. Но меня возмутила доносная терминология Львова: он обвинял авторов космических гипотез почти в стиле 1937 года — во вредительстве, в антимарксистских замыслах. Поскольку одним из обвиняемых был доцент Ленинградского университета, филолог-славист Зайцев, любому здравомыслящему человеку становилось ясно: уж если орган обкома партии в *таком* обвиняет преподавателя, то из университета его точно выставят. Хотя он Зайцев, а не Рабинович, но в случае антимарксизма «русскость» человека никогда не спасала... Мне не хотелось подобного исхода конфликта — я и влез в драку, совершенно чуждую мне по мотивации...

Со студенческих времен я сделал важный для себя вывод: предписанные начальством меры абсолютно необязательны даже для самого этого начальства. Необязательны *к исполнению*, что следует помнить. Планы начальства есть его намерения, их вполне можно подкорректировать, если вмешаться на раннем этапе, когда шефы могут маневрировать, не теряя лица. Вот пример: к концу 4-го курса, прямо перед дипломом, проходило факультетское комсомольское собрание. Разоблачили студентку, которая при поступлении в вуз гнусно обманула приемную комиссию и скрыла факт пребывания на оккупированной немцами территории. Теперь это жуткое правонарушение, наконец, раскрыли и предложили исключить девушку из комсомола, что автоматически означало исключение из института, лишение почти заработанного ею диплома.

Секретарь бюро доложила собранию суть дела и предложила голосовать за исключение. Наивный, но идейный до самопожертвования комсомолец Михаил Хейфес вылез на трибуну и заявил следующее:

— Как не стыдно ее исключать? В чем она виновата? Ее, девочку 7 или 8 лет, взрослые люди оставили в плен немцам, а теперь ее же наказывают за это. По-моему, если стоит кого-то исключать из комсомола, то именно тех, кто такое нам смеет предлагать...

И внезапно выяснилось, что так думают все. Все собрание мыслит точно так же, как этот дурачок! Требовалось только, чтоб кто-то решился, сказал в упор, — и все поменялось. И секретарь бюро принялась нас уговаривать:

— Если мы ее совсем не накажем, райком комсомола своей властью ее исключит. Это его право. Давайте лучше вынесем ей строгий выговор с занесением в личное дело. Я доложу в райкоме, что собрание считает такое наказание достаточным. В институте она останется, а выговор снимается через год...

Мы поняли, что в райкоме не слишком настаивали на исключении. Там тоже действовали, «как положено»... При Сталине — так положено. А не провели на собрании исключения, ну не провели. Тогда пусть останется с выговором с занесением. И девушка получила диплом.

Аналогичный случай произошел со мной в ленинградской школе. На педсовете исключали двух школьников из 8-го класса. (Тогда обязательным считалось семиклассное образование, потому из старших классов исключали легко и быстро.) Славные были девочки, но... как бы сказать... увлекавшиеся мальчиками. Одна из учительниц, злобная старая дева, подготовила для педсовета подобное решение. А девочки мне по-человечески нравились, и все... И я выступил против, и их оставили в школе. Коллектив, оказывается, думал так же, как я, а не как начальство. (Девушки вскоре перешли в другую школу, но это все же иной исход, чем исключение.)

И в случае с Вячеславом Кондратьевичем Зайцевым я решил вмешаться в схватку, убежденный, что изгнание

доцента из университета «положено», раз обком партии по педагогу проехался. Я залез в прошлую публицистику Владимира Львова, обнаружил статью 1949 года, в которой лучших физиков страны — академиков Фока, Капицу, Ландау обвиняли в жутком преступлении — «эйнштейнианстве» и «поклонении квантовой механике», т. е. направлению в буржуазной физике, возглавляемому «агентом британской разведки Нильсом Бором» (Львов прямо так и писал. Молодец!) и столь же отрицательными типами Дираком, Паули и прочими западными негодяями. Понимаю, читателю сегодня кажется, что я создаю гротескную карикатуру; но это был нормальный привычный стиль публицистики сталинского времени. Я и сам, перечитав эти статьи в 60-х годах, почувствовал себя не в своей тарелке!

... Моя идея заключалась в том, чтобы напечатать письмо против Львова в центральной газете и скомпрометировать клеветника как публициста, а уж в качестве косвенного результата вывести Зайцева из-под его обстрела. Увы, Львова в Москве побаивались, так как помнили его старые статейки (не то что я, грешный). Сначала попросили, чтобы мое письмо подписали какие-нибудь видные деятели. Но... только академик Фок согласился — нет, не подписать — приложить к моему сочинению свое рекомендательное письмо. Вера Панова, помню, решительно отказалась. Короче, остался я один — «при своем интересе». Но главного неожиданно добился: Зайцева из универа решили не выкидывать. Вячеслав Кондратьевич продолжил преподавать...

Обком спустил дело Зайцева на тормозах: «провел воспитательные беседы» с теми, кто окрысился на давнего любимца партии, на Львова, в частности, вызвали в Смольный тех, кто смел протестовать против статьи в «Ленинградской правде». Среди вызванных оказался историк, преподававший в Ленинградском университете, доцент Вадим Вилинбахов.

...Вячеслав Зайцев, окрыленный поддержкой, устроил дома банкет, посвященный своему спасению и новым

друзьям, в какой-то мере заступникам. Помню, у него впервые я, деревня, узнал, что сыры могут пахнуть плесенью. О! Какая роскошь! Экскурсоводша из Исаакиевского собора, не помню уж ее имени, рассказала забавнейшую музейную историю (я всегда обожал рассказы экскурсоводов!), как к ним пришел маршал Югославии Тито в сопровождении Леонида Ильича Брежнева... Сотрудникам приказали вести себя «как обычно» — будто начальства нет на самом деле... Дама привела в действие маятник Фуко. Через пять минут маятник сбил положенную соседнюю плашку, и Леонид Ильич восхитился: «Каких только чудес нет в нашей стране!» Мне рассказик понравился настолько, что запомнился на полвека...

На том банкете я познакомился с Вадимом Вилинбаховым, который стал моим близким другом.

Вадим был необычным человеком. Потомок старого дворянского рода из Прибалтики, носивший фамильный рыцарский перстень, он невероятно увлекался историей военной формы и символикой разных эпох. От него я узнал, как одевались гвардейцы в то или иное царствование, когда исчезли епанчи, появились бекеши и прочие детали старинной формы. Это необходимо знать, если пишешь историческую прозу. Кроме того, Вадим любил исторические сюжеты, о которых я не имел никакого представления. От него я узнал, что в житии Александра Невского наличествует масса художественных мифов. Ученым не найти никаких серьезных исторических источников, подтверждающих героизм великого русского полководца. По словам Вадима, миф о Невском сочинили при Грозном, чтобы идеологически укрепить Ливонские завоевания царя в Прибалтике, а потом легенды развивали при Петре I — уже для прославления войн будущего императора со шведами.

— Невский был неплохим воякой, — соглашался Вадим, — ну, обычный смелый князек! Но битва, решившая исход Орденских походов на восток, случилась на самом деле. Это как раз не легенда, только произошла она при другом князе и через десятилетия после Невско-

го... Битва новгородцев с Орденом при Раквере — слышал про такую? И никто о ней не слышал, не только ты, — она оказалась ненужной.

— Вадим, а кому понадобилась мифологизация истории в пользу Александра Невского?

— А вспомни, Миша, кто был родоначальник династии московских князей? — ответил Вадим вопросом на вопрос.

Так впервые в жизни я узнал, что фальсификация русской истории в интересах правящей элиты началась вовсе не при большевиках, а намного раньше....

Мы встречались с Вадимом довольно регулярно. Обсуждали историю и современную политику. Тогда его сын, нынешний герольдмейстер России, как раз служил в армии, а Вадим с женой поменяли квартиру в центре города и переехали на южную окраину Питера. Неподалеку, на улице Победы, жил и Борис Стругацкий. Скоро наши встречи стали «тройственными» — и длились в таком составе несколько лет.

...С Борисом Стругацким меня опять-таки свел Травинский. Я писал выше про свою психическую особенность — что опасался знакомиться с известными людьми. А братья Стругацкие стали знаменитыми после выхода первых своих книг. Они сразу вырвались в авангард советских фантастов (что, честно сказать, было не слишком трудным, ибо фантастику товарищ Сталин выдерживал на самом примитивном уровне). С первой же попытки братья ухитрились сравняться с Иваном Ефремовым... И я, как всегда, опасался сближения с Борей — вдруг ему придет в голову, что мне чего-то от него надо. Однажды Таня Калецкая высказалась:

— Мишка, а знаешь, Боря Стругацкий на тебя обижается. Ему хочется с тобой общаться, а ты избегаешь.

О! Это совсем другое дело. Мы тут же отправились к Боре в гости, благо жил он по соседству, в нескольких кварталах от моего дома. Бориса дома не оказалось (мы ж не предупредили никого), но я познакомился с Адочкой, Бориной женой, которая мне ужасно понравилась.

Потом встречаться предпочитали у Вилинбаховых, благо просторная квартира Вадима давала возможность болтать в его кабинете, никому не мешая. (Ни у Бори, ни у меня такой роскоши, как отдельная комната для работы и уж тем паче — для приема гостей, не водилось.)

Немного отвлекусь, чтобы рассказать о тогдашнем восприятии книг Стругацких — личном восприятии, конечно. Братья писали на удивление жизненную, реалистическую прозу по темам и по осмыслению. Стругацкие росли буквально в том же круге, что я сам, — начали как нормальные самоотверженные советские люди, потом возвысились до идеализма, восхищенные светлыми идеями коммунизма, потом стали романтизировать творчество, работу «по способностям» — по умению свершить нечто вопреки идиотам и бюрократам на местах... Потом все в творчестве поменялось. Как-то быстро и как-то вдруг!

Я датирую этот перелом 1965 годом. Пока литературная судьба братьев складывалась вполне благополучно — все печаталось, и все хвалилось, Ефремов, признанный мэтр, поддержал начинающие таланты, а противники казались ничтожными пигмеями, с ними считаться никто не думал. Допускаю, что не каждый их роман нравился литературному начальству, но, в конце концов, авторы восхваляли коммунизм, воспевали светлое будущее, успехи в космосе... Словом, если что-то не нравилось, но казалось вполне допустимым — им не препятствовали.

В 1965 году вышел роман «Хищные вещи века».

Я допускаю, что сами Стругацкие не предполагали ни сатиры на современность, ни памфлета. Они поставили некую философскую проблему — как отсутствие духовного начала может изуродовать жизнь даже вполне благополучного общества. Допускаю, что редакторы с цензорами тоже воспринимали мир, изображенный в романе, как некое обличение капитализма, т. е. богатства, изобилия, «материального баловства», каким западный мир смотрелся из-за советской железной решетки... Словом, обличался «золотой миллиард», как принято

говорить нынче. Роман с первого чтения казался разоблачением капиталистических достижений, которые не принесут людям счастья и довольства. Главная работа по совершенствованию общества начнется потом, когда за дело примутся посланцы коммунизма... Так могло смотреться всеми — даже самими авторами! Могло вполне...

Но партийные чиновники довольно скоро раскусили опаснейший подтекст и заподозрили более чем подрывной замысел!

О чем роман? Сыщик в поисках преступников приехал в некую страну. Пересек границу, уплатил положенную пошлину, и попал... в коммунизм. Потребителям *выдавалось*, что могло требоваться, все *бесплатно*. Денег не существовало, хотя они в принципе имелись — для тех, кто хотел получать удовольствия именно за деньги. Такой имелся у некоторых персонажей бзик. А любой бзик исполнялся! Чистый коммунизм в представлении рядового советского человека.

И тогда наступила трагедия: люди не знали, зачем теперь им жить. Бытие утратило смысл. Началось наркотическое безумие...

Всего за несколько лет до выхода «Хищных вещей» Никита Сергеевич убедил съезд партии принять программу построения коммунизма в СССР. Коммунизм обещали построить через 20 лет (к 1980 году). Делегаты восторженно приняли программу, утвердили долгое и нудное множество экономических достижений, необходимых, чтоб советские люди зажили при коммунизме сытые и одетые, имея собственное жилье. Картинка как бы явилась материальным осуществлением вековой мечты. И вдруг выходит роман (правда, уже после снятия с должности главного мечтателя), описывающий «светлое будущее» как преступную и бездуховную жизнь, где все без исключения несчастны, растеряны и потеряны.

Партия имела основания жестоко обидеться на Стругацких. Честно!

Вдруг для читателей выяснилось, что теория и идеалы Маркса и Энгельса рождались в голодной жизни

XIX века. Множество иммигрантов из Европы впервые наелись досыта лишь в Америке, когда переселились на другой континент. Даже в Западной Европе огромные массы населения жили впроголодь. (Потому, конечно, и переселялись миллионными массами за океан. Только в Бразилию уехали два миллиона... итальянцев.) Отнюдь не в укор теоретикам, но сложилось так, что мир, который социалисты вообразили в своих социальных мечтаниях, оказался миром, где людей, наконец, накормят и напоят досыта и допьяна, где ни у кого не возникнет проблем с одеждой, обувью, бытом... Да, нелепо укорять кого-то из мыслителей XIX века в наше-то время — они были и остаются благородными людьми. Но им ошибочно воображалось, что накормленный и напоенный коммунистический мир превратится в сплошные Афины, где свободный человек воспользуется изобилием, чтобы сделаться, наконец, творцом. Каждый станет творцом! Это была мечта именно творческих от природы личностей, какими являлись Маркс и Энгельс. Увы, мечта противоречит природе обычного, массового человека.

Стругацкие написали роман, где сытость и удовлетворенность в материальном отношении выглядели уже вполне достижимыми. Но в итоге писатели выяснили: становясь абсолютно свободным, человек необязательно становится творцом! Не станет он «человеком коммунизма», как виделось философам в давнее голодное время. Напротив: подавляющее большинство сытых людей не будут знать, что делать, как распорядиться обрушившимися на их головы свободой и изобилием. В лучшем случае массовый человек истратит свою свободу на какое-нибудь хобби, например на наркотики... Ничего иного в обычных душах не может вырасти — ни при каком материальном благополучии.

Стругацкие — по моим представлениям, неожиданное для самих себя, их просто завела неожиданная фантастическая идея, художественное воображение *реалистов* — замахнулись на самое святое в советской жизни. Не на диктатуру партии, не на бюрократию, даже не на

советскую власть. Это все было бы не так опасно... Не за то их невзлюбили. Нет, они отринули основу социалистической идеологии — ее мечту, ее идеал.

В книгах братьев лично меня неизменно покорял и увлекал стиль. Я знал, что Борис профессионально изучает фантастику именно как жанр, вслушивался в фантастические сюжеты и разные фокусы, сочиняемые в англосаксонской литературе. На секциях в Союзе их регулярно пересказывал знаток английского языка, который старался для наших коллег-фантастов все возможное прочитать, запомнить и пересказать. Сюжеты братья могли придумывать, опираясь на мировой опыт. Фантастику я как жанр не любил, читал ее с усилием. Запомнилась деталь: ко мне из Свердловска приехала теща, профессор-дирижер. Жена, желая похвастать, познакомила ее с Борисом. Отстаивая себя, теща высказалась:

—Я, знаете ли, не люблю фантастику.

—Да и я тоже, — вздохнул Боря.

Однако Стругацких я читал с неизменным и неожиданным даже для себя самого восхищением, каждый раз пораженный разнообразием стиля новых книг, поиском новой выразительности — не сюжета, не выдумки, нет, а именно умением выстроить фразу, выбрать ритм, соблюсти нужное умолчание... Люди не отработывали гонорары, а творили, каждый раз испытывая наслаждение от того, что создавали и придумывали новое в слове, чего до них в советской литературе не существовало.

Мы дружили с Борисом и Вадимом Вилинбаховым нескольких лет. Образовался любопытный кружок, если пользоваться историческим сравнением, нечто вроде «кружка Станкевича» 1830—40-х годов. Такой кружок вошел в историю, причем достоверно неизвестно, о чем там люди спорили, что обсуждали... Все на свете обсуждали! Прежде всего философию Гегеля. Вот и мы так же существовали — сто двадцать лет спустя. Видимо, в похожих условиях люди склонны объединяться в общественные группы.

Самые острые споры и обмен мнениями проходили у нас в 1968 году.

Самиздат постоянно приносил все новые стихи Бродского. Он вернулся из ссылки, но мы ни разу, помнится, не встречались с ним после Норенской — до самой Америки (в 1988 году). Иосиф теперь — после процесса и стенограммы Фриды Вигдоровой — стал знаменитым, его все знали, поэтому я старался, как у меня принято, оказываться от него подальше. Да и он не стремился к общению. Разбираясь, в чем причина взаимного и явного отдаления, я решил (возможно, ошибочно), что загвоздка в давнем эпизоде, случившемся на киностудии «Леннаучфильм». Это произошло году в 62-м. Мельников уже снял «Кибальчича», это точно. Меня пригласил на студию редактор Виктор Кирнарский.

— Миша, у нас работает опытный, уважаемый режиссер. Он заявил, что ему надоели старые авторы, и хотел бы заказать сценарий кому-то из молодых, из новичков. Я подумал, что ты как раз и можешь подсказать в авторы кого-то из своих друзей...

Конечно, я был рад помочь! Вошел в кабинет Виктора немолодой господин по фамилии, кажется, Гайворонский. Я заливался лесной птичкой, характеризуя талантливых ленинградских ребят, — какие они одаренные и какие умные... В самом конце высказался:

— самого талантливого человека в Ленинграде зовут Иосиф Бродский. Если именно ему вы сможете что-то заказать, как-то помочь, то окажете великую услугу. Потому что Бродский не окончил и восьми классов, ушел работать. Сами понимаете, как смотрится это в еврейской семье. Родители считают парня совсем пропащим, а он такой, что талантливей не встречал никого в жизни... Адрес...

— Не нужно, — прервал Гайворонский, — я знаю адрес (и назвал адрес и телефон!). Это мой племянник. Мы действительно в семье считали его неудачником, но если уж такой человек, как вы, верите в Иосифа, возможно, мы ошибались...

Вот такой получился компот в жизни. Я не вспоминал о нем до 1973 года, просто и элементарно забыл, мало

ли о чем приходилось болтать, тем паче на студии. Когда Володя Марамзин притащил мне (для написания предисловия) три составленных им тома лирики Бродского, я наткнулся на сценарий фильма «Сады Павловска». В примечаниях, сделанных Марамзиным, говорилось, что в главке одобрили сценарий, но рекомендовали поменять закадровый текст... Все-таки талантливые люди работали в этих главках! Иосиф никому в Москве не мог быть тогда известен, у них сработала чистая интуиция — неприятие таланта в кристально чистом виде. Это все, конечно, рассуждения в сторону, но Иосиф виделся мне тогда (и до сих пор!) человеком, который принципиально недолюбливал лиц, что пытались ему «помогать пробиться». Знаю, что такое мнение отвергает Евгений Рейн. Есть такой тип человека (таким, например, был композитор Рихард Вагнер), таким виделся мне и Иосиф. Отсюда я понимал его неприязнь к Евгению Евтушенко, пытавшемуся печатать его в «Юности», или к Анатолию Рыбакову и другим «доброжелателям», на самом деле людям вполне искренним... Это понятно: ведь попытка помочь неизменно кончалась советом, как подправить стихи, чтобы «приспособить к реальной ситуации», либо завершалась отказом редакции, унижающим самолюбие творца, знавшего самого себя, чего он стоит... В общем, охлаждение наших отношений я приписывал той попытке «пробить» поэта в кино! Прав или неправ — кто ж теперь узнает?

Присутствовал я, конечно, на его выступлениях в Союзе писателей, вообще старался не пропускать «бродячих» стихов. Да и самая жизнь Иосифа становилась любимой темой городских сплетен — среди литераторов, по крайней мере. Помню, как пришедший ко мне прозаик Володя Марамзин вдруг стал обсуждать ни с того ни с сего историю «с Мариной и Димой», причем говорилось все так, будто я просто не могу не знать, кто есть кто и в каких с кем отношениях, знаю даже подробности... А я ничего не знал — даже их имен. Кто такой Дима, как его фамилия, да и про Марину не слышал (хотя про нее

Бродский иногда загадочно намекал, мол, есть, есть у меня «женщина»).

— Ну и что, — говорил запальчиво Марамзин, — конечно, она все решала сама, это так, но он-то, он-то как мог!

(Имелся в виду таинственный Дима.) Рассуждения Володи мне запомнились именно потому, что Марамзин не страдал домоседской этикой в сексуальных вопросах или строгостью в собственной супружеской жизни. (Жену он очень любил, страстно и прочно, что не мешало изменять ей чуть ли не каждый день с любой встречной, изъясвившей хоть косвенное согласие.) И вдруг — Володя кого-то осуждает за секс... Я-то, напротив, всегда исповедовал принципы, что называется, добропорядочного советского мещанина, и отсюда вытекало, что жена друга есть для меня существо неприкосновенное. Иначе, думалось, просто жить нельзя, невозможно встречаться с людьми, доверять кому бы то ни было... Поэтому, соглашаясь в принципе с Марамзиным, что «она сама решила», вдобавок понимая, что вообще-то любить Бродского женщине, наверно, невероятно трудно — с его непредсказуемым материальным положением, без жилья, без зарплаты, плюс с поэтическим темпераментом, который Бог весть куда способен занести. Я нисколько не осуждал именно Марину за разрыв. Воспитанный в мещанском духе, я вполне понимал ее и сочувствовал. А вот неизвестный Дима, напротив, не пользовался моим уважением. Посягнуть на подругу своего друга — мерзость. Только много лет спустя, прочитав воспоминания самого Бобышева, я понял, что он был сильно оскорблен Бродским в случайном разговоре (у поэтов подобная штукавина — дело привычное) и после этого подсознательно желал ему как-то отомстить за грубость. Конечно, его самолюбие задевала растущая разница в восприятии стихов питерской публикой между творцами, начинавшими некогда как равные, а сейчас Бродский ушел ввысь, а он... Ну, как не поквитаться с бывшим товарищем? хотя б бессознательно... А тут под-вернулся случай — благо, «она сама все решила»!

Я иногда сравнивал себя и Бродского. Мы оба сочинительствовали в Питере... Разница возникала, естественно, из принципиальной противоположности наших натур. Отразилась она даже в книгах, которые мы читали... Иосиф в юности занимался индийской философией, весьма популярной среди молодых людей. Мне тоже давали почитать эти книги (Травинский, естественно), но они не произвели на меня никакого впечатления... Так, умствование! Ну а Иосифа, напротив, они поразили по сути. Позже он увлекался Шестовым — до самого конца, насколько мне известно, почитал его гениальным мыслителем и даже весьма уважал как стилиста прозаических текстов. Возможно, за то, что Шестов писал философские книги нормальным русским языком — без философской витиеватости. Я же ни одной книги Шестова не читал (в то время), фамилию встречал только в ряду не слишком близких мне «сменовеховцев». Я больше крутился в кругу «изучателей» Маркса, Энгельса и всей той школы — Ленина (все тома перечитал). Наши натуры диктовали разный круг философских интересов. Но философы, как мне видится, в немалой степени определяли развитие наших натур и особенности жизненного пути.

Чему, например, мог научить Шестов Бродского?

Что окружают людей законы природы и общества, так называемая Необходимость мира (горячее обжигает; стакан, выпавший из рук, разбивается о землю). Весь мир управляется Необходимостью, которая давит на наши натуры, на наше Я, на то, что нам хочется делать — и Необходимость вынуждает себе подчиняться? Это всякий знает и без философов. Ничего здесь ни умного, ни оригинального нет... Но Шестов учил важному: вовсе не обязательно для личности соглашаться и уступать Необходимости, вовсе не требуется маневрировать в жизни, чтобы выжить в столкновениях с нею или изменить себя так, чтобы возможным оказалось выжить. Мученик Иов высказал Богу «нет» вопреки мнению Бога, вопреки законам, которые по воле Бога управляют миром, т. е. вопреки Необходимости! И — оказался победителем.

Бог смирился с тем, что был неправ. Бог уступил воле Иова — и утерянное вернул. Если у тебя хватает воли и мужества сопротивляться Необходимости своей отчаявшейся душой, ты можешь, ты смеешь победить непобедимое, очевидную Необходимость мира. Ты можешь и смеешь жить так, как велит душа! Ибо на самом деле мир Бога непредсказуем для человека. В чем заключается истинно Его Необходимость, есть лишь твоя догадка, сама по себе, разумеется, разумная, но, вполне возможно, ошибочная. И если ты настаиваешь на своем, то возможно, что именно ты и прав — даже с точки зрения самой Необходимости мира! И способен победить то, что выглядит неодолимым...

Иосиф в это верил и жил так, как ему хотелось жить, как диктовала душа. Это не значит, что он жил легко! Он хотел писать стихи — и писал только такие, которые нравились ему самому, даже если за них не платили. Когда предлагали выпустить в свет какую-то подборку и заплатить деньгами и славой, общественным признанием, он требовал, чтобы подборка соответствовала его вкусу, его поэтике, а не интересам редакции. Это было абсолютно невозможно в условиях советской жизни. Невозможно оно в любой стране, но уж в советской-то — особенно. За такое овеществление свободы он получал огромное вознаграждение — возможность писать стихи, какие только он один мог написать, что очень немало. Возможно, только человек, живущий по Шестову, способен иметь такой дар Свыше. Но и жертвы в ответ требовались громадные! Иосиф, насколько я понимаю, жил преимущественно за счет родителей. (А ведь с детства тяжело переживал, что в семье постоянно не хватало денег, он отнюдь не был паразитом по натуре.) «Двух рублей давно не видел вместе», одевался в шмотки, которые привозили иностранные друзья (небольшое счастье, по правде говоря)... По сути он принес в жертву своей воле внетюремную свободу (ничего ведь не стоило устроиться на какую-нибудь фиктивную работку, чтобы получить справку для милиции). Возможно, из-за свое-

го упорства он потерял самое главное в жизни — первую любовь. Ведь можно более чем понять Марину — как строить семью с мужчиной без зарплаты, живущим в углу за книжным шкафом у родителей?

Острую неприязнь партийцев он вызвал именно этим свойством — желанием жить, как ему хочется. В пьесе А. Гельмана «Премия» крупный начальник говорит простому рабочему: «Почему ему можно все, а мне — ничего!». Им, партийцам, ведь никто не позволял жить по своей воле! Когда Иосифа вызвали на беседу к секретарю райкома, он признался Косаревой: «Мне до вашей партии дела никакого нет, но и вам до меня тоже не должно быть дела». Как ей слышать такое — «вам до меня не должно быть дела»? Чтобы родная коммунистическая партия стерпела подобное?! Да он по минимуму от нее отделался, говоря честно... Только потому, что она его всерьез не приняла — у него же нет образования. Жулик, наверно... Я говорю вполне серьезно.

Я вел принципиально иную жизнь: старался выжить, хватался за любую работу: писал статьи о Достоевском и о большевиках, сочинял рецензии — официальные и внутренние, делал все, за что платили деньги и не требовали поступаться принципами. Поэтому смог купить кооперативную квартиру, женился по любви, родил двух детей и воспитывал их... хотя отлично понимал дурную свою совместимость с действительностью, что нас обоих окружала, понимал ее историческую обреченность и временность окружающего советского мира. Но я не верил в его скорый конец — мне виделся скорее испанский или османский вариант, когда прославленная и непобежденная империя вдруг неизвестно с чего на вершине могущества теряла силы, волю и... нет, не погибала, но гнила изнутри, и, оставаясь по-прежнему живой, выпадала из мировой истории, превращаясь в третьестепенную державу. Такой процесс мог длиться веками, и я не поверил Амальрику, когда прочитал «Просуществует ли СССР до 1984 года». Не верил, что, мы увидим конец империи, это выглядело бы слишком... мечтательно, что ли...

Мне возражал Борис Стругацкий:
— Мишка, а я надеюсь на экономику...

* * *

Удивительно, что забываются самые значительные события в истории!

1968 год видится мне сегодня временной вехой, когда решалась судьба Советского Союза: быть ему или не быть. Союз сам выбрал — не быть!

Стремительный темп, который придал стране в 50-е годы Никита Хрущев, уже в конце этого правления начал замедляться. Собственно, этим объяснялись инициативы и рывки Никиты из стороны в сторону. Лидер чувствовал сбой системы, искал что-то новое, внешне революционное, но никак не мог его обнаружить — или решиться на принципиально новое. Свержение лидера партии обозначало, что эра Хрущева кончилась, что рывок в будущее — химера, нужно искать принципиально новые подходы. Однако правительство, захватившее власть в конце 1964 года, оказалось бессильно! С одной стороны, оно как бы понимало: надо что-то делать, с другой — браться за кардинальное, смелое, новое вовсе не хотелось! Вернее хотелось, но... Очень боязно! Назревавшие проблемы диктовали отказ от коренных догматов социализма, во всяком случае в том виде, как их сформулировал Ленин... Он же первым и столкнулся с кризисом социализма — едва лишь взял власть. Ленин на самом деле верил (как позже поверил Никита), что если передать фабрики и заводы в собственность трудовым коллективам, то Россия обгонит мир по темпам производства, это и будет социализм — передовая, более гуманная и более стремительная система развития общества. Требовалось лишь выждать, скажем полгода, пока рабочие наладят систему управления — и тогда, в это почти религиозно верил Ленин, возможен рывок. Все увидят преимущества нового порядка. Ленину безоговорочно доверились политики. Им думалось, что интуицией, инстинктом великого народного лидера он прозревает будущее (об

этом вспоминал непосредственный свидетель из числа поверивших Лев Троцкий). Наудачу для Ленина началась Гражданская война, и вождю стало не до социальных поисков: требовалось выжить немедленно (или отправляться всем гамузом на виселицы и к стенке)... Социализм он почти сразу заменил государственным капитализмом — идеальной системой для ведения военных действий. Ну а после войны Ленин вынужден был согласиться с предложением Троцкого ввести НЭП, разрешить частично капитализм, хотя и под государственным хомутом. Мера сработала. Страна стала возрождаться...

После Ленина явился во власть Сталин, готовивший страну к новой и неизбежной, как всем виделось, войне с остальным миром, и снова ввел тотальный государственный капитализм, охвативший не только промышленность и сферу услуг, как в Гражданскую войну, но и сельское хозяйство. Судя по разным признакам, Сталин разбирался в сельском хозяйстве примерно на том же уровне, что в военном деле... Трактор сработает на поле все, что властям нужно, и продуктов окажется вволю — такова была внутренняя логика вождя! Крестьянство терроризировали и разоряли, объединяли в коллективы, которые де-факто работали конторами по конфискации продукции, выработанной на полях и фермах. Естественно, этот процесс привел сельское хозяйство к такому же плачевному состоянию, в каком оказалась Красная армия к июню 1941 года. С такими же последствиями, но их-то изжить не посмели... До самого конца — не решились.

Никита Хрущев пытался замедлить назревавшую продовольственную катастрофу. Но у него не хватило власти, мужества, а возможно, просто нужных знаний и понимания ситуации, чтобы распустить колхозы и вернуть Россию к частному фермерству «а ля Столыпин», как решился сделать (позже него!) Дэн Сяопин в Китае. В 50—60-е годы еще оставались в России работники, умевшие руководить собственным хозяйством. Мне думается, такая реформа тогда имела бы успех.... Как подсказывает исторический опыт, существует некий временной пери-

од, в течение которого хозяйство можно восстановить, вытащить из сталинской пропасти, пока живы и работают в той или иной сфере опытные кадры. Ведь возрождение оказалось возможным не только в Китае. Восточная Европа и Прибалтика вступили в полосу социализма после войны, т. е. лет на 20 позже, чем Россия. Значит, искомый период составлял лет 30, не более...

Никита не решился на стремительные реформы: он верил в ленинский социализм. (Именно Дэн Сяопин спас Китай от пропасти, в которую толкал страну Мао: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей».) А Никита, к сожалению, верил исключительно в кошку ленинского цвета и никак не мог от своей веры отвлечься. К концу его правления страна оказалась в кризисе хозяйствования: земля не могла более кормить и содержать огромное городское население. Временно Союз выручило открытие нефти (потом газа) в Сибири. На средства, добытые от ее экспорта, власти несколько десятилетий могли ввозить миллионы тонн зерна и прочей сельхозпродукции из Америки и Канады. Но любой спад нефтяных цен, по определению неустойчивых, следовательно рано или поздно падавших, подводил Россию к катастрофе...

Брежневу и команде (или их конкурентам, если бы победили) предстояло выбираться из ямы. Но они — не решались ни на что (хотя реформы действительно предстояли огромные — как в Китае после смерти Мао). Премьер Косыгин заговорил о введении новых категорий в систему хозяйствования (прибыльности и прочем), но его укротили коллеги, да и сам премьер выглядел небольшим любителем риска.

Члены «кружка Станкевича» обсуждали пертурбации правительства, не понимая объективной невозможности реформ в Союзе... Мы ругали Брежнева, Суслова и всех аппаратчиков, упрекали их в тупости, неповоротливости, консерватизме. Но сейчас, через сорок лет, я понимаю, что мы были интеллигентскими прожектерами. Потому что любое, даже не слишком значительное ре-

формирование системы неизбежно привело бы к появлению свободных моделей в российском обществе. Иначе быть не могло! А это неизбежно приводит к потрясениям. Типичный образец — появление в Польше «Солидарности»: она в конце концов довела страну до падения коммунистической власти. Хотя в Китае компартия пока удерживает власть — но с каким трудом и с кровавыми жертвами! И неизвестно, надолго ли...

Время от времени периоды всемирных потрясений возникают повсюду — на западе, на востоке, на юге. 1918 год, например, обозначен падением великих империй и общим переделом мира, появлением новых государств. 1929-й — год мирового экономического кризиса на нескольких континентах и российской цивилизационной революции, коллективизации крестьянства. 1941 год — это война в Европе всех со всеми, а вскоре — в Азии и в Америке... Почему подобное происходит сразу и повсюду — никто не догадывается, даже приемлемого объяснения придумать не могут. 1968 год отмечен такими же роковыми всемирными пятнами! В Париже восстали студенты, бунты молодых людей в Германии, движение «хиппи» в Штатах, революционисты торжествуют... Слом традиционной буржуазной респектабельности, восстание «рваных джинсов» против жизненных правил истеблишмента. На Востоке — непрерывное и всеобщее, почти дикое возбуждение против коммунистических диктатур...

Самой перспективной страной в социалистическом мире была Чехословакия. Там произошло совершенно немыслимое явление — коммунистическая партия возглавила стремление чехов и словаков к переменам в пользу свободы... Когда и где похожее чудо случалось? Но если демократический переворот считался возможным в коммунистической стране, то и идеология коммунистов тоже виделась нам современным социальным течением. Новое поколение в Советском Союзе поверило в то, что в пределах марксизма можно развивать идеи прогресса, обновления, свободы в стиле XX века.

Мы зорко наблюдали за каждым практическим проявлением пражской революции, толковали по-марксистски (думаю, что и сами чешские коммунисты делали то же). Ведь к моменту большевистской революции в 1917 году Российская империя оставалась преимущественно крестьянской страной. Пролетарская революция не могла достичь в ней объявленных классовых целей. Россия форсировала социальные цели на фоне наличных сил народа и, как положено, многого достигла, но все же оставалась во многом крестьянской, сельской, а не пролетарской страной. Отсюда — срывы и ужасы сталинизма. Зато Чехия и ГДР принадлежали в 1948 году к развитым странам Европы, в них сложилось пролетарское общество, именно им было суждено строить подлинный социализм.

Я честно описываю логику наивных рассуждений того времени. В конце концов, за еврокоммунистов и левых голосовали едва ли не четверть избирателей Западной Европы.

Подлинный социализм — каков он? Например, КПЧ отменила цензуру в СМИ. Вообще — нет цензуры! При подлинном социализме, значит, возможна (более того, вполне законна) свобода печати. Фантастика! Законными считались общественные организации — ситуация, немыслимая в Советском Союзе... Партия действительно становилась рабочей — не по названию только, т. е. опиралась всерьез на мнения заводских и фабричных коллективов. Партия становилась демократической, т. е. мнение ее членов на самом деле определяло действия партийного руководства... Понимаю, что сегодня восторги того времени выглядят нелепыми, что сейчас — это изложение азбуки нормальной партийной государственной жизни. Чехия обозначила российские горизонты, российские цели. Мы видели в чехословацких реформах пример для всех социалистических стран, инициативу, жизненность которой можно проверить в малой стране, и осознать, что именно в ее опыте годится другим, а что нет, где выход, а что смотрится тупиком, что может быть применимо для нашего общества, а что отомрет...

Чешский опыт потому казался современникам ценным и важным, что его реально осуществляли ветераны-коммунисты, явные друзья Советского Союза, именно в той стране, которая веками симпатизировала русскому народу. Эта страна установила режим народной демократии самостоятельно, без советских гарнизонов. Да и вообще веками там, как и в Болгарии, молились на Россию. Отношения выстраивались поколениями.

Кроме того, мы знали, что пражские перемены с самого начала благословил Брежнев — конечно, в свойственной ему манере вежливого уклонения от ответственности. «Это ваше внутреннее дело, товарищи», — сказал он чехам, когда они объявили революцию на пленуме ЦК... Значит, теперь назвать чешские перемены происками Запада, как издавна повелось, будет вождям затруднительно...

Если подводить разговор к сути, в 1968 году я был все тем же наивным и благодушно настроенным карасем, хотя надеялся, что если Москва постарается надавить на Дубчека, чехи проявят твердость и выстоят. Как говорится, стерпится — слюбится...

Меня воспитывали в духе интернационализма, т. е. в убеждениях, что национальные стремления играют в жизни (в истории тоже) преходящую, все более исчезающую роль. Главное — стать личностью, честной, порядочной, верной. Так был воспитан и Бродский, который много раз повторял:

— Я — еврей, русский поэт и американский гражданин.

То есть мы абсолютно не ощущали важности национального бытия. И поэтому, оценивая историческую или политическую ситуацию, совершенно не принимали во внимание остроту присущего ей национального момента, не придавали важности национальному вопросу.

Между тем решение чешской проблемы для марксистов из Кремля в огромной степени связывалось как раз с национальной независимостью народов. Говорили, что главными «толкачами» идеи оккупации Чехословакии

являлись не кремлевские боссы, а их соратники из Восточной Европы — прежде всего Гомулка и Ульбрихт.

На обоих генсеков давил каток национального возрождения в их странах. Они понимали, что любые подвижки в сторону свободы и самовыражения в Чехословакии неизбежно приведут к народным восстаниям против полуколониального строя в их собственных столицах, к потере личной власти в любом варианте исхода. Гомулка успел-таки использовать в борьбе с народом традиционный польский ресурс выживаемости — обвинил в разжигании польской революции... евреев! Помните, по Щедрина — кто есть враг «унутренний»? «Жида, студенты, социалисты и поляки». В Польше врагов «унутренних» сократили до «студентов и жидов». Почти всех евреев (в основном кадровых гос- и партрботников) выгнали из страны (остальные евреи уехали в Израиль еще раньше). На какой-то момент антисемитская акция помогла Гомулке «перенаправить» национальные страсти с русских на евреев, тем паче что в Польше это нетрудно совершить. Но даже генсеку стало ясно: отсрочка эта недолгая, надо оборвать чешскую эволюцию к свободе — это могло дать шанс. (Для Гомулки интервенция не стала выходом, тут генсек ошибся!) Об Ульбрихте — что уж говорить. Позволить Праге продолжать эксперименты — значило для обоих восточноевропейских лидеров лишиться власти. Они, конечно, изо всех сил подталкивали Кремль к интервенции по будапештскому образцу.

В Кремле, как тогда сплетничали, главным идеологом интервенции считался глава украинского ЦК Петр Шелест. Он сказал на заседании в Москве: «Если такое позволить чехам, то я со своими [т. е. с украинцами. — М.Х.] тоже не управлюсь».

Брежневу требовалось решить вопрос в дипломатической плоскости — не вмешается ли НАТО в возможный вооруженный конфликт в Европе. Якобы советский посол в Вашингтоне задал вопрос Никсону, по-прежнему ли американцы считают законными Потсдамские соглашения по Европе? Никсон ответил, что для его прави-

тельствва международные обязательства Америки незыблемы. Произошел этот разговор 18 августа, и уже через три дня началось вторжение... Якобы Никсон де-факто дал Брежневу санкцию на оккупацию — еще бы, это выделось ему столь выгодным! Некий американец, близкий родственник Ю.П. Германа, примерно через год сказал мне, что их совершенно не интересует коммунистический эксперимент в какой бы то ни было форме. На свой лад американцы оказались заинтересованными в срыве чешского эксперимента — социализма «с человеческим лицом», их вполне устраивала советская оккупация. Дать России вступить в подготовленный капкан — такой вариант Киссинджера виделся, наверно, самым выгодным для Америки.

Соппротивление чехов и словаков явилось для Москвы крайне неприятной неожиданностью, ведь народное сопротивление наложилось на партийное сопротивление. Решения Высочанского съезда партии, принятые без Дубчека, Сморковского, Цисаржа, т. е. без лидеров, уже арестованных советскими военными, и то, что съезд поддержал находящихся за решеткой руководителей партии, стали неприятным сюрпризом для Кремля. А уж народное сопротивление, включая самосожжение Яна Палаха, било по нервам Москвы серьезно.

Впрочем, это не моя тема. Я пытаюсь объяснить другое: почему именно с августа 1968 года Советский Союз был обречен.

Союз являлся идеологическим государством, как ни трудно в это верить прагматикам-политологам с Запада. Да, его элита искренно верила в выдуманную логику истории, руководствуясь теорией в конкретных действиях — и в самом деле все сверяла делаемое с тезисами Маркса—Ленина. Ленинизм возвышался в Союзе столпом, к которому прикреплялись балки и сваи реального государства. И вот в августе 1968 г. столп повалился. Тито правильно заметил (он человек того же поколения и той же секты), что даже Сталин не решился оккупировать Югославию в 1948 году, поскольку верил в идеологемы

ленинизма. Коммунизм — неважно, верная или лживая идеология, это вопрос вкуса — есть система взаимосвязанных идей и, соответственно, этических норм, некоего социального поведения. Эти нормы не могли пережить военного вторжения одной коммунистической державы в другую. Это действо абсолютно не предусматривалось доктриной Маркса—Ленина. Более того, оно категорически ей противоречило. В свое время в Венгрии Хрушев и компания нашли резонные оправдания с точки зрения именно коммунистической морали: в Будапеште готовилось (несомненно — так!) свержение коммунистического правительства. Москва имела право помогать братьям по классу. Но в августе 1968 года власть твердо находилась в руках пражских коммунистов, и арестовывать пришлось именно генерального секретаря и членов политбюро, объявить незаконным сборищем пришлось съезд компартии Чехословакии...

С того дня идейные коммунисты в КПСС практически исчезли. Оставались еще, конечно, «младомарксисты», «неоленинцы», но они составляли ничтожное меньшинство в политических лагерях. Однако исчезновение главной идеологии страны не могло пройти бесследно. Советские люди стали заменять былой марксизм в своих головах новыми идейными блоками, прежде всего национальными идеологиями...

Евреи, конечно, увлеклись сионизмом, тем более после Шестидневной войны 1967 года, прибалты, как всегда, — национальной независимостью. Огромное влияние чешские «события» оказали на Украину. Русские тоже нуждались в новой идеологии — не в меньшей степени, чем другие нации. Стала стихийно создаваться партия русских националистов вокруг комсомола и его издательства «Молодая гвардия».

Помню, пришел я к Сереже Семанову. Он давно увлекался русской историей, русскими генералами и прочими милитаристскими делами. Имел полное право. Поскольку я знал его давно, то уверенно утверждаю: никогда Сережа не был идейным антисемитом, в чем его не

раз обвиняли. Я уж не упоминаю в этой связи его подозрительную фамилию «Семан» (на иврите — «символ, знак»). А в тот день Сергей сидел, грустно задумавшись...

— Что случилось, Сережа?

— Представь, что ты всю жизнь болел за футбол. И вдруг тебя приглашают с трибуны слезть и выйти на поле. Решаться или нет?

— А почему же нет? Чем ты, в конце концов, рискуешь?

— Я должен играть в команде. И значит, принять правила команды...

Тогда я не понял, на что он намекает. Потом узнал, что Сергея пригласили в издательстве «Молодая гвардия» заведовать редакцией «ЖЗЛ» и выпускать альманах «Прометей». Впоследствии о Сергее говорили как о фактическом организаторе «русской партии»... Тут я сообразил, наконец, о каких правилах (включая антисемитизм) он тогда долго и грустно раздумывал — но, видимо, решил. Что ж, заранее знал, на что придется пойти.

Идеологический отдел ЦК придумал новую игру — срабатывать «русских патриотов» с «еврейскими либералами», а самим заниматься «регулированием отношений» — играть за обе стороны... к явному удовольствию начальства, наблюдавшего за склоками и сварами оппонентов, которые воображали себя политически независимыми.

Это означало завершающую стадию коммунизма, когда главная идея выдохлась и приходилось партии играть с другими идеями, ища между ними выгодную позицию. А вслед за идеями стала выдыхаться экономика.

Хозяйство всегда вдохновляют именно люди с идеями, с принципами. Если таких людей в стране нет — хозяйство в тупике...

Пройдет всего 10—12 лет, и молодой кандидат в члены политбюро, убедившись, что они одни и никто не может подслушать, признался другому молодому кандидату в члены политбюро: «Все прогнило!». Это были Шеварднадзе с Горбачевым.

Эпоху потом назовут «застоем».

Еще несколько слов вослед размышлениям о роли событий в Чехословакии в крушении Советского Союза.

Много писали о том, что советское «простое население» одобряет вторжение советских войск... Возможно. И русские люди, и их сограждане-нацмены — обычные граждане, воспринимающие войну как завоевание чужой территории и последующее господство над ней. Иначе зачем вообще воевать? Так и немцы думали, и американцы с англичанами... У русских рефлекс затянулся дольше, чем у конкурентов, поэтому они воспринимали Чехословакию как свою долю добычи в войне, а ее попытки от них освободиться — как нежелание живого трофея послужить господину-победителю. Как тогда говорили?

— Мы их освободили, а они...

Однако мнению «простого народа» я никогда не советовал бы доверять. Народ вправду так думает только потому, что ему на самом деле до этих проблем нет никакого дела. И поэтому реально следует считаться лишь с мнением интеллектуальной части общества, так называемой мыслящей. Вот ей-то эти проблемы важны, потому элита легко поменяет так называемое народное мнение, если потребуется...

Кто-то рассказывал мне о возникшем в толпе диалоге. Ветеран войны начал вслух рассуждать: мы этих чехов спасли от немцев, они обязаны быть нам благодарны... На это присутствовавший интеллигент заявил: «Ну положим, ты спас девушку от насильника... Значит ли это, что ты можешь ее насиловать до конца жизни?» И ветеран заткнулся! Сразу.

Я случайно оказался участником подобной сцены. Требовалось куда-то срочно поехать. Тормознул проезжавшее с пассажирами такси, водитель согласился подбросить меня. В салоне оставалось свободное сиденье, и шофер вскоре подхватил еще пассажира, работягу-строителя, ехавшего на работу (я догадался, что тот строитель по каске, которую он водрузил на голову).

Не помню, почему разговор в такси зашел о Праге. И водитель повторил очередную радиоглупость:

— Интересно, кто этих чехов так настроил?

Почему я взорвался именно в тот раз — не понимаю! Самая обычная трепотня, какая доносилась из всех репродукторов и печаталась во всех газетах... Ничего особенного. Но я не выдержал:

— Ну да, кто ж их подстрекнул? Кроме тех, кто ночью, без объявления войны, вопреки союзному договору напал внезапно — точно как 22 июня 41 года!

Все молчали.

И вдруг работага в каске разинул рот:

— Да нет, это похуже, чем 22 июня... Гитлер-то напал с одной стороны, а эти — с трех сторон.

И опять все молчали...

Сколько их было в тогдашнем народе, которые думали так же, но — помалкивали... Ученый народ! Товарищ Сталин недаром над ним властвовал...

* * *

Еще эпизод из того времени.

Я понимал, что элементарная честность требует сделать то же, что сделали участники демонстрации на Красной площади, — выйти с плакатом против оккупации. Такие люди находились повсюду — и в Риге, и в Питере. О них шептались в разнообразных курилках. Но тогда побоялся — как в дни процесса Бродского. Однако избрал иную форму протеста. Телефона у меня не имелось, но был у мамы. Оттуда я звонил, когда бывал в гостях у родителей. Я не сомневался, что в ГБ работают «прослушки», которые фиксируют определенные слова, например *Дубчек* или *Павел Литвинов*, и позже постоянно прослушивают разговоры с этих зафиксированных номеров. Едва я добирался до аппарата и набирал чей-то номер (чаще всего Бори Стругацкого), начинал выдавать в открытую все, что думал о политическом разуме советского руководства, не стесняясь в выражениях!

Вскоре аппарат начинал плохо работать — помехи мешали слышать собеседника. Так у них действовала гребешная аппаратура... И я взбеленился:

— Я не возражаю, — орал в трубку, — что меня подслушивают! Это, в конце концов, служебная обязанность — информировать ЦК, что думает население. Пусть! Это им положено. Но я не должен догадываться, что они меня слушают! Это государственный секрет! А они работают так, что постоянно влезают в мои разговоры. Что за безобразие, что за работа в КГБ! Я завтра напишу Андропову жалобу, что его ленинградские сотрудники отвратительно служат, он с них шкуру спустит за такой уровень...

Конечно, я трепался, просто и элементарно болтал насчет жалобы Андропову и на следующий день начисто забыл о разговоре. И вдруг звонок:

— С вами говорят с телефонной станции. Скажите, у Вас аппарат в порядке? Жалоб нет?

— Все в порядке, — отвечаю. — Никаких жалоб.

— Хорошо. Просто рядовая проверка.

Ну, проверка так проверка. Но совершенно случайно вспомнил разговор, который вел днем раньше... Много и долго смеялся.

* * *

Дальше работать становилось все труднее, начальство «завинчивало гайки». Правда, мне исключительно везло на редакторов: по-прежнему поддерживал заказами Феликс Нафтульев в «Костре», а в Москве я нашел замечательного редактора в издательстве «Советский писатель» Эльвину Мороз. Она делала, в частности, редактуру знаменитого в ту пору альманаха «Пути в неизвестное» («Писатели рассказывают о науке») и предложила мне написать очерк. Темой я выбрал жизнь и творчество Вильгельма Берви (Н. Флеровского). Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из нынешних читателей слышал эту фамилию, ее и в те годы мало знали. Берви высоко ценил Карл Маркс, даже несколько раз упомянул в переписке с Энгельсом как выдающегося русского писате-

ля. Маркс признался Энгельсу, что именно ради чтения книг Флеровского он выучил русский язык (за три месяца!), только ради этого человека согласился работать в Генеральном совете Коммунистического интернационала делегатом от... России! От той России, которую они с Энгельсом терпеть не могли. (Эти германские националисты очень плохо воспринимали всех славян, если честно про это писать.)

Очерк о Берви мне кажется лучшим материалом, опубликованным мною в России, через сорок лет я перечитал его — со скрытой гордостью. И признаю сразу: обязан его прохождению в печать целиком редактору Эльвине Мороз. Она давала мне бесценные советы, как формулировать фразы так, чтобы сказать все, но в форме, удобной цензуре. Например, я цитировал Ленина: «Правительство не только держит наш народ в рабстве — оно посылает его усмирять другие народы, восстающие против своего рабства». И — текст прошел, представляете? Ленина наши цензоры, как мне виделось, читали слепо, машинально, не вдумываясь, что вождь высказывал...

В 1970 году, как раз когда я встретился в Москве с Эльвиной, чтобы редактировать очерк, радио принесло известие, что получил отставку многолетний главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский. Я запомнил это потому, что врезалась в память разница в восприятии сообщения у меня и у Эльвины. Для нее весть прозвучала трагически, ведь наше поколение зачитывалось «Новым миром», казалось, воспитано им, все лучшее в советской литературе появлялось именно на его страницах. По сути журнал играл в XX веке ту же роль, что в XIX веке Некрасовский «Современник» или «Отечественные записки». И вот — конец великого журнала, нечто подобное закрытию «Современника» Муравьевым-Вешателем в 1866 году...

Но мне в этом факте увиделось иное: власти по своей ограниченности и социальной глупости не понимают очевидного. Сейчас-то и начнется расцвет свободной мысли и литературы в Союзе. Сейчас — после того как «твардовский» «Новый мир» закрыли...

Пока выходил в свет этот журнал, литераторы всего «лагеря» мечтали там напечататься. Во-первых, выжидали подходящего момента; во-вторых, все-таки старались написать любой текст так, чтобы статья могла проскочить через цензуру; в-третьих, втягивались — часто невольно! — в полемику вокруг тем и вопросов, поднимаемых в официальной печати. Пока Твардовский был у руля, обсуждение проблем общества шло все-таки под некоторым контролем правительства, при его негласном участии и влиянии. Как только терпение властей лопнуло, официальное руководство просто вычеркнули из списка субъектов, с мнением которых обществу стоило считаться, принимать его во внимание. С этого момента начался реальный самиздат — распространение статей, очерков, стихов, даже прозы, абсолютно неподконтрольных цензуре. Подрыв власти, наконец, стал открытым фактом общественной жизни в России.

Ну и я, конечно, стал обязательным участником такого процесса. Как без этого! Думать хотелось, активно обмениваться мыслями...

* * *

В 1970 году страна отметила столетие Ленина, а я стал временным сотрудником в журнале «Костер». Нет, меня не зачислили в штат журнала ЦК ВЛКСМ официально. На такое беспредельное благодеяние я не смел рассчитывать. Феликс Нафтульев уехал в Москву писать книгу с Юрием Сенкевичем, а я его замещал. В течение десяти месяцев я изучал работу советской редакции изнутри — во всех ее тонкостях.

Леша Лосев (он же Лифшиц) поделился со мной историей, как ему удалось попасть в штат журнала ЦК ВЛКСМ. Оказывается, его отец, известный поэт Владимир Лифшиц, регулярно сочинял пионерские приветствия для ЦК партии, которые тожественно зачитывались детьми на съездах партии и комсомола. Я вспоминаю эту чепуху лишь потому, что меня поразила такой факт: Лешин отец никогда не получал ни копей-

ки за свои длиннющие дифирамбы! Работа на ЦК уже считалась вознаграждением: мол, тебе доверяют и будь счастлив... Только однажды ему позвонили и сообщили, что приветствие очень понравилось Леониду Ильичу и «не можем ли мы как-то вас...». Не знаю, какое словцо они употребили, но не деньгами поощрить, но как-то и что-то могут для него сделать.

Лифшиц и воспользовался случаем.

— У меня сын только что закончил филфак университета. Не можете ли вы помочь устроить его на работу?

— Ну... как вам сказать... Требуется сначала найти какое-то место...

— Место есть. И как раз — у вас, в штате ЦК, в «Костре». Но туда его не берут. Отказали.

— Посмотрим, посмотрим, что тут можно сделать...

— Так я и оказался в «Костре», — рассказывал Леша. — И с самого начала попросил у начальства отдел спорта. Это — честное дело: голы, очки, секунды! Врать здесь не требуется. Конечно, без конфликтов не бывает. Например, недавно возникла идея рассказать о Витебской школе спортивной гимнастики — знаешь, Ольга Корбут и все другие. Естественно, раз рассказ зашел про Витебск, захотелось упомянуть, что это город Шагала и Малевича. Ну, статью и зарубили. Сразу...

Рабочий день в «Костре» поразил меня огромным количеством свободного времени у его сотрудников, причем в рабочие часы, — ни с чем похожим раньше я не сталкивался. В штате было человек 12: главный редактор, его зам, при них — ответственный секретарь, в отделе прозы двое сотрудников, в пионерском отделе — одна, в публицистике — двое, еще сотрудник в отделе спорта... Плюс секретарша редакции, плюс художественный отдел, численность которого я точно не знал... А по-моему, ведь достаточно иметь одного-двух классных сотрудников на всю редакцию, чтобы делать отличный номер, тем более тонкий и один в месяц! Мне лично, чтобы подготовить материал в номер, требовалось два рабочих дня, ну от силы — три. Остальное рабочее время я усиленно думал, чем бы себя занять.

Историческую энциклопедию, например, всю прочитал, с начала до конца, благо она на полке в редакции стояла. А являться на службу и уходить с нее вовремя требовалось неукоснительно. За этим внимательно следили...

Впервые я на собственном опыте убедился, как раздут в Союзе аппарат управления, во всяком случае идеологический. Летом случился, например, такой казус. Главный редактор уехал в отпуск, его заместителю подвернулась путевка в заграничную поездку... Ответственный секретарь заболела. Журнал остался без руководства, и мы выпустили номер на свой страх и риск. Много лет спустя я видел, как похожий журнал в Израиле выпускали... два сотрудника. Что говорить, идеологический аппарат раздувал себя, пристраивал на хорошие зарплаты «своих» — в частности, любовников и любовниц, друзей и вообще всех, кто мог понадобиться...

Тираж журнала был громадным, потому что до революции в Петербурге выходило много детских журналов. «Костер» заменил их все. «Костер» держался прежде всего на Феликсе Нафтульеве, который привлекал в редакцию молодых питерских талантов, да еще на Леше Лосеве, который не боялся главного редактора, и тот кряхтел, но послушно терпел, понимая, что надо хотя бы самому знать правду, что есть что... Кстати, я тогда не догадывался, насколько Леша талантлив и какой у него круг общения. Понял только в самом конце работы, когда он дал почитать свою кукольную пьесу «Неизвестные подвиги Геракла». Эх, подумал, такой талантливый человек — и в «Костре» пропадает. К счастью, не пропал...

Однажды Леша поделился хитростью:

— Бродскому надо съездить в Прибалтику. Денег, конечно, нет. Просить командировку для него не получится, обком комсомола зарубит сразу... Ну, думаю, неужели их не обойду? Написал в направлении: командировать фотокорреспондента Бродского... Проскочило!

Тогда я не догадывался, что Бродский — один из ближайших Лешиных друзей. Узнал об этом только в Америке...

Вел я себя в «Костре», как теперь понимаю, безобразно: говорил все, что думал! Не мог же целый год притворяться, избаловался на вольных-то хлебах... Представляю, как страдало начальство — не главный редактор — он из кабинета не выходил и меня не слышал, но зам, талантливый пионерский работник Юркан. Еле, наверно, дождался, когда я из журнала уйду! Один из моих пишущих приятелей, Юра Михайлов, оказывается, за моей спиной всем говорил, что Мишка Хейфец — наверняка стукач, такие речи не может вольно говорить никакой человек без дозволения органов. Либо его давно арестовали бы, либо он имеет разрешение обо всем болтать... Когда через четыре года меня вели по коридору городского суда, я встретил Юрку и успел бросить ему в спину:

— Видишь, ты был прав, меня-таки арестовали...

* * *

Еще один смешной эпизод, связанный с работой в «Костре».

У меня был одноклассник Боря Коган, тот самый, что некогда нашел мне службу в туберкулезном санатории. Боря страдал от рождения тугоухостью, поэтому преподавать ему было невероятно сложно... Зато он владел иностранными языками. (Углубляясь в себя, языки легче изучать.) Он ужасно радовался, когда нашел работу в Центральном историческом архиве, хотя и с чрезвычайно низким окладом, но зато такую, где его знание языков пригодилось. «Я единственный в архиве человек, который читает рукописную готику».

Однажды Боря появился в «Костре». Подходит ко мне и орет в полный голос:

— Миша, у меня к тебе просьба. Если ты услышишь где-нибудь о вакансии, дай мне знать!

— А что случилось?

— Меня уволили из архива. И мою начальницу тоже. Из-за дедушки Ленина. Он оказался евреем. Только никому не говори, это большой секрет!

Редакция размещалась в большом зале, разделенном небольшими перегородками. «Костер» замер. Наступила тишина, во всех кабинках...

А Боря продолжал орать:

— Все эта сволочь — Мариэтта Шагинян. Явилась к нам в архив и попросила дело о крещении Израиля Бланка. У нас этих дел — от пола до потолка. Ну, я просмотрел, ничего интересного не нашел и выдал ей. Начальница разрешила — я ей, конечно, доложил. А потом приехал человек из Москвы и сделал всем жуткий втык. Оказалось, что этот Израиль Бланк — дедушка Ленина, отец его матери. Ну скажи, откуда я мог знать, что Бланк — дедушка Ленина? Или начальница — ну, откуда? А москвич одно твердит: вы обязаны были все материалы о предках Ленина передать в Москву, в ИМЭЛ. И Мариэтта хороша! Явилась к Ильичеву (секретарю ЦК, ведавшему идеологией). Мол, я сделала историческое открытие. Он наорал на нее, что в ЦК ее открытие давно известно и не ее сообщать дело вмешиваться в такие дела...

Удивительно, но Боря оказался неединственным пострадавшим из-за дедушки Ленина. Однажды я зашел в архив получить справку о работе жены и увидел Людмилу Емельяновну Стрельцову, бывшую заведующую читальным залом архива Ленинградской области, ознакомившую меня с письмами Бунина и бухгалтерией издательства «Парус».

— Людмила Емельяновна, вы-то с чего на справках начали сидеть?

— Меня разжаловали из-за Мариэтты Шагинян. Она заказала у нас в архиве дело Израиля Бланка...

Парадокс, свойственный советской секретности, — бдительнейшим образом оберегать великий «секрет», но наказывать питерских сотрудников именно за то, что те этого секрета... не смогли узнать! К счастью, Боря Коган скоро нашел работу — требовался сотрудник со знанием языков в патентное бюро.

А я, естественно, заинтересовался секретной темой. И удалось выяснить по-своему любопытную историю. Ока-

зывается, в ЦК сказали правду: там давно знали о еврейском дедушке Ленина, аж с 1924 года. Но сама-то семья Ульяновых и Владимир Ильич лично о семейной тайне не подозревали... Только после смерти вождя его старшая сестра на поминках выставила старинный семейный кубок. Среди присутствующих друзей семьи, естественно, были старые большевики. И кто-то из них спросил:

— Откуда у вас этот сосуд?

— Фамильный бокал. От дедушки остался.

— А вы знаете, что это такое? Это еврейский бокал для вина — на субботнее благословение!

Анна Ильинична заинтересовалась, сделала запрос в архивы и уже к осени смогла выяснить, кем по национальности был ее дед.

Характерно и продолжение пикантной истории. Анна Ильинична обратилась к Сталину с просьбой опубликовать открытие, потому что в народе, мол, силен антисемитизм и одновременно существует великое почитание ее брата. Для борьбы с антисемитизмом хорошо бы опубликовать...

Но товарищ Сталин лучше, чем соратники, понимал психологию руководимого им народа — собственно потому и сумел стать его вождем. И он категорически запретил любые разговоры на тему и приказал спрятать документы. Но, как выяснилось, не все сумел... Дырки обязательно возникают!

— Не понимаю, — говорил мне Боря Коган, — чего они так секретят? Я читал прошение Израиля Бланка в деле. Очень достойно написано.

Разговор происходил у нас через двадцать с лишним лет после смерти Иосифа Виссарионовича.

* * *

По-моему, тогда же, т. е. в 1970 году, случилось в моей жизни событие, которое повлияло на нее самым решительным образом, а я долгие годы даже подозрений на эту историю не держал и только много лет спустя сообщил, что же со мной тогда случилось и к чему привело.

Все началось со звонка Боре Стругацкому. Он сказал:

— Мишка, мне один человек, математик по профессии, прислал рукопись. Очень интересную, по истории. Он спрашивает, где же ее можно напечатать. Я ответил, что представления не имею, но у меня есть друг-историк, можно ему дать почитать. И он согласился. Ты возьмешь читать?

— Конечно.

На очередной встрече Боря передал мне рукопись Револьта Пименова «Как я искал шпиона Рейли».

Фамилия автора — Пименов — показалась мне знакомой. Он проходил по делу 50-х годов, когда демонстранты скандировали на Дворцовой площади: «Свободу Эстонии! свободу Литве! свободу Латвии!». Один из них, Миша Красильников, оказался добрым приятелем Леши Лосева. Была раскрыта подпольная организация студентов Библиотечного института (подробностей я не знал). Возглавлял ее студент-математик Револьт Пименов. Он получил по суду десять лет и отсидел их, кажется, во Владимирской тюрьме. После освобождения он защитил диссертацию и работал в Ленинградском университете по специальности. Все это мне объяснил Боря Стругацкий при встрече.

Кем же был главный персонаж Пименова в нашем восприятии?

Сидней Рейли числился под кликухой «король английского шпионажа».

В 1918 году Рейли организовал знаменитый «заговор послов», подготовил захват и ликвидацию главного органа власти Советов — ВЦИКа, вступил в сговор с начальником латышских стрелков, охранявших Кремль, Берзиным на предмет ареста всей верхушки советской власти. Но Берзин оказался тайным агентом ВЧК и ее главы Феликса Дзержинского, выдал заговорщиков секретной службе. Английского посла Локкарта выслали (историю именовали «заговором Локкарта»), некоторых заговорщиков расстреляли, а сам Рейли бесследно исчез.

За ним охотилась вся ВЧК, но безуспешно. Он участвовал в нескольких «белых заговорах», например в Ярославском мятеже, и все-таки сумел бежать из РСФСР в Лондон, где продолжал служить всесильной британской разведке, даже встречался с Черчиллем... Но в середине 20-х годов чекисты заманили Рейли в капкан якобы для встречи с руководителями антисоветского подполья: он попытался перейти через границу с Финляндией и был убит пограничником...

Сколько фильмов о Рейли было снято! В знаменитом роммовском «Ленин в 1918 году» Рейли обозначен как Константинов; именно он дает Фанни Каплан пули со смертоносным ядом (конечно, Фанни подсылал к Ленину сам Сидней Рейли)... В кинотеатрах шел «Капитан “Старой черепахи”», еще какие-то легендарные ленты... В конце 60-х вышел длиннющий телевизионный фильм «Операция “Трест”» о том, как советские контрразведчики сочинили легенду о существовании антисоветской организации «Трест» (исторически она называлась «Синдикат», о ней в разговоре со мной упоминал Роман Ким) и прислали от ее имени приглашение Рейли посетить СССР. Тот клюнул на наживку, пошел через границу, был арестован, допрошен в подвалах ВЧК и расстрелян.

Интерес Пименова к теме возник как раз после просмотра фильма. Его заинтересовал простой вопрос: зачем Рейли расстреляли, тем более всего через неделю после ареста? Сидишь себе и сиди в подвале! Никому не известно, что ты вообще жив... Его требуется как следует допросить, устроить очные ставки с запирающимися сообщниками, держать как важного свидетеля на будущее — ведь оттого, что человек сидит в тюрьме, вреда чекистам быть не может, а пользу такое дело сулит в будущем немалую. Как бывший заключенный, уже проходивший через следствие, Пименов отлично понимал «игры» начальства... Итак, зачем они расстреляли Рейли? Или, как выразился Пименов, «почему чекисты поступили с Рейли так, как я сам никогда бы с ним не поступил»?

Допуска в секретные архивы у него не имелось: он вообще не историк, а чистый математик. И пошел туда, где не нужны никакие допуски, — к полкам открытого доступа в Публичной библиотеке.

Первым делом раскрыл «Британскую энциклопедию». Увы, Рейли в ней не имелось. Про других британских разведчиков статьи нашлись, и немало, а вот Рейли англичане не отметили... Может быть, «Интеллидженс сервис» если и считала его разведчиком, то не своим, потому и не сочинила статью о нем для энциклопедии? На полках Пименов нашел мемуары Локкарта на английском языке — возможно, по мнению «запретителей», в латинизированном виде они казались недоступными простым советским читателям. Чего ж их прятать? Пименов рассуждал следующим образом: ну, советские читатели безоговорочно верили, что Рейли — английский агент, но посол-то Великобритании должен был разобраться, кто перед ним — гражданин его страны или абориген?

И действительно, у Локкарта Револют нашел фразу: «В это время ко мне явился некто Сидней Рейли, выдававший себя за нашего агента. Но моим людям не стоило большого труда установить, что на самом деле Рейли есть уроженец Одессы и зовут его на самом деле Зигмундом Розенблумом».

Долго пересказывать очерка Пименова, поэтому я перейду к главным выводам. Король британской разведки оказался неуловимым, подобно неуловимому Джо из анекдота. Пименов считал, что на самом деле Рейли являлся агентом ВЧК, лично известным Дзержинскому и выполнявшим его персональные задания. Стоит ли удивляться, что ВЧК не могла его поймать?

Версия Пименова, если вкратце пересказать, оказалась такой. Дзержинский первоначально нацелил Рейли-Розенблума на внедрение в оккупационные войска Антанты — видимо, в районе Архангельска. Однако собственное его, главы ВЧК, положение виделось в тот момент чрезвычайно сложным. Наряду с Бухариным он возглавлял антиленинскую фракцию «левых коммуни-

стов» в РСДРП(б), выступавшую против подписанного большевиками Брестского мира. Поэтому задержание «железного Феликса» во время июльского мятежа в штабе «левых эсеров», этих политических союзников «левых коммунистов», выглядело в глазах Ленина весьма подозрительной акцией. Не сотрудничал ли «железный Феликс» втайне с этими «левыми эсерами»? Тем более что Дзержинский не скрывал крайне антиленинских настроений. «Если революции понадобится перешагнуть через Ульянова, — цитировал его Пименов, — значит, она через него перешагнет». Поэтому выстрел Каплан в Ленина и убийство в тот же день Урицкого в Петрограде вызвало сильные подозрения у власти против главы ВЧК. И вообще — кому нужна служба безопасности, которая неспособна уберечь главу правительства от покушения? По словам Пименова, Дзержинский был отстранен от руководства ВЧК и находился осенью 1918 года под следствием...

В тот момент он якобы и сыграл «в Рейли»! Его агент вступил в контакт с другим агентом, Берзиным, договорившись об уничтожении всего руководства страны. Дзержинский не сумел уберечь Ленина, но зато его великая спецслужба спасла всех вождей большевизма разом. Естественно, босс оказался полностью реабилитирован, занял место рядом с Лениным...

В этом, по версии Пименова, и состояла суть операции «Сидней Рейли». Англичане не поверили, что этот человек на самом деле работал на них, а не на большевиков, поэтому и не включили его в энциклопедию, исключив из штата спецслужбы вскоре после прибытия в Лондон. Тогда ОГПУ отозвало агента в Россию, симулировав его гибель на границе. Рейли-Розенблюм продолжал работать в Петрограде в похожей конторе, но под фамилией, как считал Пименов, Релинский...

Закончил Пименов свой текст предложением воздвигнуть памятник «герою незримого фронта Сиднею Рейли» и вопросом, где это все напечатать. В советской периодике, что ли?

Помню, я ужасно развеселился... Просто пришел в превосходное настроение, сел за письменный стол и написал отзыв — по стандартной схеме внутренних рецензий в издательство, которыми я тогда немало промышлял. Примерно такой набросал текстик:

*«В издательство «Самиздат» от рецензента Хейфеца
Михаила Рувимовича*

Внутренняя рецензия

*Рекомендую вашему издательству, выпускающему в свет
лучшие произведения, выходящие в Советском Союзе, рукопись
Р. Пименова “Как я искал шпиона Рейли”»...*

И далее как положено, похвалы в адрес издания — за суть, стиль и прочее. Ну а в конце, опять-таки как положено, указание на недостатки рукописи.

«К числу исторических неточностей я бы отнес такую фразу Пименова: “После огромной неудачи ВЧК, прохлопавшей покушение Каплан на Ленина, перед Дзержинским встали новые задачи...” С точки зрения истории, единственной крупной неудачей ВЧК в этой акции явилось то, что Ленина чекистам так и не удалось убить».

...Я быстро закончил письмо и передал его Боре Стругацкому. Через какое-то время он сообщил, что Пименов хочет меня видеть. Мы встретились на Витебском проспекте, проговорили несколько часов, но ни до чего не договорились. Честно признаться, он мне не понравился: выглядел типичным диссидентом, каких я в принципе недолюбливал прежде всего потому, что они напоминали мне своих предшественников — интеллигентов-разночинцев XIX века, часто были людьми мужественными, свободолюбивыми, желали осуществления «светлых идеалов»... Но я-то уже знал уроки истории, знал, что из этих добрых намерений выходит на практике, когда подобные люди добираются до государственных постов. Виновата, конечно, российская система, которая традиционно допускает к обсуждению и участию в государственных делах исключительно профессионалов, а остальных отодвигает в сторонку. Все так, но... Но от этого ни государственное строительство, ни политика

не перестают оставаться профессией, делом, законы которого надо знать и уметь ими руководствоваться, которое управляется не согласно неким идеалам пусть вполне честных людей (что тоже не всегда бывает), а по вполне определенным правилам, в которых требуется сначала разобраться. Почему-то не всякий из нас лезет с советами в математику или физику, но в педагогике или политике каждый считает возможным давать рекомендации специалистам. Вот поэтому я побаивался революции. Невежды обязательно прорвутся к власти и напортачат, пока им не снимут головы. Хотя, увы, другого пути у России нет.

К счастью, Россия все-таки обошлась без кровавой революции...

Пименов произвел на меня впечатление человека честного, но чрезмерно самоуверенного и решительного, как-если бы, изучив законы математики, он стал бы предписывать эти законы физикам, исходя из своего знания математической логики. Кажется, что природа говорит на языке математики, но ведь именно это предстоит доказывать, а не предписывать...

Учитывая, что я потом как диссидент участвовал в акциях и движении, мое признание прозвучит странно. Попробую объяснить на литературном примере. В те годы как раз вышел «Обитаемый остров» Стругацких. Видимо, их беспокоили те же мысли... Вспомните героя романа. Узнав, что население этой страны облучается некими волнами, лишаящими народ способности трезво оценивать жизнь и мир, герой совершает великий подвиг — взрывает секретный источник излучения. И — тут же сталкивается с секретным резидентом Земли, который в ужасе от содеянного персонажем. Люди, освобожденные от облучения, страдают от чудовищной ломки, подобной постнаркотической. Они неспособны прокормить себя, не готовы для новой жизни — нет ни материальных, ни духовных ресурсов... «Очень опасный человек!» — так реагировал резидент Земли на неожиданно попавшего на планету землянина-спасителя. Но — делать нечего! Надо приспособливаться к новой ситуации...

Я забыл об этом эпизоде в своей жизни: мало ли у меня случайных встреч и всяких шуток было в ней! Как-то в конце года Боря сказал мне, что Пименова взяли и при аресте изъяли мое письмо. Я ожидал вызова на допрос в качестве свидетеля, продумывал даже какие-то объяснения и показания, но... меня не вызвали. Вскоре дошел слух, что за арестованного математика заступились светила науки, и вместо зоны он направлен в ссылку — в Сыктывкар. Значит, дело закрыто. Я позабыл о нем — на целых три с лишним года.

* * *

В моей жизни начался очень странный период. Я ходил в издательство, в журнал, в театр, на киностудию, заключал договоры на выполнение какой-то работы, в срок все выполнял, сдавал, получал гонорар. И — ничего не выходило к читателю или зрителю. Все оседало на полках у моих работодателей. Я шутил, что Советское государство есть самая гуманная в мире власть: кормит мою семью за счет рабочих и крестьян, ничего не требуя взамен...

Пробовал как-то иначе пробиться к читателю. Истинной причины разрыва я не знал. Я считал, что секрет исчезновения меня из публичного пространства, причем как раз тогда, когда предполагался естественный прорыв (после выхода книги в Москве, после публикации в «Советском писателе»), в тематике: народническая тема вызывает подозрения у начальства. Меня, например, предупредил один из «доброжелателей», что Берви-Флеровский уже попал в тайный список персонажей, роли которых запрещены для исполнения в театре или кино...

Поэтому я решил оставить давнюю эпоху и попробовать нечто иное — хотя бы временно. Начал с темы, которая стопроцентно дозволялась, более того, всячески рекомендовалась властями, — с ленинской. Старший брат Ленина Александр состоял в моей привычной плеяде народовольцев. Молодой человек мне очень нравился как тип, я с удовольствием работал над его образом. По-

разила, помню, во время работы фраза из воспоминаний старшей сестры Ленина, которая не побоялась рассказать, что Александр однажды отозвался о младшем брате так: «Наш Володя — очень талантливый человек, но у меня с ним нет ничего общего...». Эту фразу я не стал цитировать в очерке — ни к чему дразнить гусей; и так хватало превосходного материала.

Очерк предназначался для очередного выпуска сборника «Пути в неизвестное». Мне не повезло; сработала некая советская закономерность: главный редактор издательства «Советский писатель», знаменитый в истории доносчик в НКВД на писателей Лесючевский ополчился на Эльвину Мороз и выгнал ее из штата редакторов. Впрочем, удивительно, как она могла у него работать так долго... Составители сборника писатели Д. Данин и Л. Разгон побоялись меня напечатать. Честно признаю: им было чего бояться! Очерк я написал хорошо. Примерно через тридцать лет я обнаружил текст «Ульянова» в Америке (свой экземпляр увез мой соавтор Юрий Гурвич, чтобы сделать пьесу или фильм). Из Лос-Анджелеса я отправил «Ульянова» в питерскую «Неву» — и через десятилетия после написания (уже не в СССР, а в России, уже не российским, а израильским писателем) без купюры работу охотно напечатали... Я умышленно не правил сданный очерк — пусть идет таким, каким был некогда написан.

(Вот памятный эпизод, связанный с «Ульяновым». Со мной согласился встретиться Лев Разгон. Я не подозревал тогда в нем прошлого лагерника. Обо всем узнал, только когда он опубликовал в перестройку свои мемуарные тома. Но мне он ужасно понравился хотя бы потому, что ни словом не обмолвился в беседе, почему они с Даниным побоялись печатать мой текст. Значит, посчитали меня человеком, который сам все понимает... Лет через тридцать он, уже прославленный литератор, приехал в Израиль. Я решил напомнить о себе:

— Лев Эммануилович, вам звонит человек, который когда-то сдал вам очерк об Александре Ульянове...

— Миша, — воскликнул он. — Не валяйте дурака, пожалуйста, немедленно приезжайте!

Видно, запомнил меня!)

Другой и, пожалуй, самый крупный проект в то время был рожден уж от полного отчаяния. Я решил... поменять исторический век — переместиться из XIX столетия поглубже в историю — в XVIII... Раз уж начальство обожает юбилеи, то я вспомнил, что в 1972 году исполняется 300 лет со дня рождения Петра I. Не может же «Лениздат» не заметить юбилей основателя города...

Нашелся подходящий литературный сюжет. Когда-то я прочитал любопытную книгу по истории рода князей Долгоруких — «Долгорукие, Долгоруковы и Долгоруковы-Аргутинские». Федор Долгорукий, сын и наследник главы этого рода князя Василия Лукича, выдающегося посла и министра Петра I, влюбился в старшую дочь злейшего конкурента его княжеской семьи, в Марию Меншикову, наследницу светлейшего князя Меншикова, первого министра и фактического повелителя России (при преемниках Петра, Екатерине I и юном Петре II). Меншиков отказал родовитому княжичу, благо в его фантастические семейные планы этот брак не входил. Светлейший князь намеревался выдать дочку за юного императора Петра II и стать законным регентом при молодой паре, введя собственный род в императорскую семью... Посему князя Федора арестовали и заключили в Шлиссельбургскую крепость, чтоб не мешал первому министру... Но Долгорукие оказались хитрее и коварнее временщика: они сумели сначала сместить, а потом выслать в Сибирь бывшего герцога Ижорского, светлейшего князя, генералиссимуса Российской империи. Меншиков умер в Березове, в малой крепости на Оби.

Но вот что поведала семейная легенда Долгоруких: князья не обнаружили тогда своего наследника Федора, зато в Березов после ссылки Меншиковых приехал таинственный купец, который обвенчался с Марией Меншиковой. Она умерла при родах, произведя на свет двоих мертвых младенцев. Муж умер через месяц — от горя...

Думаю, понятно, что подобный сюжет, несмотря на историческую невероятность и явную жутковатость, запомнился. Он поразил меня сначала как русская версия Ромео и Джульетты — юные отпрыски враждующих знатных семей, погубленные родителями. Все как в Вероне, только с непрямым российским антуражем — обысками, арестами, ссылками, гибелью в Сибири. «Невеста императора» — так я задумал назвать повесть.

Это был мой первый опыт в серьезной художественной прозе. Текст запомнился прежде всего тем, что где-то к середине я стал испытывать чувство прозаика, которое когда-то дивно выразил Пушкин: «Какую штуку проделала со мной моя Татьяна! Вышла замуж. Я этого от нее никак не ожидал».

Я собирался писать любовную романтическую историю — и неожиданно для себя ушел в сторону. Вопреки своему же замыслу на первое место вывел светлейшего князя Меншикова — петровского воротилу, революционера и полководца, честолюбивого мастера интриг и ратных боев... А рядом с ним поместил другого сподвижника Петра, непревзойденного в России мастера европейской дипломатии, вице-канцлера империи барона Остермана, предавшего своего босса-покровителя и умершего, как полагается, в том же Березове, на той же скамейке, которую некогда скотил и на которой умер погубленный им Меншиков.

Меня захватила закономерность русской революции. Меншиков виделся неким аналогом Льва Троцкого — ближайшего сподвижника вождя революции, крупнейшего полководца, создателя русской армии, который считался как бы законным преемником внезапно умершего лидера... И когда обрушилось все, вчерашнего кумира все предали, он наконец понял глубину прежних заблуждений... И народ, и страна после его ухода тоже погрузились в пропасть страшного террора и разграбления, тогда называвшегося бироновщиной, а в наше время — сталинщиной...

Эта тема захватила и великого живописца Василия Сурикова. В книге о художнике я нашел копию, сделанную мастером с портрета Марии Меншиковой... Художник разыскал ее изображение в старинной усадьбе Меншиковых и скопировал — для себя. Оригинал, конечно, пропал, но суриковская копия уцелела.

Я написал повесть довольно быстро и отнес в «Лениздат». Там ее забраковали и вернули мне. Вообще юбилей Петра оказался абсолютно замолчанным (будто царь был евреем, ехидно комментировал я). Мне трудно спорить с известным издательством, труднее, чем в случае с «Ульяновым». В конце концов, я не романист и не могу судить о своей прозе объективно. Впоследствии рукопись оказалась в ГБ, как и остальные бумаги. Я думал, она там и пропала — и был неправ. В 2000 году я впервые побывал, наконец, в бывшем Ленинграде и позвонил другу, бывшему соседу Николаю Вахтину. Он чудом пребывал дома, и мы встретились. В сбивчивой, хаотичной беседе Коля вдруг по какому-то поводу высказался:

— Недавно перечитывал вашего «Меншикова» — очень недурно написано...

— Как перечитывал, Коля? Единственный экземпляр лежит в ГБ.

— Нет, они его мне вернули...

— Почему?

— Не знаю... Да поглядите сами.

Через минуту я держал в руках полный экземпляр рукописи. На обложке виднелись записи: «Карабанову» (фамилия моего следователя), «Вахтиным»... (В ответ на вопрос следователя, кому можно вернуть рукопись, не имеющую отношения к следствию, я назвал эту семью. Моя жена целыми днями пропадала на службе, ей требовалось кормить детей, а вот Полина, Колина жена, тогда не работала... Видимо, Вахтины забыли — через шесть-то лет! — вернуть мне рукопись. И вот я сам пришел к ним в гости.)

Кому предложить ее теперь? Я выбрал снова «Неву» — там работал главным редактором мой давний сослужив-

вещ по «Костру»... Ему понравился роман. С подачи Бориса Голлера, драматурга и прозаика, я дал рукописи новое название для печати — «Страсти по Меншикову». Ее напечатали в двух номерах «Невы» — примерно через четверть века после написания...

А недавно меня угостили невероятным сюрпризом: я прочитал в одном из литературных обзоров, что любовная история Федора Долгорукова и Марии Меншиковой, сюжетом нового романа некоей г-жи Аросевой. «Ничто на земле не проходит бесследно»...

Глава вторая

1972—1980

Я отчаянно пытался где-то заработать на пропитание, на семью. В 1972 году повезло совершенно исключительно: московское издательство ДОСААФ решило выпустить старую книгу о генерале Попеле. (Ее дважды издавали — в Югославии и ГДР, но оттуда я не получил ни копейки, так как международные соглашения не были подписаны СССР. «Клеточникова» издали в ГДР и Чехословакии. Оттуда я получил авторские экземпляры — спасибо и за то! Перед моим арестом Даниил Гранин сказал, что в Румынии вроде бы собираются издать «Клеточникова». Но вряд ли после приговора проект осуществили — разве что по недоразумению.)

Но за книгу о Попеле в ДОСААФе я получил приличный гонорар. Одновременно я узнал, что в строящемся кооперативном доме Союза писателей, куда меня отказывались принять (список переполняли блатные кандидатуры), есть лишняя квартира. В Союзе писателей возник идейный конфликт с ленинградскими властями (у тех имелись свои блатные, никак не совпадавшие с «писательскими», и власть почистила список Союза писателей). Вот литераторы и решили, что надо принять меня — свой брат, пишу как-никак. Кроме того, состою в профсоюзе литературных работников, который давал законное право не числиться в штате какой-либо конторы и одновременно не подпадать под «закон о тунеядстве», по которому осудили Бродского.

...У читателя может возникнуть законный вопрос: а почему Хейфец не стал членом Союза советских писате-

лей, раз ему требовалось реально иметь какое-то место службы. Я ведь мог на такое членство претендовать, учитывая, что стал автором книги, вышедшей в московском издательстве, плюс многих повестей и очерков, напечатанных в центральных литературных журналах. Смешно и нелепо в этом признаться, но я... умышленно избегал членства в Союзе писателей. На меня, как на многих современников, сильно действовал призыв Александра Исаевича Солженицына «Жить не по лжи»: если нельзя избавиться от лицемерия и подлаживания к подлой власти, то следует, по крайней мере, избегать личного фальшивого поведения там, где его можно избежать хотя бы по своему выбору — все-таки пытаться не лгать! А я четко помнил, что в уставе Союза писателей говорится: члены проповедуют социалистический реализм. Я понимал, что все это глупость, чепуха, формалистика, что на сей пункт устава никто, включая самого Исаича, внимания не обращает... Но не хотел я работать этим методом, лгать читателям в интересах партийного начальства. И потому — не хотел подписываться под уставом Союза, т.е. вступать туда. Наивно, конечно. Помню, рассуждал примерно так: «Что я могу иметь от членства в Союзе? Высокую ставку за выступления? Легкую возможность получать путевки в дом творчества? И это все? То есть реально — больше получать? Так стоит ли продавать себя за деньги, если их можно заработать другим путем, более честным...» Мной руководил тот же инстинкт, благодаря которому я отказался печататься под псевдонимом в «Звезде»... Не стоят деньги того, чтобы ради них жить по лжи... Думаю, что это же обстоятельство сыграло немалую роль, когда власти принимали решение о моем аресте. Все-таки проще для начальства где-то в обкоме или в ГБ принять решение об аресте не члена Союза... Меня и Марамзина арестовали сразу, а для члена Союза писателей, третьего кандидата в обвиняемые по делу, профессора Эткинда требовалось получить московскую санкцию...

Короче, добавил я полученный за Попеля книжный гонорар к стоимости проданного старого кооперативно-

го жилья и летом 1972 года переехал в писательский дом на Новороссийской улице, как раз напротив парка Лесотехнической академии.

Дом был девятиэтажный, кирпичный (а это лучше, чем блочная «хрущоба»), с мусоропроводом и лифтом, красота. Правда, стены между комнатами не доходили до потолка, и вечерами свет из детской пробивался в мой кабинет. Но Боже мой! Кто обращает внимание на мелочи, когда появились возможности для сосредоточенной работы... Какая роскошь!

Пока новоселы занимали новые квартиры, лифт отключили, чтобы не возить на нем мебель и громоздкие вещи... Так впервые я столкнулся с уникальной «бережливостью»: мы сами таскали пожитки на девятый этаж. Только очень тяжелые вещи, вроде холодильника, доверяли грузчикам. Мне запомнился один, который взлетел с холодильником на спине аж под самый чердак. Есть же богатыри на Руси!

Самих-то писателей было немного — в основном коллеги приобретали квартиры для детей. Для меня это обернулось благом: мне нравилось общаться с молодежью. Почти сразу председатель кооператива, прозаик и китаист Борис Вахтин, подал в отставку (в доме поселялся не он, а его сын Коля с невесткой и внуком) и рекомендовал на свое место меня. Так я занял должность председателя и, как выяснилось позже, в глазах друзей смотрелся большим начальником.

Новый круг общения составили Вахтины, а через них Маша Эткинд, дочь знаменитого стиховеда, профессора Ефима Эткинда, потом и Леонард Емельянов, новый замредактора «Звезды». (С ним мы были шапочно знакомы издавна. Леня оказался другом моего коллеги-учителя на целине.) Вскоре появились супруги Коробовы, Лихачевы (семья дочери И.А. Лихачева Милы и его зятя, профессора-океанолога Сергея Зилитинкевича)... Среди прочих сблизился я с подающим надежды молодым прозаиком Валерой В.

С Валерой в моей памяти связана странная история, о которой тогда рассказал Володя Марамзин. Валера по-

ехал с делегацией Союза писателей в Стокгольм и купил там порнографические журналы. Попался на таможне на обратном пути. Ему грозил реальный срок за контрабанду, но члены Союза Валеру отбили у МВД. Отделался он всего-навсего выговором... Как же, свой человек, литератор — и попадет в зону за такую ерунду! Все его жалели...

Существовала и другая довольно странная история, связанная с Валерой. Как раз в это время сменили главного редактора в «Костре». Новым стал писатель Сладков. Он подло, настойчиво выживал из редакции работника, на котором держался успех предыдущей редакции, — Феликса Нафтульева. Почему он так поступал — казалось совершенно непонятным, какой-то странной загадкой!

(Уже много позже я понял примитивную советскую истину: когда наталкиваешься на чудеса в кадровой политике, стоит подозревать в них тайное вмешательство органов. Директора служат лишь их инструментами.)

Но мне в голову такое не приходило... Итак, Феликса начальство выдавило на вольные хлеба, он стал писать сценарии для кинохроники, а его должность занял мой новый сосед Валера. Нужно ли напоминать, что в его отделе по традиции, идущей от Феликса, собирались молодые литераторы и «Костер» считался клубом молодых писателей.

Мы сблизились с ним случайно: наши дочки были примерно одного возраста, мы выгуливали их в садике при доме. Ну и болтали, конечно... В моей квартире двери запирались только на ночь. Приходилось очень много работать по хозяйственной части — налаживать лифт, отопление, разные коммунальные услуги. Учился, короче, бюрократизму. Вот, к слову, смешная история из цикла «Как я побывал в начальниках».

В начале 70-х годов евреи стали получать разрешения на выезд в Израиль. В нашем доме проживало немало евреев. В компании Вахтиных—Эткиндов оказалась близкая мне семья — молодой инженер Миша Гурвич и его жена, белокурая красавица Светлана (Свечка). Мишель производил впечатление талантливого инженера с ори-

гинальными идеями... (Он объяснил просто: «Если бы работал в НИИ, наверно, никуда бы не уехал. Но меня распределили в цех. Чувствую — идеи стали исчезать».) Молодые люди подали заявление на выезд, их вызвали в ОВИР и объяснили, что с документами все в порядке, за исключением одного-единственного обстоятельства. Свечкин отец преподавал в военно-морской академии, где готовили офицеров-подводников. Чтобы выпустить ее с мужем за границу, ОВИРу требуется письменное согласие... министра обороны Гречко. Принесите, мол, бумажку за подписью маршала Советского Союза и спокойно поезжайте, куда хотите...

Они пришли советоваться, совершенно растерянные. Но я к тому времени кое-что понимал в логике работы бюрократов, включая чиновников из МВД...

Что требуется ОВИРу? Нужна бумажка на тот случай, что он ни в чем не виноват, если случится что-то непредвиденное. Только и всего. Я сел за машинку и напечатал справку, что ребята живут от Светкиного отца отдельно и никаких контактов с ним не имеют. Разумеется, это была чистая липа — как мог я знать, встречается Свечка с отцом или нет? Но ведь и вся история была именно такой нелепостью — ну какие тайны мог выдать офицер дочке, которая сочинение на вступительных экзаменах в вуз не сумела написать без шпаргалки?.. Ну, получил ОВИР такую справку! А что вместо маршала Гречко ее подписал председатель жилкооператива Хейфец — никого особо не трогало. Главное — есть печать и подпись! Когда ребята принесли мое легкое сочинение в ОВИР, им сказали: этого — мало; нужна такая же справка с места жительства капитана 1-го ранга. Там ее с удовольствием выдали — приятно ж подтвердить, что жилец никаких связей с эмигрантами не имеет... С двумя справками ребята получили свои визы и уехали. Потом, уже в ссылку, пришло известие от Мишельчика из Нью-Йорка, что корпорация «Белл и Ко» открыла под его идеи новую лабораторию. Он работал там заведующим...

Так я и работал на «посту», увы, без зарплаты.

На южный отдых, куда каждый год вывозил семью, я зарабатывал особым способом — принимал вступительные экзамены (письменный и устный) по литературе в Институте имени Репина, т. е. в Ленинградской академии художеств. Туда меня позвал друг по аспирантуре, преподаватель Новгородского пединститута Юра Петровский. Много можно рассказать анекдотов про экзамены — например, как декан живописного факультета уговаривал нас, литераторов, снисходительно относиться к сочинениям живописцев: «Ну да, все неграмотные, мы знаем. Но, товарищи, ведь не для писания сочинений мы этих людей принимаем, правда? В России живописцы всегда были малограмотными — мы ж из крепостных вышли...». С ним не поспоришь!

Или другой анекдот. Принимаю я устный экзамен у очень красивой девушки, которая лепечет сплошные глупости. Вывожу положенный «трояк». Красавица наклоняется ко мне и тихо предлагает: «А не могли бы мы с вами сегодня вечером встретиться и поговорить об искусстве?» Я не знал, что это так называется, но решил: чего ж девушке пропадать? «Нет, — говорю, — я в искусстве ничего не понимаю, но вон там сидит Юрий Александрович, он в искусстве отлично разбирается». На следующее утро Юра дает мне ее зачетку, где моя «тройка» была переправлена на «пятерку». Я подписал, разумеется... Впрочем, девица все равно не прошла по конкурсу.

Однажды я, явившись в академию до начала экзаменов, узнал, что уволена вся приемная комиссия кроме меня, грешного. Почему? Так решило начальство — и все! На Юрином месте уселся молодой симпатичный паренек Игорь Обленов.

Ну что делать? Стали работать в новом составе, я всех учил — как единственный человек с опытом приема экзаменов.

И вдруг Игорь признается:

— У меня есть предложение от студии «Леннаучфильм» — написать сценарий. Но я не знаю, что и как им ответить. У меня нет никаких идей.

— Игорюха! У меня-то идей — полная голова, зато предложений реализовать их нет. Давай вместе работать, а гонорар пополам!

Игорь согласился и предложил студии идею учебного фильма «Герои “Народной воли”»! О чудо, заявку взяли сразу! Надо ли объяснять, что мы сблизились как соавторы. Игорь стал бывать у меня дома. Мы сработались идеально: я писал текст, а он превращал его в сценарий — очень качественно...

Мало-помалу я знакомил соавтора с самиздатом, а он приносил свои рукописи. Мне они категорически не понравились — террор всегда виделся противным. Разговоры увяли...

Однажды произошел такой эпизод в нашей внезапно завязавшейся дружбе. Игорь попросил помочь принять в академию дочку его приятеля.

— Он обещал отблагодарить!

— Ты с ума сошел, Игорюха! Вон сколько блатных по спискам суют — и проректор, и декан, и завкафедрой. Кто только ни лезет с ними... А здесь — дочка твоего приятеля. Сделаем так: ты сам примешь у нее экзамен и поставишь то, что считаешь нужным. А я поставлю вторую подпись...

Экзамены кончились. Мы шли по коридору, навстречу двигалась толпа поступивших. Вдруг Игорь сказал:

— Вон идет отец той девушки. Готов нас отблагодарить...

— Сейчас, когда дело сделано — пусть ставит бутылку коньяка. Мы ее честно заслужили. Отметим окончание сессии.

На этом дело и кончилось.

Мы не раз встречались с Игорем, даже ходили в рестораны (за его счет). Я читал ему первую главу нового романа об Александре Ульянове (фрагмент, посвященный технике работы «черного кабинета» — почтовой цензуры). Однажды мой молодой товарищ позвонил:

— Миша, я получил предложение пойти работать в КГБ. В штат. Что скажешь?

— Игорь, я не ребенок и понимаю, что когда один человек рассказывает другому такое, он все уже решил. Что ж, твое дело. Но я на твоём месте — не пошел бы.

Это был наш последний разговор. Как ни странно, Игорь действительно хорошо ко мне относился, я это чувствовал. Но потом, после ареста, я стал вспоминать разные эпизоды и понял: на меня собирали компромат. Не беру ли взятки в Академии художеств от абитуриентов? Поняли, что не беру. На следующий год меня просто не взяли в академию. Не го-жусь для такой работы нашим славным органам...

(Чекисты потом с гордостью говорили жене:

— Мы его хорошо проверили. Очень тщательно.)

* * *

Небольшой экскурс от центрального сюжета: некое знакомство в доме, которое никак не сказалось на моей судьбе, но жалко оставить его без упоминания.

Я спускался по лестнице и осматривал коммутационные коробки в квартирах — всюду ли есть возможность подключить телефон. (Собирался подать ходатайство от имени дома в отделение связи.) На первом этаже меня застучал за этим занятием пожилой, приятный на вид квартирант.

— Что вы смотрите?

Объясняю.

— Скажите, а вам не поможет в хлопотах моя справка о реабилитации? Я могу скопировать у нотариуса...

— Нет, — отвечаю удивленно, — не поможет. Но у меня встречный вопрос: а вы не встречали в зоне моего учителя и старшего друга Домбровского?

— Юрочку? Я его отлично знаю. Прекрасный человек. Он жил в соседнем бараке... У него была большая странность: он почему-то скрывал свое национальное происхождение...

— Нет, ничего не скрывает. Подробно рассказывает... По национальности Юрий Осипович — цыган. Его прадед поставлял лошадей в польскую кавалерию в 1863 году, был пойман, получил сибирскую ссылку. Местная

польская община приняла его в поляки и дала новую фамилию. Но по крови он остался цыганом.

— Да-да, знаю, слышал... Но дело в том, что в нашем бараке жил старый, опытный адвокат. Он работал еще в Комиссии Временного правительства по расследованию преступлений царского режима — вместе с Юрочкиным папой. Тот считался очень известным юристом. Так вот, наш солагерник всегда говорил: «Мы никогда не называли Юриного отца Осипом Витальевичем. Мы всегда звали его Осипом Гдальевичем...» Так-то, молодой человек.

— Давайте представимся? — спросил я его, немного ошеломленный.

— С удовольствием. Меня зовут Иваном Алексеевичем. Лихачевым. Занимаюсь переводами.

— Я — председатель кооператива Михаил Хейфец. А с каких языков вы переводите?

— Со всех европейских, — отвечает. — Сейчас, например, перевожу португальский роман....

Иван Алексеевич на короткое время стал мне близким человеком, тем более что Юрий Осипович в письмах нежно его вспоминал. Как я понял, Лихачев считался едва ли не центральной фигурой среди гомосексуалистов в СССР. Когда по Союзу путешествовал Андре Жид, Лихачев сумел тайно, не произнося вслух ни слова, передать великому писателю полный отчет о положении своей группы в стране. Отсюда, возможно, родилось разочарование Жид в СССР, которое столь непривычно звучало в те годы в Европе...

Иван Алексеевич, тем не менее, являлся на свой лад страстным русским патриотом. Помнится, он рассказывал о своем выступлении в Париже. Французы жутко веселились, услышав от него, что российские читатели обожают Жорж Санд и становятся в книжных магазинах за ее романами в очередь. Его, русского человека, смешки французов явно и безусловно оскорбляли... «Что они сами-то понимают в русской литературе!»

Я ему понравился сразу — возможно, после того как употребил в разговоре словечко *революционист*. Он сразу

же зачислил меня в «свои». Увы, умер он внезапно: шел в аптеку — и упал. Так иногда уходят люди, которые могли бы считаться гордостью нации — на любом уровне. Но Россия их не ценила ни тогда, ни сейчас...

* * *

Обернувшись назад, я вижу, что главным моим занятием в последние годы перед арестом стало именно то, в чем меня обвиняли органы, — агитация и пропаганда, направленные на подрыв и ослабление советского строя. Я узнавал, где мог, информацию о его сути. Как получалось и где только выходило — слушал радиостанции «Голос Америки», «Би-би-си». «Свободу», правда, не любил, она казалась мне излишне агитационной, т. е. пытавшейся меня в чем-то убеждать, — а я не хотел, чтоб меня убеждали, этого я накушался в Союзе и хотел получать только информацию, только факты, а думать над ними сам. Хотя — как раз с подобной задачей западные радиостанции, вещавшие на русском языке, справлялись слабовато. Зачастую редакторы не понимали, какие факты способны сдвинуть сознание советских людей с идеологической тумбы. Оказавшись потом на Западе, особенно на «Свободе» (там я даже поработал — целый месяц), я осознал, почему работники, противостоявшие СССР по службе, т. е. офицеры спецслужб Запада, не понимали психологию советских слушателей — людей в основном идейных. Практикам жизни казалось невозможным и придуманным эмигрантами, что нормальные обыватели где бы то ни было, хотя и в России, интересовались историей и философией больше, чем «бытовой» — что где продается и сколько стоит. У меня создалось впечатление, что офицеры (так я их про себя называл — скорее всего они и действительно были офицерами ЦРУ, хотя погон не носили) поддавались уговорам «русских», когда выделяли средства на выпуск серьезных книг или исследований, посвященных Союзу. В полезность такой работы они сами не верили, но «русские» настаивали. Сотрудникам ЦРУ в голову не приходило, что толковая

книжка или обсуждение современной идеи вернее и целенаправленнее подрывает силу их противника, чем всякие разведывательно-политические акции... Что делать, иная жизнь — другие ценности. Вот в сегодняшней России, как мне видится издали, куда лучше поймут как раз западный подход, но сегодняшняя Россия сама никого особо не интересуется. Ни с какой стороны...

Короче, западные радиостанции чрезвычайно редко упоминали факты, которые по-настоящему переворачивали российские мозги. Помню, как я был потрясен, узнав из какой-то передачи про секретные протоколы, касающиеся договора Риббентропа—Молотова. Так, мельком упомянули, процитировали кое-как... Вспомните, что когда Александр Николаевич Яковлев на съезде народных депутатов СССР огласил эти протоколы, то подавляющее большинство делегатов отказались верить, что подобное возможно, что это можно официально подписать, заявляли, что все — выдумка и клевета западных агитаторов... Представляете теперь, как они потрясли меня, когда я мельком услышал этот текст двадцатью годами раньше?

(Недавно я слышал интервью российского писателя Марка Солонина, который свое духовное преображение датирует годами 1983—84-м, когда в его руки попал старый комплект газеты... «Правда», тоже засекреченной, где редакция обозначила новые границы Советского Союза 1939 года.)

Вот другой факт, услышанный по радио, тоже мельком, — про голодомор 1932—33 годов. Люди ничего не знали о гибели от голода *миллионов* сограждан — не украинцев-хлеборобов, немцев Поволжья, казахов-кочевников, но русских крестьян. По западному радио практически почти ничего не передавали... Однажды я упомянул о факте голодомора у Эльвины Мороз в присутствии ее отца Сергея Степановича. Вдруг он стал вспоминать, как приехал из Москвы на Кубань к семье и видел на улицах трупы земляков, умерших от голода, как раздобыл подводу и вывез жену с дочкой в столицу, иначе

они точно умерли бы там... Женщина впервые услышала от отца такой эпизод своего детства! Не раз я убеждался в том, что украинцы, жившие в России, не подозревали, что несколько миллионов их земляков погибли от умышленно устроенного голода...

Если мы сами не займемся распространением и обсуждением информации, которая нас касается, то за нас никто другой это не сделает — ни западная радиостанция, ни иностранный институт при всей их информированности и допусках в архивы...

И я включился в работу. Случайно встретил Володю Марамзина (помнится, на Малой Садовой, он ждал жену из театра Комедии).

— Миш, у меня появляются разные неизвестные документы и рассказы. Ты не хочешь ознакомиться?

Что за глупый вопрос! Конечно, я немедленно согласился. И стали мы регулярно встречаться — либо у театра, либо в Союзе писателей. Володя каждый раз передавал мне очередную пачку документов. Я держал их несколько дней, а потом возвращал обратно...

Но чего Володя не знал и, думается, не подозревал — что я не просто читал этот материал.

У меня была хорошая машинистка — Людмила Павловна Эйзегардт. Она перепечатывала моего «Клеточникова». Людмила Павловна, видимо, в молодости была красавица, вышла замуж за известного режиссера Миклашевского и уехала с ним в эмиграцию с «белыми». Потом супруги разошлись, Людмила Павловна вернулась в Россию, где вторично вышла замуж — за историка по фамилии... Троцкий. Разумеется, ему предложили поменять родовую фамилию, но он отказался, наивный историк объяснил «товарищам», что *тот* Троцкий — Бронштейн, а вот он, Иосиф, как раз есть истинный Троцкий и менять фамилию родителей не хочет. Тогда ему предложили сотрудничать с органами — он и на это не согласился. Его изъяли из общества и расстреляли, а жену отправили в зону как члена семьи изменника родины. К счастью, маленькую дочку забрал старший брат ее мужа,

который в свое время благоразумно согласился сменить «нехорошую фамилию» и стать Тронским, автором известного учебника... Через восемь лет Людмилу Павловну освободили из АЛЖИРа (Акмолинского лагеря жен изменников родины), но вскоре изъяли снова. («Чекисту, который меня отправил в ссылку, это было очень неприятно, я видела», — рассказывала она. Не нужно демонизировать всех подряд, там разные люди служили, как и повсюду...) Когда она вернулась из второго заключения, реабилитированная, ее дочка умерла, а Людмила Павловна жила одиноко и подрабатывала машинкой. У нее я и перепечатывал самиздат, твердо уверенный в такой сотруднице...

Для каждого документа я находил четырех абонентов, желавших его получить. Соответственно каждому из нас его экземпляр стоил относительно недорого (мои знакомые — небогатые люди). Себе за организационную работу в виде приза я брал первый экземпляр, остальные перемешивал, чтобы никто не мог жаловаться, что получил копию худшего качества, чем остальные. Впрочем, как Маразмзин не подозревал, что все взятые у него документы размножаются, так и я не был уверен, что никто из моей четверки не размножает, в свою очередь, свою копию. Так самиздат и функционировал в Союзе — совершенно неуловимый, потому что никто не знал и никогда не мог знать, где кончается сеть, оплетающая страну. Мне виделось, что даже чекисты в конце концов махнули рукой на наши занятия, считая борьбу физически невозможной...

(Позже, в борьбе с чтением неподцензурных стихов по квартирам поэтов, они создали в Питере клуб для молодых стихотворцев, который возглавил мой сосед по дому, филолог из Герценовского института Юра Андреев. Я в Израиле интересовался, понимают ли молодые питерцы, кто действует за Юриной спиной? Оказалось, отлично понимали. Поэтесса Лена Игнатова рассказывала мне, что одна из ее коллег за вступление в тот поэтический клуб выбила из органов бесплатную побелку потолка в своей квартире...)

Стоит отметить важное обстоятельство. С 1971 года принципиально изменилась ситуация в еврейской общине Союза. Летом предыдущего года группа евреев из Риги попыталась захватить советский самолет. На это безумие их по сути толкнули советские газеты и радио. Угон иностранных самолетов, посадку похищенных на арабских аэродромах, захват заложников-пассажиров придумали и воплотили в практику не евреи, а как раз палестинские отряды, прежде всего из группы Жоржа Хаббаша. (Ее лидер был христианином и, как положено отщепенцу в народе, особенно ретиво пытался доказывать миру и землякам свои крайности в борьбе за национальное дело. Это не помогло, и лидером как был, так и остался мусульманин Ясир Арафат.) Так вот, советские СМИ поощрительно отзывались о борцах за свободу, которые, мол, берут в клещи империалистические самолеты и ставят на колени эксплуататоров-нефтепотребителей... Как-то не приходило в их дурные головы, что в Союзе имеются самолеты, а вне Союза — западные аэродромы; есть враги, которые учатся на таких примерах... Сначала угнали советский самолет литовцы, отец с сыном, убив на борту девушку-стюардессу. Потом гебисты решили, что идея убежать на Запад на захваченном самолете может бродить в мозгах ленинградских евреев. Почему нет? Лихих дурачков среди евреев всегда немало — не меньше, чем среди арабов. Остановить их сложно: свои же единомышленники-нелегалы обвинят в трусости. А что может быть хуже в самодельной игре «в подполье», чем обвинение в трусости?.. Я понятия не имел о еврейских играх, хотя в мои руки попадали разные документы, издаваемые сионистами, например информационный журнал «Итон» (уже в Израиле я познакомился с его авторами; журнал, оказывается, делали в... Белоруссии) или письма из Израиля, материалы про сионизм — фотокопии дореволюционных статей Жаботинского (опять же только в Израиле я узнал, что их привозили в наш город из Риги). Мне понравилась статья польского журналиста об устройстве кибуцев... Натуральный коммунизм в сельском хозяйстве! Словом,

я был, как говорится, в курсе дел еврейского движения, но не подозревал о его мощной организованности. А гебисты, напротив, многое сумели прознать — и зародился в Большом доме лихой питерский проект! Когда-нибудь историки узнают в чьей конкретно голове... Оказавшись в курсе бродившей по городу идеи с захватом самолета (о ней поговорили по меньшей мере с полусотней человек, готовых сесть в намеченный «самолет», а те, натурально, обсуждали идею в своих семьях), в ГБ испытали разочарование: замысел сорвался. Противники идеи захвата сообразили, что единственный легальный способ эмигрировать и не быть обвиненным при этом в трусости — запросить разрешение на акцию в Израиле. Все понимали, что Израиль запретит действо. (Да и кто разрешит подобную авантюру незнакомым людям в незнакомых обстоятельствах? Разве что Жорж Хаббаш...) Теперь, зная немного сотрудников той конторы, которая ведает подобными проектами в здешнем правительстве, я могу представить, как элементарно там перепугались питерской инициативы, подозревая провокацию ГБ!

Но тогда разочарованные гебисты немного подумали и устроили для евреев маршрут, с которого самолет предельно легко можно угнать... На наживку клюнула группа рижан, во главе которой стояли трое бывших политэков, успевших отбыть огромные сроки. Этим людям не давали возможности устроиться на работу и жить нормальной жизнью. Они, мне рассказывали в зоне, тоже догадывались: их «пасут», отслеживают, но лучше рискнуть, чем жить в Союзе. Всех взяли на выходе из аэровокзала, причем своими глазами они видели драку двух групп чекистов — московских и питерских, которые боролись за право арестовать и потом вести выгодное следствие у себя в городе...

Смысл гебистского проекта, как я понимаю, сводился к тому, чтобы вынести обвиняемым невероятно жестокие наказания и напугать остальных евреев. В итоге — два смертных приговора, плюс масса предельных, по пятнадцать лет.

Тут ГБ внезапно споткнулась...

Приговор вызвал возмущение в мире. Палестинцев, любимцев нашего ЦК и наших органов, не приговаривали к смерти, хотя они реально угоняли и взрывали самолеты, а рижские евреи даже не успели подойти к нему. Смертную казнь — за преступный замысел?! Тем более что они не собирались никого убивать (пилотов предполагалось оставить на земле, летчик у пиратов имелся свой), хотели просто встретиться с родными в Израиле, а до советской власти им дела нет... Что, конечно, была ложь, но юридически опровергнуть ее оказалось невозможно... Короче говоря, беспредел виделся совершенно выдающимся — даже по советским меркам! Обе казни заменили на 15 лет лагерей.

Я, кажется, углубился в историю с излишним рвением — просто не уверен, помнят ли ее в России. Сам я посчитал такой план бегства через границу чистым безумием — и был неправ. Однажды заговорил об этом в царскосельском ресторане в обществе летчиков. Один из них спокойно возразил:

— Молодой человек, это вполне возможный вариант, я границу хорошо знаю. Если бы они сумели взлететь, их никто не остановил бы...

Начиная с 1971 года евреев стали пачками выпускать в Израиль. Почему было принято такое парадоксальное и, казалось, невозможное в СССР решение?

...Сергей Семанов однажды высказал странное (особенно для лидера «русской партии») мнение. Он подозревал, что жена Брежнева — еврейка, именно с ее подачи вождь принял благоприятное для ее земляков решение.

(Высказался Семанов именно потому, что знал: Виктория Петровна вовсе не еврейка. У него типично русофильская фобия — везде видеть проникающих тайных евреев.)

Тем пикантнее, конечно, прозвучало, что лидер «русских патриотов» считал особо приятным для евреев и особо блатным для них решением начальства дозволение им *покинуть* Россию! После этого задумаешься, какой на

самом деле видят Родину ее так называемые патриоты... Ну, впрочем, оставлю ехидство и поразмышляю над действительно любопытным вопросом: почему руководство страны не противилось выезду советских евреев из СССР?

Внешнеполитические причины этого решения понятны, но ведь в Союзе никогда не решали вопросы в соответствии с подобными соображениями.

У меня своя версия на этот счет — правда, не столь эффектная, как у Семанова. Я предполагаю, что руководство... просто ошибалось, неправильно рассчитывало социальные последствия.

Мне виделось, что Брежнев с компанией столкнулись с той же внутрихозяйственной проблемой, какая некогда волновала Хрущева, — с огромным влиянием еврейского частного бизнеса на развитие экономики Союза. Евреи сидели на многих продуктовых и товарных базах, во множестве артелей и магазинах — и всюду крепко наживались, изымая в свою пользу часть доходов, шедших собственнику, т. е. в казну. Их можно было перестрелять, как делал Хрущев, но Брежнев не любил жесткие меры и предпочел выслать их за пределы страны, а вместе с ними незначительную, как ему виделось, группу идейных сионистов. Заодно возникал канал, дававший немалые возможности для засылки агентуры КГБ, для расширения сферы влияния и многого всякого положительного. Я считаю, что неправильно оценивались не только настроения советских евреев и русских людей, а уж тем более аборигенов в союзных республиках, но и фактическое участие евреев-частников в снабжении населения продуктами и товарами.

Я имел возможность наблюдать этот процесс относительно близко, у меня родня в этой среде. Скажем, на базу завозили некие продукты. По нормативам всегда полагалось иметь естественные убытки для хранимого товара. Еврей-заведующий пускался на ухищрения, чтобы сберечь все, что только можно. Государственная доля шла в магазины, но потенциальные потери оформлялись

как реальные на бумаге. На деле эти товары сберегались, реализовывались и давали доход заведующим и прочим частникам. Казна называла эту операцию воровством — в судах она оформлялась как упущенная выгода государства. Начальство всерьез верило, что неуловимые евреи обкрадывают его, что, избавившись от «воров», увеличит хозяйственные доходы магазинов и баз, т. е. собственные.

Когда я вернулся в Ленинград (после шестилетнего отсутствия), меня поразило, насколько ухудшилось снабжение города товарами и продуктами. В том самом магазине, где шесть лет назад молоко продавалось целый день, теперь оно имелось только до полудня. Исчезли апельсины. В поисках материала для урока труда старшей дочери мы объездили десяток магазинов безрезультатно, пришлось покупать отрез на гардины, только такой нашелся на полках. Раньше я подумал бы, что у людей просто нет денег, чтобы купить стоящую вещь, но сейчас, в связи с отъездом и продажей квартиры, денег у нас имелось навалом — и пустые полки. Только на такси я мог раскатывать — за деньги!

Де-фи-цит! Откуда он взялся, почему вдруг? Что рокового случилось с экономикой за шесть прошедших лет? Я нашел единственное разумное объяснение: из страны уехали опытные снабженцы. Дельцы вкладывали силы и время, чтобы товары не лежали на складах, а доходили до магазинных полок. Конечно, все это делалось для себя, но заодно как необходимое условие всего процесса — чтобы могла заработать и система снабжения. Дельцов вытолкали из страны. Неужели руководство всерьез рассматривало их исключительно как воров из казенного кармана?

Я вовсе не хочу представить работу деловых евреев как этакое горючее для советской экономики. Это было бы просто глупостью! Если уж использовать образ, то они сыграли роль моторного масла. Советская власть использовала разные возможности, чтобы пустить в ход оборонку (танков Советская армия получила больше, чем имел весь остальной мир), аэрокосмос, машиностро-

ение... Но на товары для населения мощностей, людей и денег не хватало. Их передоверили еврейским «делашам». Пока эти люди вкалывали (для себя, вестимо), хоть что-то на полках появлялось. Когда власть захотела эту сферу взять под контроль, позавидовав чужим барышам, рухнула вся система.

* * *

Но это общие рассуждения об эпохе. Рядом со мной на улице Космонавтов жил давний институтский приятель Саша Пинскер, к которому я часто заезжал в гости. Он регулярно слушал «Голос Израиля», пересказывая все интересное, что избавляло меня от необходимости самому этим радио заниматься. Саша работал редактором на студии «Леннаучфильм» и однажды признался, что связан с Израилем и может организовать мне выезд. Я ехать никуда не собирался — ну что советский писатель может за границей делать, особенно учитывая его тупость к иностранным языкам... Но безумно загорелась идеей отъезда моя русская жена-авантюристка! И настояла-таки на своем. Я дал Пинскеру согласие и вскоре получил вызов из Израиля. Но тут нарисовался вариант с новой квартирой, надо было думать о переезде, и я... не пошел в ОВИР. Просто не пошел. А Пинскера вскоре уволили со студии. Я ему теперь помогал, а не он мне.... Наш с Обленовым фильм «Герои “Народной воли”» получился удачным, все были довольны. (Последнюю фразу из Ленина пришлось вставить по просьбе рецензента из министерства.) Съёмочная группа устроила шикарный банкет в центральном ресторане Питера. (Обленова не было.

— При чем тут я? — заявил он. — Это все ты делал.

Это было неправдой! Мне кажется, парню просто было стыдно получать награду и почести за операцию «прикрытие». Он был в принципе совсем недурным человеком. Мне и сегодня интересно, как он воспринял впоследствии мой арест.) Так вот, после успеха фильма вручили мне на студии другой сценарий, продолжение прежнего, — учебный фильм «Рабочее движение

80—90-х гг.». Я стал делать его в паре с Пинскером, не обозначив его фамилию в титрах, но передавая ему, естественно, половину гонорара. Надо ж человеку как-то кормиться! Я постепенно стал понимать, что он — некто вроде уполномоченного Израиля по Ленинграду. К нему приходили евреи, хлопотали о вызовах, а я сидел тихо в стороне и помалкивал, производя на пришедших впечатление самого главного начальника, который на деле все и решает тут, на месте... Однажды Саша с юмором стал рассказывать, как агенты ГБ выслеживали его, пытаясь поймать с самиздатом. Его рассказ очень пригодился мне на следствии, когда потребовалось объяснить, откуда у меня самиздат. Но — оставим пока, всему свое место.

На следствии же я понял, что мой неприход в ОВИР был истолкован в органах как результат исключительно важного положения в некоей тайной структуре. Видимо, мне предлагают в Израиле временно поработать здесь, в Питере. Ох, уж эти гебешно-секретные проекты!

А я пытался осуществлять новые литературные замыслы: начал роман о Чернышевском, потом перешел к роману об Александре Ульянове, делал какие-то статьи. Мне передали на рецензию из «Звезды» фантастическую повесть Житинского «Лестница». Она мне нравилась — но что с ней делать? «Звезда», какой она была в ту пору, не будет печатать оригинально придуманную и построенную вещь. И я решил дать себе волю, написал, что это превосходное сочинение и «Звезда», увы, никогда его не напечатает. Рассказал суть задуманного отзыва Боре Стругацкому, и мы в первый раз поругались: Боря убеждал, что я ни в коем случае не должен подыгрывать «звездинцам», что им только и нужно — мой вывод, что «Звезда» это не напечатает. Может, он и прав был, но мне так скучно показалось снова изображать дурака, не понимающего, с кем имеет дело... Не стерпел и сделал, как задумал. Зато очень рад был много лет спустя, уже в Израиле, увидеть фильм, снятый по этой самой «Лестнице»!

Постепенно меня полностью захватил самиздат. Особенно сильное впечатление произвело сочинение

А. Сахарова «Размышление о прогрессе...». Оно казалось наивным и одновременно глубоким. Мне хотелось запечатлеть для истории духовную атмосферу нашей жизни. Наше бытие ощущалось мною как некая дырка в истории, от которой в будущем ничего не останется. Это буквально жгло руки — так хотелось описать то, как мы жили, о чем думали, что чувствовали! Не по газете же «Правда» станут восстанавливать жизнь великой державы! И я сел писать подобное сочинение — сцены из духовной жизни советского общества в 1973 году.

Но тут меня отвлекла совершенно неожиданная проблема.

* * *

Мы встретились с Марамзиным в гостиной Союза писателей — сидели вдвоем, видимо, обменивались самиздатом. Вдруг он признается:

— Сейчас делаю собрание сочинений Бродского. Ты знаешь, Иосиф уехал без единой строчки, ничего написанного от руки через границу не пропускают. И вот мы (я и до сих пор не знаю, кто входил в марамзинское «мы». — М.Х.) решили собрать все написанное им. Ходим по родным, по бабам, по приятелям... Набрали три тома лирики. Остается добрать еще два тома, один — переводы, второй — детские сочинения, стихи на случай... Ерунда, конечно, но уж если делать полное собрание, так — полным. Одна осталась закавыка — нет вступительной статьи. Никто не берется: боятся не кого-то, а ответственности...

Он рассказывал о жизни Бродского в Штатах, показал письмо из Америки, где автор писал, что Бродский приехал к ним в университет, но к нему невозможно было подойти, потому что Иосиф сейчас большой человек, с ним контактировать непросто...

И вновь Володя перевел разговор на предисловие. И я предложил ему свою помощь.

Так и не знаю, думал Марамзин всерьез соблазнить меня на написание статьи или просто завел разговор на

тому, которая его мучила, а я подвернулся под руку. Как бы то ни было, я впрягся в новую работу.

Скоро Володя притащил три тома лирики Бродского, собранные по всем академическим канонам — с датировками, расшифровками посвящений, особыми обстоятельствами написания в примечаниях, если такие имелись. Отличную проделали работу! (Говорят, все сборники Бродского российского периода основаны на «марамзинском собрании».) Я стал читать тома подряд и вскоре убедился в том, что самиздат работал хорошо. Неизвестных стихов оказалось совсем немного. Но... так же быстро я понял, что полноценное вступление к собранию сочинений поэта написать не смогу.

Да, я писал рецензии на прозу, на публицистические сборники, на мемуары. Я умею это делать. Но стихи? Что я понимаю в поэтике, в метрике, что могу рассказать интересного читателям Бродского вообще?

Я представления не имел, что о Бродском написаны статьи, великий английский поэт Оден написал предисловие к его зарубежному сборнику... Для меня Бродский еще был самиздатским поэтом, о котором я пишу первую в истории статью. Перечитав его стихи, я убеждался в том, что он великий мастер. Но назвать своего современника, рыжего Оську великим поэтом... Я чувствовал страх — не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Я и сегодня помню, как *буквально* дрожал, когда впервые вывел слово *великий* в той самой статье. Может, лучше сразу отказаться от заказа? Этого сделать тоже не мог. Это значило подвести Марамзина, подвести неизвестных «мы», которые ждали только мою статью, чтобы выпустить пятитомник Бродского в свет.

В каком качестве Михаил Хейфец может заинтересовать читателей поэзии Бродского?

Я решил не анализировать поэзию, для этого у меня не хватало ни знаний, ни способностей, но сделать нечто иное — рассказать, почему наше поколение выбрало Иосифа Бродского своим голосом, как в его стихах выразилось ощущение мира нами, ровесниками поэта.

Когда кончил писать, то первой читательницей предисловия стала моя жена. Посмотрела и сказала просто:

— Посадят тебя, Мишка.

И я ответил:

— Пусть посадят.

Я чувствовал, что не могу больше жить, приспосабливаясь к власти. Я рожден на свет, чтобы писать то, что знаю и могу. Это — выбрано. Наверно, в тот момент я и стал жить, подобно Бродскому...

А жене статья понравилась, потому что когда приехала в гости теща, дирижер из Свердловска, женщина благородная, но абсолютно советская, Рая сказала мне:

— Покажи маме статью о Бродском.

К счастью, у меня хватило благоразумия не делать этого...

(Текст статьи можно прочитать в приложении.)

...Закончив предисловие, я отвез его Марамзину и — наткнулся на отказ. Не написать об отношениях Бродского и начальства я никак не мог. А что я думал о людях, которые сначала посадили, потом заточили в дурдом, потом сослали на Север, потом выдворили из России ее поэта, вы догадываетесь.

Главное — при анализе стихов я выявил перелом, возникновение особого этапа в поэзии Бродского. Грань эта оказалась связанной с вторжением Советской армии в Чехословакию. Именно в 1968 году возникло иное отношение поэта к Родине (к «Отечеству», как он выражался) — абсолютное презрение.

Марамзин прочел мой опус и выразил свое ощущение вполне конкретно:

— Миша, за такое вступление нас всех посадят, а культурное начинание будет погублено. Переделай!

И я забрал рукопись.

Переделка не выходила, не было новых идей. Я сидел, пыхтел, правил — ничего. И решил... советоваться.

Именно «советы» впоследствии инкриминировали мне в КГБ как мою агитацию и пропаганду, поэтому до сих пор я иногда пытаюсь честно разобраться, была ли

пропаганда на самом деле? Или, напротив, как отбивался на следствии — это явилось попыткой лишь «деполитизировать текст», получить от читателей новую идею, которая сделала бы текст политически более безопасным?

Наверное, мне-таки хотелось похвастать сочинением и услышать отзыв о нем. Это правда. Но также я хотел услышать совет, который помог бы найти выход из конфликта с Марамзиным.

Среди тех, кому я дал почитать статью, оказалась Маша Эткинд. Не буду врать, конечно, надеялся, что Маше статья понравится и она покажет ее отцу. Тот считался знатоком поэзии в Питере и уж точно — знатоком поэзии Бродского.

...Маша пришла к нам и сказала:

— Приехал папа. Он прочел вашу статью и хочет вас видеть.

Ну, спустился я, познакомился с Ефимом Эткиндром. Оказалось, и раньше не раз видел его во дворе Герценовского института, нельзя было не заметить в толпе такого яркого человека. И вот — повод для личного знакомства.

Моя статья Ефиму понравилась. Понравилась настолько, что он написал на нее письменную рецензию — на отдельном листке, с двух сторон! Естественно, похвальную (ругать мог бы и устно). Но имелось некое возражение, которое профессор захотел обсудить лично. Оно касалось событий в Чехословакии.

Эткинд не согласился со мной, что интервенция оказала в 1968 году огромное воздействие на Бродского и его поэзию. По его словам, Бродский осознал имперский характер советского режима гораздо раньше, еще в 1957 году, после вторжения советских войск в Венгрию. Бродский, мол, сам ему это говорил. И вообще он, Эткинд, видел Бродского часто в дни оккупации Чехословакии и не заметил никаких переживаний по сему поводу.

При всем уважении к эрудиции и идеям Эткинда я не захотел в моей статье ничего менять. Да, допускал, что Бродский такое говорил профессору (наверняка так и было). Ну и что? Я же анализировал стихи, а не сужде-

ния поэта о собственном развитии и явно видел в текстах сдвиг в его мироощущении после августа 1968 года, а не до этого...

(Много лет спустя с удовлетворением и невольным торжеством над уже покойным Эткиндром прочитал в книге Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским»:

«*Бродский*. Когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию, мне, помню, хотелось бежать куда глаза глядят. Прежде всего от стыда. От того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы. Я тогда был в ужасном состоянии».)

И тут я совершил грубую ошибку. Видимо, меня задел отказ Марамзина, внутренне я желал реванша и позвонил Володе.

— Знаешь, статью читал Машкин отец, она ему понравилась.

Уже потом, после ареста, я понял, что телефон Марамзина стоял на прослушке. Естественно, что ГБ нетрудным оказалось расшифровать, кто это такой — Машкин отец. Так в поле зрения органов по будущему делу попал Ефим Эткинд благодаря моей неосторожности.

* * *

Среди тех, кому я дал почитать свою статью, оказался близкий Машин друг врач Владимир Загреба. От него я однажды услышал, что Марамзин заказал и уже получил новое предисловие к сочинениям Бродского. Автором ее Загреба назвал Игоря Бурихина (тогда я не знал этого самиздатского поэта). Известие порадовало, так как избавляло от необходимости работать над проектом... Я убрал все экземпляры своей статьи в ящик письменного стола, прикрепил скрепкой рецензию Эткинда (все ж гордился ею) и... благополучно забыл про статью. Мало ли какие бумаги лежат в моем архиве! Мне в голову не приходило куда-то ее прятать. Тут не политика, а чистое литерату-

поведение, оценка стихов... Зато другое сочинение того времени — начало моего отклика на опус А. Сахарова, своего рода отчет для истории о нашем времени, я решил на всякий случай припрятать. Куда и как? Взял папку с черновиками романа о Чернышевском, в начале там лежал пролог романа, потом мои тайные сочинения, а в конце снова о Чернышевском. Расчет был на то, что, увидев заголовок «Чернышевский», раскрыв первые страницы и поняв, что речь идет о XIX веке, любопытствующий не станет мучиться над моим почерком и отложит рукопись в сторону...

Мне было не до Бродского. С деньгами была беда: не платили нигде. Летом как-то вывернулся, «перешел из обороны в нападение», т. е., лишившись подработки на экзаменах в Академии художеств, повесил объявление: «Готовлю к экзаменам по литературе». Набралась приличная компания абитуриентов, что-то удалось заработать... Однажды случился курьез. Во время занятий в квартиру позвонил незнакомый мужчина, представился участковым из милиции и стал расспрашивать меня, как председателя домкома, об одной из жилищек. Поскольку мне нечего было опасаться, я крикнул в комнату: «Ребята, не беспокойтесь, это милиция» — и, удовлетворив его любопытство, выпроводил прочь, несколько удивленный. Нашего участкового я знал в лицо. Он опечатывал квартиру умершего И.А. Лихачева, а тут был явно другой мент. Этот эпизод я вспомнил лишь позднее, в тюрьме.

«Товарищи» беспокоились, кого я собираю дома, о чем говорю... Не организация ли у меня? Интересно бы с ними сейчас поговорить. Но вот с кем?

Когда денег не стало, начал делать то, чего избегал всегда, — влез в долги. Собственных сбережений не имелось. До лета лежал, правда, на книжке НЗ — двести рублей, но попросил займы друг (еще с Ирбита, когда я был звеньевым в пионерском лагере, а он — горнистом). Вернувшись в Ленинград, случайно встретил его на Невском, и дружба возобновилась. Левка был нотариусом, и жена его была юристом (отличная девица). Однажды на его дне

рождения я перепил крепко (они делали изумительно вкусную водку, на чем-то настаивали) и свалился на диван. Ноги не работали совсем, но башка осталась ясной. Я услышал, как, проводив очередного гостя, супруги обменялись репликами — уже не помню о чем, но из них явно следовало, что оба — внештатные сотрудники органов... Меня это не удивило и даже не смутило. Для юристов, как я считал, при их образовании такая возможность «тихой службы» сама собой подразумевалась. Но не будет же Левка на меня стучать?.. Когда он внезапно попросил взаймы, я по дороге из академии заскочил в сберкассу, чтоб снять наличные с книжки. К моему недоумению, денег в окошке долго не выдавали, кассир ходила зачем-то к начальнику... Наконец, выдала. Я потому ситуацию так запомнил, что боялся опоздать на встречу с Левкой — он ждал меня возле дома... Мы хорошо посидели, выпили, поболтали... Только в тюрьме я задумался, что, может быть, заем был проверкой, не беру ли взятки в академии. Кто их знает... Но я снял деньги со счета в сберкассе, о чем им явно доложили. Это подтверждало правдивость доклада Игоря Обленова, что — нет, не беру.

Вот другой смешной эпизод, как за мной следили «товарищи». Приехал из Москвы в Питер по делам журнала «Знание—сила» Карл Левитин. Зашел в гости, сидим, болтаем. Я дал ему почитать мое предисловие, похвастал, не удержался. Он сказал:

— Зря ты это делаешь, Мишка.

Вспомнили общую знакомую, московскую даму, которая с большим жаром распространяла по столице слухи о моей любовнице... Не могу понять, зачем ей это было нужно?

(Подозревал тогда, что она была в меня влюблена и мучалась ревностью. Только в камере я догадался, что она была одной из прикрепленных к моей персоне. Выявление любовницы было ее шпионским заданием. Она и сама не прочь была заняться блудом, чтоб легче информировать начальство, но я нахальным образом игнорировал ее!)

Наконец, кончили с Карлом ночной разговор, вышли на улицу в надежде поймать такси. Напротив дома, на другой стороне Новороссийской, — пустой таксомотор. Удивительное зрелище, ибо по Новороссийской улице автомобили мчат в сторону Пискаревского кладбища с бешеной скоростью, здесь никто и никогда не останавливается. А тут — прямо посреди шоссе, ночью, когда общественный транспорт не ходит, стоит пустая машина. Вот повезло! Подходим. Водитель... спит, а мотор работает. Карл стучит в окно, будит:

— Подвезешь?

Не помню уже, что шофер соврал для отказа, а может, и не соврал — просто отказался. Карл говорит:

— Хоть мотор выключи, аккумулятор же разрядится.

— Да нет, пусть работает.

Мы и ушли, удивляясь, какой халтурщик вкалывает на такси! А когда подошли к стоянке, увидели грандиозную очередь. И только потом, опять же в камере, я вспомнил этот случай и задумался: они ждали, что я передам материалы на Запад, а Карл идеальным образом подходил на роль курьера, поэтому нашу беседу предполагалось записать. К слову, мне эта прослушка обернулась очень на пользу — разговоров о моих любовницах на следствии не заводили вовсе, и дорогую Галочку мы таки скомпрометировали как информатора в глазах начальства...

Итак, повторяю, я одолжил деньги у соседа, рассчитывая отдать с потиражных за фильм, ведь кино-то давно снято, деньги начислены... Но мне их — не выдавали, причем под самыми идиотскими предложениями. Месяц за месяцем. И мысль, что я не сумею вернуть долг в срок, нервировала ужасно.

Однажды ночью я упал в коридоре и потерял сознание. Мне объясняли, что обморок может предшествовать инфаркту. Главное в этой ситуации — не двигаться. Когда пришел в себя, попросил жену дотащить меня до постели. Потом приехала «скорая помощь», отвезла меня в институт на площади Льва Толстого, что на Петроградской

стороне. Врачи не поставили точный диагноз, но посоветовали больше отдыхать. И впервые в жизни в Союзе писателей для меня что-то сделали — выделили путевку в Комарово на три недели, аж до Нового, 1974 года.

Взял с собой рукопись статьи о Бродском — вдруг что-то придет в голову! Скорее всего неожиданное благодеяние тоже объяснялось вмешательством «компетентных товарищей»: в ограниченном и легко просматриваемом пространстве Дома творчества проще отслеживать мои связи.

На отдыхе я показал свой опус писательнице Рольни-кайте («Оставьте вы эти занятия, Миша», — сказала она), а также приехавшему на сутки критику и сокурснику по аспирантуре Саше Рубашкину. А уж Саша показал его своей гостье из Москвы Лене Шумиловой и передал ее мнение о статье так: «Я писала от восторга». Там же познакомился с профессором-психиатром Авербухом, которого непрерывно дразнили соседи. Тогда как раз применяли методы «карательной» психиатрии, а профессор, лучший психиатр города, служил консультантом в КГБ. Он пытался доказывать, что среди диссидентов немало людей с психическими отклонениями. (Почему же нет? Среди людей такие экземпляры часто встречаются.) Но — замечу в скобках — когда соседи стали пытаться его в отношении меня (а я, как всегда, высказывался в Доме творчества откровенно), т. е. считать ли Хейфеца сумасшедшим, он серьезно ответил: «Нет, конечно. Хейфец абсолютно нормален». Упоминаю об этом, потому что меня, единственного из диссидентов в Питере, на следствии не подвергали психиатрическому обследованию. Я изначально виделся органам человеком в норме, зато мои контакты с психиатром оказались следствием нежелательными...

Помню, как в последний день своего отдыха (на новогодних праздниках Дом творчества зарабатывал, как сейчас выражаются, на корпоративках) прочитал газетное сообщение, что фильм «Герои “Народной воли”» объявлен победителем Всесоюзного фестиваля учебного

и документального кино в Таллине. Теперь мне оставалось ждать только Ломоносовскую премию.

Зимой Боре Стругацкому вдруг сменили номер телефона. Теперь он мог говорить не через блокиратор, а по отдельной линии. Я позвонил и напросился приехать к нему. Мою статью он читал одновременно с Адочкой. Не высказал ни восторга, ни критики. Я был поражен его оценкой, когда прочитал описание нашей встречи в позднем романе С. Витицкого «Поиск предназначения», где я изображен у Бори как один из персонажей, Семен Мирлин. Боря никогда не скрывал, что использует нашу дружбу как материал для сочинений. Для прозаика это нормально.

Помню, однажды пришел к нам в гости и сказал:

— Вчера был удачный день. Мы с Аркашкой придумали, наконец, имя герою — хотелось сделать что-то похожее на «Миша Хейфец» и придумали — Изя Кацман...

Название сочинения Боря утаил. Легко представить, с каким любопытством ждал я появления каждого их сочинения, где явился бы миру Изя Кацман. В художественной прозе невозможно лицемерить, и мне, наконец-то, открылось бы, как на самом деле Боря относился ко мне. Роман «Град обреченный» я прочитал, увы, только в Израиле, т. е. спустя полтора десятка лет, и был удовлетворен до чрезвычайности... А вот «Поиск предназначения» поразил... Напомню читателю для ясности сцену из романа, связанную с Мирлиным.

«Сразу после программы “Время”, еще про погоду сообщить не успели, приперся Сеня Мирлин. Жадно выхлебал остывший чай, подобрал остатки тульского пряника, а потом... полез в свой мокрый от истаявшего снега портфель, вынул и швырнул на скатерть пачку листов, исписанных крупным детским почерком. “Читайте, — потребовал он. — Только что закончил. Еще чернила не высохли!”

Пришлось читать. Это оказалось некое эссе, “плод ночных размышлений”, кровью сердца писанное, слезами окропленное и чуждое внутренней цензуры. Называлось оно “Поколение, глотнувшее свободы”...

Читали, перебрасывая друг другу уже прочитанные листки, сначала неохотно (навязался на голову со своими брьюльонами), потом настороженно-критически (ну, брат, это ты хватанул, не так оно все происходило, а совсем даже по-другому), а начиная со второй половины — азартно, жадно, хотя и в совершенном несогласии с автором, с собою, с миром, со всей этой поганой действительностью....

Станислав смотрел на Семена раздраженно, но, главным образом, с изумлением. Семен Мирлин был трепло. Он трепал языком много, смачно, во всеуслышание и без всякого стеснения.... “Ерунда! — небрежно отвечал своим доброжелателям, пытавшимся предостеречь и спасти. — Брось! Если захотят — придут и посадят как миленького — и меня, и тебя, и кого угодно. И никаких обоснований для этого не понадобится. Не захотят, так и не тронут. Неужели ты не понимаешь, что каждый из нас УЖЕ наболтал более чем достаточно для 190-1? Даже смешно”... Некоторые, особо трепетные, старались последнее время держаться от него подальше — да ну его, сам потонет, так еще и умных людей за собой потянет, придурок небитый... Трепло он был, трепло необузданное, восторженное, вдохновенное. Но вот чтобы так, концентрированно, складно и, черт его побери, точно изложить суть целого поколения, да еще в письменном виде — нет, этого ожидать от него нельзя было никоим образом. Никто и не ожидал».

Здесь, наверно, надо объяснить особенности моего «советского» поведения, которые могут удивить читателя, как удивили героев романа «С. Витицкого». Я действительно всегда говорил то, что думаю, говорил не по глупости, а вполне осознанно, ибо считал, что если начну лукавить, неизбежно запачкаю душу и не смогу полноценно писать. Почему не боялся? Во-первых, считал, что у органов хватает объектов, чтобы выявлять каждого говоруна по отдельности. У них, рассчитывая я, есть своя методика преследования. При Сталине она состояла в том, чтобы собрать побольше народа в лагеря и ссылки —

для заселения пустующих пространств на востоке страны (с Востока угрожала воинственная Япония, а пустую землю армия будет защищать дурно), для насильственной мобилизации работников в оборонно-секретные учреждения и предприятия... Словом, для массового террора при Сталине имелась реальная государственно-экономическая цель, которую органы осуществляли в ее практической ипостаси, а вовсе не из садистских наклонностей начальников с петлицами... В наше время этой ситуации нет. Теперь работа ГБ действительно диктуется не экономикой, а чистой политикой. Поэтому внимание оперов сосредоточено на иностранцах и на гражданах, имеющих с иностранцами какие-то контакты. Значит, если не хочешь попасть под наблюдение, сведи встречи с иностранцами к минимуму и тебя не зацепят — чисто физически... Так я и поступал. Среди моих знакомых не было иностранцев, кроме одной женщины. Однажды я увидел, что в квартиру Ивана Алексеевича Лихачева звонит молодая женщина, а хозяина нет дома. Спросил: кто вы, она ответила, что приехала из Бордо. Я пригласил ее подождать у меня в квартире, а ему оставил записку в дверях: «Иван Алексеевич, ваша гостя из департамента Жиронда сидит у меня. Миша». (Он долго смеялся, вспоминая мою хвастливую эрудицию относительно истории французской революции.) Но тогда виделось, что эта встреча слишком незначительная, чтобы привлечь внимание органов. (Я ошибался. Контакт был органами засечен: Ивана Алексеевича они держали «под колпаком» внимательно.) На допросах меня расспрашивали о встрече с француженкой. Я до сих пор думаю, что гулял на воле так долго (все же до 40 лет!), потому что оказался по сути прав в своем рассуждении. Нет иностранцев — нет и наблюдения... Одного не учел — что Марамзин явно имел связи с иностранцами и в этом качестве становился объектом изучения для «товарищей», ну а я последовал за ним.

Еще понял из романа «С. Витицкого», что напрасно не показывал другу прежде написанные, но неопублико-

ванные рукописи. Борис, видимо, судил о моих потенциальных возможностях по ранним публикациям и предполагал, что я умею устно излагать некие идеи, но — не писать о них. Поэтому для него стала неожиданностью моя статья о Бродском... Но мне казалось унижительным лезть с рукописями: вот опубликую, тогда дам. Он ведь и сам давал мне читать только тексты, прошедшие через цензуру...

(Сам Борис Натанович, однако, твердо отверг мое сходство с Сеней Мирлиным: «Ты решительно ошибаешься, когда держишь Сеню Мирлина за Мишу Хейфеца. В книжке использованы только самые общие контуры твоей истории. Характеристика, которой герой награждает Сеню Мирлина, не имеет реально ничего общего с восприятием БНС реального Михаила Хейфеца». Но я остался при своем мнении.)

Словом, с радостью и поучительным интересом я читал один за другим романы братьев Стругацких, продолжая ждать появления где-нибудь Изи Кацмана... И дождался — в конце 80-х годов.

* * *

Пропущу несколько эпизодов начала 1974 года и перескочу к 1 апреля.

Утром будит жена:

— Мишка, вставай, к тебе пришли.

Разлепляю глаза. У кровати крупный мужик сует мне в нос красную книжицу-удостоверение — старший лейтенант Егеров.

— Мы к вам из КГБ, Михаил Рувимович.

Ну, из КГБ, так из КГБ. Я не удивился, уж тем более не испугался, только неудобно было. Крикнул жене:

— Райка, кинь трусы!

С этого исторического возгласа начался «гебешно-тюремный» этап моей жизни.

Ко мне явились пять человек: трое оперов и двое так называемых понятых — явно внештатных сотрудников. Возникла неувязка: Наташу надо было отвести в школу, Олю в

детсад. Детям задержка доставила, конечно, удовольствие. Я оделся, наконец, и мы перешли в кабинет. Егоров сел за стол, чтоб лично писать протокол обыска, а двое других начали перебирать мои книжки и рукописи. Если находили нечто интересное, относили к Егорову. Он аккуратно записывал название, первую и последнюю строчку документа. Это занятие заняло почти шесть часов.

Один из гебистов раскрыл книгу — подарок публициста Георгия Александровича «Нацизм в расстрочку», изобличавшую «нехорошую ФРГ». На ее шмуцтителе красовалась надпись от автора «Им в расстрочку, нам — наличные». Товарищ не сдержался и крикнул, но книжку поставил на место: Жора Александрович их явно не интересовал, интересовал некто иной.

За время обыска ко мне пришли два гостя — аспирант из Эрмитажа Юра Филатов и мой однокурсник по Герценовскому институту, приехавший с Камчатки старый друг Гена Романов. Обоих задержали, потом отпустили.

Что я делал шесть часов, пока они работали? Взял из обыскиваемого самиздата экземпляр «Сказки о тройке» Стругацких и с огромным удовольствием перечитал. Волновался во время обыска один-единственный раз, когда лейтенант Никандров достал из ящика стола «Чернышевского». Но мой расчет оказался верным: он раскрыл рукопись, посмотрел начало, потом заглянул в конец — и отложил в сторону. И я снова уткнулся в Стругацких...

Я совершенно не боялся — по глупости, конечно. Меня удивила чрезвычайно взволнованная реакция моих посетителей, когда они достали из письменного стола «Бродского». Что я там писал? Забыл совсем... Неприятно зацепило только то, что они обнаружили прикрепленную к рукописи рецензию Эткинда. «Вот, невинного человека подставил»... Это виделось самым неприятным, а так... Я не верил в серьезность намерений начальства. С чего вдруг дело заведут? Кому это нужно?

Наконец, ушли, захватив вместе с моим самиздатом (по-моему, насчитали более 80 документов!) конфискованную пишущую машинку «Электрооптима», — «как

орудие преступления». Меня оставили дома, из чего я сделал вывод, что арестовывать не собираются. (Вывод вполне логичный — ведь если уж брать человека, так лучше сразу после обыска, — но, как выяснилось, ошибочный.) Я спустился к Лене Емельянову. (У него сидел молодой профессор, который потом приезжал в Израиль из Констанцы и напомнил про нашу встречу.) Я сказал:

— Ребята, у меня сейчас обыск был!

Все смотрелось в каком-то романтическом ключе, как сцена из исторического романа, которые я так любил писать.

Потом спустился в соседнее общежитие. С трудом дождался очереди к телефону-автомату и сказал Боре Стругацкому:

— Боря, у меня были гости.

Кругом люди, очередь... А он никак не мог врубить-ся, о чем говорю, а ведь у меня изъяли некоторые экземпляры из его личной коллекции самиздата, данные на чтение. (Боря мог опасаться за серию сатирических миниатюр «Позавчера», так как владельца установят по пишущей машинке.) А он не понимал и не понимал, а потом вдруг как-то протянул: «Ах, го-о-ости...». Слава богу, предупрежден — значит вооружен!

Потом мы обсуждали эту ситуацию с друзьями и прочие игры. Слежка за мной проводилась по такой схеме: по Новороссийской улице ехал автомобиль и вдруг... портился посреди дороги. Водитель, натурально, останавливался и начинал чинить. Долго чинил, потом отъезжал... Через минуту появлялся новый автомобиль, который ломался, правда, уже в соседнем месте... Я понимаю, что читатели мне не поверят, как не верила собственная жена. Однажды я, утомленный ее скепсисом, не выдержал и подвел к окну, выходящему на Новороссийскую.

— Видишь ту машину? Сейчас она испортится...

И действительно, она остановилась. Водитель стал копаться в моторе, потом уехал.

— Подожди минуту — сейчас остановится следующая...

Следующая тут же остановилась... Только понаблюдав этот концерт, Рая уверилась, что все обстоит так, как я говорю.

— Сколько же у них людей на тебя задействовано, — ужаснулась она.

Иногда я хулиганил: по дороге в магазин останавливался у «испорченной» машины и заговаривал с водителем, сочувствуя ему, бедняге, что не везет с машиной. Самое смешное, что машины выглядели абсолютно однотипными — черные «Волги» (или «Победы»? Нет, наверное, все-таки «Волги»). По количеству задействованной агентуры можно было предположить, что они состязаются с опытным выпускником иностранной разведшколы. Поэтому я воспринимал все как шпионскую комедию.

18 апреля черные «Волги» перестали ездить возле дома, но теперь непрерывно, день и ночь, стояли у подъезда соседнего дома — наблюдали за нашим подъездом. Видимо, чтоб я не удрал куда-нибудь. Тогда я с юмором относился к подобной возможности, однако напрасно — Володя Марамзин удрал-таки от них и скрывался несколько месяцев. А вот я значительно преувеличивал технические возможности ГБ... Что делать, любил детективы!

К слову, у Володи проводили обыск одновременно со мной и изъяли, как я понял, кучу тамиздата. Он потом заехал ко мне (я не сомневался, что такси подали ему от «товарищей»), чтобы показать текст открытого письма Андропову. Я был уверен, что нас подслушивают из того же такси, поэтому сказал ему несколько слов специально для слухачей: «Ты давно имел известия от Саши Радовского?» Саша был новым мужем Наташи Магазиной, вдовы Леша Адмиральского (Лешка умер, согласно больничному документу, от гнойного воспаления легких за два года до той истории). Наташа с мужем в августе 1973 года уезжала в Израиль. На их отъездной я неожиданно встретил Володю, таким образом узнав, что Марамзин с Сашей Радовским знакомы. Теперь, когда Саша жил в

Хайфе, он виделся удобным адресатом, чтобы на допросе называть его источником найденных документов и книг, если придется «сознаваться»... Как я узнал позже, встретившись с Марамзиным в Париже (через полтора десятка лет), Володя меня понял и сам использовал задумку...

В тот трехнедельный период между обыском и арестом было несколько любопытных встреч. Например, пришел Миша Мильчик, некогда соавтор Бори Когана по «Мифологическому словарю». Мы говорили на лестнице шепотом. Из этого разговора я узнал важные факты: во-первых, обыск прошел не только у меня и Марамзина, но у некоего Макарова, совершенно неизвестного мне лица, и у Володи Загребы, который незадолго до этого взял у меня читать много самиздата. (Я намечал его в постоянные клиенты моего будущего самиздатского кооператива. Но у Загребы ничего не нашли. Видимо, он перепрятал самиздат в иное место, а куда — они не узнали.) Во-вторых, Мильчик входил в коллектив, в тех самых марамзинских «мы», которые делали собрание Бродского. Он сообщил мне, что весь «Бродский уже там, уже там», что жутко меня обрадовало! Наконец, встретился я и с Ефимом Эткиндром. Он приехал к Маше, и мы вышли погулять (и поговорить) в парк Лесотеха.

Дело в том, что некая проблема в моей истории выглядела для меня остро и была связана с Машей Эткинд. Я уже успел съездить к Вадиму Вилинбахову, посмотрел у него 70-ю статью Уголовного кодекса и убедился, что по закону я невиновен. Закон настаивал, что пропаганда и агитация должны связываться «с умыслом на подрыв и ослабление советского общественного и государственного строя», а то, что я показывал статью некоторым знакомым, на умысел и подрыв строя явно не тянуло. Тем более должен был считаться невинным Ефим, автор рецензии. Когда он получил мою статью, то не знал ее содержания, а когда узнал — никому не показывал и, следовательно, не распространял. Согласно закону опять же оставался невинным. Но... хуже всего ситуация складывалась для Маши. Она статью явно читала, следова-

тельно знала о ее направленности и, тем не менее, дала отцу, т. е. занялась распространением. Ей точно могли инкриминировать 70-ю (бывшую 58-10) статью. Поэтому мы договорились с Ефимом, что будем отрицать факт передачи статьи через Машу. Нет, я дал из рук в руки... Так!

Ефим объяснял мне собственное видение ситуации:

— Понимаете, они оценивают все, как обычные люди, — по аналогии со своими взглядами. У них имеется издательство «Советский писатель», значит, у нас должно иметься издательство «Антисоветский писатель». У них есть свои критики-рецензенты, у нас вы — рецензент-автор. У них есть главный редактор Лесючевский, значит, у нас — я главный редактор... Тут ничего не изменишь, они на самом деле так думают!

...В ГБ меня допрашивал все тот же опер Егеров. Я держался прежней тактики: да, статью написал, но никому не показывал, это документ личного писательского архива, вам до него нет дела... Тогда я впервые осознал, как любят в ГБ театральные постановки. Вообще сотрудники организации по природе своей лицедеи. Во время допроса Егерову звонили по телефону якобы насчет задержания опасных преступников. Он мне сетовал: дескать, вот с кем они нынче борются, а вовсе не с обычными людьми, как при Сталине...

Однажды Егеров даже спросил меня участливо:

— Не могу ли я для вас что-то сделать?

Я, кажется, сумел поразить его, признавшись:

— Да, можете. Могу ли я посмотреть в окно вашего кабинета?

Из этого окна открывался пейзаж, который я так хорошо знал по историческим иллюстрациям, по зарисовкам XIX века, — знаменитый дом предварительного заключения, построенный при Александре II для «процесса 193-х». Он считался главной следственной тюрьмой империи. Столько раз я описывал его в сочинениях, а никогда не видел. Оказывается, Большой дом, здание ГБ, власти построили квадратом вокруг царской тюрь-

мы, чтобы скрыть ее от посторонних глаз. Я ходил по Литейному и Воинова (ныне, наверно, снова Шпалерной?) десятки раз, пробуя что-то разглядеть, — и вот увидел из окна... Повезло!

Часто в те дни я подшучивал по поводу того, что обыск устроили мне 1 апреля — в День смеха. Но шутки продолжались 22 апреля, в день рождения Ленина. С утра у меня прихватило сердце, я лежал. Вдруг явились домой «товарищи» с той же черной «Волгой». Мол, с вами хотят поговорить! Ну пожалуйста, я даже обрадовался, что не нужно ехать на трамвае, машину подали... По дороге гебисты переговаривались между собой, и я понял, что их большой начальник — Валерий Павлович. Довольно долго меня держали в приемном здании, потом повели внутрь ГБ и опять заставили ждать хозяина кабинета. Но я уже привык к их порядкам и взял для отдыха книжку — какой-то из философских томиков Льва Николаевича Толстого. Наконец, вошел в кабинет молодой по возрасту «товарищ», представился: «Валерий Павлович Карабанов» — и начал допрос снова как свидетеля. Я отрицал обвинения. Он стал убеждать меня «сказать правду, а именно — кто заказал статью» и, наконец, вымолвил:

— Вы должны понимать, что я могу вызвать всех ваших знакомых и от кого-нибудь обязательно это узнаю...

Я усмехнулся внутренне: «Он что, не понимает, что после допроса я свяжусь со всеми знакомыми и предупрежу их?» — и вдруг до меня дошло, что он как раз отлично это понимает и, значит, предполагает, что домой я уже не вернусь и предупредить никого не смогу... Арест?

В голове мелькнула шутка, которой я потом дразнил гебистов. Раз они меня арестовали в день коммунистического субботника, по случаю дня рождения Ленина, то за мой арест казна платить им не станет. Сэкономили для государства... Бесплатно работаете, товарищи, угождаете другу Хейфецу. Я спросил Валерия Павловича, когда наши отношения наладились, почему они меня так долго держали за чтением Толстого. Он признался: не могли найти прокурора, чтоб он подписал постановление

об аресте. И я опять съехидничал: естественно, он же на субботнике, убирает территорию...

Когда в конце допроса он сообщил, что принято решение о моем задержании, я не выразил ни малейшего удивления, чем сильно разочаровал следователя... Он явно рассчитывал произвести большее впечатление!

Меня повели в следственный изолятор — место заключения лиц, задержанных или арестованных Ленинградским управлением КГБ.

* * *

Между зданием ГБ (Большим домом) и находящимся внутри него зданием следственной тюрьмы (бывшего царского ДПЗ) построен переход на уровне, кажется, второго этажа. Что-то вроде венецианского моста Вздохов, как определил Бродский, который тоже бродил тут с охранниками... В первый раз я не понял, куда они меня ведут, но, в отличие от Бродского, который растерялся, думая, что, наконец, выпускают, а его вели совсем в другую сторону, я уже понимал, куда ведут и, как ни странно, вполне успокоился. Валерий Павлович Карабанов, отправляя меня в тюрьму, сказал: «Когда у вас дети, надо о них больше думать», — но на деле тюрьма как раз сняла с моих плеч житейские заботы — где взять денег, как отдать долг, куда заплатить... Все! Теперь могу больше об этом не думать. Как здорово! Только чувствовал себя неловко, когда первый раз раздели догола для обыска при входе в тюрьму, не привык к такому, но чувствовал, что и проверяющим неловко (уж больно зло на меня смотрели), и успокоился. Даже интересным виделось — ведь столько раз описывал тюрьму и вот, наконец, могу ее осмотреть изнутри...

Провели в камеру. Она показалась довольно просторной для одного человека — кровать, тумбочка, «очко», умывальник... Ладно, думаю, можно отдохнуть, выспаться. Лампочку не погасили на ночь, но мне она совершенно не мешала спать ни тогда, ни позже. Уснул крепко.

Я не преувеличиваю, говоря о своем спокойствии в тюрьме. Совершенно забыл о болевшем недавно сердце,

не вспоминал о нем почти все четыре года заключения. Оно дало себя почувствовать незадолго до этапа. С заключением мне везло постоянно. Например, по опыту скажу, что по-настоящему трудное время в зоне — это зима, когда на обычный вечный тюремный голод накладывается зимний холод. Вот тогда на самом деле трудно! Но мне-то дали по приговору всего четыре лагерные зимы, из них первую я провел в следственной тюрьме КГБ, дожидаясь процесса Марамзина в роли свидетеля, а ведь в камере относительно тепло и работать не нужно. Словом — это не зона, а много-много легче. Вторую зиму провел в тюрьме Саранского ГБ. Меня дернули на так называемую профилактику, т. е. попытку перевоспитать для вербовки в стукачи. (Это обычно делают с «политиками» по достижении половины срока, у меня как раз в ту зиму исполнилась половина.) Третью зиму я снова провел в следственной тюрьме ГБ — уже по новому следствию (о нем речь впереди). Только четвертую отработал в зоне и вот тогда по-настоящему почувствовал зло, которого удавалось до тех пор избегать. Говорю ж, чистый везунчик!

На следующий день после ареста меня вызвали из камеры «с вещами», надзиратель приказал взять с собой постель. Ужасно трудно тащить тяжелую скатку в руках по коридору до другой камеры... Зачем перевели? Я не понял... Вскоре выяснилось: дверь с запертой «кормушкой» открылась, и ко мне ввели соседа, тоже со скаткой. Камера оказалась на двоих. Сосед назвался рабочим Юрой Васильевым, он распространял сочиняемые им самим листовки. Теперь Юра ждал суда.

У меня не возникало никаких подозрений по поводу Васильева, но... Зачем-то они меня переселили в другую камеру? Формально, как объяснил Юра, не положено подследственных держать в одиночке, это считается вроде пытки и запрещено законом. Все может быть, но почему ж не перевели меня в его камеру или, наоборот, его в мою? И зачем нас вывели из наших прежних камер и поселили в третьей? Это вызывало подозрения. Един-

ственное логичное объяснение — в новой камере есть подслушка. Они нас хотят слушать! Тем более что в этой камере (если память не обманывает, в 204-й) в углу стояла старинная белая голландская печка. В ней удобно спрятать микрофон. Короче, Юру я ни в чем не подозревал, относился к нему неплохо, но говорил только то, что мог бы сказать следователю — по моим расчетам, конечно...

Юра оказался эзком, намного более опытным, чем я, и задавал мне вопросы, которые я не понимал. Например, спрашивал: «А на пианино ты играл?» Я честно ответил, что нет. «Значит, дело у тебя несерьезное...» — очень уверенно сказал. Только потом я узнал, что «играть на пианино» — это когда берут отпечатки пальцев. У меня-то их, естественно, взяли и сфотографировали меня для личного дела тоже. Я просто не понял, о чем он спросил...

Мы просидели с Юрой весь активный период моего следствия. Я ему полностью доверял, но говорил иногда то, что *хотел* сказать, заманивая следователя в ловушку. И как оказалось, был прав. Юра уговаривал меня в конце следствия признать себя виновным и договориться с ними как-то... Практичный был совет, но мне не подходил. Потом его увели — я решил, что ему вынесли приговор и отправили в зону. Потом меня поселили с другим эзком, Георгием Ермаковым, писавшим анонимные письма протеста Брежневу. От него я узнал, что довольно долгое время после меня Юра сидел с ним в одной камере. Но и тогда я ничего не подозревал... Впервые всерьез засомневался в Юре, когда, прибыв в зону, узнал, что никто из эков-ветеранов не пересекался никогда с Юрой Васильевым. Окончательно убедился в Израиле, когда выяснил в Интернете, что политзэк с такой фамилией действительно был, но сел он задолго до меня, пожалуй, за несколько лет до 1974 года. Видимо, не выдержал давления и завербовался. Был возвращен в Ленинград, к семье, но время от времени выполнял поручения в камерах.

Так что довелось мне посидеть пару-тройку месяцев с «наседкой». Повезло, что переселили из моей прежней камеры и, таким образом, зародили во мне подозрение

относительно подслушки. Я допускаю, что в дополнение к Юриной «службе» подслушка в камере все равно имела. Органы доверяют сотрудникам, но проверяют их — и правильно делают.

Так началась цепочка моего везения в ГБ.

* * *

На первом же допросе объявили: мое дело № 15 за 1974 год, бригадир — следователь по особо важным делам майор госбезопасности Виталий Николаевич Рябчук. В соответствии с традиционной ролевой игрой он исполнял обязанности «злого» следователя, у него в подчинении было четыре человека: старший лейтенант Валерий Карабанов — следователь «добрый», лейтенант Алтух — этого я видел всего раз, и еще два офицера, с которыми меня даже не познакомили.

Одно из первых следственных действий — исключили мое участие в издании журнала «Вече» и, соответственно, вывели из дела обвиняемых — редактора В.Н. Осипова, проживавшего в г. Александрове Владимирской области, и ленинградцев Горячева и Бочарова. Кроме того, в моем деле значился журнал «Евреи в СССР». (Марамзин однажды пообещал, что мой опус, раз уж сам его не печатает, передаст в этот журнал.) По моему делу проходил его редактор, профессор физики Александр Воронель. В итоге его тоже исключили из моего дела.

Допросы почти всегда вел «добрый» следователь. Это был молодой человек, интеллигентный, красивый, отец двоих мальчиков, чьи фотографии лежали на столе под стеклом. В ГБ он пришел из прокуратуры и был, как однажды признался, очень доволен новой работой. («Здесь можно заниматься делом, выяснять причины, а в прокуратуре что? Убил тещу, за что — не помню!»)

Карабанов проявлял несомненный талант в работе: почти мистически угадывал настроение подследственного, понимал его внутренний мир. В первые дни он пытался убедить меня признаться, а однажды остановился сбоку, взгляделся и сказал:

— Слушайте, Михаил Рувимович, а вы и на самом деле считаете себя невиновным...

— Слава Богу, наконец, до вас дошло.

— Ладно, подумаю, что можно сделать, — и отправил меня обратно в камеру.

На следующем допросе сказал:

— Михаил Рувимович, как вы сами считаете себя невиновным, так я считаю вас виновным. И потому вам стоит встретиться с начальником следственного отдела Леонидом Ивановичем Барковым. Это особый человек — он не только практик, он еще ученый человек. Думается, он сумеет убедить вас, что мы имеем право предъявить вам обвинение. Вы согласны?

— Конечно.

И мы отправились к полковнику Баркову. Он был старше других следователей. В ссылке я наткнулся на его кандидатскую диссертацию о раскрытии военных преступлений в Прибалтике и понял, почему Карабанов представлял его мне как ученого. В разговоре со мной он журчал... Когда звонил телефон, он срывал трубку и рывкал: «У меня допрос!» — и опять рокотал: «Продолжим нашу беседу»...

Этот допрос оказался для меня важным событием. Во-первых, полковник действительно доказал, что у них были основания меня арестовать. Ибо, по их определению, «пропагандой считается распространение запрещенного материала хотя бы среди двух человек». Рецензия Эткинда доказывала, что он познакомился с моей статьей — вот первый человек. Из обыска у Марамзина они узнали, кто заказал мне статью — это второй. Так что мне предложили отбиваться с каких-то новых позиций.

Кроме того, я выяснил лично для себя несколько важных вещей.

Первое. В ГБ ничего не знают о моем самиздатском кооперативе. Они всерьез верят, что я действительно покупал материалы на некоем рынке рукописей.

Второе. Барков признался, что у них давно имелась ксерокопия моего опуса. Интересно, кто же передал им мое сочинение?

Третье. Во время беседы в какой-то связи возникло слово *заграница*. Я решил по ходу дела проверить одно свое предположение.

— Вы же знаете, Леонид Иванович, что я был против вмешательства заграницы в нашу ситуацию?

Он важно и удовлетворенно кивнул.

— Да, мы это знаем...

Это прозвучало очень серьезно.

Мне вспомнилась интересная беседа во дворе нашего дома.

Однажды я встретил приятеля Валеру. Он вдруг завел со мной странный разговор.

— Миша, у меня есть близкая знакомая. Она жена важного офицера из КГБ. У них сейчас много говорят о ваших с Володией обысках — и очень разочарованы результатами. Ничего важного не нашли. И он сказал ей, что в ГБ хотят, но не могут прекратить дело, потому что о нем узнали за границей. Вот если бы все стихло, они могли бы его прикрыть.

Разумеется, я ни на секунду не поверил, что офицер КГБ может вести разговоры о деле дома с женой. Поверить в подобную чушь — значило посчитать себя полным идиотом. Но я допускал, что у Валеры есть любовница, как-то связанная с ГБ. Они, используя эту связь втемную, через него передают мне послание: мол, не поднимай шума, все может обойтись...

Я ответил Валере:

— Мы вчера встречались с Марамзиным, и я ему сказал, что возражаю против любого шума за границей.

Он удовлетворенно кивнул. Мы расстались. И теперь Леонид Иванович подтвердил, что ГБ в курсе того, что я говорил Валере с глазу на глаз.

Секрет той беседы заключался в том, что на самом деле я говорил Марамзину прямо противоположное: «Поднимай шум, и как можно больший». Валере же я солгал — для ГБ. И сейчас этот обман, выгодный мне, т. е. заведомо не придуманный в органах, полковник подтвердил. Такое открытие явно стоило проверки, это я понимал...

Итак, для Карабанова следствие, наконец, сдвинулось с мертвой точки: я признал его право меня допрашивать. Допросы проходили следующим образом. Валерий Павлович упоминал косвенные свидетельства того, с кем именно я обсуждал свою статью. Если я убеждался, что он точно знает про кого-то и что-то, то подтверждал его информацию.

Почему я так поступал? Разве не понимал, что врежу себе и приношу пользу ГБ?

Боря Стругацкий однажды сказал, что он лично не в претензии ко мне за то, что я назвал имена (его и Адочки) на допросах, потому что... «откуда я знаю, в каких обстоятельствах Миша это сделал!». Возможно, Боря подразумевал, что меня могли бить или пытаться, и я не выдержал.... Бродского действительно били, хотя и за несколько лет до этого, и не в ГБ, а в милиции — как Иосиф выразился, «довольно сильно, между прочим. Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне». Такое же могло случиться и со мной, и я мысленно оценивал такую возможность. Но думается, в случае побоев я ничего не сказал бы. Как и Бродский — он же выдержал! Во всяком случае, так я ощущал себя в то время. Перетерпеть вежливые, логичные допросы Карабанова и удержать себя в рамках оказалось намного труднее.

Вот логическая канва работы со мной следователя.

Михаил Рувимович, вы сами видите, я многое знаю. И спрашиваю вас только о людях, про которых знаю без ваших признаний. Я их, конечно, всех вызову и допрошу. Но если у меня не будет ваших показаний, они замкнутся: мол, знать не знаем, ведать не ведаем... И я их отпущу домой. Мне нечего будет предъявить в суде, так как оперативную информацию представлять я не имею права. [Так я узнал этот термин — «оперативная информация». — М.Х.] Но затем я сообщу, что эти люди солгали следствию, по месту их работ. А как иначе? Сообщу, что они — недобросовестные свидетели... Я не пытаюсь добиться от них ложных показаний, вы сами видите, а

хочу только подтверждения того, что случилось на самом деле. И у этих людей неизбежно возникнут неприятности, особенно в ситуации, когда они работают по договорам (а ведь литераторы работают по договорам, не так ли?). А почему я должен их жалеть? Они мешают мне в моей работе, и я имею право в такой ситуации мешать им в их работе... Подумайте об этом, Михаил Рувимович! Их показания вам по сути не смогут навредить. Ведь Леонид Иванович доказал, что для суда достаточно двух свидетелей, а они у нас есть — Марамзин и Эткинд. Но для ваших друзей и знакомых, их литературной судьбы ваше молчание может обернуться очень тяжело.

...Украинский поэт Василь Стус называл эту методику паразитированием на нашей порядочности. Видимо, Василя пытались расколоть таким же способом. Выбиться из тисков казалось невозможным, ибо твоим знакомым, виновным лишь в том, что по твоей просьбе они прочитали твое сочинение, грозил конец их литературной деятельности. Я представлял допрос свидетеля: его вызывают, он запирается, тогда ему показывают отрывок из моих показаний. И он вынужден подтвердить мои показания, т. е. его показания целиком зависят от того, что скажу я. Это давало мне отличную возможность спасти всех от обстрела ГБ: в конце концов, Карабанов знал лишь о факте нашей встречи, о знакомстве свидетеля с рукописью, но не подробности обсуждений. И я неизменно показывал в протоколе, какой *отпор* давали мои знакомые, как они советовали несмышленому антисоветчику немедленно покончить с делом и прочее. Карабанова, к слову, такие показания не смущали, он их аккуратно записывал. Они доказывали начальству именно то, что шефам хотелось услышать, — какой хороший советский народ в своей массе и какой монстр этот Хейфец, попавший в его состав!

Конечно, словесное фехтование не могло идти успешно во всегда и только в одну сторону: иногда выигрывал Карабанов. Например, он расколол меня в том, что мою статью читала писательница Маша Рольникайте, о кото-

рой он, оказывается, ничего не знал... В другой раз уже он крупно проговорился:

— Михаил Рувимович, нас интересуют все подробности про Эткинда и Марамзина. Остальные свидетели не так важны.

Так я осознал, что моим знакомым ничего серьезного не грозит, но вот Эткинда и Марамзина, видимо, намерено выделить мне в подельники, т. е. приобщить в качестве подсудимых по тому же делу. Так прояснилась для меня главная линия в моих показаниях.

Да, я написал антисоветскую статью, признаю; да, я показал ее Марамзину и Эткинду. Но оба ее забраковали. Марамзин потребовал переделать, избавив от политики, Эткинд указал на ошибки («не Чехословакия, а Венгрия»). Конечно, профессор критиковал меня не так, как это сделали бы в райкоме партии, но — раскритиковал. Я не сумел исправить указанные им промахи и отложил статью в архив, полностью отказавшись от публикации. Выражаясь юридическим языком, Эткинд и Марамзин *помешали* мне совершить уголовно наказуемое преступление. Оба в этом случае куда как хороши перед законом, но ведь и я неплох: послушался, отказался от совершения преступления — до того, как о нем узнали органы ГБ; следовательно, я с точки зрения закона невиновен. (Не случайно же я съездил к Вилинбахову ознакомиться с Уголовным кодексом!)

Во всяком случае, самым важным казалось тогда остаться одному — без группы. Кстати, я догадывался, что группа отягчает в суде любое деяние...

Другая ошибка Валерия Павловича, с его точки зрения, оказалась значительнее, но он не догадался. Уже в конце следствия начал отрабатывать список свидетелей:

— Значит, так. Сначала — был Марамзин, потом Емельянов, потом В.

И тут меня прошибло. Откуда он знает, что Емельянов видел рукопись раньше Валеры? Это мог знать только я, но следствию этого не сообщал — уже хотя бы потому что сам забыл, в какой очередности показывал рукопись...

И я вдруг вспомнил, что когда получал рукопись от Валеры, у него был странный, смущенно-виноватый вид. И он говорил мне, что не надо бы этого писать...

И я брякнул:

— Да и Ленька Емельянов то же самое сказал...

То есть Валера знал, что Леня Емельянов читал рукопись до него. Сам-то Емельянов этого не знал... Только мы с Валерой, и теперь вот еще — следовательно.

Карабанов тут же почувствовал мое замешательство.

— Что с вами, Михаил Рувимович? Что случилось?

Я решил сыграть — прощупать его еще раз.

— Ничего особенного, Валерий Павлович. Просто вычисляю вашего информатора.

— И кого же смогли вычислить?

— Валеру...

— Ну, что вы, Михаил Рувимович. Он вас так защищал на допросе...

Вот и попался следовательно. По всем законам логики он должен был набрасывать тень подозрения на Валеру, если бы я ошибался. Но защищать невиновного — нет, ни в коем случае. Это не входило в его служебные обязанности... Но в растерянности он не сообразил, какую я веду игру.

... Мне вспомнилось, как в новогоднюю ночь мы сидели вдвоем с женой, никуда решили не ходить. Вдруг раздался звонок, и я увидел, по выражению поэтессы Лены Игнатовой, «существо, которое украло месяц в ночь перед Рождеством». Валера явился к нам в гости именно в таком виде. Проводив его, я сказал Рае:

— Знаешь, если среди наших знакомых есть стукач, так это Валерка...

И не ошибся.

Теперь передо мной встала важная задача — как передать друзьям весточку, кто на нас стучит.

А Валерий Павлович заговорил со мной о давнем письме к Пименову. Я уж и забыл о нем...

— Напишите, Михаил Рувимович, почему вы считаете покушение на Ленина неудачей Дзержинского?

Что ж, мне это было нетрудно и неважно. Дали бумагу, ручку, и я изложил свое видение ситуации 1918 года. Кажется, мое изложение сильно огорчило следователя, но я ему ничем помочь не мог. Все было именно так. Секретов я не знал, знать не мог: в архивы меня, естественно, не пускали, и самый поздний документ, который мне выдали на руки в архиве, — дело о заговоре на флоте в 1912 году. Но когда я читал в Публичке старые историко-революционные журналы, мне попался в журнале «Пролетарская революция» за 1922 год отчет о процессе «правых эсеров», проходившем в Москве.

Стенограмма оказалась невероятно интересным чтением. Все подсудимые делились на две четко обозначенные группы — члены ЦК партии эсеров и члены ее боевой группы. Суть конфликта в среде обвиняемых сводилась к тому, что главным и самым важным пунктом обвинения в адрес революционной партии считалось покушение на Ленина, совершенное Каплан в 1918 году. Так вот, члены эсеровского ЦК твердо отстаивали тезис, что они категорически *возражали* против покушения, потому что оно развязывало «красный террор» против их партии и могло способствовать ее разгрому. Члены боевой группы, добровольно явившиеся в Советскую Россию из эмиграции, чтобы «принять приговор трудового народа», обвиняли бывших руководителей и вождей в покушении на убийство... Естественно, суд признал вождей партии виновными и приговорил всех «к высшей мере социальной защиты» — расстрелу. Это нормально в любой стране — смертная казнь за покушение на главу правительства. Но после вынесения приговора суд сам обратился в высший государственный орган страны — ВЦИК — с просьбой заменить смертную казнь боевикам, обвиненным в реальной попытке убить вождя революции (в Ленина попало две пули!), на... немедленное освобождение из-под стражи.

Я понимал, что советская власть гуманна и милосердна, особенно в дни «красного террора», но не до такой же безумной степени... Поэтому пришел к логично вы-

текавшему из приговора выводу: боевики из эсеровской группы состояли на службе в ВЧК и выполняли ее приказ. Тогда им велели стрелять в Ленина, потом явиться на суд и обвинить в покушении членов эсеровского ЦК, потом вернуться на службу в ОГПУ и продолжать воевать на боевых постах. Глава боевой группы, тот самый Семенов, который привел Каплан на место покушения, по моим сведениям, погиб в 1937 году с формулировкой «покушение на товарища Сталина» в чине комкора РККА!

Я пишу для читателей в СНГ, поэтому следует оговорить одно обстоятельство, которое может показаться невероятным. Сейчас эти исторические штучки широко известны, они никого не шокируют, но в 70-е годы даже слух о возможном участии органов ВЧК в убийстве Ленина выглядел сокрушением основ и потрясением общества. Главным заговорщиком нынешние сенсационщики называют Свердлова, формального президента страны, но для меня их версия более чем сомнительна. У Свердлова не было ни политических, ни персональных стимулов удалять Ленина от власти. Он, провинциал-организатор, целиком обязан был своим восхождением исключительно благоволению Ленина и после ухода вождя не имел шансов соперничать за лидерство ни с Зиновьевым — среди старых большевиков, ни с Троцким — в массах партийно-государственных органов.

Иное дело — Дзержинский, лично был слабо связан с Лениным (будучи выходцем из социал-демократов Польши и Литвы), а политически возглавлял фракцию «левых коммунистов» (вместе с Бухариным), выступавшую против Брестского мира, против Ленина. И главное — глава разведки и контрразведки Советов распоряжался архивами спецслужб Временного правительства, содержащими информацию о связях Ленина с германскими спецслужбами. Ленин получал от Германии миллионы марок золотом, и Дзержинский формально имел основания предполагать, что вождь революции отработывает германские деньги, отдавая Германии за золото и власть треть европейской части Российской империи. Дзер-

жинский мог считать Ленина предателем революции и нанять убийц именно для ее спасения. Конечно, глава ВЧК ошибался: Ленин лучше любого политика в России предвидел исход войны и вел игру сильнее и интереснее, чем кто бы то ни было в мире. Когда Дзержинский, наконец, осознал силу и мощь Ленина-политика (после денонсации Бреста), он превратился в самого верного из ленинских генералов. Даже если Ленин подозревал относительно покушения на себя и о роли главы ВЧК в этом деле, он простил соратника — таково было свойство его характера, этим он принципиально отличался от Сталина.

Во всяком случае, именно это я изложил на бумаге в камере в присутствии Юры Васильева.

* * *

Следствие весьма интересовал так называемый еврейский вопрос. Карабанов не раз спрашивал меня, в чем причина моих антисоветских наклонностей. Что в моей душе появилось из-за дискриминации меня как еврея? И каждый раз я честно отвергал гебистский вариант своего взросления. Да, говорил я, конечно, меня не раз подвергали «чистке» как еврея, но, Валерий Павлович, если бы я был русским человеком, все равно не переносил бы вашу советскую власть.

...Только, пожалуйста, читатель, не надо видеть во мне героя, бесстрашного смельчака, дерзившего гебистам от избытка мужества. Мое поведение являлось результатом совершенно сознательного расчета, сознательной тактики в ситуации, какую я выбрал для своей же пользы. Я понимал, что бессмысленно отрицать мои антисоветские настроения — у них в руках статья, в которой мои убеждения довольно внятно зафиксированы. Важным представлялось иное — отвлечь их от более опасного для меня пункта — от распространения самиздата среди знакомых, чтоб не пострадали люди. Вот это действительно виделось проблемой! Сколько бы я ни прикидывался перед следователем временно заблуждающимся,

отрицание ни мне, ни кому другому не поможет, просто сложится работа следователя со мной, притворяющимся советским человеком, перед ним встанет профессиональная задача — сорвать с меня маску, расколоть, заставить признаться и прочее. А если я честно признаю себя антисоветчиком, задача ГБ упростится: незачем тогда бригаде Рябчука стараться и углубляться в дело, вызывать кого-то, допрашивать, тратя время и силы, когда вот он, обвиняемый Хейфец, сам все про себя рассказывает. Я сознательно разыгрывал откровенного простака, чтобы ослабить интерес к своей личности.

Кроме того, мне не хотелось подтаскивать «еврейский вопрос» к антисоветскому делу. С евреев вполне хватало неприязни «товарищей», чтобы я кого-то убеждал, что нормально развивающийся еврей должен непременно стать антисоветчиком. Поэтому я всячески отбивался от еврейских пунктов.

В моей жизни был случай, когда я чуть было не ввязался в сионистские дела. Мишель Гурвич вызвал меня однажды в синагогу, где познакомил с «большим человеком» в сионизме. Он приказал какому-то еврейскому активисту сопровождать нас во время прогулки, следуя сзади, дабы пресекать «хвост». По-моему, более простого способа обеспечить себе «хвост» придумать трудно, и я даже стал подозревать «большого человека» в провокации... Он предложил мне написать книгу об исходе евреев из СССР — героическую сагу, нечто наподобие йеменского исхода (я про йеменский исход услышал тогда впервые!). Но я отказался, ибо умею изображать только то, что вижу и знаю. Если увижу героизм, то, конечно, опишу, а если нет — извините. Я и за гонорар старался не врать и не выдумывать, а уж бесплатно тем более не стану опошлять профессию. Так мы и разошлись, явно недовольные друг другом ...

Короче, мне удалось отбиться от еврейских пунктов, желательных ГБ. (Если бы я знал, как они помогли бы мне потом, в Израиле!) Вдруг пришла в голову идея: а почему бы в самом деле не использовать удивительно благопри-

ятное обстоятельство, что я — еврей? И решил написать заявление на имя Андропова. Так, мол, и так, уважаемый Юрий Владимирович. Вижу, что у следователей нет оснований привлекать меня к суду — нет улик. Поэтому прошу разрешить выехать с семьей на историческую родину, в государство Израиль. (К счастью, я был уверен, что моя русская жена не откажется от этого путешествия и ее сильное желание покинуть ее историческую родину будет, наконец, удовлетворено.) Заканчивалось письмо примерно так: «Я всегда хотел быть законопослушным советским гражданином. Видимо, у меня это не получается. Надеюсь, что смогу стать полезным гражданином Израиля».

К моему изумлению, письмо вызвало панику в Управлении КГБ. Тогда я совершенно не понимал причину волнений... Ну, выпустит или не выпустит меня Андропов — им-то что? Я не знал простую истину: любые жалобы в любые инстанции подшиваются к моему делу и никуда из ГБ не отправляются. (Это объяснил мне мой адвокат Зеркин потом как нечто само собой разумеющееся.) Единственное исключение — заявления и жалобы начальству КГБ. Вот их обязательно отправляли по адресу! И если б мое письмо ушло по адресу, то решение по делу принимала бы Москва... Ленинградские управленцы вовсе не хотели отдавать Москве «их» дело, за которое надеялись получить чины и прочие поощрения.

Новое «писательское» дело не слишком устраивало московское начальство. Выдворив Солженицына (это произошло совсем незадолго до моего ареста, в феврале 74-го), они хотели показать литераторам, что хотя их вынудили сделать это, остальные писаки пусть не надеются на такой же исход. И самые активные местные УВД поспешно вязались в желанную схватку: в Киеве обыскали Виктора Некрасова, в Ленинграде главной целью служил вовсе не безвестный Хейфец, которому три с лишним года они ставили препоны на путях к публике, и даже не Марамзин, с которым вели «профилактическую» работу (он описал ее в великолепном рассказе

«Тянитолкай»), а Эткинд. Тогда я просто не знал, что он был к близким другом Солженицына, помогал ему отпечатать «Архипелаг ГУЛАГ», что машинистка Воронянская, арестованная органами, призналась, что один экземпляр рукописи скрывает Эткинд. (Много лет спустя Маша Эткинд рассказала мне, что «ГУЛАГ» они прятали закопанным на даче!) Да, Солжа вытолкали, но вот тех, кто ему помогал... Эткинд, я думаю, считался первым из солженицынцев, на кого точили в Питере зубы. Майор Рябчук хвастливо говорил кому-то из моих близких — не то жене, не то Маше Эткинд:

— После моих допросов люди вешаются.

Солженицынская машинистка, вернувшись домой из ГБ, повесилась... и Рябчук успехом явно гордился!

С другой стороны, опыт процесса Синявского и Даниэля вразумил московское начальство: уж если открывают процесс против писателя, дело должно вестись добросовестно, иначе возникнет большой скандал. Поэтому письмо к Андропову с намеком, что в Питере нет доказательств моей виновности, могло активизировать внимание Москвы, организовать проверку...

Барков вызвал меня к себе и стал уговаривать забрать письмо к Андропову. Мне и самому не сильно хотелось уезжать — что я буду делать в Израиле? Когда-то Наташа Магазионер-Радовская в ответ на мой вопрос сказала прямо: «Ты-то сам, может, действительно никому там не нужен. Но нужны твои гены!» Спасибо большое за гены... Но конкретно себя я ценил значительно выше своих генов.

Юра Васильев тоже дал хороший совет: «Если они хотят от тебя чего-то получить, проси в обмен то, что тебе нужно». И я ответил Баркову:

— Хорошо, не отправляйте мое письмо Андропову. Но взамен дайте свидание с женой.

— Вы его получите.

Помнится, тянул он со свиданием долго — до конца следствия. Наконец, Карабанов объявил:

— Сегодня у вас будет свидание.

— Как она, Валерий Павлович?

— Нормально, но... поседела.

Три месяца назад я оставил дома темноволосую женщину, сейчас увидел абсолютно седую! Увидела меня, заплакала...

— У тебя выбиты зубы.

Понимаю, что у нее, видимо, роились в голове примерно те же идеи, что у Бори Стругацкого, — насчет избиений. Но меня никто пальцем не тронул — даже уголовники не посмели. Как-то умел я себя поставить! А зуб сломался от... колбасы. По тюремным правилам для арестованных разрешали передавать только сырокопченую колбасу. Наверно, потому, что ее в магазинах совершенно немыслимо было купить! Чтоб семьям труднее пришлось... А возможно, правила писали тогда, когда холодильников ни в домах, ни тем более в тюрьмах не было, и разрешали передавать колбасу, которую можно было сохранить в тепле. Но, во-первых, я сырокопченую никогда не любил (и не люблю), а во-вторых, она была невероятно жесткой, и я-таки сломал об нее передний зуб.

Успокоив Раю, постарался завести житейский разговор, заодно и прошупал еще раз Валерия Павловича.

— Вот, Валерий Павлович, спросите мою жену, кого я называл ей стукачом в моем окружении. Задолго до ареста... Проверьте сами...

— Михаил Рувимович, прекратите эти разговоры, — врезал он, еще раз укрепив мои подозрения.

(Мы попрощались. Вежливый Карабанов довел Раю до дверей КГБ и даже вышел за двери, заговорившись, а часовой его обратно в здание не пустил: пропуск-то остался внутри. Видать, блюстители порядка любят поиздеваться даже над своими коллегами. Таков, можно сказать, интимный характер работы.)

В конце следствия меня почему-то вызвал на допрос «злой» следователь — майор Рябчук.

(Это с него Борис Стругацкий писал гебиста в «За миллиард лет...». Хотя сам Боря сообщил мне, что Рябчук был прототипом следователя не в этом романе, а в «По-

иске предназначения». В конце 80-х Борис видел Рябчука по ТВ. Он был вальяжен, безукоризненно авторитетен — кандидат юридических наук, давал солидные рекомендации по вопросам права. Детали не запомнились, но о диссидентах ни слова, разумеется.)

Что же ему требовалось выяснить? Вызвал не с утра, как обычно делал Карабанов, а в середине дня.

Рябчук стал называть какие-то фамилии.

— Шифферса знаете?

— Конечно. Вице-чемпион России по шахматам, второй после мастера Петрова, очень приличный игрок, вплоть до эпохи Чигорина...

— Нет, я имею в виду Шифферса с «Ленфильма».

— Нет, такого не знаю.

— А такого-то знаете...

— Нет, не знаю.

Он быстро записывал ответы. Наконец спросил:

— Целкова знаете?

— Нет...

— Подумайте еще раз... Художника Целкова!

— Не знаю я никакого Целкова.

— Художника Целкова!

— Не знаю такого...

Он вперил в меня глаза и ничего в протоколе не пишет. Ждет, когда же я вспомню.

Приходится вспоминать!

— Да нет, точно не знаю. Совсем недавно кто-то тоже меня про Целкова спрашивал, я так и ответил: не знаю.

Явно понравился мой ответ: вздохнул с облегчением и записал. Допрос подходил к концу. Я решил позабавить следователя анекдотом.

— Виталий Николаевич, есть такой еврейский анекдот, как Рабинович с Хаймовичем идут мимо НКВД и видят надпись: «Посторонним вход воспрещен». Рабинович замечает: «Они, наверно, думают, что если написать “Добро пожаловать!”», к ним будет очередь стоять...»

Не понравился майору мой анекдот. А я вставляю дополнительную шпильку:

— А знаете, почему я вспомнил? Мое первое впечатление от КГБ: вводят меня в здание и бросается в глаза надпись на дверях «Посторонним вход воспрещен!». Смешно, правда?

Вернувшись в камеру (я сидел уже один!), начал мучительно вспоминать, кто ж меня спрашивал про Целкова. Ведь кто-то очень им интересовался, почти как сегодня майор Рябчук! И вспомнил... За несколько дней до ареста моим знакомством с этим живописцем был взволнован Валера. И не был ли сегодняшний вопрос про Целкова, подумал я, контролкой — проверкой того, насколько добросовестно информатор выполнял поручения босса? Убедился майор, что выполняет, — и успокоился...

* * *

Читатель, возможно, помнит, что я договорился с Ефимом Эткиндром относительно того, что я передавал рукопись для чтения напрямую, а не через Машу, как было на самом деле. Так и показал на допросе. Но показания никак не устраивали Валерия Павловича.

— Михаил Рувимович, — говорил он настойчиво, — я совершенно точно знаю, что вы передали рукопись не прямо, а через Марию Ефимовну. И ваше упорство в этом вопросе меня удивляет. Обычно, когда вы убеждались в том, что я нечто твердо знаю по оперативным данным, вы не спорили и шли мне навстречу. Почему же сейчас упираетесь? Что вас в этом эпизоде смущает?

— Хорошо, — сдался я. — Попробую объяснить. Представим на минуту, что вы правы. В этом случае ни Ефиму Григорьевичу, ни мне ничего нового не угрожает. Но Марии Ефимовне вы сможете предъявить 70-ю — за хранение и распространение...

— Ах, вот оно что? Но, поймите, никто в Управлении не заинтересован, чтобы рядом с вами на скамье подсудимых оказалась женщина с грудным ребенком. Однако и завершить следствие, когда возникает столь явное противоречие оперданых с вашими показаниями, невозможно... Михаил Рувимович, вы хотите помочь Эткиндам?

— Конечно. Очень хочу.

— Так вот: им разрешили уехать в Париж. Но пока не кончится суд, они не могут этого сделать. Будут сидеть на чемоданах.

— Не уговаривайте, Валерий Павлович, не пройдет!

— А что, если мы сделаем так, — задумчиво произнес Карабанов (что значит, в отличие от меня, человек знал практику правосудия). — Мария Ефимовна получила вашу статью от вас, но читать ее не стала. Зачем ей читать — у нее же грудной ребенок. Статья про поэзию. Вот она и передала ее напрямую отцу. В этом случае она ни в чем не виновата: она же не знала содержания статьи...

— Над этим можно подумать...

И мне устроили очную ставку с Машей, которая придерживалась нашей прежней с Ефимом позиции. Маша оказалась большой умницей. Сходу усекла, что от нее требует следствие. «Конечно, я не читала статью — у меня же грудной ребенок». Говорила так убедительно, что мне показалось, что следователь ей поверил, будто не он придумал эту версию.

Когда очная ставка закончилась, Карабанов сел оформлять протокол, а нам разрешил поговорить. Разумеется, погруженный якобы в текст, он держал ушки на макушке — не проговорятся ли интеллигенты о чем-то секретном или важном, думая, что он их не слушает?

Но разговор шел о бытовых проблемах.

— Как в доме?

— Все в порядке.

— Как Коля?

— В экспедиции, как обычно.

— Как Марина?

— Работает.

— Как Валера?

— Уехал в Париж.

— *Гонорар* получил?

— Да.

Следователь не мог ничего *услышать*. Потому что, задав вопрос про гонорар, я изо всех сил давил себя в грудь пальцем. Машка кивнула.

Главное я сделал, информацию своим передал. Разумеется, далеко не все поверят (не поверила даже моя жена), но в писателях-то я уверен: никто в доме при Валере язык распускать не станет.

* * *

Хотелось бы написать о тюремном быте. Бродскому ярче прочего запомнилось в камере Большого дома «окно, сквозь которое вы ничего не можете увидеть. Потому что там, кроме, как полагается, решетки, еще снаружи намордник. Сразу объясняю: это такой деревянный футляр, чтобы вы не могли высунуться, скорчить кому-нибудь рожу или помахать рукой. И вообще, чтоб вам было максимально неприятно». (Официальное название намордника — жалюзи.) В этой тюрьме имелся ориентир, чтоб определять, где именно окно твоей камеры. Во дворе размещался круглый огороженный забор, разделенный на секторы. В секторах мы гуляли покамерно, а охранники стояли в центре круга и наблюдали сразу за всеми. На фасаде тюрьмы имелось одно окно без намордника, с одной решеткой. Это камера № 193, где в XIX веке содержали Ленина, именно там он писал молоком (неслыханная роскошь для советской тюрьмы) знаменитые сочинения... Вот ее и сохранили, какой она стояла при царе. Все в соответствии с исторической правдой! Отсчитываешь от 193 до 204 — и знаешь, где твое окно. «Между прочим, — заметил Бродский Волкову, — моя камера находилась над ленинской... Когда меня вели, то сказали, чтоб я в ту сторону не смотрел... Мне разъяснили, что вот в той камере сидел сам Ленин, и мне в качестве врага смотреть на это совершенно не полагается». Шутник в охране попался! Никому не запрещалось смотреть в сторону ленинской камеры, точно такой же, кстати, как и все остальные. Я даже пошутил со следователем, что в вознаграждение за хорошее поведение на допросах мне положено поощре-

ние — экскурсия в камеру Ленина. Проходя мимо, не раз вспоминал притчу о вожде революции:

— Молодой человек, куда вы лезете, ведь перед вами стена!

— Стена, да гнилая — ткни и развалится.

Фраза, конечно, очень пригодилась бы для самоутешения, но я не догадывался, до какого маразма стена все-таки прогнила...

С первой ночи решил, что раз уж мне подарили так много свободного времени, плюс никуда, кроме как на прогулку, выходить не требуется, посвящу-ка я его самообразованию. Стоит почитать то, что давно намечено, да руки не доходили, — толстые и ученые тома. Про то, что библиотека в Большом доме хорошая, говорили на воле, составлена из конфиската в старых интеллигентных семьях... Главным же ее богатством, как я убедился, служила безграмотность библиотекарей: они вербовались из уголовников, почему-либо попавших в тюрьму ГБ, либо из надзирателей, не отличавшихся от уголовников грамотностью, поэтому выдавали все, что просишь, если оно имелось в наличии. Выдавали книги раз в неделю, и я заказывал самые ученые тома, чтобы возможно дольше было что-то почитать. Помню, начал с давно намеченных историков — на воле-то я штудировал Соловьева, Ключевского, оказавшего на меня огромное воздействие, а в тюрьме добрался до большевиков — начал с Рожкова и Покровского. Покровский показался, конечно, безумцем в его революционном стремлении переписать историю России, но одновременно и ярким, талантливым человеком. Типичное дитя русской революции! Неслучайно Сталин начал свои идеологемские поиски с нападок именно на учеников покойного академика. Как обычно, вождь оказался политически прав. Революцию требовалось истреблять начиная именно с этого пункта. Действо выглядело особенно элегантно — заодно приобретались многочисленные симпатии в ученой и общественной среде. Все-таки вождь народов оказался искуснейшим политиком России 30-х годов, как и Гитлер — несомнен-

но лучшим практическим политиком Веймарской Германии.

Потом я взял «Философию истории» Гегеля — давно мечтал ее одолеть. Но книга разочаровала. А после суда, когда я сидел в качестве свидетеля по делу Марамзина, догадался попросить у библиотекаря Малую советскую энциклопедию — десятитомник 1930 года издания. Там я обнаружил много неизвестной мне информации. И время за энциклопедией летело отлично! Для меня чтение вообще оказалось привычным занятием, но когда в январе 1975 года вызвали на новый допрос к Карабанову, чтоб познакомить с заявлением Володи Марамзина, и спросили: «Как вам живется в камере?», я ответил (не без кокетства): «Да вот, всю энциклопедию прочитал», — и увидел совершенно потрясенные лица гебистов.

Можете спросить: почему я не опасался ГБ (если говорить честно, так и вовсе не боялся)? С момента ареста я воспринимал все происходящее со мной как этакую творческую командировку, какие обязательны для писателя. Тамиздат был слабо распространен, и я не подозревал, как плотно и многократно лагерный мир описан в мировой документалистике. В голову не приходило! Об «Архипелаге ГУЛАГ» я слышал одно лишь название... и обдумывал в тюрьме свою будущую книгу. Как я ее напишу! Как они ее будут читать, как повертятся! Так что, по моему ощущению, это они должны были меня бояться...

Когда — только в самом конце следствия — я начал догадываться, что мне планируют приличный срок, не удержался и решил припугнуть ГБ. Дурачок все-таки был! Помню один из последних визитов к начальству. Рябчук и Карабанов сидели в кабинете и тут же мужик — пожилой, мощный на вид (потом я узнал, что зэки дали ему кличку Шкаф). Мне представили его: прокурор Пономарев. Он медленно знакомился с обвинительным заключением, а мы с гебистами трепались — чем-то надо же было заняться. Я спросил:

— Мужики, а вы не боитесь? Ведь все, что увижу, — опишу.

Их это ужасно развеселило. Рябчук сказал:

— Да, такие случаи бывают на самом деле. Вот, помните, Михаил Рувимович, было такое «самолетное дело»! Там главным обвиняемым шел некий Эдуард Кузнецов. Так он неведомо каким образом написал книжку в камере и передал рукопись на волю. Напечатали ее в Париже. Там наш уважаемый прокурор, — кивнул в его сторону, — одно из действующих лиц. Как книжка называлась?

Прокурор на секунду оторвался от бумаги и глухо буркнул:

— «Дневники».

Гебистам явно доставляло удовольствие, что прокурор описан в «Дневниках» Кузнецова, — они не любили Шкафа, как всякое начальство не любят люди из его аппарата. А у меня в мозгу мелькнуло: значит, необязательно ждать конца срока. Значит, можно и раньше попробовать.

Впрочем, они не пропустили мое заявление мимо ушей, только истолковали неправильно. Они, видимо, решили, что я им намекаю, что могу написать книгу, полезную для органов, т. е. как бы начинаю с ними некую торговлю. Что ж, товарищи были готовы поторговаться. Меня часто обыскивали в тюрьме: во время прогулок осматривали мою камеру... И Карабанов намекал... Увы, я задумал книгу прямо противоположного содержания, чем виделось товарищам...

С Карабановым мне было интересно общаться: как один из персонажей будущей книги, он мыслился умным, тонким профессионалом. Я всегда ценил это в людях, а он ценил меня как объект своих действий и явно симпатизировал. Мы не раз спорили о политических проблемах, например об агрессии в Чехословакии... И я понял важную для себя вещь. У Витицкого в «Поиске предназначения» главный персонаж более всего приходит в ярость и негодование от всеобщей лжи. Ведь просто жить интеллигенту как-то можно, можно нормально существовать, когда все в относительном порядке, если бы не ложь! Трясина всеохватывающей лжи! Борин персо-

наж упустил один первостепенный момент: нас окружала не просто ложь, но ложь примитивная, которая обнаруживалась даже в газетах, если их внимательно читать. Стало привычным читать газеты и находить вранье и противоречия с этим враньем. Теперь же я понял, что гебистам точно так же дураят мозги непрерывной ложью, но более высокого уровня. Их обманывали более искусно, чем нас всех. Если они сравнивали свою информацию с общепринятой, то понимали свое положение как особо доверенных людей партии, которым власть раскрывает — только им одним, а не серой массе — свои секреты. Хотя эти секреты на деле были такой же ложью, как все остальное, только более искусно скомпонованной. Карабанов пытался со мной спорить, опираясь на «секретную информацию». Когда же я ее опрокидывал — иногда не без труда — он вскакивал со стула и бегал по кабинету из угла в угол. Трудно ему со мной приходилось! Но и интересно. Только симпатией я могу объяснить появление в моем обвинительном заключении удивительной фразы: «Хейфец М.Р. активно содействовал следствию в раскрытии истины по делу». Сначала я радовался: выходит, обдурил Валерия Павловича, убедил в своей откровенности. Потом, побывав в зоне и почитав приговоры людей, расколовшихся на суде, я понял: нет, это лично Карабанов настоял, чтобы суду дали сигнал от ГБ осудить меня помягче. И когда на последнем допросе я отказался признать себя виновным, он только вздохнул и сказал мне вполне сочувственно:

— Вы не знаете практики, Михаил Рувимович...

Я тогда его не понял, а ведь это значило одно — «больше я ничего не могу для вас сделать».

Практики я действительно не знал. Это скоро было доказано.

* * *

При всей своей наивности я понимал, что ни один советский суд не решает политические дела. Этим занимается бюро обкома партии, если не кто-то выше...

Тем не менее, начитавшись правозащитных документов, я принимал их всерьез (как многие в то время и, как ни удивительно, до сих пор).

Чалидзе, Альбрехт, другие спецы самиздата по законам и судам исходили из принятой на веру следующей аксиомы. Возможно, советские законы несправедливы, жестоки, могут нам не нравиться, но это законы данной страны. Их положено соблюдать и нам, и органам правопорядка. Надо заставлять органы, которые по привычке склонны нарушать советские законы, с ними считаться. В этом плане мы, обвиняемые, можем рассчитывать на некоторое понимание власти, иногда даже на ее поддержку. Власть тоже заинтересована в соблюдении законов. Если я что-то перепутал в логике этих авторов, то не слишком сильно.

И органы ГБ неофициально предложили мне сыграть с ними в игру, называемую судебным процессом. Ими же были сформулированы правила игры: статья 70 УК, «Изготовление, хранение и распространение материалов с целью подрыва и ослабления советской власти». Все свидетели на следствии, а потом на суде показали, что советовали мне переделать статью. Следуя правилам предложенной игры, я показывал статью не с целью «подрыва и ослабления», а напротив — желая ослабить вред для советской власти от своего сочинения. То есть формально я не подпадал под 70-ю...

Следовательно, я невиновен, что и заявлял на следствии и суде в категорической форме.

Судью Олега Васильевича Карлова я однажды видел по телевидению, когда рассказывали о процессе над каким-то убийцей-фарцовщиком, в состоянии аффекта пырнувшим ножом задержавшего его дружинника. Еще тогда судья поразил меня тем, что даже не пробовал хотя бы изображать арбитра, участвующего в судебном состязании, т. е. выслушивающего аргументы обеих сторон и выносящего взвешенное решение. Он грубил, орал на подсудимого. Видимо, так он представлял функции судьи.

Карлов был к тому же фантастически невежествен — в общем смысле слова. Например, услышав от свидетеля, что я брал у врача интервью, он попытался обвинить меня (дополнительно) в «краже... информации». Но считать судью элементарным дураком я никак не мог. Видел, что при всей его темноте (он и фамилию мою с трудом выговаривал!) в своей профессии он разбирался. Понимал ходы, задуманные участниками дела.

Я доказывал ему, что обвинительное заключение составлено по шаблону: «Умысел Хейфеца на подрыв и ослабление советской власти доказывается материалами дела на страницах...» — далее следовали номера. Хитрость в том, что на указанных страницах не имелось ничего похожего. Расчет строился на элементарном нежелании читающих лезть в тома и проверять сноски. Кто этим будет заниматься? Адвокату было лень даже встретиться со мной до суда. Я случайно узнал, что суд назначен на завтра, и успел вызвать адвоката через начальника тюрьмы, чтобы поговорить с ним о сути дела. Он ничему меня не учил, ни о чем не предупреждал. Видимо, исходил из того, что приговор по делу ГБ predetermined заранее (опытный юрист!) и бесполезно стараться как-то повлиять на процесс. Это, как доказывает практика, грубая ошибка, а в моем деле — особенно.

Прокурор попросил у суда максимум возможного наказания — пять лет лагеря, плюс два ссылки. Поясняю: в ГБ существовали собственные расценки по таким делам. Если дело групповое, срок обвиняемым полагался от пяти до семи лет. Если же судили одиночку, то давали до пяти... Так что мне попросили дать возможный максимум — пять лет зоны и еще «подвесили» ссылку. Это была, конечно, максимальная расценка, чтоб потом начинать с нее торговлю...

Рая рассказывала, что сидела в коридоре недалеко от совещательной комнаты и выла так, что комендант строго заметил ей:

— Не смейте воздействовать на суд.

Не знаю, на кого она воздействовала, но судья Карлов смягчил приговор на год: мне дали четыре года зоны и

два — ссылки. Итого шестерик... По политическим делам — самый минимум. За годы зоны я встретил лишь двух человек, имевших меньший, чем у меня, срок, — одного литовца, вывесившего национальный флаг, и одного украинского учителя, написавшего письмо первому секретарю ЦК КПУ Щербицкому с жалобой на дискриминацию национального языка.

Но что меня сильно удовлетворило — судья внес изменение в текст приговора. Обычные приговоры по политическим делам слово в слово повторяют обвинительное заключение КГБ, только в самом конце вместо «просить суд» стоит «приговорить к такому-то сроку»... Но Олег Васильевич доказал, что он меня услышал. В приговоре значилось: «Умысел Хейфеца на подрыв и ослабление советской власти доказывается...». Номера страниц были опущены и заменены гениальной фразой судьи: «...всеми его действиями». Точка! Я, скажем, ел, ходил в кино, спал с женой, играл с детьми — все эти действия служили доказательством моего умысла на подрыв и ослабление советской власти... Кажется, судья хотел сказать, что само существование такого типа, как я, являлось угрозой советской власти. В этом я не мог с ним не согласиться.

Пришлось после суда посидеть в камере полгода — до апреля 1975 года. Меня держали как свидетеля по «делу Марамзина», причем я был лишь раз вызван к следователю (где-то в январе). Карабанов хотел, чтоб я ознакомился с Володиным заявлением, где Марамзин признал себя виновным и написал, что он «доверяет советскому суду». Видимо, Валерий Павлович надеялся, что теперь я напишу нечто похожее... В их представлении все люди делятся на три категории — боссов, подчиненных и связников. Володя у них явно числился в боссах, а я в подчиненных, поэтому, узнав, что начальник признал себя виновным, я обязан был подчиниться. Я обрадовался, прочитав заявление Володи: все люди по своей натуре разные, и то, что годится одному, вредно другому. В отличие от меня, человека равнодушного к радостям жизни, Володя обожал всякие ее сладости — ему нравилось красиво одеваться,

вкусно поесть, любить многих женщин. Ну не создан такой человек для тюрьмы, я понимал; он по-другому, чем я, устроен. Уже попробовав тюрьму «на вкус», я понимал, что если его упрячут надолго, он может сломаться... Это теоретически возможно и страшно. А так... Явно никого не сдал, никого не подвел; доставил «товарищам» немного удовольствия — должны же они чему-то в жизни порадоваться, — но зато спас свое дарование! Это немалый фактор, во всяком случае для меня. Я искренно радовался за Володю, но сам, конечно, не собирался идти подобным путем. Каждому свое.

Думал я и о Карабанове. Когда-то у нас возникали разговоры о прошлом НКВД. Я доказывал ему, что, служи он на месте чиновников Ежова, делал бы то же, что они...

— Вас вызовет шеф, Валерий Павлович, и скажет: идет война, хотя пока не объявленная, идет мобилизация на фронт, только замаскированная под аресты и заключения. Ваша задача — спасти отечество. Куда вы денетесь? Все сделаете, что прикажут...

— Нет. Без улик, без доказательств не смогу.

— Ну, может быть, вы, человек с высшим юридическим образованием. А ведь следователи времен Ежова — люди с тремя классами и с революционной практикой. Они отбиться никак не могли...

Однажды я спросил его:

— Валерий Павлович, вы что, в самом деле не понимаете, что я обязательно буду реабилитирован? Не может быть...

— Нет, — ответил он.

— Это точно будет. Если только история нас чему-то учит...

— Не может быть, — повторил он. — Разве что отменят 70-ю, — вдруг добавил, о чем-то раздумывая..

Тут уже удивился я и тоже замолк. А что, 70-я в его представлении — это уж такая незыблемая твердыня?

Интересно, вспоминал ли он наш разговор через годы, когда стал полковником и, по уверению «Изве-

стей», лучшим следователем КГБ в Союзе? И как он уже тогда, в конце 80—начале 90-х, воспринимал новейшую российскую историю?

А я мечтал в Израиле написать книжку «Разговор из двух углов» о моем деле, где мы обменяемся мнениями, как виделось нам в то время. Я даже написал (на адрес ЛенУКГБ) такое предложение, но ответа от него не получил. А лет пять назад я узнал (правда, не из слишком достоверных источников), что Карабанов умер. А по виду казался значительно моложе меня... Видно, нелегко давались ему уроки истории.

* * *

Согласно задуманному мной плану осталось описать лагерные года и ссылку в Казахстане. (Когда ссылка кончилась, меня почти сразу выдворили из Ленинграда в Израиль, и на этой точке моя советская жизнь закончилась. Как смерть!) Но сложилось так, что я описал последний советский этап моей жизни: в зоне описал зону, в Казахстане — ссылку. Обещал же ГБ, что за каждый год срока напишу в благодарность томик, и прямо в зоне начал честно выполнять обещание. Уже из 19-й зоны передал на волю две лагерные книжки — «Место и время» и «Русское поле». Первая успела выйти в свет, когда я отбывал срок (на этапе), вторая — во время ссылки. Третья книга, «Путешествие из Дубравлага в Ермак», вышла позже в журнале «Грани», зато привлекла внимание А.И. Солженицына, написавшего мне теплое письмо. За мной, правда, оставался должок перед ГБ (три тома). В марте 1980 года меня встретил в израильском аэропорту знаменитый разведчик (в генеральских чинах!) Нехемия Леванон. (Тогда я не подозревал, кто он, «представитель Министерства иностранных дел», как мне его отрекомендовали.) Много лет спустя, когда Нехемия пребывал в отставке, мы встретились в кибуце Кфар-Блюм. Он спросил меня:

— Чем собираетесь заняться в Израиле?

Я признался:

— Видите ли, я должен написать несколько книг, обещанных мною органам КГБ.

Глаза Нехемии потухли. Подобный сорт человека казался разведчику совершенно не нужным, если не вредным для его спецслужбы. Он не жаждал обострения отношений с советской ГБ. И я мгновенно потерял возможного покровителя на Западе, чему до сих пор радуюсь.

Я написал в Израиле книги «Украинские силуэты» и «Военнопленный секретарь». С ГБ я рассчитался, хотя сделал им скидку в один томик за ссылку, где, как известно, день тюрьмы считается за дня три на воле.

Если вы хотите узнать, как именно я провел последние шесть лет в Союзе, с кем общался, о чем раздумывал, то можете об этом прочитать в моем трехтомнике «Избранное», изданном в 2000 году в Харькове местной Правозащитной группой и издательством «Фолио». А здесь я, пожалуй, расскажу, как писались книги в зоне, как я их переправил на волю, как выход в свет сказался на моей судьбе. В прежние годы это являлось конспиративной сферой, а сейчас позволено...

Итак, получил я шесть лет и после процесса Марамзина был этапирован в Мордовскую зону — № 17а. На процессе Марамзина я дерзил начальству в полное удовольствие, ибо имел впереди срок. Как верно сказал Бродский, «когда вы оказываетесь внутри тюрьмы, уже все неважно... Бояться-то особенно нечего». Конечно, я заявил суду, что самиздат у Володи Марамзина брал сам, без его ведома, когда оказывался в его квартире. Спокойно врал — сам себе удивлялся... Когда кончил показания, подняв кулак в ротфронтовском приветствии, обратился к Володе с возгласом: «Но пасаран» («Фашизм не пройдет» — приветствие испанских республиканцев). Судья укоризненно крикнула:

— Могли бы хоть проститься по-русски.

Она решила, что мы перекликаемся на иврите, евреи противные. Самое удивительное, что когда стражники выводили меня из зала, то несколько молодых людей в

задних рядах подняли по-ротфронтовки кулаки, приветствуя уже меня.

Но самое поразительное произошло позже — лет эдак через двадцать. Жена взяла меня в роли тягловой силы на рынок «Маханэ-Йегуда» — тащить тяжеленные сетки с овощами и фруктами. Я скучаю, пока Рая ходит по торговым рядам. Вдруг подходит незнакомый человек и говорит:

— Я вас узнал. Вы — Хейфец?

Ну, да, я Хейфец. (Меня в Израиле часто узнавали после телепередач.)

— А меня зовут Владимир Ханан. Я из Ленинграда. Я вас видел на процессе Марамзина! Вы тогда крикнули «Но пасаран», помните?

— Нет, вас я не помню.

— Ну, как же, как же... Когда вас выводили из суда, мы подняли кулаки, приветствуя вас...

Мать честная! Встретиться с *этим* через два десятилетия в центре Иерусалима — не чудо ли?

Потом меня, как уже сказано, этапировали из изолятора ЛенУКГБ в маленькую зону в Мордовии. Эков насчитывалось человек сто с небольшим. Уже потом я разгадал, что 17а считалась в ГБ чем-то вроде «штрафняка». Туда направляли субъектов, которых за чем-то требовалось изолировать от общей эковской массы и с ними особо поработать. Командовал особой зоной капитан МВД Александр Зиненко, ныне покойный, но в полковничьем мундире. Заключение шили рукавицы. (Этим же занимается сейчас Михаил Ходорковский, так что мы коллеги по ремеслу в системе МВД.) Совсем не для меня такая работа. Рукавицы, по мнению украинского политэзка Василя Овсиенко, «вылезали из Мишиной машинки похожими на жаб». Впрочем, у меня нашлись отличные компаньоны. Когда я вытащил из гнезда своей машинки ящичек для ниток, на задней стенке обнаружил список прежних работников на моей рабочей точке. Первым расписался московский поэт Юлий Даниэль, за ним Валерий Ронкин (ленинградец, старший научный сотрудник, возглавлявший подполь-

ную ячейку социал-демократов), потом московский поэт Юрий Галансков, затем биолог Илья Глезер, украинские националисты Дмитро Квецко и будущий глава «Руха» и кандидат в президенты Украины Вячеслав Чорновил... Так что славная подобралась компания «швей-мотористок». Работа на швейке — самое трудное, что встречалось мне в зонах. Потом, на заводе, жилось легче.

Едва прибыл, стали вербовать меня в стукачи — наверное, для того сюда и забросили. Делалось все в деликатной форме: мы, мол, в органах не делаем ничего бесплатно; если хотите, Михаил Рувимович, чтобы мы вам помогли, помогите нам...

И вдруг — в зону на свидание явилась моя мама. Мне передавали письмо от жены, где она рассказывала, как ее с моей мамой вызвал Карабанов.

— Я говорю с вами как частное лицо (это — в кабинете-то со свекровью следователь ГБ!)... Если Михаил Рувимович подаст прошение о помиловании, то, думаю, через год он сможет воспитывать своих детей дома.

Увидев, что Рая не пылает от восторга, спросил:

— А вы-то чего хотите для своего мужа?

— Я хочу, чтобы он оставался, как был, порядочным человеком.

— Вот вы какая! — зашипел он, потев от злости.

Тут я отвлекусь на тюремную ситуацию моей семьи. Леонид Иванович Барков сказал на самой первой нашей беседе:

— Знаете, на меня по телефону вышла ваша жена. (Врал, как обычно: не с ним она говорила, но это не в укор ему замечено. Упрекать гебиста во лжи во время его работы — все равно что укорять актера на сцене в притворстве!) Я сказал ей: ваш муж арестован. А она: «Ну и что! Все равно это лучше, чем если бы пил...»

Эта фраза оказалась гениальной придумкой Раисы. Все стало для ГБ ясным как солнечный день. Простая русская женщина держится за еврея и все ему прощает, потому что он не пьет. Это так по-нашему! И ее оставили в покое на все шесть лет.

Вообще, как ни удивительно для меня самого, но идиотские предрассудки владели воображением чекистов, людей от природы неглупых и обычно хорошо образованных, но — абсолютно покорных странным заблуждениям. Мол, русские люди — пьяницы и лодыри, евреи все на свете продадут за деньги... Уж сколько раз они терпели жуткие провалы из-за таких стереотипов, но перестать так думать — не могли. Просто поразительно. Именно на этом я всегда выигрывал...

Мама приехала, конечно же, уговаривать сыночка подать помиловку. Я разозлился и даже встал со стула, чтобы выйти из комнаты свиданий, но надзиратели силой удержали меня на месте. Почему я не хотел подавать помиловку?

Во-первых, невероятно был зол на ГБ. Мы играли по правилам, предложенным ими самими. Я выиграл партию, но в момент выигрыша они схватили доску со стола и шлепнули меня ею по башке. А сейчас хотят, чтоб я заявил, что мне был дан честный мат, я сдаюсь! Ну нет, господа... Не умеете играть как следует, — не сумеете и выиграть. (Такое же чувство овладело шахматистами из Нью-Васюков, когда они мчались по берегу за липовым гроссмейстером...)

Интересна психологическая загадка: почему им так важно, чтобы обвиняемый признавал себя виновным? Ведь исторически известно, что признание не имеет значения ни для кого! Никого ни в чем не убеждает. Но они почему-то считают, что если обвиняемый не покаялся, то они проиграли игру — при любом исходе дела. Откуда этот странный комплекс неполноценности?

Как бы то ни было, но каждый раз, когда гебист являлся в зону, он выставлял Зиненко из кабинета, звал меня туда и начинал вербовать. Заканчивался разговор одной и той же просьбой — никому не говорить о нашем разговоре.

Я охотно обещал ему. Еще бы, большой интерес — рассказывать товарищам, что тебя вербуют в стукачи! Потом понял: то, что я помалкиваю, рассматривается ими как условная форма моего внутреннего согласия,

как некий знак, что переговоры можно вести дальше. И тогда я сделал самую простую вещь: едва выйдя от опера, собрал вокруг себя известных лагерных стукачей и сообщил им восторженно:

— Мужики, знаете, о чем мы говорили с гебешником? Он меня вербовали в сексоты!

Вы не представляете, как разгневался товарищ на следующей встрече!

— Обманули нас, Михаил Рувимович... Вы обещали...

— Я ничем не обязан органам, гражданин начальник.

Последовало соответствующее наказание: меня перевели с шитья рукавиц на перчатки с пальцами, норму по которым не выполняли даже наши «ударники», после чего — совершенно законно — в форме наказания за невыполнение норм выработки отправили в ШИЗО на две недели, т. е. в лагерный карцер.

На второй неделе отсидки меня навестил гебист, видимо, чтобы посмотреть, как воспринимается наказание. Был как раз голодный день, т. е. давали только уменьшенную пайку хлеба и кипяток. Я встретил «товарища» приветливо: мне было скучновато эту неделю одному (первую неделю я отсидел весело с другом, румынским националистом Валерием Грауром). Я разломил пайку хлеба, придвинул ему половинку и сказал:

— Угощайтесь, гражданин начальник, простите, что нет ничего лучшего, сегодня голодный день, у меня только это. Уж извините...

Он явно смутился.

— Может, вам чайку оставить, Михаил Рувимович? (И ведь ничего не попросил взамен, вот что знаменательно. А ведь индийский чай в пачках — любимая валюта лагерных оперов за услуги.)

— Спасибо, но чай не люблю.

Он ушел. Паруйр Айримян, лидер Национальной объединенной партии Армении, сидевший в камере напротив, закричал в коридор:

— Начальник, дай чайку мне! От Хейфеца все равно толку не будет.

Тот угрюмо отвечивал:

— От вас, Айрикян, тоже никакого толку.

После этого случая меня несколько лет не вербовали. Хотя... они и Бродского вербовали в сексоты — в обмен на издание в издательстве «Советский писатель» сборника его стихов «на финской бумаге». Экие, прости Господи, благодетели... Все-таки Бенкендорф с Дубельтом были умнее, что не вербовали Пушкина в осведомители III Отделения.

Несколько слов о лагерном быте. Я всегда привожу такой пример, по-моему, наглядный.

Лагерь похож на службу в Советской армии. Очень. Ты постоянно, непрерывно голоден. Тоже спишь в казарме, тоже живешь по режиму, обязан носить форму и выполнять любое приказание всякого старшего по званию. Конечно, зона потяжелее, чем армия; во-первых, обычно длится дольше, во-вторых, нет увольнительных, поэтому нет знакомств с девушками, ограничена переписка. Но в принципе все похоже. Поэтому кто не боится армии, тот не должен бояться колонии строгого режима... Ничего там особо страшного нет.

Куда понятнее мне отношение Бродского к тюрьме, как к «недостатку пространства, компенсируемому избытком времени», чем ужасный, мистический страх интеллигентов перед заключением. Он видится прямо загадкой в душах многих знакомых, которую хотелось бы разгадать. Пока не удалось.

Лично я чувствовал себя за проволокой легче, чем остальные ээки, потому что писал, занимался привычным делом. Особенно легко стало писать, когда меня перевели (вместе со всей 17а зоной) в соседний лагерь — в 19-ю. Зона служила казармой при деревообделочном заводе. Я стал фрезеровщиком, токарем и — наконец, не работа, а мечта! — сверлильщиком. Нет ничего более легкого, чем работать на станке. Машина работает, а ты не более чем живое приложение к ней. Я работал учителем средней школы, писателем, даже «швейей-мотористкой» — это все более сложные и трудоемкие профессии, чем вка-

ливать рабочим-станочником. Руки работают сами, как автомат, а голова свободна. Конечно, нормальному человеку переносить такое невероятно трудно — когда голова пустая, восемь часов каждый день, из недели в неделю, из года в год... Неудивительно, что люди спиваются. Но мне-то ситуация казалась самой подходящей, какую только можно придумать. Пока руки работали сами по себе, в голове сочинялась книга. Оставалось только записать сочиненное на бумагу и спрятать от оперов понадежнее.

Как мне объяснил капитан КГБ Мартынов, уполномоченный по зоне, меня перевели, потому что в 19-й сидели евреи-политзеки. ГБ, видимо, надоело мое участие в общедемократических акциях, и они решили — от безнадёжности — сделать из меня еврея, т. е. сиониста, и посадили к «своим», дав им задание — превратить Хейфеца в единомышленника.

Сионистов в новой зоне было двое — Борис Пэнсон, художник из Риги, участник «самолетного побега» 1970 года, и Михаил Коренблит, питерский зубной врач, член сионистского координационного комитета. Оба, разумеется, сами хотели сделать из меня единомышленника, ну а Мартынов им посодействовал: когда я прибыл на зону, обоих освободили от работы, чтоб меня встретили, помогли с устройством; словом, чтоб я естественным порядком вошел в еврейскую общину.

Что ж, я не был против. По-настоящему новым открылось для меня в лагерной зоне наличие сильных национальных чувств. Я-то был воспитан в совершенно интернационалистском духе.

Бродский излагает: «Думаю, что человек должен определять себя более точно, чем по расе, вере или национальности. Сначала нужно понять, труслив ты, честен или нечестен. Идентичность человека не должна зависеть от внешних критериев».

Я рассуждал точно так же. Для меня мое еврейство не значило ничего, кроме того что, конечно, я еврей, таков есть и принимайте меня именно в этом качестве. Но бо-

лее — ничего. Остальное зависит исключительно от личности... Но в зоне подавляющее большинство политзэков оказались националистами. Общаясь с ними, я ощутил, что понятие «свой народ» есть неотъемлемое качество индивида, оно свойственно человеку естественным образом, даже если сам человек этого не понимает. Я понял, что уж коли человек произошел от обезьяны, а обезьяна есть стадное животное, то и человеку тоже свойственно жить в стаде — даже если он одинок по натуре и вообще сам по себе. Это не зависит от его желаний, а дано природой, что вовсе не умаляет правоты Бродского, что главное все-таки — какой ты человек. Но сосуществование разных стад есть неотъемлемый закон природного разнообразия. Природа не терпит скуки единства. Наличие твоего стада предполагает, что должно быть другое стадо рядом. Его богатство есть такое же богатство природы, без которого весь мир, включая твой собственный, становится скуднее... Стадо существует, оно есть часть положенной нам жизни. Я довольно бестолково передаю ощущения, которые родились в зоне и суть которых в том, что место человека должно быть среди своих. Но и на своем месте ты, конечно, все равно должен оставаться честным и порядочным человеком, важным и полезным всему в этом мире, потому что все мы есть часть общего мира.

(Еще раньше, на 17-й зоне, я столкнулся с преимуществом того, что значит иметь свое «стадо». Там не было ни одного еврея, их всех перевезли на Урал, в пермские лагеря. Но по прибытии с этапа ко мне подошел невысокий плотный парень и, даже не здороваясь, отправил наверх, в каптерку, подвел к двум чемоданам, показал на них:

— Вот. Это вам. Имущество еврейского народа.

Это был румын Валерий Граур, а чемоданы с консервами, которые весьма, весьма нелишними оказались после этапа, оставил ему на зоне Лассаль Каминский, сказавший товарищу: «Приедет еврей — передашь». Валера и передал...)

Я, конечно, понимал, что у Бори Пэнсона возникали некие отношения с ГБ. Он опубликовал вместе со Стусом

и Черноволом лагерную рукопись в Париже. Полковник Дротенко вел особое следствие. Боря не мог выскочить из тисков, да и выскочил-то на место дневального в цеху — привилегированную точку с точки зрения органов. Какие-то шашни у них, видимо, велись, я уже не был наивняком. Но все товарищи абсолютно доверяли лагерным евреям, даже самые надежные из эков. «Хороший человек — Пэнсон», — сказал мне еще на зоне 17а Петя Сартаков, едва ли не самый опытный из всех сидевших в нашем управлении по эковскому стажу. Поэтому я полностью доверял Боре.

Однажды поздно вечером он подошел ко мне на лагерном дворе и сказал тихо:

— Миша, появилась возможность переправить за проволоку все, что ты хочешь. Не желаешь что-либо написать?

Вот что больше всего поражало меня на зоне! Все писали в одном-единственном жанре — заявления на имя начальства. Конечно, они только формально считались заявлениями, а на деле это были протесты, но почему в таком диковинном виде? Почему адресатом неизменно выбиралось начальство?

— Какой объем? — спрашиваю.

— Я ж сказал: сколько хочешь. Хоть целую книгу.

Книгу-то я уже сочинил — в голове. Но надо еще перенести ее на бумагу...

Сделать это оказалось непросто. Гебистов беспокоило мое заявление написать про них книгу, и они прикрепили стукачей повсюду, где только могли. Мой сосед по койке, например, грузин из нацистских сотрудников, настырно наблюдал за мной сбоку — даже не скрывая. Сосед по станку оказался не просто сексотом, но порядочной сволочью... Короче, ни шагу невозможно было ступить без наблюдения.

Однако способ я все же придумал.

Ручку и бумагу разрешалось иметь в зоне открыто. (Как иначе стукачи могли бы писать доносы начальству?) Я воспользовался тем, что работал в вечернюю смену — с 17:00 до часа ночи. Норму — на 101 процент —

я аккуратно делал часам к 11, когда темнело, и говорил: «Пойду перекурю». Конечно, кто-то из стукачей мог бы принять в расчет, что я вообще не курю. Ну пошел еврей перекурить — так пусть идет. Я располагался на скамейке у столика для игры в шашки. Он стоял под самым окном цеха, откуда бил свет и можно было разглядеть бумагу. Я быстро набрасывал на листке текст, сочиненный днем, потом клал листки в полиэтиленовый пакетик (от сырости) и прятал в кусок водопроводной трубы, что валялась неподалеку. Никто ни о чем не подозревал.

Без хлопот все-таки не обошлось. Однажды труба пропала. Вместе с моей рукописью. Я настолько растерялся, что посвятил в тайну другого еврея на зоне, Коренблита.

— Миша, вы дурак, — назидательно заметил он мне. — Трубу могли взять для дела — кто ж туда что-то прячет? Поищите где-нибудь по дороге.

Я искал и, о чудо, нашел-таки, нашел полиэтиленовый пакетик. Он выпал, когда эту трубу куда-то волокли, никто не обратил на него внимания.

— Вот идиоты! — прокомментировал Миша. — А нашли бы, могли помиловку получить...

Я придумал другой тайник и до сих пор горжусь своей личной фантазией! Все мои познания в конспирации ограничивались чтением Эдгара По. В рассказе «Потерянное письмо» герой излагает автору идею, что самый неуловимый тайник есть тот, что находится прямо перед глазами у ищущего. Таким тайником для преступника послужила урна для мусора, куда в старом конверте бросили искомое сыщиками «письмо». Никто не мог его обнаружить, хотя все обыскивающие видели искомый документ перед своими глазами... Я нашел в зоне подобную «урну» — ею служило сушившееся на веревках постиранное белье. Взял свои старые носки, отрезал дырку (целые-то носки могут украсть), зашил, чтоб ничего не вываливалось, и стал прятать внутри свои листки. Они висели на веревке посреди зоны у всех на виду, я всегда мог подойти с новой порцией выстиранного белья, доло-

жить новые листки и спокойно уйти в палату. Все было спокойно до самого конца работы.

(Дальнейшее я где-то описал, но кратко повторю здесь: это необходимо для сюжета.) Когда все закончилось, лег спать, намереваясь утром взять бумаги с собой в рабочую зону и отдать Пэнсону — для маскировки в переправляемой форме. Меня вдруг одолело искушение; я ни разу не читал текст: писал и сразу прятал. А вдруг можно хотя бы бегло просмотреть, что вышло? Ведь ночь на дворе; все спят, включая стукачей. И торчок свободен, единственный в уборной, где можно посидеть не «орлом», а на сидении — видать, сконструирован для лагерного актива, для ВОХРы (лагерных активистов). Сяду и просмотрю текст — бумага-то в руках покажется любому появившемуся средством для гигиенических целей...

А на дворе — зимняя вьюга! Рукопись — в боковом кармане, узком, неудобном, пришитом кое-как. Когда я добрался до места, взял текст в руки, то увидел, что последней страницы не хватает. Скорее всего ее выдуло ураганом.

Вышел, осмотрелся, но ничего не увидел. Ветер дует в сторону запретной полосы («запретки»). Листок наверняка там.

Я не растерялся. Утром, до выхода на работу, пошел в читалку и открыто восстановил пропавший листок, потом на обыске у входа в промзону попросил старика из бандеровцев (я с ним дружил):

— Деда, пронеси в зону.

— Что там? Автомат?

— Нет, бумага.

— Э-э-э...

Но взял и спрятал на груди. Его-то, двадцатипятилетнего, добивавшего свой немыслимый срок, почти не обыскивали... В зоне отыскал Пэнсона, отдал ему все и стал ждать жандармов, особенно когда заметил в окно группу солдат, направлявшихся чистить «запретку».

Пришли за мной к обеду. Все как положено — обыск на работе, потом в казарме, в каптерке, потом допрос у

Мартынова. Я, конечно, изображал, что не понимаю, о чем он спрашивает. Какая рукопись, о чем вы, Александр Александрович? Самое поразительное наступило в конце, когда он сказал:

— Ну, идите.

— Куда?

— В зону, конечно. Куда ж еще?

Это был шок! По моим расчетам, он никак не должен отпускать меня в зону. Ведь это я знаю, что рукописи при мне больше нет, что она уже замаскирована. Он должен думать, что она где-то спрятана на зоне. Первое, что обязан сделать, — отправить меня с зоны в другую колонию, возможно вообще на Урал. Что капитан задумал, отправляя меня обратно в лагерь?

Единственное возможное объяснение: есть человек, который способен выведать, где спрятана рукопись. И вот здесь начинается фрагмент, из-за которого я повторил этот, некогда уже написанный эпизод.

Читатели, наверно, заметили, что во второй части нет упоминаний о жизни Советского Союза, на которые я так часто отвлекался в первой части. Это произошло неслучайно. Лагерные годы я провел в другом государстве под названием ГУЛАГ, которое существовало по особым законам и правилам, в котором происходили иные события. Мы по радиотрансляции узнавали, что происходит в России (например, что появилась новая певица Алла Пугачева — молодой талант!), да еще немного по фильмам, которые крутили раз в неделю. Что реально происходило в Союзе — мы просто не знали.

Я пытался изучить новую страну, в которую занесла меня судьба. Одной из особенностей ГУЛАГа было следующее: среди зэков постоянно крутились явные стукачи, активисты, нештатные сотрудники начальства. Это были типы, продажность которых читалась на их лицах. Во-первых, военные преступники, которых и через тридцать лет после окончания войны арестовывали и сажали в зоны специально, чтобы они создавали особую лагерно-гебешную систему (ведь военные преступники в большин-

стве своем — это советские граждане, привыкшие исполнять волю начальства — советского, потом немецкого, потом снова советского); во-вторых, уголовники, бросавшие листовки в уголовной зоне (чтоб не платить карточный проигрыш, например) и получавшие добавочный (политический) срок, но спасшиеся от братков. Так вот этих, как ни странно, не стоило опасаться, они видны любому, а потому не страшны. Их держат как свору собак для охоты, чтобы мы сплотились спина к спине, охраняя себя и свои секреты. И вот там-то, *внутри* сплоченной кучки, и сидит по-настоящему опасный агент, как бы свой для нас, совсем наш человек, в отличие от явных врагов!

И я начал такого типа ждать возле себя. Он подошел на третью ночь, разговорились «за жизнь». Потом он задал абсолютно неприличный для зэка вопрос: «Где рукопись?»

Почему я не называю его даже сейчас?

Он был почти самым старым зэком по отбытому сроку из тех, кого я знал в зонах, — отбывал 19-й год тюремного стажа и был очень умен. Мне видится, что такое сочетание ума и срока заставило его пойти на сотрудничество с «товарищами». С одной стороны, ему хотелось, конечно, дожить до освобождения, он устал от зон; с другой — как умный человек, он не шел на подлинное предательство, взвешивал каждый раз пользу или вред от передаваемой информации... Если считал ее истинно важной для зэков — не передавал. Если б я сказал ему тогда, где на самом деле рукопись, он бы не выдал ее гебистам. Возможно, я до сих пор идеализирую людей... Но на этот раз я его ждал. Более того, был в какой-то степени подготовлен именно к его появлению...

Незадолго до той истории Боря Пэнсон предупредил меня:

— Миш, Мартынов обеспокоен — в зону привезли статут политзаключенного.

— Ну?

— Что «ну»? Подумай, многие ли в зоне об этом знают, если и я этого не знаю... Совсем мало. И значит, появляется возможность выявить человека Мартынова.

(Так что слухи о высокой проницательности Хейфеца, которые распространялись по зонам — через гебистов, кстати, оказались совершенно неверными. Это не я, это Пэнсон придумал всю комбинацию.)

И я пошел по немногим экам, кому сам давал переписывать зашифрованный статут. Все вели себя прекрасно:

— Мы никому не говорили и никого подозревать не можем.

Кроме вот этого самого деятеля, который бросил подозрения на украинцев:

— Они такие болтливые...

Эк, марающий товарищей, вызвал у меня подозрения вопреки безупречной на многих зонах репутации. Поэтому когда он подошел ко мне и задал вопрос, я не удивился и зашептал ему на ухо страстно и убедительно:

— Я сжег ее в кочегарке у Азата...

Через день меня дернули на этап в Саранск на следствие. И на допросе Мартынов спросил меня:

— А может быть, рукопись испарилась с дымом?

Я в отчаянии уронил голову на руки, тут же был отправлен в камеру и сказал соседу Виталию Лысенко, экс-капитан-лейтенанту, обвиненному в шпионаже:

— Много знает Мартынов, ох, много.

Если даже сам Виталий не доложит кому надо (я-то, честно говоря, был уверен, что доложит. Все-таки он шпион, а не диссидент. Ему позволено, это его не замарает), то уж слушают они нас в камере наверняка...

Когда месяца через два я вернулся в зону, мой былой «вопрошатель»... отсутствовал. Помиловали мальчика. Вот как высоко ценили мою рукопись в ГБ!

(Лет через 15, уже после распада Союза, я ездил в Вильнюс по своим историческим исследованиям. Мой сокамерник в Рузаевке Балис Гаяускас в то короткое время возглавлял службу безопасности Литвы и по моей просьбе нашел в архивах ГБ дело Менахема Бегина, арестованного в Вильнюсе в 1940 году, а позже ставшего премьером Израиля и лауреатом Нобелевской премии мира.

Балис обещал мне сделать копию дела... Я опасался сразу сообщить ему информацию про того «товарища», в Прибалтике весьма авторитетного, и только на улице, шепотом, на ухо решился все-таки рассказать... И увидел улыбку друга: Балис все знал, ведь в его руках оказался архив Вильнюсского ГБ.)

Что сказать о следствии в Саранске? Я придумал схему «продажного и трусоватого еврея», привычную и удобную для ГБ. Едва приехав, я попросил у администрации тюрьмы второе одеяло, а от ГБ — «ларек» — продуктовую месячную «отоварку». Мол, хочу воспользоваться контактами с ГБ, чтоб получить еду и прочие житейские блага. Когда меня начали «колоть», я изобразил страх, натурально выпрашивая вознаграждение «за хорошее поведение» — внеочередное свидание с женой и большую — без взвешивания! — передачу продуктов... Короче, «еврей проданся», как положено по схеме... В благодарность сочинил для них целую поэму о том, как я сжигал рукопись в кочегарке у Азата Аршакяна. В нормальных условиях гебисты — люди недоверчивые, но тут, раз уж еврей проданся... они проглотили с удовольствием. Мартынов на радостях даже попробовал меня, коли так ему везет по службе, завербовать снова. Тут я не выдержал и сказал прямо:

— Александр Александрович, мне давать вам информацию так же невозможно, как вам — давать информацию мне.

Отдаю должное уму капитана: он замолк и больше с такими предложениями ко мне не приставал.

Пересидел я свою третью лагерную зиму в теплой тюрьме, где и работать не требовалось. Вернувшись благополучно в зону, узнал от Бори Пэнсона, что рукопись до сих пор не отправлена, а человек, выносивший ее за проволоку, напуган предостережениями ГБ. Боря с ним не спорил: торопиться некуда, ты же отправляешь всего лишь семье зэка фотографии для его детей (такой была «маска» для рукописи), так что время есть. Когда «передатчик» успокоился, рукопись «Место и время» ушла на волю.

Иногда спрашивают: не боялся ли я писать, а главное — печататься, пока сижу в зоне. Все-таки публикация в Париже формально является несомненным нарушением статьи 70-й УК и влекла обвинение по части второй (как рецидивиста), т. е. до 10 лет зоны и 5 лет ссылки. По закону мне полагался такой срок.

Но, во-первых, я теперь точно знал, что закон сам по себе мало что значит для начальства. Валерий Карабанов говорил, что я не знаю практики. Так вот теперь я ее знал очень прилично. Осудить меня за изданную на Западе книгу — значит сделать ей замечательную рекламу, организовать перевод на десятки языков, привлечь внимание мировых СМИ. А нужны ли такие последствия «начальникам»? Поэтому я понимал, что если рукопись напечатают, то за нее мне ничего не будет. А если найдут раньше...

Кроме того, на меня сильно подействовал разговор с Михаилом Коренблитом.

Однажды он сказал мне:

— Знаете, Миша, самое важное, что здесь необходимо, — это перестать бояться смерти. На самом деле перестать бояться. И тогда они сразу от тебя отстанут.

Я размышлял: ну что они могут мне сделать? Самое худшее — убить. Ну и что? Слава Богу, я прожил хорошую жизнь: испытал лучшие чувства, данные Богом человеку, имел прекрасных женщин, близостью которых гордился, они любили меня, завел отличных детей, лучше которых представить себе не мог. Писал то, что мне самому нравилось и виделось честным, воспитал отличных учеников и дружил с превосходными людьми... Что нового сулит будущее? Потеряв жизнь, я по сути принципиально ничего не теряю.

Я перестал бояться смерти, стал готов к тому, что жизнь может прекратиться в каждую минуту. Миша Коренблит оказался абсолютно прав: гебисты мгновенно почуяли это. На свой лад они были талантливые люди, особенно полковник Дротенко. Они будто забыли обо мне. И мне жилось — хорошо.

Другой сюжет, связанный со страной ГУЛАГ и весьма увлекавший меня, касается граждан этой земли — эков-диссидентов.

...Закончив первую книгу в зоне и успешно выскочив из-под следствия в Саранске, я взялся за перо. Второе сочинение я назвал «Русское поле» и предполагал оформить как сборник очерков-интервью. Я расспрашивал эков об их жизни на воле, интервьюировал типичных русских диссидентов — демократа Сергея Солдатова, патриота Владимира Осипова и одного из уголовников. (С ним напрямую общался не я. Со мной он не стал бы откровенничать. Помог Боря Пэнсон, который собрал первичный материал. Я только обработал его — как делал, например, с генеральскими мемуарами.)

Конечно, общение с диссидентами, да еще в особых условиях, т. е. в работе, когда долго притворяться невозможно, помогало анализировать судьбы людей — не только типичных персонажей, чьи образы легли в основу очерков, но и многих других, за которыми наблюдал параллельно. С украинцами и армянами я близко подружился. Тогда я не мог писать о них откровенно, всю правду, над чем раздумывал, наблюдая публику. В конце концов, мои книги имели задачей прежде всего помощь товарищам. Любая критика, самая дружественная, служила бы врагу. Это я понимал.

...Здесь надо отвлечься от друзей и сказать немного о врагах. Они ведь есть часть портрета страны ГУЛАГ.

Как ни удивительно, хотя и довольно типично, многие диссиденты изначально воспринимали с немалым трудом людей из ГБ именно как врагов. Я и сам был такой! Ведь, как правило, диссиденты убеждены в том, что отстаивают государственные интересы, которые начальство, увы, понимает неверно, и хотят всерьез поправить ошибки. Поэтому врагов в начальниках, по моим наблюдениям, довольно долго диссиденты не видели.

Зато гебисты совершенно искренно считали диссидентов именно врагами Отечества, причем с самого пер-

вого контакта. Поэтому им казалось легким обманывать своих противников, карать, предавать — на войне как на войне. С недругами страны не церемонятся.

Но когда зэки понимали, что перед ними враг, все менялось. Конечно, противостоять ГБ оказывалось не просто хотя бы потому, что чекисты — профессионалы. Их учили по наработанным за десятилетия методикам... Гебист сильнее зэка изначально в силу образования и наличия времени: он свою игру обдумывает полный рабочий день, а ты что... Хорошо, если вообще о какой-то игре думаешь.

С другой стороны, от природы гебист не умнее зэка. И если зэк начинал работать над собой, осваивать опыт товарищей, осмысляя работу ГБ, у него могло неплохо получаться...

Я, например, почти всегда у ГБ выигрывал. Впервые, мне помогал Бог. Совершенно искренно пишу, так думал всегда. ОН выручал меня в самых отчаянных ситуациях (написать три книги в заключении при условии, что ГБ знала про мою работу и боролась с ней, как могла, — непростая задача). Но я всегда знал, что против меня работают профессионалы — умные или глупые, но их этому делу учили. Тот же Мартынов или кто-то другой приходил на работу и там думал, как меня переиграть, ему за это деньги платили и звания давали. Если я хочу с ним справиться, то должен отвлекаться от дел и думать над тем, что мне совсем неинтересно, но — необходимо, если я хочу у него выиграть. Полчаса каждый день — обязательная норма. Мне этого хватало.

Вот пример — и на этом кончим разговор. Одним из «перевалочных» пунктов пересылки моих книг на волю служил мой дом. Но я понимал, что гебисты были бы последними недотепами, если б пропускали все, что туда приходит по почте, без проверки. Но я посылал все нужное не на свой адрес, а соседям, которые относили получаемое жене, приговаривая при этом:

— Вот Мишка как изменился, даже номер собственной квартиры позабыл...

Все доходило целиком. Хитрость невеликая, но необходимая...

Когда закончился срок и я вернулся в Ленинград, прислали на мой адрес явно диссидентский документ — какое-то обращение организации инвалидов с просьбой, если возможно, переслать его за границу. Конверт благополучно попал в мои руки, потому что на нем было написано «Хейфецу Михаилу», а не «Раисе», на которую распространялось почтовое указание от ГБ. И Раина корреспонденция по-прежнему вскрывалась, проверялась, а моя — нет... Бюрократия, однако...

Вообще гебистам в лагерях жилось трудно — прежде всего от собственной ущербности в контактах с зэками. Например, украинский националист Зорян Попадюк их спрашивает:

— Вы считаете, мир выиграл от появления на свете республики Бангладеш?

— Конечно, — отвечают они в соответствии с уставной линией партии.

— Ну, так вот я хотел только того же самого для своей Украины.

— Да, но Украина не испытывает угнетения.

— А тут вы ошибаетесь. Пакистанские власти ведь тоже искренно считали, что никак не угнетают Бангладеш...

И попробуйте поспорить со студентом. Приходится сразу после разговора отправлять его во Владимирскую крытку.

Или — беседуют со мной (по какому-то очередному поводу я угодил в следственную тюрьму).

— Вот, Михаил Рувимович, вы недовольные положением в стране. А читали цифры, как успешно она развивается, в докладе Леонида Ильича?

— Читал. Сегодня утром меня отвели в уборную, а там вместо туалетной бумаги — нарезанные директивы к прошлому съезду партии. Так вот я сравнил: оказывается, все намеченные планы не выполнены, и крепко не выполнены. Сравните сами как-нибудь...

И, увидев, что начальник смущен неожиданной информацией, я продолжал:

— Вот со мной в камере сидит ваш человек...

— Ну, зачем так говорить!

— Оставьте, гражданин начальник, у вас своя контрразведка, а у нас своя... Так вот, он мне говорил, что попросил у вас луковицу, а вы ответили, что лука нет. Гражданин начальник, я понимаю: может быть всякое, нет лука в магазинах или на рынке почему-либо, но если лука нет в оперативных фондах госбезопасности... И вы хотите мне сказать, что в стране нормальное положение?

— Да, — вздыхает он, — с луком большие проблемы.

Так вот они и полемизировали с нами! Дротенко иногда взрывался:

— Эти вопросы не я решаю! Если бы от меня что-то зависело...

Ну скажите, легко ли работать органам в подобной обстановке, в постоянном противостоянии с теми, кого запугать или подкупить могли, а убедить — никогда, даже самих себя. Продаться за деньги и чины — это сколько угодно, а поверить в собственное дело оказывалось невозможным.

Теперь, закончив про врагов, перейдем, наконец, к друзьям.

Диссиденты оказались людьми разными, как и подобает нормальным людям, — поумнее, поглупее, очень талантливыми и не очень, даже благородных намерений, но...

Но я часто задумывался о том, что случится с Россией, если они победят. Ведь у них нет никакой программы, основанной на каком-либо практическом опыте, одни теоретические размышления... Это напоминало мне старую Россию, где государственным делом занимались специалисты, а интеллигенты имели право критиковать. Вдруг — и это закономерно, кто спорит — власть выпала из рук государственников. И что же? Никто, даже самые умные, самые начитанные, суперэрудированные интеллигенты из оппозиции, вроде Гучкова и Милюкова, не знают, что им делать, как править страной. Николаю II

показалось, что подходящим лицом для управления империей является Керенский! Наконец, власть захватил Ленин, который совершенно фантастически представлял себе развитие реальной России... Он был умным и проницательным политиком, безусловно, но не имел государственного опыта, программу взял из книжек авторов, которые сами никогда не управляли... Ему приходилось фантазировать на ходу, в спешке выдвигать людей, в спешке карать... Вот этого я и боялся в будущем — для России, да и для любой другой союзной республики.

Смелым, мужественным человеком выглядел мой сокамерник Славко Чорновил. С ним было прекрасно лежать на полу в карцере и обсуждать стихи Стуса или Калининца, но... Что Славко понимает в экономике? В хозяйственном управлении? Или — прекрасный боец Паруйр Айрикян, мой сотоварищ по НОП (Национальной объединенной партии). Но что он способен сделать, скажем, во внешней политике, когда в собственной партии «заигрывается» с соратниками...

Помню, как прекрасно организовал Славко стодневную забастовку в зонах с требованием признать статус политзаключенного в СССР, но не позаботился о главном — чтобы про эту акцию узнали на воле, чтоб все происходящее стало политическим событием, а не просто акцией протеста! Как я злился на него, помню... Хорошо хоть сумел воспользоваться случаем и передал сообщение о начале нашей забастовки Сахарову... Но после начала акции о ее конкретных результатах никто на воле не узнал, были потеряны связи. А я ведь отлично понимал, почему так случилось! Для Славка главное — схлестнуться с начальством и доказать свою непреклонность и упорство, а уж связь с волей, реакция на воле — дело второстепенное... Но разве так можно управлять страной? А никого крупнее Черновола как организатора среди украинцев я не видел...

В Израиле я встречал Славка и он признался, как неизменно трудно ему было научиться самому и учить своих людей, когда он возглавил Львовскую область. А ведь это

не целая страна. И я понимаю, почему ни в перестройку, ни в ельцинскую эпоху никто из диссидентов не смог сыграть сколько-нибудь значительную роль в изменении Союза. При всех достоинствах и заработанном авторитете они просто не знали, что и как конкретно делать.

Такова вечная, а не только нынешняя драма России. Перестраивать Советский Союз взялись бывшие секретари обкомов, комсомольские активисты и сотрудники зарубежных спецслужб. Делали дело те, кто оказался у народа под рукой. Никого другого он не мог найти...

* * *

Четвертую лагерную зиму я провел в зоне и здорово вымотался: работал в цеху и писал книжку ... Впереди — ссылка. А я уже знал (из писем сосланного на Колыму Стуса), что это похуже зоны. Работа тяжелее, климат холоднее мордовского, да и публика тяжелая, настроенная против зэка начальством...

Я не хотел попадать в такую обстановку, не любил страдать сверх меры, не видя в этом никакого смысла, а если принимал участие в лагерных акциях протеста (отсидел в карцерах свыше девяноста суток, отголодовал десятки дней), то потому, что иначе не попадешь в гущу лагерных событий, не сумеешь, значит, описать все как надо. Но сами по себе протесты меня не интересовали: слава Богу, я не политик по натуре. Ни в Колыму, ни на Дальний Восток мне теперь совсем не хотелось попадать.

Как обойти такой поворот судьбы?

Кто против меня? Против меня враг. Он тоже воспринимает меня как врага. Значит, если мне что-то от него нужно, то он обязательно сделает напротив. На войне как на войне.

И я придумал самую примитивную вещь: ходил по зоне и, доверчивый добряк, говорил встречным-поперечным стукачам:

— Мечтаю об одном — получить бы жуткую ссылку. Чтоб тяжелее мне было! Потому что о зоне я написал

книжку и все про зону знаю, четыре года — достаточный срок. А вот про ссылку не знаю ничего. Мне бы попасть в тяжкую, в такую ссылку — чтобы описать ее как должно!

Ей-богу, самого поразило, когда случайно подсмотрел в спецчасти, что меня направляют в Павлодарское управление МВД, то есть в Северный Казахстан. О лучшей ссылке нельзя было и мечтать. Не слишком далеко, не слишком холодно, не чересчур противно...

Этапом туда я шел, однако, почти как на Колыму, — более пятидесяти суток. Попал в город Ермак, что на берегу Иртыша. Мне говорили, будто город так назван потому, что на этом месте погиб легендарный атаман. Город понравился необычайным для советского города названием (я ж не знал, что «в девичестве» он звался Каганович!), как и лозунгом, вывешенным на главной улице: «Дети — наша радость! Дети — наша гордость!». Это все же не «Слава КПСС!».

Я даже чуть было не устроился в школу. (Потом узнал, что в Казахстане такое случалось. Александр Исаевич Солженицын поработал в казахской ссылке учителем физики.) Но, увы, мой скандальный характер проявился и там: я принял участие в акциях только что арестованного хранителя Солженицынского фонда Алика Гинзбурга (фонд опекал и мою семью). Мне запретили общаться со школьниками и дали работу — не смейтесь над абсурдом советской жизни — инспектора по надзору над курсами сельских механизаторов. Это меня-то, который даже прав на вождение не имел...

...Недавно видел передачу Н. Сванидзе о том, как комкора Рокоссовского выпустили из тюрьмы, но полководец не сумел попасть на поезд и вернулся в тюрьму, где ему из милости позволили переночевать первую «вольную» ночь в своей же камере. Но ведь нет ничего обычного, чем такая ситуация! Самый тяжкий день — не арест, как можно предположить, а именно освобождение. В незнакомом городе ты без паспорта (вместо него на руках справка об освобождении из тюрьмы), без копейки денег,

голодный, без работы и жилья... Чувствительные мелочи: у тебя нет ремня, отобранного при аресте, ты ходишь по улицам, постоянно поддерживая брюки и мечтая найти веревочку, чтоб их поддерживать на поясе, нет шнурков, чтобы надеть ботинки. Ты по-прежнему вынужден ковылять по грязи в тяжелых кирзовых сапогах, потому что для них хоть сохранились лагерные портянки... Нет денег, чтоб заказать телефонный разговор с домом, а «за счет вызываемого лица» разговор не дадут, у них в провинции про такую услугу не слышали. Нет адреса, на который перевели бы деньги. И «до востребования» их тоже не получить — паспорта нет... Единственное, что выручает, — бывшие эки или их родственники. В столовой — накормят бесплатно (сами сидели), в автобусе — отвезут «зайцем». Главное — я нашел свободный домишко на окраине города, на улице, носившей чудесное литературное имя — Лермонтова. Я догадался, как раздобыть из дому денег и как все-таки получить их на руки... Но конечно, первую ночь переночевал, как Рокоссовский, — сжалился над сидящим на крыльце бывшим эком дежурный по милиции и пустил в КПЗ на одну ночь. С трудом оттуда на утро выбрался — дежурный-то сменился, а новички не знали, кто я такой, и едва не излупили — первый раз за весь срок.

Но зато потом возникли немыслимые в жизни наслаждения! Тащишься по улице с лагерным фанерным чемоданом, устал, как дворовая собака. Вдруг впереди магазин. Зашел, а там продается — представляете? — молоко! Деньги есть, зато стакана нет. Я спрашиваю продащицу:

— А можно молоко прямо здесь выпить?

Можно, оказывается! И я пью — прямо из горла, до донышка литровую бутылку, впервые за четыре года пробую молоко на вкус. А продавщица смотрит, как на святого: мужчина, а пьет не водку, а молоко... А что я испытал, когда лег на кровать, на чистую простыню. (Ведь почти два месяца шел по этапам и ночевал иногда без какой-либо подстилки, на досках. Кто проводил ночи в

КПЗ, меня поймет.) Нет слов, чтобы описать такое наслаждение! А когда выкупался в реке — в первый раз за четыре года, и впервые за много-много времени оказался совсем один, когда нет наблюдающих и контролирующих... понимаешь, что ссылка все же и правда — уже почти свобода!

Естественно, главной задачей моей жизни стала не проверка знаний у местных трактористов Учебно-курсового комбината, а написание новой книги. Тема выявилась уже по дороге — как мне открылась после ГУЛАГа совершенно новая для меня страна — Союз ССР. Ведь на каждом этапе вваливались в вагоны или в тюрьмы десятки людей, обычно только изъятые с воли. Они обсуждали жизнь, которую я не знал вовсе, они употребляли слова, о смысле которых я мог только догадываться. И рассказ об открытии мною России и Казахстана заново — после четырех лет отсутствия — стал основой третьей лагерной книги.

Но как ее написать чисто технически, чтоб не застукали?.. Пока меня устраивали на работу, я использовал для конспирации берег Иртыша. Пойдешь туда, пока никого нет, заберешься в камыши или кустики, откуда видишь любого прохожего, а он тебя — нет, и пишешь себе вволю. Но когда я стал ездить на работу в комбинат, требовалось придумать нечто новое. Тем более что не сомневался: в моем коллективе может таиться «внештатник». Да и за жильем должен кто-то наблюдать... Не так организация устроена, чтоб без ушей и глаз в моей норе обойтись. Кто на моей службе конкретно им служит? Я подозревал секретаршу. Во-первых, хорошенькая — должна же чем-то она меня завлекать. Но главное подозрение вызвало то, что директору комбината, моему тамошнему другу, предписали никого иного на это место не брать, дожидаться выхода секретарши из декретного отпуска. Такая забота начальства выглядела весьма неестественной в Союзе — на кадры обычно всем плевать. Коротко говоря, я ее подозревал, но виду не подавал. Я ж доверчивый добряк, не так ли?

Удобство работы заключалось в том, что моя основная служба проходила не в конторе, а в совхозах Ермаковского района. Кроме того, да и любому стукачу, по большому счету, наплевать на смысл его службы. Поэтому я устраивался так: с вечера предупреждал секретаршу, что завтра еду в такой-то совхоз, это фиксировалось ею в отчетах для начальства. В совхоз я ехал рано утром — для работы самое удобное время, потому что в рань все совхозное начальство еще в правлении, можно с любым поговорить о делах, об учебной работе, а днем попробуй найти их на полях... Итак, к девяти часам утра я обычно уже завершал служебные дела, садился в автобус и... возвращался в Ермак. На работе я числился находящимся в совхозе, а стукач, наблюдавший за мной дома, т. е. сосед по избе, в это время сам уходил на службу. Целый день я мог писать, никем не зафиксированный.

Так рождалась третья книга. Ее еще нужно было переправить в Питер, но это — особый рассказ.

Перед самым освобождением меня чуть не застукали — я и сам, конечно, расслабился: подходил к концу срок, а главное, я завершал книгу. Я писал ее — как женщина рождает, т. е. знает, что это обязательно закончится. Однажды вернувшись из клуба (смотрел «Служебный роман»), заметил, что листы перепутаны. Наверно, когда я ушел в кино, провели оперативный обыск. Значит, скоро явятся с официальным визитом... Надо было бы, конечно, переждать, но я не мог. Оставалось совсем немного, да и хороший тайник нашел.

Утром я лежал в постели и переписывал на чистовик последнюю страницу. Когда позвонили, сунул рукопись под одеяло. Думал, что пришел неожиданный гость, провожу его поскорее и закончу работу (через полчаса, ну, через час).

А пришли они. Пятеро, считая прокурора.

Начали обыск. Меня посадили, раздетого, на кровать. Обыск длился долго, прокурор устал. Подошел и сказал: «Кровать обыщу сам». Но поскольку числился в полков-

ничьем чине, то побрезговал пачкать благородные руки черной работой. Приказал:

— Поднимите подушку, Михаил Рувимович.

Я поднял.

— Поднимите простыню... матрас... Сверните. Садитесь.

И я сел — прямо на рукопись. Он сел рядом. (Оказалось, что он готовил для себя сиденье. В комнате был единственный стул, его занял гебист-полковник, составлявший протокол. А прокурору хотелось посидеть... Он просто забыл сказать: «Поднимите одеяло».) Так весь обыск я просидел на искомой ими рукописи и спасся от нового ареста. На следующей неделе я уже летел в Свердловск, оттуда в Ленинград.

* * *

Работники органов, конечно, — ребята напористые и амбициозные. Они не хотели, да и не могли смириться с проигрышем. (Они же провели оперативный обыск и совершенно точно знали, что книгу я написал. Но вот где она? Куда я ее спрятал?)

Мой багаж обыскали в павлодарском аэропорту, откуда я вылетал, потом на пересадке в Свердловске, где меня встречали жена и дочка Наташа. Я остановился в этом городе, чтобы проститься с Раиной семьей перед нашим отъездом в Израиль... Багаж оставил в камере хранения аэропорта, а когда вернулся, обнаружил, что моя ячейка не отпирается. Мадам, ведавшая багажом, ничего не спрашивая и не проверяя документов, открыла замочек своим ключом. Явно кто-то ее опередил, но ничего не нашел.

Когда меня задержала милиция в Ленинграде, то обыскала уже досконально, с ног до головы. («Был сигнал, что вы хотели угнать самолет».) Но они прощляпили, что я летел не один — перед посадкой успел передать рукопись жене... Словом, не нашли. Я не в претензии к нашему КГБ: обычная контора, вроде райкома партии.... Откуда им взять других работников? К слову, приехав в Израиль и стол-

кнувшись с местной контрразведкой, я пришел к выводу, что советский КГБ работал гораздо лучше — местные-то «товарищи» ну никак... Одна надежда, что на меня ША-БАК бросил слабых проверяльщиков, а лучшие кадры все-таки действуют на «арабском фронте».

КГБ, на мой взгляд, отличался от прочих советских учреждений. Там меньше брали взятки — не потому, что были честнее, просто лучше остальных знали всеобъемлющую систему контроля и доносов и больше боялись начальства. Зато когда подворачивался случай, воровали, как все прочие... Например, моя теща, прилетевшая в Ленинград проститься с дочкой, спрятала деньги в свой авиабагаж — так все конфисковали при тайном обыске проверяльщики... Случаев воровства, если все можно было сделать безнаказанно, знаю премного...

Почему меня все-таки ГБ не арестовала, хотя не нашла прямых улик? Ведь косвенных имелось достаточно...

Еще в Ермаке я получил от Вибекке Виале, опекавшей меня неизвестной дамы из Дании, сообщение, что я избран в Международный профсоюз писателей. Вибекке обратилась с просьбой в Пен-сообщество к знаменитому израильскому прозаику и публицисту Амосу Озу, и он пробил мое членство.

(Амос рассказывал:

— Пришел к Хаиму Торену, главе нашего отделения Пен-клуба, излагаю просьбу.

Он в ответ:

— Амос, а ты знаешь, как и что этот Хейфец пишет? Достоин ли он членства в Пен-клубе?

Я отвечаю:

— Хаим, ты с ума сошел! Еврея держат в КГБ. Какое тебе дело, как он пишет, если членство в твоём клубе может ему чем-то помочь?

И Хаим уступил, все сделал.)

Став членом Пен-клуба, я в бюрократической иерархии КГБ переместился на высшую ступень по сравнению с былым писакой-любителем... и стал предметом внимания не только ленинградского, но центрального аппара-

та ГБ. А Москва не питала ко мне особой злобы, может быть, даже испытывала некое удовлетворение тем, что коллеги проиграли схватку. Если я правильно понимаю психологию работников советского учреждения, неудачи ленинградских и прочих нестоличных коллег должны были доставить москвичам хоть небольшое, но удовольствие. Короче, личный момент перестал быть привходящим в моей судьбе, потому меня решили не брать, а выдворить, как было задумано. И вот я, наконец, в своей ленинградской квартире. Что дальше?

Еще в Ермаке Рая по межгороду рассказала, что к ней в музыкальное училище пришли два гебешника и предложили примерно такое:

— Мы, конечно, не навязываем Михаилу Рувимовичу, что ему делать и как дальше жить, но если он решит после окончания срока уехать из страны, то мы поможем ему достать билет на самолет...

— Но при условии, — добавил второй, — что больше он ничего за границей печатать не станет.

Не буду скрывать: я полагал, что меня после выхода в свет книги «Место и время» вызовут на допрос и я смогу поторговаться:

— Господа, вы же знаете, что я написал и вторую книгу.

(Когда в зоне внезапно дернули меня на свидание с женой, я не успел вынуть листок рукописи из бушлата. Они полностью переодели меня при входе в комнату свиданий и, пока я был там, обыскали мою одежду.) На это я и рассчитывал.

— Давайте договоримся: снимайте мне ссылку и разрешите вернуться в Ленинград, а я дам распоряжение не печатать вторую книгу.

Я полагал, что они могут счесть предложение приемлемым и мне удастся сократить срок наказания... Но когда до конца ссылки осталось полгода, вступать в какие-то переговоры не имело смысла. И я резко ответил Рае, предполагая, что они нас слушают:

— Где они раньше были? Сейчас уже поздно. Все там, я ничего сделать не смогу.

Действительно, «Русское поле» частями стало появляться в эмигрантской периодике: очерк о Солдатове в альманахе «Русское поле», очерк об уголовнике в журнале авангардной прозы «Эхо», только лучший очерк «Русский патриот Владимир Осипов» задержался, он появился в «Континенте», когда я уехал из Союза...

Но я опасался, что теперь, когда все-таки меня печатают в Париже, они могут передумать выдворять меня в Израиль, решат засунуть в какой-нибудь долгий «отказ» — как новую меру наказания. Надо было, значит, придумать методику спасения.

Она оказалась примитивнее, чем всегда. Я попытался встретиться с «моими» гебешниками, звонил в управление Карабанову, Рябчуку... Мне хотелось обсудить дело с ними теперь, уже задним числом, понять, как его оценивают сейчас, не считают ли ошибкой и вообще — как им совершившееся видится нынче. Но они заняли круговую оборону: никого нет на месте, товарищ у нас уже не работает... Из чего, правда, однозначно следовало, что они потерпели поражение и сами это сознают.

Я предполагал, кто в моем окружении стучит. И разговаривал с ними по накатанной в общении с ГБ схеме: как я не хочу никуда ехать, что я буду делать за границей, но — куда ж деваться — надо подчиниться органам... Если я враг и уезжать в Израиль не хочу — значит, меня надо *заставить* сделать это!

Дальше — как в глупом детективе. Возле моего дома дежурила черная «Волга», в мои телефонные разговоры непрерывно и нагло вмешивались, обрывали разговор, когда что-то не нравилось... Однажды я вышел из дому, а из-за угла вынырнуло пустое такси и поехало «шагом». Это на нашей-то улице, где машины всегда мчатся на пределе скорости! Я отмахнулся от водителя, пересек улицу и пошел через парк Лесотехнической академии к метро. Рая потом рассказывала: выскочили два товарища, подбежали к такси, что-то сказали шоферу и помчались следом за мной. Я-то их не заметил, шел в милицию поговорить относительно прописки, а оттуда — в ОВИР.

Потом увидел их, читающих вывеску заведения возле дверей. И — все! «Хвост» исчез... Они решили, что добились меня и я уезжаю...

В те же дни я решил разобраться с Валерой. Жена все годы внушала мне:

— Вот увидишь, приедешь домой, и тебе будет перед ним стыдно...

Она исходила из «дворовой морали», что хуже доносчика человека на свете нет, а Валера был, конечно, от рождения не самый плохой человек... Вот она и не верила в худшее — что-то по-женски, и никакая логика не убеждала. Я в ответ лишь посмеивался:

— Когда я приеду, его в доме не будет...

— Его вчера в армию забрали, — ответил сосед. — В Афганистан.

Поначалу я опешил: у него нет трети желудка после операции, он «белобилетник». Тогда в доме возник новый слух, что он болен гепатитом и лежит в больнице. Но гепатит — хроническое заболевание, его лечат на дому. Для всех хроников мест в стационаре не хватит. Наконец, мне все надоело, и я решил объясниться напрямую.

Метод действий прежний. Пошел в Публичную библиотеку, отыскал старого друга Фиму Тепера. Я знал, что по Публичке обязательно пронесется слух о моем возвращении, и ко мне явится кто-то из тех, кого я подозревал в сексотстве. Один такой товарищ действительно появился возле нас с Фимой. Тут я и выдал свои насмешки над органами, придумывающими агентам легенды глупее некуда. Совсем разучились «товарищи» работать...

Я вернулся домой и стал ждать. На следующий вечер я уже увидел Валеру на лестничной площадке возле одной из квартир. Выздоровел, значит, от гепатита! Как быстро... Подлетел ко мне:

— Миша, здравствуй...

Я завел руку за спину. На том разошлись.

На следующий день телефонный звонок:

— Миша, это Валера. Мне кажется, нам надо поговорить.

— Заходи.

Он пришел через пять минут.

— Миша, я ушел из семьи. Моя новая жена слышала, как ты говорил, что это я тебя заложил. Это правда?

— Правда, Валера.

— Но ты ошибаешься... На чем основаны твои подозрения?

— Пойми, Валера, у меня сложное положение. Если ты тот, за кого я тебя принимаю, то, объяснив тебе, как именно тебя продали органы (а продали тебя три человека), я помогу им понять, где и как они совершают ошибки. Но в мою задачу вовсе не входит совершенствование их работы, пусть работают так же худо, как всегда... С другой стороны, я понимаю и тебя... Ты имеешь право знать, почему тебя обвиняют. Сделаем так. Я расскажу тебе один случай. Ты дашь объяснение. Если я сочту, что оно удовлетворительно, расскажу второй. Ты опять объяснишь его. Потом — третий. И если в итоге ты дашь логическое объяснение случившемуся, я обещаю собрать всех знакомых и публично перед тобой извиниться. Согласен?

— Да.

— Хорошо. Помнишь наш разговор о даме, которая передала тебе, что в ГБ разочарованы результатами обыска?

— Конечно. Ты сомневаешься, что она существует? Я могу познакомить тебя с ней!

— Нет, я не сомневаюсь, что сможешь. Но скажи, откуда полковник Барков...

— Барков, — повторил он, как бы запоминая фамилию.

— ...знал про выгодную мне ложь, которую я сочинил для тебя одного? Я ведь на самом деле говорил Марамзину совсем иное!

Он задумался.

— Знаешь, когда мы разговаривали, мимо нас ехала какая-то машина. Возможно, в ней имелись прослушки дальнего действия...

— Валера, считай, что такое объяснение годится для киностудии «Ленфильм», где ты работаешь. Тем более что в следующих случаях никакие подслушки работать не смогут. Так что считай, что первое испытание ты не выдержал... Да не бойся, я понимаю, как тебя вербовали. Меня самого вербовали десяток раз, их методика известна мне. Ты был в Швеции, купил порножурналы, погорел на таможне, тебя арестовали. Небось, в камеру подсадили кого-нибудь, кто тебе на личном примере объяснил, какой огромный срок тебе светит... Потом начались ласковые разговоры:

— Валерий Михайлович, вот посмотрите текст закона — «не ниже трех, не выше десяти».

Они обожают показывать текст закона! Может, даже комментарий к закону показали?

— Вот конкретно за такие журналы полагается пять лет. Валерий Михайлович, мы ж не толкали вас на преступление. Вы сами выбрали свой путь, вы нарушили закон... Конечно, мы можем помочь, мы не скрываем этого, но с какой стати мы должны помогать нарушителю закона, правда? Вот если вы нам в чем-то поможете... Поймите, Валерий Михайлович, мы никого не хотим сажать, просто мы — орган информации ЦК партии, а партии нужно знать, о чем думает творческая интеллигенция... Вы никому не нанесете вреда, абсолютно никому, но принесете только пользу стране, народу и вашим товарищам тоже...

Похоже, Валера? Ты человек больной, садиться тебе за обычную глупость на пять лет страшновато, у тебя отец сидел, ты знаешь по своему детству, что переживает семья репрессированного... Ну и не выдержал. Так было, Валера?

И тут он сказал потрясающую фразу:

— Спасибо тебе, Миша, что ты на меня не сердишься...

И добавил:

— А что ты намерен теперь делать?

— Собираюсь в Израиль. Но очень долго собирать документы. Нужно, например, иметь разрешение от Раи-

ных родителей. Вчера послал им просьбу и текст. Пока дойдет по почте, пройдет неделя. Они пойдут в ЖЭК заверять, а это еще время, потом неделю обратно. Вот — сижу поэтому дома...

И Валера ушел. Вернулась Рая.

— Ну как?

— Да вот, Валерка звонил и приходил.

Реакция оказалась совершенно непредсказуемой.

— Так, значит, это *правда*?

— Что — правда?

— Ну, что он тебя продал...

— Конечно. Я ж тебе сто раз объяснял...

— Нет, это не так. Но если б он услышал, что ты обвиняешь его в стукачестве, он должен был набить тебе морду. А он с тобой разговаривал... Значит, правда?

Вот она, женская логика!

(Через несколько лет мне переслали в Израиль открытое письмо Валеры, где он признавался во всем и даже описал процесс вербовки. Оказывается, я неправильно нарисовал картинку — все было тоньше и страшней. Валеру не завербовали сразу, а вынесли ему выговор, а потом отправили в Москву на Высшие сценарные курсы, где к нему явились в гости «товарищи». И запугивали не зоной, а куда страшнее — психиатрической лечебницей... Не болен ли, мол, писатель маниакальной тягой к сексу? Между прочим, это много страшнее тюрьмы, потому что в тюрьме есть точно определенный приговором срок, который могут добавить, но могут и не добавит, а вот в психушке все зависит от врача, а врач не может не считаться с мнением следователя ГБ, не правда ли?)

Для меня самым поразительным явилось то, что, признаваясь в тайной службе, Валера продолжал отрицать, что он выдал им меня. Интересно — почему?)

Вечером пошли в кино — смотрели рязановский «Гараж». Возвращаемся, а старшая дочка говорит:

— Папа, звонили из милиции, сказали, чтобы ты шел в ОВИР с документами, которые у тебя есть на руках.

Валера, значит, доложил и попросил, чтоб меня поскорее из дома убрали. Утром звоню в милицию. Что вы, отвечают, как мы можем советовать вам нарушить закон? Но я все-таки явился в ОВИР с частью требуемых документов... У меня все приняли и сказали, что разрешения нужно ждать. Сколько?

— Может, после обеда будет готово.

Меня выдворяли невероятно активно — чтоб уехал как можно скорее. Почему — точно не знаю, может, это было связано с летней Олимпиадой?

Жена давила:

— Мишка, не сходи с ума, бросай все, уезжай, пока выпускают.

Но мне не хотелось уезжать, бросив все нажитое, а главное, не хотелось уступать им ни в чем — даже в этом вопросе. Еще чего!

— Рая, — внушал я ей, — кто из нас работал с КГБ, я или ты? По моему вопросу уже принято решение — выдворить. Каким-то большим начальником принято. Чтобы решение заменить новым — скажем, посадить меня, подчиненный должен прийти к нему на доклад и сообщить, что, мол, товарищ генерал, ваше решение относительно Хейфеца оказалось неверным, он совершил новое преступление, за это ему полагается новое наказание. Но пока я не совершил такого преступления, докладывать про ошибку начальства не станут! Поняла?

Я уступил ей в одном — съездил в Большой дом и оставил заявление: в моем желании уехать со своим имуществом нет ничего антисоветского и я прошу меня не торопить с отъездом... Насколько мне известно, они дали распоряжение — ускорить для меня предотъездные процедуры.

Мы вылетели из Пулково на Вену 8 марта 1980 года. В этот день и кончается моя история.

* * *

А вот несколько картинок вдогонку, поразивших меня в Ленинграде 1980 года. Ведь сегодня все и все позабыли...

Прежде всего — о дефиците.

Иду по Ланскому шоссе мимо промтоварного магазина. Очередь оббивает стеклянное здание раза два... Что такое? Подхожу, спрашиваю:

— Что дают?

Дама оборачивается:

— Туалетную бумагу привезли, Миша.

Вижу — старинная знакомая, которую не видел лет десять... Потому и запомнилось. Но вообще-то редкая новость — туалетная бумага.

И так везде. Нет, например, постельного белья — Рая запаслась простынями в Ермаке. Зато есть выступление по телевидению завгортorgом Ленинграда! Острую нехватку мыла в городских магазинах объясняли не спадом производства — производим мыла столько же, сколько раньше... Просто внезапно вырос спрос в городе Ленина. А на почтамте, куда я приехал, чтобы отправить посылку с книгами в Израиль (себе, конечно), висит объявление, что в посылки, отправляемые за границу, мыло вкладывать запрещено. Думаю, населению стало ясно: мыла в городе нет потому, что евреи посылают его за рубеж... И это время сегодня называют временем относительного благополучия?

Второе острое впечатление от Ленинграда — то, что нынче называют «застоем». Меня не было в городе шесть лет. В моей жизни произошло много изменений, в том числе социального статуса... Я столько увидел, столько осмыслил! И вот вернулся в город, где все — застыло. Кто-то спрашивает на улице:

— Где тут сберкасса?

Я объясняю и спохватываюсь: ведь столько лет прошло, вдруг ее там нет? Напрасно беспокоился, все там же. Те же магазины, те же редакции, все знакомые работают на тех же местах и заняты теми же сплетнями. Только по детям, которые выросли, можешь догадаться, что тебя изъяли не вчера, а шесть лет назад...

Ужасно видеть умирающий город. И — не жалко его оставлять.

И еще одно впечатление — трусость окружающих. Я отвык от этого. Был у меня когда-то любимый с детства знакомый, кавалер моей двоюродной сестры... Потом была война, он ушел на фронт добровольцем — и исчез. Ни одного письма домой, но и похоронки не было. А после войны появился капитан Виктор Бельцов, он же — Наумчик, командир диверсионной группы, работавшей в тылу немецких войск все годы. Уцелел. Как лицо, служившее в спецвойсках, как десантник-диверсант пользовался покровительством в своей конторе и, вопреки еврейству, поступил в мединститут. Женился, работал заведующим в областной больнице. Новый родственник виделся мне идеалом мужчины, героем войны, богатырем! Как же, советский разведчик в тылу врага... Когда меня арестовали, он исчез из поля зрения нашей семьи, будто и не было такого родственника. Но я вернулся в город, и мама говорит:

— Миша, приезжай к нам, тебя хочет видеть Наум, а к тебе сам — не решается...

Ну что ж, поехал к маме. И входит в комнату Наум и... плачет. Слезы текут по лицу ручьями. Никогда не видел его плачущим. А тут говорит сквозь всхлипы:

— Прости меня, Миша. Я трус, я трус...

У меня два двоюродных брата, по возрасту немного младше меня. Один с женой пришел, помогал со сборами, что-то дарил нам на память. А другой... Его тоже не было все эти годы. Наконец позвонил перед отлетом. Договорились встретиться на улице, вдали от дома. Он отнюдь не слабак: кончил вечернюю школу, работая на заводе, потом вечернее училище, институт, был лучшим бригадиром на заводе, потом стал превосходным, думающим инженером. («Мишка, я их боюсь. Я же на всех полигонах побывал».) Вот так ломали людей, а потом удивлялись, что ничего не выросло ни из «перестроек», ни даже из революций.

Перед отъездом я решил позвонить кое-кому из знакомых — попрощаться. Ведь уезжал без надежды когда-либо свидеться. Александр Моисеевич Володин сказал:

— Миша, я к вам с женой приеду, ладно? Дайте адрес.

Приехали, славно поговорили. Я посмотрел только что вышедший фильм «Пять вечеров». Очень понравилось, особенно потому, что, наконец, смог сообразить — спустя столько лет! — как провел герой Володина послевоенные годы.

Потом — аэропорт. Казалось, все было сделано, чтоб от оставляемой страны сохранилось одно отвращение. Нас обкрадывали (в ряду прочего таможенники украли все детские книжки), нас обыскивали плотно, как будто я был идиотом, чтоб ценное взять с собой. Обыскивали с помощью какого-то свистящего прибора даже детей — им это показалось веселым, когда трубка, прижатая к телу, почему-то завывала... Всю мебель поломали. Да что вспоминать! Когда я шел к самолету — еще понимал, что пока у «них» в лапах. Весь полет проспал. Когда самолет приземлился в Вене, с удивлением наблюдал каких-то молодых попутчиков-свободолюбцев, оравших от счастья: «Долой Брежнева!».

Дальше — несоветская жизнь, по-своему интересная, но иная — и тема иной книги. Скажу сразу: я понимал, что ко мне должны относиться с подозрением в Израиле. Я видел, как смотрит на меня первый же из встречающих, так называемый агент Сохнута. Он имел право подозревать во мне непонятно кого... В конце концов, чтоб дешево завербовать агента, нет лучшего места, чем зона, где человек голоден и у него голодная семья. Расплатиться с ним можно просто — чайком и сокращением срока, т. е. административным решением... Ладно, это уже совсем другая история, которая убедила меня в одном: я — человек, органически чуждый любой спецслужбе.

Остается ответить на последний вопрос — почему я выбрал именно Израиль пунктом прибытия в новый мир? Ведь, скажем, в Америку попасть проще простого и устроиться там много легче: все-таки я знал английский язык, в отличие от иврита, и знакомых было много.

Ответ прост: я очень самолюбивый человек. В Америке (и в любой другой стране) я неизбежно оставался

бы гражданином второго сорта. США в этом смысле — самая честная страна. Она откровенно декларирует преимущества аборигенов перед приезжими. (Как же нынче пристают к Бараку Обаме по поводу места его рождения!) Да, ты такой же, как все, но существуют формальные ограничения (не имеешь каких-то возможностей) и, главное, психологические. Любого мигранта естественным для человеческой психики способом воспринимают как постороннее лицо, которое не должно слишком активно вмешиваться в местные дела, поскольку они для него не совсем «свои». Вот его дети — пожалуйста, они свои люди. А всякий, кто станет оспаривать эту ситуацию, есть просто благонамеренный лицемер.

В Израиле же я сразу стал своим — просто как урожденный еврей. В этом качестве я обладаю естественным правом судить в этой стране обо всем, предлагать все что угодно, быть равным любому аборигену, кроме арабских граждан, которые моих прав естественным же, повторю, образом не признают. Для них я европейский колонизатор, что тоже есть правда.

Я всегда хотел быть честным и полезным гражданином России — страны, в которой родился и стал личностью, язык и культуру которой любил и уважал. Не получилось. Я понимал, поварившись в соку националистов всех мастей, что всегда в России найдутся люди, которые при любой власти, при любом устройстве будут подозрительно ко мне относиться. «Чего еврею от нас или у нас нужно? Пусть катится к своим... Бери в кулак хворостину и гони жида в Палестину». Но бытие любой страны — дело сложное и невероятно трудное, рискованное. Всегда можно ошибиться, принести нечаянный вред. Это жизнь, это неизбежная опасность... Зачем же мне получать в ответ на труды и опасности лишь подозрения и недоверчивость?

Я поехал в страну, про которую думал, что в ней я всегда буду называться замечательным словом свой.

И кажется, не ошибся выбором.

Часть вторая
В ИЗРАИЛЕ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ 1980—1990

«Книга счастливого человека» писалась мною легко, виделась ясной с самого начала, с первой задумки, уже в воображении, — чему именно текст посвятить. Конечно же советской жизни и свободному человеку, который внутри этой жизни вырос... Но! Советская история благополучно завершилась, достигнув возможного для нее идеала, свободный человек тоже вполне сформировался, насколько это оказалось в его силах... Итак, сюжет закончился в истории — можно излагать его на бумаге.

Но как писать израильское продолжение? Современники просят — пиши да пиши: «Мишка, а что со “счастливым человеком” происходило далее?» Но далее наступил, как известно, мой израильский период, т. е. вокруг возникла страна, непрерывно менявшаяся. Она и до сих пор находится в этой «исторической текучке». Куда приплывет — никому не известно, включая, естественно, меня самого. «Счастливый человек» плохо понимал эту новую жизнь, хотя вглядывался в нее постоянно, вроде он что-то улавливал, но сколько оставалось непознанного, непрочувствованного! Мой ровесник и коллега, родом из Болгарии, высказался по поводу первого текста так: «Ты описал мою жизнь тоже — мы в Болгарии, в общем, переживали то же самое, что вы в России. Но в конце книги заметил про Израиль, что здесь ты — “свой”. Так вот, могу только позавидовать тебе! У меня — отличный иврит, я служил на государственной службе и в университете, я в стране не тридцать лет живу, как ты, а шестьдесят, но все еще — оле хадаш (новоприбывший)...»

Так вот складываются судьбы здешних людей в реальной их жизни! Пришлось задумываться.

Как описать Израиль? Слишком мало знаю эту страну. Писать только о себе? Но и про себя — здесь! — я многое не до конца понимаю. Единственный процесс, который способен запечатлеть на бумаге, чтобы он казался общественно интересным, — как израильская цивилизация воспринимается разумом именно «новоприбывшего», т. е. — эмигранта, в его новом месте. Нынче в мире много накопилось нас, иностранцев, приехавших в новые страны, и — можно попробовать как-то осмыслить наш общий опыт. Пожалуй, это остается единственной задачей, которая мне окажется под силу.

Итак, пробую создать такое повествование.

* * *

Начну с 10 марта 1980 года.

Самолет авиакомпании «Эль Аль» приземляется в аэропорту имени Бен-Гуриона. Спускаемся на землю, которой суждено стать моей новой Родиной. Чувствуете интонацию?

В памяти осталось от полудня одно-единственное ощущение — непонятная, безмерная усталость. Жену, это отчетливо чувствую, восхищает по контрасту со мной прежде всего здешняя летняя жара. Сейчас начало марта, по-питерски поздняя зима, а здесь — сияющее, слепящее солнце, пальмы, их стволы растут прямо перед глазами. А мне? Мне оно безумно все надоело, включая солнце и пальмы. Куда направят? — единственное, что сверлит мозг. Куда лучше проситься при первой же беседе с чиновниками? Кто-нибудь встретит? Где будем жить? На что жить?

Госбанк в Ленинграде обменял семье Хейфецев из четырех человек немалую кучу рублей на примерно двести семьдесят долларов... Что-то в этом роде. *Весь* мой наличный капитал! Помню, в банке, на улочке Зодчего России (Малой Садовой?), я впервые увидел своими глазами эти «живые доллары» и прочел девиз «We trust in God» — «Мы верим в Бога». В тот момент почувствовал: вот она — новая эпоха в жизни. Началась!

Как бы ни сложилось, но на деньгах — девиз нового нашего бытия.

Однако начинать жизнь заново в 46 лет, отвечая вдобавок за судьбу жены и двух дочерей, — как бы выразиться... м-м-м... было непривычно. Дело осложнялось и некоей моей личной особенностью.

Я человек со многими возможностями и дарованиями, не буду скромничать и ужиматься. Но от природы зато — абсолютно невосприимчив к иностранным языкам. Бездарен полностью. Как шутил мой друг, Борис Голлер, «знаю один язык, зато хорошо» — это как раз про меня и сказано. Люди, которым языки даются легко, а таких немало вокруг, элементарно не верят в подобное природное свойство. Брось, говорят, «мало занимаешься» или «тебе не хватает терпения», ну и прочее... Но я точно знаю, что есть в мире личности, которые ловят языки «в воздухе», с удовольствием и легкостью, так устроены Свыше, а есть такие, как я, элементарные «тупари» в этом деле. Я часто размышлял, в чем истинная причина моей поразительной неспособности к изучению чужих языков и додумался вот до чего: для меня любой язык (а конкретно, конечно, русский) — прежде всего средство выразить вовне себя, свою личность. Во всей ее неповторимости, выражаясь высокопарно! А обычно при изучении языков нас учат самому необходимому, т. е. искусству общения с окружающими. Это искусство меня и по жизни не сильно интересует. Поэтому подлинного мотива, подлинного интереса выучить язык во мне не возникало никогда, а человек я избалованный, привык заниматься только интересным для себя делом. Именно для меня и интересным! Ну и провалился в языках — так же, как провалился, например, с изучением шитья лагерных рукавиц на швейной машинке «Зингер»... Неинтересно мне было!

Чем вообще в принципе способен заниматься я, литератор, — на новом для себя языке? Раздумывал в аэропорту именно об этом — как сложится у меня новая жизнь. Ничего в голову не входило. Самое странное, что одновременно — ничего и не боялся. Подсознательно казал-

ся сам в себе уверенным — как-то все сложится, главное перетерпеть, привыкнуть и тогда...

Почти никого в стране не знал. Правда, живет где-то в Израиле младший брат отца, но он и раньше виделся мне чужим человеком, можно сказать, враждебно к моей семье настроенным — из-за того, что женат я на русской девушке. «Какого парня мы потеряли!..» Помню эти причитания...

...О разговоре в аэропорту с «представителем министерства иностранных дел» я написал в предыдущей «Книге счастливого человека». Испытал даже какое-то облегчение, что ни с кем не связан и никому — пока, во всяком случае, — не нужен. Сам выберу место, где поселюсь — тут и вспомнилось, что мама Бори Пэнсона жила в Нетании (Боря пока что добивал свой срок в Мордовии), ну я и попросился поближе к неизвестной мне Нетании. Будет место хоть с кем-то поговорить, посоветоваться в случае нужды... В конторе, где оформляли первые документы («теудат-оле», т. е. «удостоверение репатрианта»), рекомендовали: «Поезжайте в Гиват-Ольгу — близко от вашей Нетании». Кто-то подсадил в такси, когда уже совсем стемнело, и мы поехали в эту самую Гиват-Ольгу.

Близилась ночь.

Небольшой постлок на берегу Средиземного моря Гиват-Ольга (курган Ольги) вплотную примыкал, как выяснилось, к городку районного масштаба — Хадере. В темноте разглядел три трехэтажных дома (как выяснилось позже, это дома французской конструкции, совсем непригодные для жизни в израильском климате, здания потом вроде бы снесли — но в те годы кто ж мог осуждать «передовой европейский метод»). Как выяснилось, здесь размещалось особое учреждение по приему нас, «новых приезжих». Называлось Центром абсорбции, т. е. поглощения! Нам, приехавшим, как бы полагалось «поглощаться» в местном населении. Конкретно — пожить, поучить иврит, на это отводили первые пять месяцев израильского бытия (такой именно ввели в то время порядок), чтобы люди познакомились со страной, искали постоянное жилье. Потом, мол, видно будет, что с вами

дальше делать, а пока — как-то заговорите на языке, ну, стерпится-слюбится, все само собой и помаленьку...

Нам повезло, что управляющий конторой заговорил с нами сразу по-русски — тогда мы не догадывались, какая это здесь редкость. Он записал нас в толстую книгу и высказался так: «Поднимайтесь на второй этаж, вот ключи, занимайте комнату». Наученный заранее письмами земляков, «новых израильтян», я уперся в резко оборонительной стойке (как же иначе! Надо защищать себя!): «Вы видите, нас четверо. Нам мало одной комнаты!» Он недоуменно пояснил: «Но в этой комнате — три комнаты». Оказалось, подразумевалось — не комната, а квартира. Сразу же квартира из трех комнат?! Боже мой! Получить квартиру, какая в Ленинграде впервые в моей жизни появилась у меня в возрасте под сорок лет, — м-да, это смотрелось многообещающе. Но так устал, что воспринял сие диво абсолютно спокойно, будто ничего другого и не ожидал. В Израиль же приехали, все тут будет хорошо!

Пожалуй, тут место, может быть, в последний раз припомнить наше ушедшее прошлое — «любовные сношения» с КГБ СССР. Чтобы к этой северной стране более не возвращаться.

В Гиват-Ольге мы получили отчаянное письмо из Свердловска — от Раиной мамы. Несколько слов еще все же придется сказать об особенностях тогдашней переписки между Израилем и Союзом. Эти правила переписки на нормальный человеческий вкус выглядели просто психически сдвинутыми. Начиналась переписка, как правило, с полного запрета советской цензурой наклеивать на наши письма в Союз марки с изображением Теодора Герцля. А в Израиле, похоже, других марок, пригодных для заграничной почты, вовсе не выпускали... Вот и ищи выход из ситуации! Как если бы мы приклеивали портреты Гитлера или Муссолини (хотя вроде бы Черчилля в Россию пропускали? Нет, тоже не уверен). Но с самого начала любые письма из Израиля — и с Герцлем, и без него! — вообще изымались цензурой прямо на почте.

Все... Только если продолжал упорно писать снова и снова по нужному тебе адресу, цензура рано или поздно сдавалась — она как бы проявляла понимание, что ты писать по этому адресу будешь все равно, ну раз такой упертый, значит, хрен с тобой, разрешаем переписку. Но вообще-то переписку с нехорошей по названию страной Израиль власти старались сократить, елико возможно... Рае все же удалось наладить переписку с ее мамой. И — пришло отчаянное письмо от Маргариты Николаевны, написанное, впрочем, невнятно, так что понять текст оказалось невозможно. Какое-то несчастье стряслось, какая-то напасть свалилась на головы русских вполне благонадежных профессоров-дирижеров в Свердловске, явно что-то нехорошее произошло, это мы поняли, как-то догадались по намекам, но что конкретно? Тайна сия оставалась великой, ее мы узнали лишь лет через десять... Когда сделалось возможным личное общение с Россией.

ЛенУКГБ, оказывается, возлелеяло золотую мечту — организовать мой развод с женой и детьми. Возникла эта светлая задумка, как ни странно, с моей подачи. Еще за два с лишним года до Израйля, находясь в мордовской зоне, была переправлена в Париж рукопись «Места и времени». Когда Володя Марамзин, работавший в «Континенте», получил мои бумажки на руки, то, естественно, обеспокоился, не грозит ли их публикация автору новым сроком? И запросил Раю в Ленинграде, как она относится, одобряет ли выход моей парижской книги в свет? Жена решила посоветоваться со знающим человеком и поехала в Москву, встретилась там с Леной Сиротенко, невестой Паруйра Айрикяна, и попросила узнать у знакомого Лены, у Андрея Дмитриевича Сахарова, как поступить в таком казусе. Сахаров проявил нормальную человеческую осторожность и ответил, что публикация — очень-очень опасное дело, я вполне могу загреметь на новый срок, на этот раз — вполне по закону. Что хотите, А. Д. являлся правозащитником, т. е. человеком, уважавшим любое право, включая советское! Ну, успокоенная Рая и передала Марамзину, что она-таки «да, возражает

против публикации». Он рукопись подзадержал... Когда я (на свидании) узнал о происшествии, то объяснил Рае, что ей надо выбирать одну из двух возможностей. Либо она оставляет в силе свой запрет, и тогда мы разводимся, так что в любом случае меня она никогда не увидит. Или — снимает запрет, книга выйдет в свет, а там мы уже посмотрим, что сделает ГБ, и в любом варианте остается шанс где-нибудь и когда-нибудь встретиться. Чтобы доказать, что настроен вполне серьезно, я перестал писать Рае разрешенные цензурой два письма в месяц — стал расходовать письма по другим адресам. Такое действие длилось несколько месяцев, наша размолвка ужасно интриговала ГБ, они, по-моему, посчитали, что Рая мне изменяет, я про такое ее дело узнал или учуял, ну, и вот... И так далее, как говорится! Наконец, жена сдалась и написала мне: «Перестань. Я сделала все, как ты хотел!» Я, естественно, ответил нежным письмом, но... Но в ГБ великая надежда теплилась. Знали бы они тогда, где скрывается эта тайна... При подаче в ОВИР наших документов разрешение на выезд дали мне персонально, лично, а вот жене и детям — не дали. Вдруг, мол, они, не получив разрешения, возьмут да и останутся в Союзе! Пришлось шантажировать контору по знакомому рецепту — я позвонил известному еврейскому активисту и, рассказывая ему по телефону историю с разрешением, пригрозил, что теперь... «я и сам никуда не уеду». Пусть, мол, кушают мое присутствие в Союзе! Понимал, мерзавец, что УЖЕ принято решение — выдворить меня, и деваться им некуда, посему, когда я появился в ОВИРе в очередной раз, мне без всяких разговоров или просьб выдали разрешение на семью тоже. Я-то, наивный дурачок, полагал, что на том наша взаимная нелюбовь с ГБ завершилась прелестным финалом, но, увы, — ошибался, недооценил привязанность Ленуправления к хулигану Хейфецу! Оказывается, как выяснилось после нашего отъезда, на что именно и намекнула в первом же письме Маргарита Николаевна, к ним в Свердловск, в местное управление ГБ, пришла просьба от любезных питерских коллег — уволить из кон-

серватории профессоров Глаголевых за то, что нехорошие люди выдали дочери разрешение на выезд за границу (к слову, они его не выдавали, я получил разрешение на выезд именно без такой бумажки — по воле самой ГБ!).

Свердловские чекисты, натурально, отзвонили в консерваторию и дали директору нужное распоряжение... Но — все ж Свердловск оказался не совсем похож на Ленинград, и Маргариту Николаевну согласились принять лично в местном управлении ГБ, чтоб объяснить мотивы увольнения — ее и Владимира Александровича. «Как Вы можете работать педагогом, если не сумели воспитать собственную дочь!» Она изумилась: «Но моему зятю предложило выехать из СССР именно Ленинградское управление ГБ! Как же мы смели возражать против решения органов?! Мы просто не могли!» Опять повторю, в Свердловске явно существовали иные понятия, более «либералистские», что ли, выражаясь на современном жаргоне. Наш-то Питер по жестокости уступал разве что украинцам! И потому свердловские гебисты, думаю, перепроверили, правду ли им говорит профессорша-дирижерша, поняли, что она не врет, и... отменили ее увольнение с работы. Такое странное (для ГБ) решение я связываю исключительно с личностью тогдашнего секретаря свердловского обкома Ельцина. Он и в бытность вполне правоверным аппаратчиком все-таки чем-то отличался от своего питерского коллеги, Романова, а характер и убеждения секретаря обкома не могли же не сказаться и на стиле работы подведомственной ГБ. Не только по этому примеру я сужу, потом встречались и другие случаи, когда у нас, в Питере, человека точно бы посадили (например, один мой здешний знакомый, свердловский математик, нынче израильтянин, послал шифровку за границу, что у них в Свердловске распространяются микробы сибирской язвы после их утечки из трубы особого, бактериологического института. У Ельцина этот математик отделался задержанием и взысканием... А в Питере столь мягкий исход был бы просто невозможен! Срок, срок и еще раз срок!).

Первое впечатление от Гиват-Ольги — шокировавшие меня имена новых знакомых.

Управляющий представился нам так: Йешуа (в греческо-русском переводе имя прозвучало бы так — Иисус). Итак, мы сразу познакомились с Иисусом! Утром зашел в лавочку, купить каких-то продуктов, продавец представился — Иуда. Это и есть первые зазвучавшие в моем израильском быту имена.

Потом мы отправились посмотреть местный рынок. Не забудьте, приехали в марте, из Ленинграда 80-х годов. Весной любые свежие овощи в нашем полустоличном мегаполисе на Неве подавались на стол, наверное, только в Смольном — и я не уверен, что в районах свежие овощи весной появлялись даже у секретарей райкомов... А тут, пожалуйста, помидоры и огурцы на лотке у *каждого* продавца! И совсем недорого... Конечно, нам-то не слишком по карману — денег всего ничего, но мы заметили, что продавцы сортировали помидоры и прочие овощи по степени сохранности, и все побитое, помятое, неказистое на вид откладывали вниз, на особую полочку. С той полочки оно не выбрасывалось, а тоже продавалось — но по цене в два, а то и в три раза ниже обычной рыночной. А вот такая цена «за побитое» виделась нам подходящей по карману — тем паче, что этот «брак» на наш, советского покупателя, взгляд имел самый обычный ленинградско-магазинный товарный вид. Мы других овощей в Питере и не видели вообще никогда (если только не покупали помидоры с грядки где-нибудь в молдавском огороде в летний отпуск). Впервые в жизни я пробовал весенние помидоры... Нет, съедались они, конечно, как правило, не нами — покупали мы эти лакомства для детей. А дети, измотанные весенним авитаминозом, набросились на помидоры и огурцы как безумные. Ощущение от тех месяцев жизни осталось в нашей семье такое: жутко не хватало денег, потому что приходилось покупать детям помидоры и огурцы. Но на простую колбасу, например, денег не хватало никак

(первую израильскую колбасу, помню и до сих пор, мы купили месяца через три — кто-то из внезапных гостей подарил мне внеплановую денежку!).

И наконец — вот, возможно, самое острое из новых впечатлений от Израйля.

Мы не знали, что Гиват-Ольгу считали в стране одним из самых хулиганских городков. Это уж потом новые приятели объяснили... Узнали одновременно и причину дурной репутации — в Ольге жила обширная община марокканских евреев, а рядом с ней, в соседних кварталах, — евреи грузинские... И вот — молодые парни оттуда и отсюда похаживали, оказывается, друг на друга с ножами. Наши девочки дружили как раз с «грузинами» и рассказывали, как те предупреждали: «Если что — сразу говорите нам, мы с ножами на них выйдем!» Но... Но однажды гуляем с женой по вечерней улице, и стоит прямо на дороге компания пацанов. Проходим мимо них — не обращают на нас никакого внимания. Говорят между собой, будто нас вовсе нету. И мы отчетливо слышим в их громких разговорах... звучат политические термины и имена министров. Юноши «на улке», обычная шпанская гоп-компания, беседуют о... политике! Чтобы в Ленинграде я шел по улице, скажем, в родном Кировском районе, например по проспекту Героев, где размещалась моя школа, или там по проспекту Ветеранов и встретил незнакомую группку парней, и нисколько никого не опасался, и никто бы не задира, и молодые люди обсуждали политические вопросы... Не знаю, как происходит в нынешней России, этого я не видел, но в Советском Союзе начала 80-х гг. — такое могло присниться только в очень уж красивом сне!

И еще дополнительная деталь, которая приковала сердце к моей новой стране. Хотя выяснилось это обстоятельство несколько позже, когда мы из Гиват-Ольги уже переехали в Ришон ле-Цион... Мою жену с юности отличала крайняя и беспечная рассеянность во всем, что касалось заработанных ее же трудом денег. Теряла она свои заработанные полочки — раз за разом... И однажды,

как случилось и раньше, потеряла кошелек со всеми наличными деньгами. Вернее, не потеряла, а оставила на прилавке в овощном магазине. Вернулась в лавку через час, и ей протягивают ее портмоне: «Вот — ты забыла»... А через несколько лет я уже сам поехал читать лекцию в Ашдод, с кошельком на руке (подобный кошелек называют в нынешней России новым для меня словом — барсетка). И — не успел переложить оттуда четыреста долларов, сбереженных в зачатку после поездки в Россию. Смертельно устал после долгой-долгой поездки и свою барсетку выронил в рейсовом автобусе, не заметив... Ну, выронил и выронил, что уж теперь делать, так мне, дураку, и положено. Спустя неделю лежу на кровати — слышу телефонный звонок: «Ты потерял кошелек в автобусе?» — спрашивает незнакомый женский голос (в Израиле по правилам грамматики говорят всем «ты» — кроме Бога, конечно). — «Потерял», — соглашаюсь. «Что в нем лежало?» — «В боковом кармашке доллары». — «Сколько?» — «Не помню» (соврал, конечно — не хотел при жене признаваться, какая у меня зачатка!). — «Приезжай на автостанцию в Ашдод с документами, тебе все выдадут». И таки все выдали, ни доллара не пропало! Вы полагаете, что страну, где такое в принципе возможно, какой-то бывший советский человек сможет променять, если у него имеется хоть что-то в сердце?

* * *

Вскоре после прибытия в Ольгу начались в нашем Центре абсорбции групповые занятия по изучению иврита.

Мои наблюдения далее — не более, чем заметки учителя по прежнему образованию и основной профессии. Вот вам и мое первое наблюдение: учителя иврита в Израиле не знали никаких других языков, кроме иврита (наверно, у них был в запасе английский, так думаю, но я не проверял!). Методику преподавания они так и называли — «иврит через иврит». Наверно, когда-то сия наука виделась им единственно возможной, — когда евреев в

классы собирали из многих-многих стран, и к ассортименту разноязычных учеников в одном помещении учителю приходилось как-то приспособливаться. Но в наше время, когда ученики все говорили по-русски, обучение «через иврит» давало нам весьма малый учебный эффект. Что-то в нужном темпе могли там ухватывать только те, кто уже изучал основы грамматики прежде, еще в Союзе. Там обучали на «подпольных» курсах (и преподаватели этих курсов работали на очень высоком уровне, что стало мне известно много лет спустя). Полные же новички в познании языка, вроде меня и моей жены, усвоившие ранее в лучшем случае «алеф-бет», отставали от группы сильно, причем нам еще повезло — наша преподавательница оказалась добросовестной! А в параллельном классе обучение сводилось почти целиком к... пению на иврите. При любой инспекторской проверке его ученики лихо исполняли на глазах у инспекторш ивритские песни и, наверно, очень-очень любым проверяющим группа нравилась — но вот насчет «поговорить»... Ох-хо-хо! Плохо с ивритским разговором у всех учеников получалось.

Меня более остального поражало, что в системе «иврит через иврит» отсутствовали и какие бы то ни было наглядные пособия. Вообще пособий не предполагалось! В советских методиках преподавание обычно выдерживали на разработанных в центре схемах, которые в Союзе вынуждали даже и плохих преподавателей на местах вдалбливать какие-никакие знания в упрямые головы учеников. Я, вослед советским людям, полагал, что Союз — страна отсталая, кроме ее военно-промышленных отраслей, но уж в методиках преподавания Союз, естественно, должен был крепко отставать. Тем с большим недоумением наблюдал, как слабо поставлено в Израиле главнейшее здесь дело — преподавание иврита, и, прежде всего, методически. И когда в классе появился, наконец, «высокопоставленный инспектор», говоривший с нами по-русски, г-н Абрам Соломоник, я попытался внедрить в его свежую голову идею о необходимости ввести на уроках наглядные пособия. Он слушал меня рассеяннo,

вполуха... Через много лет мы с ним подружились, уже в Иерусалиме, и я узнал, наконец, что именно он, лично он, сам, изо всех сил пробивал идею наглядных пособий во всех министерских инстанциях — и ни один чиновник не захотел выслушать его предложений... Высокомерное отношение ко всему, что исходило от «русских», — оно и тогда поражало! Надо ж проживать жизнь самодовольными ослиами, равнодушными, ограниченно-тупыми?.. Уф!

Вскоре пошли в местную школу обе мои девочки. Их засунули в соответствующие классы, причем сходу — без знания языка, с нулевым знанием местных предметов (Торы, еврейской истории), без знания хотя бы географии Среднего Востока и всего прочего! Почему-то считалось — и до сих пор так считается (?!), — что «дети — легко с ивритом справятся»... Самое поразительное, что они, действительно, справились, и наши девицы даже числились в разряде лучших учениц своей школы, но вот насчет «легко»... Как на самом деле им было нелегко — ох! Мы побаивались даже за их психическое здоровье, особенно нервной «старшухи», Наташи. Совершенно чудовишно напрягались детские нервишки! Сложнее всего давались даже и не самые новые знания, а порядки в местной школе. Например, полное отсутствие дисциплины на уроках. Или — принципиальный отказ учителей от выдачи в классах домашних заданий. Весь учебный материал проходил исключительно на уроках... Ученики на занятиях могли ходить и ногами по партам (в прямом смысле слова — ходили), разговаривали в голос во время уроков... Мы, честно говоря, пришли в ужас от пересказанных нам сюжетов этих детских баек. У семьи завелись первые друзья в Израиле, одним из таких оказался иерусалимец, бывший советский политзэк Яша Сусленский (в мою «отсидку» он еще отбывал срок во Владимирской крытой тюрьме). К нему я и звонил в столицу — мол, что делать с местной школой? Яша как человек феноменальной общественной энергии успокоил: мол, есть у него в Хадере знакомая учительница, она разъяснит нам, прокомментирует все-все-все... Приехал Яша в Ольгу (го-

ворю, неумная энергия плескалась в человеке!), привел училку к нам, и она мудро повела растерянным папемаме, что в Израиле именно так и ведутся занятия, как делается в гиват-ольгинской школе. В стране, мол, воспитывают свободных людей, это требуется новой родине для того, чтоб выросли мужественные и инициативные солдаты, ученикам дают на уроках полную свободу, поощряют в таком вольготном направлении всячески... Ну, естественно, мы смирились — не будем же в чужом монастыре советские уставы вводить. Главное, чтоб дети не отстали от сверстников, а уж если тут всюду так, то — что ж... Забегая вперед, поясню, что оказалось все-таки вовсе не так, как нам объяснили в Гиват-Ольге! Когда через год переехали мы в Ришон ле-Цион (об этом расскажу позже), то внезапно, по игре случая, поселились в районе, заселенном «благополучными семьями». И отправилась наша младшая, Оленька, в точно такую же неполную среднюю школу, какая была в Гиват-Ольге. И после первых уроков пришла домой обалдевшая: «Пап, у них на уроках — тише, чем было в Ленинграде!» И плюс — приволокла кучу домашних заданий по всем предметам. И в школу меня стали вызывать к классному руководителю — а то и к завучу в случае чего, точь-в-точь, как в Питере, и характеристику дочке подробную выдали по окончании учебного года — для поступления в старший класс следующей, средней школы, а когда ее там не захотели принять в класс с живописным уклоном (он оказался переполнен желающими), то прежняя завуч пришла к новому директору, устроила скандал, и Оленьку приняли туда, куда они ее рекомендовали ... Тут мы убедились, что принципы повсюду в мире одни и те же, нормальные педагогические, выработанные мировой наукой, но в Гиват-Ольге в классах учились преимущественно дети из «марокканских», как их называли, семей, а в мусульманских странах у местных евреев, оказывается, возобладали местные же обычаи, испарился куда-то традиционный еврейский культ образования. Как у окружавших арабов, так и в еврейских семьях из Марокко, Алжира,

Туниса, из других регионов бывшей Османской империи детей не учили в семьях слишком долго. Подросли, мол, до «взрослого», т. е. до 12–13-летнего возраста, и айда, молодые люди, помогать родителям — ну, в лавке покрутиться или на поле... Работать надо — не до учебы! Вы грамоту, чтоб читать Тору (Библию) усвоили? И хватит вам для жизни... Еврейская тяга учиться как можно дольше и как можно шире исчезла, почиталась в этих общинах чем-то вроде баловства... Видимо, в принципе мусульманский мир, считавшийся некогда бесспорным лидером человечества, постепенно привык жить именно по таким обычаям, потому-то за века сильно отстал от Европы... А евреи последовали за соседями! Но в Израиле лидерство в обществе и соответственно в политике захватила с самого начала европейско-сионистская элита (конкретно — «русско-польско-румынская»), и она-то сразу провела через кнессет (парламент) закон об обязательном образовании. Если родители не посылали детей в школу до 8-го класса включительно (до 14 лет), их неукоснительно преследовали по закону. «Восточным семьям» пришлось повиноваться властям, куда ж деваться, но нравы, обычаи оставались прежними, традиционными. К образованию относились как к налогу, хотя особого рода, как к своего сорта «акцизу на детей», поэтому исполняли сей «налог» так, как делают с любыми налогами в мире, т. е. по минимуму и без всякой охоты-удовольствия. Что дети, естественно, ощущали в семьях — и соответственно учились. Министерство с нравами потихоньку смирилось (да и что оно могло сделать с общественным-то мнением), но старалось всячески привлечь «восточных» учеников к учебе разными льготами. В гиват-ольгинской школе, например, учеников кормили бесплатными завтраками, в классах имелись компьютеры (что в начале 80-х гг. считалось редкостью, этакой учебной роскошью!). В новой же, в ришонской школе у детей ничего похожего не имелось, зато учились школьники из европейских евреев (ашкеназим, что в переводе значит — из немцев), и дисциплину установили там железную, по немецкому, видать, образ-

цу, и образование выходило тоже первосортное... Но ведь такую ситуацию надо бы знать с самого начала! (Я, например, тогда именно разгадал для себя некую давнюю «загадку западного образа жизни», которая долго в Союзе ставила меня в тупик: почему цены на съем квартир, да и самая продажная цена жилья так странно и так сильно зависят на Западе от районов проживания? Ну, не все ли равно современному городскому человеку, кто занимает соседнюю с ним квартиру?... В моем доме в Ленинграде я, например, просто не знал, кто именно живет в квартире напротив моей. Какое мне до него дело? Или — кто жил в квартире под нами? Не знал, да и до сих пор не знаю... А зачем мне такое знание про чужих людей, с которыми в лучшем случае встречу в подъезде, и то вряд ли... А на Западе район проживания определяет много и очень важное — повторяю, цена на квартиру может меняться в два, иногда в три раза, причем за примерно одинаковую жилплощадь. Именно и только из-за адреса! Почему? Теперь-то я осознал, что хороший район — прежде всего, хороший детсад, хорошая школа, хорошая компания во дворе, короче, то, что определит будущее детей. Надо ли удивляться, что нормальные люди в Европе и Америке не жалеют никаких денег, чтобы попасть в подходящий для их потомства район... Но это надо бы знать заранее, чтоб приспособиться, оказавшись в незнакомой цивилизации! Мы же не знали тогда — ну, ни-че-го...

Новое, причем необходимое для жизни знание сваливалось на наши бедные головы буквально каждый день, иногда — каждый час! Будете смеяться, но я испытал подлинный восторг — почти до ужаса, когда, например, впервые окунулся в Израиле в... морскую воду. Не потому так возбудился, что в марте море оказалось теплым (вода была примерно плюс 21 градус, ну как в Крыму в июле! Но никто все равно, кроме нас, не купался — «очень уж холодно»), к этому я как раз внутренне был готов, читал же путевые брошюры про «юга». Нет, поражал факт, что Средиземное море *реально существует*, что оно не есть голубое пятно на карте мира, каким чудилось всю мою предыдущую жизнь,

нет, оно живое, вода прямо под рукой! Кажется, у Ильфа с Петровым было сказано, что суша кончается за Шепетовкой, а дальше плещется Мировой океан... Мы, обычные люди в СССР, именно так и воспринимали реальный земной шар. И вдруг — вот оно, Средиземное море... Живое! Трогай его! Рукой трогай... А?

А как я впервые шагал по Иерусалиму?! Будто на тот свет попал! Под ногами мостовая — она же из учебника истории, мостовая, по которой ступали крестоносцы, Саладин, Храмовая гора, холм Сиона...

Еще неожиданность, свалившаяся на наши головы, — неожиданность климатическая. В Израиле показалось... холодно. Даже анекдот рассказывали, как еврей из Новосибирска пишет на родину: «В Израиле все хорошо, только очень холодно»... Потому что — как правило здесь или не топят вовсе, или топят очень-очень скромно. По крайней мере, у нас в Центре абсорбции не топили вовсе, и мы буквально мерзли... Еще потому мерзли, что погода казалась относительно ясной, солнечной, а в такую погоду в России не надевают пальто, не носят зимней одежды — и здесь мы ходили, так сказать, машинально — одетыми по-летнему, ну и холодно нам показалось, черт их всех бери... Я продрог! С тоской думал, сколько ж ждать, как до лета дотянем — после марта-то... Ох! И вдруг — в начале апреля (кажется, числа седьмого или восьмого) наступила Пасха — и сразу, в один день, пришло обычное лето. Жара! В стране реально не было никакой весны — ну вовсе не было! За зимой сразу наступало знойное лето. Лето, когда не выпадает ни капли дождя, — но все и так знают, что полгода, т. е. летом, дождей не бывает, совсем их не бывает, тут вам не Украина... А потом, и тоже почти сразу, это жуткое пекло (а сентябрь в том году показался мне самым жарким из летних месяцев) сменилось без перехода — сразу на зиму. Правда, снег выпадал редко, только в горах (наши девочки рассказывали, как их соклассник поведal: «Мой старший брат видел на Хермоне снег! Правда, счастливец?!»). Зима в Израиле — сезон дождей. Дожди проливные, и все заливают... Иногда до пояса!

Вообще — каждую минуту падали на наши головы кардинальные, невероятные неожиданности. Вся жизнь — с утра до вечера — становилась сюрпризом, неловким, неприкайнным, неуклюжим, постоянно ставящим в тупик. Например, возникло в голове ощущение своей неграмотности — на редкость грустное ощущение для того, кто выучился читать в пять лет. Еду, скажем, в автобусе в Тель-Авиве, стены над окнами заклеены объявлениями, афишками — а я ничего, ну совсем ничего не понимаю. Знаете, как становится грустно и тяжело! Еще потому не понимаю надписей, что у евреев все не как у людей. Например, строчки читаются справа налево — и трудно мне давалось такое чтение поначалу, хорошо помню! И вспоминались почему-то мне сокласницы в Знаменке, бедные чувашки на Урале... Вот так им, наверно, приходилось в русской школе...

Иврит — древнейший язык, а в древности грамоту сочиняли умышленно сложной, чтобы другие именно ее НЕ могли узнать, чтоб чужие не понимали записей, кому не положено, чтоб не могли проникать в тайны, доступные доверенным людям властей... Не знаю, почему тогда придумали писать справа налево, врать не буду, но что древние алфавиты, а не только иврит, все лишены знаков для изображения гласных звуков — факт. А попробуйте-ка в наше время читать без гласных любое иностранное слово, особенно имя собственное, если вы его заранее не знаете! Плюс — почти все названия улиц носят фамилии деятелей, лично мне, например, неизвестных, и я не в силах прочитать и понять, где нахожусь, даже если разбираю слово на вывесках по буквам — без гласных-то смысла не поймешь! То есть огласовки для гласных в иврите имеются, нас даже обучали им на уроках (мельком), но, по-моему, никто из окружающих на практике премудростью никогда не пользовался (разве что — на уроках Торы). Израильтянам в этом торопливом времени просто нравилось, что слова у них пишутся без гласных, поэтому — выглядят короче, прочитать можно быстрее, и уже в уме догадываться, что там пропущено и подставлять гласные

мысленно... Никакими клещами в систему с гласными местных читателей теперь не заманишь, сколько «русские» ни пробовали, — не нужно это никому из тех, кто наострился обходиться без них... А как жить нам, т. е. «иностранцам»? Как читать-приспосабливаться?!

Особенно меня мучило, как ни странно прозвучит, невероятное сходство ивритской системы языка с русским языком (даже целые книжки на тему выходили, где доказывалось, что иврит и русский — почти один язык). Звучит, конечно, юмористикой, но сходство структур, безусловно, виделось немалым. Когда-то, несомненно, оба языка влияли друг на друга — возможно, во времена Хазарского каганата, когда древнеславянские племена только-только формировались в национальные сообщества и, естественно, многое заимствовали у соседей за века-то совместного бытия, тем паче — у сюзеренов из Хазарии. В конце концов, мы же не знаем теперь, как звучал древнерусский язык, до нас дошли лишь древнеболгарские, т. е. церковнославянские памятники письменности, а церковный язык, он, конечно, родственен, близок в древнерусскому, но все же не совсем то наречие... И что звенело на самом деле в древнерусской жизни — сегодня лишь Бог знает.

Например, я лично научился определять род у ивритского существительного следующим парадоксальным способом. Установил для себя самого странное правило. В иврите род точно противоположен аналогичному роду в русском языке. Где у ивритян мужской род, там в русском — обязательно женский. И если в русском окончание существительного на «а» обозначит как правило женский род, то в иврите — на «а» кончается именно род мужской... Это меня ужасно мучило. Ну, все не так, все не так, как у нас! И главное — постоянно и всегда все не так.

Вот свалившаяся чисто бытовая неожиданность — очень дорогой городской транспорт (по сравнению с советским). Денег ни хрена нет, поэтому каждый раз, когда предстояла поездка в автобусе, я стоял и высчитывал — не проще ли дойти до места пешком, а не ехать. Или — телефоны-автоматы, которые работали не на

монетках-двушках, как советские, а на каких-то жетонах, «асимонах». Где брать эти асимоны, сколько их надо? А почта, где не продают конвертов, — ими торговали тогда только в канцелярских магазинах... Прежде чем идти на почту, отправляйся-ка в канцбум... И повторяю, так на каждом шагу — все не так. Все не по-нашему!

А инфляция! Мы приехали накануне ее исторического пика в Израиле и окунулись с головой в сие безмерное «удовольствие»... Попали, можно сказать, в самый центр явления, что в Израиле оказалось полной аналогией советских 90-х годов, которые кто со страхом, а кто с удовольствием поминает в России до сих пор! А мы-то влипли в нечто похожее, но на десять лет раньше россиян, когда оно виделось всем в новинку. И испытали его, не имея никакого исторического опыта... Но — интересно все-таки жилось, что — тоже правда! Очень интересно...

Однако здесь, наверно, настала пора для изложения некоего общеисторического антуража — для полного рассказа о моем восприятии израильской политики. Тогда и дальнейшее изложение личной судьбы автора тоже покажется вам понятнее и, возможно, поучительнее — на таком-то фоне...

* * *

СССР и Израиль формально возникли по одной схеме. Т. е. рождались страны не из плавного хода истории, не из естественной эволюции своих народов, а через общественный взрыв, вызванный новейшими идеями, придуманными на Западе для переустройства всех народов Земли чохом! СССР родился из социалистической схемы Маркса — Энгельса, а Израиль — из национал-сионистско-социалистических мечтаний Герцля и Бен-Гуриона.

Т. е. сначала мыслители придумывали некую систему идеалов, а уж потом под нее последователи-практики подстраивали всю страну. И народ тоже.

Естественно, воображение поначалу обрисовывало нечто романтическое, хотя в принципе нежизненное, придуманное. Но это же воображение подстраивало ре-

альные общества под красивые схемы «мировой справедливости», а далее — идеи сталкивались с реальной массой, массу втискивали в придуманную политику, а массы сопротивлялись, как могли и умели. И коверкали эти идеи на свой лад.

Конкретно — массы обоих народов выродились все-таки в нечто очень разное в придуманных для них государствах.

Российская нация попала сразу же в котел «всехнего» развала и смертельно-общественных опасностей Гражданской войны. Поэтому естественной реакцией обывателя-россиянина на возможную гибель в окружающем хаосе явилась всенародная потребность в сильной государственной власти. Пусть даже в ущерб личным свободам, но лишь бы людям как-то в стране уцелеть. Настрадались в Гражданскую... Отсюда вырос сталинский тоталитаризм — в силу народной потребности в нем (что вовсе не отрицает массового сопротивления рабству, но — против народа ж никто не сладит, не справится. Вот и не справились...).

Похожая опасность грозила так же и еврейской массе — в принципе: новые, сионистские идеи вовсе не спасали ее от диктатуры, от социализма, скорее наоборот, подталкивали в том направлении... Тоталитаризм вполне мог возникнуть и в Палестине — по той же психологической схеме, что в России. Социализм выглядел абсолютно необходимым для построения сильного государства, и он мог подвести народ к тоталитарности в любой точке земного шара. Примеров же тьма-тьмушая. Германия, Италия, Куба... Евреев спасло от российского опыта и исхода, видимо, одно и очень странное попутное обстоятельство. Те, кто жили в Палестине, все, включая евреев, попали под власть англичан! С их-то традициями выборной власти, с их разумностью, с культом законности — всё так противоречило естественной дикости Ближнего Востока, но, тем не менее, — британцы виделись здесь вполне реальной властью. Сильной, между прочим! И их уклад незаметно въедался в психологию подвластного

Лондону народа — вопреки звериной действительности здешнего окружения.

...Важная историческая подробность: в дни налетов люфтваффе на Великобританию Бен-Гурион, этот признанный лидер социалистов, человек, воспитанный в Российской империи, «полубольшевик» по природной своей психологии (так его и звали), естественный кандидат в местные Ленины, а то и в Сталины, — своими глазами увидел, как английский народ сопротивляется страшному врагу. Без колебаний, без дискуссий, каждый к каждому плечом к плечу, вокруг могучего, хотя абсолютно демократически избранного лидера. И этот народ победил самую мощную тоталитарную силу в истории! То есть еврейскому лидеру открылась воочию огромная, хотя внешне скрытая, физическая сила демократии. И такая демократия — пленила душу вождя. Он поверил, что подлинная сила нации вовсе не в социальной диктатуре, она таится в свободе общества. И склонился к английской системе, пригодной, как выяснилось, для его, еврейского народа.

Почему я называю вариант еврейского развития — парадоксальным?

Но ведь именно с англичанами евреи тогда и боролись. Именно им противостояли... Конечно, самое легкое, самое естественное после победы над противником — отказаться от наследия Лондона. Начисто отказаться! Да и проще это виделось — пойти по пути диктатуры. Все окружающие народы (исключая разве что ливанский) — египтяне, сирийцы, иорданцы, арабы-палестинцы — все выбрали именно диктатуру, тот или иной ее вид. Она казалась здесь, в регионе, самой правильной, самой пригодной формой управления, когда народ только еще создает новую страну. Как это казалось и людям в России. Но евреи выбрали совсем иную, английскую традицию — разделение властей, компромиссы партий, свободу слова, печати — насколько все возможно в практически бесперывных военных столкновениях.

Бен-Гурион заключил первые коалиционные соглашения с другими партиями... Тут не могу не упомянуть

(по традиции российского историка), что эта акция означала для него именно то действие, которое предложили и Ленину в начале его правительственной карьеры, т. е. сразу после Октября, причем предлагали именно самые авторитетные члены его же, большевистского ЦК (тогда такой вариант называли — «однородным социалистическим правительством»). Почти три десятилетия партия Бен-Гуриона с разными партнерами пыталась строить в Палестине новое общество — справедливости. И в принципе сделала успешно... Не без ошибок, но — успешно.

(Здесь я позволю себе малое лирическое отступление. Когда нынешнее поколение советских — да и не только советских людей — рассуждает о неизбежности все-таки в России «эффективного менеджмента» товарища Сталина, мол, не имелось у этого гения тоталитаризма иного выхода, ибо его стране требовалось срочно-срочно создавать тяжелую индустрию для победы в неизбежной войне с Гитлером, и потому необходимыми видятся и коллективизация, и террор, но зато Сталин смог победить в войне и сохранить Россию, — я вспоминаю, что в Израиле точно так же: все начиналось с абсолютно сельскохозяйственной страны, голой и босой, разоренной, без каких-либо ископаемых, без природных ресурсов, ей предстояли в будущем те же самые, абсолютно неизбежные и смертельно опасные войны с арабами, и тогда всё и все понимали — но сумели создать прекрасную оборонную промышленность в кратчайшие сроки, за те же 18 лет, что товарищ Сталин в СССР, — и без коллективизации, без террора, без художеств и прелестей «гения-менеджера»... Израиль, к слову, точно так же противостоял всему миру, как СССР в свое время, — евреи противостояли могущественной Великобритании, заодно с Советской Россией и американской администрацией, разумно предпочитавшими нефтяные державы! Но справились же... Почему бы и России — не справиться? Без «менеджера» Сталина, а?)

Ну, а позже с партией Бен-Гуриона (хотя уже без него) произошла естественная и, возможно, неизбежная при

демократии история. За три десятилетия властвования она привыкла к безнаказанности, к использованию власти в интересах своей элиты, к прочим, обычным, советским и иным режимным прелестям. И очередные выборы — все-таки проиграла. А выиграла их (тоже, естественно, в коалиции) национал-либеральная еврейская оппозиция, возглавляемая вечным соперником Бен-Гуриона, Менахемом Бегинем.

Бегин в те самые 70-е годы, пока я сидел в зоне и ссылке, приступил к «перестройке» здешнего социализма в капитализм.

Так что наша семья приехала в Израиль как раз в эпоху перестройки — перехода от местного социализма к местному капитализму.

* * *

Недавно я вычитал у первого президента Чехословакии Томаша Масарика замечательную фразу. Он оценивал как очевидец суть большевистской революции. Томаш Масарик отверг, естественно, большевизм — но вовсе не за диктатуру, как можно бы предполагать, не за конфискацию частной собственности, не за насилие, что вполне можно ожидать от современника той революции. Вовсе нет! Он увидел: главный порок или, если хотите, главную беду большевизма в куда более жизненном явлении. В *дилетантстве* Ленина и его компании в вопросах управления страной. «Поэтому они ничего в России не исправят, — заключил он. — Только усугубят все прежние проблемы». Беда страны, заметил этот мудрый чех, в том, что «белые» — такие же дилетанты, как «красные», они так же ни фига не понимают в вопросах управления страной, и выиграть у большевиков они не сумеют (а главную вину за бедствия России Масарик возлагал на царскую власть, никого в населении не обучившую искусству управлять державой...).

В Израиле произошло то же самое, что потом сотворилось в России 90-х гг. — один к одному! Бегин и его партия до прихода к власти занимались исключительно национальными претензиями — «землями от Нила до

Евфрата», а внутренние проблемы страны, такие как ее экономика, никогда их всерьез не занимали, они доверили решения ее задач своим партнерам по блоку — либералам. Те, мол, занимались «свободной экономикой», ну, наверно, знают, как ее перестраивать из «социалистической» в «свободную»!

Увы, израильские либералы, созревшие при социализме, разбирались в реформах примерно так, как либералы российские, т. е. Гайдар с Чубайсом, — в основном, теоретически... А этого все же маловато для успешной деятельности.

И началось в точности то самое, что позднее — по описаниям — происходило в ельцинской России. Собственность — вся! — обесценилась. Никто не собирался узнавать ее истинную стоимость. Деньги рухнули, возникла безумная бесхозяйственность и инфляция. Вот в такое-то время и угораздило нас появиться в стране. Как шутят, в самую нужную эпоху...

...Любопытная и по-своему захватывающая жизнь наступила сразу же. Буквально все и всюду покупалось или за него платили — но не просто, как обычно люди это делают, деньгами, а с особым расчетом — *когда* именно следует уплатить, сейчас, сразу же, или немного подождать, пока деньги упадут в цене? Если передержишь, то не выгадаешь в цене, а наоборот, цена обратно взлетит, и ты проиграешь! Но если успеешь, угадаешь... Вот так все постоянно и считали да высчитывали — каждый день и каждый час, и творилась всеобщая азартная игра, именуемая жизнью, где ты постоянно находишься в спортивной охоте за всем на свете. Я говорю конкретно о нашей семье, потому что израильтяне, имевшие, в отличие от нас, некие сбережения и капиталы, играли в более сложные, более интересные и более увлекательные игры с инфляцией... Например, они покупали квартиры — или не покупали. Денег особых не имели, взять средства, кроме как с зарплаты, неоткуда, но если решишься, то долги твои на глазах обесценятся, и человек получит квартиру в собственность почти даром! Государство ее потеряет,

а ты, жилец, напротив выиграешь... У казны — возможно выиграть! Каждому! (Как, между прочим, в России и произошло — почему-то все забывают, что не только олигархи, но все граждане той страны получили квартиры в собственность — за бесценок, и их добро оценивается нынче нередко в сотни тысяч долларов!) Вот и израильские жильцы иногда выигрывали у казны — и это чудо так их захватывало! А кто-то другой играл на бирже — и выигрывал безумные деньги разом, а потом биржа лопнула, и владельцы баснословных богатств превратились — сразу! — в пролетариев. Ну, не совсем в пролетариев, но в обыкновенных наемных клерков... Острая, безумно изматывающая жизнь царила в нашей новой стране. И мы в таком компоте прожили несколько первых лет...

Я с огромным интересом наблюдал за происходящим, хотя понимал в подобной жизни маловато. Особенно интриговала личность главного «перестройщика» страны, этакого израильского Ельцина, — Менахема Бегина. Собственно, с него и началась писательская карьера Михаила Хейфеца в Израиле.

* * *

Случилось сие явление так.

Пока я учился языку на периферии, в Гиват-Ольге, меня разыскивали несколько литераторов, живших, естественно, в центре страны — в Иерусалиме или Тель-Авиве. Приезжали ко мне в Центр (мне-то ездить не на что было, да и некуда особенно). Первым в ряду оказался Феликс Кандель, работавший на «Голосе Израиля» (в прошлом — сценарист Ф. Камов, сочинявший сценарии про Волка и Зайца). Потом появился, аж из самого города Парижа, — зампред какой-то конторы, курировавший антисоветскую литературу, некто Ралис (позже я читал в антиизраильской брошюрке, что дядя служил полковником в ЦРУ, — вполне могло быть, почему нет?). Гостя интересовала информация про персону Володи Марамзина, конкретно — не продавал ли меня Володя на следствии? Я, естественно, характеризовал Марамзина с самой луч-

шей стороны, о чем потом и сообщил Володе письмом... А он не удивился нисколько новостям, у них уже воняла на всю эмиграцию жуткая склока между Владимиром Максимовым, издателем «Континента», и Андреем Синявским, выпускавшим «Синтаксис». Как полагалось, конкуренты использовали любую возможную, а скорее в приличном обществе невозможную грязь и мерзость. В частности, Володя, тогда сотрудник «Континента», предположил, что слухи против него распускает Марья Розанова, жена Синявского. От себя добавлю, что она — совершенно изумительная по невзыскательности и пошлости любительница грязи... Но сие — отскок в сторону от сюжета, от темы (может быть, напишу о ней позже?). А пока — возвратимся из Парижа в Израиль...

Вслед за американцем разыскали меня в Гиват-Ольге редакторы израильского ежеквартальника «22» — от них ко мне приехала старая питерская приятельница, кинорежиссер Лина Чаплина.

Линка сделала когда-то учебный фильм «Декабристы», предшественник моих «Героев “Народной Воли”», и мы с ней по сему-то поводу и пересеклись на студии «Леннаучфильм». Она кокетливо поделилась со мной: «Да ерунда — мой фильм», и я доверчиво выслушал — как не поверить, если человек свое творение сам так и характеризует. Но посмотрел ее фильм — для дела потребовалось — и обалдел, настолько хорошо она ленту сняла! Первоклассным оказалась режиссером. Вот Лина как член редколлегии журнала и приехала ко мне заказать первую в Израиле статью — отклик на речь поэта Станислава Куняева, как раз в то время скандально обругавшего в Москве нехорошего еврея, хотя давно уже покойного, поэта Эдуарда Багрицкого... Откликнись, мол, Миша, что ты сам сегодня по поводу Багрицкого и Куняева думаешь?

Про «22» я к тому времени оказался немало наслышан, успел однажды даже напечататься там — еще сидя в Ермаке. Яша Сусленский, переписывавшийся со мной из Иерусалима, прислал в ссылку обширные цитаты, почти полный текст отрицательной рецензии на мою ла-

герную «Место и время». Рецензию сочинил Александр Воронель, по словам Яши, «хозяин журнала “22”»! Меня профессор-физик поносил в рецензии как наивного и нелепого дурачка... Я ответил резким письмом и... К моему изумлению, журнал мое письмо — напечатал! Т. е. журнал согласился дать слово автору, который был не согласен с его редакцией. О-о-о! Это показалось интересным и, по крайней мере, необычным, «непринятым в обществе», но очень, очень симпатичным... Потому я с удовольствием сделал для них свою первую в Израиле статью — против Куняева.

Статью, надо признать, необычную. Я утверждал, например, что: у русского человека могут и имеют право быть собственные взгляды на свою страну, на ее судьбу, на русскую литературу, он законно может не хотеть видеть в судьбе России еврейского вмешательства. Это, повторяю, законное русское право, я согласен. Однако предостерегал Куняева от грубого пренебрежения к людям, кто хоть со стороны вмешивался в судьбу России и русских, но — по русской же воле, по российскому велению это делает, т. е. будучи захваченным Россией, подчиненным ее власти, насильственно включенным в ее подданные. За удовольствие жить не самими по себе, а империей — за такое благо любому народу, не только русскому, но всякому, приходится платить дорогую цену, писал я (примерно, естественно), как платят за прочие удовольствия в жизни. В частности, за империю титульному народу приходится платить отказом от его национальной личности. Имперская культура, всегда и всякая, формируется многими народами *совместно*, за счет подавления всех иных особей и культур, причем подавляется культура титульной нации тоже. Империя отбирает из местных богатств, включая титульные, только то, что ей, империи, надобно, надобно именно в данный момент и данном месте, и с интересами и личностью главного народа она делает то же самое, что со всеми остальными вассалами. Если русские упрекают евреев за вмешательство в российскую судьбу, обращался я к Куняеву, то

вспомните — ведь евреи появились у вас не по своей воле, вы сами их захватили в эпоху разделов Польши, так что, мил-человек, теперь вам приходится платить за политику своей страны — полную цену приходится платить, и не нойте на выбранную вашим же народом судьбу. Вы гордитесь Суворовым, не так ли? Ну так получайте к нему в придачу... Например, захваченных евреев в придачу к великому полководцу!

Статья прилась редакции по душе... Так я впервые и стал автором — уже в Израиле.

А потом узнал, что хотя главной фигурой в «22» считается физик профессор Александр Воронель, но редактором там служит мой старый-престарый знакомый — Рафаил Нудельман.

* * *

Мы с Рафой учились когда-то на одном курсе в аспирантуре Герценовского института, только я на кафедре литературы, а он числился физиком. Талантливым физиком, между прочим! Но неожиданно увлекся — сначала польским языком, потом польской литературой, потом переводами, а потом — фантастикой. И стал литератором. Мы считались одно время лучшими друзьями в аспирантуре, но, увы, Рафа соблазнил мою девушку и, естественно, мы рассорились, расстались... Не виделись с тех пор почти четверть века и вот — столкнулись снова в Израиле.

Рафа весьма хотел привлечь меня в свой журнал, хотя опасался «теней прошлого», а мне было забавно — по сути-то я чувствовал к нему лишь благодарность за ту старую историю (хотя, конечно, тогда, в конце 50-х, она стала для меня чудовищным потрясением: ведь Рафа считался лучшим другом!!! Как можно предать друга! Ах! Ох!). Но сейчас я с удовольствием отправился на встречу с ним и именно для него написал свою первую оригинальную работу по истории — уже по еврейской.

Она оказалась связанной с загадкой жизни тогдашнего премьера страны — Менахема Бегина.

Я давно знал (из передач западного радио), что Бегин некогда сидел во внутренней тюрьме НКВД, по приговору был этапирован в ГУЛАГ, в Коми, оттуда как-то выкарабкался и написал о своих тюремно-лагерных приключениях целую книгу — «Белые ночи». Конечно, хотелось ее текст прочитать — сравнить ощущения бывшего зека с моими собственными. И вот оказалось, что повесть «Белые ночи» уже перевели на русский язык и выпустили в свет в Израиле. Ну, достал себе экземпляр и прочитал!

Поразительно интересным показался сюжет — для меня, во всяком случае.

Во-первых, Бегин обладал потрясающей памятью. Он запомнил все мелочи, все подробности ареста, следствия, зоны, освобождения — с точностью, казалось, немыслимой для нормальной личности. Во всяком случае, я, например, так не мог бы все запомнить — а вроде обладаю неплохой наблюдательностью и памятью. Во-вторых, это стало для меня главным стимулом! — он абсолютно ничего не понимал в том, что с ним происходило. Ну ни хрена не петрил, как выражаются на сегодняшнем жаргоне. Иностранец — в полном смысле уничижающего русского термина. Не понимал ни логики работников НКВД, ни сути собственной позиции в плену, ни результата того, что делал... То есть — ни-че-го! Говорю — был подобен нормальному европейцу 30-х гг., все советскую жизнь не понимали, как ни были умны, — ни Фейхтвангер, ни Эмиль Людвиг, ни Луи Арагон, никто из «интеллектуалов» (исключение, вспомнившееся только сейчас, — Андре Жид).

И вот это сочетание абсолютно точного описания происходившего тогда в застенках НКВД с моей способностью истолковывать события вместо самого автора — глазами советского человека, со взглядом из нашей, знакомой мне в деталях жизни — оно меня и вдохновило на новое сочинение. Ах, какой замысел рождался в голове!

Я сел писать...

Идея моя заключалась вот в чем. Как ни удивительно, но в конце 30-х гг. в Москве ни в ИНО НКВД, ни в

НКВД не имели серьезной информации о событиях внутри сионистской среды. Понимаю, утверждение как бы противоречит мифу о вездесущей и всезнающей советско-коминтерновской разведке... Да уж! Кто же мне поверит — про евреев, не про китайцев, не про японцев, но именно про евреев в Союзе ну ничегошеньки не знали. Но тем не менее...

У них имелось все-таки веское оправдание. Великий специалист по нацвопросам тов. Сталин как раз тогда высказался в том духе, мол, если сионисты сделали ставку на англичан (что было, к слову, правдой!), то, значит, сионисты, они есть кто? Правильно мыслите, господа, — они есть английская агентура. Единственный возможный ответ в рамках советского подхода 1937–38 годов. Так примерно со всеми вопросами там и разбирались, почему ж евреев должны были посчитать исключением... Работают пейсатые подлецы на Лондон, и нечего поэтому особо про это разведывать. В ИНО ОГПУ агентуру для Палестины кто создавал, вы-то хоть помните?! Правильно, Агабеков ее создавал, перебежавший на Запад и убитый в Париже коллегами-палачами из ИНО ГПУ. Продолжил его дело кто? Яков Блюмкин, убийца посла Мирбаха, потом резидент ОГПУ именно на Ближнем Востоке. Где он теперь, товарищи? Расстрелян Блюмкин по приговору «тройки», ибо передал подлец Карлу Радеку письмо от Льва Троцкого... Не удивляюсь, что информация, поступавшая от агентуры, завербованной *такими* резидентами, не принималась в Москве во внимание вообще... И Бегина, сбежавшего в 1939 г. из оккупированной вермахтом Варшавы в Вильнюс, арестовали и допрашивали в местном НКВД именно как возможного британского агента. Никак не иначе! Как английского шпиона, пробравшегося в СССР.

Но, услышав от следователя, имени которого он не мог узнать, подобное обвинение, наш великий сионист прямо-таки вскипятился. Как?! Как?! Его партию, его ревизионистов, сторонников Жаботинского (т. Сталин, естественно, зачислял Жаботинского в «еврейские фа-

шисты», поэтому теоретически Бегина можно было и к абверу причислить), именно их, которые всегда враждовали с англичанами, не щадя бойцов, а тут... «Да вы хоть знаете, что недавно одного из наших людей англичане повесили!» — гремел Бегин на следователя со всей силой своего знаменитого ораторского таланта. Хотя русским языком он владел много хуже, чем идишем или польским, но понят был... И неожиданно — весьма и весьма заинтересовал и следователя, и его начальство своей информацией.

Что это такое? Англичане вешают евреев? Каких именно? О-о-очень интересная и, главное, очень своевременная для Кремля информация.

Шел 1940 год. Риббентроп как раз предложил Иосифу Виссарионовичу и Вячеславу Михайловичу новейший проект фюрера — не лезть им в Европу, которая остается сферой интересов Германии, нет, Европа русским совсем и не нужна, зачем она, но — России лучше заняться регионом, который Германию вовсе не интересует (пока, во всяком случае!). Гитлер сформулировал карту будущих российских интересов так — «территории к югу от Баку и Батуми», а в те годы — владения Британской империи. К югу от Батуми, между прочим, находилась и Палестина. А там, оказывается, уже действуют евреи, которые воюют с британцами. То есть УЖЕ воюют? О! Как вовремя-то...

Тов. Сталин от Европы в принципе отказываться не собирался (он прямо просил у Гитлера Финляндию с Болгарией и Черноморские проливы в придачу), но... Иосиф Виссарионович считался прагматиком, т. е. политиком разумным. И не отказывался думать и о добыче, которую предлагал ему фюрер. В конце концов, вдвоем они много чего поделили, почему бы не делиться и дальше? Палестина внезапно попала в сферу интересов т. Сталина и, естественно, далее — в сферу интересов ИНО НКВД. И потому Кремлю пришлось весьма кстати некие еврейские «реви-зионисты», которые с англичанами — уже воюют!

Тем паче, что сообщал об их активности не какой-то сплетник, а человек с самым важным из возможных

титолов в партии. Не шутите — ее «генеральный секретарь» (польского «Бейтара», добавлю в скобках)! Это у сионистов генсек считался должностью вроде секретаря при политическом руководстве, чисто исполнительной инстанцией. Но в СССР «генсек» звучало совсем-совсем по-иному. Генсек в СССР — тот, кто в партии и правительстве решает все! Хозяин партии! Ого-го!

И за Бегина следствие принялось всерьез... А расскажите-ка, Менахем Вольфович, в подробностях, как именно ваши люди борются с англичанами? Кто именно? И тот разорился на допросах со всей страстью и с превеликим удовольствием.

Потом наступил странный эпизод, подробно им описанный, — следователь устроил ему огромный ночной допрос... без протокола. Причем привел на «беседу» переводчика с... идиша! Впервые. И повел разговор на еврейском языке — чтоб не перепутать ничего, чтоб быть абсолютно уверенным в правильности ответов «генсека». Бегин ничего в сути вопроса не понял, кроме того, что сам себе показался в этот раз особо убедительным... Господи, думал я, читая, да какой же может быть допрос в НКВД — без протокола? Такое возможно только, если следователь заготовил материал вовсе не в «следственное дело», а для некоей докладной записки. Для той самой, которая пойдет высоко-высоко — на самый верх...

Бегин огорчился — как ему не повезло в жизни! Он оказался, представляете, последним членом «Бейтара», арестованным органами НКВД в Литве... После него почему-то никого из его сопартийцев больше не арестовывали. Вообще! Перестали брать в подвалы. Более того, через несколько месяцев после ареста (он еще в той самой, внутренней тюрьме НКВД пребывал) примерно 1200 человек из коллег, включая его собственную жену, включая близкого друга, идеолога организации Шайба-Эльдада (с ним Бегин играл в шахматы, когда чекисты пришли лидера арестовывать), всех... выслали! В Эрец-Исраэль. В Палестину. Понятно?! Вы представляете себе эту картинку: в 1940-м году свыше тысячи сионистов правительство

Сталина переправляет через Одессу — в Британскую Палестину?! Нет, советскому человеку не нужно объяснять, насколько невероятно, насколько невозможно подобное событие... Но Бегин никак не связывал сей акт, который казался ему «вполне естественным», с предшествующими своими же показаниями на допросах.

А следствие между тем переквалифицировало ему самому обвинение — вместо заранее объявленной «58-10», т.е. антисоветской пропаганды (это, заметим в скобках, пропаганда на территории вполне независимой Польши), он получил по приговору положенные восемь лет, но как «СОЭ», т.е. как «социально-опасный элемент». Де-факто следствие отказалось от обвинения!! И он отправился в зону не по решению суда, хотя бы и «тройки», а как *административно-изолированный*. И освобожден был почти сразу — по «польской амнистии» 1941 года. Переехал в Ташкент и вступил добровольцем в польский корпус генерала Андерса. К слову — поляки не хотели брать на службу еврея, но почему-то... вынуждены были. Кем вынуждены? Не знаю. Отправился на Западный фронт через Иран, Палестину, дезертировал там — прямоком в местное подполье — и в 1944-м году объявил от имени своей организации... войну Англии. Что и требовалось нам в итоге доказать, не так ли?

Что смущало меня в этом парадоксальном сюжете? Неужели славные органы столь внимательно наблюдали за эком-евреем — в те-то годы? В сорок первом, в сорок втором... Что, делать им было нечего, кроме как думать о Палестине в год Московской битвы? Хотя, с другой стороны, сочинить важное внешнеполитическое задание и не быть мобилизованным вследствие этого в действующую армию — ну, для конкретного сотрудника органов вполне могло показаться сие делом наиважнейшим в его-то карьере... Как бы ни произошло, но мне виделось несомненным, что с показаний Бегина взял начало невероятный поворот политических шефов СССР в их отношениях с сионистами. Поворот завершился через семь лет — поддержкой (дипло-

матической и военной) со стороны Москвы в пользу создаваемого сионистами государства Израиль. Что позволяет, например, сегодня Леониду Млечину сочинить толстую книгу, названную им именно так — «Зачем Сталин создал Израиль?».

Неведомо для самого себя, зэка Бегин сыграл, говоря на оперативном жаргоне, хотя и «в темную», но — перво-степенную историческую роль в возникновении Еврейского государства! — вот что доказывал я в этой статье.

Конечно, хорошо бы проверить мои гипотезы по документам из архивов ЦК и НКВД, это я понимал, но, увы, документы и до сих пор, до 2011 года, крепко-крепко заперты под замок. Почему? Не знаю. Я просил власти «допустить» меня к ним, но получил из посольства России твердый отказ...

Вот примерно такую статью набросал я в начале 80-х гг. в Израиле. И эта работа сыграла удивительную роль в моей собственной израильской судьбе. Нет, не потому, что я якобы возвысил историческую роль действующего премьер-министра, как вы можете (про себя) подумать. Отнюдь! Когда Бегин через несколько лет все же прочитал мою статью (в переводе на английский язык), он высказался примерно так: «Очень интересно. Но сильно преувеличено». И полвека спустя отказывался понимать логику кремлевских товарищей. Упрямый был старик, нет спора!

Интересно, а поверил бы он, если б тогда же узнал, что в советской Литве 80-х годов республиканский ГБ разыскивал его, к тому времени премьер-министра страны, лауреата Нобелевской премии мира, так вот, ГБ республики разыскивал его всех районах Советской Социалистической Литвы — чтобы выдать ему, бывшему зэку, справку о реабилитации. Я сам читал все эти запросы и ответы собственными глазами в архиве Вильнюсского УГБ.

Нет, влияние на мою судьбу оказала не сама статья, а перевод ее на английский язык. Вкратце изложу сию, последующую историю.

Однажды раздается телефонный звонок и незнакомый голос произносит в трубку:

— Михаил Рувимович? С Вами говорит профессор Земцов, директор Иерусалимского института советологии. Я познакомился с Вашей статьей в «22» и хотел бы перевести ее для своего журнала. Вы не возражаете?

Естественно, я не возражал. Вскоре познакомился с Земцовым, и это знакомство и сыграло в моей жизни в Израиле знаковую роль. Но об этом — немного позже.

...Работа есть центральная, главная тема и первейшая из забот каждого из новоприбывших. Во всяком случае, так происходило у нас, у «русских». Будет работа — все остальное как-то приложится... Но как ее, работу, найти?

В штате нашего Центра абсорбции значилась некая должность для дамы — «ответственная за трудоустройство». Говорят, где-то когда-то кому-то «господа ответственные» помогали даже по сути. Возможно. Допускаю. В конце концов, для помощи требовалось лишь читать газетные объявления по теме «требуются» и находить в списках «новоприбывших» специалистов, подходящих под эти объявления. Но наша дама в Гиват-Ольге ни разу никому не помогла и, по-моему, делать это и не собиралась — кабинет пригуждался ей, чтоб водить туда мужиков и запираяться с ними. Бог ей судья, я ж не суперморалист!

С другой стороны, а что она могла сделать в принципе, если сама не знала русского языка, а мы пока в «разговорном иврите» не тянули вовсе. Нас обучали грамматике, «биньянам» (спряжениям глаголов), тут мы кое-что узнали в процессе учебы, даже понимали. Но разговаривать с обычными людьми? Ну, нет, господа, не так много...

А с моей-то экзотической специальностью — вообще никто не понимал, куда меня девать. Наконец, послали Хейфеца в Хайфу, на курсы повышенного иврита, — целую компанию нас возили туда на такси. Впервые в Хайфе я зашел, помню, в израильский супермаркет — и обалдел. Именно — обалдел, так, как рассказывают об этом в советских анекдотах. Дело не в продуктах, в них я ни-

чего и не понимал, но в алкогольном отделе увидел как минимум два десятка названий водок!!! И еще полсотни крепких алкогольных наименований... В СССР, который виделся некоей столицей водочной жизни, обычно имелось лишь два сорта водки на полках — «Московская» и «Столичная». А тут... Боже! Еще запомнившаяся на годы израильская (может, просто еврейская?)... повадка. Под Новый год («Рош-а-шана») принято выбрасывать старые вещи, которые в доме не пригодятся... Я узнал о таком обычае еще в Союзе, когда моя мама увидела у меня открытку, присланную кем-то из Израиля с изображением костра, куда бросают ненужные вещи... Мамино сознание внезапно погрузилось в мир детства, и она тихо-тихо стала мне рассказывать... А здесь я увидел подобное зрелище собственными глазами. Особенно много выбрасывали старой одежды — все немодное, что не станут носить, выкидывали на помойки безжалостно. А для нас, в Союзе, выбросить старое потому, что вышло из моды, — это ощущалось как бы эпизодом из фантастического фильма (когда мои дети, например, выросли из своих детских шубок, нам в голову не приходило одежды выбросить — да вы что! Ведь нигде потом не достанешь! Мы продавали шубки в семье, где имелись свои внучки младшего возраста, и нам платили за них столько же, сколько мы когда-то заплатили за новые — в прибалтийских магазинах... Это виделось нормой советской жизни! Когда наши девицы подросли, то их детские кроватки и качалки я тоже продал — примерно за ту же цену, что стоили новые, и у новых покупателей сомнений не возникло, что они совершали выгодное приобретение. Так мы и жили в Союзе — всегда, сколько себя помню, все берегли, все оставляли на будущее. Говорят, о подобной жизни многие до сих пор сожалеют...). А в Израиле то всякое старье — выбрасывают?!

Нашей семье с этим местным обычаем невероятно повезло. У нас обнаружилась знакомая семья в Израиле... Наташа Радовская, бывшая Адмиральская, жила с новым мужем в Хайфе (мы случайно узнали ее коор-

динаты от некоей лекторши в Центре абсорбции, а та, встретив Наташу в Хайфе, сообщила ей, где мы живем и что с нами)... Встретились — и Наташа начала нам помогать! Добрый по натуре человек, она, библиотекарь в Технионе (Политехническом институте), попросила своих коллег не выбрасывать, а отдавать ей старую одежду. А вслед за ней обнаружил нас «посол советских диссидентов в Израиле» Володя Гиршович (учитель математики), и он тоже собрал где-то и у кого-то огромный мешок со старой одеждой — все в дар. Там были... сейчас страшно признаться... несколько пар американских джинсов. Мои девичьи в Союзе не могли мечтать надеть когда-либо *американские* джинсы. Такая роскошь! Это ж ни за какие деньги невозможно достать, требовались особые связи, особые знакомства... А вот — пожалуйста, дали. Бесплатно! Конечно, выцветшие, конечно, рваные, но, Боже мой, это ж считалось пискom моды 80-х — рвань и пятна! Старость и поношенность! Признаки знаменитого бунта молодежи против капиталистических «приличий» (не знаю, как сейчас у них с этим делом? От моды я остаюсь до сих пор безумно далек — из-за полного равнодушия к одежде. Очень уж, видно, самоуверенный тип!). Так что наши девы надели самые модные, т. е. рваные, джинсы и ощутили себя, наконец, живущими в настоящей загранице... Да и я одел на себя великолепную кожаную куртку, какую в жизни не имел, всегда такая роскошь не по средствам была, да и просто не нашел бы такую нигде, а тут у нее, видите ли, молнию заедало, ее за это собрались выкинуть, ну и отдали «какому-то новоприбывшему»... А я с удовольствием возился каждый раз с этой молнией и ходил истинным-преистинным франтом.

Все это казалось важным, прежде всего для самоощущения детей. Для девочек столь значительным казалось — чувствовать себя не на обочине, одетыми не хуже сверстниц, что их как бы унижало, развивало самое, на мой вкус, жуткое чувство — комплекс неполноценности... Я очень боялся появления такого комплекса у них и кучу усилий прилагал, чтобы его победить! И бесплатная,

предназначенная на выброс одежда помогла мне в самое сложное и самое трудное время, и дети почувствовали себя почти нормально на улице и в классе.

Принципиально новые в жизни ситуации возникали на каждом шагу. Взять, например, тот факт, что деньги — зарплаты, пособия, стипендии — все в Израиле переводилось на счет в банке. Никаких наличных на руки из кассы, как мы привыкли за целую жизнь в Союзе, не полагалось вовсе... Еще — чековые книжки, посредством которых можно уплатить за услуги в магазинах и в других конторах... Какой чек?! — мы никогда в жизни чеков даже не видели, только в романах про них читали... Помню, первый в жизни чек я выписал за форму старшей дочери для ее гимназии, — решил уплатить столь экзотическим способом. Прошло уже года полтора после прибытия в Израиль... Переломное событие в жизни! Или — стою в очереди в банк, нервничаю, очередь двигается медленно, клиенты отвлекают кассиров разговорами, и вдруг замечаю, что Хейфец — единственный в очереди человек, кто вообще тут нервничает. Да, очередь — здесь вещь редкая, но воспринимают ее как некую данность — отстоял, значит, используй свои права так, как и сколько тебе хочется... Так я учился по-израильски спокойно относиться к тратам времени!

Одно из самых поразительных впечатлений этого времени. Иду однажды по улице, подходит ко мне на тротуаре маленький ребенок, лет эдак четырех, сует ручонку в мою руку и говорит: «Отведи меня домой. Мне надо через дорогу». Нисколько не боится чужого человека — он знает, что каждый взрослый на то и взрослый, чтобы ему помогать... Я, конечно, отвел (он показал, куда), пацаненок спокойно кивнул мне на прощанье и ушел к себе, а я все переживал — настолько непохожим показалось это действо на Россию. И насколько симпатичней, правда ведь?

Еще запомнившееся впечатление от Хайфы — пешеходный переход через шоссе. Подхожу к нему, а тут подъезжает машина. Тормозит. И водитель показывает мне рукой: «Проходи. Твое право!» Боже мой, мое право!!!

Право, оно было всегда и всюду, но я ж не сумасшедший, чтоб при виде автомобиля начать пересекать переход по «зебре», меня собьют, я всегда твердо это понимал... Когда-то друг-юрист учил меня, что на «зебре» мы имеем право переходить улицу первыми, помню даже, учил меня на углу Невского и Литейного, на переходе от кино-театра «Октябрь» к гостинице... Вот каким памятливым и удивительным оказался тот урок — на шесть десятилетий памятный! Именно потому, что друг говорил о «нашем праве»... Но я и тогда, на Невском, все равно понимал, что имею дело с профессиональным «закидоном» юриста, обожавшего «право». Скажите на милость... Смешно. А тут! Я перешел улицу и жестом поблагодарил водителя. И хотя прошло с тех пор много-много лет, я и до сих пор, если водители на переходе уступают мне дорогу, жестом их благодарю.

Право. Оно, значит, существует в жизни? Это выдось самой важной новостью в новой стране.

* * *

Среди тех, кто меня посетил в Гиват-Ольге, оказались двое экс-зэков — бывший мой сокамерник, зубной врач Миша Коренблит (он успел в Израиле жениться и привез мне в корзинке показать — похвастать? — новорожденного сына), а с ним в машине прибыл Яков Сусленский, чтобы взять интервью для какой-то украинской газеты.

Дальше произошло следующее.

Вернулся Яков в Иерусалим, пошел на автобусную остановку — позвонить по телефону-автомату (с частными телефонами существовала тогда в Израиле большая-пребольшая напряженка, пока здешнюю телефонную госкомпанию «Безек» не приватизировали. И мгновенно все поменялось! Сам не понимаю, почему и как, но — коренным образом улучшилось, и телефоны начали ставить почти мгновенно!). Встречает Яша у телефонной будки свою соседку по микрорайону — философа из Киева Людмилу Цигельман, та тоже вышла из дому куда-то позвонить. «Привет, Яша, ты куда-то уезжал?» —

«К Мише Хейфецу, в Гиват-Ольгу, в Центр абсорбции». — «Он что, в Израиле?! Если будешь с ним связываться, передай, что им интересуются — в смысле работы — у нас в университете».

Яков и позвонил мне в Центр. «А что за университет?» — спрашиваю. «Наш, Иерусалимский. Там есть кафедра, она занимается советскими евреями», — пояснил Яша.

И я отправился встречать первую Пасху в моей жизни в Иерусалим. В гости к Сусленскому. Заодно — и в университет тоже, людей посмотреть, себя показать. Поехал в универ, чтоб познакомиться с Людмилой Цигельман и узнать от нее, кто и почему мной заинтересовался.

«Центром» в израильских университетах именуют структуру, которая в СССР называли кафедрой. Центр по изучению советского еврейства возглавлял в те годы знаменитый историк, профессор Шмуэль Этингер. Это потом, много времени спустя, я узнал, что приехал он из того же Ленинграда, что и я, если не ошибаюсь, году этак в 1936-м. Выяснил одновременно другую удивительную подробность: оказывается, евреи считались предметом советского экспорта с давних-давних времен — почти с любого года в великие первые пятилетки. Можно было выкупить еврея из советского гражданства за четыре тысячи довоенных долларов! Это считалось вполне приличными деньгами. И вот, 17-летнего Шмулика Этингера его богатые родственники из Мексики так именно и выкупили.

Но он-то вырос в Питере, вырос абсолютно советским мальчиком и, приехав, сделался в Иерусалиме комсомольцем, а потом — местным коммунистом. Такой вот жизненно-политический курбет! Уехать из Ленинграда, чтобы попасть в комсомольцы Палестины... Но признаем, что коммунистом сделался нетрадиционным. Являясь безусловным и искренним приверженцем левых, иногда и крайне левых идей, Этингер принципиально противился любому исполнению указаний в Палестине, данных из Москвы, по велению кремлевского руководства. В итоге расколол компартию, возглавив фракцию,

которая отказывалась получать деньги из казны московского ЦК, и во фракцию вошло несколько единомышленников, как водилось в той среде, все отпрыски сравнительно состоятельных еврейских семей.

Откуда взять деньги на коммунистическую партию, если не брать фунты стерлингов в Москве? Кто-то из молодых интеллигентов додумался, что можно ограбить банк — видимо, насмотрелись фильмов про «большевистские экспроприации». Провалились, естественно, на первом «эксе», и «партия» на том кончилась... Но Этингер, перестав служить генсеком, сделался знаменитым историком Израиля, лучшим знатоком проблем российского еврейства в стране. В сем качестве он числился теперь консультантом бюро «Натив», тайной конторы, курировавшей в правительстве все восточноевропейские секреты, связанные с советскими еврейскими общинами.

Центр, который Этингер возглавлял в университете, реально обслуживал как раз данную «разведконтору», о чем я абсолютно не догадывался. Уже проработав у Этингера восемь лет, я все не понимал, на кого работаю. Узнал лишь через десятилетие после того, как меня оттуда уволили... Когда вопрос касался спецслужб, кажусь сам себе наивным и нелепым юношей.

Итак, «оле» Хейфец появился, наконец, в университете, в Центре у Этингера... Почему и кто мной там заинтересовался? С какой стати? Я не ученый, не еврейский отказник, я российский литератор и публицист, популяризатор... Тем паче — не активист, не «официальный сионист» (или, как их тогда называли, не «казенный еврей»). Совсем иная специализация!

Ответ на вопрос оказался, как я узнал месяцы спустя, оригинальным.

* * *

В Израиле господствовала (возможно, сейчас тоже? Я просто не знаю) клановая система заполнения кадров. Каждая община, т. е. группа евреев, выходцев из той или

другой страны, захватывала какой-то пост, и оттуда назначали «земляков» на другие должности, подваливающие под руку. Самой влиятельной и могущественной считалась тогда по традиции община «польская» — оттуда вышел и первый премьер Давид Бен-Гурион, и многие министры. С приходом же Бегина огромное влияние получила новая община, «марокканская», ибо ее избиратели, став демографическим большинством в стране, как раз и голосовали за «Ликуд», подарив партии большинство в парламенте. Однако в университетах, подчеркиваю, по традиции пока что определяли кадровую политику именно «поляки».

И в нашем Центре, хотя Эттингера всегда называли «русским», кадровые вопросы решали они же. В частности, «поляком» числился административный руководитель Центра, его директор Яков Кельман.

Не так давно эти «поляки», тот же Кельман и Ко, прочитали в самом авторитетном в ту пору журнале, в парижской «Культуре», великом голосе польской эмиграции, что «лучшая книга на русском языке, вышедшая за последние годы», — лагерное сочинение некоего Михаила Хейфеца «Место и время». Стоит отметить, что польские евреи, по моим наблюдениям, страдают (страдали?) определенным психологическим извращением (возможно, я ошибаюсь или не все знаю — в конце концов, я человек в общине посторонний). Итак, мне виделось, что «поляки» терпеть не могли собственно Польшу (подозреваю, что их частенько презирали и оскорбляли в этой стране, и они не могли смириться с унижениями, даже покинув ее навсегда). Но в то же время — молитвенно (опять-таки, на мой взгляд) обожали польскую культуру. «Поляки» всегда виделись мне абсолютной противоположностью в этом смысле нам, евреям русским, которые с большой симпатией относились к России (возможно, потому, что нас, хотя и поносили там, что бывало нередко, но уж всегда-всегда почитали такими суперумными и супер-талантливыми — по-моему, явно не по размеру, но таков уж распространенный русский предрассудок), и одно-

временно «русские евреи» никак не страдали пиететом по отношению к русской культуре (отсюда их поносимое в Союзе «преклонение перед иностранщиной!»). Так вот, прочитав, как высоко ценят неведомого Хейфеца не где-нибудь, а в *самой* польской «Культуре», университетские евреи неведомым Хейфецем вдруг заинтересовались.

...Я появился в университетском кампусе Гиват-Рам, с его изумительным парком, со статуями Генри Мура на воздухе, с дивными аллеями — помню, как стоял перед зданием Центра и не мог поверить своим глазам — неужели возможно, что я, тот самый Мишка, смогу работать вот в *таком* университете? Не может такого быть! всю жизнь, сколько себя знал, меня на любое рабочее место принимали при некоем обязательном условии: это место не хотел занять никто из членов «титульной нации». Мне всегда оставляли только и исключительно чужие объедки. К такой ситуации интуитивно я крепко привык. А здесь на меня внезапно дохнуло: именно то, что я еврей, вдруг стало плюсом. Преимуществом. По *этой* причине меня точно не забракует. Никто не забракует. Чудеса! Совершенно новое ощущение жизни.

В пору такой новости мне шел уже 47-й год...

* * *

Нашел я будущий свой Центр, познакомился с его сотрудниками.

Признаюсь, на тот момент Хейфец значительно переоценивал собственные литературные «заслуги». Как же, как же, такой герой-молодец, написал книгу репортажей из советской зоны. Естественно, меня все обязаны знать и помнить... Почти уникальный литератор — в своем роде! Примерно так ощущал я ситуацию, глупыш. И потому вовсе не загордился, что меня похвалила некая «Культура», — вообще в первый раз услышал про такой журнал. И не придавал факту никакого значения...

Поговорил с профессором Этингером. Он объяснил, что может пригласить меня на работу, только познакомившись со мной как с возможным специалистом.

И опять-таки я и отдаленного представления не имел, насколько специфичной окажется будущая специальность — изучение еврейской истории, насколько она не совпадает с тем, чем я занимался раньше, т. е. с историей российской или мировой, так как в этом предмете все иное — даже первичная терминология! А мои тогдашние познания в еврействе видятся сегодня просто нулевыми, хотя в то время в силу собственного тотального невежества этот факт не смущал меня нисколько. Профессор сообщил, что в университете осенью состоится научная конференция, и я должен подготовить доклад по заказанной им теме. Ну, пожалуйста! «Что нам стоит дом построить»... Я не колебался. На все был готов, нахал!

Темы доклада начисто не помню. Но когда наступил нужный срок, приехал в Иерусалим и выступил. Прошло первое мое «речение», правду сказать, недурственно — даже аплодировали (а на научных конференциях далеко не всегда такое случается). Этингер распорядился: «Подавайте документы!» И — началась новая и очень странная глава в моей биографии.

Мне отказались... начислять зарплату.

Для поощрения новоприбывших ученых тогда разработали любопытную схему. Казна три первых года работы доплачивала им оговоренную часть зарплаты — первый год, помнится, 90% от оклада, второй вроде бы — 70%, третий — 50%. После чего, если отдача представлялась шефу лаборатории или директору предприятия успешной, новоприбывшего переводили на обычный наем. Государственный или частный — смотря кому принадлежало учреждение. Смысл новшества виделся начальству в том, чтобы дать новому деятелю срок — привыкнуть к новому языку, к новой тематике, показать хозяину, на что он конкретно способен, и тот — без особого риска — мог для себя за три года решить, нужен ему этот новый человек на службе или нет (к слову сказать, как всегда бывает в ситуации бюрократических инициатив, хозяева использовали услуги полубесплатного спеца, а потом увольняли его и... брали на ту же работу и на тех же «до-

тационных условиях» нового, точно такого же... Но это — замечание в скобках!)

Доплата из казны получила у «олим» кличку — «стипендия Шапиро», по фамилии чиновника, который ведал ее начислением. Так вот, мне в «центре Шапиро» отказались выплачивать «стипендию». Потому что, мол, я не кандидат наук и, соответственно, не вхожу в категорию ученых, о которых обязано заботиться это министерство. Закон, мол, распространяется только на «остепененных». Куда ж деваться? Против закона ж не попрешь! Я все понимал и даже в каком-то смысле сочувствовал.

Но — все-таки пожаловался на судьбу Рафе Нудельману: мол, какая же извращенность царит в жизни. В Советском Союзе меня по политическим мотивам удалили из аспирантуры, а в Израиле по той же самой причине, т. е. практически за антисоветизм, никак не берут на работу... Рафа попыхтел и, как выяснилось, пересказал всю историю Воронелю.

А дальше вокруг моей судьбы развернулись забавные игры.

В Хайфском Центре абсорбции какой-то репатриант в те месяцы покончил жизнь самоубийством. Возмущенные соседи объявили всеобщую забастовку «новоприбывших». Не помню уж, чего они требовали — тридцать лет прошло все-таки... К нам в Гиват-Ольгу приехали их представители, и дирекция Центра попыталась удалить возмутителей спокойствия из казенного здания, согласно классике жанра — мол, не получено разрешения на такое заседание... Тут я как-то естественным образом угодил в общественное начальство, меня выбрали главой земляков в Центре абсорбции Гиват-Ольги, и в этом качестве я попросил отставного боксера выставить представителей дирекции куда подальше. Кулаками, если понадобится. Не затем мы уехали из Союза, чтоб нами тут новое начальство помыкало...

На общем собрании «ольгинцы» решили присоединиться к забастовке. Меня выбрали их делегатом в общезабастовочный комитет. Поехал я с этим мандатом в Хайфу... Там поучаствовал в пресс-конференции, кото-

рую возглавил представитель политической оппозиции в стране (какой же протест — без партии оппозиции!). Но, слава Богу, этот хоть знал русский язык — оказался знаменитым дипломатом (в эпоху социалистов — представителем Израиля в ООН) и еще более знаменитым оратором, Йосефом Текоа.

Так, неожиданно для себя, я попал в этот мелкий политический водоворот.

И — решил написать о забастовке, о ее причинах, ходе, стремлениях — довольно скептическую статью. Для «22», конечно. Или Рафа меня на такую статью подтолкнул? Уж не помню. Статью напечатали — в одном из номеров журнала.

И тут — началось...

Номера «22» читали в разных конторах страны, частных к русской эмиграции. И на некоем заседании кто-то стал хвалить мою статью. Мол, человек пишет разумно, будто не новичок в стране, толково в местных реалиях разобрался.

— Да... — протянул задумчиво Воронель. — В России его в аспирантуру не взяли за антисоветизм, а здесь за это же самое в университет работать не пускают...

— Как? — поразился председательствующий, знаменитый физик Юваль Неэман.

Воронель пересказал ему — как именно.

— Вы уверены? — спросил Неэман.

— Абсолютно. Знаю от человека, который в те годы был аспирантом и живым свидетелем происшедшего.

(Что, к слову заметить, было не совсем правдой — мы с Рафой в те месяцы как раз рассорились, и тогда он ничего про мои пертурбации с аспирантурой не знал)...

— Я этого так не оставлю, — заявил Неэман. — Я им позвоню.

... Получаю я вызов в Иерусалим, в контору Шапиро. В чем дело?

— Немедленно подавайте документы на стипендию! — отвечают. — Нам звонил Неэман...

Я по-прежнему — глуповат! При чем тут Неэман? Есть же закон! Я как был, так и остаюсь НЕкандидатом советских наук и не подхожу, страшно вымолвить, под — «Положение о стипендиях».

— Какой закон! — возмутился представитель «Шапи-ро». — Сам Неэман позвонил. Представляешь!

Я и тогда не понимал и до сих пор не слишком понимаю, почему звонок даже очень авторитетного человека (а Неэман, мало того, что считался в Израиле великим физиком, он был заодно и выдающимся военным, кажется, одно время возглавлял военную разведку Армии обороны Израиля), так вот, как звонок даже очень важного человека мог отменить... закон. Но все-таки — ума хватило не спорить, и документы я подал...

Если вы думаете, что тут же я и поступил на первую службу в Израиле, то вы, охо-хо, — большие и светлые оптимисты. Каким и я состоял в то самое время.

Проходит месяц за месяцем, а деньги на мою зарплату в университет не переводятся... Полтора года прошло в общей сложности, пока что-то решалось... Директор университетского Центра недоумевал: «Я ничего не понимаю. Совсем ничего. Если бы ты отнес свои бумаги сам, а они ничего не сделали, — ну, это обычное дело. Так они всегда работают (! — sic). Но ведь твои бумаги отнес я. Персонально — я сам. Я сказал им, что ты нам нужен. Какой им еще нужен повод?»

Но не поступало из министерства — ни согласия, ни отказа... «Вопрос решается». Где? Кем? Когда?

Но кормиться-то семье требовалось. И для этого — что-то зарабатывать. Стал я искать другую службу... Ну, не буду работать в универе — не беда. Я и раньше никогда там не работал... И сейчас не буду.

Первое, что подвернулось, — место секретаря редакции в «22».

* * *

История ежеквартальника «22» заслуживает некоего отступления от сюжета.

Бюро «Натив», которое выше упомянуто как секретная контора правительства по советско-еврейским делам, надумало однажды выпускать «толстый русский журнал». Посвятить «орган» проблемам советского еврейства. Кто-то, видимо, разъяснил израильским чиновникам, что в России по традиции важные общественные проблемы обсуждают в «толстых журналах» (по-моему, на Западе журналов такого типа вообще не существует — допускаю, однако, что не все знаю). В Европе или Америке общественными делами заняты нормальные политические организации или клубы, но в России любые подобные группы запрещались, и толстые журналы — и при царях, и в СССР — долго исполняли странную функцию штабов несуществующих общественных организаций. Так вот, если уж обсуждать в Союзе еврейские вопросы, то Израилю нужен толстый журнал! И решили по-первости начать издание с альманаха на русском языке под названием — «Сион».

Поскольку замышлялся «Сион» как чисто пропагандистское издание, вроде какого-нибудь «Советского Союза» или «Братской Кореи», то соответственно подбирались материалы — восхвалялся, например, сионизм (ну точно как коммунизм), восхвалялся Израиль, словом, это было нормальное советское издание, только с иной идеологической координатой. Примерно как радио «Голос Израиля», о котором я писал в предыдущей книге.

Когда в Израиль стали приезжать активисты, выпускавшие в СССР «самиздатский» журнал «Евреи в СССР» (то издание, куда Володя Маразмин обещал «пристроить» мою статью о Бродском), а ими оказались поначалу Рафаил Нудельман, Александр Воронель и великолепный журналист Илья Рубин, ну, и кое-кто из их коллег по московской редакции, то естественным образом их привлекли к работе «Сиона». Они попробовали там работать, а потом объяснили господам начальникам, что бездарно-пропагандистское чтиво никто в Союзе, тем паче среди «русских евреев», читать не станет — просто времени на чтение жалко. Но можно ли на что-то прак-

тическое уговорить больших начальников, отвечающих за пропаганду и имеющих ясную политическую цель? Нельзя! Вот и Нудельману с Воронелем — не удалось...

Словом, после 21-го номера «Сиона» в редакции вспыхнул бунт — приезжие «новички» восстали против сионистского истеблишмента. В конце концов, люди, не боявшиеся советской власти, тем паче не боялись власти израильской. Бунтовщики демонстративно вышли из редакции «Сиона» и создали собственный журнал — естественно, сионистский, но такой, где обсуждались реальные проблемы идеологии и живого Израиля, включая бюрократию, тупость, зашоренность чиновников, предрассудки элиты... Словом, создали «журнал еврейской интеллигенции из СССР», и его не стыдно было читать тогда, как не стыдно перечитывать сегодня (что я и сделал перед тем, как написать этот абзац). Хороший журнал, настоящее зеркало своего поколения!

Но... Кто ж им выдаст на такой журнал деньги? Хотя бы просто на первичную информацию для читателей, что он существует? Новые издатели не имели ни-че-го. Ни лиры (тогдашняя израильская валюта), разве что — собственные таланты и дерзость.

И придумали хитрый, как им виделось, трюк. Поскольку «Сион» уже успел завоевать (с их помощью) некую известность у местных читателей, они взамен названия нового издания напечатали на обложке своего первого номера крупно-крупно... номер следующего по счету «Сиона». То есть — номер «22»! Чтобы потенциальный покупатель, увидев обложку на витрине ларька, подумал: «Наверно, это 22-й номер “Сиона”» — и купил. А там как сложится — будет видно... Может, и привыкнут люди!

Так возникло диковинное название — «22». Позднее сочинили, якобы это сделали в честь двадцати двух букв еврейского алфавита, но это — уж потом...

Туда меня и пригласили на работу. Первую работу в моей израильской жизни. Получить место — великое счастье, так что я даже засомневался: не «подкузьмил ли» предыдущего секретаря, не лишил ли человека места —

совесть меня заедала. Я не догадывался, как мало платят в «русских» конторах, включая «22», не понимал, что любой прижившийся в стране человек просто не может работать за тамошнюю зарплату. Мой предшественник ушел, естественно, сам, из-за малой зарплаты, — я даже, как выяснилось, выручил тогда редакцию, согласившись работать за ничтожные деньги. А у меня — выбора не имелось. Впрочем, у редакции тоже...

Одновременно я неожиданно влез в другую, теперь уже общественную работу.

Вышеупомянутый Текоа, крупный деятель социалистической партии, пригласил меня вступить в организацию (уж не помню ее названия), которая должна была готовить скорые парламентские выборы среди русскоязычных избирателей. Там я впервые начал присматриваться, анализируя в уме, к социальной психологии местного населения и особого его подразделения — бывших советских евреев.

* * *

В наше время в Израиле модно противопоставлять две общины «русских евреев» — так называемую «алию 70-х», тех, кто прибыл в страну примерно с 1971 по 1980 гг., и «алию 90-х», волну беглецов из разваливавшегося СССР, ту, что появилась в стране примерно с 1989 г. и до середины 90-х гг.

«Семидесятники», как нас уверяют, якобы сплошь смотрелись «идейными», национально настроенными, сионистами-патриотами, а «новая алия 90-х», напротив, бежала из СССР исключительно из страха перед голодом (или погромами) и мечтала о богатствах Запада, — их и прозвали «колбасной алией» по аналогии, как я понял, с поездками советских провинциалов в Москву — за колбасой. Естественно, симпатии общества как бы по определению отдавались нам, так называемым семидесятникам.

Как человек, прибывший в страну на излете именно 70-х, я могу говорить только о личных наблюдениях — за теми и за другими, т. е. только о том, что видел соб-

ственными глазами. А чего не видел — про то говорить не стану. Не слишком и умею это делать.

Так вот, никаких «идейных» новоприбывших в нашем Центре абсорбции, например, просто не видел. Ни одного. Даже моя жена (как выяснилось со временем) предпочла бы поехать в Америку, но мне об этом не молвила ни слова, а я, слепец, не догадывался... Все евреи из нашего Центра, действительно, хотели удрать из СССР, это есть чистая правда, но они не особо этим отличались от своего русского окружения... Подавляющее большинство мечтало «жить хорошо», т. е. зажиточно, — и ничего большего им было не нужно. Я, упаси бог, не в упрек кому-то говорю — по-моему, вполне нормальное поведение вполне нормальных людей. Как и желание прикрыть естественный социальный эгоизм красивой идейной оболочкой. Ну, назовем ее «национально-еврейскими убеждениями».

Немало прибыло в 70-е годы и так называемых деловых людей (с семьями) — эти-то элементарно побаивались, что, задержавшись в Союзе лишку, попадут при очередном туре борьбы за «честную торговлю» в зоны общего режима или, в лучшем случае, в ссылку. Где-то имелись единицы — буквально — идейных сионистов, но и к этим «исключениям» у меня постепенно сложилось весьма скептическое, даже ироническое отношение. Пусть Бог меня простит!

Я замечал, например, что многие «идейные сионисты» предъявляли к реальному Израилю весьма завышенные требования — не как к нормальному живому государству, со своими достоинствами, но и своими недостатками, со своими компромиссами и повадками, а как к некоей модели, к этакому идеалу, сочиненному в начитанном уме. Что меня особо отталкивало — наши «идейные» нередко требовали от казны какого-то особого отношения к себе лично, льгот, например привилегий, положения... Словно за «боевые заслуги» в Союзе их должны были тут щедро наградить. А когда — рано или поздно — убеждались, что местная элита смотрит на них как на рядовых спе-

циалистов, которые просто должны работать заново на том месте, которое для них найдется, ужасно обижались — именно на Израиль... Вплоть до... эмиграции отсюда! Многие из крайних «патриотов», особенно блиставшие в печати претензиями к стране и ко всем окружающим, к остальному миру, вдруг удалялись из страны — кто в Канаду, кто в Штаты... Особенно мне бросалось в глаза их принципиальное отличие от чистокровных русских людей, которые приезжали в страну на правах членов еврейских семей и ни на что, естественно, здесь не претендовали, да и не хотели претендовать. Вот *эти* как раз выглядели искренне благодарными Израилю за все хорошее, что тут получали! Зато статью одного из самых жарких «еврейских патриотов» я однажды читал в канадской прессе — экс-сионист на сей раз поучал канадцев, как им лучше обустроить *свое* государство. А другой «крайний критикан», не сумевший сделать в Израиле карьеру (хотя он служил даже в бюро «Натив»), завершил неприятие страны переходом в... православие, а после реэмиграции превратился в православного проповедника, учившего теперь уже русских людей, так сказать, «правильному православию». Идейный человек, чего вы хотите!

«Алию 70-х» в моих глазах отрицательно характеризовало несколько ее «упорных» традиций. Во-первых, эти евреи цепко держались за свои прежние специальности, за былой «диплом». Сменить профессию — выделось им великой трагедией. Я сам был такой же типус, несколько не лучше прочих... Во-вторых, они виделись мне необыкновенно самоуверенными в том, что якобы, мол, «знают жизнь». При этом не понимали самого главного в ней — психологии нового, ивритского окружения, не знали местных нравов и привычек, но зато — вооружены великим знанием того, что считать правильным, а что нет... Словом, оставались по психической сути вполне советскими людьми! Я их так и называл — «советские антисоветские люди».

Например, на любых форумах (особенно с участием местной публики), где я частенько бывал, «семидесятни-

ки» считали абсолютно необходимым обязательно ругать все советское! Вот как выучили в Союзе — ругать все капиталистическое, если побывают в Америке, значит, здесь — напротив, надо ругать все советское. Они ж как бы «понимали», зачем их собрали, какова цель организаторов — надо «разоблачать советскую систему»! Ну и разоблачали — старательно-престарательно и в лоб. В духе газет «Правда» и «Известия», только в иную сторону, чем раньше. Один из докладчиков, помню, объяснял собравшимся, какая ужасная в Союзе система образования — заставляют вместо специальности учить марксистскую философию и экономику. Только тем, мол, и заняты российские студенты... Публицистка Нелли Гутина, выслушав, спросила его: «А здесь Вы где работаете?» — «По специальности. Я — инженер на авиационном заводе». — «Вы понимаете, что если Вы говорите правду, то Вас немедленно надо отсюда гнать. Вы же нам все самолеты испортите!» Докладчик ошеломленно заткнулся: с этой перспективы он никогда свои выступления не рассматривал...

«Русские семидесятники» любили жаловаться, как их «зажимают» в Израиле, как никуда не пускают, нигде им не доверяют... Частично это правда, я уже упомянул, что выталкивали здесь наверх преимущественно людей своей общины, а «русским» доставались только те места, на которые чьи-то «земляки» не претендовали вовсе. Обычная практика, распространяемая вовсе не только на «русских», но на всех «чужих»! Но плюс к этому — «русские» еще и оказывались во многом виноваты сами — они любили к месту и не к месту поливать все советское, включая не только образование, но саму организацию производства, низкую производительность труда, работу ИТРов «на картошке» и прочее, и прочее. Израильтяне воспринимали их стоны-вздохи-разглагольствования не как «агитацию и пропаганду», каковой по советской привычке «ораторы» предавались на трибунах, а в виде любопытной и экзотической информации о неизвестной стране. Ну, и старались не брать на службу людей, которые привыкли вот *так* скверно работать — «ну, у себя, там».

Да и другие качества «идейных семидесятников» нередко разочаровывали аборигенов. Например, заведомая беспринципность их массы. Помню, после первой встречи с Текоа мы с компанией новоприбывших возвращались на север из Тель-Авива в одной машине, и я с изумлением убедился, что все — без исключения! — мои новые попутчики — люди резко правых убеждений. Им даже бегиновский «Ликуд» казался чрезмерно «уступчивым» по отношению к арабам. Как же они будут работать на «левую партию», на социалистов? — думалось мне. «Что поделать — жить же надо», — со вздохом признался некто из них, остальные согласно промолчали. Это крепко мне запомнилось. И шокировало очень сильно, не скрою...

В отличие от них, новая волна, волна «девяностых», выглядела много — для меня лично! — симпатичнее. Очень чувствовалось, что приехали люди из уже относительно свободной страны, пережившей перестройку. Психологически — гляделись уже не совсем советскими людьми. Нормальными! Прежде всего, ничего не требовали в «вознаграждение» за то, что выбрали нашу страну. Знали, что спасались — и ощущали, что процесс спасения надо продолжать и на новом месте. Поэтому брались за любую работу, какая подворачивалась, и стремились заработать — где угодно и как угодно, лишь бы за работу поприличнее платили. И престиж работы определялся именно по-западному — величиной положенной зарплаты. Не дипломом, не «положением», таким, чтобы секретарь райкома тебя принимал дома... Что вовсе не мешало стремительной мобильности! Сегодня, глядишь, полы моет или улицы убирает, а завтра — нашел ставку в конторе или на заводе, и уже производством управляет или целой конторой. И то и другое для него — дело, которое надо делать хорошо, чтобы выжить и в итоге достичь нужного уровня. Очень мне такая подвижность нравилась. Кроме того, нравилась западная по сути инициативность: они не ждали милостей от начальства, которое оценит чей-то «патриотический подвиг», а основывали собственные предприятия и рисковали — проигрывали

часто, но и выигрывали нередко. Смело меняли специальность на нужную, которую в данный момент требовал рынок, не боялись влезать в кредиты, покупали новые квартиры. Молодцы!

К слову, и та и другая «алия» необыкновенно пригодились Израилю — каждая в своей особой роли.

«Семидесятники» прибыли в страну после Шестидневной войны, когда мировой капитал внезапно уверился в прочности Израиля и начал активно вкладывать сюда новые деньги. Социалистическое правительство, естественно, воспользовалось моментом, чтобы развернуть оборонную индустрию — никто же в верхах не сомневался, что скоро возникнут новые войны. Арабы-соседи прямо заявляли о будущем реванше! А местные инженеры относительно неохотно шли на казенные заводы, ибо местный деятель с высшим техническим образованием предпочитал найти работу на частном предприятии, где зарплата и условия получше, чем у казны, либо можно открыть собственную фирму-контору. У местного специалиста часто имелись в запасе готовые связи, готовые покровители, обещанные кредиты. «Русские» же (а среди них имелось немало инженеров и иных спецов), напротив, охотно шли на государственные заводы и фирмы. Там им привычнее было, надежнее, и условия виделись более «сохранными», что ли, — местные не слишком лезли туда с ними конкурировать! Так что огромные успехи израильской оборонки, о которых почти не говорят до сих пор (как же, как же, военная тайна!), в огромной степени, я уверен, обязаны именно русско-еврейским «70-х гг.» мозгам и рукам! Напротив, «алия 90-х» появилась в стране в эпоху Ословских соглашений — первой исторической попытки всерьез договориться о мире Израиля с палестинцами. Соответственно, здешней элите виделась впереди целая мирная эпоха (был заключен, например, мирный договор с Иорданией, велись переговоры о мире с Сирией) — короче, можно было попробовать сэкономить на военно-промышленном комплексе. На армии сэкономить и, в первую очередь, на оборонке.

Ее и стали сокращать. Но... увольнялись-то оттуда самые лучшие инженеры страны, которые выходили «на свободу» с солидными компенсациями (месячную зарплату им выдавали враз за каждый год, проработанный в фирме), с наработанными связями, с информацией, возможностями. И как раз в то время в мире проходила научно-техническая революция, наступала эпоха новой, информационной технологии. Инженеры стали создавать частные фирмы, которым не требовались чрезмерно крупные первоначальные капиталы, а главное, в чем они нуждались, — в образованных и хватких кадрах специалистов. И они получили такие кадры — прежде всего из России (недавно промелькнула информация, что в «стартаповых компаниях Израиля» до 40% специалистов — бывшие российские евреи). Они помогли Израилю, в сущности, за одно десятилетие перескочить из статуса развивающейся, хотя и быстро, страны в новый ранг — в ранг *развитой* державы.

* * *

Здесь, наверно, подходящее место — упомянуть про известную всем в Израиле политическую «правизну» русских евреев.

Наверно, в какой-то мере социалисты действительно могли рассчитывать, что «русские» станут их электоратом, все же мы приехали из державы социализма, там нас воспитали, с преимуществами той системы ознакомили. Но русская «гопа» голосовала по первости именно за «правых»... Почему?

Бывший президент США Клинтон недавно высказался в духе, мол, «русские евреи» сорвали процесс мира в регионе, именно они до сих пор задерживают это «необходимое дело»... Мне с моей, известной в Израиле «левой колокольной» должно вроде бы встать на защиту «русских»: мол, никак нет, господа, «наши» — они вполне миролюбивые люди, они благонамеренные и все такое прочее... Не клевете, дескать, г-н президент, на моих земляков! Но, увы, что правда, то правда — «русские из-

биратели» интуитивно оказывались обычно «правыми» — по исконным убеждениям, даже если оказывались иногда «левыми» избирателями. Иногда даже «крайне правыми», вечными скептиками в переговорах с арабами. Однако — утверждаю уверенно — их «правизна» возникла вовсе не из-за какой-то воинственности «совков» («русские евреи» ненавидят и боятся войны, как все прочие русские люди) и даже не из-за жадности к захвату чужих земель, которые потом объявляются «исконно нашими» — как долго водилось собственно в России и вот теперь — в Израиле... Нет, мотивом «русского» скепсиса и недоверчивости служит, прежде всего, знакомое всем чувство — глубокое недоверие к честности партнеров, почти инстинктивное убеждение, что «арабы дурят нашего брата». Притворяются, что хотят мира, а сами мечтают в душе о победоносной войне. И такое восприятие вынесено из опыта нескольких советских поколений, из реальной практики советских правительств, оно нам действительно присуще... Так и есть!

Такое у нас прошлое, и если наши люди ошибаются — что ж, первыми покаются, будут рады ошибиться, но, увы, в такую ошибку пока что никто из нас не в силах поверить.

В Союзе власти полагали (исключая разве что единственного генсека — Горбачева), мол, выполнять заключенный с кем-то, хоть со «своим», уж тем паче с чужим партнером договор нужно только до тех пор, пока такой договор несет тебе выгоду. Как только выгода становилась сомнительной — в силу появившихся новых обстоятельств или новых соображений — договор нарушался сразу и без какого-либо зазрения совести. Так было в Союзе всегда — при Ленине, при Сталине, при Хрущеве и Брежневе...

К слову — это вовсе не особое российское (или там арабское) свойство. Нет, так воспринимает право любое «революционное правосознание». Революционисты всюду открывают внезапное для себя преимущество силы и власти над законом и правом (которые, т. е. закон и право, они же первоначально так яростно отстаивали) — как эта-

кую новую, революционную картину мира! Такими мне видятся любые «новаторы» и «вдохновители» в истории, во все времена, у всех народов... Возьмите, к примеру, крестоносцев, которым римский папа дал разрешение нарушать любые клятвы и крестоцелования, заключенные с «неверными» мусульманами. Почему? Поскольку те — «неверные», а обманывать «неверных» есть дело вполне нравственное. Сколько бойцов рыцари зря потеряли, сколько могущественных врагов приобрели, пока не сообразили, что — элементарно проигрывают, не имея возможности договориться с врагом в случае возникшей в том нужды. Или другой, более близкий пример — гений революции Наполеон. Сверхэнергичный император в походах абсолютно не считался с международным правом, ни с каким нейтралитетом, захватывал все, что ему виделось плохо охраняемым, не затрудняя себя даже придуманным поводом. Оккупировал нейтральные княжества, города, если их захват виделся ему тактически выгодным. И считал себя вполне «современным политиком»... До тех пор, пока мирный договор и соответственно международное право не потребовались ему самому — после Лейпцигской битвы и особенно после возвращения с Эльбы! Но тогда уж никто не соглашался с ним договариваться ни о чем — ибо все помнили, чем соглашения с узурпатором оборачиваются... Союзникам требовалось мобилизовать заново армии, начать новую войну — без какой-либо выгоды для своих стран, без всякой нужды в новой бойне. Но они все-таки отвергли мирные предложения возвратившегося императора, им требовалась его полная и безоговорочная капитуляция (как в ситуации с таким же революционером XX века — Гитлером).

То же соображение у меня — относительно Ленина с Троцким. Этим вождям казалось модным, революционным, новаторским — перечеркнуть международное право (буржуазное!) и особенно мировые договоры, тем паче тайные. Но через три-четыре года после Октября оба убедились, как невыносимо самим, как вредно — клацать зубами на весь мир и не встречать никакого мирного от-

клика. Оба стали искать поводы и зацепки, чтоб установить какие-то отношения с западными партнерами (Генуэзская конференция, Рапалльский договор с Германией и все прочее)... Особенно забавен поворот в отношении к мировому праву у Льва Троцкого, который в новой эмиграции громогласно негодовал на гнусные и беспринципные буржуазные правительства, которые не хотели дать ему, злейшему своему врагу, политическое убежище, приют для изгнанного вождя Красной армии! «Они свое собственное *право* нарушают!» — возмущался Лев Давидович. Как будто сам дал бы хоть какой-то приют какому-либо иностранному политику (не считая, разумеется, коммунистов) — пока был у власти.. Уж тем паче товарищ Сталин, тот расторгал любые заключенные договора, даже лично им заключенные, с такой же легкостью, с какой сажал в подвалы НКВД самых верных своих соратников и личных друзей по Центральному комитету.

Советские евреи, насмотревшись на эту большую-большую школу политики, поняли — против Израйля воюют не просто арабские правители, но, первее остального, — арабские «революционеры». «Революционисты» эти захватили власть в Египте, Сирии, Ираке, свергают и убивают земляков-арабов, королей и эмиров, и нет у таких типов более удобного орудия поднять массы бедного и несчастного народа, чем обещать ему реванш и сокрушение «еврейского агрессора». Любые переговоры с *таким* врагом виделись «русским евреям» ненадежным, опасным трюком арабов. Лучше надеяться на собственную силу — уж она-то не подведет. А если подведет, так жаловаться, кроме как на себя, хотя бы не придется...

Повторяю еще раз — я не говорю, что «русские евреи» были и остаются справедливыми в своих сомнениях относительно намерений арабов. Очень часто, с моей точки зрения, они как раз ошибались — как ошибались их коммунистические наставники! И вообще, — чтоб судить о правоте, надо, прежде всего, самому погрузиться в арабский мир, а я этого сделать никак не могу...Но именно

так гласил исторический опыт советского еврейства, они на него полагались и — имели на то законное право...

Когда мы появились в Израиле, Бегин как раз незадолго до того заключил первый в истории страны мирный договор с соседом — с Египтом, конкретно — с тамошним президентом Анваром Садатом. Нас буквально облепили местные люди, которые каждый день ждали — знаете, чего они ждали? Что Египет снова нападет! Вот получит то, что ему хочется, т. е. Синайский полуостров, уступаемый ему Израилем, и обязательно начнет новую войну. Это ж арабы, говорили нам, вы что, не понимаете? Не мира в Кэмп-Дэвиде люди в Израиле боялись, вовсе нет, они боялись как раз последующего начала войны.

Я старался внимательно вглядываться и вслушиваться в новое окружение — но при моем-то «знании» иврита это оказалось более чем трудным делом. В какой-то степени выручала лишь русская пресса в Израиле.

* * *

Главным «русским» органом СМИ считался в те годы еженедельный тонкий журнал «Круг».

Возник «Круг» естественным для Израиля способом — ну, почти как «22»... Существовал некий журнал для «русских», кажется, назывался «Клуб», открытый на деньги ивритян, не знавших ни русского языка, ни тем паче «русской» ментальности. И прогорел, конечно, что тоже естественно, хозяева решили его закрыть... Впрочем, все произошло до моего прибытия в страну и я знал о «Клубе» только по слухам. Несколько рядовых сотрудников «Клуба» во главе с бывшим рижанином Георгом Морделем пришли к хозяевам и предложили: «Отдайте издание нам! Если не справимся — закроете. Но мы-то знаем, как работать с аудиторией. Мы выстоим и принесем прибыль». И сумели убедить хозяев — те попробовали...

Мордель оказался нормальным советским журналистом (а кем еще он мог быть!) — т. е. человеком напористым, идейно-убежденным, пропагандистом, агитатором и организатором масс — в полном соответствии с ленин-

ской концепцией, изложенной в «Партийной организации и партийной литературе». Но... Но ему требовалось выживать на рынке, а не вести в Израиле агитацию, как того, может быть, самому хотелось бы... А для этого требовались, прежде всего, здравый ум и деловая хватка, которые оказались у журналиста в наличии, у нового главного редактора «Круга» (название журналу выбрали похожее на «Клуб»)! В чем нуждался «русский» потребитель на самом деле? По мнению Морделя, в информации о стране — любой, но главное — разнообразной информации. Потребителю нужны были разные точки зрения, чтоб самому составить *свое* мнение. А что полагает правильным и что считает нужным делать господин журналист — от этого люди, естественно, не откажутся, от чьих-то авторских соображений, но слепо им доверять — после уроков Союза — не станут. И Мордель осознал требование рынка — в том заключался его немалый талант журналиста. Вопреки собственным, а также ленинским представлениям о политике, морали, войне, мире — он дал на страницах «Круга» голос всем-всем-всем... Ну, почти всем (честно говоря — кроме коммунистов. Преодолеть исконную неприязнь к ним все-таки не мог). Но остальным левым оппонентам, с которыми вусмерть оказывался не согласен по главным вопросам местной жизни, — давал слово в своем журнале. Брал интервью, печатал их статьи... Причем тут же, на соседних страницах, поливал оппонентов из всех авторских сил в редакционных статьях — но это читалось как его частное мнение, кто-то мог согласиться, кто-то нет... Именно такой журнал — журнал для всех, журнал, в котором читателя учили жить в разнообразной стране, где ни у кого не имелось патента на правоту, не имелось вечной правящей партии с ее идеологией, — в таком чтиве и нуждался новый читатель.

«Круг» пользовался феноменальным успехом! Меня Мордель однажды тоже пригласил поработать у него... Дело оказалось привычным — править тексты авторов, которые самый предмет, тему, затронутую в предлагаемых статьях, знали неплохо, но двух слов связать не могли... А я за годы работы с генералами и летчицами как раз

к подобной службе по привычке... Видать, неплохо получилось, если один из учредителей журнала, который как бы заболел и на чье место меня временно пригласили, уже на третий день моей работы спешно выздоровел. Но и за эти три дня Мордель заплатил мне, что было с его стороны честно и очень кстати — в то время я жутко бедствовал.

Но, как бы ни было, «Круг» регулярно публиковал интересные отзывы о положении на Среднем Востоке плюс материалы самых интересных авторов — в переводах со всех языков, и с его помощью я стал понемногу разбираться в существе местной политики.

* * *

По моему ощущению, именно в то время — я особо оговариваю — оба ближневосточных народа, арабы и евреи, погрузили свои сознания в самые глубины национальных легенд.

Евреи возлагали свои главные надежды на Тору, на Библию. Не о религиозных евреях я упоминаю — они особая, весьма интересная порода, которую обязательно затрону, но как-нибудь потом. Нет, говорю о светских, т. е. главной массе израильтян, воспринявших Тору... Ну, примерно, они читали ее, как русские люди перечитывают «Повесть временных лет» — как изложение несомненных фактов своей древней истории. Соответственно — сионизм виделся им возрождением старинной, хотя утраченной родины — причем на тех самых местах, где она, родина, возникла и процветала.

Мировоззренческая же *проблема* еврейства ощущалась мной таким образом — если уж воспринимать факты Библии как несомненную истину. Согласно текстам Торы, два еврейских королевства, Израиль и Иудея, располагались в Палестинских горах, т. е. как раз в тех районах, где нынче жили именно арабы-палестинцы (оговариваю: в те годы, т. е. три десятилетия назад, самый термин «палестинцы» только-только входил в быт, я имею в виду — даже в быт собственно арабский... Арабы пока предпочитали именовать себя именно арабами, а никакими не палестин-

цами). Получалось в современной географии, что регион, который в СМИ именовали «Западным берегом», как раз и составлял древнюю территорию еврейского отечества (евреи пришли в Ханаан — древнее название Палестины — через Заиорданье, с востока, поэтому вторглись сюда возле Иерихона, нынче чисто арабского города). Именно там они преимущественно обосновались в древности. А в XX веке евреи напротив прибыли в Эрец-Исраэль с противоположной стороны, с запада, и селились, естественно, на побережье, т. е. в тех районах, где в древние времена жили совсем иные племена, например «народы моря» (видимо, родственники эллинов). Тогда эти греческие племена именовали «плиштим» (палестинцами). Тех, древних палестинцев, видимо, уничтожили ассирийцы, одновременно уничтожившие оба Израильских королевства, потому та территория, где после 1948 года в результате Войны за независимость расположился современный Израиль, как раз не входила, как правило, в «исконные земли». Иное дело — Иудея и Самария, «Западный берег», вот там и располагались по Библии оба региона — Иудейский и Израильский. Там-то и проживали нынче арабы... Евреи, правда, завоевали весь «Западный берег» в Шестидневную войну — ну так и включили бы его в территорию Израиля, это вроде бы по Торе считалось правильным — «наше же, ну, исконное»! Никто бы особо даже не возражал... Но подобная аннексия реально означала бы передачу власти в Израиле... арабскому большинству... Де-факто аннексия означала бы ликвидацию Еврейского государства! На это не могли решиться даже самые отъявленные «патриоты» типа Бегина, и евреям, выходит, катастрофически не хватало в Израиле вовсе не территорий, на что они жалобно вопили по миру («ах, какое у нас маленькое, совсем малюсенькое государство», и оно действительно составляло одну тысячную долю от Советского Союза), нет, стране остро не хватало... евреев! Не хватало — населения. Если бы, как полагалось по канонам сионизма, все евреи заселили бы Израиль, местная проблема решилась бы сама собой, Израиль официально аннексировал бы Иудею, Самарию и

Голаны — все мирно и закончилось бы.. Но, увы, надежд на прибытие пяти миллионов американских евреев ни у кого, кроме мечтателей, не оставалось, да и на скорое прибытие двух миллионов советских евреев тоже не слишком тогда рассчитывали. И библейские легенды, как бы лежавшие в основе самого мировоззрения израильского народа, оказались лишь мечтами — без национального, т. е. народного покрытия!

Но и арабы попали, может быть, в еще более уязвимо-пикантную ситуацию. Они-то как раз сделали упор на то, что они, мол, есть здешние аборигены, живут тут полторы тысячи лет, так сказать «исконные люди». А теперь вот их изгоняют, выселяют — и кто? «Европейские колонизаторы», а именно евреи, люди, чуждые местным традициям и образу жизни... Словом, у арабов картинка выглядела как бы вполне современной и политически правильной — вполне в духе всемирной революционной борьбы XX века с злокозненным западным колониализмом и империализмом. Но...

Опять это «но» возникло... Увы, арабские легенды в реальности оказались даже еще более уязвимыми, чем мифология евреев.

Прежде всего, арабы оказались не коренными жителями, а просто древними: ведь они тоже некогда захватили этот кусок территории в ходе победоносной войны, только войны с Византией. Ну, возражали им евреи, тогда вы победили, а потому земля стала вашей, а сейчас мы победили, значит подвиньтесь, господа хорошие, теперь земли наши! Конец программы...

Однако главный порок арабской позиции, который приводил их к неизменным поражениям, заключался в ошибочной оценке ситуации в регионе.

Для начала рассмотрим некую картину революционных изменений мира в XX веке. Как удавалось любым отсталым народам колоний или там протекторатов побеждать армии европейских колонизаторов? Да, они развязывали непрерывную, изматывающую партизанскую войну. Да, опирались на влиятельных союзников, в частности на СССР, да,

расчеты повстанцев строились на том, что колонизаторы, оставившие родные земли и отправившиеся за моря в поисках лучшей жизни и судьбы для своих семей, остаются крайне недовольными своим новым бытом. И когда возникла изматывающая их партизанщина, которая требовала от метрополии немалых средств на подавление, то владение заморскими землями лишалось для европейцев всякого смысла! Ни доходов настоящих, ни богатой и спокойной жизни для излишков населения более не имелось... И великие державы уходили из колоний — обычно сами, вовсе не потому, что терпели военные поражения, тем более — необратимые... (Англичане, по-моему, всюду одержали над повстанцами только победы.) Но иметь колонии сделалось материально невыгодным — для казны и для народа метрополии. И поселенцы уезжали, не желая по ночам прислушиваться к партизанским выстрелам за окнами...

Так вот, арабы, мне видится, восприняли приехавших сюда евреев именно как своеобразный тип британских поселенцев. То есть — если надавить на них всерьез, если не позволить им жить спокойно и уверенно — уедут обратно в свою Европу, как уезжали в Альбион британцы или французские поселенцы — в свою бывшую Галлию...

Но евреи-то, как писалось выше, воспринимали Палестину вовсе не так — для них она гляделась вечной родиной (в данном случае совершенно неважно, справедливо такое утверждение или нет, но таково было подлинное восприятие страны приехавшими евреями). А родину ведь нельзя бросать... Ну никак. То есть кто хотел, всегда могли это сделать индивидуально, подобная судьба оказывалась доступной всем, и арабам, к слову, тоже, и они тоже тысячами уезжали в арабоязычные страны. Но в массе — евреи держались за свою страну насмерть. И просчет в настроениях противника обрек арабов на вечные поражения в каждой схватке — ибо для евреев противостояние им выглядело много более мотивированным, своего рода безальтернативным решением нации.

Погружение в национальную мифологию, в жизнь, согласно ее догмам, помогало арабам Палестины воевать,

помогало продержаться в испытаниях, преодолевать неудачи и сопротивление врага... Но оно же всегда мешало им трезво оценивать реальные возможности складывавшейся политики.

Бен-Гурион, лидер евреев, в отличие от арабских королей, всегда принимал те решения, которые виделись ему политически выгодными, даже если они внешне противоречили национальным мечтаниям-мифам еврейства. Например, в конце 30-х гг. он настоял на согласии с британским предложением о создании независимого Израиля — примерно на 20% его сегодняшней территории. Это выглядело и тогда, конечно, тоже предельно неприятным для евреев, но зато давало им реальную возможность принимать беженцев из Европы, от Гитлера, свести к минимуму угрозу грядущей катастрофы. А вот арабы отказались от тогдашних предложений лорда Пия, ведь даже потеря 20% Палестины виделась им немыслимой в рамках религиозного мировоззрения, по которому земли ислама считались землями магометанскими — навсегда... Ну что ж, в следующий раз комиссия ООН предложила им уже не 80%, а только половину всей земли Палестины, но они не захотели с ООН даже разговаривать на тему, даже торговаться — возлагая все надежды исключительно на силу. В итоге желанной (и объявленной ими же) войны арабы сохранили за собой немногим больше 20 процентов Палестины. И снова потребовали — все или ничего, согласно своим религиозным мечтаниям. В 1967-м году потеряли и эти, последние 20% ... Им предложили в ответ на заключение мира вернуть почти все (да практически все — кроме Восточного Иерусалима, тут у евреев нашлись свои религиозные заморочки, не без того!), и арабы опять отказались... То есть раз за разом они упускали любые открывавшиеся для них политические возможности хоть что-то получить — и не из-за глупости, о нет, арабы народ вовсе не глупый, а по-восточному хитрый, ловкий, способный. Однако, естественно, каждый новый проигрыш ставил их во все худшее положение, и соглашаться на уступки — становилось все труднее. Со-

гласие, любое, перечеркивало как бы все прошлое, всю историю, всю упорную многодесятилетнюю борьбу — легко ли на такое решиться народу. Любому народу, не только арабам! Арабы просто не составляли исключений из общечеловеческого правила...

Перелом в их сознании, видимо, забрезжил где-то в конце 70-х гг., когда президент Египта Анвар Садат перешагнул, наконец, через религиозный канон! Предпочел догме — реальную политическую выгоду для своей страны, конкретно — возврат Синай Египту. Его партнером с еврейской стороны оказался Менахем Бегин, человек, который как персонаж истории интересовал меня в те годы более остальных.

* * *

Почему Бегин показался мне настолько интересным, что в моих воспоминаниях я уделяю ему максимум возможного внимания? В чем особость столь необыкновенного израильского политика?

Бегин видится мне — чрезвычайной, на редкость честной личностью. Странно, не правда ли? Политик — и вот лично сверхчестный человек! Парадокс!

Но это и не комплимент — в моих устах, во всяком случае. Для политика — честность есть, наверно, своего рода профессиональный недостаток. Политики вынуждены лгать — просто в силу профессии. А Бегин — он этого не любил и, по-моему, даже не умел делать. И виделся мне исключительно оригинальным — в своем роде. Даже наивным, но зато необыкновенно привлекательным именно как личность, как современник. Как тип, за которым литератору необыкновенно интересно наблюдать со стороны.

В отличие от Бен-Гуриона, он виделся мне чистым романтиком. Отсюда — его радикализм («Израиль от Нила до Евфрата») и все такое прочее. Этакая поэзия народного эпоса! Отсюда его увлечение культом свободы, отсюда же неприятие социализма (ибо социализм по самой сути есть система управления слабым от природы человеком).

Вот чрезвычайно характерная именно для Бегина биографическая деталь. Когда в составе Польского корпуса он прибыл в Израиль (по дороге на Западный фронт союзников), то местные товарищи начали уговаривать бывшего (еще в Польше) лидера дезертировать и вступить в здешнее антибританское подполье. А он — колебался... Почему? Потому что ему придется нарушить... присягу полякам. Никакому подлинному революционеру (вспомните Ленина!) такая мысль, подобное сомнение в голову не влезло бы! А ему психологически сложным, почти невозможным казалось дезертировать из армии, которой он — присягнул... Думаю, если бы почувствовал, что Польский корпус в нем хоть как-то нуждается, не решился бы уйти из армии. Но поляки сами ведь мечтали избавиться от лишнего еврея в рядах своих вооруженных сил, ну и...

Или другая ситуация — много лет спустя, уже в Кэмп-Дэвиде. Бегин долго не мог решиться хоть в чем-то уступить Садату. Даже в мелочах! Представляю, как невозможны ему, всегдашнему стороннику Великого Израиля «от Нила до Евфрата», ему, клявшемуся публично — «умереть где-нибудь в Синае», уступать теперь эту самую землю — египтянам. И главное — не верил он «хитрому арабу», «коварному восточному лицемеру». Тот, конечно, сначала получит земли, а потом начнет новую войну... Терпение Садата лопнуло! Президент решил просто покинуть стол переговоров (я жил тогда в Союзе и помню торжествующий вопль советских газет относительно «провала переговоров», и жалкие стоны — сразу на другой день, после их завершения). Картер (из мемуаров коего это стало известным) попросил обоих лидеров встретиться в последний раз в его присутствии и — просто поговорить друг с другом... Ну, еще раз — просто поговорить! Президенту США в скромной просьбе не принято отказывать. И оба решили все-таки встретиться. А поскольку дело считалось уже решенным (вернее — проваленным) — заговорили друг с другом без дипломатических вывертов. Садат попросту орал на Бегина: «Я знаю, господин премьер, чего Вы хотите! Хотите нашей земли!

Вы не получите от меня ни дюйма! Мир — да, мир я Вам дам, но ничего сверх этого!» — в дикой ярости... И именно в ту минуту Бегин вдруг понял, что мир ему предлагают — всерьез. Что в душе у партнёра нет коварства и подлости. И те проблемы, которые казались ему неразрешимыми всего час назад, стали вдруг решаться мгновенно, вот тут же, за столом. Потому что — убеждения убеждениями, но когда еврею предлагают «мир на самом деле» — от этого невозможно отказаться...

И — мирный договор, не мгновенно, конечно, но был-таки заключен, подписан и ратифицирован.

Я думаю, что Бегин в какой-то мере оказался уязвлен — и самим миром, и Нобелевской премией за него — именно так, как честного человека уязвляет незаслуженная им награда. Бегин про себя-то знал, что главная заслуга здесь — не его, что он лишь уступил инициативе Садата, великого реформатора своей страны. А он, еврейский лидер, не очень оказался тут «причем». И снедало его желание — продолжить дело Садата, заключить мир с другими арабскими странами, стать подлинным, а не мифическим миротворцем. Романтик и мечтатель — чего от такого человека хотите?

Отсюда возникла, по моему ощущению, и первая война в Ливане.

Я полюбил Бегина — такого, каким он был, наивного, мечтателя, решительного до безграничности. Я прощал ему неумелость, если хотите — негосударственность. Понимал, что подлинная, по-государственному мыслящая и действующая партия моего времени — как раз оппозиция, как раз Партия труда. С ней я тогда и сотрудничал — потому что видел, что только ей под силу навести в стране какой-то порядок. А не моему любимцу Бегину. Но порядок — он возможен только на тех основах, которые заложил в стране ее романтик и великий мечтатель — Менахем Бегин.

Я невнятно выражаюсь? Сложно понять? Согласен. Но так именно воспринимал все окружавшее меня в то время.

Вернусь, наконец, и к изложению фактов собственной литературной биографии.

Яков Сусленский сообщил мне, мол, работает в Америке некое украинское издательство под названием «Сучасність» («Современность»), готовое издать мою книгу, задуманную в то время. Даже — заплатят гонорар, что для никому не известного автора на Западе, по-моему, до сих пор — редкость. Возможно, ошибаюсь.

Ну, я и сел за привычное дело — писать книгу.

О чем? Мне невероятно повезло в жизни — я оказался евреем, и нас советская власть устала сажать и решила, что выгоднее ей самой — вышвыривать евреев из страны. Меня и вышвырнули. Я до сих пор уверен, что соввласть ошибалась, но — не мне ж с ней спорить, правда?! А вот остальным моим сокамерникам пришлось много-много хуже, чем нам, евреям. Особенно — украинцам. Для них УкрГБ оказалась самым извращенным, самым коварным врагом. И Комитет сажал моих товарищей — одного за другим, всех, чьи первые сроки заключения истекли. По второму, иногда по третьему заходу. Не то чтобы я возмущался — чего не было, того не было... Я всегда понимал, что враг есть враг, он обязан нас уничтожать, самое звание «врага» к этому КНР и обязывает. Но — именно поэтому мы-то должны сопротивляться, как и чем можем...

Что конкретно литератор Михаил Хейфец мог против ГБ делать, сидя за границей?

Я умею хорошо делать только одно дело — умею писать книги. Значит, стал их писать. О своих товарищах. Чтобы мир узнал про них. Чтобы их помнил. Чтобы они — не пропали в памяти ни современников, ни потомков.

Кроме того, я понимал, что тексты, если их хорошо написать, будут транслироваться на Союз по западному радио. Их услышат в Мордовии и в Перми. Не эки, конечно, у них в зонах разрешена только трансляция, но вот обладатели приемников — охрана, гебисты, шефы МВД, — для тех западное радио вполне доступно. А в пермской глуши «кадрам», наверно, тошно живется (я слышал, на-

пример, однажды, что надзиратели в Мордовии с женами ездили на выходные в Москву — покупать московскую роскошь, колбасу). Конечно, зарабатывают в МВД много лучше, чем окружающие колхозники, об этом власти позаботились, но все равно — хреново, скудно, бедно существовали там сотрудники зон, иначе и быть никак не могло... И единственная отрада, одно развлечение — нет, второе, после водки, — послушать радио: что именно говорят об их узниках! О фигурах, которыми они днем распоряжаются, но этими людьми, оказывается, интересуются многие в мире! И тогда они сами к узникам начинают относиться почтительнее и осторожнее. Ларька без особой причины не лишат, в карцер без особого указания не посадят... Короче, я понимал, что если товарищи за проволокой узнают, что о них говорят по радио, им морально будет гораздо легче вынести годы заключения, но и вполне конкретно, бытово — тоже полегче станет жить. Хоть немного. А вот это я мог для них сделать.

И начал писать «Украинские силуэты». Книгу, посвященную Стусу, Чорновилу, Попадюку, Овсиенко и всем тем, с кем меня сталкивала судьба на зоне.

Самым дорогим человеком виделся мне великий поэт Украины Василь Стус — по характеру человек в чем-то близкий моему любимцу Бегину, т. е. предельно, до наивности честная и благородная личность, от чего он страдал на зоне, как Бегин — в политике (на зоне-то честным с начальством быть элементарно невозможно, если не хочешь стать подлым). Василь оказался совсем неприспособлен к реальной лагерной судьбе, это правда, — зато мог и за проволокой остаться великим литератором, оставившим неизгладимый след в родной словесности. Его в те, первые мои израильские годы выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, я поддержал это выдвижение, хотя понимал немыслимость такой награды для Василя — кто ж в жюри сможет прочесть его стихи по-украински, кто в Стокгольме способен их оценить? Но все равно — Василь виделся мне достойным никак не меньше, чем многие, кто сумел премию получить...

Хуже относился я к Славку Чорновилу — потому что сердился на него. Не понимал, как такой выдающийся политик, воистину организатор нации, позволяет себе оставаться легкомысленным пацаном — будто по-прежнему всего лишь молодежный журналист... Сам же написал мне в ссылку: «Атена (это его жена) предупреждает: будь осторожен, а то подойдет какая-нибудь тварь на улице, закричит — ой, меня насилуют — и ты снова сядешь. А я ей ответил, — продолжал писать Славко, — что даже Федорченко сообразит, что здесь, в Якутии, на улице минус шестьдесят...» И вот Чорновил согласился поехать в... командировку (это — в ссылке-то! В Якутии! В командировку! Несомненно же — нужную ГБ...). Там он поселился в гостинице и клюнул на приманку какой-то дешевки, только потому, что в ее устах звучала украинская речь... Тьфу на тебя! — сердился на товарища. Уж на что я считался новичком в конспиративных делах, но остерегался любых женских знакомств на ссылке, понимая, чем в моей ситуации они могут реально угрожать. Ну, и получил в итоге Славко новый срок — к нему в номер вломились товарищи и зафиксировали там «попытку изнасилования». Ох, как я был на него зол! Как зол — словами не передать...

Василю Овсиенко, зэку интеллигентнейшему, вежливейшему до неправдоподобия — это в наше-то время! — приписали, например, «нападение на милиционера с отрыванием у того форменной пуговицы»... Милиционер, к слову, был раза в два выше и мощнее Василя! Так в местной ГБ и работали — халтурно-беззастенчиво-откровенно... Бедный Андропов, вздыхал я про себя, какими кадрами ты вынужден распоряжаться!

Короче, написал об украинских товарищах толстую книгу, страниц под триста, которая вышла сначала на русском, а потом и в переводе на украинский язык, первая моя книга в эмиграции.

Как говорится, событием стало...

* * *

Параллельно с работой над книгой шла обычная, бытовая жизнь — в Центре абсорбции. Все, кто тут суще-

ствовал, искали себе жилье и, главное, работу. Помню, каким удивительным событием слышалось, когда некая женщина первой в нашем классе-аудитории объявила, что «устроилась — кладовщицей». О! О! О! Какое счастье!

«Деловые люди», те готовились по-своему к будущим карьерам — нанимались в магазины якобы рабочими, грузчиками, чтобы понаблюдать, как именно ведут торговлю в Израиле, по каким правилам и обычаям здесь торгуют...

Подходящее жилье отыскал в Кармизле мой приятель, рыжий Марик Кляйзнер из Кишинева, инженер-автомеханик (в конце концов, для чинки машин особого иврита ему не требовалось, не правда ли?). Интересно вспоминать, насколько я не понимал местную жизнь — в голову, например, не вошло, что после отъезда в снятую квартиру я расстанусь с Центром абсорбции навсегда... Не понимал, не чувствовал израильской реальности — напрочь. С тех пор почти тридцать лет минуло, и я почти никого, даже из самых близких соседей, — не видел. Ни разу...

В Центре абсорбции нас много возили по стране, что было, то было, и хорошо ее показали. Мы видели степи, горы, пустыни, тропики, банановые плантации, апельсиновые рощи... Бывали на Кинерете (Тивериадском, оно же Генисаретское, озеро), том самом, которое сотни раз я наблюдал в музеях — на полотнах из жизни Иисуса. Помню собственное тихое изумление, когда, объезжая озеро на машине (с другом, переводчиком с английского Георгием Беном), увидел надпись на указателе: «Кана, 2 км» и вдруг осознал — это та самая Кана Галилейская, с картины Рембрандта в Эрмитаже... И ел в ресторанчике «рыбу святого Петра» — прости, Господи, костлявой и невкусной показалась мне рыбка, однако ж — порода, которую две тысячи лет назад ловили здешние рыбаки-апостолы — Петр Вратарь и Андрей Первозванный...

...«Олим», наконец, люди стали из ольгинского Центра разъезжаться. Кто-то отправился на юг, в Петах-Тикву (Ворота Надежды — какое название придумали для города, а?), кто-то на север, в Акко... Во все стороны людей размetyвало.

В этом месте рукописи мне припомнилась смешная деталь — как в Центре абсорбции начали... за мной следить. Понимаю, что то были органы безопасности, местная контрразведка. Подобное заявление с моей стороны выглядит, наверно, ненормальным и смешным, но, увы, мне, общавшемуся с ГБ, выявить здешних «следаков» оказалось парой пустяков. Очень уж небрежно работали «товарищи». Например, когда мне требовалось позвонить куда-то по телефону, управляющий Центром тут же исчезал на несколько минут, прежде чем я успевал подойти к аппарату. Или — явившийся в Центр для моего допроса («беседы») сотрудник ШАБАКа после меня долго о чем-то беседовал с соседом по квартире, зубным врачом, и сосед после визита начал внимательнейшим образом наблюдать за моей жизнью и визитами ко мне гостей... Смотрелась эта слежка аляповато и глупо, но не удивляла нисколько, как ни покажется читателю странным. И не обижала даже. Я-то понимал, что контрразведка *обязана* проверять лиц, прибывавших из другой, тем паче враждебной страны, обязана подозревать любых возможных агентов. А особенно — людей, явившихся прямо из зоны. Нет другого места в Союзе ССР, где так легко завербовать сексота. Уплатить ему за услуги можно предельно дешево — пачкой чая (про это я точно знал), ну, может, куском колбасы или небольшой суммой денег для семьи, иногда, правда, давали квартиру семье... Ну и все — человек пропал! Имели, имели право в ШАБАКе проверять меня, это я признаю. Я на их штучки внимания и не обращал, но, конечно, поражался дикой халтурности в работе, их неосторожности... Если бы был, действительно, чьим-то шпионом, мне кажется, ничего не стоило бы оторваться от хвостов, вводя в заблуждение местных «товарищей». Впрочем, надеюсь, если бы сознался им сразу, что, мол, завербован в шпиены от ГБ, на том слежка сразу кончилось бы, считалось, что работу со мной «товарищи» проделали хорошо, и дальше ШАБАКу можно размышлять обо мне относительно спокойно... Но я-то не сознавался! Ну никак. И именно поэтому долго оставался в подозре-

нии. Все же надеюсь, что мастера контрразведки работают в ШАБАКе прилично именно против арабов, а на нас, «русских», выпускали каких-то новичков-курсантов. Повторяю, надеюсь...

Ладно, завершим глупую тему. В начале следующего, 1981 года, мне захотелось познакомиться с вожакom рижских «угонщиков», иначе — «еврейских самолетчиков», Эдиком Кузнецовым. Уж очень много восторженных отзывов слышал о нем в свое время от Бори Пэнсона, а Боре привык доверять во всем. И кроме того, имелись у меня совместные литературные замыслы — ведь, в отличие от меня, Кузнецов сидел не на «строгом», а на «особом режиме», на каторжном, «полосатом»... Там возникали отдельные, «особые» сюжеты, а Кузнецов слыл человеком пишущим, именно его пример подвиг меня делать рукописи в зоне... Так что можно совместно что-то сделать. Узнал его адрес — и поехал.

Кузнецов жил не в израильских столицах (их тогда значилось две — официальная Иерусалим и фактическая Тель-Авив), а в небольшом городке. Назывался он Ришон ле-Цион (Первый в Сионе), я в каком-то номере «Круга» прочитал мемуары израильского полковника, которые начинались словами: «Я родился в деревне Ришон ле-Цион». Т. е. еще относительно недавно Ришон считался деревней... Тем больше этот город поразил меня, когда я туда — не без трудностей — добрался. И красотой зданий, и улиц, и аллей, и садов. Отличное-преотличное поселение! Посетил Кузнецова на дому (Эдик побаивался неожиданных визитеров и пустил меня в квартиру после долгих-долгих переговоров из-за двери). Но главное — я заодно обнаружил, что цены на квартиры оказались в Ришоне много ниже, чем в других городах. Почему — не знаю. Возможно, хотя он уже был объявлен городом, но старожилам все еще виделся деревней... А до Тель-Авива оттуда 15 минут езды автобусом — по советским масштабам так вообще не расстояние...

И решил я поселиться в этом Ришоне!

В принципе эпоха, когда мы прибыли в Израиль, видится мне сегодня предельно неблагоприятной для ново-прибывших из Союза.

Упоминал уже выше, что за три года до нас партия Бегина получила большинство в кнессете (в парламенте страны), за нее голосовала огромная, так называемая марокканская община, т. е. реально — почти все евреи из стран Африки и Азии. Эти-то общины долгие годы справедливо чувствовали себя обиженными правящей элитой Израйля... Некогда европейская верхушка охотно приняла в страну сотни тысяч евреев-изгнанников из арабских стран, — принимала, согласен, любовно и насколько могла, с надеждой, но... как бы выразиться... все-таки — снисходительно. Европейскую элиту я не торопился бы обвинять в высокомерии, ибо евреи-сефарды («испанцы», как их называли), действительно, гляделись темными, дикими, отсталыми, вшивыми, одним словом, — малограмотными туземцами, нуждающимися в постоянном покровительстве аборигенов из Европы. Почему? Потому что образованная, элитная часть африканских общин (а такая, несомненно, имелась) бросила бедных земляков на пути в страну и эмигрировала по дороге (во Францию, например). Словом, «сливки африканского общества» слиняли, нашли себе место побогаче нищего хотя бы в силу новорожденности Израйля... И приехавших «марокканцев», как их прозвали в Израиле, опекали здесь в духе того времени, т. е. вкладывали в них \массу сил и средств — в их европеизацию, образование, трудоустройство, сумели чрезвычайно высоко поднять умственный и цивилизационный уровень — но при этом держали в стране на вторых-третьих ролях... Я уже упоминал про клановую, т. е. общинную систему еврейской взаимоподдержки, так вот, «поляки» выдвигали преимущественно «своих», отнюдь не «восточных» евреев, и, собственно, упрекать их за это и невозможно, люди всюду и всегда выдвигают тех, кого знают давно и доверяют места на работе или службе. Сефарды выглядели чужаками, связанными исключительно друг

с другом, культурные обычаи и привычки новых общин смотрелись в Израиле непривычно — даже какими-то не-еврейскими что ли. Например, «марокканцы» не готовили на Пасху — ужас, ужас! — фаршированную рыбу, знаменитый «гефилте-фиш», без которого ашкеназы не мыслили самое празднование Пасхи. Зато сефарды праздновали уже собственный, религиозный праздник — «мимуну», про который ашкеназы не слыхали ни слова... Бегин оказался единственным политиком в тогдашней польской «элите», кто почувствовал несправедливость такого деления нации на кланы и, компенсируя «восточных», стал мощно выдвигать в первые ряды «марокканцев». Вдобавок — даже не «знатных», каких-нибудь раввинов или родовитых аксакалов, а, напротив, выходцев из низов. Например, министром абсорбции назначил Давида Леви, человека из многолетней рабочей семьи, которого высокомерная элита страны осмеивала за незнание... ах-ах-ах!... английского языка (якобы однажды, прочитав на вечеринке объявление — «Ноу смокинг», он снял при входе пиджак). Несправедливость видна хотя бы в том, что в качестве выходца из Марокко Леви наверняка знал французский язык! Что почему-то «интеллигентами» не учитывалось...

Но не о том речь.

Оказавшись в кресле министра абсорбции, Леви решил осуществить в политике этакий «восточный реванш» — овеществить в своих приказах и распоряжениях по министерству все давние обиды земляков против «несправедливых», как им завистливо виделось, подарков, что сыпались на прибывавших евреев из Европы. «Алии де-люкс не будет!» — провозгласил новый министр свой девиз и прекратил-таки ее, практически перестав передавать новоприбывшим какое бы ни было социальное жилье. Вы хотите жить в Израиле, русские евреи? Ну, покупайте себе тут квартиры! Нечего говорить, насколько подобная политика осложняла быт русских евреев, только-только приехавших из Союза, — обычно без денег и какого-либо имущества, его из СССР не выпускали, даже если такое имелось на родине.

Вообще льготы для приезжавших евреев урезались во всю мощь клановой восточной зависти. Но что поделаешь — как говорится, долг платежом не всегда возмещается!

...Иногда я кажусь себе до неправдоподобия везучим человеком (но так уж жизнь складывалась!). Денег у меня оставалось предельно мало, снять квартиру в Ришоне я оказался способен лишь потому, что мне внезапно выдали... стипендию. Разовую стипендию. Как... литератору. То есть какие-то деньги перевели, как бы положенные мне, оказывается, на первое обзаведение как писателю и пока что не отмененные. Я ничего об этой стипендии не знал — и вдруг деньги пришли! Это, к слову, нехарактерное явление для местной системы права... Если ты узнал (сам! сам! сам!) про какие-то права и преимущества, иди и требуй их — и тебе тихо-тихо, но все-все выдадут. А если не узнал — так никто ничего и не выскажет, и упустишь все, что мог получить. А что? Нигде ведь не написано: «Обязаны сообщить»...

Но как раз мне со стипендией повезло. Ее почему-то прислали, хотя я ничегошеньки о ней не знал...

И поехал-таки в Ришон — снимать на нее квартиру.

Долго и неинтересно рассказывать эту сказочную историю. В конце концов, нашел я новый четырехэтажный дом, специально выстроенный подрядчиком для сдачи квартир в наем. Что выглядело совершенно новым проектом в стране Израиль (здесь и до сих пор квартиры либо продают жильцам, либо если не сумеют продать, то их сдают уже купившие владельцы. Я с тех пор не встречал в стране подобных «домов в наем», хотя и не очень понимаю, почему? В чем затруднение?). Но как бы ни было, снял квартиру из четырех комнат за смешную даже по тем временам (про нынешние уж не говорю!) цену — за сто долларов в месяц. Нам-то нужны были как раз четыре комнаты — девочки ужасно ссорились в общей комнате, требовалось как-то их расселить...

Только годы спустя стал догадываться, почему хозяин назначил столь дешевую цену за квартиру. Дом выглядел абсолютно новым, только-только построенным,

и потому оказался — сырым. Хозяин, видимо, рассчитывал, что новые жильцы как бы согреют, высушат жилье теплом собственных тел — и тогда он начнет брать за него настоящую цену. А пока — пока четыре комнаты оказались тем подарком, что и требовался.

Забавная деталь: я совсем не умел пользоваться чеками. Поэтому собрал по мелочи тысячу двести долларов — плату за первый год! — и вручил хозяину из рук в руки. Тот в ответ все никак не решался передать мне ключи от квартиры. В чем дело, что такое? Наконец, преодолев какие-то внутренние ужасы, протянул мне связку... Только через много месяцев я догадался, что человек, который платит ему приличную сумму «налом», выглядел в его глазах уголовником с нечестными, скрываемыми от властей деньгами или счетами...

Привезли, наконец, нашу питерскую мебель со склада — покореженную топорами таможенников (чекисты явно искали внутри, где я прячу рукопись. Ох-хонюшки!)... И началась обычная жизнь — без Центра абсорбции наконец.

* * *

Впервые осенью 1981 года я отправился в турпоездку за границу.

Еще в ссылку написала мне из Германии письмо некая фрау Ариадна фон Ширинг, которая в натуре оказалась просто-напросто Ариадной Ширинкиной, активисткой Народно-трудового союза, главной организации русской эмиграции. Она в Израиль и прислала мне приглашение — на конференцию издательства «Посев» во Франфурте-на-Майне. Делать на этой издательской конференции казалось абсолютно нечего — рукописей новых пока не имел, занятий каких-то подходящих тоже, но — конечно, хотелось съездить в Германию. Феликс Кандель, опекавший меня в Израиле, подсказал, что, оказывается, существует некая контора, где дают помощь новоприбывшим литераторам, например оплачивают половину стоимости билета на первую поездку за границу — если ты едешь на профессиональную встречу. И уж коли я узнал о такой льготе — там

возражать не стали и оплатили мне стоимость половины билета до Франкфурта. На литературно-издательскую конференцию потому что...

Впервые в жизни оформил заграничный билет, чтобы лететь в Европу — событие, однако, в моей жизни! (Я не беру в расчет перелет через Австрию в Израиль — тогда мы видели Вену лишь из окна автобуса и судить о стране могли только по туалетной бумаге розового цвета с цветочками — такой роскошью смотрелась глазами советских людей!) Упоминаю же первую поездку в Германию исключительно потому, что тогда впервые познакомился с особенностями израильской бюрократии. А вот она есть явление, вполне заслуживающее отдельного описания и анализа — для неместного читателя.

О чудовищной бюрократии Израиля вещали все радио, все СМИ. Я же напротив не смог обнаружить ее в стране — вовсе.

Ведь что есть бюрократия по сути?

Безупречный, хотя неприятный, суперчрезмерный канцелярский порядок в ведении дел. Тебе сказали, к примеру, что заграничный паспорт выдадут на руки десятого октября в пять часов вечера, так хоть лопни, но в три часа того же дня тебе этот паспорт не выдадут. Вот это — бюрократия! Говорят, такая в Германии.

А в Израиле, если мне сказали, что выдадут заграничный паспорт через полтора месяца, так я долго, униженно просил их как-то помочь — мол, ехать надо пораньше, вот приглашение, посмотрите сами даты... Короче, заграничный паспорт мне выдали — через неделю. Попроси их убедительно, посмотри умильно в глаза — и все могут сделать. Что, трудно что ли? Главное — умей наладить отношения.

Я как-то умел. Сам не знаю — почему.

Когда покупал билет, спросил кассиршу, надо ли взять разрешение на выезд в военкомате. «А где ты служишь?» — «В Гражданской обороне». — «Нет, в Гражданской обороне — не надо...» Ну, не надо, значит, не надо! Являюсь в аэропорт, предъявляю паспорт и билет пограничнику, а он спрашивает: «А где разрешение от во-

енкомата?» — «Но мне сказали, что раз я в Гражданской обороне, то не надо...» — «Как это не надо! Всем надо...» И возвращает мне паспорт и билет обратно на руки...

Вот типичная израильская бюрократическая ловушка! Девушку в аэрокассе я спросил, она ответила... Но ответила, что она *думает* по этому поводу, а не то, что есть на самом деле. Ну, так она *думает*! Имеет право думать? Имеет... Это характерная особенность местного быта вообще, не только в конторах, — излагать спросившему не то, что ты знаешь, а что ты по этому поводу думаешь... А если вышло что-то не так — ну, твое дело, спроси у кого-то еще... Если другой окажется рядом, они с первым могут и поспорить — на твоих глазах между прочим. Возможно, окажутся оба неправы... Почему бы нет? Типичная еврейская психология! Требуется оказать человеку услугу, а сказать «не знаю» — для еврея выглядит неприличным, невежливым. Ну, а далее... Далее — уф!

Ну все, решил я в аэропорту — значит, не поеду. Не судьба! Даже не сильно расстроился, хорошо помню. Пограничник взгляделся в меня:

— А у тебя есть еще какие-то документы?

— Нет, никаких нет, кроме обратного билета через две недели.

— Так ты что, один на две недели едешь?

— Ну да, на две недели... Один.

— Ну, ладно, тогда проходи!

Вот так! Понял, что я не собираюсь дезертировать из израильской армии — и пропустил... Сам так решил. На месте. Это — израильская психология и израильская бюрократия в деле. Как повезет, так получится...

То есть я тогда понял, что чудовищная бюрократия в Израиле представляет собой вовсе не бюрократию, а напротив — фантастический беспорядок. Как ухитришься к нему приспособиться, так и сложится твоя жизнь. Надо, значит, учиться. Я, как мне видится, выучился, и довольно быстро. И потому — выиграл здешнюю жизнь.

Неделю в тот заход по дороге во Франкфурт я прожил в Мюнхене, у старого питерского товарища, переводчика

с английского Георгия Бена. Жорка сводил меня на радио «Свобода», где они с женой Таней работали, показал Мюнхен, научил пить джин с тоником — любимое мое пойло с той поездки (я и не подозревал, что джин пьют исключительно в коктейлях, вообще коктейль попробовал, кажется, в тот раз в Мюнхене впервые в жизни, и он очень, очень понравился!). Потом съездил во Франкфурт, познакомился с энтээсниками (жил тогда на квартире у Назарова, который сейчас, я слышал, какой-то крупный деятель в России по борьбе с евреями. Смешно!). Понял, что НТС хочет меня завербовать в свою организацию и заодно — в православие. Но я-то ни того, ни другого не хотел — и вернулся благополучно домой в срок.

Характерная черта израильской бюрократии — недели через три после моего возвращения в Израиль на мою квартиру пришел чиновник — проверить, не покинул ли я Израиль насовсем. Меня дома как раз не было, а дочка сказала ему: «А вы подождите его, он скоро вернется...» — «Откуда вернется?» — «С работы». Чиновник поспешно дернул из квартиры...

Наконец, последнее, о чем хочется вспомнить в сюжете.

В очередной раз вызвали меня после поездки на допрос в контрразведку. Они меня несколько раз вызывали, все беседовали про зону, расспрашивали — все больше про солагерников, тех, что сидели по обвинению в шпионаже. Ну, я охотно отвечал, потому что понимал — господа, видимо, торгуют информацией с другими разведками. Поскольку сам я все равно продавать информацию никому не собирался (да и не умею это делать! Тоже ведь — особое искусство), охотно делился с ними сведениями. В конце концов, кому-то из зэков могут обломиться, вследствие моих разговоров, условия содержания полегче, кого-то вдруг обменяют или что-нибудь в таком роде... Словом, болтал с шабакниками легко и просто.

А в тот раз они задали вопрос: где я жил в Мюнхене? Отвечаю — у Бена. А Вы знаете его настоящую фамилию? Бен и есть настоящая фамилия, отвечаю. Нет, настоящая

фамилия — Бендерский (если я ничего не путаю). И еще какие-то другие вопросы задают про Жорку...

Вернулся я домой и — задумался. Что же это я такое делаю? Даю информацию, пусть невинную, но — все-таки про товарища. С какой стати? Да не появилась еще та спецслужба на свете, чтоб я ей что-то про своих друзей стал докладывать — что в ГБ, что в ШАБАК. Мало ли для чего это им понадобилось? Короче, написал письмо, как на зоне учили, все по принятой форме: мол, уважаемые господа, если вам захочется снова со мной поговорить, прошу, во-первых, сообщать, в качестве кого вы меня вызываете и по какому именно делу, а во-вторых, обязательно прилагать санкцию прокурора на допрос. В противном случае на ваши так называемые беседы являться больше не намерен... Подпись, число.

И тут-то я, наконец, понял, какая все же огромная разница между ГБ и ШАБАКом. ГБ, получив такое от меня уведомление, озлобилась бы жутко и отомстила обидчику изо всех сил. Мелкие они людишки! ШАБАК же ... ШАБАК оставил меня в покое — полностью. Они ведь вызывали меня, подозревая, не связан ли я с людьми полковника Дротенко. Ну а после моего письма поняли — если б я был человеком от ГБ, никогда бы *такого* письма не стал писать. На их допросах я ведь получал массу важной для ГБ информации — узнавал квартиры ШАБАКа, имена следователей, говорящих по-русски, сферу их интересов, личности, которые их волнуют... Нет, настоящий агент ГБ ни в коем случае не порвал бы такой контакт. Значит... Значит, я живу — точно — сам по себе... И катись! Тогда я вовсе не понял, почему так резко ослабли стеночки вокруг меня, но подобное явление почувствовал резко...

Хотя один близкий приятель (по Питеру) вдруг явился домой и стал спрашивать: «Миша, а что случилось?» Ну, учел я, конечно, и сию «информацию на будущее».

* * *

В это примерно же время я оставил первое место моей службы в Израиле, журнал «22», — очень уж работа приноси-

ла в семью мало денег, а главное — требовала усилий, на которые я от природы плохо способен. Поскольку платить за нужные дела обычно было нечем, мне приходилось кого-то о чем-то часто просить. А я просить — ну не умею, мне делать это сверхтрудно. Короче, ушёл со службы — и, как выяснилось, обидел редакцию... Чего не ожидал и вовсе не хотел.

Зато начала работать и приносить деньги в семью моя жена. Для нее, дирижера-хоровика по образованию и прежнему опыту работы, мест в Израиле оказалось навалом, но, увы, для сих мест требовалось отличное, в нюансах, знание иврита. И Рая решила переквалифицироваться в преподавателя фортепьяно. На новой работе ей тоже требовался нешуточный, профессиональный иврит, которому на курсах не учили, но Рая изобрела собственный способ изучения языка. Составила примерный список выражений, необходимых педагогу на уроках, и попросила наших девочек перевести все эти фразы на иврит, а потом... записала их ивритское произношение русскими буквами. И — выучила *наизусть*. Как выяснилось позже — это был старинный способ едва ли не всех приезжих лекторов и учителей в стране.

Кроме того, сильно помогла начать работу некая смешная случайность. В соседнем доме жила «русская семья», которой требовался педагог по музыке — для девочки. «А ваша дочка знает русский язык?» — «Конечно». Больше вопросов не могло возникнуть... Но когда ученица пришла на первый урок, выяснилось, что под «русским языком» в этой семье подразумевали... литовский! На нем они, оказывается, говорили в быту. Ох, уж еврейские языковые дела! Но на иврите хоть какие-то знания у Раи имелись, в отличие от литовского, который она не знала абсолютно, и потому жена дерзнула начать преподавание с первой ученицей на иврите. И вы удивитесь, но — пошло дело. Потом пришла соседка сверху, пожилая художница: «Всю жизнь мечтала выучиться играть на фортепьяно. Не получалось. А сейчас дети подросли — могу испробовать...» — «Но я не могу тебе преподавать, не знаю иврита...» — «Сделаем так: ты будешь учить меня играть, а я тебя — ивриту. Ладно?»...

И у Раи постепенно появилась масса учеников в Ришон ле-Ционе... Когда мы гуляли вечерами по улицам, из многих окон доносились звуки Шопена... И жена горделиво произносила: «Все это — сделала я».

Большие проблемы возникали и с нашими детьми. Старшая дочь вбила в свою голову, что она — «уродина, уродина» и страдала от одиночества в классе, в упор не замечая кучи ивритских мальчуганов, круживших вокруг нее как оводы! Вдобавок почему-то Наташа вызвала жуткую неприязнь у своей классной руководительницы, преподавательницы истории, которая ставила ей неуд за неудом по контрольным работам... Пришлось подзаняться ивритом самому, я стал читать контрольные работы дочки и увидел, что материалом она владеет неплохо, а отметки ей ставят явно несправедливые... Конфликт завершился скандалом, потому что дочка не поверила мне (как и положено!) — ну кто лучше знает проблемы в жизни, какие-то родители или сама учительница! И вопроса не стояло. Наташу оставили на второй год... Тут я вмешался (немного все-таки уже знал иврит) и написал дипломатический протест директору. Наташу перевели в параллельный класс, и она благополучно сдала все выпускные экзамены... И на испытаниях в универе ее посчитали первой на своем потоке! Думаете, была благодарна папе? Как бы не так! «Если б ты тогда не вмешался в ситуацию, меня оставили бы на второй год, и я лучше знала бы материал и поступила бы на другой факультет... Имела б лучшую, чем теперь, специальность!» Вот такой дала потом отпор! Да, тяжело оно, родительское ремесло...

Главное событие времени — что меня приняли, наконец, на службу в университет. В Иерусалимский, он же Еврейский (так его называли потому, что некогда он являлся единственным вузом в мире, где преподавали на иврите).

* * *

Произошло назначение весьма странным способом.

Внезапно мне предложил работу у себя в Институте профессор Земцов. Не много я чувствовал радости от та-

кого предложения — не любил советологию, в сей науке, по моим наблюдениям, слишком много крутилось пропаганды, а не честного изучения советского режима. Слишком много гуляло гипотез, выражаясь «научно-деликатно». По той же причине я, вопреки советам Феликса Канделя, моего первого покровителя в стране, отказался устраиваться на «Голос Израиля» — все ждал, этакий зануда, чего-то поприличней, чем пропагандистское радио. Но вот — устал ждать ставки в универе и согласился, наконец, на предложение Земцова.

Появляюсь в «комиссии Шапиро»: так, мол, и так, дайте мне вашу стипендию в Институт Земцова, там для меня есть место. «Как — у Земцова?! Вы ж хотели работать в университете!» — «Мне плевать — где и кем! Я хочу работать! Где угодно — но ра-бо-тать. Поняли?» — «Хорошо, хорошо, идите, мы рассмотрим...»

Через два дня сообщают: отныне я — научный сотрудник университета, конкретно — Центра под руководством профессора Этингера. Со дня моего прибытия в страну прошло *свыше двух лет!*

Зарплату, правда, положили минимальную — по-моему, не больше половины от нормальной зарплаты сотрудника моего уровня. И еще — предупреждали бывалые израильтяне: «Не иди к Этингеру, у него никто не задерживается. Год, два, три — это окажется максимумом, отработаешь — и обязательно уволит». Но я был предельно самоуверенным: «Пусть только примут! *Меня* он не уволит...»

Таки-да, угадал я — меня не уволил. Я отработал у Этингера почти восемь лет — до смерти моего профессора-учителя.

Первая рабочая встреча с Этингером выглядела предельно кратко. «Мы включили Вас в проект “Изучение антисемитизма в России”. Вашей задачей станет изучение антисемитизма в советской художественной литературе. Желательно — в литературе современной. Чем современнее — тем лучше». Это — все, что он сказал. Все, что я узнал о будущей работе от своего научного руководителя...

Начал ждать каких-то конкретных разъяснений — кем именно для начала заняться, что почитать, что именно выяснять... В общем, хотел получить нечто, что аспирантам всегда давали на всех знакомых мне кафедрах в Союзе.

Проходит неделя, другая, третья... Со мной никто ни о чем не говорит. Я начинаю беспокоиться. Зарплата вроде бы идет, а работы нет и нет... Наконец, решился — спросил ту самую женщину-философа, Людмилу Цигельман, которая меня в Центр привела.

— Миша, он с тобой говорить ни о чем не станет, — объяснила мне Мила. — Если бы он знал конкретно, о чем тебе писать, он сам бы все это и написал. Он же пишет сам — и неплохо пишет. Нет, молчаливо подразумевается, что по твоей теме ты знаешь материал лучше всех в мире, лучше него уж точно, ты разбираешься лучше любого специалиста — где бы то ни было. Вот когда ты что-то напишешь, он прочитает готовое. Посмотрит, куда именно включить написанное тобой в рамках проекта — это и есть его собственная задача в общей работе. Координация усилий коллектива! Какова общая картина с антисемитизмом в Союзе вырисовывается — это он и хочет определить. Но каждый научный сотрудник в своей области работает самостоятельно, и шеф не пишет ни за кого, не исследует вместо ученика ни одну из тем... Только объединяет их и, если надо, направляет ...

Так Мила приоткрыла мне специфику научной работы — не знаю, точно ли на всем Западе, но точно — в этингеровском Центре.

Только годы спустя, как мне видится сегодня, я разгадал загадку Шмуэля Этингера как ученого. Он достиг всех возможных для израильянина вершин в научной карьере — не только стал «полным» профессором, но его приглашали по специальности («История российского еврейства Нового времени») читать лекции в самые престижные университеты Европы и Америки... И одновременно занимал высокие общественные позиции, возможные в Израиле для университетского профессора. Но — в

чем-то все-таки оставался воспитанником российской научной школы. И потому не хватало ему необходимого атрибута, который сопровождал любых великих ученых в России, именно и только в России, а потом в Союзе: вокруг гигантов науки там обычно формировалась... *школа*. И ему хотелось — основать свою *школу*... Он и стал ее создавать из тех «русских ученых», которые прибывали в страну. Меня взяли в универ как кандидата в эту самую «школу Этингера». Как возможного ученика и последователя своего шефа.

И — пришлось мне приступить к *самостоятельным* размышлениям над заданной темой...

* * *

Первое, что пришло в голову, — нужно бы изучить «еврейскую тематику» в творчестве самого модного из исторических романистов моей эпохи — Валентина Пикуля.

Ну, сел я перечитывать его романы. И почти сразу натолкнулся на идею, вернее на противоречие, которое относилось к заказанной мне теме.

...Подводя сейчас итог восьмилетнего (тогда!) исследования «еврейской тематики» в советской литературе, я выражу, пожалуй, главный свой вывод примерно так. Никакого подлинного антисемитизма, т. е. неприятия евреев как евреев, как особой национально-этнической группы, ни в советской литературе, ни соответственно в советской идеологии я не обнаружил. Вовсе.

Оговорю более точно. Не то чтобы неприязни к еврейским персонажам в романах или пьесах не появлялось — напротив, неприязнь к *персонажам* я находил регулярно. Но она... как бы сказать...она не имела отношения к национальной особости евреев. Евреев обличали, это да, это было, евреев поносили, тоже — да, но, как правило, по причинам общественно-политическим, а не этническим, не национальным.

Для примера — возьму сейчас Пикюля, самого первого объекта тогдашнего исследования.

Он виделся мне страстным поклонником Российской империи. В его совершенно искреннем видении эта империя почиталась как цивилизационное благодеяние для входивших в ее состав народов. Поэтому еврей-персонажи, которые, по Пикулю, разваливали империю (а таких в истории, конечно, оказалось немало), естественно, виделись автору своего рода агентурой Сатаны. Зато те, кто империи верно служил (их он тоже обнаружил немало), изображались прямо-таки замечательными подданными государь-императора. Короче, мировоззрение Пикуля и, по-видимому, миллионов его читателей нельзя было считать принципиально антисемитским, никак, ни в коем разе, — нет, оно оказалось некоей разновидностью имперской идеологии, мощно набравшей силу в трещавшем по швам Советском Союзе.

Подобным образом я анализировал в последующие годы все новых и новых прозаиков — доказывал, что популярные авторы, часто обвиняемые общественным мнением в антисемитизме, на деле просто продвигают в публику какие-то собственные идеи, особые взгляды на будущее России, на преобразование своей страны, а их персонажи-евреи — часть, причем не слишком значительная, в общих идеологических схемах. И — как вывод, я отрицал практическую возможность еврейских погромов в подобном обществе и вообще появление массового антисемитского движения в России, чего многие в Израиле всерьез тогда побаивались (вспомните общество «Память»). Наоборот — я старался сформулировать, какие конкретно социальные идеи созревают в современном российском обществе и как на них следует разумно реагировать у нас, в Израиле, чтобы снизить возможный риск — именно для существования еврейской общины в России или в Украине...

Не знаю, насколько знакомилась с моими выводами в бюро «Натив», но, судя по действительности, сбывшейся в истории, я как ученый недурно описал для них реалии, с которыми спецслужбе предстояло иметь дело в скором будущем. Правда, об этой заинтересованности

спецслужб в моей работе я, повторяю, тогда не догадывался совсем.

Забавная деталь относительно первого моего сочинения для Этингера. О Пикуле я написал много страниц, но поскольку не очень понимал, какого рода направление придается общему проекту (повторяю, я-то думал, что мы представляем самую обычную университетскую кафедру), то около половины исследования занял анализ... художественных приемов пикулевской прозы. Этингер остался весьма доволен сочинением — настолько доволен, что хвалил не только при личной встрече, но и публично, на кафедре. Но по поводу Пикуля-художника высказался коротко: «А это Вы — зачем?» — «Ну, я же не знал, чего от меня ждете, и решил показать все, на что способен...» — «А... Понимаю. Но нам — *это* не нужно». Больше художественными особенностями авторов я на кафедре не занимался.

Из других очерков моей университетской работы особо запомнилось исследование творчества другого кумира тогдашней прозы — Юлиана Семенова. Про Юлиана широко говорили в «узких кругах», что он связан с ГБ, что любит его романы *сам* Андропка, и что — с разрешения патрона — автор может пользоваться многими секретными материалами внешней разведки КГБ, старыми служебными папками... Соответственно, возникал в моем воображении образ «писателя-гебиста», «голоса органов» — и обозначилась любопытная задача исследования: выявить имманентную природу антисемитизма в рамках тайной советской полиции.

Но в процессе анализа текстов у меня в голове возникла принципиально иная картина, никак не совпадающая с изначально придуманной мною самой схемой.

Семеновский Штирлиц, штандартенфюрер СС, тайно работавший против своей же конторы на ИНО МГБ, показался мне лирическим героем самого автора. Да, автор воспринимал себя как такого Штирлица, только работавшего рядом не с Гиммлером, а с Андроповым... И соответственно еврейская тема нередко возникала в его

творчестве — но изображалась неизменно как горькое и страшное заблуждение окружавших его «гестаповцев», никак не понимавших подлинных задач и интересов собственной машины подавления, уж тем более — задач и интересов своей империи.

Штирлиц у Юлиана Семенова убеждал, например, Гимmlера: «Перестаньте все время думать о евреях, рейхсфюрер! Думайте о немцах! Пора, наконец, подумать о немцах». В рамках образной системы Семенова это звучало примерно так: «Пора подумать о русских, господа-товарищи! Не о евреях, до них вам дел никаких нет, а о своих, о своих пора вам поразмышлять! Думайте больше о русских!»

Центральным *положительным* персонажем моего университетского сочинения стал гениальный прозаик Веничка Ерофеев, автор поэмы «Москва-Петушки», равновеликой, по моей оценке, «Мертвым душам», и плюс — замечательных драм, до сих пор недооцененных в России. Но их время когда-нибудь придет, в это верю! (К слову, я сильно возгордился тогда, что первое издание «Москвы-Петушков» осуществили именно в Израиле... Поэму-то вывезли из России давно, но ни одна эмигрантская газета или журнал не решались ее публиковать, посчитав... «антирусским произведением»!!! Что въявь показывает, каков мыслительный уровень у российской эмиграции — не слишком отличался от советского ординара, хотя с другим опознавательным знаком.)

Только два иерусалимских студента, одним из которых стал мой новый друг, Владимир Фромер, раздобыли деньги на издание «русского журнала» (у некоей, ныне исчезнувшей с политической карты партии) и решили издать в нем великого Веничку. Гениальность поэмы была мгновенно понята израильскими читателями. Самому Ерофееву первая в его жизни публикация, как и обширное ее признание помогли морально в его тяжелой судьбе!

...Так вот и шла моя восьмилетняя университетская жизнь...

Что я могу сказать сегодня про общие принципы научной работы в университете?

Для человека творческого работа в университете остается идеальным местом службы, в этом я уверен. Потому что творчество требует для своего воплощения, прежде всего, свободы. Ты должен, если хочешь создавать нечто новое, сам спланировать время, спланировать свои занятия, свой подход к жизни, взамен предъявив тем, кто платит за твою службу, одно-единственное вознаграждение — достойный твоей свободы результат. Научный режим в универе создавал именно для творческой работы эту идеальную систему. При одном, хотя абсолютно необходимом условии — если у тебя на самом деле имеется, что высказать... Иначе универ превратится в самое лучшее пристанище для ловких паразитов, и не более того.

Конечно, в университете тоже полагалось любому «клерку» делать то, что положено на любой «нормальной работе» — здесь имелся постоянный рабочий день, с обязательной отметкой прибытия и убытия, проводились собрания-заседания и все такое прочее. Но... всем на кафедре было известно, что основное место службы научного сотрудника — оно вовне, это библиотека. Поэтому — утром, бывало, идешь на работу и можешь незаметно исчезнуть. Как бы исчезнуть и как бы в библиотеку... Никто не станет тебя искать, никто не будет проверять, чем ты там всерьез занят, ибо подразумевается, что ты сидишь и читаешь нужные по теме книжки. А какие именно — знаешь ты один... Я работал обычно на особый манер: приезжал с утра на кафедру, отмечал там карточку и... уезжал домой. И писал всегда — дома. А поздно вечером приезжал снова «на работу» и отмечал... убытие. Для меня лично — это была бы идеальная жизнь на любой работе! Поскольку Этингер статьями моими, докладами и выступлениями на семинарах оставался весьма доволен, жилось мне при нем очень и очень хорошо.

* * *

Несколько событий начала 80-х гг. — заметных в моей личной судьбе.

...Первое — путешествие в Египет. Потом — дружба с Максом Хромым. Наконец, служба в Армии обороны Израиля.

А потом... Потом настал переезд в Иерусалим.

Вот и опишу все по порядку.

...В Египет мы решили поехать на праздник: наступал Пурим, весенний праздник, дата спасения еврейства от погрома в древней Персии. К Рае в такие дни не ходили ученики... А любимое развлечение моей жены (после хождения по магазинам — кажется, нынче оно называется красивым термином «шопинг») — поездки в зарубежье. И я решил сделать жене подарок на Пурим — свозить ее за границу. Высмотрел автобусную экскурсию из Тель-Авива в Каир и Гизу — на три дня, помнится... И мы поехали вдвоем...

Впервые увидел собственными глазами сектор Газа и бесконечные пески Синайского полуострова (это настоящая пустыня — как в учебнике географии!), Суэцкий канал, живой, настоящий Нил... Каир, разумеется, и пирамиды. И — музей Египетской истории...

Только в музее я осознал, что Древний Египет — особая, иная, чем наша, неевропейская цивилизация. Не культура, а именно цивилизация. Незнакомая вовсе. Не иная страна со своей физиономией (к этому я, разумеется, как любой человек, нравственно был подготовлен), а иное бытие. Эрмитажный «Египет» такого впечатления не создавал — не тот размах, не та коллекция. Даже отдаленно — нет, все не то... И пирамиды «из себя» выглядели непохожими на изображения — не гладкие конусы, как на картинках, а облупившиеся, каменная кладка, в которой ряды гигантских валунов вздымались в небо, создавая ощущение грандиозности, которая поразила некогда Наполеона. Словом, увидел сверхдержаву, какой *тысячи* лет (!) считали в мире Египет, — впервые осознал сей факт лишь в пятидесятилетнем возрасте, а ведь считаюсь вроде бы историком...

Второе удивительное ощущение от той поездки — что на обратном пути, на границе, мы неожиданно ощутили возвращение в Израиль именно как прибытие на родину, в свой дом. Вот вокруг стоят и сидят чужие, может быть, даже враждебные люди, постоянно наблюдают, не нару-

шаешь ли ты их законы и правила (на обратной границе задержал нас начальник в штатском, проверял, сколько у нас долларов... Я спросил Раю по-русски, естественно: «У тебя есть доллары?» — «Четыре», — ответила она, и вдруг я интуитивно понял, что товарищ-египтянин отлично понимает русскую речь. Где ж его выучили ремеслу? Не дожидаясь ответа, он сказал на иврите: «Проходите»), но вот — пересекли, наконец, границу, и все — ты уже в безопасности, ты — дома! Удивительное чувство — не только мое, я видел, что все до единого израильтяне сияли в автобусе как самовары, выражаясь по-русски!

А в Ришоне в тот период я крепко сдружился с новым знакомцем, подрядчиком-электростроителем Максом Хромым.

Бывший одессит, он и в Израиле сумел развернуться во всю мощь делового таланта, и мне удивительно интересным казалось наблюдать за «человеком бизнеса» вблизи, за его психологией, за его принципами и повадками, за подходом к делам, энергией и решительностью, недоверием к людям и доверчивостью одновременно «к своим». Макса, кстати, почему-то необыкновенно увлекали деятели литературы и искусства, и, как я понял позже, новый друг поверил в меня сразу — хотя в то время я в Израиле виделся совсем неизвестной персоной. «Из Мишки выйдет толк, — внушал он Рае. — Я в людях разбираюсь». Мы бывали у Хромых дома почти каждый день, благо жили по соседству, стали там совсем своими «фигурами», и я даже не догадывался отдаленно, какая Макс крупная личность в своем кругу, в местном бизнесе. Узнал лишь тогда, когда домой вернулась наша Наташка и растерянно сообщила, что родители ее подруги, которой она всегда завидовала, восхищалась богатством ее семьи и ее возможностями, они вдруг получили приглашение... «к самому Хромому!» А мы-то там каждый день паслись... Но прошло довольно много времени, пожалуй, несколько лет, пока Макс решился на поступок, который в его параметрах означал высшую степень доверия ко мне. Сказал однажды, что если мне понадобятся

деньги, я всегда могу рассчитывать на его кредит. Ох-хо-хо! Мне, конечно, в голову не приходило просить деньги у друга, не так я воспитан, но лишь много времени спустя догадался, что это в деликатной форме предлагалось мне то, что нынче именуют «спонсорством» (тогда еще такого слова в русском словаре не существовало). В числе моих пороков, однако, значится такой: я не умею заводить спонсоров, ни тем более — пользоваться ими.

Побывал, наконец, и в израильской армии. Возраст для ветерана, призываемого ежегодно на сборы, составлял в те годы — до пятидесяти лет. Ну, прошел я «курс молодого бойца» на севере, в Галилее, получил военную специальность — «спасатель», потом послужил маленько — увы, обычно в роли часового у склада боеприпасов. Запомнилось, что соседнее с нашим отделение состояло сплошь из ультрарелигиозных евреев, «харедов», как их здесь называют, а нас, «русских», газеты уверяли, что «хареды» (слово в переводе значит — «трепещущие», перед Богом, разумеется) не служат в армии совсем. Причем мой сосед по отделению горячо уверял меня в сем тезисе, мол, паразиты они, а я отвечал ему просто: «Да посмотри своими глазами вон на ту палатку». Такая вот психология у наших «русских людей» — газетам верят больше, чем собственным глазам... Еще поразило, что в армии нас на удивление сытно, вкусно и разнообразно кормили (а в Советской армии солдатiku всегда голодно, я знал), ну и еще то, что почти каждый день взводом выводили стрелять на полигон боевыми патронами (а в Союзе за три года службы новобранцы стреляли настоящими патронами — два, ну три раза!). У меня стрелять получалось совсем неплохо, я числился в роте лучшим стрелком. Что — льстило и радовало!

Забавный эпизод из времени воинской службы. Получаю повестку в часть, забегаю в универ, на кафедру, чтобы предупредить о своем будущем отсутствии. А меня задерживает (на ученую беседу) наш новый директор Центра. Говорю ему: «Аарон, прости, но мне надо быстро уходить, меня в армии ждут!» — «Оставь, — морщится он, — что это тебе, армия царя Николая что ли?!» Я обалдел и,

как видите, запомнил надолго: Аарон, к слову, числился аж майором в Армии обороны Израиля...

Еще важное событие — поездка в Мюнхен, уже на тест на радио «Свобода», году, эдак, в 83-м.... Пригласили меня туда на работу, в отдел культуры. Войнович должен был числиться заведующим, а я — у него замом!

... На мюнхенское радио в то время пришел новый директор, некий господин Бейли (из разведки пришел, само собой)...Ему, оказывается, понравился мой очерк о Владимире Осипове, напечатанный в «Континенте», и вот — директор решил пригласить на работу новых сотрудников, причем из Израиля, — Эдуарда Кузнецова, бывшего главу «еврейских самолетчиков», и меня, Михаила Хейфеца, числившегося диссидентом...

Я-то сомневался в возможности переезда в Германию. Работа в универе нравилась, писалось мне легко и вполне прилично. Но... шел уже четвертый год со дня нашего приезда в Израиль, на носу нависал пятый год, последний, после которого любая помощь на съем квартиры от Еврейского агентства, да и всякая иная помощь от казны прекращалась полностью. А хозяин все увеличивал и увеличивал квартплату — год за годом (дом высыхал, становился абсолютно нормальным, а Ришон необыкновенно развивался, превращался в один из самых красивых и уютных городов Израиля). И потому моей зарплаты более не хватало на оплату жилья. А «Свобода» предлагала денег в пять (sic!) раз больше, чем платил универ плюс бесплатную квартиру с бесплатными коммунальными услугами (она, «Свобода», формально считалась радиостанцией американского Конгресса, и ставки там предлагались по меркам «зарубежных» ставок для коренных американцев).

Кузнецов вместе со своей новой женой, певицей Ларисой Герштейн, упорно уговаривал меня поехать на «Свободу» вместе с ними — ему, конечно, хотелось на новом месте оказаться в окружении «своих людей». И мы с Раей виделись им подходящими партнерами...

Ну, взял я отпуск в универе (Этингера, к слову, поставил в известность — куда и зачем еду. Он не возражал. Все понимал, хороший был мужик).

Опять же, к слову, — забавная деталь. В Мюнхене жила моя племянница, дочь двоюродной сестры, пианистка. Я заранее знал, что буду сильно занят на службе и потому никому не писал о поездке. Как сложится, так сложится, там будет видно... Прилетаю, везут меня из аэропорта на радио. Выхожу из машины у подъезда радиостанции, по тротуару навстречу идет молодая женщина. «Здравствуй, Миша!» — говорит. Племянница! Случайно проходила в этом месте и в это время. Ну, не чудеса ли?!

Что касается теста на «Свободе», он оказался предельно простым — мне предложили отработать в редакции месяц. На пробу. Посмотрят, как у меня получается... Ну, что ж... Проживали мы в какой-то паршивой гостинице, в номере без ванны и душа, но зато — в старинной. Видимо, старина считалась таким шиком.

Сама по себе работа в редакции казалась вовсе нетрудной и привычной — я писал литературные обзоры, делал отклики на свежие номера журналов, на книги... Это все — ерунда, привычно. Но вот самая обстановка на «Свободе» смотрелась — чудовищной! В моих глазах, во всяком случае...

Там работали, как я любил выражаться (повторюсь!), «советские антисоветские люди», которых и в Израиле-то я на дух не переносил... Возможно, потому, что ЦРУ пристраивало на радио многих перебежчиков из Союза, в том числе бывших сотрудников КГБ (они чаще всех перебежали на американскую сторону, их устраивали на станцию как бы в вознаграждение — давали выгодную службу в обмен за представляемую информацию. Это так думаю сейчас, а точной информации у меня, конечно, не было и быть не могло). Но оттого, что они перешли на сторону Америки, они ж не перестали быть гебешниками по своей психологической сути. Поэтому любимым занятием многих-многих из «свободовцев» становилось писание доносов — уже на новых коллег. Слушают чужие передачи и

тут же пишут по начальству донос — кто и что неправильно высказал или написал с точки зрения интересов США. Доносы именовались здесь красиво — «меморандумы»... А начальство, то есть американское начальство... с каким наслаждением читало оно эти «меморандумы» и принимало решения, Боже мой! А мы-то на советских начальников жаловались... Лишний раз убедился, что советская система управления являлась как бы вполне естественной для человечества, независимо в какой части мира — в России ли, в Америке она действовала. И американские начальники, читая доносы, ощущали себя такими вершителями судеб по всем вопросам жизни и политики — точно как и парработники в Союзе. Плюс — с той же монополией на распределение кадров, которая в России числилась в ведении КПСС... В нормальной-то Америке такому порядку, видимо, ставятся преграды, рожденные тамошней революцией и вытекающей из нее политической конкуренцией, но на «Свободе» заграничные начальнички расслаблялись — вдали-то от родины они позволяли себе быть естественными, вести себя так, как их натура требовала!

А в столовой, в так называемой кантине... Все сотрудники сидели за столами — каждый со своей «партией»! С теми, с кем дружил и никогда — с теми, на кого собирался писать доносы... И каждый внимательно следил, с кем тот или иной за стол сел, — это как бы означало, в какой ты «партии» состоишь. Уф! Мерзость... Я все думал — зачем же уехал из Союза? Чтоб в такое вот советское г...о плюхнуться? Потратить годы жизни на это из-за того, что здесь много платят? Так если б я решил продавать себя в Союзе, я бы и там немало мог зарабатывать.

С трудом отработал этот месяц и по совету Кузнецова пошел на прием к Бейли — узнать, прошел я тест или нет...

А Бейли все чего-то крутит... Ну, я напер на него, и он не выдержал — зачитал вслух «меморандум» на меня, что я, мол, охаял какой-то очередной номер «Континента». Поскольку Бейли славился как большой поклонник максимовского журнала, донос бил меня прямо в пятку! Я тут же впал в ярость. Не потому, что донос оказался

лживым (на самом деле, в том номере развернулась полемика между двумя авторами, не помню, какими именно и о чем спорили — да и важно ли это? Я просто согласился с одним из авторов и возражал другому — только и всего). Но как можно работать в подобной обстановке? Я даже не сотрудник, я еще никто, я только на тесте, а на меня уже пишут доносы, и начальство уже не собиралось посвящать меня в суть, я сам ни с того ни с сего приперся и вынудил разоткровенничаться... Больше всего поразило, что автором доноса оказался некто Шлиппе, сын немецкого инженера, работавшего где-то под Москвой в послевоенные годы, который всячески изображал в личном общении моего приятеля, почти друга. После моих объяснений Бейли сказал мне: «Поезжайте спокойно домой и ждите приглашения!», но я вышел из кабинета, шатаюсь. Всегда с огромным трудом, с нервным потрясением переживал предательство! Ожидать подлости от гнусного человека — это естественное состояние, оно меня никогда не тревожило, но когда нечто совершал как бы «свой» и, главное, на ровном месте, без каких-либо причин — ну из любви к искусству, из чистого для себя удовольствия сделать подлость — написать донос... Ф-фу!

Тут встретился Кузнецов. «Что с тобой, Миша?» Рассказываю. Он повел к себе на квартиру, поставил бутылку коньяка — «Пей!» И наливал, наливал, пока я постепенно не пришел в себя. В жизни останусь навсегда благодарен Кузнецову за такую своевременную бутылку...

И — вернулся в Израиль. Уф, слава Богу, наконец-то...

* * *

Жуткое осталось впечатление от «Свободы», но выхода я не видел — элементарно не хватало зарплаты на взносы за квартиру в Ришоне. И вдруг — решил заняться «общественной работой», конкретно — захотелось мне воспитать работников министерства абсорбции. Будете, конечно, смеяться над наивностью немолодого мужичка — но захватила меня вот такая честолюбивая идея, что нужно всыпать им по полной!

Поехал в Тель-Авив, в министерию, спросил - в который уже раз, как, мол, дела с выделением мне социального жилья, в ответ слышу ту же - и тоже в который раз! - ослепительную байку, мол, в стране, ну очень, очень тяжелое положение, нет в казне никаких средств, словом, типичное фуфло, - что в Союзе, что в Израиле.

Тут я им и врзал:

- Относительно тяжелого положения - это смотря у кого оно такое. Только что в газете прочитал информацию, мол, в Иерусалиме строят новый район, Писгат-Зеэв, - и на каждую продаваемую квартиру стоят в очереди трое-четверо покупателей. Видите ли, у них конкурс! Так что с деньгами у израильтян обстоят дела весьма и весьма по-разному....

Скромно, но упорно товарищи помалкивают мне в ответ.

- Так вот. Я решил покинуть страну. Меня приглашают на работу в Германию, в Мюнхен. На радио «Свобода», - показываю письмо от Бейли. - Мне лично в стране жизнь нравится. Жене - тоже нравится, детям - нравится. Нам всем здесь хорошо. Но моя зарплата в университете составляет 400 долларов. Хозяин просит за квартиру 200 в месяц, и это не верхний предел - потом он добавит цену. Обязательно. Может ли семья из четырех человек жить на оставшиеся двести долларов?

Молчат.

- Так вот - мы покидаем Израиль. И виноваты в этом будете вы. Только вы - то есть министерство абсорбции. Потому что если приглашаете людей, то должны заранее подумать - где их расселить. Раз об этом не думаете, то семья, которой очень нравится жить в Израиле, отсюда уедет. По вашей вине уедет. Так вы работаете! На эту страну, между прочим, работаете...

И, не дожидаясь ответа (собственно, ответ мне не нужен - я же их «просто воспитывал!»), - ушел. Уехал домой, в Ришон.

И случилось... Случилось невероятное. Я бы не поверил, если б произошло это не со мной лично. Через не-

делю меня пригласили в местную, ришонскую контору по абсорбции и сообщили:

— Вынесено решение — купить для Вас квартиру на частном рынке. Цена установлена примерно в 40 тысяч долларов, — объявила русскоязычная сотрудница. — Попробуйте найти на рынке что-то подходящее за эту цену.

Вот-таки да!

Сегодня меня уверяют, будто тут сыграло решающую роль упоминание в беседе про радио «Свобода», — мол, в министерии обеспокоились, что подобная история станет известной в Союзе из какой-нибудь радиопередачи... Но — не думаю. Просто где-то что-то сработало... В жизни такое случается.

Опять-таки, если думаете, что тут-то я и получил квартиру, то вы — большие оптимисты, господа читатели. Я, действительно, почти сразу нашел на рынке великолепную квартиру — причем именно за нужную цену. Но в конторе ее... отказались для меня покупать.

— Это неважно, что за нее просят именно столько, сколько нам надо — сорок тысяч, — объяснила мне та же тетенька в офисе. — Денег как раз можно бы добавить, если бы понадобилось. Деньги не играют первой роли. Нет, но такая квартира — велика для вашей семьи. По нашим критериям велика. Для четырех человек общая площадь должна составлять не больше 75 метров (общая — это включая прихожую и стены! — М. Х.). А тут — целых сто двадцать...

Т. е. казна отказывалась за выделенную ею же сумму покупать квартиру только потому, что та — много лучше, чем мне положено... По их нормативам!

Опять же не торопитесь осуждать израильскую бюрократию за абсурд — в министерствах сидели вовсе не идиоты, отнюдь... Я тогда привел в офис хозяина нужной мне квартиры, знакомого мужика из Союза, свободно болтавшего на иврите. И когда тетенька опять ткнула его носом в нужную инструкцию, как проделала это со мной, он вдруг сказал: «А это что?» А «это» — как раз стояла «звездочка», означавшая примечание, а в примеча-

нии говорилось, что получить больший размер квартиры вполне можно — но с разрешения областного начальства. Т. е. даме требовалось всего-навсего написать бумажку наверх... Но вот этого она не хотела делать. Никак.

Почему?

Да все потому же... Дама из Союза, как выяснилось, внесла в местную чиновничью жизнь некие привычные методики, импортированные ею из «совка». Если конкретно — хотела поймать взятку за исполнение казенной службы (тогда в Израиле о подобном способе заработка слышали маловато — «русских», видать, относительно немного еще приехало). Нет, взятку вымогала не у нас — с нас что можно взять?.. Вознаграждение ей явно обещали хозяева продаваемой предложенной нам ею квартиры... Хотя нам квартира не подходила, но даму из конторы сие обстоятельство не волновало, что естественно.

На мое счастье, она оказалась не главной начальницей в бюро — шефом считался какой-то мужик, приехавший из Ирана. «Парси», как тут выражаются. Он, естественно, не знал по-русски ни звука, ничего не понимал в ее интригах, но чуял — что-то не то делает со мной его подчиненная. Хотя что именно — понять не мог. Однако решил вмешаться.

— Ты работаешь в Иерусалиме? — спросил меня. — А не хочешь ли там и жить?

Правду говоря, я вовсе не хотел переезжать в столицу страны. Все редакции, издательства, конторы, занятые «русскими» делами, — все находилось в Тель-Авиве. По соседству с Ришоном! И знакомые тоже жили именно в Тель-Авиве — в Иерусалиме я практически никого, кроме Сусленского, не знал... Но — не мог же ответить ему «нет», это значило бы, что я солгал, что на деле — не хочу жить в Израиле, что не в квартирных делах таятся мои проблемы... И я кивнул: «Да, мол, хочу».

— У меня есть друг, он ведает новыми квартирами в Иерусалиме, — продолжал «парси». — Я позвоню.

И через три-четыре дня меня пригласили в Иерусалим — посмотреть строящуюся квартиру — в новом районе, в Гило.

Поехали мы по адресу, посмотрели. Квартирка оказалась крохотной, непригодной, даже хуже ришонской. И я с чистым сердцем отказался.

Но — требовалось объясниться с тем самым, местным начальником, другом нашего «парси». По счастью, шел пятый год моего пребывания в Израиле, я не только кое-как мог объясняться на иврите, но уже начал понимать психологию израильтян.

Первый открытый мною секрет был таков: на здешних чиновников никогда не нужно орать. К крику они привыкли и не обращают на него внимания. Крик не действует! Зато ивритяне — люди амбициозные, самолюбивые и одновременно страдающие комплексом неполноценности. То есть если ты хочешь выиграть жизненную партию — сыграй вот на таком поле. Может появиться шанс.

Приехал я к «большому начальнику», который уже знал, что я отказался от предложенной им квартиры...

— Слушай, — обратился я к нему сходу, — я тебя чем-то обидел? Оскорбил? Этого совсем не хотел...

Он впал в шок.

— Нет! Ты меня ничем не обижал. Почему так думаешь?

— Ну, я же вижу, что ты — человек умный. Ты просто не мог не понять сам, что от такой квартиры, которую ты предлагал, я откажусь. Ну, тогда ты поставишь штамп, что я отказался от квартиры, соответственно я буду опорожен в глазах министерства абсорбции... Вот я и подумал — зачем ты такое дерьмо мне в жизни устроил? Наверно, чем-то я тебя обидел? Скажи только — чем?

— Ничем...

— А-а-а... Понял. У тебя просто нет подходящих для меня квартир, а тебе неловко было в этом признаваться, да? И ты придумал такой ход? Знаешь... У меня к тебе просьба. Сообщи в Ришон, что у тебя квартир — нету. Ну, просто нет, и все! Больше мне от тебя ничего не нужно... Это ведь законно, правда? И нетрудно, да?

На самом деле я лукавил. Просто не хотел переезжать в Иерусалим. Он откажет — и это позволяло вновь заняться поисками жилья в Ришоне...

...Не прошло и недели, как из Иерусалима в Ришон пришло... новое приглашение! И на этот раз мне предложили целых три квартиры на выбор, причем одну — такую замечательную, что мы мгновенно подписали со столичной конторой соглашение о вселении.

Нет, вынести подозрение, что у него чего-то нет — еврей-начальник не мог такого перенести! И если б я покупал квартиру сам, ничего лучшего, чем предложенное мне в тот раз жилье другом нашего «парси», не нашел бы.

В этой квартире я и живу до сих пор — свыше четверти века!

Так отъезд из Израиля был исключен из моей жизненной программы навсегда — самым естественным, как бы это выразиться, способом.

* * *

Сюжет с получением казенной (!) квартиры дает мне повод порассуждать на давно желанную тему — о жилищной проблеме в Израиле... Или — как нынче модно выражаться — о «жилищном израильском кризисе»...

Этот кризис, по моей оценке, есть прямое следствие сознательной политики *всех* израильских правительств — без исключения. С самого начала, с Бен-Гуриона, стояла важнейшая национальная проблема — заселить *всю* новую страну. Заселить приехавшими из разных стран евреями.

Евреи же как народ — в массе люди городские. И, переехав в новую страну, естественным образом стремились втиснуться не на периферию, а в центральные города. В тот же Тель-Авив — точнее выражаясь, в «Большой Тель-Авив». В нем и скапливались постепенно сотни тысяч приезжих...

Поначалу, когда в Израиль прибывали, в основном, евреи, изгнанные из мусульманских стран, проблема расселения решалась властями относительно просто — их сразу селили по всей территории Израиля в так называемых городах развития. Т. е., в основном, в домах, брошенных беженцами из арабских поселков. Но потом...

Потом началось скопление населения в центре. И правительство приступило к давлению на граждан (естественно, к экономическому давлению — иных рычагов в демократическом обществе немного). Как давили? Прежде всего — ценами на землю.

Почти вся земля в Израиле принадлежит казне. До сих пор. Ее некогда выкупили у арабов еврейские фонды или частные лица, которые подарили свои покупки фондам. А те — передали казне. Завоеванные земли тоже, естественным образом, присваивались казной. Т. е. правительством страны. И оно получило вполне законную возможность регулировать раздачу земли под любое строительство. В каком-то месте могло потребовать в уплату за землю бешеную цену, а в другом точно такой же участок отдавало покупателю почти даром. В зависимости от того, надо или не надо министериям заселять данный район...

Кроме того, в ведении минфина находятся налоги на стройподрядчиков. Министр может регулировать стоимость любого жилья в зависимости от нужд начальства — просто налогами. А еще — ипотечные ссуды в банках тоже регулировались казной, особыми постановлениями минфина. Фактически казна эти ссуды и выдает частным лицам — хотя формально через «независимые» банки. И выдает именно на желанных ей условиях — т. е. в реальности на политических.

Все это, вместе взятое, создавало фактическую монополию казны в строительном деле. Вдобавок, все правительства имели первейшей и специфической для Израиля задачей — как можно крепче привязать население к земле, удерживать приехавших людей от переезда их обратно в диаспору, в Америку или в Канаду, если граждане вдруг разочаруются в своей новой родине. И великолепным средством для «привязки» к земле Израиля виделась начальству именно долговая кабала в форме ипотечной ссуды. Да и вообще — собственные квартира или дом в стране, конечно, чудились начальству «грузилом» для жителей. Около трех четвертей населения Израиля живут поэтому в собственных квартирах или в собственных

домах — «свой дом» стал своего рода как бы национальным заболеванием!

Новоприбывших продолжают привязывать к стране тем же способом. Действует эта политика, однако, не слишком успешно — по моей оценке. Так всегда выходит, когда государство почему-либо вмешивается в дела рынка. Возникают сбои, появляются конфликты, неожиданные помехи... Например, все дорожающие квартиры скупаются не новыми жильцами, а... иностранными инвесторами. Для них покупка квартиры здесь — выгодная и надежная инвестиция в будущее, и сотни, если не тысячи готовых, уже построенных квартир частенько пустуют — при острой нехватке жилья для молодых пар. Квартиры-то покупались не для использования на рынке, а для осторожного сбережения капитала — на будущее... И наоборот, немало новоприбывших евреев, отчаявшись заработать на желанные квартиры, отправляются прямиком отсюда в Канаду... К тому же, главные предприятия и самые важные конторы располагаются в центре страны, т. е. рабочие места сосредоточены там же, в центре, а люди всегда стремятся селиться поблизости от работы — даже если там жилье стоит ультрадорого. Хотя, конечно, мне трудно судить об успехах или неудачах жилищной политики в целом, о них мало известно и мало в обществе размышляют. Но общее ощущение складывается — что все получилось у властей довольно хреново...

Сейчас, когда уровень жизни в Израиле достиг привлекательного для эмигрантов масштаба, можно бы и изменить прежнюю политику — например строить квартиры не на продажу, а на съем. Но это ломает стереотипы, сложившиеся в умах политиков и подрядчиков за долгие десятилетия. Потом — прежняя политика приносила всем немалые финансовые выгоды, в первую очередь казне — как от такого желанного кайфа отказаться? Правда, стоило бы начальству подсчитать свои убытки, причем очень и очень немалые (начиная с необходимости выкладывать «квартирные пособия» новоприбывшим, и многое-многое иное...).

Когда мы только-только оказались в Израиле, строительная индустрия выглядела вообще ужасающей и устрашающей. Кранов я лично не видел ни одного, представляете?! Всё и все строили вручную, рабочие-строители — арабы с территорий — на своих спинах таскали кирпичи с этажа на этаж! Возникало ощущение, что достижения XX века прошли мимо Израиля — строили дома, как при фараонах... Но на деле подрядчики, конечно, отлично понимали и все знали про то, что им нужно знать: про блочное строительство, про новую технику, но — куда ж девать огромные массы работников с территорий? Людей требовалось занять работой, чтобы они не бунтовали (по крайней мере, не бунтовали). Это являлось требованием политической власти! И жуткая технологическая отсталость стала именно следствием политики, а совсем не экономики, и политика даже создавала иллюзию у населения — некоей финансовой выгоды: мол, «арабы дешево за труд берут... Можем ведь мы, евреи, мало им за работу платить!» Экое, видите ли, хозяйственное счастье стране подвалило в результате войны и победы! Как платили, так, кстати, арабы и работали (что является законом экономики!) — в Израиле сложился даже особый термин для обозначения некачественного изделия — «арабская работа»... То есть опять же вмешательство государства в экономику имело некий смысл, я не спорю, но выгоды от него сопровождались такими перекосами и провалами... Ни в сказке сказать, ни пером описать! Только заключение Ословских соглашений сразу, в считанные годы, вывело израильскую строительную индустрию на вполне приличный среднеевропейский уровень... Безо всяких казенных постановлений. Ибо больше никому не требовалось трудоустраивать арабов и платить им — мало!

Словом — евреям стоит подумать, и думать снова об этой проблеме. И по-моему, многое изменить — с точки зрения все той же самой национальной политики. Не говоря уже об экономической выгоде.

Когда мы жили в Ришоне, прошла в Израиле так называемая Первая ливанская война.

Честно признаю — ту войну развязали не арабы, как все прочие войны в регионе, а именно Израиль. Задумана она была по инициативе моего любимца, Менахема Бегина, и поддержал его идею фаворит и тоже мой любимец, министр обороны Ариэль Шарон.

... Глупо и смешно, но в основе развязанной обоими военной кампании лежало тайное желание премьера — прослыть миротворцем, заключить мирный договор, на этот раз с Ливаном. Добиться договора, обязанного своим появлением исключительно ему, Бегину, а не кому-то другому, например Садату. Чтобы историки новый договор с еще одной арабской страной отнесли только и исключительно на счет нашего премьера. Романтик был, я выше уже писал...

В Ливане, богатейшей и культурнейшей арабской стране, бушевала многие годы межрелигиозная гражданская война. По конституции первые посты в стране издавна занимали христиане (особая секта маронитов, когда-то составлявшая большинство населения региона). Но в 80-е гг. естественный прирост и плюс — совершенно новый фактор! — прибытие из Иордании беженцев, боевиков-суннитов Ясира Арафата, сместило соотношение демографических сил в общинах. В ливанское большинство незаметно превратились мусульмане-сунниты, вдобавок и сами отряды Арафата выглядели военной силой куда более мощной, чем местная армия. Это дало суннитам физическую возможность сменить власть в стране. Чего опасались не только правящие христиане, но и другие соперники суннитов — шииты, друзья (особая религиозная группа среди арабов). Все они воевали с суннитами, объединявшимися вокруг Арафата.

Бегину и показалось, что сейчас он может разыграть интригу на внутриарабских склоках, привести к власти в Бейруте христианское правительство, которое взамен и в благодарность за свою власть подпишет с Израилем мир-

ный договор. Для исполнения такого замысла он привлек в свое правительство на решающий пост министра обороны талантливого — во всех направлениях! — человека, генерала Ариэля Шарона. А Шарон слыл (и был!) блестящим солдатом, блестящим офицером, блестящим генералом, но и — политиком вдобавок. Именно он вкупе с начальником генштаба Эйтаном (чья настоящая фамилия — Орлов) разработал в подробностях ливанскую военно-политическую операцию.

Арафату настоящая, а не террористическая схватка как раз и не нужна была — ни тогда, ни потом. Выстоять против армии, недавно разбившей объединенные рати Египта, Сирии и Иордании, его партизаны ни в каком варианте не могли. Но у палестинского вождя не хватило либо мужества, либо возможностей, либо решительности — как-то обуздать своих боевиков. А Бегин, в свою очередь, лукавил — на самом деле он отлично знал, что теракты против Израиля провоцируются (в то время) не Арафатом, а его соперниками в палестинском лагере, например Абу-Нидалем, боссом ультратеррористов. Тот организовал, например, покушение на израильского посла в Лондоне, завершившееся почти смертельным ранением дипломата. В Иерусалиме объявили виновником теракта формального главу палестинцев и — под этим благоприятным предлогом — начали вторжение в Ливан.

План Бегина — Шарона — Эйтана виделся (мне, во всяком случае) вот каким. Арафата разгромят, захватят Бейрут, соберут там законный ливанский парламент и выберут законного нового президента. Того, кого им подсадит Израиль, — лидера вооруженных христианских дружин Башира Джумайля. А Джумайль — в благодарность за поддержку — заключит с Бегином мирный договор (тем паче, что в день объявления войны Бегин пообещал, что Израиль не претендует ни на дюйм ливанской территории). Премьеру, видимо, казалось, что уплатить за полученную власть всего лишь подписью на бумаге — невысокая и подходящая цена, которая устроит и христиан, и всех других противников суннитов, например шиитов и друзов.

Шарон подготовил армию к боям, как все, что готовил, — преотлично. И предварительные переговоры тоже провел именно он, тайные, с Джумайлем. Тот, естественно, все обещал... На каком-то пароходике тайно они встречались... Сейчас в такое с трудом верится, но я сам хорошо помню сообщения с линий фронтов: когда еврейская армия вступала в шиитские села на юге Ливана, их встречали вывешенные рядышком портреты двух кумиров местного народа — Бегина и аятоллы Хомейни.

Быстро-быстро войска Шарона дошли до Бейрута, быстро окружили воинство Арафата, быстро подсадили на «трон» нового президента — Башира Джумайля... Словом, все шло по плану. Оставалась формальная зацепка — новый президент должен был подписать мирный договор с Израилем. И — короткая война кончилась бы, как и планировалась...

Но тут обнаружился — полный и звонкий провал.

Как писал тогда, обращаясь к израильтянам, отец Джумайля, Джумайль-патриарх, «вы не понимаете чужой политической карты». Что было чистой правдой — Иерусалим не понимал эту карту вовсе.

Впрочем, как, к примеру, советские лидеры тоже на чисто не понимали, что первые секретари союзных социалистических республик все как один предадут коммунизм — и первыми в очереди изменят лидеры местных компартий. Распространенное, видимо, заблуждение...

... Следует честно признать, что я числился в противниках войны — с самого начала. В этом качестве я противостоял буквально подавляющему большинству моих новых земляков, которые, как и Бегин, верили в скорый мир и в заключение нового договора с арабами... Увы, я не совпадал во мнениях и со своими «единомышленниками», с израильскими противниками войны.

Как было бы хорошо сейчас написать: мол, я ненавидел войну, боролся за мир, за права человека и за прочие красивые идеалы. Увы, я выступал против войны, это правда, но по одной-единственной причине: мой лагерный опыт подсказывал в мозгу, что Израиль эту

кампанию проиграет. А я уже стал патриотом страны и подобного исхода для новой родины — никак не хотел. А другого исхода — не видел для нее вовсе.

Главный вывод, сделанный мной из общения с «националистами всех мастей» в зоне, оказался таким: ничего всерьез от народа, вопреки его национальным чаяниям, добиться — во всяком случае на долгий промежуток времени — нельзя. Установить чужую власть — да, вполне достижимая цель. Навязать выгодное торговое соглашение — тоже цель достижимая. Но всерьез достигнуть поворота в настроениях народа с помощью чужой армии — невозможно. Никак! Для такой цели требуется разве что полностью истребить тот или иной народ (правда, такое иногда делали — монголы, испанцы, много кто еще)... Так что теоретически достигнуть подобной цели можно. Но поскольку Израиль не в силах был, да и не собирался истреблять ливанский народ, он не мог навязать ему то, чего этот народ не хотел.

А народ не хотел — мирного договора с Израилем. Вот так! И никак иначе.

Ливанский народ хотел оставаться в своем прежнем состоянии — «ни мира, ни войны» (по Троцкому). Не потому, что ливанцы жаждали войны с южным соседом — нет, ни в коем случае. Но ливанцы ощущали себя частью арабской нации, а эта нация пока не в состоянии была признать тот факт, что она уже проиграла войну евреям. Не хотела признать, и все! Признать, что потерпела поражение от заведомо более слабого, более малочисленного и маловлиятельного противника — нет, ну никак! Т. е. арабы проиграли все из-за своих национальных ошибок и заблуждений — но на такое признание решиться никакие противники не могли. Вообще кому бы то ни было признать поражение в войне — позорно и невыносимо, ну, арабам тоже — невыносимо, как и всем прочим в мире... Тем более, что продолжение вражды с Израилем, самый отказ признать свое поражение, — реально такое действие не требовало от рядовых арабов никаких телодвижений. Ни военных действий, ни повышения военных расходов, ни

людских потерь... Ничего особого! Израиль не собирался ни на кого нападать, кого-то завоевывать, захватывать, значит, сиди себе на месте, проклинай Израиль — и живи, как тебе живется. Да плюс можно слупить с Советского Союза некие — и немалые — средства под предлогом борьбы с американским вассалом, с Израилем то есть. Или, если захочешь, со Штатов можно слупить немало — под обещание не начинать войну, которую и так не собирались начать...Выгодная позиция, а арабы, как упоминалось, народ восточный и свою выгоду чующий буквально по ветру... Поэтому ожидать скорого мира от них евреям не приходилось. И пока ливанцы ощущали себя частью арабского мира, договора с Израилем они не желали подписывать, как все их земляки (как и войну ему объявлять тоже, кстати!). И никакой Джумайль не мог их вынудить на такое действо решиться. А мирный договор нуждался ведь не только в подписании, но и в ратификации парламентом. И поэтому цель, поставленная для Армии обороны Израиля, виделась мне недостижимой в принципе. А бойцов в Ливане евреям приходилось терять ежедневно... Война там шла, самая настоящая партизанская война!

Так примерно рассуждал я в те дни...

Завершилось все, как следовало ожидать. Американцы эвакуировали Арафата из осажденного Бейрута далеко, в Тунис (ближе Туниса — никто не захотел принимать, уроки приютившей палестинцев некогда Иордании, а потом и Ливана, оказались внятными для всех арабских правителей. Кстати, и самая независимость Палестины виделась арабским правителям неприятной неожиданностью, они предпочитали захватить эти земли в собственную пользу). Правда, сирийцы вскоре взорвали Башира Джумайля прямо в штабе его собственной партии... И тогда Шарон приказал очистить захваченный Бейрут от оставленных там боевиков Арафата и поручил эту работу землякам Джумайля — арабам-христианам. Должны они хоть что-то в войну сделать! На заседании правительства, где операцию ему должны были разрешить, Давид Леви, выходец с Востока, предупредил министра обороны: «Смотри, Арик, это

может кончиться резней»... Но наш выходец из минской семьи понял это вполне своевременное предупреждение примерно так, как в Политбюро ЦК КПСС понимали предупреждения про Нагорный Карабах или про погромы месхетинцев... Он же поручил просто провести *зачистку* — значит, проведут зачистку, ну а если постреляют каких-то боевиков, так правильно сделают... Что он, армией никогда не командовал? Все сам знает... Но воинские части покойного Джумайля в порыве мести за убитого президента принялись расстреливать всех, кто подворачивался им под руку, включая, кажется, палестинских собак! Как привычно делается на Востоке... Они, кажется, даже не сильно поняли, с чего это евреи вдруг в шок впали.

Но с того дня проигрыш войны стал очевиден каждому в Израиле. Евреи морально не в силах оказались перенести, что под их, под еврейской властью, совершен классический (для России, конечно) погром. Столько раз сами обвиняли царские власти, что те, мол, покровительствуют погромщикам, что без содействия полиции никакой погром невозможен — еще как оказался возможен! И когда погром совершился на той самой территории, где власть принадлежала юридически Израилю, то уже никакие оправдания Шарону и прочим руководителям не могли помочь. Государственная следственная комиссия признала, правда, что Бегин ни в чем не виновен (когда голосовали за операцию, он как раз отвлекся, редактировал протокол заседания и не участвовал ни в обсуждении, ни в голосовании), но Шарона признали полностью виновным — в халатности — и осудили, сместив с должности министра обороны с запретом впредь когда-либо этот пост занимать. Тогда многим казалось, что политическая карьера генерала сломана навсегда.

Вскоре Бегин тоже ушел со своего поста. Сам ушел. «Не могу больше...» Леви умолял остаться: «Ты только послушай, что говорят в народе, как тебя любят...» Что было чистой правдой — никаких серьезных политических подвижек в общественном мнении Израиля я, например, не почувствовал. Все как бы застыли в ужасе перед погромом в Бейруте, но премьер-министра — нет, не обвинял

в этом деле никто. Но — он сам вынес себе приговор. Он, и никто другой, виновен, что примерно полтысячи молодых жизней принесли себя в жертву без всякой пользы для страны, ни за что... Это — личная его ошибка. И премьер осудил себя и ушел из политики. Навсегда. До кончины не дал ни одного интервью. Просто замкнулся в собственных переживаниях и в осмыслении прошлого.

Мне видится, что именно от Бегина остался в Израиле дух наивной честности — даже в политике, как ни удивительно! — который обычно видится невыгодным, но именно такой дух хранит здоровье нации, искреннее уважение граждан к своей стране. А без этого — кому она нужна, сама по себе страна-то?

* * *

Бегин изначально предполагал назначить на смену себе Шарона — но в тот момент подобная ротация виделась всем совершенно невозможной. И соперничать за власть, как положено в стране, взялись «поляк» и «марокканец» — министр иностранных дел Ицхак Шамир и министр строительства Давид Леви. Выиграл Шамир, хотя он казался многим «временной фигурой». Однако просидел премьером в своем кресле — не один срок...

Вскоре прошли новые выборы в кнессет, и на финише «Ликуд» с Партией труда получили абсолютное равенство в парламенте. Шамир с лидером социалистов Пересом договорились, что в правительстве национального единства два года обязанности премьера будет исполнять один, а вторые два года — другой. Первым возглавил кабинет министров Шимон Перес.

Этот деятель — родом из Беларуси, между прочим. Почти земляк моей мамы.

Шимон Перес — тоже захватившая мое воображение фигура. По-своему — не меньшая, чем Менахем Бегин, хотя совершенно в ином стиле. Неотразимо интересный персонаж для любого литератора в будущем.

Внешне — «вечный лузер», вечный неудачник. Проиграл все выборы, какие только можно. Но неизмен-

но — после проигрышей! — занимал центральное место в любой политике, оставаясь фигурой, вокруг которой вращались победившие соперники, формальные лидеры в том или ином предвыборном забеге.

Почему его так не любили израильские избиратели? Вопреки вроде бы мощным и ярким заслугам и вопреки расточаемым ему хвалам... Почему нет той клеветы, которую, абсолютно без каких-либо оснований, не вылили бы на голову этого деятеля, причем вылили именно в массах, снизу? И все равно — именно он повлиял на жизнь страны, на всю ее историю, как никто из моих современников, кроме, может быть, одного лишь Бегина!

У меня имеется сугубо личное объяснение удивительного противоречия. Оно, подозреваю, вызовет возмущение учителей, особенно в Израиле. Но я продумал его давным-давно и ни разу не мог мысленно поставить под сомнение.

Сводится мое объяснение вот к чему.

Перес внешне — абсолютно типичный еврей. Такой, знаете ли, интеллигентный «жид» из российского анекдота. Будто вчера еврейчик ушел из местечка, отъехал на поезде в Ленинград и, кончив там институт, стал инженером... Или переводчиком. Словом — еврей евреевич евреев.

А евреев — не любят всюду. Так уж мир устроен. Но в Израиле, оказалось, их тоже не любят. Опять же — так мир устроен. И пример Переса сей тезис доказывает.

Не имелось в его облике никакой воинственности, героизма, внешней мудрости, присущей национальному лидеру. Не видно ни гордости, ни упорства. Напротив, на физиономии — вечные размышления, вечные сомнения, всегда вопросы... Единомышленники советуют ему: «Шимон, ты бы придержал язык, даже если в чем-то сомневаешься... Ты знаешь сам, что вот это или вот то — оно избирателю не понравится... Ну промолчи!» Но он неизменно отвечает: «Нельзя жить лишь сегодняшним днем — надо о будущем думать!» Так отвечает людям реальный политик, да?! О будущем он хочет думать, уф... Кому ж такое лицо может понравиться? Никому.

Причем под внешней оторванностью от реальности в нем парадоксально обнаруживается удивительный реалист. Неслучайно он числился в любимых учениках у Бен-Гуриона, этого практика от политики, можно сказать в идеале!

...Здесь я вижу нужное место в тексте, чтобы открыть читателю некий израильский секрет. Здешние евреи не слишком отличаются по своей социальной психологии от местных арабов. Также живут, погрузившись душами в легенды, правда в иные, чем у арабов, т. е. в легенды Торы. И тайное убеждение евреев состоит в том, что Бог обязательно сотворит для них чудо. Он подарит им то, чего нормально быть не может и не должно, но оно появится — обязательно. По Божьей воле. Ну, неизвестно почему!

Ну, посудите сами — разве могла величайшая империя Земли, Великобритания, пообещать евреям выстроить для них «национальный Дом»? Зачем ей это надо было? С какой стати потребовалось? Однако — обещала же. И этим актом подарила евреям — мировое политическое признание.

Или — разве могли евреи, насчитывающие меньше трети населения Палестины, победить в боевом столкновении с арабами, известными в истории своей великой воинственностью? Да еще с пятью иностранными армиями в придачу, пришедшими арабам на помощь! Однако — евреи победили и завоевали столько земли, что сам Бен-Гурион удивлялся: «Ну и добычи у нас...». Разве не Божественное чудо? Вот видите!

Или — как смогли объединяться хоть в чем-то Сталин с Трумэнном, причем против Великобритании, лучшего друга Америки? Однако объединились, чтобы признать Израиль... Или Сталин — взял да и продал Израилю оружие! В 1948 году продал, когда он же развернул кампанию против «космополитов» и убил Михоэlsa! Разве не чудо, которое можно объяснить лишь Божьим велением...

И могли ли евреи надеяться, что арабы в считанные месяцы выживут, выгонят из своих стран местные общины евреев полностью — и тем решат, сами решат все главные демографические проблемы только что родившегося

государства Израиль? Нет, это невозможно представить — подобную арабскую нерасчетливость...

И так — каждый год свершалось: какое-нибудь чудо. В пользу евреев.

Бен-Гурион сказал: «Если вы не верите в чудеса, вам нечего здесь делать...» Так почему бы Богу не совершить для евреев и еще одно чудо — и не вернуть нам исконные, обещанные Им Самим, Создателем, земли в горах Иудеи и Самарии? Или решить эту проблему каким-то иным, Божественным способом, хотя бы проблему арабского большинства в земле Израйля? Или — переселить из Америки всех американских евреев — к нам, сюда, в Израиль? Бог ведь все может, и самое невероятное Ему под силу. А вдруг? Вдруг Он сделает! Вот такое, примерно, мироощущение я постоянно чувствую в окружающих меня израильянах.

...Особо оговорю: я пишу здесь именно о личных ощущениях. Возможно, ошибочных. Я человек, а человек может ошибиться, это его законное право... Никому ничего здесь не навязываю. Просто лично — видел и чувствовал обитателей моей земли именно такими.

Теперь вернемся, наконец, обратно — к Шимону Пересу.

Он-то всегда ощущал себя не мечтателем, а политическим реалистом, т. е. человеком, обладавшим способностью, как никто, извлекать невероятные возможности, предоставляемые историей именно ему, Шимону. Этаким ловким и удачливым игроком на мировой арене. Вся его жизнь состояла, казалось, из волшебных трюков, подаренных удивительной судьбой.

Например, он воспользовался тем, что французы почувствовали себя глубоко оскорбленными Соединенными Штатами, высокомерным их отношением к Франции, считавшейся некогда мировой державой. Перес соединил национальную обиду французских министров с их же общественными симпатиями к нему как к социалисту (во Франции к власти пришли как раз социалисты, премьером стал Ги Молле) и ... И сумел выпросить в Париже атомные секреты для Израйля. Главное — сделал в глу-

бочайшей тайне от американцев. И сам курировал израильский атомный проект — в Димоне.

Он же курировал производство израильских самолетов — по украденным чертежам французских «миражей»... Да много чего сделал, чтобы превратить новорожденный Израиль в самую великую военную державу региона.

В годы, когда он принял, наконец, власть от «Ликуда», инфляция составляла почти 440% в год. Повторю — 440 процентов в год! Биржа рухнула, экономика лопнула, все кружилось в кризисе — как в России в 1998 году. Он не вздумал возвращать в страну социализм; как реалист, видел огромные возможности, даруемые ей свободной экономикой. Но видел и другое — без зоркого контроля государства частные производители увлекутся, себе во вред увлекутся, закружатся их недалёковидные и алчные головы — и скатятся все вместе в бездну. Скатятся сами и уташат за собой страну и общество. Этому социалиста Переса обучали с юности по книгам Карла Маркса, и сегодня мы с ним оба боимся, что классик был-таки, увы, в чем-то прав. Еще как прав! Есть у нас такие подозрения...

Перес стал искать рычаги, чтобы отрегулировать рынок, спасти его от крушения. В правительстве у него нашелся отличный специалист — между прочим вовсе не сопартиец Переса, не социалист, а напротив — ликудник. По фамилии Модаи. Переса, однако, партийные склоки и подсиживания не слишком волновали, когда возникал вопрос о пользе государства. Он сходу оценил наметки своего министра финансов и поддержал его всей силой своего авторитета в обществе и партии.

Здесь, наверно, нужно сказать несколько слов о системе правления в Израиле. В чем-то она, система, напоминала мне советскую. Там во главе госаппарата стоял генсек — здесь подобного деятеля именовали премьер-министром. Но хозяйство страны в Союзе возглавлял не генсек, а именно председатель Совета министров, а в Израиле эти обязанности исполнял министр финансов. Министр финансов даже формально числится выше всех

остальных министров, как в Союзе — премьер Косыгин числился выше всех глав ведомств, даже членов Политбюро. Но и в Союзе без поддержки генсека Косыгин не мог делать в своем уделе — ни-че-го. И в Израиле то же самое — министр финансов мог что-то сдвигать, только получая поддержку от премьера. Модаи не был поддержан ликудником Шамиром, тот, возможно, даже не вполне понимал его хозяйственные хитрости или расчеты... А вот Перес поддержал Модаи — всей мощью правительства национального единства. И буквально мгновенно, с первого месяца его реформ, инфляция съезжилась до вполне приемлемых, хотя все-таки пока двузначных цифр.

Я не могу здесь в подробностях описать, в чем заключался грандиозный план Переса — Модаи — возможно, я и тогда не слишком понимал его в тонкостях. Помню отчетливо, что значительно урезались сбережения населения, — но Перес инстинктом политика чувствовал: людям в Израиле так надоела гиперинфляция и непредсказуемость хозяйства, что они согласны на жертвы — лишь бы привести жизнь в норму. И блестящему, даже неожиданному союзу его с Модаи удалось это совершить!

Самое поразительное, что Переса за такое великое достижение никто особенно не оценил, никто особенно и не удивлялся его успехам. Ну, подумаешь, Перес ликвидировал инфляцию, что-то сделал... Да он всегда все может сделать! Что нисколько не прибавило ни симпатий, ни голосов избирателей... Израильтяне показали себя столь же неблагодарными, как все остальные люди в мире. Увы!

Другой парадокс Переса, о котором нынче тоже подзабыли, — что именно он положил начало поселенческому движению в Израиле. Точнее говоря, политической поддержке этого движения поселенцев в израильском правительстве.

После войны 1967 года премьер Эшколь предложил арабским странам сразу же отдать почти все завоеванное обратно в обмен на подписание мирного договора. Сейчас модно говорить о «палестинском государстве в гра-

ницах 1967 года», но ведь никаких «границ 1967 года» не существовало в принципе! Предыдущая война, Война за независимость, завершилась не миром, а — «перемирием по линиям фронтов»... А перемирие отличается от мира тем, что любая подписавшая его сторона вправе расторгнуть документ, когда она того пожелает. Правда, один из израильских министров предложил египтянам сразу же: «Послушайте, а зачем нам эти «линии фронтов»? Давайте заключим настоящий мир и сделаем «линии» обычными границами, вот и все!» Но египетский коллега честно отказал: «Это значило бы, что мы примирились с вашим присутствием навсегда. Нет, для нас это невозможно, нас не поймут наши народы». Вот так!

И остались линии бывших фронтов по-прежнему линиями «временного перемирия». Когда в результате новой войны вся Палестина попала под власть Израиля (да плюс еще Синай с Голанами оказались завоеваны), то Эшколь разумно рассудил, что сейчас настало время установить постоянные границы. Те самые, прежние, довоенные границы по «линиям фронтов», но уже как государственные границы. И предложил арабам — мир в обмен на отданные им обратно земли...

И натолкнулся на принципиальный отказ. Нет, нет и нет. Всегда — нет. Арабские народы по-прежнему отказывались признать сложившуюся историческую реальность, их правительства по-прежнему прислушивались к мнению народных масс...

Израиль оказался в совершенно идиотской ситуации. Он владел желанными, «исконными» землями, но — исключительно на правах оккупанта. И сколько продлится оккупация — не знал никто, с евреями просто отказывались разговаривать на какую бы то ни было тему. Шел год за годом, потом — десятилетие за десятилетием... А оккупация длилась и длилась.

И в Израиле в ответ родилось движение — а что, если «просто заселить исконные земли»? Земель для вольного поселения оказалось навалом, никого выселять или переселять евреям-добровольцам не требовалось — в горах

и пустынях незаселенных участков всегда имеется сколько угодно. А по международным законам любая пустынная земля всегда и всюду принадлежит государству. Т. е. в данном случае — израильской военной администрации.

В тогдашнем правительстве страны Перес первым оценил огромные дипломатические возможности, которые открывало это движение для Израиля. Если арабы будут до бесконечности тянуть с «окончательным решением вопроса», ну, тогда евреи могли в ответ угрожать проще простого — заселять спорные земли и естественным образом, рано или поздно, присвоить их. Да, это виделось могучим дипломатическим средством давления на упорного противника.

Именно Перес настоял на выделении кредитов первым поселениям, именно он сформулировал первые льготы для поселенцев. И — таки вывел противника из равнодушного равновесия. Его поддержал главный соперник в его же собственной партии — генерал Ицхак Рабин, победитель в Шестидневной войне. Так что, как ни парадоксально, у истоков «поселенчества» стояла именно Партия труда и ее главные миротворцы. Более того, социалисты проявили столько ретивости, что понастроили поселений там, где их пришлось сносить — уже другим, уже «правым» партиям, тому же Шарону например. Скажем, городок Ямит на Синайском полуострове и прочие снесенные поселения на нем основывали именно при Пересе с Рабином.

Так возник важнейший политический конфликт сегодняшнего Израиля. Для политиков, начиная с Переса и Рабина и завершая их оппонентами Шароном и Нетаньяху, поселения с самого начала, по их задумкам, служили картой в большой политической игре, той картой, с помощью которой они могли рассчитывать обыграть партнеров-арабов. Но... картами-то в игре разрешено жертвовать, на то они и карты — лишь бы в итоге выиграть партию. То есть поселения с самого начала создавались на риске — как пешки в любой комбинации! Но люди-то, которые туда стремились, их же вдохновляла не политика, а жертвенный дух

борьбы за Отчизну, самые высокие побуждения и идеалы... В каком-то смысле поселенцами всегда становились лучшие граждане Израиля, люди высоких духовных устремлений... Нет, конечно, потом за ними следовали и те, кто просто улучшал качество жизни — вместо квартиры строил дом, получая на него льготные кредиты, имел налоговые послабления и все прочее... Но ведь — в компенсацию! — жизнь там тоже складывалась много рискованней, чем у прочих евреев. Их преследовали покушениями на дорогах, им угрожал террор в самих поселениях... Да и вообще люди уезжали из центра страны, из больших городов — на периферию, что в среде евреев традиционно видится серьезной жертвой. В данном случае — жертвой во имя идеи, во имя освоения родной земли.

Естественно, такие люди всегда находились в конфликте с местными политиками, даже если этого сами и не понимали (они и не понимают — до самого конца!). Как всякие идеалисты, они выглядят слепыми в мире реальной политики, они доверяли обещаниям государства (своего же государства, не так ли?!), не понимая, что в игре они — лишь фишки. Пусть иногда фишки козырные, но и козыряют, как известно, жертвуют. На то она — игра!

Словом, Перес два года попрермьерствовал, перестроил страну, а потом — согласно договоренности — уступил пост Шамиру, став у него же министром иностранных дел. И на этом посту тоже совершил фантастическое сальто. Как у него бывает всегда...

Но об этом расскажу — ниже. А пока — вернемся ненадолго к моей собственной судьбе.

* * *

В августе 1984 года мы переехали в Иерусалим, в Рамот Алон (в переводе — Высоты Алона, так называли самый северный район города в честь Игаля Алона — полковника, командующего Пальмахом, гвардией израильской армии в Войну за независимость).

В России шутят: «Один переезд равен двум пожарам». В Израиле с похожими хлопотами обстоит дело по-иному:

люди постоянно меняют места работ, переезжают из города в город, поэтому смена квартир здесь — это привычная часть быта. И организована она, я бы выразился, образцово. Приезжает машина с грузчиками, они удивляются, что вещи упакованы (а мы столько с этой упаковкой возились! У них, оказывается, принято, что упаковкой скарба тоже занимаются грузчики), всё и всех отвезли на место, сами же внесли вещи на четвертый этаж, расставили их по указанным хозяевами местам — и уже через полчаса после переезда мы зажили в нормально освоенной квартире.

На работу являться стало много легче, и я успевал многому выучиться. Учился, прежде всего, у Этингера. Он скучно и скудно писал, что правда, но устно рассказывал про еврейскую историю — великолепно. А история евреев принципиально отличалась от всякой иной, привычной мне, — даже терминологией, как однажды я уже упоминал. Например, вы, господа, знаете, что такое — «коробочный сбор»? Почти наверняка — нет. Как и я не знал до пятидесяти лет и даже не слышал про такой «сбор». А между тем сие понятие для еврейства — примерно то же, что понятие «оброк» для русского крестьянина. Самый обычный и самый повседневный термин... Налог на кошерование мяса. И так — на каждом шагу, в каждое мгновение! Этингер, что чувствовалось, просто наслаждался подробностями еврейского быта, расписывал его в деталях, иногда называл какие-то имена подрядчиков, сахарозаводчиков, откупщиков — кто их нынче помнит? А он всё и про всех помнил. Энциклопедической оказался личностью! Многому научил меня, многое в жизни дал... Во всяком случае, я писал регулярно статьи и заметки в университетские и кафедральные «Ученые записки», и все мною сочиняемое переводилось на иврит и английский, научная работа находила отклик в мире, я регулярно получал письма с вопросами и запросами от историков из США, Германии, Великобритании... Мое имя вроде бы стали уже узнавать в ученом мире.

Старшая дочка Наташа окончила в Ришоне гимназию «Реалит» и должна была выбирать будущее. Можно было

попытаться поступить в университет, а уж потом отслужить армию, но она решила наоборот — сначала послужить. Явилась в военкомат. Поскольку мама у нее — русская, то выяснилось, что с точки зрения израильтян она подвергается дискриминации, хотя и неполной, т. е. может сама решить, хочет она служить или нет. Как решит, так и будет! Для неевреев (такowymi считают смешанное потомство евреев по мужской линии, ибо только по женской еврейский закон признает законным еврейство детей у смешанных пар) служба в армии является делом добровольным, о чем Наташу сразу предупредили. Но она уперлась: «Хочу служить!» Ну, хочет, так хочет... Ее право. Следующий вопрос: «Кто твой отец?» Наташа ответила: «В России он сидел...» — «А, так он узник Сиона! Тогда ты имеешь льготное право служить недалеко от дома и ночевать у родителей...» Ничего себе льгота! *(Девушка в военкомате, видимо, мыслила так, что в России сажают только за сионизм... У Наташи хватило ума не просвещать собеседницу)*. Самое сложное оказалось для военкомата — найти Наташе военную специальность. Насколько я понял, в те годы девочек из России обычно зачисляли на службу в военную разведку... Девушки сидели на «прослушках» и внимали разговорам по радио советских советников в египетских и сирийских частях... Советники, видимо, предполагали, что такой сложный шифр, как русский язык, абсолютно недоступен никакому разгадыванию, поэтому орали по-русски в микрофоны все, что относилось к подведомственным подразделениям. А девочки сидели и слушали — и аккуратно докладывали по начальству. Вот вам одна из разгадок легендарных израильских разведслужб...

Но, увы, Наташу зачислить в военную разведслужбу никак было нельзя — по анкетным соображениям. У нее ж имелись «родственники за границей» (дедушка, бабушка, тетка, дядя). Такую девушку требовалось, напротив, максимально отдалять от любых военных тайн! Но, простите, где в армии не имеется военных тайн? Пришлось задуматься...

Но не сомневайтесь — в Израиле всегда найдут выход. «Русскую девочку» направили секретарем в... военный раввинат. В Центральный военный округ. Она находилась в непосредственном подчинении у раввина Вайса, в будущем — главного раввина Армии обороны Израиля, вдобавок и числилась его любимицей. Звонишь, бывало, на службу и слышишь знакомые обертоны: «Раббанут, шалом!»... Моя «русская» дочь реально и решительно распоряжалась религиозной жизнью в самом важном округе страны.

М-да... Это типичный Израиль!

Завершу сюжет, как положено, житейским анекдотом. Однажды перед уходом из части домой дочке принесли для заполнения какой-то тест. С тестами у Наташи встречались проблемы — но не тогда, когда ей до их исхода дела не было. Она быстренько все заполнила, чтобы поскорее отделаться и убежать... Оказалось — это был тест для поступающих на курсы офицеров разведки. И Наташа оказалась единственной девушкой в своем округе, кто сей тест сдал... Ее долго-долго уговаривали поступить на курсы, но она уперлась: «Стать офицером? Значит, служить в армии лишние полгода? Зачем мне это надо!» Офицерское звание нисколько ее не прельщало, как и самая служба, кстати. Первоначальные патриотические или какие там побуждения постепенно улетучились... Младшую сестру она уже сама уговаривала воспользоваться «дискриминацией», которая в России виделась бы призывнику великой льготой, — не служить в израильской армии. «Сама думай, Оля, — они что, гуманисты что ли? Если бы ты им была нужна на деле, они что, дали бы тебе вернуться от армии? Ты им просто не нужна, некуда таких, как мы с тобой, девать... Ну и не лезь сама, если не хочешь!» И убедила-таки — вторая дочка служить не пошла, а предпочла поработать два года официанткой в ресторане «Распутин». («Папа, я лучшая официантка в Иерусалиме!» — с гордостью призналась недоумевавшему родителю.)

Я потом думал над бюрократической глупостью — почему армия не взяла мою девочку в рядовые разведчицы,

но приглашала ее же в офицеры разведки... Что за нелепость! Но Наташа, которая изучила порядки в армии в деталях, разъясняла: «Пап, в военкомате меня знали только по бумагам, ну, моя анкета не вызвала у них доверия. А в армии запросили командиров — и раввина, и начальницу по женской линии, получили характеристики и решили, что я им подхожу...» Впрочем, служить ей не довелось слишком уж долго — в конце службы она вступила в свой первый брак и жену сразу демобилизовали...

Вот еще, к слову, — трагикомическое армейское происшествие. Я где-то упоминал, что у нее возник комплекс неполноценности по поводу своей внешности. И моя девочка села тогда на диету. Дома мы за ней следили, но когда она оказалась на курсах молодого бойца, то решила, что тут — ну, самое ей место, чтоб вообще не есть. Ничего! И началось страшное исхудание с невозможностью что-то есть — вообще. Есть такая, угрожающая смертью болезнь, — анорексия! Отказали нервы... И, придя домой на Новый год, Наташа заявила нам, что больше в армию не пойдет. Посадят в тюрьму — пусть! Мы ждали конвоя, но вместо него пришел домой солдатик, который передал нам устное послание: «Раввин Вайс сказал — если Наташе так важно (видимо, рав подумал, что ей важно отметить Новый год, т. е. христианский в его представлении праздник!), пусть сидит дома». Святой человек и святой командир! Эта деликатность так тронула Наташу, что она вздохнула и засобиравшись на службу. И потихоньку начала есть — вышла из анорексии. Бывают, встречаются такие удивительные командиры в армии...

Во время службы Наташа довольно долго (почти два года!) ходила на курсы по «гиюру», т. е. обращению в иудаизм. Я, естественно, никак не настаивал, хотя однажды высказался, что «доченька, это твой выбор, безусловно, но мне будет приятно, если ты станешь еврейкой». Однако принятие свободно выбранной веры далось ей с большим трудом. Прежде всего, моральным — ей приходилось лгать наставнице, «ребецн»-раввинше, относительно порядков у нас дома, а Наташа вранья не любит. Очень. Такой вот

странный характер! Правда, на вопрос: «Как относится твой папа к религии?» — она все-таки ответила наставнице честно: «Папа говорит, что Бог должен жить в сердце». С точки зрения иудаизма, мое высказывание есть чистая ересь, но раввинша смолчала. Зато перед заключительным экзаменом попросила Наташу познакомить ее с будущим мужем... Гарик очень волновался — зачем, что? — но пошел на встречу. Оказалось, «ребецн» хотела сказать ему втайне от Наташи: «Я отдаю тебе чистый бриллиант»... Было приятно услышать, не скрою!

На свадьбу пригласили раввина — кого-то из наташиных начальников. Перед этим квартиру у нас «откошеровали», в частности всю посуду, приходил дежурный раввин проверить, все ли детали правоверного быта соблюдены в доме. Очень смешным показалось мне это зрелище: раввин был явно нормальным «человеком на должности», т. е. хотел как можно скорее подмахнуть нужную бумагу и уйти домой. Но мои «русские женщины» (жена и дочка) снова и снова въедливо заставляли его проверять каждую мелочь, не найдет ли он где-то какого-то нарушения кашрута... Меня развеселило их серьезное отношение к религиозным «заморочкам». Сыграли свадьбу дома, и старые друзья, супруги Хромые, приехали к нам на свадьбу из Ришона, очень они нас порадовали... А раввин, когда после свадьбы, уже на улице, я спросил его, сколько должен за работу, показал пальцем на свои погоны и сказал: «Видишь это? Я денег не беру»... Замечание это — к вечным рассуждениям «русских» о безмерной корысти раввинского сословия! Разные там люди есть, как и везде — разные. Это следует помнить. Всегда помнить...

* * *

В Иерусалиме у меня появилась, наконец, физическая возможность поближе понаблюдать за общинами, которые оказались здесь широко представленными. Конкретно — изучать израильских арабов и религиозных евреев, прозванных в этой стране «харедами», или «ультраортодоксами».

Обе группы выглядели оригинальными и, конечно, смотрелись литератором с любопытством.

Собственно, об ультраортодоксах я получил первое впечатление раньше, еще в Гиват-Ольге, познакомившись с новым мужем Наташи Магазиной-Адмиральской, с Сашей Радовским. Хотя формально Саша ультраортодоксом не был, он принадлежал к иному течению религиозников, к так называемым — национал-религиозникам (меня, помню, майор Рябчук все спрашивал на следствии: «Вы знали Радовского бородатым или без бороды?», но я тогда не понимал смысла вопроса и догадался о нем только в Израиле. Т. е. «до обращения в веру (безбородым) или после этого»). Саша — талантливый инженер, одаренный драматург, его пьесы в Питере высоко ценили Александр Володин и Ефим Эткинд (куда уж выше!). Еще там Радовский «обратился в иудаизм».

Мне казалось тогда и кажется до сих пор, что в эту современную ортодоксальную общину исторически отбирался психологически определенный тип людей — прежде всего особи с заторможенным восприятием внешнего мира. У меня возникало ощущение, что эти люди как бы постоянно погружены в собственные размышления. Никого не замечают вокруг (включая единоверцев). Сколько раз наблюдал я дивную картинку — на автобусной остановке, где-нибудь в религиозном квартале Иерусалима, входит в дверь религиозный еврей, платит за билет и... замирает на дороге, погруженный в свои мысли. За его спиной толпятся единоверцы, но никто не решается попросить соседа пройти дальше — освободить всем дорогу. А он тоже — никого не замечает, он в себе. Если верно, что в старину таких евреев жило в местечках большинство, неудивительно возникновение антисемитских предрассудков у людей, окружавших их, причем веками. Мол, евреям на всех наплевать, они жуткие эгоцентрики, заняты только собой, своими еврейскими мыслями. Окружающие имели право так думать и — соответственно — недолюбливали и обижались на евреев. Они ж не могли знать, что евреи — такие в собственной, в еврейской среде тоже, они целиком замкнуты на себя повсюду...

Другое свойство данного типа людей — их интересы сосредоточены только в своей цивилизации, или, если хотите, в особой культуре, возникшей за многие века вокруг толкований Торы. Исключительно и только в этом — одном-единственном! Тысячи, если не десятки тысяч книг посвящены толкованиям любых явлений жизни, согласно цитатам из Торы, и только такое знание в этом кругу и почитается достойным. Все остальное чудится мусором. Помню, вез я куда-то огромную пачку книг, и на автобусной остановке окружила меня толпа «ешиботников» (бурсаков, выражаясь по-старорусски). Разговорились (они были мне интересны, хотя при моем-то иврите такой глагол не слишком подходит)... Запомнилась из тогдашнего разговора фраза — всего одна, но зато какая — и навсегда: «А зачем тебе эти книги? Нужна ведь только Тора». Это было, напоминая, мнение людей, *читавших очень много*. Поразили они меня на долгие-долгие годы. Говорилось мне это — с абсолютной и непререкаемой убежденностью!

С другой стороны, далеко не все они производили впечатление ограниченных или догматичных людей. Тому причиной могла являться самая специфика еврейской веры. С одной стороны, религия выстроена на толкованиях Торы, на Библии, все комментарии лишь подводят те или иные письменные повеления Книги к некоей плоскости, чтобы оказалось возможным жить по Торе в условиях абсолютно изменившейся жизни. Поэтому иногда эти новые комментарии придавали прямо противоположный смысл тому, что было буквально записано в Торе от имени Бога! И от ученых общины требовали именно это — приспособить цитату так, чтоб переход от постулата к противоположному толкованию в жизни выглядел логически безупречным.

Собрания таких истолкований составили так называемую Устную Тору (Талмуд). Великий парадокс иудейского вероучения состоял в том, что, с одной стороны, каждое слово Талмуда объявлялось такой же Божественной истиной, как сам текст Письменной Библии, даже источник у

них якобы оказался один и тот же — мол, Устную Тору сам Бог дал Моисею (Моше-рабейну) там же, где и Библию, на горе Синай, прямо передал ему из уст в уста, только ее не записали на скрижалях, а передавали изустно несколько тысяч лет. Соответственно каждое положение Талмуда почитается святым, подобно Десяти заповедям! Но, с другой стороны, если уж вы раскроете страницы этого многотомного Талмуда сами, то увидите, что его листы заполнены, прежде всего, *спорами* ученых. Нередко в тексте встречалась невероятная фраза: «Так говорил наш Великий и Мудрый Учитель, и тут он совершенно *неправ...*» Т. е., с одной стороны, вера проповедовала догматизм, непрерываемость, что свойственно всякой церкви (любая церковь несет в себе женское, матерински-охранительное начало для человеческого сообщества, она хранит традиции — как делает любая женщина со своим ребенком), но, с другой, та же самая Святая Устная Тора поощряла в читателях тягу к размышлениям, к новым идеям, она требовала делать *свои* выводы, согласовывая разные точки зрения мудрецов, т. е. побуждала искать нечто свое — как неотъемлемое свойство религиозности! Подобное сочетание догматизма с поиском истины, видимо, и развило в евреях тягу к отвлеченному мышлению, и отсюда — к образованию и науке.

Относительная (и немалая) свобода в догматике нейтрализовалась в иудаизме, однако, предельной концентрацией на обрядах, на ритуалах, на внешних нормах поведения — что и как поесть, как именно держать дом, как вести себя на работе... Словом, в обмен на некую свободу в мышлении — вводился тотальный контроль над поведением. По-своему, это супервнимание к нормам житейского быта виделось абсолютно необходимым для исполнения центральной, хотя публично нигде вроде не декларируемой задачи веры — сохранения еврейского народа именно как народа, обережения его от перемешивания с соседями в диаспоре, от подражаний могущественным и влиятельным народам держав, что в реальности грозило еврейству исчезновением и растворением в народах новых империй... (Мало ли народов именно бес-

следно пропало в истории — начиная с шумеров и до, скажем, провансальцев или саксов). Иудаизм пресекал в житейской практике все бытовые контакты с неевреями — кроме самых уж вынужденных связей, рабочих или служебных. И эта отделенность евреев от соседей, она-то и позволила выживать им как особой группе общества.

Но преувеличенная сосредоточенность на бытовом ритуале — в ущерб внутреннему содержанию религии, она, в свою очередь, начала угрожать общинам огромной, хотя и неосознаваемой опасностью. Окруженные другими «народами» («гоями» — в точном переводе на иврит), евреи неизбежно вводили для себя двойную мораль. Некие правила поведения распространялись только «на своих», другие — формулировались именно для «чужих», и это казалось неизбежным — уже хотя бы потому, что «чужие» тоже ведь относились к евреям не так, как к «своим». Неверно, как пишут антисемиты, толковать это так, что евреи вводили для «гоев» аморальность в общении, а правила совести и чести распространяли только на «своих». Нет, это не так, вернее, не совсем так. Талмуд в принципе советовал евреям действовать с «гоями» именно по законам совести и чести, это правда, но — мотивация для такого поведения объявлялась иной, чем в отношениях с евреями. Да, «гоев» не разрешено обманывать или обсчитывать, но потому, что это бросит тень на еврейский народ, опозорит его, подвергнет смертельным опасностям. То есть потому, что это — невыгодно евреям, а не потому, что объявлялось дурным в принципе, как в отношениях между «своими». Т.е., повторю, с «гоями» предлагалось обращаться «по совести», ибо за обман и подлости евреям угрожало бы наказание... Но такая позиция создавала для совести религиозных людей серьезнейшую проблему, я бы добавил — весьма великое искушение... Нельзя же в реальной жизни действовать по совести в одних случаях, а в других иначе — лишь из чувства страха. Ведь — или есть совесть, или ее нет... В еврейских религиозных массах вера, действительно, рождала и закрепляла аморализм — причем отнюдь не только по

отношению к «гоям», как может показаться внешне, «по правилам». Нет, «гибкость» постепенно распространяли — и на всякого соседа-еврея, сначала на того, кто вел себя в религиозном плане несколько иначе, чем виделось правильным религиозному еврею, а потом — вообще на всякого, даже на члена своей общины.... Если повезет и окажется выгодным, то почему б и нет?!

Отсюда произошло размывание морали в религиозной среде, которое выталкивало из нее огромную массу молодежи в «светскую массу», настраивало против «ультраортодоксов». «Самые нечестные люди — религиозные люди», — не раз слышал я и в сегодняшнем Израиле. Сейчас, например, никого не удивляет, что самые неприглядные, хотя обычно ненасильственные преступления совершаются в стране именно верующими людьми, неважно — казнокрадство, воровство, спекуляции, вплоть до перевозки денег подпольщикам из Организации освобождения Палестины (если за это деяние хорошо заплатят). Например, большинство министров и общественных деятелей, севших в тюрьмы за финансовые правонарушения, — активисты религиозных организаций. Никого в Израиле это не удивляет, тем паче не поражает...

Но зато религиозная община создала, к примеру, замечательную систему воспитания детей в многодетных семьях — охраняла от насилия и паразитизма, твердо воспитывала верность «своим» — своему клану, своей секте прежде всего. С другой стороны, она блистает полным равнодушием к судьбе государства, гражданами которого являются члены общины. И считается вполне законным и честным — урвать в свою пользу средства у других религиозных кланов или групп, уж тем более — у светских евреев. Возможным, даже похвальным считается не работать, а пожить за счет казенных стипендий — поскольку самым важным занятием видится изучение Торы. Причем, что особо пикантно, не столь важно — хорошо ли понимаешь Тору или нет, создан ты Богом для такого занятия или туп к нему... Главная заслуга — что ты вообще занимаешься Торой. Не отсюда ли рождается

в светской публике неприязненное отношение к религиозникам, как к своего рода паразитам на теле светского населения? Т. е. складывается фантастическая ситуация, когда в еврейском государстве граждане испытывают к религиозным евреям обычные антисемитские комплексы, свойственные как раз народам диаспоры.

И на практике религиозники нередко выглядят жертвами антисемитской по сути клеветы, выливаемой на них в СМИ. И светские люди просто не знают тех огромных удовольствий, что доставляются религиозным образом жизни. Например, прогулками по улицам в субботу, когда никакая машина тебе не угрожает — ходи где и как хочешь... И дружественной, доброй атмосферой к своим, сочувствием и поддержкой... Такой вот парадокс существует в израильском обществе. И в государстве — тоже.

* * *

Другая поразившая меня община в израильском обществе — местные арабы.

Они часто жалуются на дискриминацию — и, несомненно, жалуются справедливо. Но, с другой стороны, — фактически идет вековая, почти непрерывная война между двумя народами, и эти, формально полноправные сограждане Израиля принадлежали как раз к этническому народу-врагу. Не могут же они сами не чувствовать непреложного факта войны — как для евреев, так и для них самих, для арабов...

Почти с первого дня в Израиле арабы интересовали меня — именно потому, что были разительно непохожи на остальных граждан, на всех без исключения. Община — «со своим лицом». С особым!

Характерный пример. По телевидению берут интервью у случайных прохожих на улицах — уж не помню, по какому вопросу. Первое, что удивляет меня, тогда совсем еще «совка», — свободное отношение любых прохожих к подносимому к их губам микрофону. (В тогдашней России похожее поведение показалось бы просто невероятным. Даже вожди Советского государства выступали

только и исключительно по бумажке, чтобы все «смотрелось ответственно».) А здесь... Ну буквально каждый говорит все, что хочет и что думает. Это виделось, правду говоря, естественным, ведь в свободной стране люди так и должны жить, но меня поразили интервьюируемые арабы — как бы дискриминируемые, как бы «граждане второго сорта» (вполне серьезно эти слова произношу и с ними согласен). Совершенно свободно и абсолютно открыто они осуждали на весь эфир правящее ими государство, его политику, его правительство — что никого, включая телевизионщиков, не смущало, и самих арабов не шокировало нисколько и не волновало. Как бы — привычное дело: говорить врагу в лицо все нужные и ненужные гадости! Явно — не боялись начальства. Вели себя равными и свободными гражданами, хотя резко оппозиционными. Такой вот «парадокс от Израиля».

...Когда мы только-только приехали, старожилы с тоской рассказывали, как еще совсем недавно «все было так хорошо», как любили они ходить по вечерам в арабские ресторанчики в Иерусалиме, где готовили не в пример лучше еврейских (восточные люди от природы всякую кухню чувствуют, такой у них есть талант в деле!). И на рынок модным считалось поехать из Иерусалима в арабский Вифлеем (Бейт-Лехем, по-местному, т. е. Дом хлеба) — там, мол, все дешевле, и свежее, и вкуснее! Сейчас, мол, не так, сейчас к арабам ездить страшновато... Но в «наше время» (т. е. это в начале восьмидесятых) подобных житейских контактов уже не возникало вовсе — во всяком случае о них не говорили на публике, и если кто-то ездил к арабам, то старался не распространяться широко на сию тему. Как именно арабы живут у себя в домах, я точно не знал, но догадывался, что, видимо, значительно беднее евреев — в их среде был распространен особый промысел — они посылали подростков рыться в еврейских мусорных баках и выбирать оттуда все, казавшееся им пригодным для использования. От богатства таким делом не займешься! Я каждый, почитай, день наблюдал мальчишек возле мусорных баков в нашем

иерусалимском дворе... И скупка старья, всякого хлама типа антиквариата, тоже превратилась в городе в арабскую монополию — старьевщики-арабы разъезжали по еврейским кварталам и кричали под окнами традиционное идишистское «альтезахен», что в переводе — «старые вещи». Им за гроши или вообще бесплатно евреи отдавали старую мебель, подержанные электротовары, которые можно было починить и перепродать, — бывшие владельцы, в сущности, просто сэкономили время и силы на вытаскивании старья на помойку...

Что особо бросалось в глаза — ощущение почти инстинктивной униженности, которое арабы испытывали, общаясь с евреями. Такая униженность тем более выглядела странной, что по натуре арабы — это тоже сразу было видно — люди гордые (возможно, даже чрезмерно!) и независимые. Я долго размышлял над их странным поведением, тем более удивлявшим, что в евреях вовсе не ощущалось какой-то чрезмерной гордыни, способной подавлять собеседников. Нет, униженность шла в арабах откуда-то изнутри. И только потом вспомнил старое наблюдение — не мое, нет... Это — фрагмент из очерка Антуана Сент-Экзюпери про его африканские приключения. Описывалось, как французы, отчаявшись покорить бесстрашных бедуинов, пригласили тех на экскурсию во Францию. Показывали гигантские комбинаты, домны, мартены, шоссе, дворцы, парки. Мол, подивитесь, какие мы во Франции богатые и сильные! Но на арабов все это не производило серьезного впечатления. Ну, есть такое у французов, а у них, в пустынях, пока нету, так будет! Всего-навсего дело времени.

Но однажды французы показали им огромный водопад. И зрелище сразило невозмутимых бедуинов... Столько воды! *Льющейся просто так...* Воды!!! Выходило, что Бог любит французов, если дарит им *такое*. Он дал Франции главное человеческое богатство — в изобилии! Значит, сопротивляться им — идти против Него. Так французы и захватили верх над кочевниками, размышлял классик XX века...

Нечто вроде этого, думаю, произошло и у нас, на Ближнем Востоке. Молниеносную победу евреев над арабскими армиями местные арабы прочувствовали именно как Божью волю, сопротивляться которой — бессмысленно. Непрерывные успехи израильских сил безопасности по обезвреживанию террористических атак укрепляли их в том же мнении. Противиться Провидению — бесполезно. Вот это и отпечатывалось, по-моему, в поведении. Инстинктивно гордые и самостоятельные люди воспринимали евреев не просто как соседей, но как некую материализовавшуюся Волю горькой для них Судьбы.

Помню и то, как сия нелепая ситуация враз изменилась. Произошел внезапный перелом — после атаки активиста ООП, перелетевшего через границу Ливана на дельтаплане. Его не сумели перехватить пограничники, потом он сам напал на военный лагерь израильтян, убил часового и нескольких солдат, пока смельчака не застрелили. Это был огромный успех ООП — успех неожиданный. Бой ведь шел ночью, часовой израильтян, думается, просто дремал — сколько я похожих часовых повидал, когда сам служил! Привычное израильское разгильдяйство, за которое сам солдат заплатил своей жизнью и жизнями товарищей пожертвовал. Но главное, что отмечу в эпизоде, — как бой восприняли арабы. Я слышал их оживленные, торжествующие голоса, я видел их новые лица — совсем не те, которые наблюдал накануне. Легенда о неуязвимости евреев развеялась — мгновенно! После чего оставалось лишь ждать неизбежного.

Увы, умело ждать неизбежного наши политики тоже оказались не слишком способны.

Премьером Израиля служил в те годы Ицхак Шамир, бывший лидер террористов ЛЕХИ. Он и решал главные проблемы в Кабинете министров. Умный, твердый, расчетливый руководитель, отличный и внимательный к деталям организатор, но, к сожалению, Шамир страдал отсутствием творческого начала, фантазии, — недаром и в своей организации когда-то не он генерировал ее идеи, не он формулировал конкретные планы — но зато не было

никого лучше Шамира, способного осуществить на практике невероятные акции, задуманные лидерами ЛЕХИ. И на посту вожака страны он остался таким же — идеально решал текущие задачи, отлично подбирал людей для выполнения тех или иных функций правительства — но не умел внутренним взором провидеть, что скрывается во тьме будущего. В этом заключалось его отличие от вечного его соперника, Шимона Переса, который, напротив, как бы кожей чувствовал, чем пахнет неведомое... Я впервые понял сей факт только в 1987 году.

В начале того года Перес вдруг высказался в правительстве: «Надо срочно предпринять какие-то чрезвычайные действия в арабском секторе. Иначе все может взорваться — еще до конца года». Ну, сказал и сказал, никто про это не помнил, по-моему, даже сам Перес подзабыл свое предсказание... Но я — я запомнил: «Вот сейчас проверю твои творческие способности, господин Перес. До конца года осталось восемь месяцев. Подожду и посмотрю, кто ты есть на деле — истинный провидец или беспардонный трепач-политикан. Все забудут твои слова, но я — я их буду помнить».

И держал цитату в уме. Все время. Умышленно.

...Год кончался, уже наступил декабрь. Ну, думалось мне, вот ты и проявил себя, Перес, безответственным болтуном. И тут (если не ошибаюсь, числа восьмого декабря) — грохнуло! Враз!

Случайная дорожная авария, в которой погибли арабские рабочие, ехавшие домой из Израиля, она взорвала так называемую первую интифаду — всеобщее восстание арабов.

... Я долго не понимал — как это вдруг арабы сообразили, что против Израиля бесполезно действовать силой. На силу евреи отвечают двойным-тройным ударом в ответ и неизбежно выигрывают... Много лет спустя прочитал у российского автора ультранационального толка (Сергея Кара-Мурзы), как пригласили его на какой-то семинар в Европе, и там арабов учили мудрецы, европейские «леваки»: «Главное — когда метаете камни, не

попадайте ни в кого! Попадать — вовсе не нужно... Даже вредно. Главное — сама *демонстрация* сопротивления!» На деле израильтяне своими ограниченными мозгами именно и подготовили арабское восстание. Потому что всегда видели перед собой одного-единственного врага — Организацию освобождения Палестины и старались только ее и подавлять, и громить — *любыми* способами. Сначала помогали арабам создать «религиозную организацию», зародыш будущего ХАМАСа, потому что исламские религиозники на дух не переносили «социализм» Арафата и его компании. Значит, врага Арафата и его компании наши спецслужбы и стали поддерживать... Я помню, как впервые прочитал в газете информацию о такой религиозно создаваемой команде арабов и просто обалдел! «Они что, с ума посходили...» Да уж, ума у евреев оказалось немного, стоит признать! Потом разгромили военные силы ООП в Ливане, вышвырнули ее лидеров и активистов за тридевять земель, в Тунис, — и тем очистили поле деятельности абсолютно новых лидеров, рожденных на месте, в самой Палестине... И эти новые лидеры, реально не зависящие от Арафата, именно они возглавили интифад (говорят, в переводе с арабского сленга, слово означает — «верблюжий оргазм»). Откуда ж новые вожди взялись? Как и где они выросли?

...Конечно, я не жил в арабской среде и мои заметки, как выражался бы В. И. Ленин, есть «заметки постороннего». Но со стороны — все казалось вот так.

С самого начала израильские политики всерьез воспринимали ту истину, которую озвучил вслух Арафат: «Главное оружие арабского народа — матка палестинской женщины». Т. е. превышение арабской рождаемости над рождаемостью еврейской, оно рано или поздно сделает арабов большинством в стране и даст им несомненный шанс на окончательную победу. Потому еврейские правители-социалисты, люди более гибкие, чем упорные правые националисты, избрали эффектную на практике тактику борьбы с палестинцами, а именно максимальный... гуманизм. Открыли много школ на территориях

Иудеи и Самарии, помогали создать несколько университетов, дававших высшее образование талантливым уроженцам Западного берега. И так далее, и тому подобное... Все — в таком роде. Этакое еврейское благородство!

Наши «русские» евреи, в принципе столь же туповатые, как их советские земляки, все ворчали: мол, балуют арабов, играют наши наивные либералы в права человека... На деле же израильские политики очень верно понимали свои стратегические задачи. Знали, что огромный арабский мир нуждался в образованных специалистах, там выписывают спецов за нефтедоллары из Европы, а теперь тут, на Западном берегу, им стали готовить менеджеров по всем нужным специальностям, знающих язык и местную культуру, людей той же веры, — и потому палестинцев, оканчивавших местные университеты, охотно приглашали на просторы Саудии и Кувейта, Ливии и Бахрейна... Их даже называли «евреями арабского мира». Они уезжали, зарабатывая там приличные деньги, они платили взносы в кассу ООП, на которые эта организация существовала, ну а потом, конечно, вывозили к себе с Западного берега свои семьи... Сам Арафат, к слову, одно время работал строительным подрядчиком в Кувейте. И хотя демографы единодушно предсказывали, мол, уже к концу 80-х годов численность арабов и евреев в Палестине сравняется, но на практике спланированная сионистами массовая эмиграция палестинцев привела к тому, что соотношение обоих племен десятилетиями оставалось примерно таким же, как в начале. Расчеты Арафата на «матку арабской женщины» сорвались именно из-за еврейской интриги, да вдобавок Израиль хвастливо тыкал Европе и Америке своей великой гуманностью в оккупационной политике. То есть евреи стригли купоны, как говорится, в любой позиции...

Но во второй половине 80-х гг. наступил экономический спад в мире. Соответственно, Запад стал меньше импортировать нефти. Нефтеносные страны ввели у себя «режим экономии». Прежде всего, правительства стали экономить на иммигрантах, на гастарбайтерах, лишенных

всяких прав. Что естественно. Конкретно — в нефтедобывающих странах палестинских специалистов стали выгонять с их должностей. Выгонять первыми! Куда девалась прославленная общеарабская солидарность? Уж во всяком случае, новые, только оканчивающие университеты специалисты из Палестины стали совсем никому не нужными.

Но университеты-то все продолжали выпускать студентов — поколение за поколением. А работы уже не находилось. В Израиле на работу не брали (хотя бы потому, что множество предприятий так или иначе были связаны с обороной). На Западном берегу накапливался взрывчатый человеческий материал вроде знаменитого Инженера, будущего лидера террора. Люди искали выход из полубезнадежной ситуации, и такой выход виделся им очевидным. Они считались умными, авторитетными и образованными — благодаря, в частности, израильским стараниям. И вот подобные выпускники университетов, а вовсе не Арафат и взорвали интифаду на местах!

Интифада означала использование индийского, как бы по Ганди, ненасильственного способа борьбы с евреями. Например, давление общины на местную полицию привело к массовому «добровольному» увольнению всех стражей порядка с их должностей. Или — к отказу местных арабских властей, мэров и старост выполнять любые распоряжения израильского начальства. Или швыряние камнями в израильских солдат привело в растерянность вооруженных людей (жертвы, конечно, тоже встречались, но незапланированные, неумышленные, жертвы демонстративного протеста)... Короче, наступил паралич израильской власти на территориях. Когда сегодня мне говорят, мол, «по соглашениям Осло мы потеряли территории», я отвечаю: вас тут тогда не стояло, а я-то помню, хорошо, сам, что никакой реальной власти Израиля ни в Иудее, ни в Самарии, ни в Газе, кроме как в еврейских поселениях, до Осло не существовало — годами. Поэтому ничего в реальности, а не формально не было потеряно в Осло. Все исчезло куда раньше!

Израильской армии легко было сражаться и подавлять силой вооруженного, пусть даже скрывающегося

противника. Его выявляешь и в него стреляешь — лишаешь жизни. Но что делать, если тебя — ну, просто не слушаются. Никто. Ни мужчины, ни женщины, ни дети. Дети, например, швыряют в солдата камни — для них это своего рода забавная игра, шалость, но... на уровне исполнения национальной задачи. Разгневанный солдат, в которого попали камнем, может, конечно, выстрелить, хотя бы и в ребенка... Но поскольку дети пытались все-таки не попадать в них — дети просто швыряли булыжники, демонстрируя неповиновение, что с ними реально можно сделать при помощи автоматов?

И противник — не боится тебя. Потому что понимает, что ты его не убьешь, а все остальное, хоть и неприятно, но пережить можно. Трудно и страшно выйти на схватку с вооруженным и страшным оккупантом, но просто не слушаться врага, ни в чем не слушаться, просто не платить ему налоги, не выполнять его приказов, сидя у себя дома, — сравнительно просто и, главное, доступно каждому обывателю. Вдобавок и лично приятно. Движение неповиновения стало массовым — каким никогда не было (и не могло быть) вооруженное сопротивление под главенством Арафата.

Я сам однажды попал в интифаду, когда ехал на автобусе вокруг Старого города. Вдруг выскочили детишки, лет 12–13, и стали швыряться в автобус камнями. Водитель сразу лег головой в противоположную от них сторону и остановил автобус. Они пошвыряли и тут же убежали — стремительно, как пули! Говорят, из Туниса доставляли им деньги и платили «за работу» налом — что ж, вполне возможно, верю, но тогда это еще и интересный для мальчишки способ заработка — что-то принести в семью, как правило многодетную...

Главным борцом с интифадой с израильской стороны стал министр обороны — Ицхак Рабин. Настолько твердо, успешно, с железной решительностью противостоял он противнику, что даже Ицхак Шамир, глава «Ликуда», запретил своим сторонникам поносить во время предвыборной кампании своего оппонента-социалиста: «Жал-

ко, — сказал он, — что у нас самих нет такого человека!» Это высказывание — просто иллюстрация к той наивной порядочности, которая сохранилась в Израиле, — а шла она, как писал я выше, от Менахема Бегина!

Но, конечно, победить интифаду и Рабин не мог. Как можно победить народное сопротивление? Единственное, что Рабин мог сделать и сделал, — не дал ей победить. Палестинцы начали уставать от несвойственной им все-таки, хотя такой выгодной ненасильственной борьбы. Все больше и больше сопротивление срывалось в открытый террор — а такие акты укрепляли сопротивление и упорство самого Израиля. Словом, по моей оценке, война — а интифада, несомненно, являлась особой формой войны — впервые для арабов закончилась вничью. Не победила ни та ни другая сторона, ни Израиль, ни арабы. Ничья, словом!

Даже Шамир понял — надо что-то решать с окончанием войны, сама по себе она никогда не кончится! И — согласился поехать на Мадридскую мирную конференцию, в которой участвовали люди Арафата. Нет-нет, конечно, официально их там вовсе не было, как можно уступить в этом вопросе, что вы! Но все знали — ни одно решение арабская сторона не принимает без одобрительной телеграммы из далекого Туниса. Так что самого Шамира интифада тоже надломила...

* * *

Кажется, я нарушил композицию книги, чрезмерно увлекшись изложением и оценкой исторических событий. Позабыл про основной сюжет — собственную жизнь. Но так задумана была эта биографическая книга — как жизнь человека на фоне меняющегося мира...

Все же — как именно складывалась лично моя жизнь в те далекие, восьмидесятые годы, помимо описанной выше работы для университета?

Я много писал вообще. После успеха «Украинских силуэтов» издал в Лондоне книгу про эков-армян — «Военнопленный секретарь» (так я назвал лидера Национальной объединенной партии Армении Паруйра

Айрикияна). Стимулом для начала работы послужил призыв тогдашней подруги Паруйра, впоследствии его жены — Елены Сиротенко. Когда Паруйра забрали в очередной раз в ГБ, Лена обратилась по радио «к другу Паруйра, Михаилу Хейфецу», призывая «что-то сделать для него!» Но что я мог для товарища сделать? Повторюсь еще раз, умею только одно — писать... Вот и стал писать — о нем и его товарищах по партии. Рукопись предложил в лондонское издательство «Оверсис Пабליкейшн» — по моему, контору создало ЦРУ специально для выпуска русских антисоветских книг. В принципе цеэрушники, как мне чудилось, с неуважением относились к своему же проекту — чего, мол, серьезной фирме публиковать какие-то книжки, надо всерьез работать, агентуру засылать, подполье создавать — вот это дело, а книжки — ну кто их читать станет? Но «русские» почему-то очень хотели, сильно настаивали — им и уступили, тем более денег требовалось относительно немного. Издательство получилось отличным, выпускало прекрасные книги — умные, новаторские, интеллигентные... Возможно, поэтому оно мало интересовало своих хозяев! Мой «Секретарь», например, хвастливо доложу, пошел в народ весьма эффективно, представитель издательства (шеф — ну из разведки, конечно), приезжавший в Израиль, говорил мне с явным удивлением, как быстро разошелся тираж (почему-то особенно заинтересовались армянами на... Дальнем Востоке). Увы, Паруйр, выйдя на ссылку и прочитав текст, невысоко его оценил... Что поделаешь! Не всем все нравится... Только через много лет он признал, что моя книжка — лучшее, что вообще написано об их движении. А ведь прошло с тех пор четверть века...

«Секретарем» я завершил свой «лагерный проект». Когда-то обещал гебистам, что напишу по книге за каждый год, выданный мне по приговору, — но они люди смелые, не убоились предупреждений и выдали мне целых шесть лет, хотели-то семь, год уже сбавил судья. Ну, в зоне я успел написать только две книги, они вышли в Париже, третью, «Путешествие из Дубровлага в Ермак», сделал в ссылке.

Ею мало интересовалась издательская публика, да я и сам не сильно старался ее продвигать. Оказавшись за границей, узнал про здешний водопад лагерной литературы, о котором до того не имел представления, и не особо рвался влиться в этот не слишком литературный поток. Однако через некоторое время получил письмо от Марка Поповского (из Америки), литератор написал, что в журнале «Грани», где он тогда работал замглавного, наступил кризис, пришла новая главная редакторица, у нее нет никаких литературных запасов, так вот, не найдется ли у меня чего-то для их журнала... Я вспомнил про старую рукопись и послал в «Грани». Быстро опубликовали, и неожиданно для меня она имела успех — сам Александр Исаевич Солженицын прислал мне теплое письмецо по ее поводу. Оценил меня мастер! Я догадывался, что именно ему особо понравилось — сцена на этапе, в Свердловской пересылке, когда конвоиры никак не могли поверить, что им доверили охранять «живого еврея». Видимо, ребятам виделось, что евреи прибывают в Союз прямо из Израиля, а тут — в тесной конуре, в их автозаке, живой еврей!!! Чудо!

Если прибавить сделанные уже в Израиле «Украинские силуэты» и «Военнопленного секретаря» к тем трем книгам, что написаны в зонах и ссылках, то выйдет в итоге пять книг — ну, почти полностью мой «проект в подарок КГБ»! Шестую рукопись я решил органам простить — все-таки последние два года провел на ссылке, а не в зоне, а там три дня засчитываются за один за проволокой, потому решил, что, мол, пяти книг с ГБ — хватит. И прекратил сочинять вообще про ГУЛАГ.

Первой книгой, написанной в Израиле, которая уже не имела никакого отношения к лагерным зонам, стал сборник эссе «Глядя из Иерусалима».

История этого сочинения такова.

Приятель по Герценовскому институту прислал из Америки письмо, где умолял помочь его дяде, решившему издавать в Штатах новую русскую газету (уж не помню, как ее назвали). Мол, им нужен позарез спецкор по Израилю! Мне показалась интересной задача — давать

американским евреям картинки нашей страны. Как, мол, Израиль может видаться глазами «новоприбывшего» из России человека. Писал я в эту газету еженедельно... Статьи, насколько знаю, аккуратно печатались, но гонорара — ни разу не выслали. Никакого. В итоге газета лопнула — оказалась обычной эмигрантской аферой, ну, жулики-проходимцы-«издатели» и все прочее. От нее только и осталось, что у меня на руках несколько десятков рукописей про Израиль.

И внезапно подвернулась новая служба в Израиле — одновременно с университетом. Частный издатель Феликс Дектор, выпускавший тонкий журнал «Израиль сегодня» (издание для России, т. е. для бюро «Натив»), надумал параллельно с ним выпускать и толстый литературный журнал — «Народ и земля». Издание, в чем-то подобное советской «Иностранной литературе», такое собрание книг и статей, которые пишут (это — в отличие от «Иностранки») именно евреи, но — в разных странах мира (не в России и не в Израиле, т. е. как бы для нас все-таки они — авторы-«иностранцы»). Меня Феликс пригласил литературным редактором, т. е. фактически я делал все номера — от начала до конца. Интереснейшая оказалась работа, с огромным удовольствием ею занимался... Однажды рассказал Дектору в часы службы про мои очерки для Америки, пожаловался хозяину, так сказать... Он попросил посмотреть, а потом... взял да и напечатал все в «Израиле сегодня», решив, что советскому читателю тоже будет это интересно. Тут я и надумал собрать свои эссеишки вместе, издав их отдельной книгой. Название придумал — «Глядя из Иерусалима», по аналогии со знаменитой передачей Анатолия Максимовича Гольдберга (на Би-би-си) — «Глядя из Лондона»... Увы, издателем в тот раз я выбрал, как мне сегодня кажется, душевнобольного человека, который, по-моему, сдвинулся на идее собственной «суперловкости» — брал с авторов деньги за выпуск их рукописей и благополучно присваивал авансы, а книги — не выпускал вовсе. Незачем, мол, разводить авторам такую роскошь! Ну, болезнь охватила

человека — чего не встречается в психике... Но мне удалось — чудом! — заставить его выпустить мою рукопись в свет. Эта тысяча экземпляров и разошлась мгновенно — буквально в считанные дни, ну, в две недели. Меня попросили с разных сторон допечатать тираж, но я боялся снова вступать в общее с издателем дело! И осталась книжица, как и была издана, малотиражной...

Другое заметное событие в моей личной жизни конца 80-х годов — наше первое путешествие в Америку. Это был где-то январь—февраль 1988 года...

Послал меня в то путешествие, конечно, Этингер. Так сказать, в служебную командировку отправил. Какая-то международная научная конференция собиралась в американском Монтерее (курортный городок в Калифорнии, на Тихоокеанском побережье) — помнится, темой стало современное состояние православия. Или вообще церковных дел, уже не скажу сегодня точно... Помню, что докладчиком являлся какой-то архиепископ из Украины, с ним приехали два молодых священника из Москвы. Я должен был читать доклад параллельно с ними. От израильтян приехал туда мой близкий приятель, советолог из нашего же универа и одновременно известный в Союзе литератор, профессор Мэлик Агурский.

Расскажу тут о Мэлике, он того заслуживает. Мэлик (что означало Маркс, Энгельс, Либкнехт Карл — так именно называли младенца по воле отца) — сын видного коммуниста, вожака Евсекции при ЦК ВКП(б), сотрудника товарища Сталина по Наркомнацу. Как ни парадоксально, но Агурского-отца при таких-то его знакомствах почему-то не расстреляли! Не понимаю... Но товарища Сталина в логике его поступков вообще трудно понять. Агурский-отец отделался ссылкой, и что пикантно, в те же места, куда через тридцать лет сослали меня самого, — в какое-то село возле нынешнего Ермака в Северном Казахстане (мы с Мэликом вспоминали вместе, сын ездил туда навещать отца в изгнании. В ссылке отец, к слову сказать, и умер). Мэлик в зрелые годы сделался интересным и оригинальным исследователем, публицистом — из

круга А. И. Солженицына (в сборнике «Из-под глыб», например). Виделся мне Агурский не слишком глубоким по сути, но — непрерывно работавшим исследователем. Не жалел себя, ездил в самые дальние архивы, что-то вычитывал в документах, перелистывал старые книжки, которые никто, кроме него, не раскрывал (ну, к примеру, при мне — читал с начала до конца полное собрание сочинений Горького). И всюду умудрялся обнаруживать неизвестные и весьма любопытные тезисы — например обнаружил огромное сходство взглядов Горького с философией Шопенгауэра. Кто бы мог предположить!.. Я почти никогда не соглашался с теориями и выводами Агурского — но мне всегда было чрезвычайно интересно общаться с ним, слушать его, возражать ему, находить в беседах новый материал для своих собственных размышлений — а таких людей в мире немного!.. Он, к слову, и посоветовал Этингеру послать именно меня в Америку — у него возникли обширные связи с советологами по всему миру, он все и про всех знал, и в тот раз решил, что мои идеи про Россию могут заинтересовать не только специалистов по еврейским делам, но и советологов тоже...

Конечно, раз уж у меня появилась возможность съездить в Штаты за казенный счет, я решил не ограничиться посещением Монтерея. Сначала вылез в аэропорту Нью-Йорка... Фантастика! Не говорил по-английски вообще, никто меня не встречал, я не мог дозвониться ни по одному взятому про запас номеру — после гудка мне что-то долбила трубка, но что она сообщала слушателю — я не понимал (а, как выяснилось, она сообщала, что в Нью-Йорке изменились все номера, и надо прибавить одну цифру спереди). На мое счастье, увидел в зале аэропорта головы в гигантских кепках-«аэродромах» и несомненно опознал в них советских грузин. Они и помогли мне набрать нужный номер телефона...

Связался с нью-йоркским врачом и давним питерским приятелем Саней Ланским — он купил особняк в городе, на Форд-стрит, где проживал с семьей. Саня — сын знаменитого питерского газетчика, рожденного, есте-

ственно, Либензоном, а совсем не Ланским. Мне рассказывала Санина жена, как и почему Либензоны превратились в Ланских... Забавная и, по-своему, характерная для того времени история, поэтому ее перескажу... До войны Геббельс высказал сожаление, что ведущие журналисты в Союзе — евреи. И товарищ Сталин принял критику из Берлина, но принял по-своему — распорядился не менять верных ему журналистов, но ввести для них в обязательном порядке русские псевдонимы. Либензон как раз в тот день готовил какой-то материал про строительство на Ланском шоссе и наутро увидел свою же статью, но подписанную неизвестной ему фамилией — Ланской... Так его семья сделалась, как мы подшучивали над Саней, «русскими аристократами»...

Саня рос чудесным человеком, умницей, и главное, великолепным врачом, он встретил меня в Нью-Йорке как близкого друга и всячески обихаживал наше бытие... Как блаженный я ходил по легендарному городу! Наслаждался Бродвеем — не тем Бродвеем, что тянулся на три квартала по Невскому, между Литейным и Московским вокзалом, а настоящим, взаправдашним. Вот смотрю на знаменитый по картинкам небоскреб «Утюг»... Вот небоскребы, стриты, авеню (конечно, сходил на Уолл-стрит и на Пятую авеню), Рокфеллер-центр, Бруклинский мост (привет Владимиру Владимировичу — тогда Маяковскому!)... Саня Ланской объяснил, к слову, что «отсюда безработные» никак не могли «кидаться в Гудзон вниз головой», ибо река Гудзон (Хадсон) течет по обратную сторону острова Манхэттен... И конечно, запомнился Центральный парк — нас, запуганных российской пропагандой, удивляло, что никаких бандитов, которые вроде бы господствуют в парке, если верить статьям в советских СМИ, не видно вовсе, хотя мы с женой бродили там в ночной тьме, зато наблюдали массу гуляющих американцев. Сходили в музей Фрика — потрясение! Впервые осознал, какого масштаба существуют в мире частные коллекции. Мы ж ничего подобного не чувствовали, не могли реально себе представить... Саня специально под-

вез нас на своей машине и поднялся со мной на лифте на верхний этаж башен-«близнецов» — чтобы посмотреть на город с их крыш, тогда они считались самыми высокими в мире. Показал здание ООН — «видишь, Миша? Нью-Йорк — столица мира». Впервые я осознал, как гордятся жители своим обиталищем — пожалуй, даже больше, чем питерцы — Ленинградом...

Я облетел тогда, кажется, пол-Америки. Из Нью-Йорка отправился в Чикаго, но там все-таки не вышел из аэропорта, хотя бы потому, что не знал номеров тамошних знакомых (дурачок был, там жили как раз мои самые близкие соседи по питерскому дому), да и не представлял вовсе сумасшедшую красоту невероятного города. Думал, Чикаго — что-то вроде скопления мясобоен, как описал его Маяковский в начале 20-х годов. Оттуда полетел в Сан-Франциско, отыскал Мишу Лемхина, блестящего питерского фотографа из круга Бори Стругацкого. С давних пор помнил, еще от Паустовского, что Киев занимает второе место в мире по красоте, уступая чемпионское звание только Сан-Франциско. Возможно, Паустовский и преувеличил, но город оказался очень, очень хорош — фантастическим разнообразием дивных фасадов... Прочитал лекцию для местной украинской общины, отвечал на щекотливые вопросы о Демьянюке, как раз в те дни обвинявшемся в Израиле в преступлениях против человечности... Прилетел, наконец, в Монтерей — и тут выяснил, что в городе размещена разведшкола американской армии, потому-то и занялись в этом малом провинциальном городке советологией. На конференции больше всего поразило, что собравшиеся со всех концов земли специалисты-советологи, как правило, не знали... русского языка!!! Читать умели, а говорить — ну, примерно, как я на иврите. Доклады все читали по-английски, я один читал по-русски — из-за незнания их языка (ко мне приставили переводчицу, русскую по происхождению, чтоб слушатели хоть что-то понимали). Правда, возникли интересные знакомства — но всего тут не напишешь, да и не интересно «все» знать моему чи-

тателю. Лично мой доклад понравился публике, и его в числе немногих выпустили в свет в отчетной книге конференции и изложили вдобавок в британском научном журнале, выходившем в Оксфорде.

Из Монтерея я полетел в Лос-Анджелес, в гости к другу и соавтору Юре Гурвичу, пожил у друга, помотался с ним по гигантскому мегаполису (представить размеры Лос-Анджелеса — невозможно нормальному человеку! Из дома в дом к знакомым приходилось ехать на Юриной машине час, причем без пробок, представляете?). Оттуда я полетел обратно на Восток — в Филадельфию, где прочитал лекцию студентам местного универа (с переводчиком, конечно, читал), потом вернулся в Нью-Йорк — повстречал в аэропорту соллагерника — украинского поэта Мыколу Руденко, он только-только освободился! Оттуда устремился в северный пригород Нью-Йорка, Квинс, и разыскал там старого питерского друга Борю Парамонова, философа и публициста, работавшего обозревателем в нью-йоркской «Свободе». Очень я любил его передачи и статьи — первоклассные публиковал материалы! Оттуда устремился на север — сначала в Дартмут, прочитал лекцию в колледже у тамошнего профессора, поэта Лёши Лосева, моего друга по «Костру», оттуда вернулся в Нью-Йорк и снова поехал на север, в Миддлтаун — в гости к преподававшему там Юзу Алешковскому. А Юз внезапно спросил: «Бродского ты видел?» — «Да нет, когда только приехал, позвонил ему, но он извинился, мол, Миша, ты заловил меня на пороге дома, уезжаю на север преподавать в университет». — «Точно. Он как раз недалеко отсюда работает, в Амхерсте. Хочешь повидаться?» Я, конечно, хотел, и неумоимо энергичный Юз тут же отзвонил Иосифу, посадил меня в машину, и мы выехали в Амхерст. Провели вечерок у Иосифа, причем он вызвался рекомендовать мое «Путешествие из Дубровлага» в «свое издательство», как выразился, вызвался сам, я ни о чем не просил — не так воспитан! Из этого проекта, разумеется, ничего не вышло, да и не могло, не американская моя книга, но я оценил великодушный порыв товарища! Ио-

сиф терпеть не мог, когда ему самому пытались помогать, об этом я догадывался давно, но что сам он с готовностью рвался помогать друзьям — это стало для меня приятнейшим открытием. Я тогда уговаривал его приехать к нам, в Иерусалим (у меня имелось приглашение ему от мэра израильской столицы Тедди Колека), но он упорно отказывался — так же, как позднее отказывался ехать в Россию. Прямо не говорил почему, но у меня возникло подозрение — страшновато было ему, благополучному американскому профессору-лауреату, ступить на землю, где две тысячи лет назад ходил босыми ногами другой молодой еврей, тоже поэт по сути, в каждое Рождество которого наш Иосиф любил сочинять тому особое стихотворное послание.

Еще — из визитов того времени запомнилась поездка в Гарвард. Я надеялся посетить в универе русский Центр, конкретно — профессора Александра Некрича, невероятно популярного в наше время историка, но его не оказалось на месте, и я отправился по соседству, в Центр украинский, к знаменитому профессору Омеляну Прицаку, автору замечательной концепции «происхождения Руси» и вообще необыкновенно интересному ученому. Мне повезло: разразилась снежная буря, дежурный докладчик на семинар к профессору не смог добраться и Прицак предложил мне вместо того лектора прочитать у него на семинаре доклад. Хорошо прошла гарвардская лекция, я был доволен, обменялись с профессором книгами, он просмотрел мою и долго нахваливал «Силуэты», в чем-то они оказались созвучными его размышлениям о политиках современной Украины. А я интересовался деталями его удивительной гипотезы «происхождения Руси»...

По возвращении в Израиль тоже произошел некий забавный эпизод, связанный с моей поездкой в Америку.

...Однажды утром раздается телефонный звонок.

— Это Борис Парамонов из Нью-Йорка. Миша, скажи, ты не хотел бы поработать на нас, на радио «Свобода», нет, не в Мюнхене, а вот здесь, в Нью-Йорке?

Я, естественно, воспринимаю предложение как приглашение стать израильским корреспондентом нью-йоркской «Свободы» и с радостью отвечаю: «Конечно, конечно». Это ж приличный заработок — причем за любимую работу!

Начинаем обсуждать детали — и вдруг Боря высказывается так: «Переезд, разумеется, за счет станции. И квартиру тебе подыщу сразу». Только в тот момент я сообразил, что меня зовут переехать в *Америку*, на работу, на полную ставку.

— То есть это — штатная работа в студии?

— Ну да...

— Нет, Боренька, дорогой, спасибо за приглашение, но я не поеду. Я тебя сначала не понял... У меня есть моя страна, я ее люблю и уезжать никуда отсюда не хочу.

— Как жалко! А я уж со всем начальством договорился...

Так я чуть было не оказался в Америке — насовсем. Но не захотел. И никогда потом не жалел. Ужасно мне понравилась Америка, прекрасная страна, вполне в моем вкусе, но... Эмиграция — психологически очень тяжелая штука, вторично переживать ее, даже на очень хороших условиях — никому такого добра не пожелаю.

Самая тяжкая потеря из всех возможных во время любой эмиграции — это люди. За жизнь перед тобой мелькают тысячи особей, из них ты инстинктивно отбираешь тех, с кем тебе стоит общаться — хорошо с ними дружить, приятно видеть, приятно болтать и делиться личным. А потом — уезжаешь в никуда и теряешь почти всех (в лучшем случае — всех, кроме семьи), кого нашел за целую жизнь. И чтобы найти новых — нужны долгие годы. А если пребываешь в иноязычной стране, то неизвестно вообще, найдешь ли снова кого-то подходящего для себя ... Это — по-настоящему тяжело для каждого, для любого человека. Израиль в этом смысле — идеально благоприятная страна для пребывания здесь нас, «русских». И страна сама по себе относительно небольшая, и «русских» в ней много-премного, легко можно найти земляков, среди них возникнет и шанс найти новых

друзей. Особенно — после «алии 90-х». В Америке же с ее бескрайними просторами... Не знаю, не уверен ни в чем.

Я бы не хотел испытать чувство потери — заново, еще раз. Ни при каких условиях.

* * *

После возвращения из Америки дошли до меня слухи, что Этингера увольняют с должности руководителя нашего Центра, то есть университета от него избавляется.

Якобы шефу исполнилось семьдесят лет — и, мол, это предельный возраст для службы в израильской профессуре. Преемником назвали одного из его учеников — тоже профессора университета, но более молодого, Мордеха Альтшуллера.

Я не уверен, что тогдашние слухи были правдивыми. Лично я увольнение нашего профессора, активиста «левого фронта», связывал с иным — с резким поправлением правительственной политики в Иерусалиме.

Как раз в те годы развалилось правительство «национального единства», Перес с его партией вышли из блока с Шамиром и попытались свалить «Ликуд» в союзе с новой религиозной партией — ШАС.

Собственно, новую партию ее лидеры выпестовали именно с подачи хитроумного вождя социалистов. Он, видимо, давно лелеял такую идею — расколоть правое большинство в народе и в парламенте. А заметной частью «лагеря правых» считались ультрарелигиозные партии. Перес сумел их раздробить, воспользовавшись интуитивной дискриминацией, которую раньше использовал «правый» Бегин против социалистов, а на этот раз — напротив, социалисты попытались использовать против «правых», уже в религиозной среде. Ашкеназские многомудрые раввины и цадики, видимо, подвергали учеников из сефардской среды некоему пренебрежению в своих знаменитых йешивах — в это я верю! Вполне верю... Формально-то все евреи считались как бы равными, но это формально... А на деле — как всегда — раввины предпочитали выдвигать своих, родных и близких, — как повелось издавна у них в местечках. Вот

Перес в пику им и поддержал восточных «чужаков», помог им самоорганизоваться, как-то сразу обнаружил в этой среде исключительно талантливых и смысленных вожakov, и очень скоро, да почти мгновенно, новая партия ШАС захватила главное место на «религиозной улице», уведя избирателей у правящего «Ликуда». Словом, с помощью ШАСа Перес пытался (безуспешно) свергнуть «правого» премьера. Но попытка провалилась, и он ушел в оппозицию...

Двигательной причиной для интриги Переса, думается, служил провал переговоров в Лондоне. Хитроумный вождь социалистов умудрился провернуть — в который раз! — одну из самых выдающихся своих идей и комбинаций в еврейской истории, могшую — в случае удачи — перевернуть всю политику Израиля и соседних арабских стран. Он-таки уговорил иорданского короля Хусейна тайно встретиться с ним в особняке одного из лондонских друзей, некоего лорда. Прислугу хозяева дома отпустили, жена лорда лично готовила тайным посетителям ужин, посуду король с вице-премьером помыли сами... Просидели целую ночь, спорили и... договорились, что Израиль возвратит арабам Западный берег, но не Арафату с его палестинцами, а именно иорданскому королю, у которого Армия обороны Израиля, в сущности, и отвоевала некогда эти «территории». Двадцать лет назад! Когда, по возвращении в Иерусалим, министр иностранных дел познакомил с планом премьера Шамира, тот категорически отказался давать согласие на его идеи. Оскорбленный Хусейн отказался от всяких дальнейших претензий на Иудею и Самарию, а Перес, да и вообще все «левые» ушли из правительства, причем лидер одной из левых фракций предупредил премьера: «Теперь Вам придется иметь дело с Арафатом». Но Шамир, повторяю, при всех его блестящих талантах организатора, при самых выдающихся возможностях руководителя, все же не обладал творческим воображением — и представить такой вариант оказался не в состоянии.

Вот с этими событиями я и связал тогдашнее увольнение нашего профессора и соответственно — уход его из университетского Центра.

Это ощущалось мной как серьезнейший удар по моему собственному положению в Центре (хотя мы все не догадывались тогда, насколько такой удар серьезен). Эттингер вызвал меня к себе домой и наставлял, как вести себя правильно, чтоб не пострадать при новом руководителе. «Профессор, — сказал я ему, — мы Вам бесконечно благодарны за все, что Вы сделали для наших судеб в Израиле. Но единственное, в чем можем Вас упрекнуть, — на кого ж Вы нас оставили?!» Он помолчал, а потом выронил: «Зема ше еш» («Это все, что есть», ивр.).

Вскоре после увольнения он уехал в Великобританию читать лекции — кажется, в Кембридж. И внезапно умер — от сердечного приступа. Прямо в лондонском аэропорту.

Это событие произошло с неким мистическим подтекстом — как раз в Судный день, в часы всеобщего еврейского раскаяния перед Небом и просьбы к Всевышнему о прощении.



Хейфец Софья Моисеевна, мама автора



Автору 5 лет — на коленях
у двоюродной сестры Ани

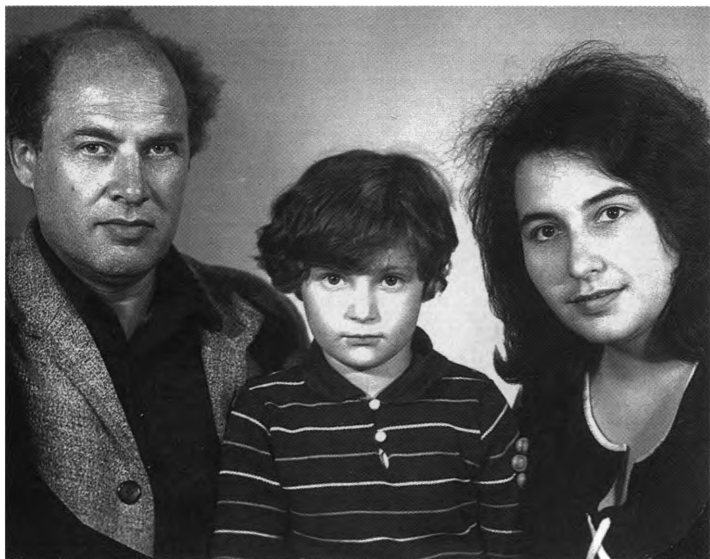


На Урале. Первый класс —
с детьми заведующей аптекой Ашмариной



10-й класс. Автор — первый справа

**Михаил Хейфец —
студент педвуза**



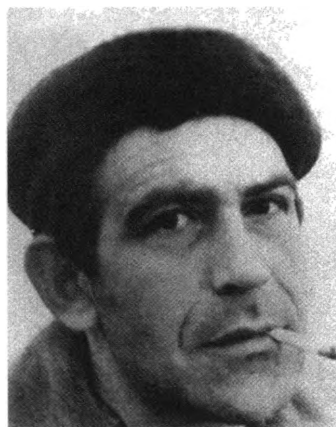
**Владилен Травинский с женой Татьяной
и дочкой автора Ольгой — после ареста Хейфеца
они взяли Ольгу с собой на юг.**



Алексей
Адмиральский



Александр
Пинскер



Юлий
Даниэль



Александр
Гинзбург



**Иосиф Бродский
(фото М. Лемхина)**



**Юрий
Галансков**



Наташа и Оля Хейфец



Валерий Граур



Паруйр Айриkyн



Зорян Попадюк



Раиса и Михаил Хейфецы



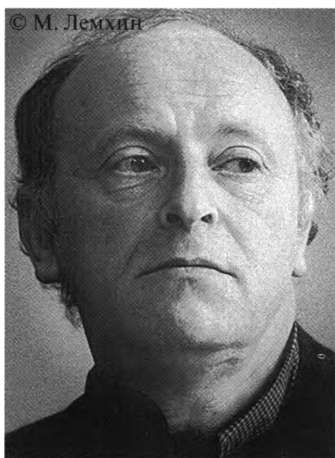
Михаил Хейфец, Раиса Хейфец,
Мария Эткинд и Ефим Эткинд



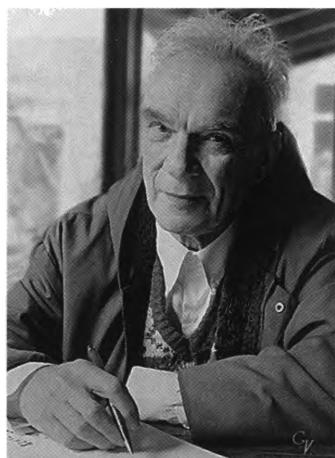
Ефим Эткинд
в Иерусалимском
университете



Борис Пэнсон



Иосиф Бродский
(фото М. Лемхина)



Михаил Хейфец

ЖУРНАЛИСТИКА 1990—2000

Рассказы о моей жизни я часто обозначаю на публике определением — «Четыре жизни Михаила Хейфеца». Первая жизнь — «по диплому»: т. е. учительство (отработал в школе 9 лет); вторая — писательство, включая сюда годы заключения (в зоне, конечно, я считался преимущественно эком плюс фрезеровщиком-сверлильщиком, но на практике, конечно, служил все-таки писателем), — примерно 15 лет. Потом наступил период научной работы в Еврейском университете (примерно 8 лет). И наконец, последняя, четвертая жизнь — работа в журналистике. Уже до самого ухода на пособие по старости.

Честно признаюсь, менял я свои четыре жизни не по доброй воле — каждая нравилась, в каждой чувствовал себя превосходно. Но из школы вынудило уйти то, что не мог на учительские заработки прокормить семью; из писательства насильно вытолкали «товарищи из органов», выпихнув заодно и из России. Но я все же надеялся кончить судьбу историком, научным работником — ведь служба в университете казалась мне моим истинным призванием. Однако — выставили и оттуда...

Случилось сие событие примерно через год после смерти профессора Шмуэля Этингера.

Сначала я не понимал витков в эволюции нашего Центра. Новый босс, профессор Альтшуллер, перестроил кафедру самым решительным образом. Если при Этингере Центр работал как своеобразная научная школа, где каждый сотрудник творил самостоятельные работы, создавая кафедре международную репутацию, то новый шеф явно хотел переделать Центр в обычную (в Союзе, во всяком случае) кафедру, где сотрудники работают на босса и

обслуживают нужды по созданию его собственных сочинений — подбирают и просматривают к ним материалы, выполняют его заказы и прочее... Это не виделось мне чем-то экстремным, наоборот, Альтшуллер создавал как бы самый-самый распространенный вид научной кафедры. Но нас-то к такой работе не приучили — Этингер разбаловал! Альтшуллеру это не нравилось, и он постепенно стал избавляться от сотрудников учителя, одного за другим увольняя моих коллег (в итоге — осталась в штате, кажется, одна Людмила Цигельман, и то потому, что она редактировала кафедральный сборник, а с этой работой другой сотрудник, наверное, не смог бы сладить).

Но поначалу я ничего худого не подозревал и работал, как обычно, как привык всегда. Вокруг, в стране и мире, полным ходом разворачивались важнейшие политико-демографические перевороты, влиявшие на нашу судьбу кардинальным образом. Например, завершалась в России перестройка — от социализма к капитализму. Надвигалось время «большой алии» евреев в Израиль (стоит упомянуть еще о таких «мелочах», как объединение Германии, «бархатная» революция в Чехословакии, как вооруженная революция в Румынии)... Словом — невероятный размах «эпохи перемен»!

У меня вызревало ощущение, что многие народы в мире элементарно сошли с ума. Например, российский народ... Он попросту помешался на каких-то странных пунктиках! Россиянам, например, мерещились ужасы, надвигавшиеся на Союз в ближайшем будущем, ну, скажем конкретнее, советские евреи предвидели погромы, вообще — что Россия как великое государство кончилась (я-то, напротив, чувствовал, что Россия в силу особой ее психологии обречена оставаться великой державой навсегда, так уж она устроена от природы. Допускаю сегодня, что, возможно, ошибался — слишком страшными оказались потери народа в XX веке, не могли они пройти вовсе без последствий, это виделось бы даже несправедливым по отношению к павшим и потерянным ее гражданам). Но это все — лирические размышления, а здесь

важно отметить, что я расходился в ощущениях с евреями, прибывавшими в Израиль из России. Они, как мне казалось, прибывали в безумном шоке, в панике, в страхе — «бежать, бежать, бежать!», спускаясь по трапам в аэропорту сотнями и тысячами. Буквально каждые сутки!

Некий израильский экономист нашел недавно удачное сравнение для тогдашнего еврейского потока в Израиль: он посчитал его равновеликим переезду всего народа Франции в США! Да, свыше миллиона новых граждан появилось в малой стране за три года. Пятая часть нашего населения.

Необыкновенная историческая удача состояла в том, что этот переезд совпал с новой социальной политикой в мире (в Израиле тоже), она помогла быстрее освоиться на новой земле, хотя тогда никто подобной удачи для новоприбывших не понимал. Прежний порядок вживания в Израиль называли «плавильным котлом» (так звали некогда Соединенные Штаты Америки, а теперь вот Израиль). И вдруг «котел» — сломался. Его заменили на так называемую мультикультурность, и она-то помогла новичкам освоиться в Израиле с необыкновенной быстротой и относительно легко — во всяком случае, много быстрее, чем это происходило в прежние времена.

...Например, мы, наша семья, приехали в этот самый плавильный котел. Тогда считалось нормальным, что говорившего по-русски на улице могли поправлять незнакомые прохожие — «рак иврит» («только иврит»); что в «русской среде» модным гляделось всяческое приспособление к окружению, полное отречение от прежнего языка, от былой культуры. Главное, о чем новички мечтали, — смотреть в стране «как все»... Были даже такие «русские», что с жаром запрещали детям разговаривать дома по-русски! Конечно, нашей семьи подобное безумие не коснулось, но все же, все же...

Вот забавный и весьма характерный для эпохи «плавильного котла» эпизод.

Моя жена и дети, естественно, записались в документах «русскими» — согласно израильским законам. Потом возникла в семье естественная для Израиля проблема — не

пройти ли девочкам «гиюр», т. е. не перейти ли им в иудаизм. Я отправился в контору к раввину, который подобными обрядами занимался... Сравнительно молодой человек, он встретил меня неожиданной претензией: «А почему ты не записал детей на границе еврейками? Никто ж не проверял у вас документов, достаточно было просто сказать — «еврейки», и ты избавил бы и себя, и меня от всяких хлопот!» И так ничего и не сделал для решения проблемы... Увы! Вот оно — типовое отношение в Израиле...

Я понял, что «сплавление народа» приветствовалось даже «религиозниками». Не придумывайте, мол, господа приезжие, всякую хреноту, а вливайтесь-ка в толпы израильтян, и настанет для всех полный порядок и единство!

Когда (всего-то через 10 лет!) прибыла новая «алия 90-х», ситуация перевернулась на 180 градусов — коренным образом. В первую очередь, перевернулась в культуре. Израиль подражал Европе во всем — в плохом и хорошем, и как раз тогда начали считать и в европейском, и в здешнем, израильском обществе, что прибывшей общине хорошо бы сохранять некую «особость», некие традиции, сложившиеся вдалеке, и это как бы обогатит разнообразием местную культуру (такая политика и называлась мультикультурностью). Соответственно никто более не повторял «рак иврит», разумно понимая, что ивриту люди все равно научатся — так или иначе, рано или поздно, в самом процессе жизни и сами по себе, без принуждения. Но вот — полезно развивать культурные очаги на языках диаспоры, включая, например, «русские» театры, газеты, журналы, радио, телевидение и все прочее! Как и «русскую» кухню, к примеру, как незнакомые прежде русские праздники типа Дня Победы... Конечно, новая социальная политика связывалась (в моем представлении) с многократно возросшей уверенностью евреев в самих себе, в своей стране, мощи, особенности. Теперь не страшным казалось к чужой речи прислушаться, у чужой культуры полезным вещам учиться...

Мультикультурность чрезвычайно помогала приехавшим евреям быстрее вписаться в местную массу, в новую

среду. Да, такое звучит парадоксом, но я сам наблюдал явление — даже в какой-то мере создавал его. Полноценное владение новым языком становилось возможным только для молодых людей (новоприбывшая молодежь, включая моих собственных девиц, болтала между собой только на иврите — иврит ощущался ими молодежным сленгом, придавал дополнительную и столь желанную юнцам и девицам независимость от родителей, как всегда, молодежь, конечно, «не понимавших»). Старшее же поколение владело преимущественно новым языком на бытовом уровне, язык же культуры, язык политики, «слог интеллигенции» — совсем другой, совсем иной уровень овладения речью (я, например, не подозревал в России, что говорю на столь высоком русском языке, который огромная часть собственно русского населения вовсе и не понимает! Осознал только в Израиле, когда сам оказался частью этого «бытового населения»). Мы, старшие особи, медленно и дурно ориентировались в сферах жизни, которые как раз нас особо и занимали — в жизни интеллектуальной, политической, общественной... Мы были естественно исключены из нее, не зная особого наречия, тамошнего средства общения, медленно и трудно читая — даже газеты. А ведь именно мы, специалисты, считались самой нужной и полезной для нации частью «русской» общины! И поэтому возникновение в Израиле СМИ на русском языке помогало много быстрее освоиться в обществе, разобраться, кто тут за кого, как работают рычаги здешнего влияния, как научиться вырабатывать собственную позицию, как проникнуть в общественную жизнь — на равных с местными людьми. Новая алия смогла почти молниеносно превратиться в важный фактор здешней политики и культуры, чего бесполезно и бестолково добивалась предыдущая волна «алии 70-х». А «новые» добились — благодаря «русскоязычным» СМИ.

С чего все началось? Может быть, с радио? Вдруг начальство решило — создать на базе «Голоса Израиля» специальную радиостанцию для новоприбывших — РЕКу. Если «Голос» размещался, как положено, в столице, в

Иерусалиме, то местную станцию открыли в Тель-Авиве — как водилось, рядом со всеми ведущими культурными центрами. Поначалу сотрудников набирали из новоприбывших, преимущество отдавали почему-то евреям, приехавшим из Баку (РЕКу даже прозвали «бакинской сборной»). Конечно, новички не знали иврита вовсе — а потому я виделся им в роли «гостя студии» находкой — с одной стороны, говорил по-русски, с другой — прожил в стране десять лет и знал, кто тут есть кто и что именно на иврите творится «в кулуарах». Меня буквально рвали на разные передачи... Но, как всюду на Западе (кроме «Свободы» и Би-би-си), за выступления не платили ничего, так что я жертвовал и временем, и усилиями бесплатно, из чистого «патриотизма», считал это своим общественным долгом — помогать новым журналистам. А они, натаскавшись на иврите, сразу про меня и позабыли... В их представлении — это ведь они меня «благодетельствовали», вытаскивая на публику... Вот в такой ситуации я столкнулся впервые с особой спецификой журналистов, которую потом осваивал изнутри.

Вскоре появились «русские театры» — сначала «Театр Семена Злотникова», потом «Театр Евгения Арье», ну и куча антреприз (Максима Леонидова, Михаила Козакова и пр.). Параллельно явило себя миру Новое «русское телевидение», где стал работать мой старый друг, прозаик из Питера Марк Зайчик (именно Марк первым встретил меня в Вене — сделал это по просьбе Володи Марамзина). Марк частенько вытаскивал меня на разнообразные передачи, обычно с участием блестящей ведущей Марины Левинсон (Бурцевой), у которой я ходил в любимчиках. Так и познавал жизнь «телезвезды» — невозможным оказалось ездить в автобусах или ходить по улицам, прилипали восторженные поклонники... Уф! Приятно, но и смешно, и занудно одновременно.

Главная новость — стали, наконец, появляться русские газеты.

Начало положил «Спутник», по-первости являвшийся просто листком с программой телепередач, он расхватыв-

вался публикой во-всю. И вот «Спутник» вроде ни с того ни с сего стал расширяться, помещал статьи, причем хорошие, дельные, толковые... Социалистическая «Наша страна», аналог советской «Правды», хотя в ухудшенном варианте, не смогла выдержать конкуренции — закрылась. Параллельно со «Спутником» появились «Новости недели», отличная газета, дальше дублеры стали возникать один за другим. Русских газет выходило, виделось, десятки — открывались, закрывались, снова открывались... Моя дочь Наташа читала лекции по экономике каким-то начинающим «русским бизнесменам» (казна решила оказать такую помощь новоприбывшим, объяснив особенности и порядки в местном бизнесе), и один из ее выпускников взял да и создал иерусалимскую областную газету — «Наш Иерусалим»... Словом, печатное слово на русском языке в Израиле расширялось едва ли не каждый месяц! Последними открылись «русские» книжные издательства.

Думается, где-то к началу 90-го года распространился в публике особый слух: мол, открывается еще одна и уже «большая русская газета» — с весьма приличными зарплатами. Туда, мол, и набирают немалый штат.

Я почему-то жил в уверенности, что ко мне обратят оттуда с деловым предложением. Много ли в Израиле опытных литераторов, хорошо известных публике, уже написавших немало книг? Но — месяц проходил за месяцем, а меня никто не беспокоил...

Вдруг позвонил старый знакомец, русскоговорящий ивритянин, — Авраам Бен-Яков (я догадывался, конечно, что рожден этот Бен-Яков был попросту Якобсоном). «Миша, у меня есть деловой разговор...» В какой-то кафешке мы потолковали, он меня и позвал сотрудником в новую редакцию... Ее приготовился основать в Тель-Авиве газетный магнат из Великобритании сэр Джон Максвелл, босс всемирной газетной империи, второй по влиянию и богатству на Земле медиамагнат (после австралийца Мердока).

История жизни Максвелла читалась загадочной и авантюрной сагой, впрочем, как и его идея создать боль-

шую русскую газету в Израиле. По происхождению Максвелл — еврей из какой-то восточноевропейской страны (уж не помню, из какой именно и какая там была у него урожденная фамилия). В годы войны сумел бежать в Англию, вступил добровольцем в армию, был зачислен в военную разведку, сделал карьеру — кажется, кончил службу майором. После войны уволился и занялся медиа-бизнесом. Создавал газету за газетой, принимали его повсюду с лаской и уважением, даже в Москве, т. е. магнат осуществлял какие-то тайные контакты на высшем уровне. Был, видимо, невероятно честолюбив — я бы сказал, честолюбив до извращения. Например, мечтал выкупить у Кремля... газету «Правда», ни больше ни меньше! А в Египте — купить «Аль-Ахрам» (ну, это, примерно, того же размаха замысел). В Москве ему, естественно, отказали, что и задело мужика за живое... Как это, ему за несметные деньги — и отказывают в чем-то. В голове у сэра возникла новая «светлая» идея. Он как раз в том году приобрел израильский «Маарив» («Вечерку»), вторую по тиражам и значению газету страны, и вот подумал: а почему бы ему, опираясь на здешний «Маарив», не создать и свой аналог «Правды» — но в Израиле. Т. е. набрать в стране «русских журналистов», чтоб они писали ему оригинальные и интересные статьи, типографская база готова, собственно, куплена уже вместе с «Мааривом», и из Израиля можно ворваться на русский рынок, сокрушив неприступную «Правду». Организаторы имеются (из того же «Маарива»), связи с правительством Израиля тоже есть, требовалось всего ничего — найти нужного главного редактора, которому можно бы доверить создать такое дело, — и вперед, на штурм «Правды»!

Он предложил «нужное кресло» единственному «русскому» израильтянину, про которого, видимо, слышал в жизни, — Анатолию Щаранскому. Но у Толика имелись собственные общественно-политические планы, и Щаранский вместо себя порекомендовал ему старого приятеля по Парижу, занимавшегося журналистикой на мюнхенской «Свободе», — Эдуарда Кузнецова.

Эдик прилетел к Максвеллу в Лондон, произвел впечатление (что Эдик прекрасно умеет делать), был в знак расположения отвезен обратно на личном вертолете хозяина (из центра Лондона — в аэропорт Хитроу) и стал набирать в стране будущий коллектив. Как уже понятно — через Бен-Якова (сам-то Эдик пока еще работал в Германии, на «Свободе»).

Бен-Яков, с одной стороны, считался как бы «своим» в компании израильских администраторов (много лет проработал в МИДе), с другой — хорошо знал «русскую» культурную нишу — по делам той же службы. Поэтому ему реально поручили набор редакции, Эдик лишь утверждал или отвергал его рекомендации. Как я понял, будущей газете предлагалась полная самостоятельность. Т. е. нам предстояло не перепечатывать статьи и материалы из иностранной, тем более из российской прессы, пусть даже интересные и важные, а писать исключительно собственные сочинения. В качестве одного из авторов меня и надумали нанять в ее штат.

Параллельно стало известно, что Рафу Нудельмана туда же зовут заместителем главного, при Кузнецове, а шеф-редактором приложения, в котором предполагалось найти мне рабочее место, назначен Феликс Дектор, мой старый работодатель. Хотя с самого начала для себя я понимал, что Дектор не станет реально работать в газете — зачем хозяину собственного дела идти к кому-то на службу? Просто словил хорошую зарплату на несколько пробных месяцев... Неожиданным, однако, оказался для меня внезапный отказ хозяев газеты оформить на службу Рафу: уж он-то, кажется, доказал всем, каким прекрасным организатором может работать — в том же «22»! Сегодня думаю, что забраковали его не хозяева из «Маарива», как нам объявили, а сделал это сам Кузнецов. Человек безусловно умный, т. е. разбирающийся в людях и умеющий оценивать их по достоинству, Эдик не мог никак желать постоянно видеть рядом с собой соредатора, который профессионально превосходит его на голову, к тому же обладает явным личным честолюбием... Нет, такой зам не

требовался! Ну, и я лично согласился работать только на полставки, чтоб сохранить работу в университете. Средств Максвелл, отдам должное, на газету не жалел — зарплата значительно превосходила университетскую, к тому же, раз уж почти все сотрудники жили в Иерусалиме, хозяин нанял нам специального водителя, который ежедневно отвозил всех — прямо как таксист — от наших иерусалимских квартир в тель-авивскую редакцию. Хорошо!

Первое, что приказал опытный магнат-основатель в новом коллективе, — выучить новых сотрудников работать по-современному. У меня к тому времени стоял дома компьютер — я купил его в подарок старшей дочери, но работать на нем, естественно, не умел никак. Не для меня же создали эту странную и дивную штуковину.. Да, удивляйтесь, но всего каких-то двадцать лет назад самый обыкновенный персональный компьютер виделся даже в руках журналиста редкостью — трудно поверить, но, по крайней мере, именно так все выглядело в Израиле. И Максвелл, понимая, что не один я такой темный к нему пришел, велел усадить всех за столы с компами, и первую неделю работы каждый день нас обучали с ними общаться. С тех самых пор я не представляю жизни без компьютера — даже странно, что когда-то мог работать без такого инструмента. Как такое могло быть, как я вообще выдерживал пишмашинку — при моей-то любви постоянно обновлять написанный текст! Нет, просто не понимаю.

* * *

Летом 1990-го года начались «пробные месяцы» моей новой службы. Внезапно я открыл для самого себя, что в современном мире гигантских империй в промышленности и в сфере услуг все знакомые пороки советской системы управления перекочевали и в частный капитализм тоже. Увы, оно есть так!

Вот конкретный пример. Прежний опыт подсказывал Максвеллу, что для создания полноценной газеты коллективу требуется не меньше девяти месяцев подготовки и «обкатки» — и наш хозяин был прав, опыт у него ока-

зался верным, однако, как бы выразиться... это был «опыт вообще». Максвелл в своем далеком Лондоне отдавал в Тель-Авив некие распоряжения, исходя из своих прежних знаний, мы его приказы выполняли... Но... Но «русские»-то журналисты с их неукротимой жадой работы, со знойным стремлением к самореализации — они ж справились с освоением газетной сути месяца за три. Более не нужно было... Я сам, своими глазами это наблюдал! Уже через три месяца мы могли выпускать вполне качественную газету. Но Максвелл не мог осознать этого в Лондоне — как былой советский министр, что сидел в Москве и не знал, как именно происходят дела на подвластном ему периферийном предприятии. Поэтому мы отработали лишние полгода, как выражалась молодежь, «на компьютер» — т. е. лишние полгода бездарно расходовали дарования (ведь написанные в те месяцы статьи никуда не пошли, кроме как на просмотр Кузнецову. А статьи-то получались хорошими — помню!), ну, и немалые средства самого Максвелла тоже летели в прорубь. Но что поделаешь — сказано же, мировая империя! Два слова, но зато какие...

В коллективе мне бросались в глаза два молодых сотрудника — дети известных московских литераторов. Антон Носик, впоследствии «звезда российской интернет-журналистики», и Аркан Карив, сын одного из моих любимых писателей, Юрия Карабчиевского (Аркан впоследствии стал известным в Израиле телеведущим). Чрезвычайно интересным казалось наблюдать за юными ребятами со стороны — я ж не знал вовсе новую молодежь, ни нравов, ни привычек. Меня, например, поражал чудовищный комплекс неполноценности у молодняка — наши мальчишки выпендривались на каждом шагу, по всякому поводу, в любой момент. Например, оба матерились (при женщинах!) — явно демонстративно. Антон даже заголовки редактируемых им статей оформлял с «никами» из матерных слов, иначе озаглавливать статьи виделось ему скучным. Вслед за ним «ники» открывали женщины-корректоры, и, видимо, он тихо наслаждался смущением этих солидных сотрудниц... Аркан блестяще владел раз-

говорным ивритом, по-моему, как мало кто из коренных ивритян, но и он любил пересыпать обычный разговор за общим редакционным столом непристойными словесами на русском — просто так, ни к месту, для чистой забавы. Буквально дергалась корректор, очень симпатичная мне Лариса Казакевич, дочь знаменитого советского писателя, только что приехавшая из Москвы (с сыном и дочерью). Лариса обладала восхищавшим меня, просто фантастическим природным даром — она видела в читаемом тексте любые морфологические и синтаксические ошибки сразу. С первого взора! Я, бывший учитель литературы, поверить в такое свойство просто не мог бы, если б не наблюдал ее работу собственными глазами... Но возвращаюсь к сюжету — мальчикам в редакции абсолютно никто не смел ничего сказать — больно самоуверенно и дерзко оба держались! Как подлинные хозяева в работе и жизни...

А мне удалось их усмирить — чем, как вы догадываетесь, я до сих пор немного горжусь. Вообще-то я и сам не терплю мат, еще в зоне меня заразил острым презрением к такому способу выражаться Володя Осипов, лидер «русских националистов» (Володя почему-то считал мат выражением некоего презрения и унижения для своего народа! Не думаю, что он был прав, но — ненавидел мат из-за всех сил. Именно как патриот! И — приучил меня).

Я не вытерпел однажды, взорвался вроде на ровном месте, обратившись к обоим парням с неожиданной речью:

— Ребята, вы теперь журналисты, не так ли? Так зачем постоянно доказывать окружающим свою профнепригодность? Нормально, когда мат вырывается у говорящего, чтоб тот мог выразить, скажем, накал чувств, это как раз понятно. Но чаще всего матерятся в жизни люди, у которых просто не хватает слов в разговорах, а особенно мыслей — они матерятся, чтоб в промежутке, пока вырывается из губ мат, успеть подумать, что же сказать дальше... А вы? У вас, действительно, нет никаких мыслей? Или не находите нужных слов? В любом варианте — вы же компрометируете себя как профессионалы. Именно как газетчики, как работники...

Фантастика, но — действовало. Причем сразу. Мат исчез. Сам бы не поверил, но так случилось — в натуре...

В принципе обоих мальчиков Кузнецов с Бен-Яаковом приглашали в штат на роль переводчиков с иврита (оба блестяще языком владели), ну, заодно и как знатоков современной русской лексики. Однако Кузнецов зорко приметил, что оба могут писать сами — и весьма недурно писать, он стал проверять обоих в жанрах обычной журналистики. Например, поручал им вести репортажи с мест событий. Помню, как Носику дал довольно сложное поручение. Под вывеской «Массажные кабинеты» в Израиле действовали нелегальные публичные дома, ну, Антона и направил наш главный в такой «кабинет» — проверить, что там происходит на деле. Пришел Антоша в тот вечерок с задания — я и до сих пор помню удивительное зрелище, когда наш юноша стоял в центре зала (правда, юноша женатый!), а его окружил с десяток мужиков, и все жадно вслушиваются — ну, как там, что там в «массажном» заведении происходит?.. Как оно вообще устроено, такое заведение?! Тут я и понял, что не я один наивняк, кто подобных учреждений сроду не посещал, но и все мои сотрудники — такие же телята... Увы, Антоша рассказал, что порученное ему место оказалось кабинетом для самого обычного гигиенического массажа, который ему там и сделали — за казенный, правда, счет. Увы, и не более того.

Мальчиков, конечно, потребовалось обучать азам журналистской техники, этим пришлось заняться мне — как редактору их первых материалов. Отдам должное, оба оказались людьми исключительных способностей. Достаточно было сделать одно замечание — и запоминалось навсегда. Например, Носик принес однажды огромную статью, затрагивавшую сразу несколько тем — не знал элементарного правила газетной работы, что статью в номере можно посвящать только одной теме. Никак не двум, уж тем паче трем. Я разделил статью на две или три, сейчас уж не помню, и ему не потребовалось ничего объяснять (что меня поразило и, как видите, запомнилось). Все понял сам, просто глянув на редактуру, и более никогда не повторял ошибки.

Вообще работников в редакцию набрали очень толковых, хотя часто неопытных. Коллектив выглядел, действительно, выдающимся, Максвеллу явно везло в его замыслах. Видимо, как всегда!

Иное дело, что даже опытные и давно пишущие люди, что вошли в редакцию, могли с трудом выносить девять месяцев «работы для компьютера», т. е. без всякого внешнего результата. Они, мастера, просто не привыкли работать «ни для кого», даже если за работу платили неплохие деньги. Элементарно «мастера» перестали выдавать на-гора хоть слово... За это их и уволили — при первой же проверке. Так вылетели из штата, например, замечательные в потенции авторы, вроде поэта Игоря Губермана или драматурга-эссеиста Виктора Топаллера. Мне-то пришлось легче прочих — привык в университете, что пишу для кафедры целые главы и все идет в «никуда» (переводы моих сочинений на иврит и на английский практически оставались мне недоступными). Все уходило в неизвестность — в этом смысле работа в «пробный период» газеты ничем от университетской службы не отличалась. Только когда газета, наконец, пошла в свет, я ощутил огромную разницу, что существует между статьей написанной и статьей опубликованной. В точном смысле слова — огромную!

Внезапно у Масквелла родилась в Лондоне новая идея. Он вдруг потребовал, чтобы сотрудники газеты более нигде не работали, т. е. чтобы мы оформлялись у него обязательно на полную ставку. Для меня это значило — бросить университет. Я, естественно, отказался. Газета — хорошо, серьезный заработок, но наука для меня — лучше. Даже при меньшей за неё оплате.

Итак, уволился из газеты, уже получившей название «Время» (думаю, по аналогии с «Таймс» — претензии-то, напоминаю, возникли колоссальные!). Ну, уволился — и уволился, больше нечего говорить. Буду работать на кафедре — как прежде.

Тут меня вызывает профессор Альтшуллер и сообщает, что, разумеется, у них большие бюджетные трудности

и потому он не в силах платить мне зарплату. А посему — увольняет из универа.

А я-то надеялся, что меня не уволят, как увольняли с кафедры всех прочих... Отдам ему должное — уволили на льготных условиях, т. е. с отсрочкой акта на три месяца, чтоб я успел отыскать новое место службы.

— Что ж ты мне раньше не сказал, — взвыл я в голос. Только что отказался от ставки во «Времени»...

Вернулся домой, звоню Дектору: «Феликс, вы на мое место взяли кого-то?» — «Нет, пока никого». — «Так вот: я согласен идти на полную ставку». — «Поговорю с Эдиком, думаю — возражений не будет. А что у тебя случилось?»

...Возражений у Эдика не возникло, и с лета 1990 года я стал, наконец, профессиональным журналистом. Началась моя новая жизнь.

* * *

В «пробные месяцы» во «Времени» сильно повлиял на меня ивритоязычный генеральный директор, назначенный во «Время» от хозяев «Маарива» — к сожалению, за двадцать прошедших лет я позабыл его фамилию.

Человек пробовал нам, новичкам, объяснять принципы работы «рыночной» газеты. Вовсе никому из нас не известные.

Мы ж были воспитаны на работе Ленина «Что делать?». Великий, что ни говори и как его ни оценивай, политик обосновывал принцип создания партийной газеты так: «Газета есть не только коллективный пропагандист и агитатор, — писал он, — но и коллективный организатор». Мы не догадывались, что абсолютно верный с точки зрения политики и партийной работы принцип действует только в одном случае: если газету содержат за счет партии и во имя партии и если партия имеет независимый источник финансирования, который она может тратить на свою газету. Если ж газете предстоит удержаться на рынке и, более того, приносить хозяину прибыль, то «партийная газета» разорится и разорит своего владельца. Факт! Иначе на сегодняшнем, во всяком слу-

чае, рынке не получается. В израильском газетном мире, начавшемся некогда именно с партийных органов, подобных газет сейчас не осталось вовсе.

— Современная газета убыточна, даже если полностью продает весь свой тираж, — объяснял нам генеральный директор. — Прибыль приносит реклама — и только реклама! Но цена рекламы, взимаемой газетой с рекламодателей, в свою очередь, определяется ее общим тиражом. Чем больше тираж органа, тем больше убыток хозяина от продаж, но зато — тем дороже мы берем за рекламу, и тем легче возмещаем убытки, и тем больший доход приносим владельцу.

Как добиться максимально возможного тиража? То есть как получать максимальную прибыль для хозяина?

Если газета окажется только «правой» или только «левой», ее заведомо станет покупать в Израиле примерно половина возможных потребителей. То есть только единомышленники. Она сразу потеряет половину желающих хоть что-то читать. Но и это — лишь половина правды. Вся же правда состоит в том, что постепенно подобная газета потеряет вторую половину читателей, т. е. своих единомышленников, которые вначале ее покупали. Да, скажет ваш «правый» или ваш «левый» читатель, какой — все равно. Конечно, газета хорошая, публикует правильные статьи, но все это я и без нее знаю... Зачем деньги тратить?

По-настоящему читатель ценит лишь такую газету, в которой будут печататься и «правые», и «левые» статьи. Израильский читатель хочет не только подтверждения своих взглядов, но и желает знать — все! Знать мнение единомышленников, но знать и мысли оппонентов. Хочет научиться защищать свои взгляды — в споре хотя бы и с автором статьи, но опираясь на мнение другого автора. Поэтому если у вас появляется «правая» статья, старайтесь рядом — недалеко! — напечатать «левую». И наоборот. Чтобы спор идей возникал — желательно на одной странице. Тогда у вас купят всё и все. Тогда появится большой тираж и придет большой доход. Хозяин будет доволен.

Вот каких уроков мы наслушались в здании «Маарива» в Тель-Авиве (на одном из его высоких этажей, где располагалась редакция «Времени»). Как видите, помню до сегодняшнего дня. Это — мои первые знания по секретам газетного ремесла!

* * *

Более остального интересовала меня в те дни личность нашего главного редактора — Эдуарда Кузнецова.

Мы почти каждый день ездили коллективом из Иерусалима в Тель-Авив — час езды туда и час обратно (на работу и с работы), и в «маршрутке», естественно, болтали именно о работе — спорили, обсуждали, выводили для себя какие-то правила и рецепты. Эдик — всегда молчал. Только слушал...

Я догадывался, как ему приходилось нелегко. Он ведь никакого отношения к редакционной работе ни по образованию, ни по рабочему стажу не имел и административным ремеслом — не владел. Со второго, кажется, курса универа юношу загребли органы — за участие в поэтических митингах на площади Маяковского. Безумный (в прямом смысле слова!) приятель сочинил тайную организацию для... «покушения на Хрущева», а Эдик ввязался в эту нелепую компанию. Так что у органов, конечно, нашелся вполне серьезный повод им заинтересоваться, спорить трудно. Отсидел он первый срок — семь, помнится, лет, и вышел «по звонку», но оказалось, что жизнь после отбытия заключения для «политика» в Союзе — бессмысленное и невозможное бытие. Всюду и везде — поставлены преграды и препоны. Парень решил вырваться за границу: женился в Риге, сплотил вокруг себя группу тамошних евреев, чтобы захватить с ними самолет и улететь в Швецию. Напоминаю, их схватили прямо на аэродроме, Эдик получил по суду смертный приговор, ему, правда, заменили казнь 15 годами «особой зоны», и на десятом вроде бы году срока обменяли на каких-то советских шпионов — про эту историю я не знаю точно ничего, был тогда в ссылке (без связи с товарищами), но слышал нечто в этом роде...

В Израиле Эдика встретили как национального героя (кажется, сам Бегин приветствовал на аэродроме!), но тут возникла все та же вечная проблема — как и в качестве кого жить дальше? Ведь ни образования, ни ремесла, ни опыта работы (кроме зэковского) — ничего не имеется в запасе. Что делать — на долгожданной воле? Чем заняться? Пробовал начать писать — мы даже сочинили вместе большой очерк для «Континента» про шпионов, с которыми вместе отсидели. Но...

Тут, как упоминалось выше, Бейли и пригласил нас обоих на радио «Свобода». У Кузнецова, кажется, не слишком ладно там сложилась журналистская судьба. Работа журналиста — она же как всякая иная, ее нужно знать в деталях и подробностях, чтоб делать хорошо, — а он ничего не знал в сути профессии. Что-то умел схватить из рабочего опыта, но, конечно, неимоверно трудным оказывалась полноценная работа на большой радиостанции, если в то же самое время ты должен учиться азам ремесла...

И вот — получил новое и крупное назначение. Ему предстояло руководить газетой. А он не знал — как это делается, как вообще редакция работает! И поэтому — предпочитал поначалу тихо молчать и внимательно слушать каких-никаких, но хоть что-то в этой работе знавших или хотя бы что-то слышавших о ее технике ребят...

По моей оценке (возможно, в чем-то ошибаюсь. В конце концов, я же наблюдал его со стороны, впрямую-то мы общались редко), Эдик по психологии казался мне типом такого «старого большевика» — аналогом тех революционистов, которые взяли власть в 17-м году и построили на месте России новую державу, великую империю, — пока товарищ Сталин не расстрелял их через 20 лет. Слишком честолюбивыми и слишком самостоятельными показались вождю эти «помощнички». Впрочем, многие уцелели — чтобы руководить «сталинскими стройками» и побеждать для товарища Сталина в войнах.

Кузнецов виделся мне человеком безусловно умным и хорошо чувствующим людей, понимающим, как именно можно ими руководить. И одновременно — абсолютно

неинтеллектуальной личностью, не любившей никаких «высоких разговоров», которые обожала образованная публика. Соответственно недолюбливал «публику». Я видел, как слушал он болтающих на «высокие темы», распуская друг перед другом павлиньи хвосты, — нашу новую шефиню (взятую в приложение вместо Дектора, Аннету Гроссман, в прошлом врача-гастроэнтеролога, заведующую отделением) с ее заместителем Зеэвом Бар-Селлой, бывшим аспирантом-филологом. Кузнецова их автомобильные «беседы» раздражали до жути, ему явно чудилось, что оба специально заводят разговоры при нем, как бы показывая всем и каждому, какие они светлые умы и какой он рядом с ними невежда, не тянущий в высоких «материях» (на деле Эдик ошибался, они пижонили исключительно друг перед другом, однако удивительно, как оба не понимали и не слышали ровно никого вокруг себя. А ведь мнили себя умными людьми наши «интеллектуалы!»).

Я и тогда говорил, что если б советская власть не ставила перед Эдиком засовов и запоров, из него вышел бы преотличный первый секретарь райкома партии. Типичный деятель для подобной работы в такой стране, как Россия! Но этого не могло никак случиться, потому что — не могло никак! При Брежневе «лифты наверх» смотрелись забитыми для любой молодежи, уж тем более для таких, как Эдик. Я полагал, что наличие энергичных и хватких деятелей во всякого рода диссидентских движениях (вроде Кронида Любарского и многих других, организаторов по натуре) объясняется именно свойством времени — полной закупоркой любых каналов, открывающих способным людям путь наверх. Старики оккупировали все должности, и потому молодежь с административно-организаторским даром, данным от природы, выталкивалась вовне — в частности в инакомыслие. А уж Эдик-то.... По отцу он вообще должен был именоваться Гиршзоном (папа-Гиршзон погиб на войне, когда сыну исполнилось года три, и тот в 16 лет взял, естественно, фамилию матери, но карьеру-то начальство выстраивало в Союзе даже не «по морде», а по анкете. И

«хорошие»-то анкеты не шибко помогали при Брежневке подниматься, а уж такая, как у Эдика...).

Мне трудно оценить уровень управления газетой нашими руководителями — в делах администрирования я и сам полный профан, не знающий азбуки дела. Единственное управление, которым когда-либо занимался, — классное руководство в школе. И думаю, виделся директору моей десятилетки плохим классным руководителем — хотя бы в сравнении с тем, каким он видел меня же как преподавателя литературы. Мне было сложно, например, приказывать ученикам делать что-либо, кроме учебы, — почему, например, я должен заставлять их натирать полы в школьных коридорах, раз на такую работу не отпустили директору денег в бюджете? Но кто-то же должен был полы натирать... Вот мы и заставляли школьников. Поэтому — ну, просто не знаю, как толково управлять людьми. И видимо, Кузнецов тоже не слишком хорошо такое ремесло изучил.

Меня, например, смущала его манера получать информацию о работе подчиненных — через тайных доносчиков, так называемых доверенных лиц. Кузнецов, действительно, много работал как главный проверяльщик текстов — читал, кажется, абсолютно все, что проходило через газетные полосы (по аналогии: именно так в 30-е годы делал Лев Мехлис в «Правде», чем правдисты весьма гордились)! Себя человек такого типа на службе не жалел. Но к коллективу прямо выходить он не любил, общаться с коллегами предпочитал в кабинете — один на один, где и делал сотрудникам «втыки» за ошибки и упущения. Нужную же информацию получал через доносчиков, которые посчитали полезным для себя информировать начальство «по секрету». Это, по-моему, выглядело абсолютно советским способом управления, внедренным в практику Сталиным (и потому его сотрудники верили, что «вождь все видит, все знает»). Мне же такой метод категорически не нравился, но как управлять по-иному — я не представляю... Так что ничего ни посоветовать, ни порицать не могу.

Еще неприятнее показался мне способ отбора этих самых «доверенных лиц». Поначалу ремеслом «информатора» занимался для Кузнецова его зам, Авраам Бен-Яков. Так что мы Аврааму докладывали про нужды коллектива, зная, что он все передает шефу. Но вдруг Авраама Эдик уволил. Внезапно! Без объяснения причин! Просто вчера человек считался в редакции всемогущим, а сегодня вдруг взял и исчез. Сплетничали, якобы для «хозяев» в «Маарив» он сочинил донос на... Кузнецова — мол, наш шеф не тянет в работе! И порекомендовал заменить... ну, ясное дело, самим собой. «Хозяева», однако, приняли прямо противоположное решение...

Потом в «доверенные лица» попала самая младшая по чину сотрудница редакции. Красивая женщина, спорить не могу!

И эта, невольно возникшая тема как бы перебрала меня из прошлых лет в день сегодняшний — вскоре нам должны огласить приговор бывшему президенту страны Моше Кацаву, которого наш «самый справедливый суд в мире» определил как «насилъника» — за то, что в бытность министром он сожительствовал с подчиненными женского пола.

Увы, я наблюдал похожие явления в жизни в течение многих лет и потому уверенно отвергаю приговор Кацаву и готов вступить как за бывшего президента, так в случае нужды за своего бывшего главного редактора. Не потому, что одобряю половые связи на службе с подчиненными дамами — нет, такое деяние мне категорически не нравится, я лично не мог бы никогда использовать похожий метод ухаживания за женщинами. Меня связь с женщиной, которая от меня материально зависела, унижала бы — просто как мужчину! Все время вертелось бы в мозгу, что она избрала меня не потому, что я ей нравлюсь, а потому, что ей от меня нечто требуется по службе... (Ну, к примеру, пятерка на вступительных экзаменах в Академию художеств...)

Но зато всегда понимал, что люди по природе своей существа разные и кого-то подобная зависимость не смущает, а наоборот — подбадривает! И — не согласен я считать жен-

щин людьми низшего сорта, с иными нравственными, чем у мужчин, нормами, а потому не вижу в романе на службе некоего изнасилования или даже принуждения женщины. Наблюдал романы подобного рода много раз — не только у Кузнецова, и точно знаю: если бы, например, какая-то красотка отказала Эдику, то ей не грозила бы потеря работы — думаю, и Кацав тоже никого никогда не увольнял за «отказ»... И вообще роман, хотя бы на службе, начинается, когда мужчина чувствует, что женщине он приятен — иначе возможная связь угаснет в самом начале. Иное дело, что каких-то служебных поощрений в случае отказа дама тоже не дожидается, ну, повышения в ранге или там новых привилегий — в варианте отказа это на нее не посыплется... Но ведь и на мою мужскую голову оно не сыпется, не правда ли? Значит, делаю я вывод, даме самой показалось полезным, деликатно выражаясь, согласиться на подобный роман — и при чем тогда самый смысл термина «изнасилование»? Даже в мягком его, израильском толковании — «проникновение во влагалище без согласия партнерши»... Просто дама ловила свою пользу, а мужик — свое удовольствие. И никого обвинять здесь, по-моему, не следует — потому что оба, как говорится, были хороши. А то, что женщин веками угнетали, на что любят ссылаться феминистки и подобная публика, так не может такое утверждение служить оправданием для женских грехов — как, скажем, вековые угнетения евреев не считаются же оправданием для сегодняшних грехов корыстного или угодливого еврейского мужика (наподобие, скажем, банкира Мэдорфа)...

Мои претензии к Кузнецову сводились вовсе не к его служебным романам, упаси бог. Но совсем к другому его качеству — признаюсь, неожиданному для человека с его биографией и характером. Эдик был склонен попадать — на какое-то недолгое время — под влияние пленившей его дамы, ее мнения становились его оценками, ее взгляды определяли его поведение на работе... Между тем дамы нередко оказывались людьми невысокого полета, и мне было обидно за главного... Их, по меньшей мере, неквалифицированное мнение определяло важные оценки и факты в работе редакции. Вот за это я, действительно, обижался на шефа...

Когда мы начали работать, я обнаружил свое принципиальное отличие от подавляющего большинства израильских журналистов, преимущественно — ивритских.

Советские работники СМИ обычно живописали российскую жизнь в оптимистично-розовых тонах, за что читатели справедливо их не уважали. А вот израильские журналисты делали абсолютно то же самое — но с противоположным знаком! Т. е. предпочитали изображать жизнь страны преимущественно грязным цветом! Все несомненные ее достижения если даже упоминались, то мельком, как нечто само собой разумеющееся и всем известное, как малоинтересный факт. Зато недостатки или все, кажущееся таким, раздувалось мощью журналистских легких. Соответственно ивритяне, подобно советской прессе, занимались не информированием населения, а пропагандой, только пропагандой с противоположной «минусовой» направленностью — что мне виделось принципиально неверным в новой профессии.

Вот конкретный пример, на который я почти сразу наткнулся. Совершенно случайно довелось услышать о комплексе фабрик, основанных бывшим депутатом-либералом Стивом Вертхаймером — на севере страны, в Галилее. На его заводы охотно брали инженеров из Союза и желали иметь их больше и больше, поэтому ко мне и обратился кто-то с просьбой об информационной статье... И вот — отправился я в командировку на север и прямо-таки обалдел от восхищения увиденным. Передо мной высились великолепные цеха, в коих работали преимущественно... роботы. Т. е. увидел новейший комбинат, где изготовляли фрезы, увидел фирму, захватившую первое место на мировом рынке по выпуску режущих изделий для станкостроения — ну кто у нас, в столицах, об этом чуде Израиля слышал? Рядом с цехами раскинули прекрасный парк, украшенный оригинальными скульптурами и прекрасной современной живописью... Я увидел великое достижение страны, которым можно бы гордиться по любым мировым параметрам — произ-

водственным, культурным, социальным (туда активно принимали, например, израильских арабов — ибо владелец заводов Стив Вертхаймер, создатель огромных предприятий с нуля, умышленно привлекал именно арабов на производство, чтоб люди увлеклись работой и благосостоянием семей, а не террором или «борьбой»)... Но подобные реалии, творившиеся у всех на глазах, местную печать не интересовали. Я узнал обо всем об этом лишь на десятом году пребывания в стране, и то — по случайности. Все выглядело таким спокойным, нормальным, никто не стрелял в соседа, никто не старался убивать или воровать, не наживался бессмысленно и чрезмерно... Ну кому, спросите себя, ТАКОЕ кажется интересным? Да никому. Мою собственную газету я не исключаю из общего списка любителей гадостей — мой очерк, посвященный заводам Вертхаймера, не пошел в выпуск. Остался в личном архиве автора (единственный материал из тех, что я писал для газеты!!!)... Правда, про огромные успехи галилейского концерна местные СМИ, наконец, заговорили — но через полтора десятка лет, когда американский миллиардер Баффет выкупил фирму у израильца за сумасшедшую, многомиллионную сумму! Вот тут — и только тогда! — творение Вертхаймера стало интересным фактом для широкой публики. С точки зрения израильской журналистики, конечно...

* * *

Итак, меня зачислили в штат недельного литературного приложения ко «Времени», которое называлось «Калейдоскопом». В мои обязанности входило выдавать по статье еженедельно — объемом примерно в две, часто в три газетных полосы. Темы, которые выбирал для себя — исторические сюжеты про еврейство. Слава богу, занимательных сюжетов в национальных летописях имелось с избытком — и работалось мне легко, без напряжения. Помню, например, статью про еврея из крещеных португальских «марранов» (так прозвали насильно обращенных в христианство на Пиренейском полуострове в XV—XVI веках) — талант-

ливый этот мужик бежал от инквизиции в Нидерланды, где сделал состояние на международной торговле, причем многомиллионное, оттуда свалил от инквизиторов уже в Италию, где его опять хотели привлечь к суду Святейшего трибунала (как полагаю — действо не было придирами попов по ложному доносу, нет, имелись у них вполне законные основания — он на самом деле, хотя тайно, сохранил в семье еврейские обряды и традиции). Из Венеции тоже сумел сбежать — в самое веротерпимое государство тогдашней Европы, в Османскую империю. В Стамбуле открыто перешел в еврейство и попал в милость к местному султану (наследнику Сулеймана Великолепного-аль-Кануни), сделался ближайшим советником возле трона Блистательной Порты по внешней политике... Словом, чтоб не тянуть этот рассказ, мой герой получил за услуги халифу правоверных титул герцога Наксосского с островом Наксос (греческим) в потомственное владение и в придачу — Тверию на берегу озера Кинерет с округом, это то место на севере Палестины, где наш свежеиспеченный герцог попытался восстановить еврейские поселения — переселял туда изгнанников из Испании и Португалии... Словом, отличный сюжет для статьи! Таких историй набралось многовато — правда, в основном, не столь старых, а преимущественно случившихся в XX столетии — в России—СССР.

Забавный эпизод из газетной службы. Однажды раздается в редакции звонок. Просят меня к трубке — читатель из кибуца (сельскохозяйственной коммуны) на юге Израиля, откуда-то из пустыни Негев. «Вот такая для вас история! — начал он.— Живет у нас в кибуце старая еврейка, всегда хвасталась в компании, что ее дядя похоронен в Кремлевской стене. Ну, мы думали — хвастает бабуля, стариковский треп! А недавно отправилась в туристскую поездку в Москву и прислала оттуда фотку. Снялась на фоне Кремлевской стены возле стелы, на которой написано: «Лев Захарович Мехлис». И приписала, мол, «вы не верили, а смотрите сами — брат отца действительно похоронен на Красной площади. Глядите сами...» Услышав новость, я обалдел! Лев Мехлис, личный секретарь Сталина в 20-х

годах, главный редактор «Правды» в 30-х, начальник Главполитуправления Красной армии, член Военных советов фронтов всю войну (к слову — автор разгрома Красной армии в Крыму), послевоенный министр госконтроля, скончавшийся в 1952 году (я помнил его похороны... Сталин, правда, сам не пришел, он уже старым и больным был!). И вот — этот «старый большевик» скрывал, оказывается, от своей партии родного брата в Палестине! Интересно, как умело отвечал на вопросы бесчисленных советских анкет: «Есть ли родственники за границей?» Теперь становилось понятным беспрецедентное покровительство тов. Сталина преданному адъютанту — похожий патронат вполне в духе Иосифа Виссарионовича, тот всегда любил держать людей с замаранным прошлым, их в любой момент можно было на законных основаниях поместить в подвалы НКВД, обвинив «в связях с заграницей», уж тем паче — с родным братом-сионистом... Какие коварные люди, оказывается, эти евреи, всюду пролезут! Похожим образом вождь «доверял» и меньшевику Вышинскому, предпочитал не трогать и бывшего министра Самарского Комуца Ивана Майского, своего почти бессменного посла в Великобритании, и многих-многих других — «преданных ему лично»...

* * *

Примерно в то же время, т. е. в начале 90-х гг., я обнаружил у себя наследственное заболевание — диабет. И тогда же написал и издал новую книгу — «Цареубийство в 1918 году». Вот на таких фактах моей жизни немного и останавлиюсь в этом разделе.

О диабете мне писать неинтересно, поэтому ограничусь самым минимумом информации. Я долго чувствовал себя неважно, иногда терял сознание, проходил всевозможные обследования и анализы, которые не давали никаких зацепок, пока, наконец, не пришел в самую обычную участковую поликлинику и не сделал для участкового врача самый примитивный анализ крови. И вдруг... раздался телефонный звонок моей врачихи, жены Мэлика, Веры Агурской: «У вас сумасшедший сахар!» Сразу начал принимать та-

блетки, прописанные ею же, и быстро выправился — смог нормально работать! Прошло с того звонка почти двадцать лет, и если бы меня хоть кто-то предупредил заранее о возможной опасности, то, думаю, вполне мог бы и уберечься от болезни и вообще избежать ее острой стадии — теоретически такое считается допустимым... После обнаружения болезни сообщил о ней родственникам в разных странах и убедился — увы, я далеко не одинок в семье. Видимо, и дедушка с бабушкой по материнской линии тоже умерли от той же, «еврейской болезни», оставив маму сиротой в три года... Пишу в назидание евреям: наследственное заболевание, диабет, широко распространено в нашем народе и потому, господа земляки, следите за своими анализами крови — и берегите себя.

Вот и все про здоровье.

Теперь про более интересный сюжет — про свое новое сочинение.

Работая в университете, я услышал от Виктора Кагана, моего товарища, многолетнего (сталинских времен) зэка, что в университетском архиве берегут собрание документов покойного профессора экономики Бориса Бруцкуса, одного из авторитетных знатоков сельскохозяйственной экономики при царском и Временном правительствах России. В 1922 году его выдворили из Петрограда на знаменитом «философском» пароходе, и знают его сегодня много меньше, чем тогдашних «сокаютников», лучших мыслителей России, но тем не менее — и тогда он считался украшением мыслящей России ... Для новой жизни и работы Бруцкус выбрал, в конце концов, Иерусалим, где, в частности, в последние годы жизни он обучал нового студента, мальчика из Ленинграда, — Шмулика Этингера. После ранней смерти профессора Бруцкуса, в самом конце 30-х, его архив сохранили в универе, туда и довелось залезть Виктору Кагану, написавшему о жизни Бруцкуса особую монографию (в частности, по архивным документам Виктор установил, что это именно Бруцкус организовывал в конце 20-х годов международные протесты ученых, включая Эйнштейна,

Бора и других, те протесты, что спасли жизни их российским коллегам, арестованным по делам «Трудовой крестьянской партии» и прочим фиктивным досье). Каган как-то к слову поделился со мной информацией, что среди документов Бруцкуса обнаружен обширный материал — примерно на 104 машинописных страницы, — посвященный анализу убийства Николая II и его семьи. А вот эта тема волновала меня много-много лет. И я сразу же полез в университетский архив — сам.

Тут, видимо, стоит объяснить читателю, почему я заинтересовался цареубийством. По моему ощущению, данная акция большевизма явилась своего рода символом и зачином террора XX века. Столетие как бы открылось кишиневским погромом, продолжили его массовые убийства армян (турками и курдами в мировую войну), потом настал террор Гражданской войны (во все стороны), потом — террор ГПУ с репрессиями эпохи коллективизации, гитлеровский террор с освенцимами и майданеками, позже послевоенный сталинский террор, затем убийства в Камбодже при Пол Поте, убийства в Китае по велениям Мао Цзэдуна... Т. е. символом XX века стали массовые тайные убийства, совершаемые исключительно ради возможности убивать людей — не во имя каких-то идей, целей, как бывало в прежние века. Век террора, не имевшего аналогов по размаху и жестокости одновременно... Так вот, убийство Романовых в Екатеринбурге виделось мне хотя и не первым актом векового террора — но знакомым, определившим всю мораль эпохи. Ведь не в первый раз в революцию убивали монархов, отнюдь, — вспомним Марию Стюарт, Чарльза I, Людовика XVI, Александра II, Линкольна, королей, президентов... Все так, все — бывало. Но убийство членов семьи, включая даже малолетних детей, убийство тех, кто заведомо не имел, да и не мог иметь никаких законных прав на престол (например, женщин из семьи, дворцовой прислуги, придворных) — подобное действие случилось, по-моему, в первый раз в истории и определило духовный облик века, в котором я и прожил большую часть своей жизни..

В Советском Союзе я прочитал всё, доступное по теме, но никогда не слышал, чтоб в этом злодеянии обвинили именно евреев. Мой народ, оказывается, виновен в царевубийстве? Впервые узнал про обвинение из статьи Бруцкуса, найденной тогда в архиве Иерусалимского университета. Бруцкус, конечно, страстно опровергал «домыслы», ссылаясь, в частности, на то, «что я лично знал убийц — все были русские» (сразу оговорю: сегодня я пришел к выводу, что автором той самой рукописи в архиве, скорее всего, являлся все же не сам профессор, а его брат, общественный деятель, бывший министр в первом независимом латышском правительстве).

Мне показалась интересной возникшая передо мной как перед исследователем задача — выявить по всплывшим за прошедшие с тех пор 70 с лишком лет документам истинных царевубийц (всех — заказчиков и исполнителей казни), проверить, откуда и как возникла фантастическая «еврейская версия» преступления. Какой автор за ней скрывался? Ничего про поиски исследователей, занимавшихся этим делом параллельно со мной в тогдашней России, — о Гелии Рябове, например, об Эдварде Радзинском, о многих других, я не знал, не слышал о таких людях... В своих глазах я выглядел для себя не просто первым, но — единственным на тот момент исследователем преступления.

Собственно, как удалось выяснить сразу, сочинил «еврейскую версию» уже следователь, назначенный от правительства адмирала Колчака, — некий юрист Соколов. Я, кстати, давно заметил, что большевики, как и их враги, рождались в рамках одной и той же массы, в потоке одного и того же общественного настроения. Как и в Германии, где боролись коммунисты с нацистами, и неизвестно, от кого пришлось бы немцам хуже в случае победы — оба, как говорится, были хуже. Но то же самое происходило в России. С разницей, что в России многие честные люди, всякие демократы-народолюбцы, примкнули к большевикам, а не к белым, и позже, в годы войны, тоже поддерживали изо всех сил, страстно полю-

били товарища Сталина против партайгеноссе Гитлера... А в Германии напротив все сплотились вокруг Адольфа Алоизовича... Массы Германии увлеклись национальным реваншем против Версальского мира, действительно, по словам Ленина, «похабного»... А в России — мечтали об ином варианте «перестройки мира».

Удалось установить довольно быстро, что Соколов сразу, уже при назначении на должность следователя, получил «партийное задание» от своего верховного шефа, военного министра в правительстве Колчака генерала Дитерихса: «Русский народ в этом подлом деле не участвовал». (Дитерихс — сам! — с гордостью зафиксировал свою установку в мемуарах, изданных им во Владивостоке, где он недолгое время числился «воеводой» — помните, «разгромили атаманов, разогнали воевод» — так вот, это пелось про нашего генерала). Соколов с вдохновением и старанием принялся исполнять его конкретное задание — ведь оно совпадало с его намерениями и настроениями. Если «русский народ» в царубийстве участия не принимал, пришлось искать каких-то «нерусских» злодеев. А кто ж лучше всех годился на звание царубийц? Евреи, вестимо.

Беда следствия, однако, заключалась в том, что евреев в Екатеринбурге насчитывалось мало... Не думайте, что я пытаюсь как-то «выгораживать своих» — нет, отлично понимаю, что если б Романовых убивали в Киеве или в Одессе, то евреев-чекистов набежали бы несметные толпы! Увы, в уездном городе Пермской губернии, каким числился тогдашний Екатеринбург, евреев, даже и не чекистов, а просто евреев, не хватало для исполнения широкого замысла генерала. Ну, нашел Соколов одного — некоего Юровского, руководителя команды «расстрельщиков», тот мог жить на Урале лишь потому, что давным-давно крестился (одновременно с крещением вступил и в большевистскую ячейку — интересный психологический парадокс!). Юровский поэтому и стал в отчетной книге Соколова «главным царубийцей»... Но он служил всего-навсего палачом, исполнителем чужого приговора, — а

кого и когда-либо и где-либо волновала личность или там убеждения палача? Например, палача Сассона, отрубившего голову Луи XVI, Марии-Антуанетте, а вслед за ними Дантону, а потом и Робеспьеру? Какие у него мыслились убеждения? Кого ему прикажут обезглавить, тех и... Фамилию палача Чарльза I вообще, по-моему, никто в России не слыхивал... Поэтому Соколову пришлось искать вдохновителей убийства не в Ипатьевском доме, а в верхушке местного Совета, принявшего на себя формальную ответственность за приговор и за казнь Романовых. Екатеринбургские власти, мол, убили царя и семью! Увы, глава Совета, считавшийся формально и «главным царевубийцей» и сам себя таковым охотно провозглашавший, оказался русским рабочим по фамилии Белобородов — ну никак не подходил человек с подобной фамилией под «вышнее указание». Тогда кого и где — нужного «вдохновителя» — следует искать?

Мне, надо признаться, исключительно повезло в тогдашней работе. Во-первых, один из исследователей архива Льва Троцкого, хранившегося в Гарварде, нашел в «Дневниках» красного главковерха запись о деле 1918 года (в дни, когда появилась дневниковая запись Троцкого о царевубийстве, без вести пропал в подвалах ОГПУ младший сын Льва Давидовича, Сергей Седов. И потому «вождь Красной армии» невольно задумывался о судьбе детей другого узника того же режима — Николая II Романова). Троцкий записал себе (для памяти), как, вернувшись тогда с фронта, он впервые услышал от Свердлова о казни царя и его семьи. «А кто решал?» — спросил он. «Мы тут решили, — ответил Свердлов. — Ильич сказал, что нельзя оставлять им живого знамени»... Никакого сомнения в подлинности этого факта, излагаемого Троцким, у меня не могло возникнуть хотя бы потому, что автор не пытался отречься от Ленина или осудить царевубийство — нет, в его глазах разговор лишний раз подтверждал гениальность и «народность» Ильича, который «угадывал то именно, чего желал от него русский народ». Троцкий объяснил мне и самую таинственность казни. Никакой открытый суд, даже большевистский, не

мог, по его мнению, вынести смертный приговор членам семьи царя. Вот и пришлось поэтому соблюдать тайну казни! Между тем в России убили абсолютно всех Романовых, до которых большевики смогли дотянуться, — в Перми, Екатеринбурге, Петрограде, Алапаевске... Что безусловно подтверждало ясный, впрочем, любому советскому человеку факт — политическую акцию такого масштаба мог диктовать своим подчиненным один-единственный человек в империи — вождь-диктатор революции Ленин. А все белобородовы и прочие екатеринбургско-пермские сановники лишь выполняли тайное решение центрального правительства. Иначе не могло такое дело устраиваться — при большевиках-то!

Зачем властям понадобилось совершить столь опасное и страшное по своим последствиям преступление? Троцкий дал и этому ясное объяснение — комментарий как бы «изнутри большевизма». После убийства Романовых у большевиков, у всех без исключения членов этой партии, не оставалось иного выхода из событий революции, кроме как драться за нее насмерть, до конца, — ибо злодеяния такого масштаба никогда не простили бы им противники. Чего Ленин и добивался — т. е. психологического воздействия факта убийства, прежде всего, на «своих»! А почему вынесли решение без официального приговора Москвы, почему вождь выдал его исключительно за «местную инициативу» (что, в моих глазах, «местную инициативу» в принципе не отменяет — местные палачи, все эти белобородовы, голощекины, юровские и прочие гады, мечтали запятнать себя таким «историческим» событием, войти сим деянием, так сказать, в анналы вечности!). Но, в отличие от этих балбесов, Ленин рассчитывал все заранее (великий был политик, чего не отнимешь): а что, если Кремль все-таки проиграет Гражданскую войну? — мог размышлять он. Тогда предстоит эмиграция. Однако убийцам не предоставят нигде политического убежища, ни в какой Швейцарии (некогда правительство Берна выдало Александру II Сергея Нечаева именно за убийство студента Иванова)... Ленин считался очень-очень осторожным человеком, все современники

это признают. И террористические акции он предпочитал официально оформлять подписью не своей, а президента страны — Якова Свердлова (которого Бруцкус называл в записках кратко — «Яшка-хулиган» и не придавал этой личности никакого политического значения — Свердлов годился, по его оценке, только на одно дело: хамить представителям оппозиции). Не знаю, правильно или нет, но Бруцкус, который лично Свердлова знал, оценивал его именно так!

Второе мое везение в работе заключалось в том, что тогда же издательство «Посев» в Германии выпустило толстенный том, собравший отрывки из материалов следственного дела Соколова. Все документы следователь некогда оформил в трех экземплярах и составил три полных экземпляра дела. Первый экземпляр у самого Соколова похитили в Берлине — видимо, шпионы ОГПУ. Второй хранился в Париже, но был изъят гестаповцами во время войны из банковского хранилища, перевезен в Берлин, а там, видимо, в 1945 году попал в те же руки, что и первый экземпляр. Но сохранился третий экземпляр, вывезенный в Лондон фотографом, помогавшим Соколову. После смерти британского хранителя «третью копию» его наследники продали в США, в архив Гарвардского университета. И по материалам вот этого, гарвардского «дела» «Посев» выпустил том, собрав в нем все важное и интересное. А я уже научился читать следственные дела и разбираться в том, что и как именно в них скрывают и как скрытое можно обнаруживать. Например, наблюдал, как в ходе следственных действий Соколов никак не затрагивает личности члена местного Совета, некоего большевика Филиппа Голощекина, сей тип его не интересовал вовсе — с такой-то фамилией! Но стоило ему позже, в эмиграции, прочитать в опубликованных списках «объектов» царской охраны, что Филипп на самом деле есть Шая Голощекин, как он сразу превратился под пером автора в главного «толкача» преступного замысла. И между прочим, не без оснований превратился — ибо истинное влияние Голощекина на Екатеринбург, действительно, существовало — и объяснялось оно тем, что

сей Шая служил «связником» у местных «товарищей» с Москвой, с Центром. То есть именно он передавал в город команды из Москвы, которые тут, так сказать, претворяли в жизнь, но под местными авторскими именами и со своим авторским знаком. Хотя, видимо, прямо из Москвы приказывали в Екатеринбург убивать все-таки только царя, а остальных людей, окружавших его, — членов семьи, врача, лакея, горничную, т. е. свидетелей преступления, местные товарищи решили кончить сами, на месте, — без прямого приказа. Зачем свидетелям убийства жить дальше на земле, неправда ли? Опасно их сохранить — для убийц-то... К слову: в деле обозначено даже подлинное место захоронения трупов, но Соколов хотя и побывал там, не догадался раскопать — возможно, потому, что искренно считал тела сгоревшими...

«Дело» позволило довольно точно восстановить всю картину преступления. После публикации книги выходили новые следственные документы по делу, собранные уже новым правительством России, и я с огромным удовлетворением убедился, что практически все мои «вычисления по бумагам» оказались верными — догадки подтверждались данными новейших раскопок и рассказами уцелевших свидетелей.

Свою книгу я назвал «Цареубийство в 1918 году», переключаясь в заглавии со знаменитым фильмом М. Ромма «Ленин в 1918 году» и как бы сразу указывая на подлинного заказчика убийства. А то, что православная церковь отказалась признавать новые факты, — тоже явление вполне понятное! Ее лидеры приняли на веру антиеврейскую версию Соколова и столько лет подтверждали ее, укрепляли своим высоким авторитетом — как же теперь признать, что ошибались, что десятилетиями обвиняли невинных, что повиновались собственным предрассудкам? Тяжело такое требовать от любого человека, а уж от церковника, т. е. от человека, по призванию консервативного, — практически невозможно...

Нелепость, однако, заключалась в том, что священники подкрепляли «еврейскую версию» фактом сожжения тел

жертв Романовых — по мнению церкви, именно сожжение и обозначило принесение тел в жертву по обрядам еврейской веры... Но в любом, даже в соколовском варианте, все евреи-убийцы назывались большевиками, а имелось ли что-либо более отвратное для евреев-большевиков, чем догмы их верующих отцов! Священники могли бы многое понять, вспомнив хотя бы своих земляков, русских людей-большевиков, — интересовала ли, скажем, Ленина или там Рыкова вера их предков, не стремились ли они, напротив, истребить православную веру, как могли? Но признать, что тела убитых Романовых не сожгли «как дар Богу», что Романовых просто-напросто пристрелили в упор и закопали на дороге, как палачи делали то же самое с тысячами, если не с десятками тысяч безвинных жертв советской эпохи... Нет, такое примитивное объяснение — показалось бы церкви подрывом веры!

* * *

Я воспринимал тогда «Цареубийство» как главную книгу своей жизни. В частности, потому и решил издать ее на свои средства. Нашел подходящее издательство, в котором главную роль сыграл экономист из Москвы — Александр Этерман. Он назначил редактором рукописи свою сотрудницу, не известную мне женщину, родом, как говорили, из Узбекистана. Звали редакторицу — Дина Рубина. Я не связывал ее имя с небольшими рассказами, что восхищали меня в «Юности» с давних времен. «О, Рубина! — с уважением сказал кто-то из знакомцев. — Да она же в Узбекистане — классик». Почему я обратил тогда на нее самый минимум внимания? Потому что как редактор она не сделала мне ни единого замечания! Саша Этерман рассказывал: «Прочитала и сказала одно слово — «хорошо!» Увы, издательство обанкротилось — на моих глазах, и Саша вырывал готовый текст буквально из-под пресса наборной машины... Дина Рубина позже описала всю комическую историю издательского краха в романе «Во вратах своих». И как всегда у нее — смешное неотличимо от правды. Особенно комично выглядел в тексте

сам Саша Этерман, с тех пор, однако, порядком перестроивший себя! Но на что я не могу не обратить внимания — меня как персонажа в романе нет вовсе. Что — в рубинской диспозиции — доказывало мне одно: я ей понравился. И не хотелось меня высмеивать — может, даже показалось, что и не за что?! Я оценил это обстоятельство по достоинству: оно дорогого стоит!

Напечатал тысячу экземпляров, предложил их купить двум фондам, распространявшим книги в России, — израильскому и американскому. Оба всегда хорошо покупали мои книги — экземпляров по двести каждое, и все у них быстро расходилось — по библиотекам или среди туристов из России (я сам на конференции в Монтерее подарил несколько русских книжек, взятых в американском фонде, дал православным гостям, молодым священникам — оба с радостью взяли).

Увы, 1991 год, когда «Цареубийство» вышло в свет, оказался для продаж моей книги самым неблагоприятным по времени в истории. Сначала закрылись сами фонды, посылавшие подобные книги через границы. Правда, выглядели они уже ненужными — в тот момент в самой России позволяли издавать все, что хочешь. Но главный удар книжице нанес все-таки, увы, переворот ГКЧП.

... Просыпаюсь я в 1991 году, утром 19 августа. Телефонный звонок. «Михаил Рувимович, радио Вас беспокоит. Мы бы хотели узнать Ваше личное мнение относительно государственного переворота!» — «Какого переворота?» — в полном недоумении. «В Москве....» — отвечают.

Стою у трубки, обалдевший. Вчера слушал вечером последние известия — ни звука о каком-либо перевороте в Москве не говорили. Даже намеков на такое дело не существовало. «Вы уверены?» - спрашиваю. «Как, Вы ничего не знаете? Ну, сделаем так... Мы включим сначала Москву, спросим очевидцев, а уже потом попросим Вас прокомментировать! Ладно?»

Кидаюсь к русскому телевидению, включаю русское радио... Звучит сплошной Чайковский — «Лебединое

озеро» или там «Итальянское каприччио», уж не помню толком, что именно... Нет, понимаю про себя, все перепутали на дурацком радио — нет в Москве никакого переворота, все спокойно, музыкальные передачи. Вдруг — перерыв: «Передаем обращение Государственного комитета по чрезвычайному положению...»

«Голос Израиля» подключил, наконец, Москву. Выступает по израильскому радио писатель Кабаков. Стонет, охает, жалуется на тяжкую жизнь (это уж потом, много лет спустя, он будет вспоминать, что в то утро с самого начала якобы понимал, как все ненадолго... А тогда, увы, стenal на полную катушку!). Потом радио расспрашивает некоего «специалиста по Израилю» (и по ивриту тоже) — доктора Крюкова. Ну, специалист по Израилю, живущий в Москве, — само собой понятно, в каком ведомстве знаток может служить. Доктор Крюков, конечно, много более осторожен, чем литератор Кабаков, но все же в ответ на вопрос израильтянина, в чью пользу совершен подобный переворот, отвечает довольно спокойно: «Ну, судя по фамилиям участников ГКЧП, переворот реакционный...»

Тут я совсем успокоился за будущее России. Уж если сотрудник известной всем организации не боится говорить подобные слова про новую власть, причем по иностранному радио, значит... Значит, в России исчез страх. Страх обывателя!!! Нет его. А если нет страха обывателя, то ничего у комитетчиков не выйдет. Вот в этом я как историк был абсолютно уверен...

И когда у меня, наконец, спросили, каков же мой комментарий, спокойно объяснил: «Государственный переворот возможен только на фундаменте, в основе которого лежит страх населения перед вооруженной властью. Опыт истории однозначен: если страха нет, а его, видимо, нет в нынешней России, сроку такому перевороту дано — три дня!»

Конечно, форсил. Честно признаюсь! На самом деле, никто ничего предсказать не мог, и я, естественно, тоже. Сам был удивлен, когда именно через три дня в Москве все закончилось. Здорово я им впарил... Неведомо с чего...

Главным достижением того дня стало для меня обстоятельство, что начиная с 19-го августа 1991 года я сделался любимым комментатором на израильском радио по российским делам. Явно поверили в мою мудрость и познания... И не схожу с их программ до сегодняшнего дня — скоро исполнится 20 лет!

Это, так сказать, мне в плюс. А в минус — куда более огорчительное обстоятельство. Состоявшее в том, что в русскоязычном населении России и Израйля начисто исчез всякий интерес к событиям истории. Даже истории российской! История творилась на их глазах, в сводках «Последних известий» — и только сегодняшние сюжеты интересовали людей. А не какой-то царь, убитый в 1918 году. Бог знает когда!

Мои книги... Их перестали покупать. Первый раз в жизни я влез в незнакомую мне, чуждую сферу, в бизнес, поскольку издал рукопись за свой счет и... Ну, не то чтобы прогорел, но прибыль не светила вовсе. Так что деловыми экспериментами я потом никогда уже не занимался. Хватило мне урока навсегда!

* * *

Начало 90-х годов обозначилось особым переворотом не только в России, но и в Израиле.

Постепенно выяснялось, что выиграть интифаду, т. е. ненасильственную борьбу, не получается. Проиграть арабам начальство тоже не проиграло, что есть правда, но и добиться победы не смогло. В массах давно нарастало желание — сменить правительство, угодившее в тупик. Сменить на какое-то более удачливое или более решительное, что ли... Вот это настроение зрело в умах общества! Особливо — в русской его части...

Почувств сие в воздухе эпохи, оппозиционная Партия труда приступила к подготовке новых выборов. Начали со смены лидера. Нет, по-прежнему, думается, они верили в интуицию, ценили масштаб и деловитость Шимона Переса, но понимали — с его еврейской внешностью и еврейской манерой постоянно рассуждать на высокие

темы, с его фальшивым ораторским пафосом (фальшивым потому, что дар публичных выступлений уж точно не подарен ему от Бога!) Перес не в силах одержать победу! А им очень хотелось наконец-то править страной. И социалисты призвали в новые лидеры своего же, смещенного в давнем прошлом премьера и министра обороны при Шамире — Ицхака Рабина.

Собственно, уже на предыдущих выборах «левые» могли бы победить «правых» — но буквально за день до голосования арабы устроили жуткий теракт! Убили сколько-то евреев. А евреи на теракты реагируют одинаково... Отдают на выборах безоговорочную победу «правым», поскольку те с арабами разговаривать не желают — дают, дают и дают! Как шутил некогда министр иностранных дел Израиля Аба Эбан про похожую ситуацию, «палестинцы никогда не упустят возможности упустить любую подвернувшуюся им возможность». Но каким-то чудом перед выборами 1992 года арабам не удалось никого вовремя убить (увлеклись, видимо, интифадой, т. е. публичным, а не тайным сопротивлением). И «левая» оппозиция во главе с Рабиным сумела-таки — отхватила большинство в кнессете.

Рабин проявил себя, в моих во всяком случае глазах, умным, талантливым и морально ответственным человеком. Именно эти человеческие качества сильно мешали деятелю стать хорошим премьером — наш генерал не умел ни ловко хитрить, ни предавать, да и подкупал сторонников плоховато... То есть не разбирался в азбуке нового для него ремесла. Ставши в первый раз, в 70-е годы, премьером, он показал себя публике крайне нерешительным деятелем — именно в силу своей высокой профессиональной ответственности, как ни парадоксально оно прозвучит. Раз не знает ремесла, то и не может увидеть сразу, т. е. быстро, какое из предлагаемых ему решений окажется правильным, а какое — ошибочным... И все тянул, все, что мог, откладывал... Но за прошедшие полтора десятка лет он таки поднабрался политического опыта, знаний, уверенности в себе. И именно поэтому много лучше умел прислушиваться к сильной профес-

сиональной команде, к тем, кто как раз в политических комбинациях отлично разбирался. Хотя по взглядам все еще оставался социалистом, как был воспитан с юности, но все-таки, например, утвердил проект бюджета, составленный ему в министерстве финансов группой молодых экономистов, так называемыми мальчиками Фогеля (гендиректора минфина), страстными поклонниками Чикагской школы свободной экономики. Говорят, покряхтел над предлагаемым проектом бюджета, но министр финансов сказал боссу прямо: «Слушай, Ицхак, что ты в этом деле понимаешь? Ни-че-го! А мальчики, они ж кончали лучшие университеты мира»... И Рабин подписал-таки проект. Не знаю, конечно, правдива ли сплетня про него, или нет, но слух крайне характерен — именно для нового, более уверенного в себе Рабина.

Одновременно он назначил «человеком номер два» в правительстве главного соперника в своей же партии — Шимона Переса, и именно Перес на пару с премьером решали важные вопросы в стране.

Формирование нового правительства сказалось, как ни странно, на жизни нашей семьи, почему я так долго на событии и останавливаюсь. Повлияло, надо сказать, прямо! Мои дочери к тому году закончили средние школы. Израильское образование устроено (и до сих пор) по странному, а на мой взгляд, дикому принципу, но этот принцип почему-то всегда срабатывает в практике. До восьми классов (неполное среднее образование!) учиться в школе обязательно, и поэтому учеников учителя тянут из класса в класс изо всех сил. В слабых школах, напоминаю, не дают им вовсе домашних заданий, помогают проскакивать через экзамены — словом, ученье иногда выглядит не образованием, а туфтой для начальства, липой для отчета наверх. Но начиная с 9 по 12-й классы на головы этих, не привыкших долго и старательно учиться, мальчиков и девочек педагоги вдруг обрушивают прямо непосильные объемы новых знаний. И нередко через посредство дурных учителей! Ну это их детские проблемы — так негласно в школах считается. Еще — проблемы роди-

телей. Никто вас в старшие классы не звал, образование — добровольное дело... Ваше желание таково?! Так нанимайте репетиторов! Пачками! Обычная практика... После того, как сдадут экзамены на аттестат зрелости (так называемый багрут), в университете повторяется примерно та же история. Поступить на первый курс университета сравнительно нетрудно, это совсем не напоминало мне сумасшедшие конкурсы известных мне питерских вузов... Но! Далее все начиналось сначала. После первого курса, например, с набора, где училась моя старшая, Наташа, отчислили *половину* поступивших в универ студентов! Ну и что? Университет брал деньги, ему было выгодно получить сразу много студентов, но ведь никто их туда не гнал, правда? Это было их желание, да? Ну так не взыщите, платите... А после второго курса отсеяли половину из уже оставшейся половины! После третьего (так называемая первая степень — бакалавр) опять кого-то отсеяли, уж не помню, сколько именно. Но зато оставшиеся получили первый диплом с правом на работу. По специальности? Нет, необязательно! «Хозяину совершенно неважно, — объяснила мне дочка, — какая бумажка у тебя имеется на руках. В смысле — какой у тебя диплом. Его интересует — что ты умеешь делать, как ты работаешь! Университетский диплом для него лишь показатель, что ты из хорошей семьи, т. е. что ты честен, настойчив, упорен, если уж все курсы в универе сумел проскочить, умеешь учиться — и если хозяину нужен узкий специалист, он сам пошлет тебя на курсы, где ты выучишься всему нужному по специальности. А диплом — показатель качеств твоей личности. Важный, между прочим, показатель, очень важный. Ведь университетов в стране немного, хозяева лично знают многих выдающихся профессоров, могут и позвонить, навести о тебе справки — чего, например, стоил тот или иной выпускник...» Так мне объясняла суть наша семейная «специалистка» по высшему образованию», моя Наташа. Она и продолжила обучение — пошла на четвертый и пятый курсы, сдала экзамены на второй диплом, на магистра. И как раз — возвращаюсь к основной теме! — воз-

никло в стране в том году новое, «левое» правительство. В его состав вошла Партия защиты прав человека, так называемая Мерец («Энергия»). Правозащитники возмутились дискриминацией в обществе... женщин. Да, господа, женщин! Что это, например, за «знаменитые мальчики Фогеля» у вас работают в минфине? Почему «мальчики»? А где «девочки»? Взять на службу девочек!!! И минфину пришлось объявить набор на работу лиц женского пола, причем сразу в главное управление ведомства — в бюджетное. Нелепость, на мой вкус, но — именно Хейфецам на этой нелепости сильно повезло. Наташка училась на пятом, что ли, курсе и все ж решила — подала документы на место. Прошла первый тур отбора, второй... А на третий не захотела идти, показалось ей неинтересным, зачем время зря терять, его и так маловато... Учиться требуется! И позвонила в министерию, чтоб сообщить, что не придет на решающий отбор... А ей отвечают: «Напрасно. Мы уже решили взять в штат именно тебя». Теперь-то я понимаю их странную логику... Жутко им не хотелось разбавлять отличный коллектив специалистов-мальчиков некими дамами, повинуюсь призывам к «равноправию полов». Вот и предпочли взять студентку — в случае возможного провала от нее избавиться проще всего: «У нее же нет высшего образования»... Так моя дочка попала в штат министерства финансов и далее — далее она уже доказывала всем, что «девочки» могут работать не хуже и никак не меньше самых лучших мальчиков! И сделала — блестящую карьеру.

Что касаясь младшей, Ольги, то она поступила в художественный колледж, окончила его, это стоило семье немалых средств, а потом... Потом просто не пошла получать диплом! Ей, видите ли, лень тратить на поход в колледж свое время. Я, признаться, решил, что она училась плохо и стесняется мне показывать диплом — ну и отправился за ним сам! А они мне отказали в выдаче документа: «Диплом можем вручать только лично! А твоя дочка нам показалась исключительно способной девочкой — мы хотим предложить ей учиться у нас дальше» (видимо, что-то вроде рос-

сийской аспирантуры). Но Оля зафыркала: «Я уже навела справки, чему там собираются учить. Я это все сама знаю — мне не нужно»... Так и не пошла за дипломом: «Никому он неважен. Всем на работе интересно одно: что я умею делать — и только». И действительно, живет и работает с тех пор дизайнером интерьеров, и ни один хозяин, что в Израиле, что в Штатах, куда она перебралась по семейным обстоятельствам, никогда не интересовался ее дипломом. Всем было важно одно: что человек умеет делать! А это — дано от Бога и от собственных стараний...

* * *

Но, конечно, не только переменами в судьбе Хейфецев запомнилось мне новое израильское правительство.

Перес и в этот раз применил свои необыкновенные таланты, чтоб перевернуть государственную жизнь Израиля. Он сумел организовать тайные переговоры с агентами Арафата — в столице Норвегии (в Осло) — и вместе с Рабиным утвердил заключенные там формальные соглашения евреев с палестинцами.

...Когда меня спрашивают сегодня, как я лично оцениваю «соглашения Осло» (так их называют), я всегда вспоминаю Дэн Сяопина, великого китайского лидера. Однажды на вопрос корреспондента, как он воспринимает последствия Великой Французской революции, дедушка Дэн ответил: «Пока не знаю. Прошло слишком мало времени». Именно так...

На чем, собственно, сыграл хитроумный Перес, чтоб произвести очередную революцию в регионе?

Восстание на территориях, пока Арафат находился далеко, в Тунисе, выдвинуло в палестинской общине новых лидеров на местах. Думается, тех самых, кто позднее вошел в ядро ХАМАСа (точнее я, конечно, не знаю, интриги внутри палестинских групп мало известны в Израиле). Как бы ни было, но Арафат оказался на обочине политической жизни народа и это не могло не встревожить вождя в сильнейшей степени. На этом и сыграл его оппонент с израильской стороны — Шимон Перес.

Перес предложил палестинскому вождю вернуться домой и по-прежнему возглавлять свой народ, но — не бесплатно, нет, возвращение предлагалось, конечно, не бесплатно. На условиях... На каких же условиях?

Например, важное условие — отказ от основополагающей арабской концепции, от арабского права на *единоличное* господство их народа на Ближнем Востоке. Арабам предложили отречься от главной легенды — от права ислама на абсолютную власть в когда-либо и где-либо завоеванной земле... В сущности, отказаться от идеи, которая вдохновляла народ на борьбу, на все войны — в течение веков.

Думается, никогда ни Арафат, ни кто-либо иной не подписал бы такое условие с евреями, если б альтернативой не стала полная потеря власти над своими же массами. В пользу, скажем, соперников из ХАМАСа. А на такую жертву никак не может пойти ни один вождь — и Арафат не стал исключением из правил. Он послал агентов в Осло и договорился с людьми Переса — на условиях Переса...

В свою очередь, Перес с Рабиным отреклись от еврейской легенды — о единоличном праве евреев на Эрец-Исраэль, согласно дарованию Всевышнего. Короче, соглашение Осло обозначило — в первый раз! — тяжелый удар по обеим народным легендам. По тем мифам, которые полвека, если не больше, составляли фундамент борьбы обоих народов — и евреев, и арабов.

«Осло» на практике есть отказ от мистики, от религии в пользу реальной ситуации, в пользу так называемой нормальной политики. Что означало истинную революцию в мозгах и душах здешних участников борьбы, всех жителей этого края. Потому что достаточно политикам, любым политикам, хоть раз решиться на такой поворот, встать на точку зрения реальности вместо веры, вместо догмы — и уже с этого плацдарма им не слезть, никому и никогда. Вот конкретный пример: еврейские «правые» совершенно искренно проклинали Переса как предателя народа, но они же с тех пор не раз сменяли «левых» у власти в Израиле, они сменили Переса на Авигдора Ли-

бермана (сегодня), но — продолжают политику Переса, т. е. по сути — политику Осло. Никуда не могли от нее деться, даже в мыслях — хотя, казалось бы, для формальной отмены «соглашений Осло» находились все формальные основания (например, невыполнение конкретных пунктов этого соглашения!). У арабов точно та же история — Арафата сменил Абу-Мазен, потом ХАМАС пришел к абсолютной власти в Газе, но даже хамасники, что всем ясно, стремятся хоть как-то, но договориться с Израилем. Т. е. любые политические силы в регионе расколоты по вопросу, как и о чем, насколько надо и стоит ли договариваться с противником, но в целом — все смирились с тем, что договариваться придется. Даже те смирились, кто и по сей день клянется и божится в своей непримиримости... Только допустите «непримиримого» к реальному решению встающих вопросов — и это все... Любой политик начнет переговоры. А это есть главная «идея Осло», воплотившаяся в умах и душах политиков — надо вести переговоры, а не войну! В народах же, в особенности в отдельных группах обеих наций, живут и взрываются прежние мечты о бескомпромиссной борьбе, но, увы, к их горю. «Осло» явилось неопровержимым достижением, как бы и кто бы к нему ни относился. Вот почему я сам до сих пор не могу решить, как именно определять «Осло»! Победа оно для Израиля или поражение? Соглашение сорвано, с этим спорить не может ни один разумный человек, оно не достигло никаких записанных в нем целей, не привело к миру, все так. Значит, провал? Но в духовном-то плане — оно перевернуло регион. И стало столь основополагающим фактором в общественной жизни, что его почти не замечают, оно теперь — как бы само собой разумеющееся явление на Ближнем Востоке в политическом климате эпохи.

Трудно любому читателю со стороны, не пережившему те годы, представить, с каким невероятным напряжением сил и, главное, нервов давалась эта революция в мозгах и душах хотя бы, например, у евреев. Они вообще-то много более прагматично, более прозаично, что ли, настроены,

чем их оппоненты-арабы. Я знаком с евреями, кажется, неплохо, но иногда в те месяцы и даже целыми годами возникало у меня ощущение, что мой народ коллективно помешался. Вот просто сошли с ума все вокруг! Вполне серьезные, мыслящие деятели витали в диких фантазмагориях, придумывали чудовищные ужасы — что называется на ровном месте. Мыслили как маньяки... Те, кто с ними не соглашался, в лучшем случае воспринимались как глупцы или слепцы... Если не как предатели, провокаторы — что слышалось много чаще! Помню, позвонил однажды религиозный литератор, умный, просвещенный, вполне толковый человек и предложил мне (по телефону) заключить с ним пари (уже запамятовал, на что именно), мол, через два года все поселения евреев будут уничтожены вместе с их жителями, если соглашения Осло ратифицируют. На полном серьезе мне предлагал! Их ратифицировали, и скажи ему сейчас, напomini про то пари — он не поверит, отречется, скажет, что ничего подобного говорить не мог... Другой приятель, муж нашей сотрудницы, математик, великолепный специалист по Интернету и кибернетике, уверял меня в личном разговоре, что через десять лет государство Израиль прекратит своё существование (опять-таки — если «Осло» одобрят в парламенте)... Совершенно не удивительно, что один из сторонников «правых» убил Рабина — это выглядело как бы законным следствием тотального общественного сумасшествия. И мне очень жаль не только великого премьера, имевшего неисчислимые заслуги перед народом (одна выигранная Шестидневная война чего стоит!), но и его убийцу, тоже, говорят, очень талантливую парня, просто сбрендившего окончательно. И загубившего себе жизнь. Как многие, очень многие — каждый на свой манер! Вдобавок убийца чуть было не лишил своих же сторонников шансов выиграть выборы — будь Перес хоть немного менее порядочным и более властолюбивым, чем оказался в реальности, то... Безумие времени отразилось, например, в некоей фантастической повести, сочиненной нашим редакционным молодняком, Носиком с Каривом на пару, — суть их фантастической идеи сводилась к тому,

что Рабин... жив, никто его не убивал и даже не покушался на него, он скрывается где-то в Лаосе, что ли, — в политических интересах «левых» партий. Носик серьезно пытался мне доказывать, что сей сюжет — возможный по жизни вариант, и так все и происходило! А когда пришли очередные выборы (после убийства Рабина), то накануне их «правые» избиратели вели себя так, будто если они не победят, то государство возьмет и сразу исчезнет. На полном серьезе думали, это была вовсе не их пропагандистская легенда! Нет, исчезнет с карты мира страна с миллионами подданных, с отличной промышленностью, с мощнейшей армией и авиацией... Вот возьмет и распылится. Сразу — и конец! К счастью, «правые» победили — потому что иначе, мне казалось, сошли бы с ума — от веры в эту чушь. Но в прямом смысле слова — сбрендили. После чего их герой, великий кумир Биби Нетаньяху, стал, наконец, премьером и благополучнейшим образом продолжал... «политику Осло». Согласен — а что он еще мог делать в реальной политике?! Но все потихоньку привыкли, что выбора-то у «Осло» нет... Надо договариваться об условиях!

Кажется, даже арабы постепенно привыкли к этой, столь странной для них идее. А ведь им куда труднее, чем нам, евреям, привыкнуть. Все-таки для евреев мирное соглашение в любом виде — обозначает победу в войне. Именно к мирному соглашению с противником евреи стремились с самого начала, речь шла только об условиях. А для арабов — напротив: любое, самое выгодное соглашение гляделось признанием их поражения в борьбе с еврейством. Я иногда пробую посмотреть на ситуацию глазами арабов — ну, просто как историк... Вспоминаю: вот в конце 20-х годов евреи предложили арабам создать единое государство из двух кантонов — и те отказались наотрез, хотели всего-всего, и без какого-либо раздела. Через десять лет англичане предложили арабам четыре пятых Эрец-Исраэль, а евреям пятую часть — арабы снова отказались и снова потребовали все-все. В 1948 году ООН предложила им уже только половину территории Палестины, т. е. поделиться с евреями поровну, — арабы

объявили евреям войну. Сами выбрали военное решение! В итоге схватки уступили евреям около восьмидесяти процентов Палестины, а через 19 лет потерпели поражение в новой войне, и им снова предложили почти все потерянное вернуть обратно — в обмен на мирный договор, и они опять отказались... Как же теперь соглашаться на некий «окончательный мир»? Значит, признать, что вся их вековая история — сплошная ошибка! Легко ли подобное признать народу, любому народу... Уж не говоря про такую сверхсамолюбивую нацию, как арабы...

Но как бы ни было, с Осло началась новая эпоха — при всех взлетах и падениях, при всех попытках возобновить интифаду или даже войну — все равно регион и страна изменились навсегда. Так что все-таки «Осло» — это оказалось здорово! Хотя не так здорово, как могло бы стать при ином поведении арабов..

Но об этом поговорим попозже.

* * *

С первого номера «Время» захватило гигантскую долю израильского рынка — хотя не весь рынок (на что втайне надеялся Кузнецов). Но все-таки — огромную часть... В принципе взять себе весь рынок — это, думается, вообще невозможно. Потребители — самые разнообразные личности, среди них всегда найдутся такие, которым нужна газета иного уровня или иного направления, и это есть факт жизни. Но с первого номера, повторяю, «Время» заняло господствующую позицию на «русском» фронте — на равных с нами держались только «Новости недели», остальные органы прессы либо закрывались, либо, в лучшем варианте, — сильно «съеживались»...

Я же старался, как мог, помогать главному редактору приложения («Калейдоскопа») — Анне Гроссман. Даже кроссворды по ее просьбе сочинял — раз требуется газете, значит, надо (даже доносы по начальству на меня конкуренты из числа авторов кроссвордов писали в газету — мол, я краду их, т. е. «чужие», сетки). Отношения с Аннетой превратились в по-настоящему дружеские,

я старался неопытной журналистке, очень неплохому в прошлом врачу, помогать, чем мог.

Однажды летом, сидя у компьютера за просмотром международных новостей, заметил на экране небольшую заметку. Во время морской прогулки на яхте утонул... Да, натуральным образом утонул Максвелл. Наш лондонский хозяин! Упал за борт. Вроде в пьяном виде... Правду сказать, я не сразу осознал, насколько эта заметка задела мое личное существование.

Каких только сплетен, к слову, не писали в прессе о загадочной гибели британского магната! Якобы Максвелл разорился и потому покончил жизнь самоубийством; якобы перед смертью он обокрал пенсионный фонд своих работников, не выплатил взносы и оставил журналистов без накоплений... Упоминаю все с одной целью: обвинения в адрес Максвелла печатались во всех газетах под могучими и яркими шапками, пинки в адрес покойника изливались по всему миру. А через несколько месяцев прошел судебный процесс, который полностью оправдал утонувшего. Повторяю — полностью. Во всем. И я с трудом нашел заметку об этом оправдании — в самом низу третьей страницы какой-то газетки... Даже — не нашей! Характерная деталь, характерная на свой лад — именно для нравов всемирной прессы.

Сюжет с Максвеллом — в сущности, для меня лишь виток в сторону от интриги книги. Но пока — пока что нашу газету, как мы узнали, продали наследники покойного сэра (в охалке с его же «Мааривом»). И всех нас купил молодой богач-ивритянин по имени Офер Нимроди.

Офер происходил из семьи персидских евреев, разбогатевших на службе в армии. Точнее — в тайных службах. Его папа оказал какие-то громадные услуги армейской спецслужбе и получил по выходе в отставку немалые привилегии — ему дозволили приобрести задешево какие-то важные фирмы и фонды. Ну, обычная, видимо, для слуха российского читателя «деловая карьера» бывшего спецслужбиста. А вот сынок его, по слухам, возмечтал стать журналистом, ну папа и купил ему подарок — «Маарив». Вместе со «Временем», в одной упряжке.

Представляете, каково парню пришлось — возглавить крупнейший издательско-газетный комбинат страны, не имея ни образования, ни опыта работы, буквально ни-че-го за душой. Кроме денег, естественно, да и то — не своих, а папиных. Как шутили в нашей редакции, «папа с утра послал сына в киоск — купить сигареты и газету»...

Офер рьяно взялся за дело. Что он умел? Что-то, видимо, понимал в принципах расходования денег — вот за финансы и взялся. Стал наводить в редакциях экономию... Видимо, полагал, что Максвелл, британский транжира, бросал деньги на ветер, а уж он-то наведет настоящий финансовый «ажур»...

Начал с сокращения штатов — нередко по его «программе» увольняли прекрасных работников, авторов замечательных статей. Босс-хозяин по-русски не говорил, о чем и кто именно пишет — начисто не знал, да и знать физически не мог... Вообще экономить на печатном органе — всегда сложное дело, и я любил вслух повторять, что если у человека мало денег, он не должен заниматься газетой. Газета, если вы хотите, чтоб она сделалась успешной, должна получить возможность стать щедрой — я не один раз убеждался в справедливости такого принципа.

«Время» начали с выпуска еженедельных номеров — такой имелся замысел у Максвелла. Нимроди предпочел для себя газету ежедневную. Его хозяйское право! Но при этом он желал, чтобы мы делали ему тем же составом редакции и за ту же самую, за прежнюю зарплату — ежедневку. Великий эконом, повторяю!!!

Справедливости ради замечу, что его явление в роли хозяина помогло мне в личных проблемах: наконец, я смог перейти к работе на полставки. Такой переход сэкономил хозяину деньги, не спорю, вот он и разрешил его редактору... Зато у меня появилась возможность и время писать новые книги!

Вдобавок Нимроди проводил «реформы» в повелительном стиле, голосом «хозяина», что нам, журналистам, людям как правило независимым по натуре, не могло нравиться. Короче, в коллективе зрел бунт, в ре-

дакции все кипело. Недовольство и ропот! И ситуация должна была взорваться! Неизбежно...

Мы, конечно, могли бы выполнить его мечтания — скрывать не стану. Вполне возможно для опытных сотрудников — писать за те же деньги больше и выпускать пять номеров газеты вместо одного. Повторяю, возможно... Но — за счет ухудшения качества и сочинений, и редактуры. Если уж ему требовалось выпускать беспардонную халтуру, тогда — да! Но уж очень нам самим не хотелось опускаться... Не потому, что мы такие добросовестные чистюли, нет, но уже столько сил вбухали в достижение качественного уровня, завоевали столь серьезный авторитет у публики — и все пустить под хвост ради мелкой экономии безграмотного «денежного мешка», вдобавок просто не понимавшего, что подобной политикой в деле он не только не заработает прибыль, но лишится ее... В конечном итоге, разумеется, но — неизбежно лишится!

Кузнецов обратился за помощью к Шаранскому. Тайно. Тот имел какие-то контакты с Мозесом, владельцем первой по значению газетной империи в Израиле — «Едиот Ахронот» (в переводе — «Последние известия»). А у отношений «Едиот Ахронот» и «Маарива» имелась давняя и сложная конфликтная история, которая в данный момент дозревала...

Когда-то давным-давно первые издатели «Маарива», взбунтовавшись, вышли именно из редакции «Едиот». С тех пор обе газеты конфликтовали — не столько на газетном, сколько на личном уровне! Владельцев «Едиот», например, сильно задело, что в «Маариве» первыми сообразили относительно покорения только что возникшего «русского рынка», что им наш Максвелл ничего на рынке не оставил... «Едиот», правда, стал выпускать свою «русскую газету», она, к слову, получалась совсем недурной, но все-таки — Бен-Яков успел собрать во «Время» самые лучшие «русские перья» из тех, что имелись в Израиле... Да и рынок оказался уже завоеван и поделен... Как в него втиснуться, воткнуться — заново-то? И вдруг в «Едиот» через Шаранского обратились с тайным предложением — переманить к

себе весь коллектив, работающий на соперников! Ого-го! С нашим-то наработанным опытом, с уже завоеванным авторитетом у читателей, со знанием многих тайн профессии... Плюс — лично и эффектно насолить конкуренту — прямо в рыло. Нет, в «Едиот» не растерялись!

Кузнецов, как выяснилось, обожал тайные операции. Переговоры вел долго, в них вовлекались все сотрудники постепенно (я, кстати, узнал одним из последних). Когда, наконец, новый замысел объявили в открытую, вслед за главным ушли почти все, весь штат! Нимроди оказался в полном нокауте.

Он решил создать новую редакцию. Опять появился у нас Бен-Яков, опять беседовал с нами и со многими новыми людьми, каждого, кого мог, соблазнял условиями... Но, по-моему, никто из тех, кто успел поработать «под Нимроди», не соглашался — ни за какие блага... Надо отметить, что я лично даже немного потерял в жаловании при переходе на новую работу, но снова сотрудничать с таким болваном — не хотел ни за что. Обозленный Нимроди подал на нас... в суд! Ни более ни менее. Что мы, мол, нанесли ему заведомый убыток. Нас вызвали свидетелями — и я, если память не изменяет, напоминал в суде, что хозяин элементарно не платил обещанные гонорары за опубликованные в его газете материалы привлеченным мною авторам (следует признать честно — после того суда «Время» возместило авторам все долги). Словом, в суде Нимроди проиграл...

Чтобы уж завершить сюжетец, отвлекусь на две сторонние интриги.

Первая: Бен-Яков нашел-таки новых сотрудников, выпускавших новое «Время». Они работали очень и очень прилично — по моей оценке разумеется. Новый редактор, Роман Бронфман, наладил работу отлично. Но чего никакой Бен-Яков сделать для Нимроди не мог — добавить мозгов и знаний. Новое «Время» продолжало линию прежней редакции, т. е. выпускало умную, талантливую, высокого уровня газету. Но Нимроди-то по-прежнему мечтал об «экономии», т. е. о дешевке! И распустил новую редакцию — сам! Чтобы его издание требовало минимума рас-

ходов. Известный всем тип «делового хозяйствования»... Ну и обанкротилась, конечно, новая газета, закрылась... Дурак и невежда остался дураком и невеждой до конца, тут никакие деньги и никакая помощь не могли помочь.

Вторая интрига выглядела много забавней. Взбешенный тем, что «Едиот» его нагрела, Офер поручил неким частным сыщикам поставить прослушки — «жучки» к телефонам своих редакционных конкурентов. Видимо, от папы-разведчика наслушался красивых баек. Но его сыщики действовали так неумело, что их поймали «на горячем»... И «Едиот», конечно, не упустила шанса — подала на соперника в суд. Он попал на недолгий срок в тюрьму, а главное — в суде вынесли решение, запрещающее этому человеку занимать впредь пост главного редактора — где бы ни было. Так закончилась газетная карьера нашего «нового хозяина».

Единственное, чего мы не смогли у него отобрать — старое название газеты. Оно, действительно, принадлежало его фирме. Так что несколько месяцев мы работали на «Едиот», не зная, как будет называться организуемое здесь новое издание. Наконец, Кузнецов остановился на логотипе — газета стала «Вестями». И мы работали дальше уже как редакция «Вестей». А новое приложение к ней получило название «Окна» (его придумал Зеэв Бар-Селла). Я же по-прежнему состоял в штате «Окон».

* * *

В том же году, когда только готовили новые «Вести», я в первый раз оказался на территории бывшего СССР. Конкретно — в Риге, а потом и в Литве, в Вильнюсе.

Случилось так. Сидел я в редакции, читал газеты и вдруг увидел заметку: мол, депутат литовского сейма Балис Гаяускас в роли шефа местной службы безопасности представил своему парламенту документы из архива ЛитуГБ против кого-то из литовских «патриотов», а по совместительству, оказывается, давнего сексота органов...

Заметка меня вдохновила. Во-первых, Балиса я знал — мы сидели на пересылке в Рузаевке в одной с ним каме-

ре восемь суток. Знал и его легендарную судьбу из рассказов Пэнсона, обрадовался его освобождению, его новой карьере и, главное, тому, что именно в его распоряжении находился сейчас архив бывшей литовской ГБ.

Я давно мечтал залезть в его подвалы и взглянуть в следственное дело Менахема Бегина. Знал, что это дело пытались израильтяне найти в Москве — но безуспешно. И догадывался, что оно, наверно, хранится не в центральном аппарате органов, а по месту ареста узника — в Вильнюсе. И вот появился шанс туда именно и проникнуть. Здорово!

Домашний телефон Балиса обнаружил у подельника Сусленского, у Иосифа Мишенера, тот мне его охотно дал. Связался с Балисом прямо из редакции:

— Привет, Балис, ты меня помнишь? Миша Хейфец. У тебя в архиве находится следственное дело Менахема Бегина?..

— Позвони через три недели — проверю.

Да, я оказался прав в своих расчетах. Следственное дело лежало в архиве ГБ Вильнюса. Однако выехать туда удалось отнюдь не сразу — Сионистский форум, финансировавший мою поездку, несколько месяцев не мог «достать билетов на Вильнюс»... Что делать — так люди работали. Наконец, я не выдержал и взял билеты сам — на Ригу, а уже оттуда поездом добирался до столицы Литвы.

Балис встретил меня как друга (хотя — юмористическая деталь — как раз в утро моего приезда их правительственный поселок обокрали, в том числе и квартиру Гаяускаса ...). Короче, проник-таки я в архив КГБ и начал читать дело Бегина.

Нового обнаружил маловато. Во-первых, у Бегина оказалась превосходная память плюс исключительная для мемуариста добросовестность, так что в книге он все вспомнил верно, и архивные документы мало что могли уточнить. Я узнал разве что неизвестную узнику фамилию следователя — Никитченко, да еще, что тот числился в органах лишь младшим лейтенантом (перед Бегоном, однако, сидел с капитанскими нашивками — видимо, «для солидности»). Главное мое историческое «открытие»

в тот приезд — уровень работы в литовской ГБ. Нет, недаром в Союзе часто шутили, что всеобщая секретность нам нужна, чтобы Запад, упаси бог, не догадался, как и насколько мы от него отстаем... В управлении ГБ целой союзной республики не нашлось ни одного... ксерокс-аппарата! И вообще ксероксов в Вильнюсе не имелось... И компьютеров — тоже!!! Поэтому вся информация чиновниками КГБ заносилась на бумагу и вклеивалась ими в пухлые картонные папки. Плюс — на все республиканское управление нашлась лишь одна машинка для резки бумаг, поэтому они не могли, оставляя Вильнюс, уничтожить архивы. Жечь открыто, во дворе, не позволили бы им литовские повстанцы, внутри же управления имелось лишь паровое отопление... Посему самое важное вывезли — в Омск, где потом «ничего не было найдено» (это — из официального ответа посольства на мой запрос), ну а вот давние дела все остались целенькими, включая и «бегиновское»... Ужас ситуации для израильтянина заключался в том, что из-за отсутствия ксероксов я мог лишь вручную переписывать «дело», и когда привез копию в Иерусалим, то перепечатал его на своей машинке, отвез машинопись в Центр Жаботинского (главную контору по истории партии «Ликуд»), но мне, как я понял, попросту там не поверили. Привез, мол, «русский» какие-то странные, не заверенные никем страницы... На машинке... Сам их и сделал, наверное. Только через несколько лет, когда другой исследователь привез из Москвы выдержки из того же дела, скопированные уже для себя в Центральном аппарате КГБ, и они сверили их с моими текстами, только тогда местные деятели поверили, что я не мошенник и представил подлинную и полную копию важнейшего для истории страны документа. Но уже прошли с моей поездки годы, и сенсация — увы, не состоялась. Правда, я вдобавок украл из виленского «дела» одну из нескольких копий — отпечатков пальцев Бегина и одну из копий его же тюремных фотографий. Впоследствии сын Бегина, Бени, издавая книгу отца, приехал ко мне в гости — поблагодарить за «находки», —

сфотографировался со мной на память и надписал мне автограф на книжке отца... Как говорится, пустячок, а приятно.

* * *

Когда я вернулся из Вильнюса в Иерусалим, «Вести» как раз готовили к выходу в свет свой первый номер. Кузнецов поручил мне написать особую сенсационную статью — по архивным материалам, добытым в Москве Владимиром Буковским, конкретно — по отчетам ГБ о его взаимоотношениях с Марией Розановой, женой Андрея Синявского. Ну, я взялся за статью — «Новые грехи старого Абрама»...

С дамой-то я был заочно знаком уже несколько лет. Ее муж, знаменитый диссидент и писатель Андрей Синявский, выпустил новый роман — «Спокойной ночи!», сюжет которого сводился к автобиографическому рассказу о том, как в студенческие годы его, Синявского, завербовали в стукачи. Органы МГБ угрожали ему уничтожением отца, в прошлом члена партии кадетов (и не лгали — вполне могли уничтожить бывшего кадета, если бы сын не спас!). Андрей, естественно, согласился (и если кто-то его нынче осудит, подобный ригорист покажется мне, во всяком случае, палачом и мерзавцем). Андрею органы поручили повести наблюдение за сокурсницей, французенкой, дочерью дипломата по фамилии Ле Пельтье. Он догадался, что и его лучший друг на курсе, студент Хмельницкий, тоже стучит в ту же самую организацию и на тот же самый «объект» — приятели свою роль друг от друга не скрывали. Но когда дело дошло до провокации МГБ против девушки-«объекта», Андрей не выдержал укоров совести, признался девице в своей гнусной роли, и они совместно с Ле Пельтье разыграли спектакль, в который органы поверили, исполняя в игре студентов роль подкидного дурака. Много лет спустя Андрей воспользовался связью с Ле Пельтье, чтобы переправлять в Париж свои и Юлия Даниэля рукописи и выпускать в свет на Западе книги и статьи Абрама Терца и Николая Аржака...

Александр Воронель, босс «22», числился в давних друзьях обоих Синявских (а особенно — супругов Даниэлей), поэтому он с ужасом воспринял откровения романа. Ужас сводился к тому, что тот самый друг Синявского, тот стукач, Хмельницкий, входил, оказывается, на равных в их тесную компанию и считался одним из друзей обоих Воронелей тоже. «Как Андрей мог меня не предупредить!» — возмущался Саша. Тем более что именно Воронель когда-то разоблачил Хмельницкого — за то, что тот посадил двух своих сокурсников... И вот, оказалось, что Синявский ВСЕ про него знал уже давно, знал с самого начала, но никому в компании ничего не рассказывал... Предал друзей! Так именно думалось Воронелю...

Он обещал Хмельницкому, уже жившему в наше время в Берлине, отпечатать в «22» его «Открытое письмо», где тот рассказывал тот же сюжет, что излагался в «Спокойной ночи!», но в своем варианте, с намеками, мол, поведение Синявского выглядело вовсе не столь безупречным, каким тот сам его изобразил в романе.

В редколлегии «22» возник жуткий спор — надо ли Хмельницкого печатать. Смешно вспоминать, но как раз я-то — был *против* публикации. Если Синявский что-то относительно себя приукрасил (наверно, не без этого — человек же!), то уж Хмельницкий, сильно обозлённый как всякий сугубо отрицательный прототип, наверняка тоже оказался далек от изложения правды. Зачем же журналу втягиваться в споры бывших «сотрудников», кто из них и как именно стучал в органы... Но Воронель держался неумолимо и настоял-таки на своем — по моему тогдашнему восприятию, он немного «поехал» на этом деле, так сильно оскорбило его молчание Синявского в эпоху былой близости...

Про письмо Хмельницкого стало известно, наконец, в городе Париже, и мадам Розанова начала постоянно названивать в Иерусалим, требовала задержать публикацию, чтобы печатать Хмельницкого обязательно в одном номере с ответом ему от Синявского... Все бы ничего, но дело происходило летом, когда Воронели уехали (профес-

сор ежегодно читал летние лекции по физике в Берлинском универе), а Рафа Нудельман тоже отбыл в отпуск, и потому обязанности «ответственного» перешли ко мне. Вот Розанова и звонила мне, и звонила, и звонила!

Я отбивался, но мадам разговаривала со мной не как просительница, а как некая «власть имеющая», «большой человек из Парижа», отдающий приказы... Со мной такие штуки плохо проходят. И я отказал ей самым решительным образом:

— Марья Васильевна, неужели Вы столь низкого мнения о месте писателя Синявского в истории русской литературы, что полагаете, будто письмо отставного стукача опозорит и уронит его честь как выдающегося прозаика России? Плохо и низко думаете о собственном муже, уважаемая Марья Васильевна!

Она заткнулась и больше меня не тревожила... И вот теперь Кузнецов передал в мои руки отчеты ГБ о переговорах органов с Марьей Васильевной, где «товарищи» отзывались о поведении и маневрах дамы весьма и весьма одобрительно. Нечто в том духе, мол, «нами налажен с ней контакт...».

Нет, я вовсе не полагал, что она работала на них агентом — тем паче сознательно. Просто оказалась глупой и невероятно самоуверенной, не понимавшей, что опытные товарищи играют с ней в свою игру, и довольно ловко играют... Их дальней целью было внести раздоры в «головку» русской эмиграции в Париже, а для этого лучшим средством виделось — переправить мадам в Париж, что они и делали, нисколько не сомневаясь, что дама обязательно начнет обычные свары и интриги против литературных конкурентов (так уж она устроена от природы), а, кроме того, в итоге переговоров у них появится возможность скомпрометировать ее самое — уже самим фактом ведения переговоров с органами. Любые уступки с их стороны покажутся в Париже некоей платой ей за «особые услуги». В атмосфере парижских сплетен и ужасов легко виделось, что можно скомпрометировать Синявских, дать оппонентам возможность поклеветать

на Марью — ну и на Синявского тоже... Короче, как ни кинь — всюду у органов выигрыш. Еще б органам такую мадам не одобрять!

Вот об этом я и написал статью. Мол, следует понимать, когда и если добиваешься чего-то у органов, что — они могут использовать тебя, использовать для себя, упускать этот вариант из виду никак нельзя. Не переоценивайте собственную ловкость! Увы, Кузнецову мои оценки показались слишком «беззубыми», и он добавил несколько фраз от себя, вставил в мой текст — с намёками, мол, ее сотрудничество было не «втемную», а вполне сознательным. Я этих фраз не знал — увидел их только в готовом номере.

Я потому так подробно остановился на эпизоде, чтобы подчеркнуть — подобное вмешательство в мой текст было очень редким явлением, но все же случалось. Не обязательно со стороны Кузнецова. Он вообще, помоему, немного помешался на идее сотрудничества зэков с гебешниками — на чем позднее сильно обжегся (а Юлик Ким написал ехидный рассказик про него, выведя Эдика под псевдонимом Коваля). В другой раз похожую операцию со мной проделывал Бар-Селла, заместитель Аннеты Гроссман, когда вставил негативные оценки в мою статью об Анатолии Рыбакове, который мне как раз понравился во время нашего интервью. А Бар-Селла его за что-то невзлюбил (подозреваю — из мелкой зависти, увы, страдал этим чувством наш мудрый филолог). Очень противное возникает ощущение, когда видишь за своей подписью мнение, абсолютно чуждое тебе и кому-то обидное... А ведь в Союзе такая практика в газетах и журналах возникала постоянно — я так и назвал это явление в редакции — «советской отрыжкой»...

* * *

Все виделось мне в работе отличным: я пользовался у читателей приличной популярностью, имел авторитет (иногда и любовь) у коллег-товарищей. Предметом великой профессиональной гордости стал некий случай,

происшедший со мной в иерусалимском автобусе. При мне разговорились несколько пассажиров относительно того, что, мол, все журналисты врут, все пишут пошлости и подлости и тэ дэ, и тэ пэ. Меня почему-то завело, я не выдержал и влез в чужой разговор:

— Вы неправы. Верно, что газеты и радио переполнены ложью, пошлятиной, демагогией — тут спорить не могу. Но ведь именно спрос рождает предложение, и журналисты пишут только то, что вы покупаете, на что сами ловитесь. Вините, прежде всего, себя, читателей и слушателей. Вам угождают, у вас пытаются угадать, за что вы заплатите ваши кровные... Как говорится, на зеркало неча пенять, коли рожа крива...

Ну и напустились на меня тетеньки, только пух от бедняги Хейфеца летел! Наконец, молодая особа заткнула мне пасть своей заключительной фразой:

— И вообще в Израиле есть только один честный журналист из «русских» — Михаил Хейфец, в «Вестях». Остальные — все подонки.

Ну, естественно, тут-то я и замолчал, добитый...

Но как-то медленно и постепенно личные отношения в редакции «Окон» начали... как бы выразиться... мутиться.

Сначала происходило это почти незаметно.

Аннета Гроссман вообразила себя «начальницей» — всерьез и надолго. Просто ужас какой-то! Неглупая вроде баба, и — нате вам! Голова поехала...

Началось, пожалуй, со статьи о развитии израильской школы. Все в редакции знали, что исходный и ценный материал по теме собирала для Аннеты и обрабатывала профессиональная журналистка из Москвы Марина Аристова — и вдруг выходит в свет большущая статья, подписанная только одной нашей «шефинею», т. е. Аннетой. И ни словом не обмолвилась о помощи, которую оказывала ей Марина... Будто такого вовсе не было! Присвоение чужой работы — нормальное явление, например в академических сочинениях, там шеф подписывает своей фамилией любые материалы, подготовленные на кафе-

дре, вставляет свое имя в подборку каких-то материалов, сочиненных ассистентами. Но я всегда относился к подобной практике (и в науке тоже) с предельным неуважением — уж тем паче неприятным оказалось встретиться с похожим явлением среди коллег-журналистов.

Возможно, я не сумел скрыть свое отношение (я вообще плохо умею скрывать «отношения»!). Факт, что Аннета начала придирается к подаваемым мною материалам. Поначалу я просто недоумевал, не понимая, с чего боссику заносит «начальнический зуд». Но постепенно осознал, что в такой именно ситуации проверяется, есть ли у начальства ум или его не имелось вовсе. Кузнецов, например, проявлял себя в отношениях со мной бесспорно умным человеком — хотя эрудицией или любовью к «высоким материям» никак не блистал. Но, например, всегда понимал, что я — дисциплинированный работник, что я точно и в срок выполняю любое распоряжение начальства, но — это и все, чего от меня следует ожидать начальнику. Любому начальнику! Кричать, командовать мной — умному боссу не следует, можно нарваться на отпор. Эдуард так и поступал — и всегда обращался предельно деликатно, хотя, наверно, я раздражал шефа своими политическими взглядами, оценками, симпатиями, так отличавшимися от его собственных... Он меня, конечно, пробовал ушучивать, но способами, вполне доступными умному редактору (человек же!), — например, ставил материалы на неброские места, мало места выделял под мои колонки в сравнении с оппонентами, ну и все прочее... Но ему никогда не приходило в голову — кричать на меня! Я даже удивился поначалу, услышав от сотрудников, что в принципе наш главный босс любит-таки поскандалить в кабинете — со мной ничего подобного никогда не возникало. Это доказывало мне, что Кузнецов — человек умный, знает, на кого допустимо орать, на кого — нет. Зато Аннета всерьез вела себя со мной как «большая шефиня». Поначалу оно выглядело в моих глазах просто смешным. Но потом...

Приведу несколько эпизодов, помогающих читателю осознать не только, что происходило со мной в газете,

но и то, чем конкретно я занимался в «Окнах». Однажды позвонил и назначил мне свидание неизвестный корреспондент, представившийся по телефону «академиком» (он, кстати, был не единственным «академиком», интересовавшимся моими статьями, — например, меня пригласил к себе в гости в Иерусалиме академик В. Гинзбург, будущий лауреат Нобелевской премии по физике). Мы встретились с «академиком», помню, на скамеечке возле центральной автостанции в Иерусалиме, и оказалось, что мой собеседник — действительно, член Академии космических наук (есть, оказывается, такая в нынешней России), занимается медицинской подготовкой полттов в космос. Он передал мне великолепные материалы — в частности копию письма доктора Лидии Тимашук в ЦК КПСС (или к съезду партии? Уж не помню точно).

Наверно, правильным окажется напомнить читателю, кто такая доктор Лидия Тимашук (мой собеседник сказал, что он лично знаком с ней много-много лет — и знает с самой лучшей стороны). Это имя знал, наверно, весь мир в январе 1953 года — после публикации в «Правде» сообщения о «деле врачей-убийц в белых халатах». Заранее газета сообщила, что доктор Лидия Тимашук именно и сообщила о гнусном медицинском заговоре против членов Политбюро и маршалов Советского Союза, она спасла нашу родину от сионистского удара и награждена за подвиг — особым указом! — орденом Ленина. Ее славилась вся пресса из номера в номер, писали восторженные письма читатели Союза... А через три, примерно, месяца скромно те же газеты сообщили, что никаких заслуг у товарища Тимашук нет и не было, а орден у нее отобрали — тоже специальным указом и тоже — впервые в официальной советской истории. Мудрено ли, что ее имя помнили десятилетиями советские евреи и проклинали изо всех сердечных сил нашего народа.

И вот — неожиданная копия письма, где Лидия Тимашук объясняла партийному начальству, что она не имела к обвинению врачей ну ровно никакого отношения. Вообще никакого! Служила таким же липовым обвините-

лем врачей, какими липовыми оказались назначенные сверху же обвиняемые на будущем процессе.

И просила докторша у ЦК — реабилитации. Иначе — как ей теперь жить?

По ее словам, много лет она работала врачом-кардиологом в «кремлевке». И летом 1948 года у секретаря ЦК Жданова, отдыхавшего на даче в Валдае, случился сердечный приступ, к нему выслали из Кремля особую бригаду врачей. Там, на месте, находился лечащий врач Жданова Майоров, а приехали к нему на помощь знаменитые профессора — Виноградов, Егоров и Василенко, а в роли кардиографа — она, доктор Лидия Тимашук... Поскольку постоянная главная штатная врач-кардиограф при больнице ЦК, женщина (забыл ее фамилию), находилась в отпуске, в Крыму (лето ведь!). И великие профессора вкупе с лечащим врачом нашли у товарища Жданова всего-навсего приступ стенокардии, такой же как у него месяца два назад случился... Только она, Лидия Тимашук, по проведенной кардиограмме выявила у секретаря ЦК инфаркт миокарда. Старые, опытейшие, мудрые профессора не сумели как следует прочитать кардиограмму — не сильно разбирались в сравнительно новом методе диагностики — и уперлись в своем мнении... Как великие авторитеты! Видимо, не доверяли сравнительно молодой и никак не именитой коллеге — из «второстепенных».

В принципе возникновение разногласий на консилиуме врачей — обычное, а никакое не порочное явление, но тут возник типично советский феномен. Как и всюду, и всегда, от врачей требовали обязательного единогласия. «Светила» нажали на бабу-кардиографа, а поскольку среди светил числился сам Егоров, начлечсанупра Кремля, она не посмела противоречить. В итоге Жданову разрешили прогулки, более того — разрешили через несколько дней выйти на работу. И он начал смотреть кино и так далее — вместо того, чтоб тихо лежать в постели, как положено инфарктнику.

Уже на другой день Жданову стало похуже. Тимашук дико перепугалась. У нее не возникало сомнений,

что именно с ней случится, если секретарь ЦК умрет от инфаркта. Коллеги-профессора обвинят женщину, что она их умышленно не предупредила и тем способствовала гибели вождя номер два. Никаких колебаний у дамы, пережившей 1938 год и помнившей, как эти же профессора закладывали на процессах знаменитых коллег — казненных Левина и Казакова — не появилось. В панике она накатала отчет о своих разногласиях в диагнозе, о давлении на нее и отправила его в адрес начальства — а начальством кремлевских врачей официально считалось не Министерство здравоохранения, а ведомство товарища Берия. И Тимашук передала письмо через сотрудника этого ведомства, выезжавшего в Москву. Письмо с сообщением, что у товарища Жданова на самом-то деле инфаркт, заканчивалось единственной просьбой врача — назначить больному постельный режим. Ничего большего она не просила...

Жданов умер на другой день.

Письмо Тимашук доставили лично товарищу Сталину. Он прочитал и написал: «В архив». Копию выдали ее шефу, на которого она пожаловалась, т. е. профессору Егорову, — чтоб «принял меры» по жалобе. Тимашук жестко проработали и отстранили от работы в «кремлевке» — перевели в какой-то филиал.

И вдруг — четыре года спустя — ее снова вызвали в ЦК. Расспросили о давнишнем письме и... поблагодарили, что она, мол, и раскрыла заговор с целью убийства советских вождей и маршалов. Здесь отмечу, что к обвинениям именно евреев Тимашук вообще не могла иметь никакого отношения — хотя бы по той простой причине, что среди врачей, лечивших Жданова, людей этой национальности не имелось вовсе...

Отмечу, что позже сам профессор Виноградов, личный врач Сталина, категорически отрицая какой-либо умысел на убийство вождя, признал, однако, что он с коллегами ошибся в диагнозе Жданова, что они *просмотрели инфаркт...* Вполне возможная профессиональная ошибка! И упрекать его или его коллег можно лишь в давлении на несогласную

с ними кардиографа. Только... Ну, еще и в том, что они покарали ее за жалобу на них. Но это как раз со стороны начальственного главка считалось привычным делом.

Повторяю — Тимашук ни на кого не доносила, она лишь ходатайствовала о назначении другого лечения ее пациенту. Дело даже не в том, кто оказался прав в тогдашнем диагнозе с точки зрения истины — она или ее оппоненты... Сталин просто назначил ее в «героини» и в «спасительницы», как других врачей он же назначил в «убийцы»... Вот и все.

Естественно, материал показался мне сенсацией — особенно в Израиле, где с юных лет Тимашук привычно считали «доносчицей», «агентом МГБ» (так назвал ее Хрущев. Я лично в утверждении генсека-современника глубоко сомневаюсь, хотя бы потому, что доносы агентов в МГБ никогда не передавали сановникам, на которых доносы писались. А письмо Тимашук, как известно, именно передали «для разбирательства» профессору Егорову. Так что своей сотрудницей, хотя бы и внештатной, в органах ее явно не считали).

Аннета Гроссман отказалась печатать материал на эту тему... «Все сомнительно!» И точка.

Собственно, меня отказ не сильно смутил. Я заранее договорился с Кузнецовым, что, поскольку работаю в редакции на полставки, имею право, если какой-то материал не подойдет «Вестям», публиковать его в другом месте. И такое место у меня всегда имелось. В приложении «Пятница».

Я часто в те дни ездил из Иерусалима в Тель-Авив на автобусе. И моей попутчицей, как правило, оказывалась Дина Рубина, тогда она тоже работала редактором в очень хорошем литературном приложении к «Нашей стране» — в той самой «Пятнице». Мы весело болтали с Диной всю дорогу, и если у меня оказывался в портфеле хороший материал, не пошедший почему-либо в «Вестях», я сразу отдавал его Дине, а она меня мгновенно печатала. Так же поступил и с письмом Тимашук. Материал в «Пятнице» вызвал немалый шум, дискуссии в прессе, со мной

спорили или наоборот, поддерживали, кто-то из врачей делился своими воспоминаниями о «деле»... Короче, в итоге Аннета сильно разозлилась на меня — я как бы обошел шефиню на повороте, и начальственная злость усилилась уже по-крупному.

Однажды, когда я предложил некую тему, она вдруг прямо заявила на редсовете: «Этот материал я вообще читать не буду». Тут я и высказался: «Аннета, ты никак не можешь такое сделать. Как главный редактор, ты решаешь, идет материал, представленный сотрудником, или нет, с этим спору никакого не может быть. Но читать все, что штатные сотрудники приносят в редакцию, ты обязана — тебе именно за это платят деньги!» Лариса Казакевич, вспоминая эпизод, говорила мне: «Мы даже похолодели! Как ты мог так разговаривать с начальством?!» Наверно, была права... Но я-то не воспринимал Аннету как начальницу, я видел в ней по-прежнему неопытную журналистку, которая не знает азов новой профессии, и по въевшейся привычке — поучил ее этим азам. Что, как понимаете, отнюдь не улучшало наших с ней отношений...

Другой запомнившийся эпизод того же времени — очерк об академике Кикоине. Пришел ко мне физик (В. Шапиро), работавший с Кикоиным уже после того, как создатель советской атомной взрывчатки перешел на «мирную работу» — директором атомного института. И принес рассказ о личности академика, дважды Героя Соцтруда, — очень любопытное по информации сочинение. Например, такое:

— Понимаете, у нашего директора всегда имелись странности, о которых мы много сплетничали, но относились к ним, как к обычным чудачествам гения от физики. Например, он никогда не снимал головного убора. Всегда носил кепку либо шляпу. Ну, носит себе и носит... И только здесь, в Израиле, глядя на религиозных евреев, я понял — это ж неспроста! Или — каждый год осенью, правда, в разные дни, он обязательно брал короткий, на два-три дня отпуск за свой счет... И только здесь до меня дошло — это ж был перерыв в работе на Судный день.

Сейчас родные рассказывают, что он проводил его в синагоге... Обычно ездил в питерскую.

Не стоило мне большого труда навести справки и узнать, что прославленный академик и дважды Герой происходил из религиозной еврейской семьи меламеда и, видимо, сохранял в душе какие-то обычаи детства. Кроме того, любимым «хобби» знаменитого атомщика в его институте считалось чтение и толкование «кумранских рукописей», самых древних в мире ивритских текстов. Словом, весьма интересный, по-моему, материал получался! Но Аннета отказалась про физика печатать: «Я никогда не слышала ни о каком Кикоине». И все. Она не слышала! Я попробовал объяснить, что не слышала именно потому, что создателя советской системы изготовления атомной взрывчатки секретили самым невероятным образом, имени не полагалось знать никому, кроме особо доверенных лиц... Но — не в незнании же было тут дело — захотела и могла бы узнать, слава богу, источников уже хватало... Но вот — материал о Кикоине мне тоже пришлось публиковать не в своем издании.

Вот так и двигалась моя работа в «Окнах» — весьма приличное количество времени. Пока мое терпение не лопнуло.

* * *

В те годы родилась у меня в голове новая книга. Инициатива ее, как ни удивительно, исходила именно от Аннеты.

Прихожу однажды на работу — вызывает в свой кабинет главный редактор «Окон».

— Миша, ты слышал когда-нибудь в русской литературе про такую фамилию — Бромберг?

— Нет, ничего мне она не говорит.

— И мне тоже. И Володе Бар-Селле — тоже. В университете на кафедре тоже никто про него не слышал, я проверила... А в редакцию прислали два рассказа — знаешь, по уровню — почти Бабель! Как подобное могло случиться? Почитай сам...

Я тут же, за ее столом, прочел рассказы. И по-настоящему был потрясен. Да, писатель, явно из эпохи 20-х годов, но до чрезвычайности высокого уровня! Мастер в точном смысле слова...

— Так не бывает, — продолжила разговор Аннета, — чтобы такой мастер начал уже с профессиональных рассказов. Помнится, только Толстой и Достоевский начинали с профессионально сделанных работ! Миш, сходи-ка по адресу, указанному на конверте, выясни, есть ли что-то у них в архиве... Мы же можем открыть нового писателя!

(Я давно приметил, что мечтой каждого главного редактора является вот это самое — открыть миру неизвестного писателя!)

Ну, отправился на поиск. Улица, названная в обратном адресе, находилась сравнительно недалеко от редакции — и потом я всегда ходил туда пешком. Нашел дом, квартиру, звоню...

Встретил пожилой, на вид бодрый мужик. Я просто обалдел, когда он признался в беседе, что ему — 92 года! И живет в Израиле свыше 70 лет...

К моему счастью, старик за бесчисленные годы сохранил прекрасный русский язык. Знаете, тот настоящий старый язык, по которому тоскуют сегодня любители-филологи. И поведал мне, что рассказы принадлежат перу его младшего брата, Вениамина, Воли, как он его назвал. Только в прошлом году, через 70 лет после того, как мой собеседник оставил Россию, смог он съездить в Россию сызнова — повидать сына покойного брата (Волиного сына. «А самого Волю расстреляли в 1942 году на Колыме»). В архиве, оставшемся от покойного в семье, и обнаружились два рассказа. Привез их в Израиль, послал в «Окна».

— А что-нибудь еще он писал? — спрашиваю с надеждой.

— Не знаю. Мы в семье вообще не знали, что он что-то пишет. Для нас он всегда был политиком...

— ???

— Была у вас в России в 20-х гг. такая партия — сионистско-социалистическая. Нашего старшего брата избрали в ее ЦК, а Воля был младшим, его выбрали в ЦК молодежной организации. Оба попали в тюрьму, сидели в одной камере в политизоляторе, по три года отбыли, потом еще три года ссылки, потом еще три года ссылки, потом их выпустили на волю, и Воля стал хлопотать, чтоб его пустили в Палестину, но тут — тридцать седьмой год, взяли снова и приговорили к расстрелу. Но заменили расстрел на двадцать пять лет Колымы, а через четыре года — новый суд и снова расстрел. Уже исполнили! Рассказы он вроде бы написал, когда сидел первый раз в тюрьме. А наш старший брат тоже получил якутскую ссылку, там и умер — от инфаркта в Якутске...

Такая вот выяснилась история жизни неизвестного писателя и его семьи.

Чем больше я узнавал про Волю Бромберга, тем больше персонаж меня поражал. Что называется — «был во все стороны человек талантлив»! Увлекался скрипкой (еврей все-таки), и концерты в его исполнении передавали по Всесоюзному радио.

— ... И музыку писал, — продолжал брат. — После отмены смертного приговора ему дали свидание с женой, и он как-то сумел передать ей свое завещание и бумажку с нотами — написал в камере смертников, в темноте, ноты — романс на слова Пушкина... «Когда для смертного наступит судный день...»

В камере политизолятора он решил изучить бухгалтерию — ведь в подполье Воля ушел сразу после гимназии, никакой специальности не успел получить. И по книжкам выучил искусство бухгалтерии, и в ссылке работал бухгалтером. Да так, что к нему из Москвы, из Плехановского института, присылали на практику аспирантов. Он и статьи по этой специальности публиковал... А в самом конце карьеры дослужился до заведующего конъюнктурным отделом столичного госбанка среднеазиатской республики...

Размышляя о судьбе Воли Бромберга, я неизбежно обобщал место подобной личности в истории. Воля виделся мне

типическим выразителем того поколения, что творило новую Россию в XX веке. Такие люди увлекали меня давно — со времен интереса к книгам Воронского. Сегодня любят поговорить об «эффективном менеджере товарище Сталине», как будто он один созидал гигантские стройки первых пятилеток, грандиозные объекты и проекты. Да кто ж их планировал, господа, кто их возглавлял, кто их пробивал в жизни реально-то? Все эти Уралмаши, Кузбассы, Днепрострои, Уралвагонзавод, Сталинградский тракторный?.. Вы имена строителей — хоть какие-нибудь, хоть кого-то — знаете? Никого ж не осталось в памяти! Кроме товарища Сталина, конечно. Всех убили. (Мне лично случайно стало известно лишь одно имя — Кондриков, создавший Хибинские Апатиты, но кто и его помнит?) А ведь таких Кондриковых работало целое и великое поколение, как ни оценивай результаты того, что получилось в итоге их жизни. Великие люди по сути! И даже осколки того поколения смогли спасти страну в годы войны... О них недаром молчат — если помнить, то что ж останется от легенды о «великой партии», о мудрой родине? О той партии и о той родине, которые дали добро, более того, прославили истребление своих героев и гениев?

Воля Бромберг принадлежал по возрасту и натуре к этому же поколению великих строителей России — хотя, на его счастье, примкнул он тогда к нелегальной оппозиции и работал на пятилетку только в ссылке. Но все равно — какая могучая энергия проявилась в человеке, неиссякаемые таланты били, словно гейзер из земли... И какая невероятная тяга к мировой культуре проглядывала! Вообще все, что превращало таких, как он, в преобразователей человечества в XX веке, — вызывало мое восхищение и, если хотите, преклонение перед их энергией, талантливостью. Хотя — как положено в России — уничтожила их своя страна. Не враги же ее, нет!

Я понимал, что если уж не напишу о нем, то никто и не напишет никогда. Это чувство превратилось как бы во внутреннее обязательство — перед историей, что ли... Или перед памятью? Не знаю. Но брат Воли сразу рассказал, что после его гибели родственники Воли в Палести-

не собрали все письма покойного и передали их в «архив Борохова». Так называлась организация, где хранились многие исторические документы «левых сионистов».

Туда я и отправился за материалом для новой книги.

Получил на руки пухлое дело, скопировал документы на ксероксе, и — на этой основе — сел делать документальную повесть о жизни политзэка Вениамина Бромберга.

Для названия выбрал строчку из стихотворения Пушкина, тот самый стих, который вдохновлял моего персонажа в камере смертников — «Воспоминаний грустный свиток...».

Долго с рукописью возился — надо было удерживать в памяти сотни писем, требовалось соотносить их с другими документами, с рассказами свидетелей... Пока, наконец, завершил работу, прошли годы — и за эти годы Волин брат, обещавший мне профинансировать издание новой книги, умер. К счастью, один из его наследников-сыновей, хотя не знавший русского языка вовсе, запомнил от отца про его желание — и заплатил издательству долг. Книга вышла, хотя распространилась слабовато — ну, так уж распорядилось издательство. Что делать! Я-то сам умел делать лишь то, что мог и умел...

История Воли Бромберга получила, однако, удивительные продолжения: во-первых, ко мне в редакцию «Вестей» стали приходить родственники, как бы наследники некоторых персонажей-сионистов, упоминавшихся на страницах писем и документов покойного Воли. Включая дочь его старшего брата, того, что погиб в Якутии. Приезжали ко мне напрямую или присылали письма-свидетельства — иногда встречались фантастические по изгибам истории и судьбам рассказы... А через несколько лет я в Москве встретил женщину, издательницу исторической литературы Маргариту Федотову, которая, независимо от меня, от моей книги (она даже не слышала о ней!), увлеклась тем же сюжетом. И выпустила превосходную историю о братьях Бромбергах, к которой я написал предисловие — уже в роли такого «признанного специалиста» по Бромбергам и их эпохе.

Но вернемся все-таки обратно — ко мне, в редакцию «Окон». Каплей, переполнившей мое долготерпение в отношениях с Аннетой, стал эпизод с увольнением художника Арсена Даниэля.

С Арсеном я познакомился как с иллюстратором в издательстве, что выпустило в свет «Бромберга» (он сделал для книги прекрасную обложку). Парень молодой, очень талантливый — во всем, за что брался (хотя не без ленцы показался мне, не буду преувеличивать и грех его таить). И вышло так, что он же сотрудничал и в «Окнах», иногда, по совместительству... И поместил однажды какую-то карикатуру на Майю Каганскую, критика и литературоведшу, состоявшую в браке с Володей Бар-Селлой. Майя в те дни неуместно, с весьма дурным вкусом, печатно угождала Биби Нетаньяху — молодому лидеру правой оппозиции (думаю, что делала это под влиянием мужа)... Арсен высмеял это усердие не по разуму в смешной карикатуре. Майя обиделась, и Аннета, стремясь, видимо, угодить заму-любимице, взяла да и уволила художника с работы!!!

Дело не в несоразмерности наказания за «преступление», как можете подумать. Даже не в попытке наказать журналиста за высказанное мнение, отличное от мнения «начальницы». (Хотя, признаюсь, факт въявь показал мне, что начальственное самодовольство «шефины» перешло все терпимые границы и обернулось наглым самодурством). Особую мерзость и отталкивание во мне вызвал специфически израильский аспект всей ситуации. Арсен Даниэль считался «новым репатриантом», т.е. молодым художником, только что приехавшим из Союза, а таким трудно приходилось — устроиться на достойное их таланта место в новом обществе. И вся наша газета, и Аннета в частности, делали себе журналистское имя именно на «защите прав» этих самых «олим ми-Русия». И вот — один раз некий «оле» задел по самое чуть-чуть начальственные амбиции «шефины», и наши хилые «правозащитники» обернулись к нему свиной рожей — немислимой даже у местных хамов!

Нет, ЭТОГО вынести не мог. Снести такое без протеста — значило совсем потерять честь и достоинство и служить хамству и наглости. Так мне, во всяком случае, виделось! И я подал на имя Кузнецова заявление, смысл которого сводился к тому, что в последнее время мною потеряны контакт и взаимопонимание с Аннетой, а в таком варианте — зачем же работать вместе? Прошу перевести меня из приложения непосредственно в штат газеты.

По правде говоря, я-то был уверен, что Кузнецов немедленно удовлетворит мою просьбу — хотя бы для того, чтоб сделать мелкую гадость Аннете. Я учитывал взаимоотношения родных начальничков и не скрываю этого сегодня...

Эдуард удовлетворил заявление часа через два после подачи. Но что стало для меня сюрпризом — реакция Аннеты. Она... перестала со мной здороваться. Я был искренно поражен! В конце концов, переход на другое место работы есть дело свободного выбора любого наемного работника, формально в этом нет ничего личного... Никакого оскорбления. И вдруг — шефиня перестает здороваться с работником, который от нее ушел в соседний отдел, — это обозначило для меня лишний раз, насколько начальственная дурость затмила Аннете глаза. Нет, неслучайно, думал я, ее в больнице когда-то сбросили с заведованием — слишком всерьез дама к себе относится. А такое — чревато в совместной жизни с коллективом... Бедами чревато,

Ну, не поздоровалась она со мной раз, второй, а на третий я сам перестал замечать ее при встрече. Будто мимо пустого места прохожу.

И начал учиться работать — на новой должности.

* * *

В «Вестях» мне поручили делать три статьи в трех разных рубриках — каждую неделю.

Первая — это политическая колонка в ежедневном номере (не в пятничном). Меня научил ее делать мой редактор, Марк Драчинский. Дал простой на удивление

совет, но точный. На мое случайное замечание, что в принципе не интересуюсь текущей политикой и потому не знаю, что именно следует писать в такой колонке, он объяснил: «Да просто — бери любую заинтересовавшую тебя цитату из любой чужой статьи и выскажи по этой мысли собственные соображения». Странный рецепт сработал идеально — на сто процентов. Секрет неожиданного для меня успеха заключался, видимо, в том, что большая часть публики из России приехала, как упоминалось выше, «правой», т. е. с убеждением, что «ничего и никому не нужно уступать», «решать все проблемы с преимуществом силы», ну, и прочее, всем понятно, что именно... Воспитанное или прямо позаимствованное у советской власти настроение (наверно, и от царской России тоже унаследованное)! Меня же, честно говоря, поражала наивная слепота еврейской публики: ведь только что, прямо на ее глазах, развалилась, распалась на куски великая мировая держава, исповедовавшая именно подобные «силовые» принципы; они, никто другой, из этой империи убежали — и снова талдычат ту же мантру, которая погубила их прежнюю родину... «Слушайте, — обращался я к ним, когда доводилось выступать, — вы, только вы и только что прокакали страну, в которой жили с рождения. И снова учите тому же самому — свою вторую страну. Вы что, хотите ее тоже проиграть? Нельзя ж не делать никаких, ну совсем никаких выводов из вашей собственной жизни! Я здешний гражданин и не хочу лишаться Израиля из-за вашей слепоты! И никто не хочет... Ведь таких принципов, как у вас, придерживаются наши вечные противники, то есть арабские народы, — это у них всегда культ силы на первом месте, это у них бесконечное упорство в борьбе и все подобные радости жизни... Ну и как — где сидят они, в какой, извините, яме, и где летаем мы? Вы не видите разницы?» Обычно в ответ слушатели лишь угрюмо молчали...

Но газета, ориентированная на *этого*, массового читателя, естественно, должна была угождать ему, это виделось мне со стороны редакции шагом как раз вполне закон-

ным и логичным, и я не удивлялся общей политике газетного руководства, тем паче, что и авторы, мои коллеги-журналисты, тоже обычно и вполне искренне мыслили в том же русле... Как говорится, в них тоже погуливал российский менталитет. Удивляло в редакционной политике иное. Ведь даже по опросам израильских компаний, ну, примерно 30 процентов россиян придерживались все-таки иных, т.е. «левых взглядов». Конечно, много меньше, чем остальные семьдесят процентов, но, тем не менее, все-таки вполне солидный процент читателей-покупателей, то есть сотни тысяч. Нельзя же таким числом вовсе пренебрегать, если вы заботитесь об охвате рынка! Вот я, неожиданно и совсем того не желая, превратился в эдакого выразителя взглядов и мнений меньшего процента «читателей алии» — но, тем не менее, завоевал огромную популярность. Причем у всех! Считался одним из ведущих политических комментаторов на «русской улице» — это при одной-то колонке в неделю...

Отдам должное — Кузнецов меня не правил и не редактировал. Один раз снял мою статью — правда, совсем снял. Но, как мне объяснил редактор отдела, они все, а не только он один, посчитали, что в той статье я написал критически именно о нашем главном редакторе, лично о нем, хотя не назвал никаких фамилий... Что ж, если ему так казалось, — имел право. И я — согласился. Без споров и выяснения отношений.

Другая моя рубрика в газете называлась — «Бизнес-клуб». Обычно она выглядела как интервью с предпринимателем — на целую газетную полосу. Я ставил перед собой в разделе некую взятую на себя лично общественную задачу. Однако прежде, чем о ней писать, необходимо сделать небольшое отступление о специфике «русского бизнеса» в Израиле. Тогда станет понятнее вообще моя журналистская тактика.

Однажды я уже признавался, что новое, 90-х гг., поколение «русских евреев» мне весьма нравилось — мобильностью, цепкостью, решительностью, отсутствием страха перед деловым риском. Они стремительно врыва-

лись на местный рынок, открывали сотни, если не тысячи мелких предприятий — практически почти без первоначального капитала (да и что вообще могли они вывезти из нишающего на глазах Союза?!). Не боялись никакой работы, старались ничего не выпрашивать у казны, у государства (какая разница с нашим поколением «приезжих»!)... И нашли-таки в Израиле именно то, что им требовалось в новой жизни...

Причем я уже давно открыл для себя закон, что традиционный израильский бизнес — по свойствам своей психологии весьма инертен. Понимаю, что подобная оценка деловых качеств звучит странно, прилагаемая именно к евреям, к их общепризнанным деловым качествам как народа — ведь предки современного еврейства исторически славились именно мгновенным приспособлением к условиям, редкой самостоятельностью на новых местах, склонностью к постоянному риску. Но, увы, своим глазами я вынужден доверять тоже, и ничего похожего в Израиле у местных евреев не наблюдал. Израильские «делаши» совсем по-иному вели себя, получив, наконец, «свое государство»! Не знаю конкретно почему... Всячески пытались прилипнуть к власти, использовать любые казенные возможности, крутились вокруг сановников, выпрашивая льготные ссуды, и по возможности — давили на рабочих, особенно на арабов, увёрненные, что за тех-то государство не вступится... К слову, мои так называемые левые взгляды, т. е. желание, елико возможно, избавиться от арабских сограждан Израиля, предоставив заботу о них их собственной арабской власти, в немалой мере проистекали из убеждения, что паразитирование на дешевизне арабской силы мешает, прежде всего, нам самим, нам, евреям, — мешает реализовывать собственный национальный потенциал, ориентироваться на мировые вызовы и на собственные возможности в бизнесе... Например, чудовищное впечатление возникало, когда я наблюдал израильскую строительную индустрию. Не видел ни одного строительного крана в стране! На стройках трудились исключительно арабы, которые *руками* носили связки кирпичей на верхние этажи...

Будто живем в XIX веке. Догадывался и о причине дикой отсталости — государству требовалось как-то и чем-то занять миллионы арабов с «территорий», устраивать для них рабочие места. И вот — местные промышленники, угождая настойчивым рекомендациям властей, нанимали арабов на работы — без каких-либо механизмов, естественно, но зато за жалкие гроши... Жилья в стране именно поэтому постоянно не хватало, цены на него росли, что считалось почти законом местной экономики (мол, стоимость квартир обязана непрерывно расти во времени)... Земли в мире все столько же, сколько всегда имелось, а вот людей — все больше и больше рождается, почему самое надежное вложение капитала сегодня — это новые квартиры, они всегда будут дорожать и всегда принесут владельцам большие прибыли. Надежная инвестиция — на все времена!

Сдвинуть израильского промышленника на какое-то новое дело — обычно считалось предприятием очень тяжким! Но неожиданно — для меня во всяком случае, — эта инертность, неповоротливость, зависимость от рекомендаций казны — все сие действо обернулось огромной, фантастической удачей для новых предпринимателей из России.

Ведь приехал миллион новых граждан. То есть приехал миллион новых потребителей. В масштабах Израиля — колоссальный рынок. И никто, ну буквально никто из местных не собирался его обслуживать. Даже газету для «русских» читателей — и то открыл, как выше говорилось, британец Максвелл, лишь после его вхождения в местный рынок «русскими потребителями» прессы заинтересовались здешние дельцы... Зато «русские делаши» из только что приехавших — те сразу сообразили, какие огромные возможности для них тут открываются. Хотя не имели как правило капитала, хотя льготы им давались минимальные, но они начали открывать сотни, тысячи всевозможных контор — магазинов, парикмахерских, ателье, музыкальных школ, даже обычные школы — но на русском языке, фабрички, мастерские... Задавить этих, так называемых конкурентов мог любой израиль-

тянин, пусть даже с небольшими средствами и связями, — что виделось парой пустяков. Но у местной деловой публики интерес к огромному рынку начисто отсутствовал. И «русские» дельцы завоевали все: раздобыли средства, узнали какие-то местные возможности, наладили нужные связи, включая экспортно-импортные... Деловыми идеями новая «алия» буквально фонтанировала! Короче, «русское производство» и «русская сфера услуг» нигде, по-моему не могли бы так быстро и так успешно внедриться и развернуться, как именно в Израиле!

(Все-таки возникло такое ощущение, что я их перехваливаю... Ладно, скажу и об их главном недостатке.

Неслучайно люди приехали из России, где давний принцип любого бизнеса звучал так: «Не обманешь — не продашь». Советские годы многократно укрепили эту идею в их сознании. Всесильная государственная власть проделывала в сфере бизнеса все, что хотелось в данную минуту — хотела и созидала бизнесы, хотела — и разоряла их с той же охотой, даже со страстью, хотела — вручала им Красные знамена, хотела — порочила в газетах, обзывала ворами и жульем... И полная аморальность власти, насажденная на традиционную аморальность местного бизнеса, да вдобавок весьма поощряемая природной тягой любого обычного человека к потере им совести, овладела людьми бизнеса. Многими, во всяком случае. Например, выманить деньги в долг у того, кто их имел, кто дал тебе их на развитие бизнеса, убежденный твоим красноречием, обещаниями, перспективами — и не отдать их вовсе, и не потому, что трудно отдать, а — зачем это делать? Правда, зачем? Как говорил один из любимых героев новой литературы у Горького: «Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка»... Думаю, что так, как бы и естественно, бизнес рождался не только в Союзе, но у многих народов мира, и лишь через десятилетия, если не через века, укрепилось понимание самого элементарного факта: только строгая честность в финансовых делах позволит вести бизнес сколько-нибудь длительное время и вообще оставаться в кругу деловых людей... Мгновенные выгоды

от жульничества оборачивались неизменным крахом, потому что мир дельцов, во-первых, узок, во-вторых, постоянно делится в своем кругу разной деловой информацией, и после первой или второй «комбинации» репутация человека ломается навсегда, деньги тратятся, и — делец возвращается в первоначальное состояние... Как писал один из исследователей «американо-русского бизнеса», «все у «наших» начиналось с упоения, какие же американцы глупые, они в упор не видят, какие возможности у них перед глазами, например, бензин на автостоянках можно разбавлять, липовыми страховками морочить головы и прочее, а потом мы оглянулись на свои итоги и поняли: мы же с великой ловкостью живем на уровне негритянского населения, а белые американцы, с похожим образованием и возможностями, зарабатывают намного более солидный доход»... В конце концов, урок жизни освоили и в Израиле — но должно было протечь какое-то время, срок. А в России, судя по СМИ, недалекая мошенническая психология процветает до сих пор.

Впрочем, это все высказано к слову — в скобках!)

Что же делал для тех людей я — лично? В чем видел смысл своей журналистской миссии?

Я брал интервью преимущественно не у крупных или заметных дельцов (были, конечно, среди появившихся здесь и так называемые олигархи, но они меня не интересовали, да и я их тоже не интересовал). Мое внимание сосредотачивалось на мелких дельцах, на владельцах самых маленьких «русских» гастрономов, крохотных фабрик и т. п. — на всех тех, кто только-только начал дело и пока отчаянно нуждался в рекламе. Реклама в газете стоила жутко дорого — впрочем, как и повсюду в Израиле. Поэтому каждую неделю я брал у кого-то интервью (например, у владельца фирмы, изготавливавшей надгробья на кладбище, — он делал совершенно нового типа памятники, которых до его приезда в Израиле не имелось вовсе!). Так и получалась по сути реклама фирмы величиной на целую газетную страницу! Естественно, я не мог дать в статье его координаты, куда именно обращать-

ся за услугами или товарами, — за такое с меня спилил бы голову наш собственный отдел рекламы! Зато сообразил — и обычно советовал владельцам покупать рекламу в газете, но размером всего в два дюйма (на это у них обычно денег хватало) и просить помещать ее на моей же полосе в газете. Таким образом, за приемлемую сумму они получали де-факто рекламу на целую полосу.

Я был очень-очень доволен, когда узнал, что на съезде русских предпринимателей «Вести» наградили особой премией — «За помощь российскому бизнесу».

* * *

Вот один, вспомнившийся сейчас пример из тех, что служили темами для моего «Бизнес-клуба».

Пришли в редакцию два мужика. Приехали в Израиль, если память не изменяет, откуда-то из Крыма. Представляются — владельцы небольшой фабрички. Изготавливают, мол, мясные изделия.

Но вы никогда не сможете представить, какая у дельцов возникла в новой стране великая идея! Они надумали делать некошерные по вкусу колбасы, ну, там окорока, сосиски и прочее — из абсолютно *кошерного* мяса. Попросту говоря, делать свиные по вкусу изделия из индюшатины и курятины, чтобы их могли покупать и поглощать даже суперрелигиозные евреи...

Долго экспериментировали со вкусом и составом изделий. Больше года, если память мне не изменяет, а то и дольше. И нашли-таки нужные сочетания ингредиентов. Я, естественно, не спрашивал, в чем «фишка», — всегда, с самого начала, предупреждал любых «гостей», что не только не пытаюсь что-то из их методов производства вызнать, но — напротив — категорически прошу *этого* не рассказывать вовсе. Ни в каком варианте! Чтоб потом не возникло ненужных скандалов и подозрений (а русские «изобретатели» в принципе оказались помешанными на борьбе с кражей их «секретов». Я-то как раз пытался им объяснить, мол, господа, если у вас кто-то что-то попытается слямзить — поблагодарите Бога! Значит, вы

угадали важную потребность местного рынка. Вы всегда выиграете судебное дело, сможете получить с вора такие компенсации, которых сами не сможете заработать! Не бойтесь вы краж... А если уж будете скрытничать, то подумайте сами — кто ж вам поверит, кто даст кредит — под неизвестно что, под какой-то неведомый секрет? Но они в упор подобных моих рассуждений не хотели понимать). Но пришедшие ко мне в тот раз заводчики дали попробовать изделия. Я вкусил... И уже потом они показали мне на каждом из них штамп: «Кошер» с подписью раввина. Не просто раввина, а кого-то из самых авторитетных в сословии — об этом особо позаботились.

Их колбасы и ветчины по вкусу абсолютно не отличались от лучших свиных, когда-то изготавливавшихся в России (я пробовал основательно). Спрашиваю: «Есть проблемы с производством?», ожидая привычных жалоб на нехватку средств, на оборот, на спрос... Готов помочь, чем смогу!

Ответ поразил: «Проблема есть — и очень серьезная. Мы не справляемся с выпуском продукции! Спрос на продукцию намного превышает наши возможности. Нашему экспедитору приходится выкручиваться, придумывать самые фантастические причины, почему в тот или другой магазин мы не поставляем в нужном объеме заказанную продукцию. У нас не хватает денег на развитие производства — все, что имели и что добыли, уже вложили в фабрику. Больше пока ничего не можем...

— А как здание фабрички-то нашли?

— О, чистый случай. Хозяин почти разорился, и мы смогли снять у него помещение задешево. Он и работает у нас теперь (когда потом, позже, я побывал на их фабрике, они показали на «местного» жучка, с бородкой и жиденькой шевелюрой, что-то в сторонке клепавшего из индюшачьего мяса: «Вот он, хозяин нашего здания...»).

Мужики, с их необыкновенным чутьем угадали, как можно удовлетворить колоссальную проблему именно местного рынка. Приехавшие из Союза евреи вовсе не хотели отказываться от привычной за десятилетия еды, от своих гастрономических вкусов, но одновременно —

не желали бросать вызов ни местному истеблишменту, ни традициям предков. То есть хотели себя не мучить за столом, но и соблюдать еврейский кашрут. Более того — огромный местный рынок мечтал о том же самом: иметь продукты с «европейским вкусом», но не нарушающие еврейские традиции. Хотя бы для того, чтоб не терять религиозный сектор покупателей... Религиозники и сами с удовлетворением встретили бы возможность кормить светское население кошерными продуктами (за которые раввины получали приличное вознаграждение — за официальное кошерование!) и в то же время не борясь с его гастрономическими вкусами... То есть наши изобретатели удовлетворяли абсолютно все потребности в стране! Всех, кроме... Кроме, естественно, конкурентов — местных производителей мясной продукции.

Я напечатал статью об их открытии и с любопытством следил, как дальше пойдет дело. Увы, мгновенно, ну, во всяком случае, очень скоро после моей публикации оно куда-то... растворилось... Куда? Где-то через год, чисто случайно узнал — их, увы, обанкротили. Вполне законным способом — и именно за то, что они вылезли на местный рынок и бросили вызов здешним монополиям.

Способ банкротства выглядел примитивным, я бы сказал, до подлости. Накануне истечения контракта на аренду фабрички их конкуренты-заводчики предложили хозяину здания сумму раза в три или четыре большую, чем ему платили «эти русские»... Конечно, он клюнул на столь невероятную и неожиданную выгоду. А мои заводчики, возмечтав удовлетворить растущий спрос, все, что заработали, уже успели вложить в новое оборудование. У них не нашлось денег на съём какого-то иного здания... И фабрика закрылась. Сразу! Куда делись авторы «новых колбас» — я так и не сумел узнать. Но было очень, очень жалко! Такое дело загублено... Эх, черт!

* * *

Другая история, связанная с «Бизнес-клубом», прямо противоположна по жанру и стилю.

Звонит мне в редакцию хороший приятель, которому я кое-чем обязан был, — прозаик Давид Маркиш (сын знаменитого поэта-идишиста Переца Маркиша, расстрелянного на Лубянке в 1952 году): «Миша, у меня просьба. Мой знакомый бизнесмен открывает финансовую компанию и хочет, чтоб к ее открытию в вашей газете появилась информационная статья. Я обещал содействовать. Сможешь сделать?» — «Смогу, Давид». — «Вот их координаты...»

Поехал я по указанному адресу — куда-то на набережную Средиземного моря в Тель-Авиве. Компания называлась, если не подводит память, — «Первая российско-израильская финансовая компания». Человек, к которому меня направил Давид, звался Григорием Лернером и был ее главой и хозяином.

Когда я вошел в помещение офиса Лернера, меня, должен сказать, потрясла внешняя обстановка этой конторы. Выглядело — ну, скажем, залом в Кремлевском дворце! Или — каким-то израильским филиалом Павловского музея... Мебель, фурнитура, аппаратура — все разительно отличалось от того, что обычно я видел в Израиле, где ни одна, даже богатая и престижнейшая фирма, никакой местный олигарх-мультимиллионер не смели с такой роскошью обставить офис... Хотя бы потому — чтоб не вызвать подозрений у налоговой полиции, но, главное, у своих же клиентов, мол, владелец фирмы потратил доверенные финансы не на бизнес, на оборот, а на какой-то фуфлыжный шик... Любой израильтянин — уверенно говорю! — увидав подобное козыряние богатством, заподозрил бы хозяина как минимум в жульничестве, ибо деньги, заработанные честным трудом, так бездарно не проматывают! Как сказала позже одна из защитниц Лернера, депутат кнессета Марина Солодкина, объясняя крах его фирмы: «Лернер не понимал местных культурных кодов». Очень точно определила!

Как понимаю теперь, это был стиль не одного Лернера, но мода, свойственная всем «новым русским»... Какой-то петербургский миллионер, например, выстроил для себя копию царского дворца в Вырице (Вырица —

дачный поселок, где я отдыхал с мамой в школьные годы). Да и Путин, сплетничают, построил на юге почти что царский дворец — для себя лично... Зачем? Чушь какая-то, но, видимо, так они понимают внешнее выражение делового успеха. Такое, видимо, нелепое представление о свойствах богатой жизни. Отсюда же, конечно, взялись поездки миллиардера Прохорова, в принципе, говорят, умного и дельного человека, в знаменитый Куршевель с десятками шлюх в личном багаже. Видимо, таково представление, как именно должен отдыхать богатый россиянин, что-то вроде нового хорошего тона... Но в тот день я про себя решил, что Лернер просто насмотрелся в эмиграции на старинные швейцарские банки, потому так нелепо, по-старинке и, несомненно, с вредом для себя, подражает седой древности в современном Израиле.

К слову, Лернер дал мне в тот день очень дельное интервью (собственно, без умения красиво и убедительно говорить Лернер, верно, не смог бы и действовать в бизнесе — тем паче во взаимодействиях с банкирами). Суть разговоров сводилась к тому, что, мол, у «русских израильтян» постепенно скапливаются в стране немалые сбережения, их невыгодно хранить в израильских банках, так как те платят совершенно ничтожные проценты по вкладам... Вот Лернер и создал совместную израильско-российскую компанию, которая примет вклады у здешних «русских», инвестирует эти деньги в Россию, в её растущую промышленность или в сервис и станет платить «олимам» большие проценты, чем их израильские капиталохранители. То есть дело сулило как бы явные выгоды вкладчикам и самой России, которая получит новых инвесторов, причем инвесторов с иностранной валютой, — и я с чистой совестью излагал его «откровения» в нашей газете.

Впоследствии полиция обвинила миллионера, что такие замыслы служили ему лишь маской, а на самом деле он задумал создать собственный израильский банк для отмывания капиталов преступных кланов из России. Вполне может такое случиться, я с полицейской версией не спорю, но об этом тогда не догадывался...

Впрочем, не я один выглядел лопухом. Лернер устроил банкет в честь открытия своей фирмы, куда меня тут же пригласил. Боже мой, банкет смотрелся в точном соответствии с оформлением фирмы. Кто только ни приехал из Москвы! Я познакомился там с Александром Николаевичем Яковлевым, одним из отцов российской перестройки, в прошлом секретарем ЦК, а тогда — советником президента России, если не ошибаюсь (мы даже обменялись книжками с автографами). Познакомился с зампредом Центробанка Хандруевым, с академиком Леонидом Абалкиным, где-то промелькнула знакомая по телевизору физиономия знаменитого журналиста Минкина, и до банкета прочитали приветственное послание Лернеру от... премьер-министра России Виктора Черномырдина... Ну как можно было усомниться в чем-то?! Присутствовал высочайший бомонд российской элиты! Как не поверить, что передо мной вполне солидное предприятие? И кормили нас роскошной едой — впервые (и единственный раз в жизни) я пробовал шашлыки из осетрины, а на отдельных креслах расположили удивительно красивых русских девушек — явно для использования почетными гостями (я таких девиц еще раз увидел примерно через год, уже сидящими в вестибюле гостиницы «Космос», когда впервые посетил столицу новой России). Тоже, видимо, считались нужным атрибутом для богатых постояльцев!

Довольно скоро Лернера арестовали, и это меня не слишком удивило — повторяю, любой израильский полицейский, увидев подобную, как у него, контору, решил бы, что перед ним вор! Но видимо, мастера в полиции недооценили — и дело вели с колоссальной небрежностью и произволом, что вызывало протест в «русской общине». Позднее полиция пыталась объяснить возникновение общественного протеста «подкупом» россиян со стороны друзей Лернера, но это — некрасивая попытка полицейских следователей оправдать собственное халтурное, с точки зрения законности, поведение на следствии — к слову, свойственное израильской полиции вообще. Я полицейских особенно не виню: в конце концов, огромная часть их службы

сводится к подавлению населения оккупированных регионов, оно, арабское население, формально не защищено же израильскими законами (арабы — не граждане страны, а иностранцы, да еще завоеванные, не правда ли?), поэтому полиция получает воспитание в Израиле в духе пренебрежения правами граждан. Всех граждан! К слову, это тоже одна из важнейших причин моей «левизны» в здешней жизни: наличие в границах Израиля огромных масс населения, не защищенных по-настоящему законами, порождает жуткий произвол силовых структур не только против арабов, как вы можете подумать (так многие в Европе и думают), но против евреев тоже. Что мешает последним в создании настоящего государства — и никакие «лишние» территории помочь евреям в таком деле не в состоянии.

Отбыв первый срок, Лернер появился в Союзе журналистов и мы восстановили наше давнее знакомство. Скоро он открыл новую деловую компанию — что-то наподобие «МММ» Мавроди (тот тоже, вроде, не успокоился — и тоже открыл компанию заново)... Видимо, люди не в силах сдержатъ страсть обмишуливать доверчивых лохов, которые разевают рот на якобы бесплатную халяву.. Я бы на месте государства даже и не карал таких жохов: в конце концов, если в первый раз потребители могли обманываться и вполне искренно верить рекламе, как и я сам (мало ли что!), то во второй раз клюнуть на совершенно явную «пирамиду» мог бы только жадный и безмозглый дурак, понадеявшийся сыграть в свою игру — выскочить из пирамиды с прибылью раньше, чем та обанкротится. Но — полиция рассуждала иначе, и Лернеру пришлось бежать из страны (с деньгами, разумеется). Полиция обнаружила его в Парагвае и добилась выдачи, а суд наделил его новым, очень приличным сроком. Увы! В Израиле нельзя действовать согласно российским культурным кодам — надо бы уже познавать местные правила игры)...

* * *

Наконец, третью еженедельную рубрику в редакции доверяли целиком моим личным вкусам. Иногда в

моем мозгу возникала статья по истории (еврейства или общей), иногда — отчет о некоем культурном событии (например, я написал большой материал о митингах любителей поэзии на площади Маяковского в Москве 60-х — знаменитое считалось в наши годы общественное движение!), иногда — рецензия на прочитанную книгу, иногда — рассказ о путешествиях в какие-нибудь страны (я побывал в Египте, Иордании, Италии, Франции, в Штатах — и про все писал, делился впечатлениями и ощущениями от новых для себя миров).

Так и шла работа — неделя за неделей, месяц за месяцем. А вокруг клубилась буйная жизнь страны.

Избрание Рабина премьер-министром перевернуло Ближний Восток — недаром на гибель лидера столь сильно отреагировал мир. Дело, конечно, не в самой личности премьера, но в том, что предшествующий разгром Организации освобождения Палестины в Ливане (в 1982-м году) по-новому перевернул самые умонастроения в арабской среде. В еврейской, кстати, тоже, что для меня — несомненно.

Я и видел, и осознавал свое важное отличие от вроде бы единомышленников, от так называемых израильских левых. Израильские «леваки» ощущали себя, как ни странно покажется мое определение, своего рода расистами. Расистами на особый лад, т. е. в их восприятии мир и согласие, благие, с их точки зрения, понятия, целиком и полностью зависели от настроений только и исключительно еврейского общества, еврейской части региона. С евреями им и требовалось работать. А арабов они за людей как бы не держали, что именно те думают на самом деле — «левым» виделось абсолютно неинтересным, во всяком случае для личной политики. Главное — настоящих людей, т. е. евреев, в чем-то переубедить, перевоспитать, а уж с арабами разберемся — как-нибудь и когда-нибудь, потом уже.

Совершенно не собираюсь отказываться от необходимости поворачивать еврейские мозги и тоже направлять их к отказу от высокопарных претензий, свойственных

любимым военным победителям. Нет, чем-то и евреям придется жертвовать — ради мира, и это требовалось разъяснять именно евреям, я понимал... Но главным препятствием для мирной жизни в регионе лично мне виделись все же настроения других людей — арабских масс.

А массы — их невозможно, так мне казалось, понастоящему умиротворить. Пока, во всяком случае. Именно и прежде всего потому, что арабы оказались побежденными, разгромленными в войнах. Как всякий великий народ, проигравший войну, они жаждали не мира, но — реванша. Успокоения попранной национальной гордости. Их политики нередко понимали вредоносность продолжения конфликта для своих же народов, они бы с радостью заключили мир с Израилем, который развязал бы им руки для других, более важных направлений внутренней жизни наций, — но не могли лидеры пойти против воли народов. Тот же Насер, подлинный вождь арабского национального движения, имел тайные контакты с израильянами и в ответ на их предложение заключить мир, даже выгодный для Египта, ответил выразительно: «Меня после такого соглашения — сразу убьют». Пример его преемника, Садата, доказал — лидер отнюдь не заблуждался в перспективах.

Арафат попробовал сделать шаг на пути к миру. Ну, скорее не шаг, а первый шажок. Многого достиг на этом пути — например принципиального отказа арабов от уничтожения Израиля. Или — согласия на экономическое сотрудничество с соседями. На моих, например, глазах — прямо из окна моей иерусалимской квартиры — я вижу ежедневно, как растет на все четыре стороны арабское село, попавшее сегодня под полную власть «раиса» и его преемников. Вообще соблазны настоящего мира выглядели весьма обширными — именно для палестинцев, зараженных деловым влиянием и конкуренцией с еврейскими соседями. Но... Нет, не хочу сказать, что вождь палестинцев боялся заключить окончательный мир, нет, повторяю, он, по-моему, просто не мог этого сделать. Не в силах — по самой своей сути *народного* вождя. Такой ли-

дер неспособен пойти против народа, навязать ему нечто необходимое ему же — как, например, это сделал Садат в Египте. Или — как сделал Бегин в Израиле...

Так что в срыве «соглашений Осло» — вина, по-моему, не Арафата лично, но всего народа Палестины. Народ этот не хотел мира, пока ему виделось, что соглашение увековечит его поражение в войнах.

Как журналисту, мне удалось в те годы многое пови-
дать, хотя не то, чтоб я задавал вопросы (нет, я почти ниче-
го и никого не спрашивал, скорее внимательно наблюдал
и слушал)... Так вот, повидал я вождя палестинцев Ясира
Арафата. Я слушал и смотрел на него неотрывно, как и на
его первого помощника и преемника — Абу-Мазена.

Такое «действие» стало для меня возможным, благо-
даря помощи фонда Шимона Переса. Сам Перес, разуме-
ется, не хуже меня понимал, что величайшее достижение
его политической жизни — т. е. «соглашение в Осло» —
зависит, прежде всего, от внутренних настроений пале-
стинского народа. И ему хотелось помочь арабам, хотя
бы на первых шагах в мирной жизни, чтобы они как-то
попривыкли к покою, чтоб не хотели от мира отказы-
ваться. Поэтому созданный им фонд занялся, прежде
всего, привлечением международных инвестиций в про-
мышленность новой автономии — чтобы у палестинских
тружеников, лишившихся прежних рабочих мест в Из-
раиле, появились возможности устроиться на новых за-
водах. Во время поездок в автономию я немало видел (на
ее границах) новых заводов и фабрик — десятки круп-
ных предприятий, принадлежавших, как нам говорили,
скандинавским вкладчикам. Кроме того, фонд Переса
занялся еще одной любопытной задачей — он давал воз-
можность журналистам обоих народов посещать друг
друга, общаться, выяснять взгляды и позиции оппонен-
тов. Что, несомненно, помогало взаимному пониманию
— по крайней мере, взаимопониманию тех, кто просто
захотел понять намерения противника.

В частности, я посетил с группой «русских» журна-
листов Ясира Арафата в Газе и Абу-Мазена в Рамалле, да

и вообще объехал сектор Газы с севера на юг и с юга на север, беседуя и слушая десятки палестинцев — фабриканта и купца, хозяина ресторана и журналиста, ткачиху и швею...

Встреча с Арафатом — это первая по счету такая «свиданка» на территориях.

Попасть к «раису» оказалось исключительно трудно. Незадолго до того врач-еврей из Кирьят-Арбы Барух Гольдштейн, по-видимому, психически сдвинулся — подобно тому, как позднее свихнулся и убийца Рабина, Игаль Амир. Я не хочу сказать, что оба заболели душевно, вовсе нет, но общий накал настроений подействовал на психику и сдвигал ее сильно — в этом не сомневаюсь, хотя палестинские собеседники относились к такому моему мнению более чем скептически. Они предпочитали видеть в обоих просто злодеев! Ну, скажем так, оба они, и Гольдштейн, и Амир, виделись мне людьми на грани заболевания. Гольдштейну, например, привиделось, что арабы Хеврона после пятничной молитвы у могил праотцев начнут в городе массовую резню тамошних евреев. Врач взял автомат, пришел к мечети и расстрелял насмерть примерно тридцать молящихся. Теракт вызвал естественный взрыв ответного арабского террора, причем, как всегда у арабов, раз начав, они уже никак не могли остановиться... Даже когда террор подрывал их собственные позиции и собственные усилия! Он выглядел для них как бы естественным выражением настроений массы и ее борьбы. Теракты гремели почти каждую неделю, да чуть ли не каждый день, а за спинами террористов-исполнителей скрывался главный организатор, видимо, очень талантливый химик, по кличке Инженер. Из-за этого Инженера мы, журналисты, и не могли попасть к палестинскому лидеру Арафату — ну не давал он нам прохода! Только, бывало, соберемся — бац! — гремит сообщение о теракте, и границы перекрыты военными властями... Наконец, на третий, что ли, раз мы все-таки успели проскочить кордон с Газой — где-то за полчаса до того, как ее вновь объявили закрытой военной зоной...

Нас встретили в Газе люди Арафата, проводили автобус по городу — прямо к резиденции вождя. Я понимал, конечно, что все они знают русский язык, хотя и притворяются, якобы говорят только по-арабски — и внимательно прислушиваются к тому, что журналисты гуторят между собой... Русскоязычных палестинцев у Арафата, слава богу, хватало.

Наконец, наша группа прибыла в резиденцию вождя. Я, по правде сказать, измучился в дороге со своим диабетом и сразу побежал в туалет, и тут-то и пропустил важное действие — явление «раиса» народу. Более того, Ясир со всеми поздоровался за руку (кроме, кажется, Давида Шехтера, который не выпускал из рук фотоаппарат и потому избежал рукопожатия), а меня как раз не нашлось на месте в этот исторический момент. Так что на ошупь я вождя все-таки не познал.

А потом нас завели в обширный кабинет и завязалась беседа. Именно — не интервью, а беседа с весьма приятным собеседником, что Арафат умел делать великолепно.

...Я часто шокирую израильтян, когда открыто признаюсь, что Арафат мне — понравился. Ну, просто понравился. Он выглядел, честно говоря, обаятельным человеком. Что делать, я ехал именно за этим — за непосредственным впечатлением, а не за подтверждением давних стереотипов. А мое личное впечатление оказалось именно таким. В пояснение скажу: я думаю, если бы встретился некогда с товарищем Сталиным, он бы мне тоже понравился — как он понравился Эмилю Людвигу, Лиону Фейхтвангеру и многим-многим интеллектуалам. Это ведь не имеет отношения ни к их политическим воззрениям, ни к политической практике. Человек умел и отлично знал, как ему можно нравиться собеседнику — такое искусство входило в его великолепный профессиональный инструментарий. И он им владел — блестяще!

Каким же мне Арафат привиделся?

Он держался абсолютно свободным человеком. Человеком, который каждую секунду верит себе и в себя (наверно, точно, как Иосиф Виссарионович, да?). Среди

всеобщей опаски, всеобщего ощущения зависимости и внутреннего страха, нет, не страха даже, а вот именно — опаски, эта как бы естественная свобода вождя выглядела... привлекательной. Неизбежно пленительной.

«Русские» журналисты старались задавать Арафату самые трудные, самые неприятные, самые скользкие вопросы. И он с поразительной ловкостью от них уходил или, наоборот, шел навстречу — так же ловко и так же легко. Например, Аркан Карив задал ему вопрос: «Господин Арафат, в подписанных Вами соглашениях с Израилем сказано, что на территории автономии оружие должно находиться только в руках военнослужащих вашей милиции. Но ведь его открыто носят бойцы религиозных организаций...» — «Вы видели сами?» — «А чего тут особого видеть? Они открыто выходят на демонстрации с автоматами в руках. Значит ли это, что Ваша подпись на документах не заслуживает доверия?» Нисколько не смущаясь, не теряя ни на секунду самоуверенности, Арафат задает встречный вопрос Аркану: «А ты знаешь, сколько стоит в Газе “Калашников”?» Карив спокойно: «Не знаю». — «Так я тебе сообщу: две тысячи долларов — на черном рынке, разумеется. Как ты думаешь, если я отберу у него автомат, сколько времени у него займет купить себе новый?» Карив молчит. «В том все и дело, молодой человек. Всякое действие требует подготовки. Сначала я должен арестовать торговцев оружием, а сейчас я знаю только половину из них. Потом можно будет взяться за покупателей. А если арестовывать их прямо на демонстрациях...» — «Вот именно!» — перебивает Карив. «Так ваши же газеты, да и СМИ всего мира начнут вопить: Арафат нарушает права человека, Арафат попирает свободу демонстраций. Это мне нужно, как ты полагаешь?»

Все молчат. Не потому, конечно, что он нас в чем-то убедил. Отнюдь! Мы же понимаем, что он врет, открыто врет, прямо в глаза. Но как ловко! Ну, попробуйте поймать! Попробуйте уличить! Он свободно отобьет любую попытку себя переспорить. И вот это искусство оставить тебя в дураках — даже когда всем все остается ясным, оно есть

большое искусство настоящего народного вождя. Который привык, что истиной является только утверждение, которое он лично говорит, и только в тот момент, пока он его говорит. Самодержец, так сказать! Через минуту способен сказать нечто прямо противоположное — и тогда противоположное станет означать все ту же истину — для его приближенных. На то он и считается вождем народа.

Корреспондентка женского журнала спросила: «Господин Арафат, где сейчас твоя жена?» — «В Париже», — отвечает он. Осматривает нас, потом подносит ладонь к губам, целует себе пальцы: «О, Париж, какой город, а?» — и снова целует пальцы.

А я смотрел на него и, помню, думал: у Рабина мощи и силы в тысячу раз больше, чем у этого актера. Но наш премьер никогда не посмеет целовать себе пальцы прямо на публике. За ним же наблюдает парламент, дипломаты, СМИ, он обязан контролировать каждый жест, каждое сказанное им слово... Он всегда поэтому — несвободен. Он всегда что-то подсчитывает и рассчитывает в своем уме... А этот — король! Что ни скажет — все и для всех так здорово! Он и есть тот феномен, что называется — вождь. Наконец я увидел подобное историческое явление, о коем столько читал в книжках. Таким были Сталин, да и Гитлер, честно признаться, тоже... Один здешний еврей, родом из Германии, в юности ходил — по заданию сионистской организации — слушать фюрера на митингах. И честно мне рассказывал: «Если бы я не был евреем, стал бы его фанатом». Это ведь говорилось им — после всего свершившегося. Благодаря обаянию, благодаря свободе былого оратора!

Совсем другим человеком смотрелся в моих глазах Абу-Мазен — тогда некто вроде министра иностранных дел при Арафате. К нему мы съездили не в Газу, а в Рамаллу — большой город в Самарии. Она видна на горизонте прямо из окон моей квартиры — но я ни разу в этой Рамалле не был — ни до этого случая, ни после. Типичный парадокс ближневосточной жизни — притесняемые арабы (пишу это определение без всякой иронии) сво-

бодно ходят в еврейские районы каждый день по каким-то своим делишкам, а мы, евреи, как бы и вроде главные, к ним обычно — сунуться не смеем. Потому как знаем — могут убить. Однажды случайно, ошибаясь дорогой, в эту Рамаллу как-то заехали три израильских солдата-резервиста (я отлично знаю тот перекресток, где они спутали поворот, много раз сам там ездил). Пограничники Палестины отвели их в местную полицию, собралась толпа «болельщиков» и... растерзала ребят живьем на клочки! Такая вот жизнь... «Восток — дело тонкое...»

Так вот, приехали мы, журналисты, в Рамаллу — город, у арабов считающийся неким подобием нашего Тель-Авива. Меня он поразил красотой и богатством, совершенно не походившим на столицу, как нас уверяли в СМИ, нищей и разоряющейся, живущей на зарубежные подачки арабской автономии. Отнюдь! Явно богатым выглядело это обширное «местечко». Я даже отошел от группы, специально, чтоб купить местную шварму — пирожок с бараниной. И никогда, нигде не ел такой вкусный швармы, как в Рамалле. «Чего ты удивляешься, — пояснил Макс Лурье, коллега родом из Средней Азии, — это же восточные люди. Готовить, как они, — нигде больше не умеют».

Поначалу Абу-Мазен показался мне скучным чиновником — то был сильнейший контраст в сравнении с чарующим собеседником Арафатом. Говорил только «положенные» вещи и только положенными словами и вечными тропами... Спрашивается, зачем же мы сюда ехали? Все это слушать снова и снова? Но внезапно, к концу встречи, ему удалось меня поразить. Причем дважды поразить.

Ему задали вопрос: «Сейчас вы организуете демонстрацию с требованием освободить палестинских заключенных. А я, — сказала спрашивавшая журналистка, — знаю про демонстрацию, требующую освобождения израильтянина (я забыл его имя, кажется, Ави Поппер — *М. Х.*), убившего семерых арабов из пистолета. Как вы считаете — если наше правительство решит освободить палестинцев, должно ли оно освободить также и того израильтянина, что сидит за убийства арабов?»

Естественный ответ для чиновника виделся мне таким: я не могу принимать решения за израильский суд и за израильских министров. Это их дело, пусть они и решают. Вот так он должен был ответить, на мой взгляд...

Но Абу-Мазен сказал абсолютно другое.

— Несомненно, — ответил он. — Несомненно. Между нашими народами шла многолетняя война. Все нынешние политзаключенные есть по сути военнопленные в этой войне. Пленные, захваченные другой стороной. Если будет подписан мирный договор, то, как положено правилами ведения современной войны, пленных отпускают по домам. Всех арабов и всех евреев, которые посажены за убийство друг друга на войне, всех нужно немедленно освободить.

«Ого! — подумалось мне. — А у мужика-то имеется свое мнение, свой гвоздик внутри. Нет, он не обычный чиновник при боссе... Он личность, только привык это тщательно скрывать. От всех, между прочим. И от своих тоже...»

Второй раз поразил он меня, когда сказал:

— Главное, что обязаны понять сегодня израильтяне: у палестинцев должно возникнуть свое государство. По всем остальным вопросам мы — так или иначе, но можем договориться. Но это — неременное предварительное условие: без него невозможно ничего.

Опять-таки это было высказано как некое продуманное и незыблемое личное убеждение. И этим Абу-Мазен показался мне именно отличным от своего босса. Арафату по большому счету государство не виделось слишком уж важным, таким я его чувствовал, во всяком случае. Он в любом варианте занимал место несомненного вождя народа — независимо от любых титулов и званий присвоенных. И любым формальным званием лидер мог пожертвовать и уж тем более — им рискнуть... Не слишком велика потеря! Абу-Мазен воспринимал ту же самую ценность по-иному, чем его шеф, это я тоже почувствовал. Позднее, когда он сменил Арафата на посту лидера, мне виделось, что он — благоприятная для политики палестинцев замена. Хотя народ мог и не понимать этого,

как всякий безгосударственный народ, как те же евреи, пока у них не возник Израиль, не слишком понимали необходимости для них государства... Не слишком, это-то я как раз знаю!

* * *

Израильтяне несколько лет маневрировали в играх с арабами. Для начала провели «любовную», хотя тайную переписку с президентом Сирии Хафезом Асадом. Вроде бы обещали отдать ему Голанские высоты — в обмен за мирный договор. Это вызвало бурные симпатии к правительству Рабина в Европе и Америке, привело к массовому притоку инвестиций в промышленность и науку Израиля (как же! Мир, можно сказать, в руках...), хотя и стоило этим социалистам массы в прошлом симпатизировавших им голосов в самом Израиле. Но буквально в последнее мгновение Асад отказался приехать на «троственную встречу» (Клинтон — Барак — Асад), и никакого соглашения подписано не было... «Миролюбивый Израиль» оказался «при своих интересах», немало на той игре заработав, а Асад проиграл — и тоже немало.

Я совершенно случайно оказался свидетелем сцены, приоткрывшей тайны тогдашних израильских игроков. Меня пригласили на семинар «русских» журналистов в каком-то провинциальном, почти курортном местечке, где перед нами должен был выступить, в частности, вице-премьер Хаим Рамон, тогда любимец и доверенное лицо премьера Барака. Ну, ему, конечно, задали тревожные вопросы о возможной отдаче Голан — можно ли доверять слову сирийцев и зачем вообще нужно отдавать земли — что может Сирия отдать Израилю взамен за утрату прекрасного и уже заселенного евреями района, вообще — какой смысл в обмен на листок бумаги приносить столь огромные жертвы? Чем так важен Израилю мирный договор с Сирией? И без договора — там ведь не стреляют, не правда ли?..

Рамон, человек крупный внешне, да и внутренне не маленький, отделялся общепринятыми клише: Сирия, мол, не нарушала до сих пор никаких временных

соглашений с Израилем, очень пунктуально все подписанное соблюдала, тем более она останется верной постоянному миру. Ну, и так далее...

Но потом... Потом, видимо, не захотелось ему выглядеть дураком в глазах журналистов. Во всяком случае, мне так виделось. Он вдруг надолго задумался о чем-то... И — решил.

— Мы ведь не просто так собираемся отдать Голаны. Мы предлагаем взамен создать на них нечто вроде общей экономической зоны...

Вгляделся в нас, еще немного подумал, понял, что мы все равно «не петрим» в этих хитросплетениях и начал говорить далее...

— Ну, вы представляете хотя бы разницу в уровне жизни — израильтян и сирийцев? Где-то раз в десять — для рядового человека! Сейчас в их массах верят пропаганде, что в нашей стране евреи почти нищенствуют... Представляете, когда они увидят своими глазами, как в Израиле на деле живут самые рядовые люди? Да там десять дней не продержится режим! Никогда Асад не подпишет с нами ничего — на таких-то условиях...

То есть до нас, наконец, дошло, что правительство могло обещать Асаду самые щедрые уступки именно потому, что оно было заранее уверено: президент Сирии — исходя из его собственных внутривластных причин, никогда ничего с нами не подпишет. Просто не сможет! Так и произошло. И наши министры заработают очки, немало очков получили во внешних отношениях с Европой, Америкой, даже с Россией, и ведь не потеряли — нигде и ничего. Кроме нервов и переживаний собственного народа. Но это политики привыкли — в Израиле во всяком случае, — не обращать на это особого внимания...

Вдобавок они, конечно, шантажировали этим, «возможным миром» с Сирией господина Арафата — он мог потерять последнего из ближневосточных союзников и попадал в заведомо худшее политическое положение. Его как бы подталкивали, не говоря вслух ни слова: вот, мол, пока время не истекло и договора с Асадом нет,

поторопись-ка, приятель, подпиши свое соглашение, первым подпиши, это ж тебе самому выгодно...

Ловкая игра, спору нет.

Любопытная психологическая деталь: о «соглашениях Осло» бесконечно много говорят в израильской печати и в публике. Но при этом, по моим наблюдениям, их текст либо вовсе не читают, либо если кто-то читал, то крайне невнимательно. До сих пор (2011 год), например, противники «Осло» требуют «денонсации», не догадываясь, что эти соглашения, как всякий договор, имеют документально зафиксированный срок их действия — до 2000 года. То есть лишь семь лет с момента их подписания, согласно тексту, выделялось на то, чтобы установить в автономии нормальные органы власти-правопорядка, после чего предполагалось заключить новый, постоянный мирный договор между Израилем и Палестиной. Т. е. в 2000 году действие промежуточного соглашения (каковым являлось «Осло») как раз и заканчивалось — предполагались новые переговоры и заключение нового, постоянного пакта двух государств.

Именно поэтому через 7 лет, в 2000-м году, президент Клинтон приглашал в Кэмп-Дэвид «левого» премьера — Эхуда Барака на пару с Арафатом для заключения этого самого, предполагавшегося нового договора. Именно поэтому Барак решил отправиться туда, вопреки волне террора: он-то понимал, что новый договор в Кэмп-Дэвиде оправдает в глазах населения всю «левую попытку» — с начала и до конца.

Принципиально иная ситуация складывалась как раз у Арафата.

Он тоже знал чувства и настроения своего народа и поэтому жаждал соглашения. Но посвященного не миру, а... Победе, той Великой победе, что, хотя бы на словах, оправдает многолетнюю борьбу и жертвы палестинцев. Ничего иного заключать он не собирался заранее — может быть, допускаю, даже и не мог заключить. Не приехать тоже не мог — отказ от визита в Кэмп-Дэвид означал бы для него разрыв отношений со Штатами, т.е. потерю

того козыря, на который он, единственно, в своей политической игре мог рассчитывать.

И вот втроем ведут новые переговоры в Кэмп-Дэвиде... Арафат не уступает ни в чем. Клинтон бесится: «Ну, мало ли чего тебе хочется? Не все же нам подвластно, — взрывается, наконец, президент. — Мне, может, тоже не хочется уходить из президентского дома после второго срока, но у меня же нет иного выхода, я — подчиняюсь...» И Барак бесится, уступая, правда, оппоненту пункт за пунктом — он понимает, что его политическая судьба целиком зависит от возможного успеха или неуспеха, т. е. она целиком во власти Арафата. Если переговоры сорвутся, то в Израиле вернутся к власти «правые»... Но Арафат непоколебим. Только соглашение Победителя с побежденным оправдает его, вождя, в глазах собственной нации. И никак иначе.

Увы, для такого результата палестинцам все же требовалось победить евреев на поле боя. Не бывает в истории так, чтоб победитель в сражении уступил результат войны в мирных переговорах. Палестинцы захотели иметь принципиально несбыточное... Ни для кого! Когда мне самому приходилось иногда с ними схватываться в спорах и они напирали на свои «исконные и законные права» или там на Права человека, или на многое-многое юридически явное, я всегда парировал их доводы неотразимым — именно для них! — аргументом: «Воевать надо было лучше, господа!». И они замолкали. Сразу. Потому что это была именно их, искренняя, исторически выношенная точка зрения, а все разговоры о правах — попытка удачно сыграть по чужим, по европейским уставам.

Переговоры в итоге провалились — по-моему, к общему удовлетворению всех ближневосточных народов и к глубокому разочарованию президента Клинтона. Он-то, конечно, надеялся, что новый мирный пакт увенчает его Нобелевской премией мира (как первый Кэмп-Дэвидский договор Бегина с Садатом принес Нобелевку президенту Картеру)...

Арафат знал: чтобы все-таки прорвать возникший тупик, ему нужно именно то, чего его народу так не хвата-

ло в Кэмп-Дэвиде — хоть какой-то победы на поле брани. Пусть не в прямом военном столкновении (здесь он точно и всегда проиграл бы израильской армии), но, скажем, в каком-то гражданском столкновении. Интифаду-то арабы свели вничью! Значит, стоит попытаться выиграть какое-то похожее сражение — т. е. все-таки какую-то битву, хотя бы без выстрелов...

Думаю, примерно так рассуждал он про себя — когда принял решение начать вторую интифаду.

* * *

Очень интересной видится мне сегодня последняя поездка в Газу — по срокам она попала буквально на канун новой интифады.

Возникновение нового восстания палестинцев веяло тогда в политическом воздухе региона, его ждали — со дня на день... А мы поехали именно в это время и причем в самый котел, в очаг будущих арабских повстанцев, — посмотреть и почувствовать, как они живут, чем дышат, что у них изнутри творится? «Чем дело кончится, чем сердце успокоится?..»

И видели, что многое сделано для построения мирной жизни арабского населения. Мы увидели регион, который мог процветать, как мало какая иная область в мире — наподобие того, как, скажем, Крым или Абхазия расцвели когда-то в СССР. Ведь какая плодородная земля под ногами Газы — такой земли вообще мало на Ближнем Востоке, а тут — почти что черноземный регион вокруг. Или — великолепные пляжи на Средиземноморье, Господи, это ж готовый курорт, если обустроить его, как надо, он ничем не хуже, а даже получше Кипра или Синая... Прекрасные фабрики уже выстроены рядом, и мы в цехах говорили с работницами, весьма искусными в ремесле, с их менеджерами — эти так мечтали о новых израильских заказах. А какие гостиницы, какие рестораны успели палестинские хозяева пооткрывать! В одном из ресторанов, уже в самом конце обеда, к нам, журналистам, вышел хозяин: «Вы журналисты, да? Вам понравилось у меня?

Так напишите своим израильтянам — пусть приезжают сюда. Им будет хорошо. Я знаю, что ваши земляки любят ездить в Эйлат на выходные — пусть приезжают ко мне, у меня и ближе, и вкуснее, и дешевле...»

Словом, мы увидели именно то, что нам хотели показать в фонде Переса: сколько в Газе людей, которые мечтают о деловом сотрудничестве с Израилем, которым оно выгодно, как выгодно и нам, израильтянам! Повторяю, это наблюдалось буквально накануне интифады. А еще мы знали об огромных запасах газа, недавно открытых (по заказу израильтян) возле берегов Газы! На газ ни у кого в регионе не имелось спроса, кроме как у нас, у Израиля... Да они смогут в деньгах купаться, эти палестинцы из Газы, если дело поставят, как надо, если делом, а не борьбой займутся... Так мы тогда рассуждали, так я сам рассуждал — наивный простачок!

Честно признаюсь: в тот день я верил в скорый мир. Ведь нас как учили в Союзе? По книжкам Маркса и брошюрам Ленина. Выходило, что главные вопросы политики решают в кругах богатых людей, владельцев капиталов. Политики исполняют именно их волю, осуществляют именно их стремления. А владельцы капиталов в Газе явно предпочли мирное сосуществование, мы видели это своими глазами и слышали своими ушами, мир сулил им огромные прибыли и громадное развитие... Нет, добьются своего от Арафата, получают мир! Вынутят его к миру! Так мне думалось, так я надеялся...

Может, поэтому вечером не пошел на запланированную встречу с каким-то чиновником, отвечавшим в начальстве автономии за израильские дела... Что сей деятель может нам рассказать? Начнет повторять привычные арабские угрозы про интифаду, если, мол, Израиль им не уступит в том-то и том-то? Не он в принципе решает эти вопросы, он — попка для передачи нам чужих посланий! Мне гораздо интереснее казалось пообщаться с одним из наших журналистов, с евреем, жившим в поселении на территориях. Вот этот сумеет рассказать мне то, чего я не знаю: что ощущают сейчас мои земляки-поселенцы,

ставшие мощной политической силой в стране. Их насчитывалось тысяч за сто!

— Понимаете, — объяснял мне поселенец, — конечно, мы хотим мира — может быть, больше, чем кто-либо иной в Израиле. Но ведь ни одно поселение не возникло на заселенной арабами земле. Ни у кого мы ничего не отбирали! Строились только на пустырях, где никто не жил до нас, да и без нас тоже веками не станет кто-либо жить... Как правило — голые скалы и пески. Мы привезли туда все, включая почву, — она у нас тоже привозная. Мы провели дороги — до нас лежали только тропы. Провели воду, электричество... В сущности, чего требует Запад, когда говорит об отказе Израиля от поселений? Чтобы заселенную, наконец, людьми территорию земной суши децивилизовали, чтобы живую ойкумену превращали обратно в пустыню — и успокоили этим палестинское самолюбие. Дорогая, скажу вам, цена за чье-то ущемленное самолюбие! Это так похоже на их же западную политику в Африке: сначала они изгнали оттуда приезжих европейцев — для успокоения самолюбия черного населения, потом начались гражданские войны — черных между собой, теперь слышны вопли о гибнущем от нищеты и голода континенте! Главное, им хотелось, чтобы черные убивали друг друга сами, а мы, мол, белые европейцы, будем сидеть в сторонке с «чистой совестью»... Это — нынешнее понимание чести и чистой совести? Не слишком убедительное, скажу честно, понимание... Кому-то, даже самим черным, этого хотелось? Чтоб какой-то Мугабе или там этот...ну, как его... из Уганды тип... распоряжались их жизнями? И ели земляков живьем, как сделал какой-то царек в Центральной Африке? И разрушал то, что создавалось с таким трудом, что оживило для людей — пустыни и джунгли?! Почему нас должны с нашей земли выселять — в угоду даже не правительству, а каким-то дальним иностранным государствам, которые ничего не знают про нас, а информацию получают бог знает от кого?

Так рассуждал поселенец — и я ничего не мог ему возразить, только слушал и запоминал — как видите, запомнил на полтора десятилетия.

Хотя до сих пор жалею: может, зря не пошел тогда на встречу с арабом? Может, сумел бы в чем-то убедить того мужика-араба, а через него — его руководителей? Хотя бы в том, что самая неверная тактика в переговорах с евреями, с Израилем — взяться за оружие, нарушив ранее заключенные договоры. Это возбудит у израильтян один-единственный инстинкт — драться насмерть, иначе уничтожат. Это — ликвидирует возможность договариваться о чем бы то ни было впредь тоже...

Теперь уже известно, что сами палестинские руководители сомневались в пользе нового взрыва Сопротивления. Джибриль Раджуб, руководитель контрразведки автономии, сказал на том, на историческом заседании: «Ясир, ты помнишь, что у нас нет сил на долгую борьбу?» На что вождь уверенно объяснил ему: «Увидишь, через два-три месяца мы возобновим переговоры. Но — уже на наших условиях!» То есть речь идет о тактической ошибке лидера движения, о том, что он ложно оценивал ситуацию и задумал начать войну, к которой сам оказался не слишком готов... Столько лет воюя с Израилем, так дурно понимал психологию здешних политиков?!

...Интифада началась с провокации — с самой примитивной, простенькой, но, повторяю, многие в палестинском народе хотели именно самых простеньких решений — конкретного возобновления войны и потому верили «штучке». Арафат именно как народный вождь чувствовал и пользовался этим в полную меру!

Ариэль Шарон, возглавлявший тогда «правый лагерь», объявил, что если единый Иерусалим есть столица Израиля, то он лично поднимется на Храмовую гору, чтобы доказать наглядно, мол, в качестве гражданина Израиля он может посещать любую точку в своей стране. И пошел, и поднялся на гору. Потом начались в СМИ крики и вопли, якобы Арик сим восхождением осквернил «святую землю ислама», куда, мол, иноверцы не имеют права ступать (наподобие храма Каабы в Мекке) и тем, мол, вызвал арабское возмущение и восстание — ну и прочие глупости в том же роде, на них ловились массы в мусуль-

манских странах и куча европейцев в придачу. Но для иерусалимца, вроде меня, например, подобные разговоры звучали чистой чушью! На Храмовую гору *всегда* (уж при евреях-то — во всяком случае, всегда) был объявлен свободный доступ для туристов, она считалась как бы общепризнанным объектом для посещений, и я лично, своими собственными ногами, бывал там с десяток, не менее, раз, проводя экскурсии для приезжих знакомых. Более того: Шарон даже не зашел в «святую мечеть аль-Акса» или в «Купол над скалой», хотя туда тоже вход числился открытым (я тоже бывал не раз и там и там) — правда, в храмы пускали за деньги, по билетам, стоившим, к слову сказать, дороговато для иностранцев и вдвое дешевле для израильтян (это — единственные известные мне религиозные объекты в Святой земле, за вход в которые взимают деньги — мусульманский вакф, разумеется). Так что разговоры о том, якобы Шарон что-то там своими ногами осквернил — придуманная гадость! Очевидцы рассказывали мне, что арабские автобусы заранее подвезли «возмущенную молодежь» — не знаю уж, заплатили ей за работу или нет (обычным-то метателям камней платили за такую работу!) — и толпа *по сигналу* начала «выражать гнев и протест против Шарона» бросанием камней в евреев, вестимо. Так началась вторая интифада — с мниморелигиозной подачи...

Как ни парадоксально, она выпустила пар напряжения и из евреев тоже. В какой-то степени помогла лихо и резко определиться с ситуацией. Я писал, что непрерывные теракты вызывали у израильтян глубокое недоверие к самой сути «процесса Осло»: ну кому нужен мир, если платой за него служат постоянные теракты и убийства в автобусах и в ресторанах? А если завтра теракты сменят на открытые бои? Даже если руководители автономии искренне желают мира и не хотят войны, предположим, поверим, но где же гарантия, что любых «миролюбцев» не сметут террористы во главе с Инженером, которые никакой мир начисто не признают, не принимают даже и подписанные соглашения? Поэтому отказ от мирного состояния, ставший по-

сле начала интифады как бы официальной позицией палестинцев, четко обозначил позиции израильских «правых»: они тоже могут долее не считаться с какими-то соглашениями, сорванными противником, они могут действовать голой силой. Что — виделось как-то даже привычнее и понятнее. Спокойнее, что ли!

А вот «левых» срыв «Осло», наоборот, привел в полное смятение и нерешительность... Они впервые, помоему, убедились, что не все в политике зависит от нас, от евреев, — будет мир или война? — что у арабов тоже есть свое представление о текущей борьбе и ее методах. И оно, арабское представление, выглядело отнюдь не таким светло-несчастливым, как рисовали для самих себя «благородные белые люди»...

Резкая реакция еврейства явилась главным, пожалуй, просчетом Арафата. Большинство в Израиле смотрело просто и понятно — ну, надо воевать, как мы всегда воевали, надо бить врага и ни на что иное не рассчитывать. Арабы есть арабы, они враги. Как всегда это было. Более того, раз уж возникла реальная автономия с арабским правительством, то это, по-своему, даже удобнее: можно воевать с государственной структурой, это виделось евреям более легким, чем против неизвестно какой «подпольной силы». Израильтяне больше не несли ответственности за судьбы оккупированных арабов (у тех, простите-извините, уж есть для этих дел свое правительство!), за их трудоустройство, за бизнесы и стройки... Евреи параллельно налаживали отношения (хотя обычно — тайные) даже с прочими арабскими странами — свалив ответственность за продолжение «палестинской проблемы» на Арафата и его людей. И это опровергнуть оказалось трудновато — из Газы-то! Все выглядело в Израиле куда проще, а потому и легче, чем раньше.

Длилась вторая интифада не два-три месяца, как запланировал Арафат, а несколько лет. Собственно, официально она, наверно, продолжается по сию пору — официально ведь никто в руководстве не объявлял о ее окончании. Но реальные силы повстанцев кончи-

лись довольно скоро — собственно, подготовить их по-серьезному не потрудились. Она завершилась явным поражением Арафата — если поверить, что он предпринял этот ход, чтоб добиться лучших позиций на переговорах о мире. В переговоры с ним не вступили вообще. Он проиграл — палестинцы вместе с ним проиграли, «не упустили нужного случая упустить нужный случай»... Израиль именно в эти годы экономически окрепнул и развился необыкновенным образом, что придало ему, увы, избыток лишней самоуверенности. Лишней — по моей оценке, разумеется...

* * *

Резкое уменьшение количества «дешевого арабского труда» в Израиле, исчезновение пресловутой «эксплуатации невольников» (такое уменьшение произошло, естественно, после «соглашений Осло», когда Израиль скинул с плеч ответственность за жизнь палестинцев) привело к невероятному росту мощи и богатства страны — во второй половине 90-х и в начале двухтысячных годов. Повторилась, хотя всего-навсего на ближневосточном пятачке, старая «европейская история» — сначала имперские завоевания, потом последовал уход из колоний, и именно после него бывшие империи Европы с Японией вкупе стремительно развернули экономическое и военное развитие и национальное богатство. Как-то враз рухнул популярный предрассудок, рожденный, видимо, могуществом Британской империи в XVIII-XIX вв., — якобы страна становится сильной и богатой после появления у нее огромных колоний. Сначала Германия, у которой колоний почти не имелось, обогнала по экономической и военной мощи Великобританию (хотя по глупости и политической слепоте мешанской элиты Германия тоже исповедовала старую и ложную доктрину о богатстве и силе, наживаемых за счет эксплуатации колоний). И вот — то же самое наблюдал в Израиле. Чем меньше появлялось на рынке дешевого и полуарабского труда палестинцев, тем богаче и сильнее становилась в целом страна. С

подобной точки зрения «соглашения Осло» действительно выглядят судьбоносными... Кстати, «русские евреи» тоже поначалу виделись многим таким новейшим источником дешевого труда — как бы «русские» заняли место арабов (ведь хватались за любую работу, соглашались на пониженные расценки за нее — без знания языка, без понимания условий труда, без связей). Но быстро, буквально в считанные годы, «русские» вырвались на средне-израильский уровень, а вскоре стали претендовать на большее... А уж их дети! О, эти дети...

Мне как журналисту пришлось в те годы принимать участие в кампаниях по ускоренному вращению «русских» в израильскую жизнь — я объяснял читателям некоторые неизвестные им особенности здешней действительности.

Например, первой темой явилась для меня пресловутая «сексуальная революция на Западе».

В Советский Союз про сей переворот, вызванный внезапным открытием противозачаточных таблеток, доносились с Запада смутные, как бы «обличающие разврат капитализма» слухи. Советские женщины, видимо, воспринимали неведомую им «сексуальную революцию» как полную свободу сексуальных отношений. Ну, грубо выражаясь, совокупляйся, с кем хошь, сколько хошь, когда хошь — это вот и есть «новая свобода», «современный стиль Запада». (Помните: «В СССР секса нет»! А на Западе, выходит, есть, и даже очень много.) Оказавшись впервые в Израиле, многие «русские» девушки-женщины пытались вести себя в соответствии с так именно понятыми «правилами новой жизни». Что, в свою очередь, породило среди мужчин-израильтян предубеждение о чрезвычайной доступности «русских Наташ» — только предложи ей нечто, и она сразу уф-ф — твоя! А если почему-либо отказывает, ну, значит, цену набивает, ломается, такая уж попалась противная тварь... Особенно отличались на первых порах хозяйчики малых заведений — магазинчиков, парикмахерских, лавок и всяких ателье. Они приставали к служащим (продавщицам, кассиршам,

уборщицам), использовали и силу, и шантаж увольнением, ну — все, как в «Воскресении» у Льва Толстого хозяева по-первости льнули к Катюше Масловой.

Пришлось объяснять элементарные на Западе вещи: что «сексуальная революция» означает всего-навсего отказ от обязательной *официальной* регистрации половой связи. Только и всего! Или — законность так называемых пробных браков, когда молодые люди живут вместе, не фиксируя свои отношения ни в раввинате, ни в мэрии — пока не убедятся, что отношения настолько прочны и гармоничны, что уже можно заводить детей... Тогда и только тогда брак регистрируют официально. Но суть отношений между людьми после «сексреволюции» остается достаточно традиционной — молодые люди живут вместе, ведут совместное хозяйство, сохраняют друг другу верность, пока блюдется семейный союз. Никакой разврат или блуд не поощряется — никак. Во всяком случае, в порядочном обществе. А если кто-то недоволен сожителем, если выяснилось, что ошиблись с выбором партнера, то спокойно расходятся, раз уж не вступали в официальный брак. Т. е. такие отношения очень далеки от традиционного «блуда», как его воспринимали новички из СНГ — нет, просто иная форма, но все той же, старой семейной жизни.

Особые разъяснения потребовались относительно «служебных романов» хозяев с работницами. Пришлось объяснять «новым олим», что бояться возможных угроз женщинам не требуется — наказания хозяевам-начальникам за приставания к работницам по закону и по суду весьма и весьма суровые, как за изнасилование, достаточно лишь заявить в полицию или хотя бы предупредить обидчика. Он сразу все поймет. Местные мужчины отлично знают прецеденты и весьма-весьма тяжкого наказания за них побаиваются... Так что — сразу оборвите наглеца — хозяина- начальника, если он без вашего согласия распускает руки... И уволить вас никто не посмеет — ему такой уличающий поступок супердорого обойдется в последующем суде. И судов бояться не следует — есть адвокаты при профсоюзах, есть и бесплатные

адвокаты для нуждающихся, только обратитесь к ним, главное — не бойтесь ничего...

* * *

Другая израильская проблема, которой я тоже, но, увы, далеко не так успешно занимался, оказалась связанной со становлением израильской промышленности.

«Русские головы» привезли в Израиль бесконечное множество научно-технических идей. Свежих, иногда безумных, иногда некоммерческих, но иногда — чрезвычайно эффективных. Уж, по крайней мере, на вид (а больше — я ж не могу судить!). Чего-чего, а свойство изобретать — прямо пенилось на поверхности алии с избытком. И многие толкались со своими идеями к нам в газету, т. е. конкретно ко мне. Но чего у приехавших не хватало — элементарного умения внедрить свои идеи в новую жизнь. Ну, хотя бы для начала — умно идею запатентовать! В России таким делом занималось государство — и занималось худо, скудно, нелепо (как правило начальство предпочитало ловить для себя именно иностранные идеи — своим людям оно не слишком доверяло, и в этом деле тоже).

Израильское правительство придумало целую систему по утилизации привезенных из России идей. Например, особую фирму, где можно было идеи хотя бы зафиксировать — на первых порах, где оказывали прямую помощь при патентовании. Другие ведомства, а конкретно — главные ученые при министерствах абсорбции, промышленности и торговли, что разбирались с перспективными открытиями, организовывали специальные фирмы. Назвали их «теплицами»... На «теплицы» отпускали деньги из казны, позволявшие создать в их лабораториях опытные образцы изделий, и потом в помощь ученому-изобретателю выделялись опытные дельцы-израильяне, включая так называемого генерального директора. В его обязанности входило хозяйственное внедрение открытия в действующее производство.

Формально все было вроде прекрасно задумано. Но... Как всегда и всюду, дело упиралось, прежде всего, в не-

хватку кадров и, что важнее, в привычную систему израильских «назначений» — т. е. «своих людей». Короче, как только дело коснулось казенных денег — в Израиле начинали делать то же самое, что так любят в нынешней России: средства стали «пилить». Между «своими».

Я даже никого особо винить не могу. Спрашивается, если израильский бизнесмен умел наладить дело, зачем ему наниматься на госслужбу, проталкивать чужие идеи в мир? Такой делец лучше откроет собственный бизнес! Только если уж ничего у него в реальном деловом мире не получается, тогда подобный бизнесмен уйдет гендиректором по найму от казны. Насколько мне лично известно, гендиректорами часто становились те или иные игроки на бирже. Не слишком удачливые при этом... У них имелись связи в финансовом мире, имелось понимание того, куда вложить деньги или как их лучше извлечь из каких-то хранилищ, имелись связи в деловом мире и в бюрократии... Но руководить *промышленной* фирмой — таких знаний, как я убедился из многих бесед с «русскими» изобретателями, оказалось маловато. Эти люди не знали элементарных вещей — как вкладывать деньги и в какое оборудование, сколько потратить на производство, как и где рекламировать специфическую продукцию... Максимум, что назначенные «для практики» люди умели — выйти с фирмой на биржу! Но для успеха дела — этого, увы, не хватало.

Успех приходил только в случае, если автор идеи, изобретатель, сам выучивался руководить фирмой. Сам находил рынки и определял спрос, сам контролировал все на свете — включая работу своего гендиректора. У кого-то сие занятие получалось, и такие фирмы процвели.

Помню, например, одного врача, профессора откуда-то из Поволжья. Он изобрел прибор для предупреждения внезапно наступающего отека легких у долго лежавших в госпиталях больных. Такой прибор автоматически следил за состоянием больного и громким сигналом подавал знак окружающим медикам, мол, на организм надвигается отек... И спасал сигналом больному жизнь (когда о начале

отека уже известно, спасти пациента для медиков несложно). Этим прибором заинтересовались по всему миру... Собственно, первую схему врач придумал еще в Союзе, даже испытал пробный экземпляр, изготовленный для него на оборонном заводе, директор которого был его пациентом. Однако пробить изготовление в тираж не смог: завод считался оборонным — ведомство другое, не имеющее отношения к медицине... Вот у этого профессора дело в Израиле пошло великолепно — но потому, что он умел вести деловые переговоры сам, без ивритских посредников, так сказать «специалистов» по рынку!

* * *

Самый памятный для меня «хозяйственный эпизод» в моей журналистской работе оказался связан с... химией. С ненавистным мне со школы предметом.

Началась история — на прогулке.

...Здесь стоит напомнить, что в некотором отношении Израиль для российских эмигрантов — это самая легкая страна на свете. Все согласны, что эмиграция сама по себе, в любом ее варианте, — тяжелейшее испытание для любой личности. Но в чем конкретно состоит эта тяжесть? По моим наблюдениям — мы теряем после переезда в другую страну «наработанных» нами за жизнь людей. Выбранных прежде друзей и знакомых. Ведь начиная с детства встречаем все новые и новые лица на жизненном пути и мысленно, чувственно, невольно, но всегда отбираем среди них тех, с кем хочется общаться и далее, кто составит круг приятного для нас общения. Среди таких людей мы и живем фактически... Вдруг — переезд, и больше нажитого годами человеческого капитала у нас нет. Все, пропал! Мы снова становимся одинокими — как в раннем детстве. Конечно, можно попытаться начать отбор заново, но окружающие нас новые люди за границей — они имеют давно избранный ими самими круг общения, и мы, новички, обычно не слишком нужны им; кроме того, мешает языковой и культурный щиты, мы не представляем, как с новыми людьми общаться, о чем

говорить, чем можно помочь или, наоборот, какой ждать от них помощи... Словом, материальные выгоды, которые, несомненно, каждый просчитал заранее, никак не возмещают в эмиграции человеческих потерь — в том и заключена, собственно, главная трудность эмиграции на практике.

Израиль — идеальная страна для эмигрантов (только в этом плане, конечно). С одной стороны, она сравнительно невелика — не сравнить же с Америкой, Канадой или Германией, с другой — «русских» тут невероятно много, практически в любой точке страны можешь услышать русскую речь, русское радио или телевидение, найти русскую газету, купить русскую книгу. Поэтому здесь обнаружить новый круг общения, как-то восполнить боли и потери от переезда — возможно.

Скажем, работая, я любил оторваться от компьютера и походить по улице — «сделать кружок», так у нас в доме действо называлось. Круг вокруг микрорайона — по моей частичке «Рамота алеф». Длиной примерно в полтора километра, а если хочется, можно сделать два круга или даже три — размять ноги и мозги заодно. Вот на кругу ко мне подходили все новые и новые знакомые.

Начиналось обычно с болтовни, а потом завязывалось приятельство, иногда тесное. Первыми моими собеседниками «на кругу» стали соседи — профессор русской литературы Илья Захарович Серман (по отзыву Эткинда, «лучший в мире знаток русского XVIII века») с его женой, писательницей Руфью Зерновой. Оба из Питера, про обоих я еще в родном городе немало был наслышан, но знаком с ними не был. А в Иерусалиме — подружились.

Потом похожим образом возник новый приятель — тоже бывший питерец, в прошлом известный ленинградский, а теперь израильский адвокат — Рожанский. С ним мы тоже не были в Союзе знакомы, но, естественно, у обоих мгновенно нашлись общие темы для бесед. Ведь он хорошо знал моего прокурора (на суде) и моего судью, знал изнутри юридическую кухню — мы оба любили по-

говорить на сии волнующие обоих темы. Правда, разошлись во мнениях относительно проходившего тогда процесса Ивана Демьянюка — адвокат оказался убежден в его виновности, я же Демьянюка защищал (письменно — в газете и, как видите, устно тоже).

Наконец, однажды на прогулке подошел ко мне неизвестный ранее плотный коренастый старик.

— Здравствуйте. Хочу Вам сказать, что мне очень нравятся Ваши статьи в газете...

— Спасибо.

Держался старик уверенно — уверенно именно в том, что мне должно быть лестным его признание. Гм!

— Вы меня не знаете, но Вы знаете моего племянника — Славу Чаплина. Я — Чаплин-дядя...

Слава Чаплин, кинорежиссер, был мужем Лины Чаплиной, моей приятельницы с «Леннаучфильма», они оба со Славкой добились немалого признания здесь, в Израиле. Фильмы Чаплиных нередко шли по местному телевидению, я любил их смотреть. Так что старик понимал, каким образом стоит мне отрекомендоваться, чтобы я запомнил его и обратил на знакомство нужное внимание...

Я окрестил его именно так — Старик, под этим именем он всегда шел в моих записях.

Постепенно начали гулять вместе, он многое про себя рассказывал.

...Еще в 30-х годах Серго Орджоникидзе приказал основать в Москве крупнейший специализированный институт — так называемый Институтом хлора. Почему хлора? Ну, это как раз понятно в общих рамках «задач пятилеток» — именно производные хлора являлись отравляющими газами, придуманными германским химиком Габером во время Первой мировой войны. «Но, понимаете, нельзя же заниматься только военным применением хлора, — объяснял Старик. — Никакая экономика такого напряжения не выдержит. Поэтому заданием для Института считалось — найти мирное применение, чтобы можно было развивать какое-то обычное производство на его

основе... Ну а в случае войны, конечно, перестроили бы все сразу на оборонку»... Там именно и работал химиком-изобретателем мой Старик.

Как я понял, в Институте (не только там — подобное развитие химической промышленности свершалось во всем мире) нашли-таки мирное применение хлору — из него стали делать какие-то строительные конструкции. Ядовитый хлор, конечно, требовал в процессе обращения с собой чрезвычайной осторожности, зато оказался дешевле и востребован — выше всякой меры востребован!

Что Старик конкретно с ним делал — он никогда мне не рассказывал. Крепко вбили в это поколение понятие «военной тайны» — даже когда и тайн не осталось, и самого государства тоже. Узнал только один факт, и то — потому что тот был «личный». Мой Старик за изобретения получил две Сталинских премии, причем в эпоху товарища Сталина, в 1950 и 1951 годах — как говорится, «самые те для еврея» годы. А наградили за что? Не говорил. Никогда.

И вот — приехал в Израиль. Чем здесь заняться — на старости лет?

— Я давно просчитал, что Израиль — крупнейший в мире обладатель хлорных богатств... Мертвое море! Это ж — сплошные хлористые соединения. Но страна этим богатством абсолютно не пользуется. Вбили себе в дурные головы, что у них нет никаких полезных ископаемых! Как же... Ну, я приехал именно сюда, чтобы предложить использовать, наконец, великие запасы Мертвого моря!

— Но есть здесь комбинат Мертвого моря?!

— Конечно. Им-то — в первую очередь, я и предложил свои идеи. Но там меня слушать не хотели.

— Почему?

Здесь, видимо, необходимо вставить несколько слов об этом самом «Комбинате Мертвого моря». Не знаю, как сейчас, а в те годы, когда мы со Стариком гуляли вокруг Рамота, завод считался самым крупным промышленным предприятием государства Израиль. Когда-то создание

комбината «пробил» через английский парламент замечательный инженер, родом из Сибири, Моше Новомейский, до революции эсер-динамитчик (горняк-таки!). Моше, как и мой Старик, сообразил вовремя, что Британская империя всю войну остро нуждалась в поташе, который в мирное время завозила из Германии, и предложил лондонским властям создать собственный завод по производству поташа из солей Мертвого моря. На его берегах в то время вообще никто не жил, даже местные арабы. Чистая пустыня! Все остерегались похожих мест. Строить завод — там?! Англичане тянули-тянули, потом навязали ему какого-то шотландского лорда в компаньоны и под это условие выдали лицензию. Капиталы он добывал сам — в Штатах поимел кредиты. Новомейский создал действительно грандиозный комбинат, там работали евреи и арабы, он явно гордился, что «его» арабы просили хозяина оградить их от агитаторов террора — чтобы не мешали спокойно работать! Несколько десятилетий вырабатывали поташ для огромных британских рынков — по всей земле, по всей империи...

— И сейчас делают то же самое и примерно по той же технологии, что при Новомейском, — рассказывал мне Старик. — Начальству хорошо живется, они — очень прибыльное предприятие, совершенно никому там не требуются новые хлопоты по добыче какой-то иной продукции...

Поначалу на комбинате отфутолили «русского» довольно логично. Американская, общепринятая технология добычи хлорных конструкций держалась на электрообработке добытого сырья. Ему сразу и простенько указали, мол, стоимость электричества в Штатах, естественно, много ниже, чем в Израиле (здесь топливо для ТЭЦ — все привозное из-за границы, да еще и облагается немалыми пошлинами), и потому получаемый из хлора результат окажется нерентабелен. Все просто — «ваш способ не даст прибыли». Или иди и иди, «русак», к себе обратно в «Рамот алеф»...

Но Старик принадлежал к великому поколению «отцов», которыми я всегда восхищался. Когда перед ними

возникала неодолимая проблема, они искали, думали-думали — и находили оригинальный выход. Мыслью своей находили! Он сел за письменный стол — и начал по привычке думать.

И нашел-таки химический способ воздействия на сырье, который позволял добывать нужные изделия с необыкновенно высокой прибылью. Без всякого электричества!

Секрет прибыльности производства заключался, в частности, в том, что сырье уже было добыто к началу производственного цикла. Сырьем являлись отходы предыдущей деятельности комбината почти за век его работы! Терриконы при комбинате! Более того, сейчас комбинат согласен платить, если кто-то возьмется убирать от него жуткие колонны из солей — чтоб не засорялась природа побережья, не уничтожалась экология. А тут... Предлагалось превращать эти отходы в ценную продукцию!

Он предложил свой вариант комбинату снова. Но кому нужны хлопоты — на прибыльном и без него предприятии? От Старика отделялись год за годом — самыми изощрёнными способами. Ему, например, предложили огромное — по его-то масштабам! — вознаграждение, прямо многотысячное, если он замолчит и оставит, наконец, занятых людей в покое.

А ему хотелось — даже не денег, хотя он вполне нормальный человек, и прибыли ему отнюдь не помешали бы... У него имелось немалое честолюбие: во-первых, желание реализовать огромное по значению открытие и, кроме того, странное качество ... весьма странное. Мне даже неловко его как-то называть. Ну, словом, патриотизм. В наше-то время, господа, но — что поделаешь... Так было. Все-таки человек сформировался в далекие 30-е годы. Мечтал внести немалый вклад в созидание еврейской родины, остаться неким именем в ее истории! Понимаю, как все это высокопарно звучит в моей книге, но — не выдумывать же мне что-то иное вместо того, что я наблюдал собственными глазами...

Я написал о его открытии большую статью. Потом вторую. Обратился к знакомому чиновнику — советнику тогдашнего министра торговли и промышленности Анатолия Щаранского — Володе Воронелю (сыну профессора Воронеля). По правде сказать, Щаранский не ставил своего советника ни в грош — просто трудоустроил члена своей партии на хлебную должность, но не дал ему никаких реальных полномочий. И сам слушать его не желал... Вовсе не желал.

Вообще Анатолий виделся мне плохим министром, что уж скрывать. Я лично его мало знал, но и все «русские министры» работали так же плохо, не он один. В их видении министерская должность означала, прежде всего, право поучаствовать в принятии на высоких форумах важных решений по арабо-израильским вопросам. Наши «русские» выдвиженцы как-то с большим трудом осознавали, им в головы обычно не приходило, что министерское место, любое кресло, — не почетное место для голосований, пусть по самым важным вопросам, а обычная работа, такая же, как у нас у всех. Которую нужно делать каждый день по восемь часов — как минимум. И уметь делать, уметь разбираться в ней, понимать ее тонкости.

А «русские» — ничего не умели. Кроме политики! В которой тоже были не великими мастерами, но об этом — разговор другой...

Щаранский, по моей оценке, не понимал, насколько его новая должность важна — не для Израиля, не только для всех избирателей страны, но и для его собственного «голосователя», для его активистов, для тех, кто организовывал массы в поддержку его партии. Ведь именно от него в немалой степени зависело — пройдет тот или иной проект в промышленность или нет. И эти именно дела министерства занимали его избирателей много больше, чем то, подпишут с Арафатом соглашение о контроле над тем или иным арабским городом или нет... Т. е. вопросы, которые казались ему поистине судьбоносно важными для страны, на самом деле мало что значили для его избирателей. Значили, конечно, но, в основном, в плане — по-

точить языки, показать себя «мыслящими личностями», но — не в жизни, нет. И в итоге на следующих выборах его партию ожидал жуткий, грандиозный провал — но вполне заслуженный, и винить-то было некого, кроме самого себя. Насколько в этом умнее проявила себя та же партия восточных сефардов — ШАС. Она рисковала идти на любые маневры, лишь бы защищать интересы именно избирателей, своей группы. Уже если взялся представлять этническую общину, так работай для нее, не стесняйся выпавшей тебе роли — иначе вылетишь из борьбы с треском. Хорошо, коли раскрученного политика потом примут в другую партию, но уже не лидером, конечно, далеко нет...

Правда, мой Старик, в отличие от других изобретателей, сумел-таки найти путь к Щаранскому — через его мать, свою соседку по дому. И действительно, министр сделал для Старика возможный для него минимум — послал к нему на дом консультантов, чтоб доложили об этом изобретении.

Насколько я понял, оба консультанта появились в Рамоте с твердым предубеждением против всяких горезобретателей на пустом месте... И буквально обалдели, когда Старик показал им свои расчеты. Оба написали в министерство восторженный отзыв, я его читал, оба включились в дело, как могли, сколько могли — уже со своими личными связями. Но, увы, все равно ничего не получилось.

Когда у Старика появились первые возможные инвесторы, тут-то и выяснилось, что он предлагает бизнесменам чисто теоретические расчеты. Ведь у него ничего не было в руках, кроме своей головы со знаниями химии, хлора и желания работать с пером в руке — бесконечного желания, что правда. Но правильны ли самые расчеты? Как всегда, инвесторам требовалась опытная лаборатория, вложение каких-то денег в изготовление макета, словом, то, что обычно требуют при любом нормальном открытии. «Слушайте, — объяснял он претендентам, — я же химик-теоретик, я не промышленник. Вложите срав-

нительно скромную сумму во всякую проверку. Это же гроши по сравнению с возможной прибылью в случае удачи. Ну, рискните...» Но никто рисковать деньгами — не собирался. Им все на блюдечке требовалось подносить...

Потом... Потом Старик умер. Я так и не знаю, записал он свое открытие в виде формул и расчетов на бумаге или на диске, о чем я его постоянно просил... Осталось ли что-нибудь от него? Видел однажды его племянника-наследника Славу, но тот явно не способен был что-то пробивать... Не в этом была подлинная сила хорошего режиссера!

Тем дело и кончилось для меня.

* * *

Шел год за годом, и постепенно работа в газете доставляла мне все меньше и меньше удовлетворения, все более меня тяготила.

«Вести» становились, так виделось мне, все хуже и хуже.

Аннета Гроссман продолжала делать своё приложение «Окна» в полюбившемся ей вкусе — т. е. с претензиями на так называемую научность. Ну, словом, когда авторы статей пишут материалы о высоких и недоступных обычному уму материях с употреблением необыкновенных терминов. Которыми, кстати, так удобно маскировать никчемное содержание... Меня поражало, как подобные словеса действуют на воображение тех, кто плохо знает самый материал! Возникает магия особых знаний, завораживает читателей и слушателей... «Я этого не понимаю, но это — так здорово...» Что свойственно даже умным и хватким людям. Хотя уж в литературном-то приложении подобный стиль изложения вообще виделся мне абсолютно неприемлемым. И поэтому я несколько не удивился, когда мне показали результаты опроса читателей «Вестей», проведенного по заказу «хозяина» газеты, т. е. владельцев «Едиот ахронот». Половина читателей «Вестей» не читала литературного приложения. Вообще не читала! Хотя в реальности — основную газету может

кто-то не читать, ну, тот, кто равнодушен, скажем, к политике или к криминалу, но уж литературное-то обозрение должны читать все, купившие номер! Тем не менее, научными словесами своих авторов Аннета завораживала начальство — многим казалось, что вот эта редактор знает нечто необыкновенно важное и интересное, только они сами не понимают — в силу своей, увы, хозяйственной увлеченности прозой жизни... И нужно поэтому гордиться — как она здорово умеет такую штуку повернуть. Ну, примерно, как современные структуралисты объявляют свои сочинения «современной филологией», и ведь все подряд верят!

И основная газета нравилась мне все меньше и меньше. С годами Кузнецов, упоенный действительно достигнутым журналистским успехом, стал верить в себя как в могучего руководителя, и ему естественным образом хотелось влиять на массу читателей «Вестей» — именно так, как учил великий Ленин. Т. е. превратить газету в «коллективного агитатора и коллективного организатора». Естественно, не в большевистском, а уже в ином, правосониистском духе, но это — непринципиальная деталь... Он сам, как и жена его, Лариса Герштейн, вступил в партию Щаранского и потому просвещал публику в таком именно стиле, как будто «Вести» стали «русской» партийной газетой. Тем паче, что множество подписчиков, действительно, голосовали за партию Щаранского и как бы подтверждали верность выбора ее главного редактора.

Но газета-то становилась все скучнее и скучнее — что бы там ни говорил сам Кузнецов, а он много раз утверждал, мол, с тиражом у них полный порядок. Возможно, так виделось ему, главному редактору, возможно, что печаталось на самом деле столько же экземпляров, сколько раньше. Допускаю! Но я-то видел каждую неделю кипы непроданных экземпляров «Вестей» на полках всех доступных мне магазинов. И они, не проданные читателям столбы бумаги, гляделись таким контрастом на фоне исчезающих мгновенно с тех же лотков «Новостей недели»... Кузнецов явно проигрывал соревнование на конкурентном рынке!

Как бы там ни было, но я с нетерпением ждал января 1999 года. В середине того месяца мне исполнилось 65 лет, и я подал главному редактору заявление об увольнении — в связи с выходом на пенсию.

Признавая правду, скажу, что имелся, возникал некий личный эпизод, который подтолкнул меня, заставил принять именно такое решение, хотя никто словом не обмолвился в редакции, мол, пора тебе, Хейфец, на пенсию...

Эпизод оказался таким.

...Однажды обратился ко мне с жалобой некий преподаватель. Человек занимался, в частности, организацией классов для детей и взрослых, уроками на русском языке по всем предметам — возник такой, особый бизнес в Израиле. В частности, учитель предложил посольству России в Тель-Авиве создать русскую школу для детей сотрудников посольства.. Ему ответили согласием — конечно, да, конечно, нужно, организуйте, а ваши первичные затраты (объявления в газеты и все прочее) мы возместим, только подождите, пока придет к нам бюджет из Москвы. А пока вкладывайте свои деньги...

Он так и сделал. А потом пришло распоряжение из Москвы: делать такую школу они согласны, но только — усилиями «своих людей». А израильтян — не допускать вовсе. Что в принципе нормально. Но вот инициатора сразу, естественно, послали куда подальше. Вместе с его уже сделанными затратами.

Он просил хотя бы вернуть потраченные на создание школы средства... «Вы ж обещали...» Ну, ему ответили, как всегда в России отвечают частным гражданам, напоминая властям про их «обещания»: а пошел бы ты, братец, куда подальше... Он и пошел — ко мне в редакцию, жаловаться.

Я просмотрел его бумаги и написал едкую статью о нравах в российском посольстве (Бовина уже не было, его тогда уже сменили. При нем, верится, такая история была бы невозможной).

Но мою статью почему-то задержали с публикацией.

А вскоре в моей квартире в Иерусалиме раздался телефонный звонок. Консул России в Тель-Авиве нежно-вежливым голосом приглашал меня встретиться и «обсудить некие, взаимно возникшие вопросы». Сладко-сладко. Ну, я понял, что им стало известно о будущей статье и они решили как-то подстраховаться, договориться...

Что ж, я был вовсе не против договариваться. В конце концов, я же не хотел доставлять неприятности российским дипломатам или там обличать как-то российские власти — упаси бог! Их власти в моих глазах являлись продуктом их народа, а не нашего, и потому имели право вести себя так, как у них считается дозволенным, а у нас — нет. Я хотел только одного: чтоб пострадавшему израильтянину вернули потраченные им в интересах и с разрешения консульства деньги. Кстати, относительно небольшие средства...

Являюсь в назначенное время в Тель-Авив. А меня — не принимают. Выдерживают, так сказать, в передней... Как положено. Как в былые времена в КГБ — перед арестом. «Прокурора не могут найти!» Ладно, терплю, хотя чуточку закипаю: с чего это, ведь они заинтересованы во встрече, а не я...

Наконец, является консул с каким-то чиновником — опять, как в ГБ на допросах: кто-то должен сидеть на «контроле моих реакций»...

И начинает консул на меня орать и грозить. Как положено большому человеку перед провинившимся «шпаком».

Со мной вообще так нельзя говорить никакому начальнику, ибо никогда и нигде я не воспринимал их в качестве «высших боссов». Любое начальство для меня — люди, уполномоченные поручать мне ту или иную работу и оплачивать ее положенными деньгами. Все. Не более того. А тут на меня — орут! Как на хулигана в милиции.

Ну, я и стал ему отвечать. Он мне слово — я ему три. С половиной. И наблюдаю — точно как он сам — за реакцией присутствующего чиновника-свидетеля.

И в какой-то момент чувствую — сразу, вдруг! — что я переломил ситуацию. Что теперь я в разговоре сделался

главным собеседником. Который учит и наставляет оппонента. Что ж я такого ему сказал? Стал вспоминать. И вспомнил. Сказал я ему, ключевую, как выяснилось, фразу: «Вы здесь никогда не будете начальником. И должны это навсегда запомнить».

И тут он сообразил, что он для меня —никто. И звать его для израильтянина —никак. Хотя у себя он, конечно, чин какой-то тайной службы, секретного ордена, способного отравить жизнь любому, даже богатому человеку в России. Он по-прежнему ощущал себя хозяином жизни, ну, одним из хозяев, уже в силу причастности к секретной организации. А мне плевать на них на всех —в моем-то Израиле.

И разговор затух. Я встал и ушел.

Позвонил в редакцию, поговорил с замглавного, Левой Меламидом. Он что-то мямлил по поводу того, что «с твоей статьей возникли сложности»...

Тут я и понял, что из газеты надо уходить. У них есть какие-то связи с русским посольством? Т. е. с этими самыми «органами», как бы их теперь ни называли? Не хочется верить, что контакты имелись у Кузнецова, учитывая его прошлое, но, может быть, у зама? Мало ли за какие льготы можно подкупить газетчика, даже иностранного. Тем более —происходящего из России. У которого там много осталось всякой родни и приятелей.

Я тут же отдал статью в «Новости недели», где ее немедленно напечатали. И уж как рад был мой пострадавший клиент —его ведь тоже поразили не материальные потери, а наглое и бесстыжее хамство властей, от которого мы незаметно, но все-таки стали тут отвыкать...

И вот только тогда я твердо понял: из газеты мне пора уходить. Благо уже есть куда —на пенсию.

* * *

Сильно поразило, что мой уход на пенсию явно... обидел редакцию.

Казалось бы, ну, ухожу в совершенно законном возрасте, как «положено». Но вот то, что решил уйти сам, не

дожидаясь предложений от начальства, видимо, как-то задело — и, видимо, самого Кузнецова. Мне не устроили «отвальной», никакого письменного прощального адреса — а ведь я числился одним из основателей газеты, работал в ней с первого дня — таких всего-то оставалось в аппарате три-четыре сотрудника. Нет, уходил так, словно просто вышел куда-то из редакции на задание.

Кузнецов спросил, подписывая мое заявление: «А что ты будешь делать на пенсии?»

В самом деле, чем мне конкретно заняться?

И я решил подработать в другой газете. Потому что не работать вообще — как-то совсем не умел. Вообще не знал, чем себя занимать в свободное время.

Выбрал сравнительно новую газету со странным названием — «Русский израильтянин». Ее открыли какие-то люди, почувствовавшие, как и я, видимо, что «Вести» теряют «любителей», и поспешившие занять освобождавшуюся часть рынка. Ее редакцию возглавляли два приятеля, издавна хорошо ко мне относившиеся, — Вадим (ставший в Израиле Давидом) Кон из Баку и Виктор Топаллер, москвич. Топаллер, известный драматург и колумнист, в свое время даже звал меня немедленно возвращаться во «Время»...

Прихожу к ним в редакцию. «Миша, — отвечают, — берем сразу. Считай — уже принят. Но единственное условие — спроси у Эдика, не возражает ли он. А то как-то он нас укорял, что мы переманиваем у него лучших сотрудников... Мы не хотим ссориться».

Ну, Кузнецов возражать не стал, и я начал работать в «Израильтянине». Делал там не три материала в неделю, а один — но зато большой очерк, газета ж была еженедельником. Я ездил по разным интересным местам, брал любопытные интервью — у успешного адвоката, помню, взял, у мэра Хайфы — в прошлом знаменитого генерала... Словом, у меня в работе вновь появился некий творческий запал.

Увы, длился он недолго, несколько месяцев от силы. Идея, что можно сокрушить «Вести» и захватить осво-

божающийся рынок, овладевала все новыми предпринимателями, и — нашлись-таки покупатели на нашу газетку, к сожалению, дальние. Из города Москва. Они возмечтали через ее посредство захватить здешний рынок! Я точно не знал, кто именно, но какие-то тамошние богачи. Видимо, им привиделось, что рынок готов к атаке — с кондачка, с деловым нахрапом, как они привыкли делать в собственной столице. Москвичи заплатили какую-то приличную сумму прежним владельцам и... уволили прежних сотрудников «Русского израильянина». Всех, включая, естественно, и меня. Чохом и сразу — в один день!

И снова я оказался «свободен от постоя». Но теперь уже чувствовал себя готовым к этому состоянию.

* * *

...Секрет состоял в том, что надвигался 2000-й год. Новое тысячелетие! Мои нынешние читатели, верно, позабыли, с каким средневековым трепетом ожидалась эта великая дата — «миллениум». А у меня довольно давно родился особый под нее замысел. Для его воплощения в жизнь требовался только новый и особый издатель. Особый — в том смысле, что обычные мои издатели интересовались, прежде всего, правозащитной и политико-исторической литературой, а тут возникла иная тема в моих мыслях...

И — обнаружил я его, подходящего для себя издателя. В автобусе его нашел!

Знаменитый отказник, один из лидеров Еврейского движения в Союзе Иосиф Бегун никак не мог найти своё место «на свободе». Чем ему, человеку знаменитому, популярному в официальных израильских кругах, теперь, «на воле», заняться на новой Родине? Проблема, однако... Он решил, как многие другие «русские», создать собственный журнал... Каждому технарю со средствами и воображением почему-то виделось, что уж журнал-то выпускать он сумеет: ну, соберет статьи под одну обложку, свяжется с типографией, заплатит — вот номер и

готов. Сколько я таких попыток навиделся — у разных людей! Со стороны просто непонятным людям виделось, что редактирование и издательское дело — как всякое иное, тоже требуют специфических от занимающихся им людей и по-своему сложных знаний и навыков, с бухты-баряхты стать издателем — все равно что с бухты-баряхты стать, скажем, строителем... Но вот... Иосиф попробовал — раз за разом. И каждый раз издание завершалось у него пшиком. Не шло дело!

Наконец, он сообразил и решил «нанять специалиста». Тут мы как раз и познакомились — в автобусе, везшем нас обоих с какого-то семинара... И он сразу мне предложил стать у него — «главным редактором в новом журнале».

На предложение я купился, вообразив, что мне будут даны действительные полномочия «главного», а себе Иосиф оставит права «издателя», т. е. человека, отвечавшего за организационно-хозяйственную деятельность. Конечно, я наивно ошибался — он-то мечтал по-прежнему руководить «во главе всего», а мне предназначалась... ну, как бы сказать... с юности знакомая роль «литзаписчика при генерале». Однако теперь я был в ином возрасте и статусе и быстро от «должности» отвертелся. Как только на горизонте у Иосифа оказалась помощница, вполне этой роли достойная. И ему с ней тоже куда легче работалось...

Однако, помимо журнала, Бегун собирался издавать еще и книги. И тут я предложил ему свой давний замысел, который возмечтал реализовать именно в 2000-м году — со дня рождения Йешуа ха-Ноцри, или — по-гречески — Иисуса Христа. Эдакий «подарок Ему на Рождество»! Как у Иосифа Бродского.

Сводился мой замысел вот к чему.

Исторически сложилось, что фигура Йешуа, еврея, рожденного в Назарете Галилейском, проповедовавшего в Галилее и в Иудее и казненного римлянами в Иерусалиме, не изучалась в рамках еврейской истории вовсе. Вообще никак! Будто подобного персонажа в нацио-

нальной истории не существовало. С точки зрения ортодоксального иудаизма, он считался как бы сектантом, лжепророком, самозванцем — за что ж его изучать или упоминать? Не так ли, господа?

В мировой же науке Йешуа, напротив, изучался с невероятной мощью (только в XX веке вышло более шестидесяти тысяч книг, посвященных ему и его биографии). Но все это изучалось — вне истории иудаизма.

Особенно грустно ситуация складывалась именно в православии, т. е. на русском рынке, где распространялась самая нелепая версия, мол, «евреи Христа распяли». Хотя всякому человеку, хоть раз глядевшему на иконы, где изображались казнь и палачи, становилось ясно, что евреи никак не могли ничего похожего совершать. Чисто физически — поскольку верховная власть принадлежала в Иудее Риму, а с ней, конечно, и право на вынесение и исполнение смертных приговоров. Еврейские первосвященники и Синедрион, конечно, могли хлопотать в своих интересах перед Римом, что они и делали, это не отрицается, т. е. работали они, как всякие коллаборанты, имеющие собственные «классовые интересы», но — не их прерогативой считалось осуществление смертных казней. Тем паче — казнь через распятие... Холуи почитались в Риме холуями, хотя крутившимися в местной «политике», но свои функции римляне им вовсе не собирались передавать...

Когда живешь в Израиле, то по отношению к жизни Йешуа возникает совершенно особое чувство. Ты, еврей, буквально окружен здесь его следами, памятью о нем и о его близких людях. Вот место, где он родился, вот тут произошло его крещение, вон там пещера, где он скрывался от ареста, вот ворота, через которые его ввели в Иерусалим, вот его тюрьма, вот путь на плаху. Голгофа... Все возникает в этой стране перед твоими глазами буквально — на каждом шагу. Тюремные нары с пробитыми в камне дырами для прикованных ног узника, стела с надписью: «Здесь Он сказал: “Не обо мне плачьте, жены иерусалимские”»...

Появление сионизма в еврейской общине обозначило революцию в духовной жизни нашего народа — я писал об этом выше. Совершенно изменились приоритеты, ценности, авторитеты. И одновременно — изменилось отношение евреев к Йешуа. Уже самый первый великий еврейский философ XX века, страстный почитатель хасидизма Мартин Бубер написал, что воспринимает Йешуа ха-Ноцри «как брата» — и чем больше о нем узнает, тем тот ему кажется ближе. Основатель сионистской историографии Клаузнер сочинил целый том, досконально исследовавший жизнь Йешуа как еврея-реформатора своей веры, казненного угнетателями народа. Далее — в Израиле работали великолепные ученые, соединявшие в своем уме полученное европейское образование высокого класса с самым тонким знанием сугубо еврейских дисциплин — хотя бы со знанием арамейского языка, на котором именно говорили современники Йешуа, как и он сам, с пониманием тех особых нюансов западно-азиатской ментальности, что обычно плохо доступны европейцам... Замысел книги, которую я задумал, заключался в следующем: написать ко дню рождения Йешуа небольшое сочинение (в жанре свободного исследования — эссе), где я изложу достижения израильской науки по изучению эпохи и личности Йешуа. Именно — чисто еврейские достижения! Конечно, я еврей и к тому же — светский человек, поэтому не мог, да и не хотел изображать его как религиозную фигуру, это было бы просто не по силам, хотелось достичь в книге иного — вернуть русско-еврейскому читателю историческую фигуру из жизни нашего народа в русло национальной истории. А то — как же получается? Великие евреи — это обычно Маркс, Фрейд, Эйнштейн... Три, мол, всемирных гения еврейства. Согласен, но где же Иисус? У него что, меньше заслуг перед человечеством? Меньшее влияние на него?

То есть мне хотелось изложить современному русскоязычному читателю труды еврейских ученых XX столетия, которые коренным образом пересмотрели традиционный взгляд религиозного еврейства на Йешуа ха-Ноцри.

Например, сочинения профессора Д. Флюссера, человека, к слову, иудаистски религиозного («кипоносца», как зовут таких в Израиле). Он как раз исследовал роль Йешуа в развитии еврейской религиозной мысли своего времени и пришел к однозначному выводу: Йешуа развивал те идеи, что волновали множество его современников, выглядел великой харизматической личностью, которая искала пути для своего народа к Богу. Прежде всего — через любовь к человеку, к любому человеку, но преимущественно — к грешнику! Что и отличало это новое учение от идеологий многих сект его же времени.

Сказанное, однако, не предполагает, что Флюссер (или я, к примеру) считал путь Йешуа единственно верным — хотя бы в противовес ортодоксальному иудаизму, но в совпадении с христианским вероучением. Ни в коем случае! Лучшее всех современную еврейскую оценку великому пророку дал, по-моему, самый выдающийся ивритский автор современности — Амос Оз:

«Хотя христиане зовут его «Иисус Христос» («Спаситель-Помазанник»), для меня он, прежде всего, Йешуа, сын Марии и Иосифа. Рабби Иисус был прав, говоря о косности и ханжестве организованной религии и о том, что всем людям одинаково необходимо милосердие. Но этот человек горько ошибался, говоря о всемирном братстве и всеобщей любви. Любовь — продукт редкий, и если попытаться расстелить его над всем человечеством, то покров окажется слишком тонким, практически неосязаемым. Можно любить десять, даже двадцать человек, но если кто-то заявляет о своей любви ко всем странам Третьего мира, или ко всем бедным, или ко всем инвалидам, то эти заявления немного стоят. Более того, любовь способна каждую минуту обернуться лютой ненавистью — при первом же разочаровании. В этом вопросе Иисус был гораздо более опрометчив и гораздо менее осторожен, чем мудрецы Израиля, проповедовавшие справедливый суд, но не призывавшие полюбить весь мир».

Значительную часть моего текста занял анализ и другого сочинения, принадлежавшего перу знаменитого израильско-

го юриста Хаима Коэна — «Иисус: суд и распятие» (так книгу назвали в русском издании). Хаим Коэн — юрист с огромной, международно признанной репутацией, служивший стране повсюду — и главой прокуратуры, и министром юстиции Израиля, и заместителем председателя Верховного суда. Он еще в 1948 году получил поручение от тогдашнего своего начальства — от председателя Верховного суда: рассмотреть дело о реабилитации Йешуа ха-Ноцри. И 20 лет Коэн разбирал доступные в наше время материалы по тому делу, используя свои знания в римской юриспруденции и еврейском законодательстве. Книга, о которой я упомянул, стала выводом из его многолетних поисков. «Обвиняемый Йешуа ха-Ноцри реабилитации не подлежит!» С точки зрения еврейского закона он не подлежал ей потому, что в принципе был невиновен и *не осужден* еврейским судом. С точки зрения закона римского («Об оскорблении Величества», принятого при Октавиане-Августе), он несомненно являлся виновным — как ни прискорбна жестокость, но юридически был осужден Пилатом совершенно правильно — согласно законам империи. А потому — реабилитации тоже не подлежит.

Что же произошло в Иерусалиме в 33 году н. э?

Согласно анализу Х. Коэна, если доверять фактам, изложенным в Евангелиях, его пытался спасти прокуратор Понтий Пилат — и не смог. Согласно анализу поведения судей Синедриона, как оно описано в тех же Евангелиях, его пытались спасти и еврейские мудрецы — этим объясняются их странные противоречия, зафиксированные «критиками Библии». Им тоже не удалось этого сделать. Он был казнен — вопреки желаниям и намерениям тех, кто его схватил и тех, кто его судил.

Как такой парадокс можно объяснить? Почему?

Потому что в судилищах тайной полиции — что в римское время, что в наше — обязательным для спасения арестанта являлось некое условие. Но — совершенно обязательное для обвиняемого...

Оно называлось — «раскаяние». Официальное отречение от убеждений. Признание себя виновным и прошение о прощении...

Тогда тебя иногда, по каким-то своим причинам, власти могли помиловать. Великодушно. Но — только при этом условии.

Йешуа отказался отречься от своей Миссии. Отказался признать себя виновным в том, что он на самом деле говорил. Отказался просить прощения — и у Пилата, и у священников Синедриона.

Он вел себя как любой нормальный подсудимый. То есть вовсе не нарывался на обвинение с какими-то агитками на суде, не поддавался на провокационные вопросы — но не отрекался. От себя, от своего понимания Правды. И такого подсудимого спасти не могли даже сами судьи! Хаим Коэн как адвокат зафиксировал: «Распятие Йешуа следует считать не судебным убийством, а приведением в исполнение законного приговора. Позиция, занятая им на суде, была самоубийственной». И добавляет как профессионал-защитник: «Об этом можно только пожалеть»... Он бы, конечно, порекомендовал подзащитному какой-то маневр... Но я как человек неюридический восхищался именно верностью исторического персонажа своему предназначению, его отказом купить жизнь и свободу лживым покаянием — отказом великого борца согласиться на слом души, на измену судьбе — пусть судьбе трагической.

Закончил я книгу так: «Такие личности, как Йешуа, меняют течение жизни. Их награда — не в этом мире. Она в словах: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное, Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески преследовать... Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!” (От Матфея).

* * *

2000-й год оказался для меня необычайно важной датой. Вышло первое в жизни собрание моих сочинений. Появился мой трехтомник в Харькове, озаглавленный — «Избранное».

История «Избранного» такова.

Написал мне письмо из Харькова старый друг, Евгений Захаров, сын поэтессы Марлены Рахлиной (той самой, чьи стихи я взял эпиграфом к «Меншикову»). Женя возглавлял Харьковскую правозащитную группу и в таком общественном качестве имел контакты с известным в городе издательством «Фолио». И в его мозгу возникла неожиданная для меня идея — переиздать заново давно выбывшую из торгового оборота самую первую мою лагерную книгу «Место и время». С этим предложением он ко мне и обратился.

Я ответил примерно так: «Конечно, согласен. Но, Женя, может, лучше все-таки издать другую рукопись, которая пока существует только в журнальном виде? Тем более, что ее похвалил Солженицын. Можно сделать на обложке цитату из него — я спрошу разрешения у Исаича». И послал Захарову текст, если не ошибаюсь, «Путешествия из Дубровлага в Ермак». Повесть издателю понравилась, он согласился печатать ее тоже, но от «Места и времени» отказываться не хотел. Тогда я послал ему и «Русское поле» — вторую лагерную книгу, три интервью, взятых в зоне у русских заключенных. Она тоже раньше была опубликована лишь в журнальном варианте, причем в трех разных парижских журналах (в «Эхе», в «Русском слове», в «Континенте») ... И эту книгу он тоже захотел печатать: «Но тогда все придется печатать в два тома!» Я-то возражать, естественно, не собирался. «Но раз уж издаем твои лагерные книги в Украине, — написал Женя под конец, — как нам обойтись без «Украинских силуэтов?» А дальше ему самому пришла идея в голову — раз публикуем про украинцев-политзэков, то надо бы и про армян не забыть — «Военнопленного секретаря» ... Так мое «лагерное собрание» увеличилось в итоге до трех томов!

История занимала совершенно неожиданное продолжение — по инициативе все того же Жени Захарова. Вдруг он заявил мне: «Хочу приложить к твоим лагерным книжкам ту статью, за которую тебя посадили!» Я попытался отговаривать, причем совершенно искренно и довольно долго. Во-первых, статьи у меня нет — все три машинописных эк-

земпляра конфискованы и находятся в архиве ЛенУКГБ. Но, предположим, как-то и что-то мы добудем... Главное возражение — я ж не стиховед, не знаток поэзии, что я могу интересного написать о Бродском, да еще четверть века назад, когда поэта мало кто знал, это вроде бы вообще первая статья о нем на русском языке... Сейчас, когда о творчестве Иосифа выходят тома из-под пера специалистов — зачем мне позориться старой статьей?! Я и тогда, когда ее писал, не слишком высоко оценивал, почему так легко смирился с отказом Марамзина приложить ее к собранию сочинений Бродского... Но Женя оказался неумолим: «Хочу, и все!» Ну, с издателем спорить — дело сложное и неблагодарное. Пришлось повиноваться. По заказу Захарова я обратился к приятелю, адвокату Рожанскому, и оформил у него доверенность для питерского «мемориальца» Вениамина Иоффе, приятеля Жени, — чтоб ему работать с моим делом в архиве органов. Не скрою, самому виделось любопытным, — допустят Вениамина к делу или нет. Я ведь отказывался просить кого-либо о реабилитации, поскольку знал, что хотя оказался невиновен в предъявленном мне обвинении, но на самом-то деле — конечно, являлся виновным с точки зрения советского закона (только гебисты об этом не смогли разузнать и оставили настоящее обвинение мне за скобками приговора)... Поэтому о реабилитации я никогда и никого не просил — я ее по совести не заслужил (смешной исторический парадокс — некогда за такое признание, как то, что написано выше, ЛенУКГБ соглашалось сократить мне срок наказания втрое. Но тогда — я не пошел им навстречу. А вот теперь — сам признаюсь и без всякого вознаграждения). Короче говоря, заинтересовало — если папку с моим делом в руки Иоффе выдадут, значит, меня все-таки реабилитировали — уже без моих просьб, просто по указу Бориса Ельцина.

...И таки они выдали ее Иоффе! Он снял копию с моей статьи и с рецензии на нее Эткинда и прислал обе бумаги Захарову, а тот — мне. На просмотр.

Самое поразительное, что теперь, почти через три десятилетия, она мне самому понравилась. Я увидел,

что писал о том, что не увидели в творчестве Бродского никакие позднейшие исследователи, что открывал личность поэта с неожиданной для всех стороны. И Женя Захаров оценил ее также высоко. Поскольку два тома уже были заполнены, что называется, «под завязку», он вставил статью в единственное свободное место в трехтомнике — присовокупил ко второму тому. Так она и вошла в собрание сочинений Михаила Хейфеца.

* * *

2000-й год, который я наметил временным финишем для этой книги, стал началом для моего нового творческого проекта — создания двух книг, посвященных творчеству германо-американского философа Ханны Арендт.

Начался новый замысел так.

Приближающийся стык двух тысячелетий естественным образом вызывал в СМИ вал всяческого «подведения итогов». И кому-то из социологов (уж не помню, кому именно) пришла в голову странная идея — создать список из ста книг, оказавших на человечество самое сильное «умственное и нравственное влияние» в минувшем XX веке.

В этом списке я нашел многие известные фамилии — Д. Кейнса и Р. Хайека, А. Тойнби и К. Поппера, Э. Фромма и Р. Арона, М. Джиласа и А. Кестлера, Л. Колаковского, К. Леви-Стросса, А. Грамши. Нашлись и российские фамилии — А. Солженицын, Б. Пастернак. Словом, только из известных мне имен вытекало — автор подобрал в свой список, действительно, наивысший в мире ранг. Конечно, многого я раньше не читал, но это как раз казалось вполне нормальным — нельзя даже любящему чтение прочитать ВСЕ! Это как бы и невозможно по определению. Поразило в списке — иное. Примерно про половину этих авторов во всемирном списке я ни разу в жизни не слышал! Не слышал таких фамилий, представляете!

А ведь, судя по известным мне людям, список определял, образно говоря, лицо мировой жизни и мировой культуры. А я — даже имен из такого набора не слышал!

Да-а-а, подумалось, крепенько наше поколение «упаковали» от основного потока мировой культуры. А ведь мы, несомненно, получали образование высокого уровня, отрицать не стану. В аспирантуре я читал и Канта, и Гегеля, и Дарвина, и Моргана... Все, чем завершалась мировая наука ко временам Маркса, было нам доступно. Но кончалась, однако, «школа мысли» для нас, советских людей, XIX веком. Маркс как бы открыл абсолютные законы человеческой науки (диалектический и исторический материализм), а все, что возникло после, уже не рекомендовалось ни знать, ни изучать. Кроме некоторых уточнений и конкретностей, внесенных конечно же Лениным...

К чему мне это все именно вспомнилось? Среди «культовых фигур» XX века значилась в списке некая женщина-философ из Соединенных Штатов Америки — Ханна Арендт. Многие ли из вас, моих сегодняшних читателей, хотя бы слышали эту фамилию?

Меня лично задело мое сильное невежество. А тут как раз друг и радиоведущий Михаил Абир (Йосеф Дан) похвастался, что купил вышедшую в Москве толстенную книгу этой самой Арендт — первое ее произведение, изданное на русском языке. Стараниями фонда Сороса, вестимо, — «Истоки тоталитаризма».

И я сел его читать...

А спустя некоторое время, в Москве, уже сам обнаружил в библиотеке у старинных друзей, супругов Александра Гельмана и Татьяны Калецкой, вторую книгу Ханны Арендт, изданную на этот раз в Питере, — «Ситуация человека»...

Почему у меня возникла странная идея — написать две книги о сочинениях Арендт именно тогда, когда самые ее сочинения стали доступными (хотя бы в переводах) российским читателям?

Ханна Арендт выросла как философ в Германии, под крылом у великих учителей — Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса, числившегося научным руководителем ее диссертации. И писала она именно так, как принято среди германских философов. А каким языком эти великие мастера

писали — каждый, хоть немного изучавший классическую философию, знает. Темные, невнятно сформулированные фразы; умышленная, так называемая научность — все явно нарочно призвано затемнять «для простолюдина» смысл высказанных идей. Мне трудно отказаться от подозрений, что авторы задумали именно так сами — в противовес блестящим соперникам, остроумцам-французам типа Вольтера или Гольбаха, сочинения которых казались немцам не исследованием истины, а пропагандистскими модными брошюрками... Арендт тоже писала, как положено германскому философу, «темно и вяло» (выражаясь по-пушкински), хотя и сочиняла книги вовсе не в Германии, а уже в эмиграции, в Штатах.

Между тем содержание книг казалось мне перво-степенно важным — во всяком случае, для нас, для поколения советских людей, выращенных на книгах Карла Маркса.

Сила Маркса состояла в том, что он дал людям общую основу для построения всей картины мира и общества, главных мировоззренческих принципов и правил. Разумеется, мы видели, что практическая жизнь и практическая история не разворачиваются по законам, открытым Марксом, — рано или поздно, но все приходило к такому выводу. Но где же, в чем именно крылись его ошибки, на которых держалось наше мировоззрение? Какие следует вносить поправки в наши собственные принципы? Советские люди обычно в ходе жизненной эволюции избирали более простой путь — просто выбрасывали из памяти марксистскую теорию как некую ложь и историческую фальшивку... С присущим и воспитанным, кстати, большевизмом неуважением ко всяким оппонентам. Включая Маркса тоже.

Между тем, оказавшись в Израиле, я убедился вживую, что Маркс — одна из самых уважаемых фамилий в мировой науке. Его почитали как великого классика политэкономии — одного из трех мировых гениев данной дисциплины (Адам Смит, Карл Маркс и Джон Мейнард Кейнс), хотя, правду говоря, почти не изучали — он счи-

тался как бы гениальным мыслителем, но устаревшим, как этакий этап в развитии науки — безусловно, весьма и весьма значимым ученым, но ушедшим со своими теориями в прошлое. Как положено любому классику...

Ханна Арендт в принципе как личность вовсе не любила буржуазию с ее ценностями и идеалами. «Буржуазия считалась проводником и хранителем западной цивилизации, — писала она, — но она не обладала подобными достоинствами: в душе буржуа презирал цивилизацию». В «обществе от Бальзака до Ибсена» (т. е. при классическом капитализме) она видела лишь гниль, аморальность, унижение человеческих ценностей, увечья в конкурентных драках, духовную посредственность, ублюдочную мелочность — «даже в пороках!». Естественно, что Маркс с Энгельсом вызывали в таком философе человеческую симпатию — своей «тягой к справедливости». И поэтому ей был интересен марксизм — хотя она понимала его ошибочность и теоретическую неточность. Но ее анализ мировоззрения Маркса казался мне необыкновенно важным и занимательным — именно для нас, для бывших советских интеллигентов, к которым я относился. К тем, кого на Марксе воспитали. Вот и решил как автор довести ее анализ до сведения своего поколения — раз уж сама философ писала так, что невозможно ее читать обычному человеку (когда я сам читал «Ситуацию человека», мне казалось, что даже переводчик текста, блестящий знаток философии В. Биbihин, с трудом понимает, что именно хотела сказать автор: Биbihин в творческой натуге просто забывал законы родного языка и даже его грамматику. Иногда пропуская на странице по пять, по семь запятых...).

Первое заблуждение Маркса, которая открыла Ханна Арендт, касалось самой основы его учения — коммунизма. Маркс и Энгельс как мыслители жили в голодном обществе, где редко-редко обитатели даже в Западной Европе наедались досыта. Известно, что многие тогдашние эмигранты впервые поели досыта, только пересекши океан, уже в Америке! Неслучайно люди массами уезжали из Европы (только в Бразилию уехали два миллиона...

итальянцев, представляете?!). Они мечтали пожить, наконец, сытой жизнью, какой так и не узнали в своих странах. Естественно, у социальных мечтателей родилась идея общества, где все станут сытыми, все одеты, обуты, материальные потребности каждого удовлетворены — и тогда люди смогут зажить как свободные творческие личности. Это и станет осуществлением мечты человечества — коммунизмом. Маркс и Энгельс, по Арндт, виделись благородными людьми, и мечтали о благородном обществе! Но...

Но они, как выяснилось, все-таки ошибались. В самом главном — в оценке человеческого общества. Это они сами, если бы удовлетворили их материальные потребности, занялись бы только творчеством. Но, беспощадно анализировала Арндт, подавляющее большинство в любой толпе устроено вовсе не так. И если построить общество, где не надо зарабатывать на пропитание и на прочие материальные нужды, то большинство — просто не будет знать, чем ему заняться, куда себя приспособить. И, полагала Арндт, их время будет истрачено, в лучшем случае, на некое «хобби» (предположим — на наркотики?).

Таким образом, самая цель, начертанная учением философов, оказывалась ложной! Исходящей из неосуществимого идеала!

Второе заблуждение Маркса касалось основного закона истории: «Бытие определяет сознание», т.е. материальные интересы общества определяют, в конечном счете, его идеологию. По Арндт, взаимоотношения бытия и сознания оказывались много-много сложнее, и не раз верх над бытием одерживали именно идеологии, хоронившие насмерть материальное благополучие людей. Например, в Южной Африке расистская идеология подорвала рыночное хозяйство — уже в эпоху развитого в Европе и Америке капитализма. Те или иные решения принимались общинами буров с неизменным ущербом для экономики — лишь бы торжествовала расовая доктрина. И потому эта община, составленная первоначально из лучших в мире земледельцев (голландцев), опустилась

до того, что физические виды работ считались недостойными «высшей расы», но уделом только черных рабов. А их, «белых господ», занятие — лишь управлять черными на правах этаких языческих божков

То же правило, по ее мнению, распространялось и на тоталитарные системы — правительства неизменно выбирали хозяйственные схемы, отрицающие нормы прибыли и прочие экономические категории. Вместо интересов экономики (по Марксу!) — противоречащие ей потребности удержания абсолютной идеологической власти.

Наконец, еще интересное наблюдение Ханны Арендт. Она разделила две внешне похожие, но, по ее оценке, все-таки разные системы государственной власти — «однопартийную диктатуру», к которой философ относила муссолиниевскую Италию или ленинскую Россию, и «тоталитаризм» — гитлеровскую Германию или сталинский СССР. Да, «однопартийная диктатура» — жестокая, опасная, неприятная система, с этим спорить невозможно, но тем не менее — это все же не тоталитаризм. Ее главное отличие от тоталитаризма заключается в том, что однопартийная диктатура претендует всего только на абсолютную государственную власть, как делали фашисты в Риме или большевики при Ленине (или после Сталина). Но она принципиально отличается от тоталитаризма тем, что последний претендует не только на власть в государстве, но, прежде всего, пытается овладеть душами подданных. Именно духовное рабство наций являлось целью для Гитлера или Сталина! Такого не существовало при Ленине (который, по мнению Арендт, страдал абсолютно несвойственной тоталитарному вождю страстью публично обсуждать свои ошибки), как и после смерти Сталина («тоталитаризм в России кончился 5 марта 1953 года», фиксировала она). При этом тоталитаризм любит маскироваться под «однопартийную диктатуру» — Гитлер умышленно изображал себя последователем Муссолини, чтобы успокоить маской фашизма германских капиталистов и генералов, которых он впоследствии либо истребил, либо поработил; «Сталин — это Ленин сегодня», да, мы хорошо помним этот лозунг,

но все попытки молодых оппозиционеров опереться при Сталине на работы Ленина неизменно кончались для них проволокой лагерных зон!

Разумеется, я не пересказываю содержания книг — если б я мог это сделать, зачем мне было бы их писать? Просто одним-двумя намеками объясняю, что именно привлекло к этой теме и заставило посвятить ей годы жизни.

* * *

Я много писал в «нулевые» годы — преимущественно статьи в тонких журналах и приложениях к газетам. Увы, на Западе принято издавать тонкие журналы — и, соответственно, сдавать туда малые по объему статьи. Проникнуть в российские толстые журналы, да и в российские издательства никак не удавалось — мой друг, российский посол Александр Бовин (который упорно настаивал, чтобы я называл его Сашей, но у меня это плохо получалось: все-таки я всегда помнил, что он — «Ваше превосходительство»! Только после ухода посла на пенсию я сумел честно переключиться на «Сашу»), так вот, Саша Бовин объяснял мне «новейшую» российскую действительность так: «Они же печатают только знакомых. Только «своих». Так нынче все устроено». Что ж делать? Мои же «свои» жили в Израиле и еще немного — в Украине.

Завершая текст книги, хочу напоследок объяснить читателю, почему я остаюсь оптимистом, почему всегда с надеждой смотрю в будущее, живя в Израиле, который не в переносном, а в самом-пресамом смысле окружен со всех сторон неприятелем. Почему я несколько не сомневаюсь в будущем страны — не только лично, но и для своих малых внучек?

Первое обстоятельство: Израиль — это ядерная держава. Причем давно — ядерная. Сейчас практически все перестали этот факт скрывать, хотя и раньше секрет выглядел смешным (в Димоне, например, водители никогда не объявляли остановку «Ядерный реактор», но ведь не

было местного жителя, который этого секрета не знал бы. Атомный реактор действует в Израиле почти полвека! Сколько зарядов в армии накопили за эти годы — неизвестно никому, кроме посвященных в военные тайны, но наверняка немало.

Другой пример. Некий ученый-атомщик, с которым я случайно познакомился на какой-то конференции, категорически отказывался подтвердить, где именно он работал, хотя все кругом на конфе[ренции] про это отлично знали. Смешно! Ну и так далее... Теперь Шимон Перес открыто по телевидению рассказал, как именно под его патронатом добывали во Франции секретную технологию...). Но на атомную державу всерьез никто не нападет — любому врагу обойдется атака много дороже любых выгод. Что доказывает пример хотя бы Индии и Пакистана.

Второе и главное обстоятельство. Я уже пытался объяснить, что единственным (правда, очень серьезным) мотивом для вражды арабов и евреев является пока что исключительно психология — отказ гордой арабской нации признать, наконец, что она потерпела многократные поражения от евреев. Все это длится шестьдесят три года, но будет длиться еще долго, и пока желание подвести черту под войной является, увы, лишь сладкой мечтой, преимущественно в Европе и в Америке. Однако — время лечит раны, даже раны проигравших. Десятилетия назад рядом с нами жили арабы, которым евреи виделись чужаками, приехавшими из-за моря и создавшими на их глазах победоносную державу. Это раздражало ужасно — как всякое чужое новшество, тем паче успешное, всегда раздражает соседей. Но старое поколение сходит со сцены, появляются новые арабы, которые привыкли к неоспоримому факту, что сколько они живут на свете, столько здесь существует мощная еврейская страна. Рядом с ними — и всегда. Они не хотят ее ни видеть, ни слышать, в их школьных учебниках Израиль не наносится на карту (там значится единая Палестина), но — сколько ж такое самовнушение продлится... Все когда-то кон-

чается. И люди когда-нибудь все-таки принимают данность... Иначе не бывает в истории. Привыкли же арабы к тому, что потеряли Испанию, которой они владели почти восемь веков... Привыкнут когда-нибудь и к потере Палестины.

И я вижу, согласно доктрине покойного Молотова, что «наше дело правое. Победа будет за нами». И — никак иначе.

Вот этими словами оптимист в Израиле и завершает свои воспоминания.

Приложение I

Иосиф Бродский и наше поколение

Взаимное непонимание людей из двух миров, раскинувшихся по разные стороны «железного занавеса», — одна из самых увлекательных проблем для социального психолога.

Даже наиболее эрудированные западные политики и советологи, когда берутся судить о советских делах, выглядят в нашей стране наивными людьми, обладающими поразительно интересной информацией, но в то же время неспособными правильно почувствовать суть элементарных для советского жителя проблем. (Об этом верно и точно писал А. Амальрик в повести «Заговорившая рыба». Вероятно, работы советских американистов оставляют у их американских коллег подобное же впечатление, так же как работы наших германистов — у немцев.)

Неверно объяснять это явление лишь разными социальными установками авторов. Чаще всего непонимание чужой страны, чужой культуры не осознано ими самими: это дополнительное свидетельство коренного различия духовных фундаментов двух миров — Запада и не-Запада.

Почему я вспомнил об этом в заметках, посвященных творчеству Иосифа Бродского?

Десять лет назад по нашей стране прокатилась волна новой «чистки»: разоблачили группу ревизионистов в составе И. Эренбурга, Е. Евтушенко, Э. Неизвестного и других деятелей культуры. Сегодня уже ясно, что Никита Сергеевич Хрушев, коллега де Голля и Эйзенхауэра, решил тогда утвердиться в роли ценителя живописи и кинематографа, чтобы иметь возможность откупиться

от другого коллеги, Мао Цзэдуна, головами заранее подготовленных для убоя «новомировцев». Комбинация не удалась. В качестве аванса Мао потребовал голову самого Никиты Сергеевича, а тому такая цена, естественно, показалась чрезмерной... Но время было тяжелое: прошел пленум правления Союза советских писателей, где в унисон сливались голоса Софронова и Айтматова. Одна из советских газет («Комсомольская правда», если не ошибаюсь) поместила информацию, порочившую Евтушенко. Этот поэт, по признанию американских газет, потому интересует Штаты, что представляет собой своеобразную модель человека, который лет через десять будет стоять у руля советского государства.

До сих пор кажется невероятным: неужели американцы всерьез могли так думать?

Нелепо само предположение, что лет через десять Советским Союзом будут управлять молодые люди, ровесники Евтушенко. Любому советскому человеку было ясно, что во главе КПСС могут (согласно системе прохождения штатских чинов) находиться только старцы. Вдвойне нелепо, что у власти могут оказаться люди типа Евтушенко, т. е. имеющие определенные (хотя и шаткие) общественные идеалы. Втройне нелепей — и это главное — выглядит попытка судить о развитии поколения молодых людей по такому поэту, как Евтушенко.

Последнее утверждение не надо рассматривать как попытку обидеть или унижить Евгения Александровича. Полезный и по-своему честный поэт, он продолжает в поэзии линию, начатую Рылеевым, продолженную Огаревым, Курочкиным, Демьяном Бедным, Маяковским. Политическая злободневность, искреннее желание выразить мироощущение современного человека, народолюбие, сопряженное со страстью трибуна, поиски прямого контакта с читательской (особенно молодежной) аудиторией.... Такие поэты нужны России, и пусть в них кидает камень кто-нибудь другой. Но не они становой хребет русской поэзии, не по их стихам потомки будут судить о духовной жизни поколений, не они закладыва-

ют фундамент культуры.

Главная линия — от Пушкина к Лермонтову, через Тютчева к Блоку, Маяковскому в его вершинных творениях, к Цветаевой, Пастернаку... В наши дни эту главную линию продолжил не Евтушенко. Поэт, наследующий лиру великих, — Иосиф Бродский. Именно по его творчеству можно судить о саморазвитии российской молодежи, по его стихам можно прогнозировать ее дальнейший путь на переломе истории.

Десять лет назад, когда имя Евтушенко было на устах у всех, истинную цену другого поэта, не напечатавшего ни одного стихотворения, знали только его ленинградские друзья. Ныне перед нами — его первое собрание сочинений. Каждый, кто любит поэзию, сможет оценить масштаб дарования Иосифа Бродского.

* * *

Наследник лиры великих... Не слишком ли щедры мои авансы и эпитеты?

Я убежден: Иосиф Бродский как никто другой выразил в своих стихах духовный путь целого поколения молодой России. Будущий историк сможет судить о нас, читая его сочинения, так же как о поколении наших старших братьев и друзей он судит ныне по романам Солженицына.

Самозабвенным голосом Иосифа Бродского кричали в мир, в века все — великое множество граждан России, которых ни он, ни я, никто из нас не знает и не сможет узнать никогда.

Удивительно, что при этом он вовсе не старался быть актуальным, откликающимся на то или иное событие, которое волновало его сверстников (включая процессы 60-х годов или ввод войск в Чехословакию), не пробовал казнить власти Ювеналовым бичом и глаголом жечь... Помню, мы встретились с ним году в 62-м на Д-65 (круглосуточном телеграфе в центре Ленинграда) и пошли прогуляться по ночному Невскому. Было часа два ночи. Я спросил, почему он не пишет стихов о политике, он отве-

тил: «Зачем? Советская власть — мелкий факт в мировой истории, а меня интересуют коренные вещи». В сущности, это совпадало с недавно высказанной им позицией: «Я никогда ничего не писал “анти”, как никогда не писал “за”». Видимо, он искренен в своем отрицании политики как предмета собственной музыки, хотя это — искренность самообмана.

Неужели он в самом деле не понимает, что был «анти» одним фактом своего существования? Самим фактом существования поэта? Неужели не понимает высокую справедливость своего старшего современника Пастернака, который так определял социальную функцию «вакансии поэта»: «Она опасна, если не пуста»?

Бродский занял опасную вакансию по праву рождения («Я думал — это от Бога», — скажет он на суде через несколько лет), но чтобы удержать ее, от него требовалось самопожертвование, тем более трудное, что оно было неярким, незффектным. Ему не требовалось идти на костер, но, например, обязательно надо было отказаться от самой мысли о напечатании своих стихов, о существовании в качестве профессионального поэта. Надо было жить, полагаясь только на силу внутреннего самоощущения, и в то же время знать, что слава, признание, деньги — рядом, стоит лишь нагнуться и взять их. И нагнуться-то можно было без особых подлостей и даже с некоторой общественной пользой; в конце концов, пример хотя бы Андрея Вознесенского доказывал, что это вполне возможный путь. Бродский же предпочел остаться в графоманах, тунейдцем, едва не попавшим в психиатрическую лечебницу. (Он не угодил в нее только благодаря принципиальности В.С. Толстикова, пожелавшего воздать негодяю-поэту полной уголовной мерой. Конечно, и опыта у руководителя областной парторганизации тогда было поменьше.)

Если бы Бродский сделал хоть шаг навстречу печатному слову, он бы, возможно, погиб. Вместо Бродского писал бы другой, «внутренний редактор», который лучше него знал, о чем можно писать, о чем нельзя, а глав-

ное, о чем нужно. Впрочем, в самых первых его стихах еще можно ощутить желание писать как все, желание напечататься.

*Выпьем за наши дороги,
Пройденные вчера,
За промокшие ноги
И за тепло костра,
За небо ночей бессонных,
За грузные рюкзаки,
За преданных нам девочек,
За будущие стихи.*

Это ведь столь модные некогда геологические мотивы. Еще более «проходимыми» считались военные стихи типа

*И вечный бой.
Атаки на рассвете.
И пули, разучившиеся петь,
Кричали нам, что есть еще бессмертье...*

Казалось, Бродский мог писать о том же, что Куклин, Кобраков, Агеев и другие рифмоплеты, вторгавшиеся в поэтические рубрики журналов, и не хуже них... Но нет! В решающий момент возникала строчка, завершающая приведенную выше строфу: «А мы хотели просто уцелеть» — и стихотворение не могло заинтересовать ни одну редакцию. Поэт — человек, и ничто человеческое ему не было чуждо. Гладиаторы в его стихах признавались, что искали не только истин, но и богатства римлян; оказалось, что не надо ждать ни истин, ни богатства. Будет только смерть на арене. Он рано понял это.

Может быть, ему почудилось, что смерть уже пришла, когда его арестовали?

Процесс Бродского был, если не ошибаюсь, первым процессом подобного рода и по фантастичности ситуации не знает себе равных. Весь мир, включая даже литераторов-коммунистов (что тогда было в новинку), протестовал, негодовал, удивлялся. Более того, протестовал даже командор черной сотни, именуемый себя

поэтом, Н. Грибачев. Слишком уж абсурдным казалось обвинение поэта в... тунеядстве, затронуты были «профсоюзные» интересы. И все-таки когда думаешь об этом деле теперь, понимаешь, что, вопреки всем протестам, власти города Ленина были со своей точки зрения абсолютно правы.

Разберемся, за что арестовали Иосифа Бродского на самом деле.

Существует Союз советских писателей. Целью этой организации является объединение литераторов, использующих метод социалистического реализма, в пределах которого можно — даже и рекомендуется — иметь собственный голос. Но сердце, которое диктует этому голосу, должно принадлежать коммунистической партии. Кажется, я ничего не напутал в этом главном теоретическом и методологическом вопросе советского литературоведения. Бродский решил сохранить монополию на обладание собственным сердцем за собой. Уже одно это считалось идеологической диверсией.

Но уголовным преступлением это еще не было. Уголовным преступлением являлось то, что сердце оказалось широким и сильным, чтобы увлечь другие сердца. Не будучи членом Союза писателей, даже не обладая институтским дипломом, этот человек в двадцать лет был известен сотням, а потом и тысячам людей. Популярность его росла с каждым новым стихотворением в то самое время, когда «Лениздат» корчился от убытков, выбрасывая килограммы макулатуры на прилавки поэтических отделов книжных магазинов (например, стихи лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, председателя Ленинградского отделения Союза писателей А.А. Прокофьева). Гигантскими штабелями они высились на складах в течение нескольких лет, пока их куда-то не убрали — только не к покупателям. Руководителям издательств, чтобы покрывать недостатки от издания поэтических любимцев обкома, приходилось переиздавать «Королеву Марго», «Двух Диан» и сборники третьеразрядной фантастики! Мог ли подобный чело-

век, подобный поэт быть терпимым в благоустроенном обществе? Самим фактом своего пребывания в городе Ленина он бросал вызов законному праву обкома партии выбирать и отделять хороших поэтов от плохих, он ставил это их право под сомнение. Более того, об обкоме он не задумывался! Но завтра какой-нибудь инженер, конструктор или спортсмен тоже может решить, что обойдется без обкома. Между тем вопрос о компетентности руководства (или, по официальной терминологии, о руководящей роли партии) был одним из самых острых общественных вопросов. Если Бродскому, который в парторганы даже являться не захотел, не то что покориться, позволить иметь общественный авторитет, то где гарантия, что он не использует этот авторитет во вред общественному порядку? Авторитет, не дарованный властью, всегда был в советской республике главным общественным преступлением. Великий режиссер В. Мейерхольд и великий ученый Н. Вавилов были казнены только за это! Ни Н.С. Хрущев, ни Л.И. Брежнев не имеют права на такую привилегию, какой обладал некто Бродский... Поэт ставил под сомнение главные законы, выработанные в обществе ценой огромных усилий и жертв 1917—1937 гг. и с тех пор бывшие незыблемыми. Нет, его арест не был ни глупостью властей, как считают многие до сих пор, ни их ошибкой, так же как таковой не являлась впоследствии его высылка с территории Родины. По их меркам он действительно был преступником. Иное дело, что судебный процесс развивался не так, как был задуман (если он действительно кем-нибудь задумывался). Возможно, однако, что там, где мы мудрим и отыскиваем причины, налицо обыкновенная халтура и полная бездарность лиц, заполняющих следственные органы. Но если процесс действительно обдумали заранее, то власти, конечно, считали, что при обыске у Бродского найдут кучу стихов, наполненных вульгарной антисоветчиной (типа «Долой Хрущева»). Эгоцентрично чувствующие люди, сидевшие в Смольном, были искренно убеждены, что они есть центр мироздания, что поэт может размышлять

исключительно про их право занимать руководящие должности. Правда, прямых улик об этом не поступало от секретных агентов. Но, как я думаю, стоило Бродскому на одном из домашних чтений «Шествия» объявить: «Сейчас я прочитаю антисоветскую песенку» (может быть, песенку Хора из 2-й части?), — как начало процесса было предрешено. Процесс, с одной стороны, должен был припугнуть всех тунеядцев, «свободных художников», желавших отстоять свою духовную независимость хотя бы и в крайней бедности; с другой — он должен был лишний раз продемонстрировать, что теперь не 37-й год, что даже поэта-антисоветчика будут судить всего лишь за уклонение от общественно полезного труда — этакий современный «гуманизм»!

План был сорван (опять оговариваюсь: если он существовал, ибо, в конце концов, Бродский был слишком мелкой сошкой, чтоб на него тратили умственную энергию те немногие деятели ГБ, которые мыслят, составляя следственную игру) благодаря тому, что у Бродского не нашли того, чего у него не могло быть — антисоветских стихов. Куда больше, чем деятельность ленинградского обкома или даже ленинского ЦК, его интересовала в это время проблема овладения эпическим жанром, построение современной поэмы и создания нового языка.

Все, кто читал запись судебного заседания, сделанную Ф. Вигдоровой, наверняка поразились потрясающей беспомощности свидетелей обвинения. Каждый из них начинал выступление словами: «Я лично не знаю Иосифа Бродского», — но секрет заключался в том, что по сценарию показания должны были, конечно, продолжаться цитатами из крамольных стихов и заканчиваться естественным призывом: «Автору таких стихов не место в нашем прекрасном городе». Между тем ни таких стихов, ни даже обещанной самим Бродским антисоветской песенки обнаружено не было по причине, как мы теперь знаем, фактического их несуществования. На приговор, естественно, это влияния не оказало: «Судьи скажут то, что им прикажут; вот что судьи скажут», как пелось в старинной частушке. Но судьбе,

наверное, было неприятно: как-никак, в отличие от человека, вынесшего приговор, она числилась юристом...

Теперь перед нами лежит полный цикл всего, что могло храниться в засекреченных даже от самого подсудимого материалах дела, т. е. первый том лирики Бродского. Это исповедь сына времени, с его характерным атеизмом («И значит, не будет толку от веры в себя да в Бога... И значит, остались только иллюзия и дорога»), с его добротой, осознанной как цель собственной деятельности, с принятием мира, в который явился счастливый от великого Божьего дара юноша.

*Гляди на меня, Селена,
И думай, что я — хороший,
Что я везучий, зрячий,
Не маюсь, не распинаюсь...
Над непонятым, милым
И объективным миром.*

Несмотря на ироническую интонацию этих стихов, они вполне серьезны. Тут проявилось свойство молодого человека, о котором верно сказал Маяковский: «Когда он размяк от чувств, ему свойственно прикрыться словом поглубже». Бродский стесняется своего восторженного открытия мира, своего непобедимого романтизма и потому — «все кастрюли кричали о принятии мира».

Правда, у этого романтизма с самого начала была необычная особенность: его питали не грезы, не порывы в будущее или уход в облагороженное прошлое... Поэтическую страсть Бродского вызывала «материя времени, открытая петухами», чудо разнообразия мира — «шорох ситца и грохот протуберанца», чудо обычных человеческих чувств, открываемых заново: «Нам нравятся складки жира на шее у нашей мамы»... Собственно, даже его атеизм вырос из удивления перед чудесами Божьего мира — именно того, который существует на «непроклятой, негрешной» земле.

*Да. Он никогда не созерцал
Бога
ни в себе,*

*ни в небе,
ни на иконе,
Потому что не отрывал взгляда
от человека и дороги.*

«Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике...»

Казалось бы, такой поэт, в принципе, мог удовлетворить разные начальства: это ведь вроде бы атеист, оптимист и добряк... Но Иосиф Бродский был даже не неприимим, а попросту не соизмерим с ними — жил в другом измерении и тогда, когда писал о том, что дозволялось. Писал, например, о еврейском кладбище — в принципе, о евреях писать можно. Евтушенко написал «Бабий Яр» и А. Кузнецов тоже, хотя это и было неприятно начальству, о чем Никита Сергеевич со свойственной ему прямоотой объявил городу и миру — но все-таки писать о жертвах нацизма можно, а писать просто о евреях — ну все равно что говорить в доме повешенного о веревке. Само «принятие мира» было совсем не тем принятием, которое нужно советскому поэту, ибо принималась и воспевалась «данность с убогими ее мерилami», и само удивление перед ее чудесами подозрительно пахло все-таки «боженькой», ибо удивлялся поэт не делу рук советского человека, спутнику или сверхГЭС, а например, тайне жизни и смерти... И доброта его обращалась на маленьких людей, ничем в обществе не выделявшихся, — на умирающую соседку или новобранца-товарища. Оптимизм его тоже был оптимизмом творческой личности, обуреваемой своей мощью, упивающейся красотой поэтических страстей, — но при этом поэт вовсе не заблуждался насчет жестокости мира, в котором жил; оптимизм оказался лишь декларацией собственной духовной непобедимости перед лицом тех, кто «стучит, забивая гвозди в прошедшее, в настоящее, в будущее время».

Еще до наступления тюремно-ссылного периода в развитии мировоззрения и мироощущения Иосифа Бродского можно заметить определенный перелом. Творчество этого периода мне лично казалось наиболее чуждым из всего написанного Бродским. Сейчас, пере-

читав его стихотворения и поэмы, я остался при прежнем мнении. Повторяю: это глубоко личное мнение, позволительное тому, кто дерзнул взяться за эти заметки, не имея возможности прочитать ни одной строки, посвященной Бродскому (за исключением предисловия составителя). Бродский всегда был поэтом, пробовавшим с необыкновенной жадностью в мире поэзии все — от романтизма уходил к мистицизму, от лирики к эпосу; тематика его произведений поистине безгранична — от библейских сюжетов до «дебюта» ленинградской студентки... Не все казалось в одинаковой мере близким верным поклонникам его дарования, хотя все испробованное и исследованное было, видимо, необходимо самому поэту. Если говорить о новой интонации, появившейся в его лирике где-то в 1961 году и продолжавшейся на протяжении почти всего периода, охваченного вторым томом (в те годы появление этой интонации связывали со сближением Бродского с кружком ленинградских поэтов, группировавшихся вокруг Евгения Рейна), то главным ее моментом представляется, пожалуй, переход от юности к зрелости. Юношеское доверие к миру (отнюдь не исключающее протеста и поиска — наоборот, предполагающее их) сменяется теперь анализом реальной, иногда непосильной сложности и тягости человеческого бытия. Понимание того, что мир не черно-белый, что он делится не только на «нас» и «тех», что испытания, уготованные человеку судьбой, куда страшнее, чем детское «пальто на рыбьем меху» и даже чем то, «почему некрасивых не любят», что между человеком и миром проходит, не огибая его близких, бездна незнания, — все это породило новую лирику Бродского. Возникает тема одиночества, возникает «Ювеналов бич», но не враги, а свои попали под его горькие удары («Феликс»). И еще в стихах появляется новая гостья — смерть («Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я пойду умирать») и появляется тема собственной чуждости миру, возникает Бог. Слишком велики испытания, назначен-

ные человеку, слишком велика, непонятно велика сила человеческого сопротивления этим испытаниям, чтобы не склониться перед неведомым, Кто дал слабому такую силу. Когда весь мир против тебя, когда и твоя жалкая плоть против тебя, когда осознаешь, что, вопреки себе, своим близким, здравому смыслу и любой мыслимой цели, ты все-таки идешь путем, предначертанным тебе изначально, — тогда неизбежно Бог возникает в человеческом сознании, даже в том, для которого атеизм — естественная мировоззренческая норма с детского сада.

В области жанра Бродский в эти годы все увереннее идет от лирики к эпосу. Объективный мир, который

*Жуют его, лизжут, пробуют,
проглатывают и лопают,
хватают его и щупают.
Его ковыряют, лапают...*

стал изображаться в бытовых подробностях, иногда с умышленными прозаизмами («Было несколько свадеб (кажется, их было две). Десяток рубах и платьев маячили на траве»). Однако, как мне кажется, поиски этого периода дали настоящие и, может быть, самые значительные в творчестве Бродского результаты только в эпоху третьего тома — их воздействие явно чувствуется в «римском» цикле.

Одновременно с работой в области освоения эпических жанров Бродский создает новую языковую культуру, овладевает новыми средствами и инструментальной поэты. «Область поэзии бесконечна, как жизнь, — писал Лев Толстой в письме к Голохвастову. — Но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства». Овладение «иерархией» предметов стало полтора века назад возможным для Пушкина в силу того, что, будучи поэтом великой культуры, он сумел сотворить

совершенно новый поэтический язык, в котором естественно слились две стихии, начавшие формироваться в предыдущем столетии, — стихия языка ломоносовского, «счастливого соединившего книжный славянский язык с языком простонародья» (Пушкин), и стихия языка карамзинского, с его легкостью, точностью, правильностью оборотов, но одновременно с его манерностью и эстетизмом. Язык, созданный Пушкиным, служил и служит основой русского литературного языка, и, видимо он еще на долгие годы останется живым, действующим, может быть, бессмертным. Но для изображения нового, современного мира многие нормы его оказались недостаточными: гармония предметов в Советском Союзе иная, чем гармония в эпоху декабристов, и она требовала иных средств выражения, иной иерархии. Вот почему, думается, Бродский обратился к пушкинским рудникам слов, к поэзии XVIII столетия. Допушкинский хаос языка в его первобытном разнообразии помог найти материал для того удивительного сплава высокого и низкого «штилей», который с такой завораживающей точностью передал мироощущение человека второй половины XX столетия, когда насильственное смешение сословий и культур создало новое общество с еще ждущей оценки историка культурой.

* * *

21 августа 1968 года стало роковой вехой в духовной истории молодой России. Веха эта, мне кажется, во всей ее громадности не осмыслена не только на Западе (где никто не может понять всю силу воздействия этого события на дух, идеологию, мировоззрение Востока), но и у нас в стране. Мы давно привыкли наблюдать эволюцию в обществе, причем она идет с такой непрерывностью и быстротой, что революционные сдвиги в нашем собственном сознании оказываются незамеченными. «Мы не те, что были вчера, а завтра будем не те, что сегодня», — этот оптимистический лозунг, если не ошибаюсь, А.А. Жданова никогда не получал такого глубокого

содержания, как за последние 5—6 лет.

Что произошло с нами после 21 августа?

К этому времени наивных доверчивых юнцов среди сознательно мыслящих советских граждан практически не осталось. Люди, верившие официальной пропаганде, верили в нее не по доверчивости, а потому, что им — по каким-то причинам личного или социального порядка — выгодно было верить: если бы эта пропаганда не была создана указаниями власти, они распространяли бы ее собственными усилиями. Однако и так называемые оппозиционеры (или инакомыслящие, по терминологии Запада), став проницательными, иногда мудрыми, научившись предубежденности, анализу, обобщению, до этой даты все еще жили и мыслили в контексте духовных ценностей, выработанных марксизмом. («Мы все марксисты, — признавался мне один из них, — даже если опровергаем Маркса. Мы и опровергаем его, пользуясь его терминологией и его схемой мышления. Ничему другому нас не научили».) Самым убедительным доказательством этого тезиса я считаю наличие массы протестов, направленных в правительственные органы в 60-е годы так называемыми подписантами. Письма пишут тогда, когда верят — даже вопреки доводам опыта — в способность адресата что-то из написанного понять и чему-то научиться. Письма пишут, когда уверены в том, что адресат говорит по крайней мере на том же языке, что и отправитель, например на марксистском. После 21 августа письма этого рода практически прекратились...

Почему?

Человек по-разному относится к чужому мнению, к чужому ходу мыслей. Но если он в них чувствует внутреннюю целостность, внутреннюю логическую согласованность, то, пытаясь понять оппонента, он невольно считается с его убежденностью и пробует убеждать доводами разума, тому понятными. При этом приходится обязательно оперировать на его поле, подстраиваться под логику убеждаемого... Но вторжение в Чехословакию потому и явилось духовным крахом и величайшим за всю

историю марксистско-ленинского учения его поражением, что этим актом оказались попораны, отвергнуты, растоптаны именно те лозунги, идеи, принципы, которые считались моральным багажом самого коммунистического движения. Подробнее этот вопрос не место здесь разбирать и доказывать, но факт, что раньше это была идеология, цельная в шкале своих собственных, не всегда совпадающих с общепринятыми в цивилизованном обществе, но, тем не менее, реально существовавших ценностей. Эта идеология в 1968 году оказалась преданной своими же защитниками и рыцарями ради сиюминутных политических интересов. Вовсе не случайно после 21 августа Милован Джилас, самый крупный знаток эволюции марксистских духовных ценностей, объявил, что «мировой коммунизм умер». Вернее было бы сказать: насильственно умерщвлен своими руководителями.

Разумеется, советские обыватели приветствовали вторжение в Чехословакию: ими руководил сложный, но вполне понятный комплекс мотивов, который, видимо, охватывает население любой империи, когда колония, на завоевание и освоение которой были затрачены определенные усилия, средства и жертвы, вдруг начинает требовать независимости. Но масса людей, составляющих ныне большинство населения, никогда не имела убеждений. Ее мнения шатки и неопределенны, она черпает нормы поведения, идеалы, духовные интересы из общения со сравнительно небольшой прослойкой лиц, обладающих даром самостоятельного отношения к миру. Вот почему разрыв этой последней, повторяю, сравнительно небольшой общественной группы, разрыв со всякими нормами господствующей социальной идеологии после 21 августа в очень короткое время привел к катастрофическим последствиям. Государство, еще пять лет назад выглядевшее «вполне жизнеспособным», по словам прагматически мыслящих иностранцев, пережило полную, абсолютную девальвацию моральных ценностей, которая, в свою очередь, неизбежно вызвала экономический застой и политическую импотенцию. В конце концов,

всего через несколько лет после набега на Прагу СССР превратился в державу полуколониального типа, зависимую от расчетливого соперника (возможно, умышленно провоцировавшего советское руководство на активные действия в роковом году).

Последовавший за августом разрыв молодого поколения интеллигенции с традиционными идеалами российского марксизма — с советским патриотизмом, классовым пониманием гуманизма, даже в какой-то мере с самой идеей народолюбия в его традиционной демократической трактовке и т.д., а также с представлением о неразрывности судьбы личности и судьбы того общества, в котором личность действует, — все это произошло в известной мере стихийно, самой силой вещей. Все это еще продолжает происходить на наших глазах в разных формах и масках, никем не оцененное, никем по сути не описанное. В этом плане творчество Иосифа Бродского и некоторых литераторов его поколения приобретает громадное значение не только для фиксации важнейшего духовного процесса, но и для самопознания России, для верного выбора дальнейшего ее пути.

Бродский являлся и является не медиумом, одаренным сверхъестественной силой для познания истины, а поэтом, который как никто иной чувствует мироощущение своего поколения и выражает его раньше кого бы то ни было и точнее, чем кто-либо из его современников. Он стал голосом своего времени, своего общества, своей эпохи в долгой истории человечества. И потому его эволюция соответствовала эволюции общественной совести, общественного духа России. 1968 год был в его творчестве переломным, обозначил новую и пока самую значительную веху в развитии его поэтической личности именно потому, что это был важнейший год в развитии молодой России.

Отход от традиционных, впитанных с детства моральных идеалов не мог проходить просто и безболезненно. Неслучайно первое стихотворение из «имперского цикла», многозначительно названное «Anno Domini»,

вырвано из общего потока стихов о Риме: оно действительно иное, переломное по настроению, отличное от той новой позиции, которую Бродский займет после 21 августа. Поэт уже успел ощутить тяжесть разрыва своей судьбы с судьбой Отчизны, но этот разрыв воспринимается им трагически, сама мысль осудить не власть, не правящую элиту (подобное осуждение, в принципе, привычно и в рамках марксизма, истинного, либерального, «с человеческим лицом» et cetera), но осудить Родину, нацию все еще слишком тяжела для него:

*Отчизне мы не судьи. Меч суда
Погрызнет в нашем собственном позоре.
Наследники и власть в чужих руках...*

и далее следует обращение к птицам:

*Пускай летят поэтому в Отчизну,
Пускай поют поэтому за нас.*

Но революционный процесс, сокрушивший после 21 августа 1968 года традиционные марксистские ценности, сделавший звание советского гражданина клеймом позора, не мог не наложить печать на творчество современника. Марксизм начался в 1848 году с поэтически мощных аккордов «Коммунистического манифеста»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Спустя сто двадцать лет его провожали в свежую могилу сатирические припевки из «Письма к генералу» Иосифа Бродского.

*Генерал! Ералаш перерос в бардак.
Никогда до сих пор, полагаю, так
Не был загажен алтарь Минервы...
И сюда, я думаю, нас завела,
Не стратегия даже, не жажда братства.
Лучше в чужие вступать дела,
Коли в своих нам не разобраться.*

*.
Наши пики ржавеют. Наличие пик —
Это еще не залог мишени.
И не движется цель наша дальше нас*

Даже в закатный час.

Бродский понимает: он не одинок в своем разрыве с «великим блефом».

*Я не солист, но я чужд ансамблю.
Вынув мундштук из своей дуды,
Жгу свой мундир и ломаю саблю.*

Спустя год он сформулирует подспудное, еще почти никем не осознанное, но неотвратимо надвигающееся общественное предчувствие.

*Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить — динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
Да зеленого лавра.*

Это безнадежное предвидение надвигающейся катастрофы, парализующее волю к активному сопротивлению, но и делающее несокрушимым сопротивление пассивное, породило появление на свет лучшего, на мой взгляд, из последних произведений Бродского — обширного собрания «римских» стихов.

* * *

Появление темы империи в творчестве Бродского невозможно не связывать с роковым августом 1968 года.

Мысль об отечественном империализме до этой даты была чужда общественному сознанию России, может быть, потому, что империализм по традиции воспринимался у нас как империализм времен завоевания Англией Индии, когда метрополия использовала колонию с целью ограбления ее богатств в свою пользу. Справедливо, однако, что СССР никогда не рассматривал отношения со странами-спутниками в подобном плане. И наоборот, общественное мнение России долгое время считало, что страны восточного лагеря — паразиты на теле российских народов, «мы всех кормим и на фиг нам это нужно»... Подобный взгляд и до сих пор чрезвычайно распро-

странен в массе великорусского населения. Тем, что «из России паразиты всего мира соки сосут», это население объясняет низкий уровень жизни в метрополии.

21 августа как бы открыло нам глаза на империалистическое содержание нашего бытия в мире. Своеобразным отзвуком этого и явилась «имперская» тема в творчестве Бродского.

Поэт не занимался так называемыми аллюзиями, т. е. намеками на современные события, изображая императорский Рим. Конечно, у читателя, знающего подлинную жизнь современной империи, могут возникнуть определенные ассоциации. Например, когда ленинградцы прочтут о строителе Колизея:

*Прекрасная акустика! Строитель
Недаром вшей кормил семнадцать лет
На Лемносе. Акустика прекрасна..., —*

они не могут не вспоминать известную в городе Ленина легенду о том, что строитель знаменитого Большого дома (КГБ—УВД) во время проектирования и постройки здания был узником заказчика, а упоминание в одном из стихотворений «известного кифареда», который призывает «убрать императора» (строчкой ниже: «с медных денег»), — это, конечно, ехидное обыгрывание патриотического призыва А. Вознесенского «Уберите Ленина с денег». Но не в этих аллюзиях сила «римских» циклов Бродского; наоборот, его стихи поражают человека, знакомого с историей позднего Рима, точным воссозданием имперских нравов, имперской психологии, имперских конфликтов. Естественный сплав «высокого штиля», придающего аромат подлинной древности, и «низкого штиля», приближающего эту древность к нам, будто речь идет о наших соседях по квартирам, — этот сплав стал подлинным шедевром русского поэтического языка XX столетия, одним из его замечательнейших завоеваний и открытий. Конечно, «речения» из запаса «низкого штиля» придают «римским» стихам сатирическое звучание, снижая величественность привычных имперских об-

разов, но, боже мой, если бы это действительно была простая и понятная сатира! Даже в образе императора, в самих гротескных строчках и эпизодах, в любой карикатуре читатель, знакомый с имперскими нравами не по описаниям официальных панегиристов, но в натуре, узнает виденное, слышанное изображение отнюдь не заостренно, только в подлинных пропорциях, ничтожное исключительно в силу адекватно точной передачи невероятной ничтожной модели.

Бродский сумел выразить то общее, что свойственно имперскому духу всех времен и народов, — прежде всего бездуховность чистого политико-административного единства, с его пошлым культом принцепсов, с усталым безразличием толпы к этому культу, с ее увлечением «любобными играми» и спортом в качестве суррогата смысла жизни. Разумеется, имперская жизнь, как любое явление действительности, подвержена развитию и отнюдь не одинакова в разные периоды своей истории. Бродский выбрал тот исторический отрезок, который ему наиболее близок, отрезок, когда имперское насилие уже не в состоянии держаться долее без духовной подпоры и начинает на вершине расцвета могущества ощущать бессцельность, пустоту и обреченность дальнейшего существования:

*Все вообще идет теперь со скрипом.
Империя похожа на трирему
В канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
И камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, что мы совсем застряли.
Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
Не обгоняет. Но, увы, как мало
Похоже это на былую силу.*

Возможно, Бродский сам не осознавал социальной силы этих стихов. Он проникался духом древней эпохи, ощущал ее нерв — все это требовало такой сосредоточенности таланта, что поэт мог не задумываться над предметами, для него посторонними, существовавшими в его

поэзии как бы помимо воли, — исключительно силой того художественного запаса, который поставляла ему жизнь, реалии современности. Но, согласитесь, нельзя все-таки не признать логичности поведения начальства, которое сочло, что после таких стихов, выдававших всему миру главную государственную тайну империи, «секрет отечественного Полишинеля», пребывание Бродского в качестве советского гражданина было совершенно невозможно. Ибо, коли позволить такое Бродскому, то можно позволить всем, а коли всем нельзя, то нельзя Бродскому тоже...

Если говорить о поэтическом мироощущении третьего тома лирики, то оно характеризуется в первую очередь поразительно трезвым, лишенным всякой «расширопленности», красоты и иллюзии, восприятием мира, тягуче скользящего к грани, катастрофе. Точная фиксация пульса обреченного поколения — вот поэтическая задача, поставленная Бродским самому себе.

*В нашей твердости толка
Больше нету. В чести —
Одаренность осколка
Жизнь сосуда вести.*

В «Школьной антологии» эта почти научная, плиниевская фиксация подземных толчков общества (Плиний остался в Стабии, чтобы наблюдать вблизи извержение Везувия, и погиб) достигает кульминации. Порой создается ощущение, что, анализируя судьбы своих школьных товарищей и через них — в «осколке» — судьбу поколения сверстников, поэт теряет чувство человечности, пораженный бессмысленностью, пустотой, трагически безысходной пошлостью, которая господствует над жизнями рядовых обитателей одной из империй. Он сам заворужен собственным холодом.

*Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
Реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.
Что-то в их лицах есть,*

*Что противно уму,
Что выражает лень
Неизвестно кому.*

Это — отчаяние. Отчаяние от духовной неустроенности наших женщин, от «использования класса напрокат» фальшивыми рабочими, от парши, выдрючивания, бессмысленности существования «среднего класса», а над всем этим, перекрывая это, — отчаяние оттого, что

*Беззвучно распадался Карфаген
Задолго до пророчества Катона.*

Отчаяние иногда переходит в цинизм, в нарочитую грубость и жесткость. Но если Бродский всерьез верит в то, что он «не любит людей», — это еще один самообман. Да, он может злобно и несправедливо крикнуть: «Везде дебил, иль соглядатай, или талантливая дрянь» — но он не в состоянии стать равнодушным, стать «над схваткой»: «Когда вблизи кровавят морду, куда девать спокойный взор?» — вырывается невольное признание. И в самый неожиданный момент, сквозь проклятия, сквозь презрение, сквозь неверие, вдруг пробивается непобедимая все-таки любовь к Родине, к людям. Покидая проклятую, безумную империю, его поэт-беглец вдруг обобщивается:

*В отличие от животных человек
Уйти способен от того, что любит.*

И он — уйдет через границу. Уйдет, бросив с кордо-на последний взгляд на море: «О, талатта!», уйдет, унося в сердце пронзительную, побеждающую все доводы холодного разума любовь к тем, кто остался в империи, — к нашим матерям, которые, подобно матери Швейгольца из «Школьной антологии», страдают и умирают ради своих неповинных, как им кажется, детей. Любовь и к их детям, грешным и несчастным, которые трудно живут и для которых, вопреки разуму, поэт просит у Бога прощения и благодати.

* * *

Иосифа Бродского сейчас нет на родине. Но он жив и творит; будем надеяться, ему предстоят еще долгие десятилетия творчества.

Россия немилостива к своим поэтам. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский, Цветаева, Гумилев, Ахматова, Мандельштам — и сколько иных, имена их, как говорили в старину, ты, Господи, веши.

А Бродский жив и творит. Мы все-таки живем в счастливое время, если сохранили России такого поэта.

Немного, видно, дано нам совершить. Но все-таки когда думаешь о том, что выходит пятитомное собрание сочинений Бродского, что для него нашелся составитель, нашлись его друзья — помощники в неимоверной работе и главное — есть читатели, те, кто придал этой работе смысл, кто всегда был той землей, в которой коренился Божий дар поэта, — что ж, когда думаешь обо всем этом, можно с законной гордостью вспомнить слова мужественной песни:

«И мы не праздны в мире жили!»

Рецензия профессора Е. Эткинда

Статья очень хорошая, тем более что первая. Почти все, что писалось на Западе, свидетельствует о справедливости исходного тезиса «взаимное непонимание людей двух миров», о необходимости думать и осмыслять только здесь и только нам.

В статье многое осмыслено: позиция И.Б. — не «над схваткой», а мимо политики и с отвращением к ней; отношение к нему властей, для которых он враг, не будучи политическим сатириком; повороты творческого пути И.Б., его реакция на оккупацию Чехословакии; его языково-стилистическая позиция. Однако все эти важные проблемы только намечены — даже в пределах этой статьи они заслуживают развития.

1. Позиция И.Б. То, что сказано на стр. 9*, мне кажется неверным в корне — будто бы он интересовался проблемой «овладения эпическим жанром, построения современной поэмы, создания нового эпического языка», а не «деятельностью ленинградского обкома». В первую очередь его волновали отнюдь не литературные проблемы, а — метафизические; в этом связь И.Б. с Дж. Донном и английской метафизической поэзией. Смерть и бытие, поэзия и реальность. («Великий поэт, — любил он говорить, — это человек, внесший в мир новую нравственную идею»; такого критерия не выдерживают почти все признанные великие поэты.) Это очень важ-

* В данном издании цитируемый фрагмент — на с. 295.

но: И.Б. потому большой поэт, что он прежде всего *не* литератор, а мыслитель о жизни. Профессиональный литератор, ищущий решение «эпической поэмы», как правило — импотент, вроде В. Катаева или В. Брюсова. Большие поэты думали о жизни, а для ее выражения создавали словесную форму. Надо здесь определить его, Б., космизм.

2. Отношение к нему властей. Да, власти его ненавидели и отчасти продолжают. За что? Объяснение слабое, во всяком случае, недостаточное.

Прибавим:

1) непонятность всегда вызывает бешенство, презрение, оскорбленность («Он меня дурачит! А вдруг там есть какой-то смысл? Тогда он меня одурачил вдвойне!»);

2) асоциальность (кажущаяся — если не считать «Школьной антологии»), нарушающая установленные нормы некрасовской и даже блоковской традиции, отсюда и

3) абсолютная неясность корней — на что это похоже? В памятной русской поэзии — ни на что. В самом деле, связь есть, но с Мандельштамом, а по-настоящему лишь с англичанами (Оден, а прежде Донн и метафизики) и американцами. Русский классицизм? Карамзин? Слабые отзвуки. Так вот, непонятность корней ведет к ощущению чуждости, а значит — к враждебности;

4) несовпадение «тезауруса»: что это за триремы, Плинии, легионеры, паланкины, драхмы, гетеры, сатиры, кифареды, гимназии, Ксенофонты, Диоскуры? Известно, что этот наглый мальчишка не имеет даже диплома; откуда он смеет все это знать? А почему я не знаю? Значит, он морочит мне голову, выкаблучивается, строя из себя Пушкина. Пушкин учился в лицее, и он мог знать, что значит — «Меркнут волны Флегетона...». Этот — нахал, а корчит из себя знатока. Повод мелкий, но мне про подобные вещи говорил председатель городского суда. «Ученость» стихов И.Б. его не только раздражала, но даже бесила.

Я назвал четыре причины, их гораздо больше. Назвал я не главное.

3. Повороты творческого пути. Чехословакия. Сам И.Б. говорил, что решающее значение для формирования его личности имела Венгрия, 1956 г. Он был юн, но уже тогда определилось все, что автор относит к 1968. Если поэт — чуткий аппарат, он не может не предвидеть. Особенно в том, 56 году, когда правительственный поворот был куда круче и впечатляющее. Подумайте: был XX съезд, была сказана правда, и у всех [подчеркнуто автором. — М.Х.] открылись глаза на собственное прошлое и даже на подоплеку своих же побед, и вдруг... С той стороны — петли и бомбы, с этой — танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но и понимание безысходности. По контрасту 56 г. был грандиозной встряской, И. Б. прав, ссылаясь на него. А 68? Уже было предано забвению все сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнули в яму зловещее дело Кирова, уже даже расправились с простодушным тираном Н.Х., ну на этом фоне танки в Праге удивить никого не могли. В статье 68 год резко преувеличен, и я могу засвидетельствовать: для И.Б. это не было ни переломом, ни даже удивлением; в те дни я видел его постоянно, и он был совершенно открыт и прям. Судьба «мирового коммунизма» его уже не интересовала (если она волновала его прежде!).

4. Языково-стилистическая позиция. Об этом сказано весьма невнятно. Он отправился в допушкинское время — зачем? Его не удовлетворял «пушкинский» язык? Но ведь он, этот язык, уже был перетрясен — Маяковским, Пастернаком, Цветаевой, Мандельштамом. Зачем было так далеко ходить? Нет, дело не в том, а в поисках классической формы, способной противостоять хаосу идей, формы строфы И.Б., особенно строфы «Горбунова и Горчакова» с прекрасной рифмой. Классическая строфа влекла за собой классическую речь. Ведь у него нет верлибра, даже белый стих — исключение. Чем хаотичнее мир, тем строже искусство.

20 янв. 74.

Послесловие автора

Через 27 лет, благодаря «давлению на авторскую психику» со стороны издателя «Избранного» Евгения Захарова и помощи нам обоим со стороны питерского «мемориальца» Вениамина Иоффе, я могу прочитать собственное «таинственное сочинение», изменившее мою жизнь, всю судьбу.

Несколько слов о перечитанной — и тоже через 27 лет — рецензии профессора Эткинда.

На меня она не произвела тогда большого впечатления — не потому, что Эткинд был в чем-то неправ. Просто ко мне как автору эта рецензия не имела прямого отношения: ну не мог я удовлетворить запросы профессора. («Самая красивая женщина не может дать больше, чем она может», — говорят французы.) У меня не хватало ни знаний, ни опыта, ни чутья, чтоб ощутить и проанализировать, скажем, космизм и философию Бродского. Я умышленно этой темы бежал, а вовсе не пропустил ее по ошибке. «Еже писах — писах», а про что не писал, так не мог написать, в принципе не мог.

И далее: о неприязни начальства к Бродскому... Эткинд прав в своих «картинках с выставки»; замечательно, что он оставил такую зарубку для потомков. Только ведь я-то писал не о том, за что начальство Иосифа не любило; это интересная, но совсем иная тема. Мало ли за что оно кого-то не любило! Но не каждого же грамотея и чужака сажали... Вон Битова не посадили, Ефимова не посадили, Довлатова, Стругацкого. У властей был безошибочный инстинкт, кого сажать нужно, а с кем можно годить. Я иногда поражаюсь точности их нюха.

И насчет Венгрии: не нашел я в стихах никакого отражения венгерской трагедии. Не было у Бродского этого — даже косвенно... А писал-то я не об эволюции общего мировоззрения Бродского (не настолько я его и знал), а лишь об изломе его поэтического видения (от второго тома к третьему). Этот излом наблюдался точно и виделся следствием общественного переворота 1968 года.

Эткинду, как профессионалу-литературоведу, по прочтении моей статьи явно самому захотелось написать о поэте. И ему было о чем писать — про что я написать бы не смог никак... Самим этим импульсом я могу гордиться. И его рецензия может передать потомкам нюансы нашей тогдашней странной жизни. Кроме того... «ваш интеллектуальный соавтор», как называли его гебисты. Так пусть, как и в следственном деле, решил я, он останется на страницах этой книги.

Именной указатель

А

Абалкин Леонид Иванович 246
 Абир Михаил (Йосеф Дан) 290
 Абдул-Керим 53
 Абрамов Федор Александрович 32,
 54–55, 108–109
 Абу-Мазен 210, 249–250, 253–255
 Абу-Нидаль 121
 Авербух 208
 Агабеков 34
 Агеев 292
 Агурская Вера 194
 Агурский Мэлик 161, 194
 Агурский 161
 Адмиральский Алексей 40, 130, 215
 Адмони 116
 Айриян Паруйр 7, 157–158, 253–254,
 269
 Айтматов Чингиз Торекулович 289
 Акимов Николай Павлович 21
 Александр II 57, 217, 196, 200
 Александр III 29
 Александр Невский 136, 137
 Александров Георгий Федорович 21
 Александрович Георгий 213
 Алешковский Юз 166
 Алон Игаль 135
 Алтух 222
 Альбрехт Владимир Янович 244
 Альтшуллер Мордехай 169, 172, 184
 Альфонсов Владимир 51
 Амальрик Андрей Алексеевич 147,
 288
 Амер 93, 125
 Амир Игаль 250
 Ананьева Вера Герасимовна 17–18
 Ангелина Прасковья Никитична 17

Андерс 37
 Андреев Юрий 192
 Андроников Ираклий Луарсабович
 105
 Андропов Юрий Владимирович 80,
 100, 160, 215, 233–234
 Арагон Луи 33
 Арафат Ясир 120–122, 124, 152–157,
 170, 209–210, 249–255, 257–258,
 260, 262, 264, 275, 193
 Арендт Ханна 289–294
 Аристова Марина 224
 Арон Рейман 290
 Аронов Г. 114
 Аросева 179
 Аршакян Азат 262–263
 Арье Евгений 176
 Асад Хафез 256–257
 Ахмадулина Белла (Изабелла) Аха-
 товна 130
 Ахматова (Горенко) Анна Андреевна
 21, 62, 310

Б

Бабаевский Семен Петрович 129
 Бабель Исаак Эммануилович 56,
 231
 Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Геор-
 гиевич 30
 Барак Эхуд 256, 258
 Барков Леонид Иванович 223–224,
 226, 234, 251, 280
 Бар-Селла Зеэв (Владимир) 187, 218,
 223, 230, 234
 Басманова Марина 143–144, 147, 238
 Баффет Уоррен 192
 Бегин Менахем 26, 28, 32–38, 46, 66,
 70, 74–77, 79, 84–85, 119–122,

- 125–127, 156, 169, 186, 218–220, 249, 259, 262
- Бегун Иосиф 282–283
- Бедный Демьян (Ефим Алексеевич Придворов) 289
- Бейли 106, 109–111, 187
- Белов Сергей 106
- Белый Андрей (Борис Николаевич Бугаев) 50
- Бельцов Виктор (Наум) 285
- Белобородов 198–199
- Бен (Бендерский ?) Георгий 81, 88, 91
- Бен Татьяна 88
- Бен-Гурион Давид 123, 2, 22–26, 46, 73, 75, 115, 128–129
- Бенкендорф Александр Христофорович 75, 254
- Бен-Яков Авраам 177, 179, 181, 189, 216–217
- Берви-Флеровский Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) 160–161, 174
- Берзин Эдуард Петрович 168, 171
- Берия Лаврентий Павлович 22, 26, 29, 45–46, 77
- Бермонт-Авалов 114
- Берут Болеслав 44
- Бибихин В. 292
- Битов Андрей Георгиевич 314
- Бланк Израиль 166–167
- Блок Александр Александрович 51, 290, 310
- Блюмкин Яков Григорьевич 34
- Бобышев Дмитрий 143–144
- Бовин Александр Евгеньевич 278, 295
- Бор Нильс Хенрик Давид 135
- Бочаров 222
- Брежнев Леонид Ильич 85, 89, 91–92, 136, 150, 153–155, 163, 195–196, 221, 267, 286, 294, 64, 188
- Брежнева Виктория Петровна 196
- Брик Лиля Юрьевна 112
- Брики 112
- Британишский Владимир 130
- Бродский Иосиф Александрович 3, 5–7, 15, 17–18, 26, 61, 73, 78–80, 83–84, 115–116, 119, 129–132, 142–146, 153, 159, 164, 180, 200–205, 208, 212–213, 216, 219, 225, 239, 249, 254–256, 288, 290–300, 303–315, 54, 166, 283, 288–289
- Бродский Исаак Израилевич 80
- Бромберг Вениамин 231–234
- Бромберг 230–233
- Бронштейн М. 35
- Бронфман Роман 217
- Бруцкус Борис 195–196, 200
- Брюсов Валерий Яковлевич 312
- Бубер Мартин 284
- Буковский Владимир Константинович 220
- Бунин Иван Алексеевич 105–106, 108, 166
- Бурихин Игорь 204
- Бухарин Николай Иванович 170, 230
- Бялый Григорий Абрамович 28
- ## В
- Вавилов Николай Иванович 294
- Вагнер Рихард 143
- Вайс Исраэль 138–140
- Вайсмюллер Джонни 18
- В. Валерий Михайлович 182, 224, 227–228, 237–239, 279–283
- Варшавская Луэлла Александровна (Абрамовна) 112
- Варшавский Илья 110, 112
- Василенко 226–227
- Васильев Юрий 220–222, 231, 234
- Вахтин Борис 182
- Вахтин Николай 178, 182
- Вахтина Полина 178
- Вахтины 178, 182–183
- Верн Жюль 70
- Вергхаймер Стив 191–192
- Виале Вибекке 276
- Вигдорова Фрида Абрамовна 142, 295
- Вилинбахов Вадим 121, 135–138, 141, 216, 227
- Виноградов 226–228
- Владыкин 63
- Вознесенский Андрей Андреевич 130, 291, 306
- Войнович Владимир Николаевич 106

Волков Соломон Моисеевич 115,
204, 239
Володин Александр Моисеевич
285–286 141
Воложанина Марина 40–42
Вольтер (Мари Франсуа Аруз) 291
Воронель Александр 30–31, 50–51,
54, 221–222, 274 222
Воронель Владимир Александрович
274
Воронский Александр Константи-
нович 56, 72 232
Воронянская 234
Ворошилов Климент Ефремович 43
Вышинский Андрей Януарьевич 194

Г

Габер Фриц 271
Гагарин Юрий Алексеевич 68
Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович
60, 97
Гайдар Егор Тимурович 27
Гайворонский (?) 142
Галансков Юрий 120, 251
Галушко Татьяна 130
Ганди Мохандас Карамчанд 155
Гаяускас Балис 262–263 218–219
Геббельс Йозеф 163
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
141, 241 290
Гейдрих Рейнхард 103
Гельман Александр Исаакович 147
291
Герард Владимир 69
Герасимов Александр Михайлович
80, 84
Герман Алексей Юрьевич 114
Герман Юрий Павлович 99–101,
114–115, 155
Герцен Александр Иванович 15–16
Герцль Теодор 5–6, 22
Герэ Эрне 46
Герштейн Лариса 107, 277
Гиммлер Генрих 100
Гинзбург Александр Ильич 120,
130, 271
Гинзбург Виталий Лазаревич 225

Гиршзон 188
Гиршович Владимир 41
Гитлер (Шикльгрюбер) Адольф 6, 8,
14, 18, 34, 45, 159, 240 6, 25, 35,
65, 73, 197, 253, 294
Глаголев Владимир Александрович 8
Глаголева Маргарита Николаевна
5–6, 8
Глаголевы 8
Гладков Федор Васильевич 118
Глезер Илья 251
Гоголь Николай Васильевич 34
Голлер Борис 179, 3
Голль Шарль де 288
Голохвастов Александр Яковлевич
299
Голощекин Филипп Исаевич 199–200
Гольбах Поль Анри 291
Гольдберг Анатолий Максимович
161
Гольдштейн Барух 250
Гомулка Владислав 45, 154
Горбачев Михаил Сергеевич 157 63
Горький Максим (Алексей Макси-
мович Пешков) 106 162
Горячев 222
Грамши Антонио 290
Гранин Даниил Александрович 180
Граур Валерий 253, 256
Гречко Андрей Антонович 184
Гржебин Зиновий Исаевич 105–106
Грибачев Николай Матвеевич 293
Гроссман Аннета 187, 214, 223–225,
228–231, 234–236, 276–277
Губерман Игорь 183
Губко Нина Георгиевна 107–109
Гумилев Николай Степанович 310
Гурвич Михаил 183–184, 232
Гурвич (?) Светлана 183–184
Гурвич Юрий 64–65, 84, 99, 102–103,
175, 165
Гутина Нелли 59
Гучков Александр Иванович 268

Д

Давыдов Юрий 63
Данин Даниил Семенович 175

Даниэль Арсен 234–235
 Даниэль Юлий Маркович (Николай Аржак) 221 117–118, 234, 250
 Дантон Жорж Жак 198
 Дарвин Чарльз Роберт 290
 Даян Моше 124
 Дектор Феликс 160, 179, 184, 187 Демченко Мария Софроновна 17
 Демьянюк Иван 165, 270–271
 Деникин Антон Иванович 101
 Джалиль (Джалилов) Муса Мустафович 114
 Джилас Милован 290
 Джумайль Башир 121–122, 124–125
 Джумайль 122
 Дзержинский Феликс Эдмундович 168, 170–172, 228, 230–231
 Дирак Поль Адриен Морис 135
 Дитерихс Михаил Константинович 197
 Довлатов Сергей Донатович 99, 101, 314
 Довлатова 101
 Долгорукие 176
 Долгорукий Василий Лукич 176
 Долгорукий Федор Васильевич 176, 179
 Долгоруковы 176
 Долгоруковы-Аргутинские 176
 Домбровский Осип Витальевич (Гдальевич) 188
 Домбровский Юрий Осипович 61–65, 187–188
 Донн Джон 311–312
 Достоевский Федор Михайлович 83, 106, 109, 120, 147, 231
 Драчинский Марк 236
 Дротенко 257, 264, 268, 92
 Дубельт Леонтий Васильевич 75, 254
 Дубчек Александр 153, 155, 159
 Дудин Михаил Александрович 131
 Дудинцев Владимир Дмитриевич 47–50
 Дунаевский Исаак Осипович 100
 Дэн Сяопин 149–150, 209

Е
 Евтушенко Евгений Александрович 130, 143, 288–290, 297
 Егоров 212–213, 217
 Егоров 226–228
 Ежов Николай Иванович 29, 247
 Екатерина I 176
 Ельцин Борис Николаевич 9, 28, 289
 Емельянов Леонард 182, 214, 227–228
 Ермаков Георгий 221
 Ерофеев Венедикт Васильевич 101
 Есенин Сергей Александрович 310
 Ефимов Игорь Маркович 314
 Ефремов Иван Антонович 137–138

Ж
 Жаботинский 193, 34, 210
 Жаколио Луи 14
 Жданов Андрей Александрович 21, 301 226–228
 Желябов Андрей Иванович 56, 72
 Жемчужина Полина Семеновна 122
 Жид Андре 75, 188, 33
 Житинский 199
 Жуков Георгий Константинович 46
 Жур Петр Владимирович 67, 80

З
 Заболоцкий Николай Алексеевич 35
 Загреба Владимир 204, 216
 Зайцев Вячеслав Кондратьевич 133–136
 Зайчик Марк 176
 Захаров Евгений 118, 314 287–289
 Земцов 39, 95
 Зеленко Григорий 113
 Зеркин 233
 Зернова Руфь 270
 Зилитинкевич Сергей 182
 Зиненко Александр 250, 252
 Зиновьев Григорий Евсеевич 23, 96, 230
 Злотников Семен 176
 Золотницкий 13
 Зорге Рихард 24
 Зошенко Михаил Михайлович 21

И

Иван IV Васильевич Грозный 136
Иванов Всеволод Вячеславович 56
Иванов Иван 200
Игнатова Елена 192, 228
Ильичев Леонид Федорович 166
Ильф Илья (Илья Арнольдович
Файнзильберг) 101, 18
Иоффе Вениамин 314 288–289

Й

Йешуа ха-Ноцри 283–285

К

Кабаков Александр Абрамович
203–204
Кабалевский Дмитрий Борисович 22
Каган Виктор 195
Каганович Лазарь Моисеевич 22, 43,
122, 271
Каганская Майя 234
Казакевич Лариса Эммануиловна
181, 229
Казаков 227
Казаков Юрий Павлович 63
Калецкая Татьяна 53, 59, 137 291
Калинец 269
Каменев Лев Борисович 96
Каминский Лассаль 256
Камов Борис 60
Кан А. 9
Кандель (Камов) Феликс 28, 88, 95
Кант Иммануил 290
Капица Петр Леонидович 25, 100, 135
Каплан Фанни Ефимовна 169,
171–172, 229, 230
Карабанов Валерий Павлович 9, 38,
178, 218–219, 222–223, 225–228,
231, 234–238, 241–243, 246–247,
251, 264, 278
Карабчиевский Юрий Аркадьевич
181
Каракозов Дмитрий Владимирович
57, 65
Карамзин Николай Михайлович 312
Кара-Мурза Сергей 152

Кардин Н. 67
Карив Аркан 181, 212, 252
Карлов Олег Васильевич 244–246
Картер Джимми 76, 259
Катаев Валентин Петрович 312
Катон Старший 309
Кацав Моше 189–190
Кведко Дмитро 251
Квинихидзе Леонид Александрович
114
Кейнс Джон Мейнард 290, 292
Кежун Бронислав 131
Кельман Яков 47
Кеннеди Джон Фицджеральд 48, 94
Керенский Александр Федорович
269
Кестлер Артур 290
Кибальчич Николай Иванович
68–69, 142
Кикоин Исаак Константинович
229–230
Ким Роман Николаевич 94–97, 169
Ким Юлий Черсанович 113
Киреев 27
Кирнарский Виктор 69, 142
Киров Сергей Миронович 313
Киссинджер Генри 155
Клаузнер Иосеф Гдалиа 284
Клеточников Николай Васильевич
72–73, 94, 98, 103, 180, 191
Клинтон Билл 63, 256, 258–259
Ключевский Василий Осипович 240
Ключников Николай Васильевич
72–73, 98, 103
Кляйзнер Марк 81
Кобраков 292
Коварская Марина 99
Коган Борис 50, 165–167, 216
Козаков Михаил Михайлович 176
Козинцев Григорий Михайлович 21
Кок Поль де 14
Колаковский Лешек 290
Колек Тедди 166
Колчак Александр Васильевич 197
Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефи-
мович 19
Кон Вадим (Давид) 281

Кондратов Александр (Конрад
 Сэнди) 130
 Кондратьев 110
 Кондриков 232
 Конникова Татьяна Ефимовна 17, 27
 Константинов 35
 Корбут Ольга Валентиновна 163
 Коренблит Михаил 255, 258, 264 44
 Корововы 182
 Королев Сергей Павлович 24
 Косарева 147
 Косцинский Кирилл 40
 Косыгин Алексей Николаевич 150,
 131
 Кочетов Всеволод Анисимович 55,
 104
 Кочубиевский Феликс 33
 Коэн Хаим 285–287
 Крамской Иван Николаевич 81
 Красильников Михаил 168
 Краснощеков Александр Михайло-
 вич 110–112
 Крелин Юлий 99
 Крупская Надежда Константиновна
 10
 Крюков 203–204
 Кузнецов А. 297
 Кузнецов Эдуард 242, 83, 106–107,
 109–110, 178–179, 181–182, 184,
 186–191, 213, 216–218, 220, 222–
 223, 225, 228, 235, 237, 277–278,
 280–281
 Кузюкин 23
 Куклин 292
 Куняев Станислав Юрьевич 30–31
 Курочкин 289
 Кушков 55–56
 Кушнер Александр Семенович 130

Л

Лавренев Борис Андреевич 114
 Ландау Лев Давидович 35, 100, 135
 Ланская 163
 Ланской Александр 163–164
 Ланской (Либензон) 163
 Ларский Лев 21
 Леванон Нехемия 248–249

Леви Давид 85–86, 125–126
 Левитин Карл 113, 206–207
 Левин Георгий Львович 227
 Левинсон (Бурцева) Марина 176
 Леви-Стросс Клод 290
 Лемхин Михаил 164
 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8,
 26, 30–31, 56, 58, 74, 85, 91, 104,
 107, 110–111, 121, 145, 148–149,
 155–156, 161–162, 165–167, 169,
 171–172, 174–175, 198, 218, 228–
 231, 239–240, 269, 284, 293–294,
 306 23–24, 26, 64–65, 75, 153,
 184, 199–202, 260, 277, 290, 294
 Леонидов Максим Леонидович 176
 Ле Пельтье 221
 Лермонтов Михаил Юрьевич 34,
 290, 310
 Лернер Григорий 244–247
 Лесючевский Николай Васильевич
 175, 217
 Либман Авиغدор 210
 Линкольн Авраам 196
 Литвинов Павел 159
 Лифшиц Владимир Александрович
 162–163
 Лифшиц Михаил 32
 Лихачев Иван Алексеевич 182, 188,
 205, 211
 Лихачева Людмила Ивановна 182
 Лихачевы 182
 Локкарт Роберт Гамильтон Брюс
 168, 170
 Лосев (Лифшиц) Лев Владимирович
 71, 162–164, 169 166
 Луи XVI 198
 Луначарский Анатолий Васильевич
 53
 Лурье Макс 254
 Лысенко Виталий 262
 Львов Владимир 133, 135
 Любарский Кронид 188
 Людвиг Эмиль 33, 252
 Людовик XVI 196

М

Мавроди Сергей 247

- Магазинер-Радовская Наталья 130,
 215, 234 41, 141
 Майоров Г.И. 226
 Майский Иван Михайлович 194
 Макаренко Антон Семенович 17
 Макаров 216
 Максвелл Джон 177–181, 183,
 214–216, 239
 Максимов Владимир 29
 Маленков Георгий Максимилиано-
 вич 22, 43
 Малевич Казимир Северинович 163
 Мандельштам Осип Эмильевич 310,
 312–313
 Мао Цзэдун 104, 150, 289 196
 Марамзин Владимир Рафаилович
 143–144, 181–182, 191–192, 200–
 204, 211, 215–216, 220, 222–224,
 226–227, 233, 241, 246, 249, 251,
 280 6–7, 29, 54, 176, 288
 Мария-Антуанетта 198
 Маркиш Давид 244
 Маркиш Перец 244
 Маркс Карл 26, 74, 76–77, 118,
 139–140, 145, 155–156, 160–161,
 301 22, 131, 260, 284, 290–294
 Мартынов Александр Александров-
 вич 255, 260–263, 266
 Масарик Томаш 26
 Маяковский Владимир Владимиро-
 вич 55, 112, 130, 289–290, 296,
 310, 313 164, 186, 247
 Медведев Рой Александрович 65
 Меир Голда 122
 Мейерхольд Всеволод (Карл) Эмиль-
 евич 100, 294
 Меламид Лев 280
 Мельников Виталий 70, 142
 Менакер Леонид 103
 Меншиков Александр Данилович
 176–179 287
 Меншикова Мария Александровна
 176, 178–179
 Меншиковы 178
 Мердок Руперт 177
 Меттер Израиль 79
 Мехлис Лев Захарович 189, 193–194
 Миклашевский 191
 Микоян Анастас Иванович 22, 48, 58
 Мильчик Михаил 216
 Милюков Павел Николаевич 268
 Мин 109
 Минкин Александр Викторович 246
 Минчковский 109
 Мирбах Вильгельм 34
 Михайлов Александр Дмитриевич 73
 Михайлов Юрий 165
 Михозлс Соломон Михайлович 129
 Мишенер Иосиф 219
 Млечин Леонид Михайлович 38
 Модии 131–132
 Мозес Арнон 216
 Молле Ги 130
 Молотов (Скрябин) Вячеслав Ми-
 хайлович 43, 46, 74, 122, 190
 35, 296
 Морган 290
 Мордель Георг 67–68
 Мороз Сергей Степанович 190
 Мороз Эльвина Сергеевна 160–161,
 175, 190
 Мугабе 261
 Мунблит Георгий 60
 Муравьев-Виленский Михаил Ни-
 колаевич 161
 Муратова 105–106
 Мур Генри 48
 Мурузи 73
 Муссолини Бенито 8 6, 294
 Мухитдинов 92
 Мэдорф 291
 Мяковский Николай Яковлевич 22

Н

- Надь Имре 45–47
 Назаров 91
 Наполеон I (Наполеон Бонапарт)
 64–65, 103
 Насер Гамаль Абдель 92–93 249
 Нафтульев Феликс 71–72, 99, 160,
 162, 164, 183
 Неизвестный Эрнст Иосифович 48,
 288
 Некрасов Виктор Платонович 233

Некрасов Георгий 131
 Некрасов Николай Александрович
 51, 130
 Некрич Александр 167
 Нетаньяху Биньямин 134, 212, 234
 Нечаев Сергей Геннадьевич 57 200
 Неэман Юваль 51–52
 Никандров 213
 Никитченко 219
 Николай II 114, 268 106, 196
 Никсон Ричард Милхаус 154–155
 Нимроди Офер 214–218
 Новомейский Моше 272–273
 Носик Антон 181–183, 212
 Нудельман Рафаил 31–32, 50–52,
 54, 171, 222

О

Обама Барак 287
 Обленов Игорь 185–187, 198, 206
 Овсиенко Василь 250 79–80
 Огарев Николай Платонович 289
 Оден Уистен Хью 201, 312
 Оз Амос 285
 Октавиан-Август 286
 Ольдерогге Дмитрий Алексеевич 53
 Орджоникидзе Григорий Констан-
 тинович (Серго) 271
 Орешников Виктор Михайлович 84
 Осипов Владимир Николаевич 222
 Осипов Владимир 9, 265, 278 106,
 181–182
 Остерман Андрей Иванович 177

П

Палах Ян 155
 Панова Вера Федоровна 135
 Папанин Иван Дмитриевич 17
 Папен Дени 25
 Парамонов Борис 166–168
 Пастернак Борис Леонидович 75–76,
 290–291, 313 290
 Паустовский Константин Георгие-
 вич 164–165
 Паули Вольфганг 135
 Перес Шимон 126–128, 130–132,
 134–135, 151–152, 169–170, 205–
 206, 209–210, 212, 250, 260, 295

Петен Анри Филипп 8
 Петр I Великий 136, 176–178
 Петр II 176
 Петров Евгений (Евгений Петрович
 Катаев) 101 18
 Петров 236
 Петровский Юрий 185
 Пикассо Пабло 82
 Пикуль Валентин Саввич 98 97–99
 Пилат Понтий 286
 Пилсудский Юзеф 8
 Пиль 73 73
 Пименов Револьт Иванович 168–172,
 174, 288
 Пинскер Александр 99, 198–199
 Пластов Аркадий Александрович
 100
 Плиний Старший 308, 312
 По Эдгар 258
 Покровский Михаил Николаевич
 240
 Пол Пот 196
 Ползунов Иван Иванович 25
 Полухина Валентина 5
 Померанцев Владимир Михайлович
 32
 Пономарев 241
 Попадюк Зорян 267 79
 Попель Николай Кириллович 10,
 67–68, 103, 180–181
 Поповский Марк 159
 Поппер (?) Ави 254
 Поппер Карл Раймунд 290
 Прицак Омелян 167
 Прокофьев Александр Андреевич
 131, 293
 Прокофьев Сергей Сергеевич 22
 Прохоров Михаил Дмитриевич 245
 Пушкин Александр Сергеевич 34,
 75–76, 177, 254, 290, 299–300,
 310–312 233
 Пэнсон Борис 255–257, 259, 261–263,
 265 4, 83, 218

Р

Рабин Ицхак 134, 156–157, 205–206,
 209–210, 212, 248, 250, 253, 256

Радек (Собельзон) Карл Бернгардович 34
 Раджуб Джибриль 262
 Радзинский Эдвард Станиславович 197
 Радовский Александр 141
 Разгон Лев Эммануилович 175
 Ралис 29
 Рамон Хаим 256
 Рахлина Марлена 287
 Рейли Сидней (Розенблум Зигмунд, Релинский) 94, 168–172
 Реизов Борис Георгиевич 28
 Рейн Евгений Борисович 143, 298
 Рембрандт Харменс ван Рейн 81
 Риббентроп Иоахим 10, 190 35
 Робеспьер Максимильен 198
 Рожанский 270, 288
 Рождественский Роберт Иванович 130
 Рожков 240
 Розанова Мария Васильевна 29, 220, 222–223
 Рокоссовский Константин Константинович 271–272
 Рокотов Ян Тимофеевич 86–87, 91
 Роллан Ромен 106
 Рольникайте Мария Григорьевна 208, 226
 Романов Геннадий 213
 Романов Григорий Васильевич 9
 Романовы 196, 198–199, 201–202
 Ромм Михаил Ильич 201
 Ронкин Валерий 250
 Росوماхин Иван Данилович 120–121
 Рубашкин Александр 208
 Рубин Илья 54
 Рубина Дина 202, 229
 Руденко Мыкола 165
 Рыбаков Анатолий Наумович 143 223
 Рыков Александр Иванович 202
 Рылеев Кондратий Федорович 289
 Рябов Гелий 197
 Рябчук 141
 Рябчук Виталий Николаевич 222, 232, 234–236, 241–242, 278

С
 Савельева 116
 Садат Анвар 66, 74–76, 119, 249, 259
 Сайерс М. 9
 Салаши Ференц 45
 Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович 154
 Санд Жорж (Аврора Дюпен) 188
 Сассон 198
 Сартаков Петр 257
 Сарьян Мартирос Сергеевич 100
 Сахаров Андрей Дмитриевич 199–200, 205, 269 7
 Сванидзе Николай Карлович 271
 Свердлов Яков Михайлович 230 199–200
 Светов Григорий 126
 Свифт Джонатан 93
 Седов Сергей Львович 198
 Семанов Сергей 72, 99, 156–157, 195–196
 Семенов 230
 Семенов (Ляндрес) Юлиан Семенович 100–101
 Семичастный Владимир Ефимович 75–76
 Сенкевич Юрий Александрович 99, 162
 Сент-Экзюпери Антуан де 149
 Сервет Мигуэль 297
 Серман Илья Захарович 270
 Серно-Соловьевич Александр Александрович 113
 Серно-Соловьевич Николай Александрович 113
 Симонов Константин (Кирилл) Михайлович 33, 75
 Синяевский Андрей Донатович (Абрам Терц) 29, 220–223 117, 234
 Сиротенко Елена 6–7
 Слуцкий Борис Абрамович 128–129
 Смит Адам 292
 Смолян 68
 Смирковский 155
 Соколов Н.А. 197–198, 200–201
 Сокольников Григорий Яковлевич 111

Солдатов Сергей 265, 278
 Солженицын Александр Исаевич
 57, 61, 181, 233–234, 248, 271, 290
 159, 162, 288, 290
 Соловьев 240
 Солодкина Марина 245
 Соломоник Абрам 13
 Солонин Марк Семенович 190
 Сорос Джордж 290
 Софронов Анатолий Владимирович
 289
 Сталин Иосиф Виссарионович 6, 8–9,
 12, 18–20, 22–26, 28–32, 42–45,
 48, 58, 74, 85–86, 90–92, 117, 119,
 122, 128–129, 134, 137, 149, 155,
 159, 167, 210–211, 217, 230–231,
 240 23, 25, 33–36, 38, 64–65,
 129, 162–163, 187, 189, 194, 197,
 227–228, 232, 252–253, 272, 294
 Станкевич Николай Владимирович
 141, 150
 Степанов Виталий 50
 Столыпин Петр Аркадьевич 149
 Стрельцова Людмила Савельевна
 106, 166
 Стрельчик Владислав Игнатьевич
 121–122
 Строев Александр Яковлевич 96–97
 Стругацкая (?) Ада 137, 209, 225
 Стругацкие братья 132, 137–141, 173,
 212–213
 Стругацкий Аркадий Натанович 209
 Стругацкий Борис Натанович (Ви-
 тицкий С.) 95, 132, 137, 141, 148,
 159, 168, 172, 174, 199, 209–212,
 214, 225, 235–236, 242, 314 164
 Стус Василь 226, 256, 269–270 79
 Стюарт Мария 196
 Суворов Александр Васильевич 31
 Супруненко Светлана 71
 Суриков Василий Иванович 178
 Сусленский Яков 14, 30, 44, 77, 113,
 219
 Сулов Михаил Андреевич 92, 150
 Суснин 70
 Сырокомский Виталий Александр-
 ович 132

Т
 Тафт 24
 Твардовский Александр Трифоно-
 вич 32, 104, 161–162
 Текоа Йосеф 51, 55, 60
 Тепер Ефим 9, 279
 Тимашук Лидия 226–229
 Тито (Броз Тито) Иосип 8, 24, 136,
 155
 Тойнби Арнольд Джозеф 290
 Толстиков Василий Сергеевич 79,
 116, 291
 Толстой Лев Николаевич 57, 218, 299
 231, 266
 Топаллер Виктор 183, 281
 Торен Хаим 276
 Травинский Владилен 51–54, 56, 58–
 59, 68–69, 74, 79–81, 105–106,
 131–133, 137, 145
 Трауберг Леонид Захарович 21
 Тревитик Ричард 25
 Тронский 192
 Троцкий Иосиф 191
 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидо-
 вич 30, 96, 149, 177, 191, 230 34,
 65, 123, 198–199
 Трумэн Гарри 24 129
 Тургенев Иван Сергеевич 51
 Тухачевский Михаил Николаевич
 9, 27
 Тютчев Федор Иванович 290

У
 Уатт Джеймс 25
 Ульбрихт Вальтер 154
 Ульянова (Елизарова) Анна Ильи-
 нича 167, 175
 Ульянов Александр Ильич 57,
 174–175, 178, 186, 199
 Ульяновы 167
 Урбан Адольф 66–67, 130
 Урицкий Моисей Соломонович 8,
 110, 171

Ф
 Фадеев Александр Александрович 62

Файбишенко Владислав 86
 Федорченко 80
 Федотова Маргарита 234
 Фельтринелли Джанджакомо 75
 Фейхтвангер Лион 33, 252
 Филатов Юрий 213
 Филиппова Нина Сергеевна 113
 Флюссер Д. 285
 Фогель 206, 208
 Фок Владимир Александрович 135
 Франко Баамонде Франсиско 8
 Фрейд Зигмунд 284
 Фромер Владимир 101
 Фромм Эрих 7 290
 Фуко Жан Бернар Леон 136

Х

Хаббаш Жорж 193–194
 Хайдеггер Мартин 291
 Хайек Р. 290
 Ханан Владимир 250
 Хандруев Александр Андреевич 246
 Хартли 24
 Хачатурян Арам Ильич 22
 Хейердал Тур 99
 Хейфец Наталья Михайловна 98,
 212, 264, 275, 282, 286 2, 5, 10–11,
 14–15, 19, 27, 40–42, 53, 87–88,
 91, 93–94, 105, 111–112, 118–119,
 136–140, 148, 174–175, 177, 180,
 206–208
 Хейфец Ольга Михайловна 212, 264,
 286 2, 5, 10–11, 14–15, 19, 27,
 40–42, 53, 87–88, 93–94, 105,
 111–112, 118–119, 136, 138–139,
 148, 174–175, 206, 208–209
 Хейфец (Глаголева) Раиса 82, 98–99,
 141, 166, 178, 187, 198, 202, 207,
 212, 214–215, 228, 232–235,
 239, 245, 250–251, 263, 267, 275,
 277–278, 281–284 2, 5–7, 10–11,
 13, 15, 27, 40–41, 53, 56, 87–88,
 93–94, 103–105, 107, 111–112,
 118–119, 136, 140, 148, 164, 174
 Хейфец Софья Моисеевна 8–10,
 13–14, 16, 77–78, 251–252, 283
 40, 127

Хейфиц Иосиф Ефимович 21, 101, 115
 Хмельницкий 221–222
 Ходорковский Михаил Борисович
 250
 Холопов Георгий Константинович
 54, 66–67
 Хомейни Рухолла Мусави 122
 Хорти Миклош 45
 Хромой Макс 103–105
 Хромые 104, 141
 Хрушев Никита Сергеевич 22, 24,
 30–31, 37, 39, 42–43, 45–46,
 48–50, 74, 76–79, 85–94, 104, 115,
 117, 123, 127, 139, 148–150, 156,
 196, 288–289, 294, 297, 313 64,
 186, 228
 Хусейн 170

Ц

Цветаева Марина Ивановна 290,
 310, 313
 Целков 236–237
 Цеткин Клара 118
 Цигельман Людмила 44, 96–97, 172
 Цисарж 155

Ч

Чайковский Петр Ильич 203
 Чаковский Александр Борисович 132
 Чалидзе Валерий Николаевич 244
 Чаплин Вячеслав 271, 276
 Чаплин 271–276
 Чаплина Лина 29, 271
 Чарльз I 196, 198
 Черномырдин Виктор Степанович
 246
 Чернышевский Николай Гаврилович
 119–120, 122, 199, 205, 213
 Черчилль Уинстон Леонард Спенсер
 75, 94, 169 6
 Чигорин Михаил Иванович 236
 Черновол (Черновил) Алена 79
 Черновол (Черновил) Вячеслав Мак-
 симович 251, 257, 269 79–80
 Чубайс Анатолий Борисович 77 27

Ш

Шагал Марк Захарович 163
Шагинян Мариэтта Сергеевна 166
Шамир Ицхак 126, 131, 135, 151,
156–157, 169–170, 205
Шапиро В. 229
Шапиро 50, 52, 95
Шапорин Юрий (Георгий) Александрович 22, 29
Шарко Зинаида Максимовна 121
Шарон Ариэль 119–122, 124–126,
134, 262–263
Шебалин Виссарион Яковлевич 22
Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич 157
Шелепин Александр Николаевич 92
Шелест Петр Ефимович 154
Шемякин Михаил Михайлович 79–85
Шестов Лев (Лев Исаакович Шварцман) 145–146
Шехтер Давид 251
Шипулина Евфалия Антониновна 42
Ширинг (Ширинкина) Ариадна фон 88
Шифферс Эммануил Степанович 236
Шифферс 236
Шлиппе 109
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 22, 100
Шопен Фредерик 94
Шопенгауэр Артур 162
Шотман 110
Шумилова Елена 208
Шурканов 110

Щ

Щаранский Анатолий 178, 216,
274–275, 277

Щербицкий Владимир Васильевич 246

Э

Эбан Аба 205
Эдисон Томас Алва 25
Эйдельман Натан Яковлевич 113
Эйзегардт Людмила Павловна 191–192
Эйзенхауэр Дуайт Дейвид 28, 288
Эйзенштейн Сергей Михайлович 100
Эйнштейн Альберт 284
Эйтан (Орлов) 120–121
Эльдад (Шайб) Исраэль 36
Энгельс Фридрих 139–140, 145,
160–161 22, 292
Эренбург Илья Григорьевич 31, 288
Этерман Александр 202
Этингер Шмуэль 44–49, 52, 95–97,
99, 102, 107, 136, 161–162, 169,
171–172, 195
Эткинд Ефим Григорьевич 116,
181–182, 203–204, 213, 216–217,
223, 226–227, 234, 237–238, 311,
314–315 141, 270, 289
Эткинд Мария Ефимовна 182, 203–
204, 216–217, 234, 237–239
Эткинды 183, 237
Эшколь 132–133

Ю

Юркан 165
Юровский Яков Михайлович 198–199
Юрский Сергей Юрьевич 121

Я

Яблочков Павел Николаевич 25
Якир Иона Эммануилович 27
Яковлев Александр Николаевич 190
Ясперс Карл 291

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

В Советском Союзе

Глава первая

1937—1972 7

Глава вторая

1972—1980 182

Часть вторая

В Израиле

Глава первая

Университетские годы (1980—1990) 293

Глава вторая

Журналистика (1990—2000) 449

Приложение 1

Иосиф Бродский и наше поколение

(*Михаил Хейфец*) 591

Приложение 2

Рецензия проф. Е. Эткинда 614

Послесловие автора 617

Именной указатель 619

Литературно-публицистическое произведение

Хейфец, Михаил Рувимович

КНИГА СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Издатель Леонид Янович

Редактор Иннокентий Гридин

Корректор Лариса Касьянова

Верстка и оригинал-макет Вера Брызгалова

Художник Антонина Байдина

Налоговая льгота -

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2;

953000 — книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»

Контактный телефон в Москве (095) 671-0095,

по вопросам реализации 8-985-427-9193

E-mail: nkhronograf@mail.ru

Информация об издательстве и Интернете:

<http://www.novhron.info>

ISBN 978-5-94881-191-8



Подписано к печати 08.01.2013

Формат 84х108/32. Бумага офсетная

Печать офсетная. Объем 40,0 усл.печ.л.

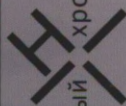
Тираж 1000 экз. Заказ № 183

Отпечатано

в ООО «Чебоксарская типография № 1»

428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

фотография
на лицевой стороне
переплета Фотобанк Лори



издательство новый хронограф <http://www.novhron.info>